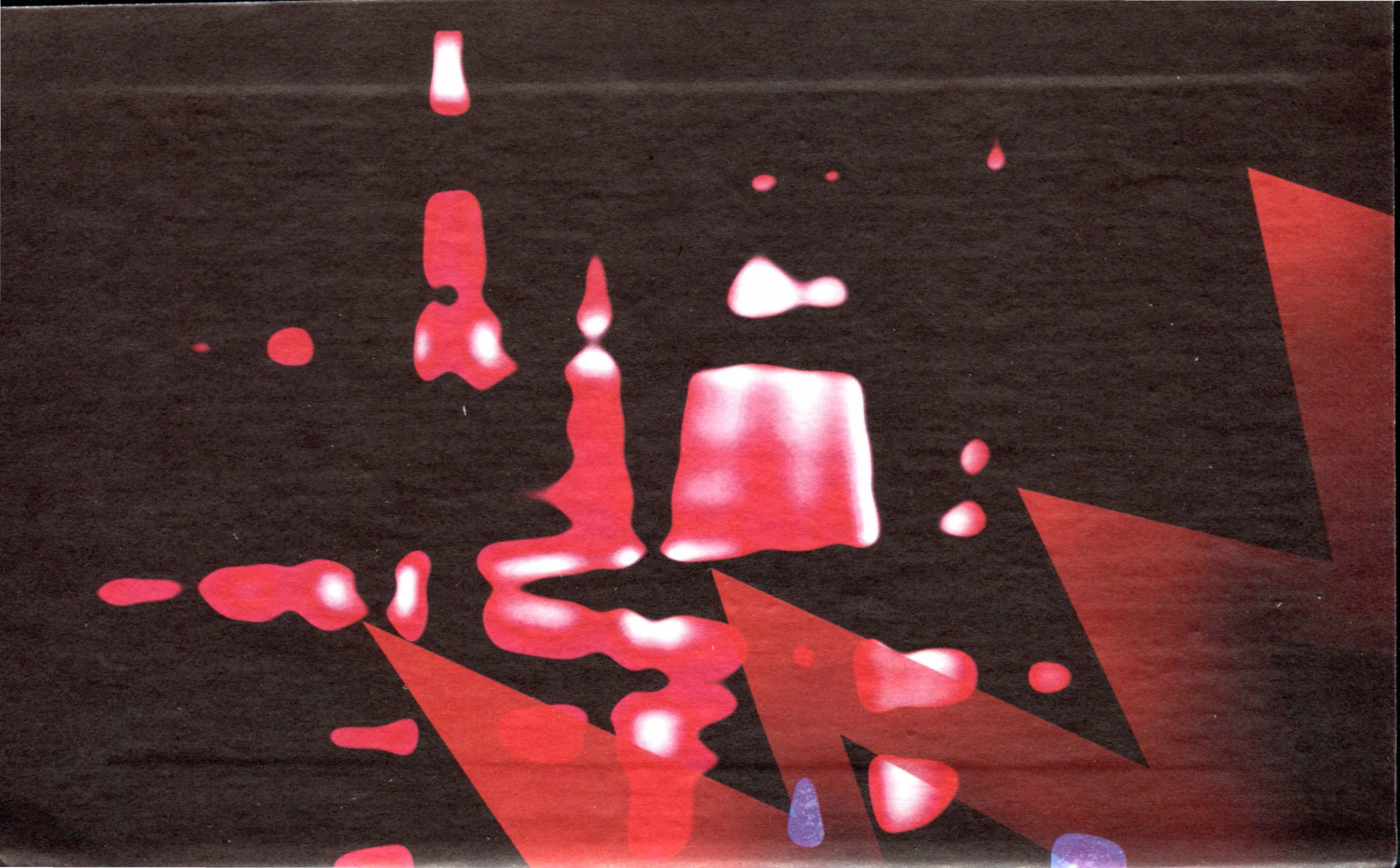
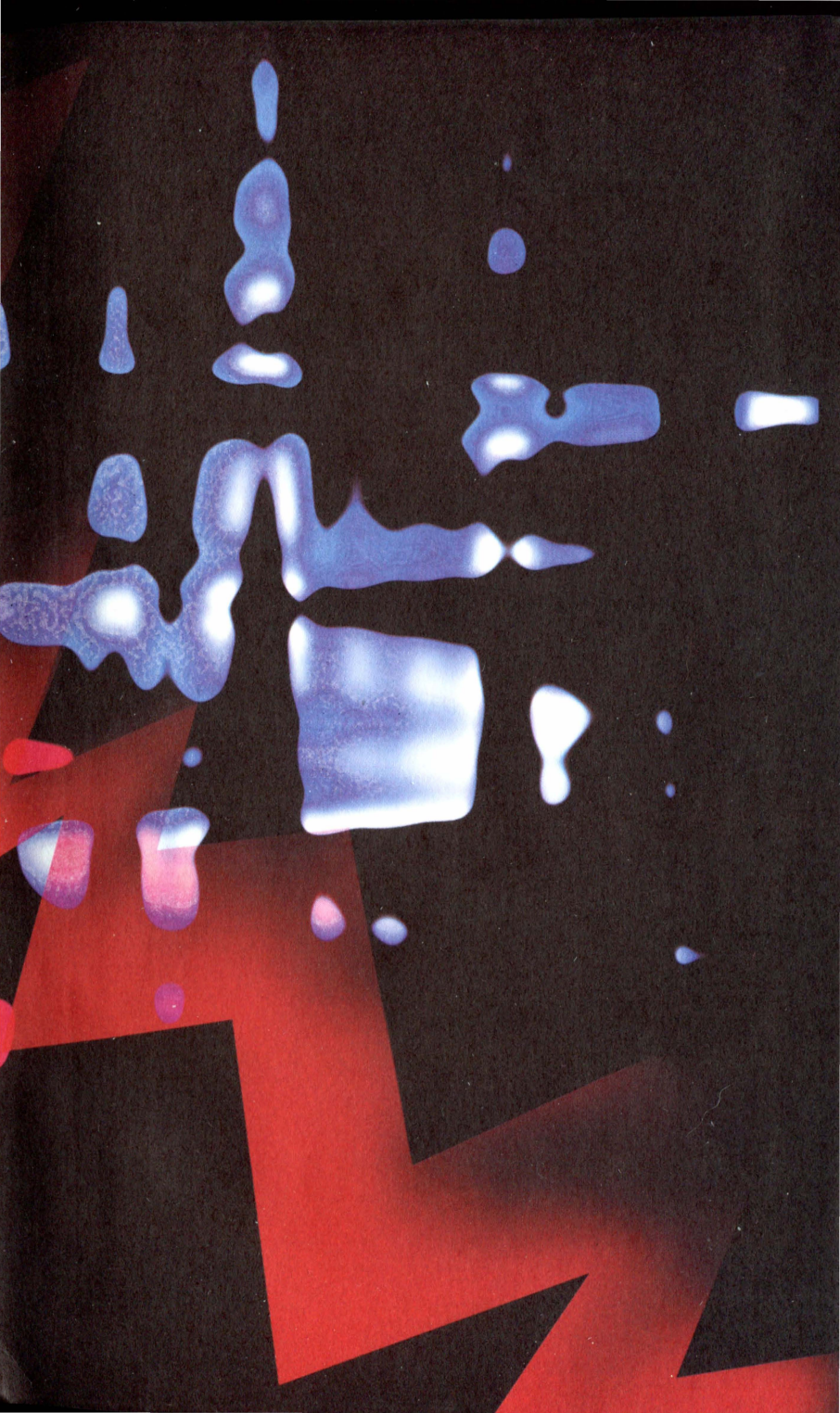
НОВЫЙ РОМАН

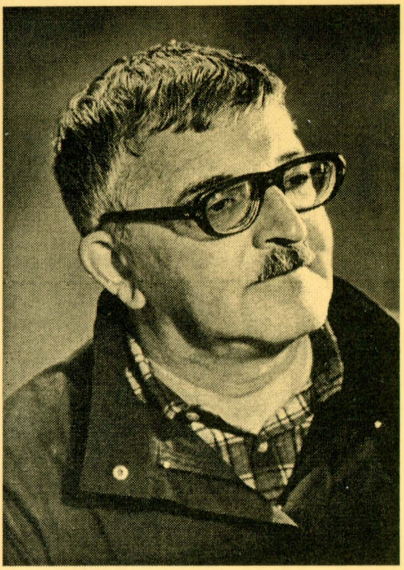
АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ

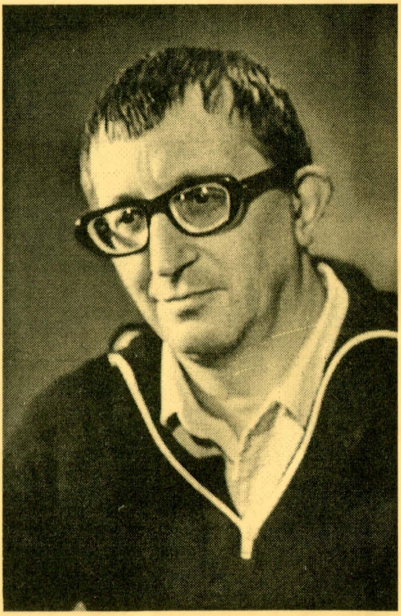


БЕССИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО







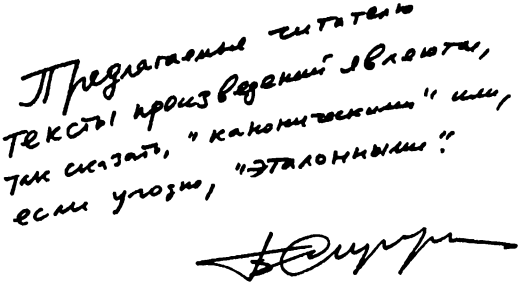


АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ

Сканировал и создал книгу - vmakhankov

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ
БОРИС СТРУГАЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ
БОРИС СТРУГАЦКИЙ

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Дополнительный

2003

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С87

Под общей редакцией
Светланы Бондаренко

Издатели благодарят группу «Людены»
за помощь, оказанную в подготовке
настоящего издания

Подписано в печать 31.03.03. Формат 84×108 1/32.
Усл. печ. л. 35,28. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1290.

Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н.
С87 Собрание сочинений. В 11 т. Т. 12, дополнительный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. — Донецк: «Издательство Сталкер», 2003. — 699, [3] с.: 12 л. ил.

ISBN 966-696-215-2 (Т. 12)
ISBN 966-696-004-4

В двенадцатый, дополнительный, том собрания сочинений включены новый роман С. Витицкого, статья А. Стругацкого, выдержки из писем Б. Стругацкого к Б. Штерну, воспоминания об Аркадии Стругацком, литературный труд о творчестве братьев Стругацких польского литературоведа В. Кайтоха.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 966-696-215-2 (Т. 12)
ISBN 966-696-004-4

© А. Стругацкий, Б. Стругацкий, 2001
© С. Витицкий, 2003
© А. Нечаев, оформление обложки, 2000
© В. Кайтох, 2003
© В. Борисов, перевод с польского, 2003

С. ВИТИЦКИЙ

БЕССИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Александр Кушнер

«Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но этого не делает».

Даниил Хармс

Глава первая

СЕНТЯБРЬ. ВАДИМ ДАНИЛОВИЧ ХРИСТОФОРОВ ПО ПРОЗВИЩУ РЕЗАЛТИНГ-ФОРС

— Сегодня я во сне покойного отца видел, — сообщил Тимофей Евсеевич с крайней озабоченностью в голосе.— Значить? Что-нибудь плохое случится обязательно...

Вадим посмотрел на него без всякого интереса и, ничего не ответив, снова углубился в вычисление средних взвешенных. Ему оставалось обработать еще два последних ряда наблюдений, а Тимофей Евсеевич Сыщенко ни в каких его ответах и тем более комментариях не нуждался. Он в очередной раз починял примус. Бензиновый, бесшумный, наиновейший (чудо конверсии с реактивной тягой) и потому особенно охотно засоряющийся. Казенный.

Жара уже подступала. Ветерок, поднявшийся было с утра, совсем стих, день снова обещал стать томительно жарким, потным и изнуряющим. Небо было чистое, совсем без облаков, но Бермамыт и Кинжал у самого горизонта на востоке и на западе затянуты были сизой дымкой, словно там кто-то тайно палил невидимые костры.

Вадим закончил обработку ночных наблюдений, убрал записи в папку, посмотрел на Эльбрус, призрачный, почти прозрачный на белесоватом чистом небе, и почему-то вдруг вспомнил, что давным-давно ничего не писал в дневник. Он сходил в командирскую палатку, выкопал дневник из-под ночного обмунди-

рования и снова уселся за столик. Полистал. Зацепился за какую-то запись. Стал читать.

«14.08. ...Хребет хорош, он похож чем-то на лунные хребты. Эльбрус страшен и странен над тучами. А наш Харбас порос коротенькой травкой и жиденькими синими цветочками. Летают шмели и жадно и грубо в эти цветочки вцепляются, словно хотят их тут же изнасиловать. Утром вдруг раздалось шипенье крыльев и отчаянный крик. Пронеслась тень, и под машину забилась перепуганная насмерть пичужка. Оказалось, это была неудачная атака сокола...

...Тенгиз говорил, что нельзя долго оставаться в контакте с Богом, сохраняя при этом здравый рассудок. Кажется, это из Умберто Эко. Или нет? Неважно. Главное — сильно сказано...

За то, что пока живые, исправно идут полевые,
За то, что туманы злые, за то, что в горах обвал.
Здесь только кручи, да зыбучий перевал,
И в медленных тучах Харбас, Бермамыт, Кинжал...»

«16.08. Стоит Командору уехать, и что-нибудь обязательно случается. На лагерь напали коровы. Здоровенный серый бугай с громоподобным сиплым рычанием принялся тереться об антенну и моментально сорвал противовес. Коровы подошли и стали шеренгой, тупо глядя на лагерь. Бугай был столь величествен, что я сначала было решил трусливо отлежаться в палатке, надеясь, что все как-нибудь само собою утрясется. Но бугай пригласил чесаться еще трех коров (видимо, самых любимых), и они начали шумно мочиться у меня над ухом, а все стадо двинулось прямо на лагерь. Тогда я судорожно зарядил ружье и пошел искать пастуха. Пастуха, разумеется, нигде не было. Тогда я вернулся (коровы тем временем подошли вплотную) и заорал бугаю: «У-у!» и замахал на него руками. Бугай ответил: «У-у!» и сделал шаг вперед. Я, трепеща, кинулся за командирскую палатку и оттуда заорал уже коровам: «Пошли вон — туда вас и растуда!!!» Коровы отшатнулись. Тут меня осенило. Я взял канат, стал им хлопать,

и крутить, и вопить «У-у!», но обращаясь при этом исключительно к коровам. Коровы, будучи всего лишь женщинами, дрогнули и стали отступать. Бугай оценил мою деликатность и тоже стал небрежно удаляться, по пути заигрывая с коровами. Потом они все ушли. Мораль: никогда не ори на начальника — ори на подчиненных и терпеливо ожидай, пока до начальника дойдет, в чем дело и как ему поступать надлежит...»

«18.08. ...В палатке было темно.

— Эй, хозяин,— позвал я негромко. Никто не отозвался. Я присел на корточки и пошарил рукой. Я нащупал ногу в сапоге и дернул, по возможности деликатно. Нога мотнулась у меня под рукой и снова застыла.

— Хозяин! — позвал я, уже понимая, уже догадываясь, что дело — дрянь. Человек в палатке молчал. И вдруг я почувствовал, что у меня стало холодно внутри. Человек не дышал.

Я полез в карман ватника и чиркнул зажигалкой. Ветер колебал синенький огонек, но я разглядел человека целиком. Он лежал навзничь, вытянувшись, бессильно положив ладони рядом с телом, и смотрел в низкий потолок прикрытыми глазами. Лицо у него было разбито, и кровь засохла черными пятнами, и черные пятна засохли на больших широких ладонях...»

Вадим не стал читать дальше. Он только исправил «низкий потолок» на «провисший» и перебросил сразу несколько страниц текста.

«20.08. Ночью грянул ураган. Вдруг погас примус, палатку рвануло, и что-то на меня навалилось. Вырвало два кола. Унесло: стол — на 10 метров, крышку от кастрюли на 20 метров, миску — на 50 метров...

Вот пришло в голову: всякий альтернативный вариант истории содержит больше социальной энтропии, нежели реально осуществившийся. Или другими словами: история развивается таким образом, чтобы социальная энтропия не возрастала. Вторая теорема Клио. (А как же Смутные времена? Чингисханы, Тамерланы, Атиллы? Это — микропространст-

ва истории, микрофлюктуации. И вообще, кто знает: если бы Темучина придушил в детстве дифтерит, может быть, появился бы такой его заменитель, который вообще сжег бы полмира...)»

«21.08. Опять один. Сражаюсь с коровами как лев. У всякой убегающей коровы хвост вытянут, а кончик хвоста расслаблен и болтается свободно. Кажется, что корова насмешливо делает тебе ручкой. Должен отметить, что самое страшное на свете животное — корова. (Хантер не прав: он считает, что леопард; какая ерунда!) Я был разгромлен. Противовес срывали дважды, рация не работает. Два раза мне удалось опятить бугая, но в третий раз он зашел с запада, оказавшись внезапно у меня за спиной, и стал в трех шагах. Он рыл копытом землю, уставлял рога и с сипением разевал пасть — видимо, грязно ругался...»

Последняя запись была недельной давности:

«29.08. Сижу один. К ящику прислонена дубина, рядом пирамида булыжников. На психрометре лежит рогатка с запасом зарядов. Жду врага, но враг от жары настолько ошалел, что даже и не нарывается — только чешется остервенело об триангуляционный знак третьего класса...»

Он взял ручку, снова поглядел на Эльбрус, вдохновляясь, и стал писать: «*Вот и еще неделя прошла,*— писал он.— *Неплохая была неделька — жаркая и без дождей с градом. Хотя по утрам иней уже выпадает, и мерзнет нос, высунутый из спальника. Время идет, а записывать совсем не хочется. Сидим на Харбасе, теперь — с Тимофеем. Каждый день одно и то же. Встали, поели горохового супа и — читать-перечитывать старые журналы. И, конечно же, споры обо всем, переходящие на личности. Потом вечер, разжигаем примус, запаливаем свечу и — шахматы, какао и снова споры обо всем, переходящие на личности. Тимофей — странный человек. Ко-*

мандор как-то сказал про него (с задумчивостью в голосе): "Интересно, сколько «с» в слове «Сыщенко»?"...»

Странный человек Тимофей подал голос:

— Пожалуйте вам. Принимайте гостей. Давно не виделись.

Это, оказывается, Магомет пожаловал. Во всей своей дикой грязноватой, небритой, хищной, горбоносой красе, наводящей на Тимофея Евсеевича спасительный первобытный ужас. На этот раз он, элегантно скособочившись в седле, держал в правой руке эмалированное ведро. Как тут же и выяснилось — с мясом. Точнее — с бараниной.

— Начальство посылает,— объяснил Магомет, остановивши лошадь и передавая ведро Вадиму.

Вадим принял ведро и позвал:

— Тимофей Евсеевич. Будьте так добры.

Тимофей выскочил из-за кухонной палатки, схватил ведро и тотчас же с ним скрылся на своей территории,— только зыркнул настороженно из-под неопрятных бровей на Магомета. Магомет, очень довольный произведенным впечатлением, блеснул двумя рядами стальных зубов и сказал ему вслед:

— Ведро верни, да?

Вадим предложил:

— Спешься. Посидим.

— Спасибо, с утра сижу,— ответил Магомет в своеобычной манере.

— Чайку попьем,— настаивал Вадим.

— Спасибо. Ехать надо. Начальство. Гостей ждешь? — спросил он вдруг.

— Гостей? Откуда здесь гости. Никого не жду.

— А командир где?

— В разведку поехал. Вечером вернется.

Тимофей Евсеевич снова обнаружился рядом, теперь уже с опустошенным ведром. Магомет принял ведро, подбросил его в руке, посмотрел направо, посмотрел налево, сказал небрежно:

— Значит, гостей не ждешь? — и, не дожидаясь ответа, тронул лошадь.

— Эй, Магомет! Когда быка от нас заберете? — спросил Вадим ему в спину.

Магомет сел в пол-оборота и проговорил наставительно:

— Это дурной бык. Ты — бери камень и бей его между рогами. Изо всей силы. Он другого ничего не понимает. Дурной бык. Бери большой камень, и — между рогов...

— Свежее решение,— сказал Вадим уже ему в спину.— Изменим жизнь к лучшему.

Магомет больше не оборачивался — слегка покачиваясь в седле, он спускался по склону — без всякой дороги, по осыпи, на север, в сторону затянутой сизой дымкой каменной горы, знаменитой не только своим чарующим именем Тещины Зубы, но еще и автомобильным спуском, название которого в переводе означало Вредно Для Души. Подал голос Тимофей Евсеевич:

— Дрянное мясо,— сказал он сварливо.— Что с ним делать прикажете? Мы на нем себе последние зубы поломаем.

— Сделайте харчо,— предложил Вадим.

— Ну да... Харчо... Харчо вредно.

— Ну, сделайте баранью похлебку. С чесноком. И с макаронами. Снотворное и слабительное в одном флаконе. Не только вредно, но и вкусно.

Тимофей Евсеевич ничего на это не ответил, только принялся активно брякать какими-то своими тарелками-кастрюлями, а потом вдруг запел тоненьким голосом:

Чому мне ня петь, чому ня гудеть,
Коли в маей хатаньке парадок идеть?..

Томительная жара окончательно установилась и теперь стояла вокруг, воздух струился и дрожал над восточным склоном, и вдруг там бесшумно возникли и словно поплыли сквозь это дрожание пятнистые коровьи туши, рога, помахивающие хвосты, слюнявые морды. Вадим, задремывая в кресле, следил за ними слипающимися глазами. А Тимофей Евсеевич все тянул, все зудел печально и не переставая:

Мушка на акошечке на цимбалах бье,
Паучок на стеночке кресаньки тке.

Чому мне ня петь, чому ня гудеть,
Коли в маей хатаньке парадок идеть?..

Потом он вдруг резко сам себя оборвал и сказал как бы с недоумением:

— Наши едут?

Вадим тут же проснулся и прислушался. Ничего не было слышно, кроме шипения примуса.

— Не может быть,— сказал он.— Откуда? Двух часов еще нет.

— А я вам говорю, что слышу. Машина едет. Оттуда.

Вадим снова прислушался. Кажется, и в самом деле раздавались какие-то посторонние звуки, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, и — из суеверия и из чистого упрямства — он сказал:

— Да не может этого быть. Ясно же было сказано: не раньше девятнадцати, а скорее — позже.

— Хорошо-хорошо,— легко согласился Тимофей Евсеевич.— Пусть будет такочки...

Он стоял посреди своего хозяйства (примусы, тарелки, миски, вилки-ложки, ведра, канистры) и, сложив обе руки козырьком, смотрел на юг, в сторону дороги. Он соглашался исключительно и только потому, что был уверен в своей безусловной правоте. И чем увереннее он себя чувствовал, тем легче соглашался. Оппоненту полагалось самому, лично, без всяких дополнительных аргументов и его, Тимофеевых, усилий убедиться в том, что посрамлен. Это у Тимофея Евсеевича был такой высший пилотаж ведения диспута. На любую тему.

На дороге, из-за зеленого бугра, показалась автомобильная крыша, и сразу же сделалось ясно, что великий спорщик и победитель дал на этот раз маху — крыша была черная, блестящая, роскошная, совсем в этих местах неуместная: крыша большого, богатого, очень богатого, неприлично богатого автомобиля.

Потом и сам автомобиль появился — выполз с натугой из-за бугра — черный, сверкающий на солнце, угрюмо роскошный «джип-гранд-чероки», «сухопутный крейсер», по пояс залепленный серой подсохшей грязью. Выполз и сразу остановился, слов-

но дальше ехать духу ему не хватало, постоял неподвижно несколько секунд, уставясь всеми своими двадцатью фарами, подфарниками и прожекторами, а потом распахнул разом четыре дверцы и принялся неторопливо и как бы нехотя извергать из себя пассажиров.

— Кто такие? — спросил Тимофей Евсеевич. В голосе его был страх.

— Не знаю.

— А почему это Магомет говорил, что вы ждете гостей?

— Он такого не говорил.

— Но я же сам слышал! — возразил Тимофей Евсеевич, и в голосе его взвизгнула истерика.

Трое шли к ним от джипа, и еще несколько осталось у машины, но Вадим смотрел только на этих троих. Собственно, он смотрел только на того, что шел посерединке — изящный, небольшой, очень аккуратный человек, весь в сером, элегантный, даже, кажется, с тросточкой. Старый знакомый. Он шел легко и споро, но без всякой, впрочем, торопливости — шел так, как ему было удобно идти, шел заканчивать дело, начатое еще в Петербурге, не законченное тогда, а теперь нуждающееся в быстром и эффективном завершении. Так ходят энергичные молодящиеся политические деятели перед объективами телекамер — решительно, напористо и целеустремленно. Узконосые штиблеты его аристократически сверкали на солнце, совершенно неуместные здесь, в мире кирзовых сапог и грязных кроссовок.

Слева от него, чуть отставая, вышагивал здоровенный шкаф, на полторы головы выше, обтянутый кожаной курткой, круглоголовый и, кажется, лысый, а может быть, выбритый наголо,— Вадим не стал его рассматривать, как не стал рассматривать и третьего — маленького, на вид совсем безвредного, мелкого, узкоплечего, с большой головой в кожаной кепке и в коричнево-зеленом камуфляже.

— Что за люди, никак я не могу понять...— бормотал Тимофей Евсеевич,— зачем они там остановились? Подъехать не могли?..— бормотал он, и еще что-то полуразборчивое и уже совсем в отчаянии.

Трое стремительно надвинулись и подошли уже почти вплотную. Серый знакомец приветливо помахал своей тросточкой, которая у него была вовсе не тросточка, а что-то вроде черной полированной указки, с которой он, видимо, всегда ходил. Не расставался. Как британский офицер со своим стеком.

Здоровенный носорог обогнул хозяйственную палатку справа и остановился почему-то рядом с Тимофеем, возвышаясь над ним, словно Голем, и теперь видно было, что он никакой не бритый, а именно лысый — с остатками рыжего пуха над ушами и с конопатым теменем, на котором уже и пуха не оставалось. Морда у него была круглая и неприятно асимметричная, словно он страдал флюсом.

Серый же со вторым своим спутником обогнул палатку слева и подошел к Вадиму со словами:

— Здравствуйте, здравствуйте, Вадим Данилович. Вот мы и снова свиделись. Что я вам говорил?..

Вадим смотрел, как он небрежно и элегантно усаживается за стол (без всякого приглашения), задирает ногу на ногу, сверкает покачивающимся штиблетом, тросточкой своей лакированной сверкает — черной остроконечной указкой с шариком на конце.

— У вас такой вид, Вадим Данилович, будто вы забыли, как меня зовут... Или не забыли?

— Не забыл,— сказал Вадим сквозь зубы.

— Замечательно. Поговорим?

— О чем?

— Да все о том же. Запамятовали?

Вадим молчал.

— Напомнить?

Вадим молчал, глядя на него исподлобья. Человек в сером улыбался — вежливой необязательной улыбкой светского льва, ведущего необязательный разговор о погоде. Или о политике. Или о футболе.

Большеголовый мелкий человечек в камуфляже садиться не стал, хотя свободные стулья располагались тут же, на виду. Он прислонился спиной к наблюдательному столбу и сложным образом переплел тощие свои ноги. Он тоже улыбался, но как-то

рассеянно, словно был далеко отсюда и думал совсем о другом. В сочетании со змеиными неподвижными глазками улыбка эта смотрелась странно и неприятно. Руки он держал в карманах куртки и все время шевелил там, в карманах, пальцами, словно что-то там, в карманах, разыскивал или ощупывал.

А здоровенный носорог нависал над Тимофеем, словно Идолище Поганое,— неподвижный, огромный, неуклюжий, будто бы надутый изнутри. Бедный Тимофей Евсеевич сидел под ним на корточках, боясь пошевелиться — зрачки у него были во всю радужку и судорожно бегали и дергались, похожие на издыхающих головастиков.

— Это вы что же — через всю Россию перли сюда, чтобы опять говорить об этих глупостях? — спросил Вадим сквозь зубы.

— А я вас сразу предупредил, что наш разговор — серьезный. Вы к нему несерьезно отнеслись, но это уж ваша проблема. Есть люди, которые все это глупостью отнюдь не считают...

— Ну и напрасно. Я уже вам все и совершенно ясно сказал...

— Стоп. Так у нас ничего не получится,— сказал серый человек с выраженным сожалением. У него было странное имя-отчество: Эраст Бонифатьевич. Впрочем, ниоткуда не следовало, что его и на самом деле так зовут.— Давайте попробуем с самого начала,— предложил Эраст Бонифатьевич.— Вы ведь знаете, кого выберут губернатором?

— Гос-споди,— сказал Вадим, демонстративно закрывая глаза.

— Не «господи», а просто отвечайте. Знаете ведь?

— Ну, предположим, знаю.

— Нет уж, дорогой вы мой! Давайте без всяких «предположим». Знаете или нет? Ведь знаете же!

— Знаю,— согласился Вадим неохотно.— Генерала выберут.

— Слава богу! Наконец-то мы хоть о чем-то договорились.

— Да ни о чем мы не договорились. Я и раньше не отрицал, что знаю...

— Вот именно! О том и речь, Вадим Данилович. Об этом и речь! А теперь вопрос номер два: откуда вы это знаете?

Вадим сморщился.

— Ну не могу я этого вам объяснить! Откуда вы знаете, что «пройдет зима — настанет лето»?

— «Спасибо партии за это». Неудачный пример. Это все знают.

— Ну так и это все знают. Что Генерала выберут. Вы разве сомневаетесь?

— В высшей степени.

— Ну и зря. Во второй тур выйдут Генерал и Зюзючник. Победит Генерал. Дважды два — четыре.

— Я вот уверен, что выберут Интеллигента.

— Да? Вы хоть газеты читаете? Знаете, какой у Интеллигента рейтинг?

— Знаю. Но выберут Интеллигента, и вы тому, Вадим Данилович, поспособствуете.

— Опять! Я же вам ясно сказал еще в прошлый раз...

— То, что вы мне сказали в прошлый раз, я прекрасно помню. А я вам тогда ясно объяснил, что этот ответ нас никак не устраивает. Помните?

— Кого это — «нас»?

— А вы не знаете? Нас. Крупными буквами: Н-А-С.

— Не понимаю.

— Все вы прекрасно понимаете. Не валяйте ваньку. Все вам было уже сказано и совершенно определенно.

— Ничего мне не было сказано,— возразил Вадим упрямо.— Аятолла какой-то. При чем здесь аятолла? Аятолла здесь при чем?

— Перестаньте валять ваньку,— повторил Эраст Бонифатьевич с напором.— Я не шучу.

Большеголовый тем временем извлек из кармана горсть орехов и принялся их — один за другим — очень ловко раскусывать маленькими специальными щипчиками. Зернышки он кидал в рот, не глядя, а шелуху ронял на траву. Все это получалось у него совершенно автоматически — глядел он только на Вадима, пристально и не мигая. Но — улыбаясь. Все еще. Только улыбка теперь сделалась у него совсем бледная, как это бывает на сильно недодержанной фотографии.

— Вы, Вадим Данилович, все-таки не молчите,— напомнил Эраст Бонифатьевич.— Я еще раз вам напоминаю и объясняю,

если вы действительно меня так и не поняли: разговор у нас серьезный. Очень серьезный. Так что — вы лучше отвечайте.

Вадим разлепил сухие губы:

— Вы что же — на самом деле верите, что я могу делать будущее?

— Я не верю,— веско сказал Эраст Бонифатьевич.— Я знаю.

— Но это же бред,— сказал Вадим беспомощно.— Бред же!

— Совсем нет. Нам хорошо известно, что вы не только видите будущее, вы еще умеете его, как вы сами выразились, «делать». Мы знаем это из очень достоверных источников. Самых достоверных, Вадим Данилович!

— Бред,— повторил Вадим.— Неужели вы сами не понимаете, что это — бред?.. Ну не бывает же так!

И тут раздался неожиданный, а потому особенно ужасный вопль Тимофея Евсеевича:

— Вадим Данилович! Поберегитесь! Не обманывайте товарищей! Ведь вы же МОЖЕТЕ! Не противьтесь, сделайте, что они хотят...

— Господи,— сказал Вадим, глядя на него с ужасом.— А вы-то куда еще?..

— Я же все знаю! — Тимофей Евсеевич по-прежнему сидел на корточках, словно нужду справляя, и в этой жалкой позе обвинительно кричал, сотрясаясь как бы в ознобе и даже руку обвинительно простирая в сторону Вадима.— Я же вижу, как вы погоду все время нам делаете!.. Он погоду делает! — продолжал Тимофей Евсеевич теперь уже доверительно обращаясь непосредственно к серому Эрасту Бонифатьевичу, который всем видом своим выражал сейчас самый неподдельный к происходящей сцене интерес.— Он не предсказывает, не-ет,— он делает! Всю дорогу. Когда устаем наблюдать — дождь. Когда надо наблюдений побольше — вёдро!!! Смотрите: осень на дворе, а у нас здесь — жара, без порток ходим... Ему же наблюдения сейчас нужны, чтобы ясное небо было, он же не может, чтобы ни одной звезды за ночь!..

— Интересно все-таки, сколько «с» в слове «Сыщенко»? — спросил Вадим хрипло, а рыжий Голем вдруг положил огромную

лапу Тимофею на голову, и Тимофей тут же замолчал, словно его выключили на полуслове.

Стало тихо, и в этой тишине Эраст Бонифатьевич подвел итог:

— Глас народа! — сказал он назидательно.— Вокс деи, так сказать. Не упирайтесь, Вадим Данилович, не надо. Все всё про вас давно знают. В девяносто третьем все до одного были уверены, что победят демократы. Весь советский народ, как один человек. Только вы говорили: нет, ребята, не будет этого, а будет вам Жириновский. Так оно и вышло! В девяносто четвертом все были уверены, что никакой войны в Чечне не будет, и только вы один...

— Чего вам от меня надо, вот я чего не понимаю,— сказал Вадим.— Что я по-вашему — волшебник, что ли?

— Не знаю,— сказал Эраст Бонифатьевич проникновенно.— Не знаю, и даже знать не хочу. Нам надо, чтобы победил на губернаторских выборах человек, которого все называют почему-то Интеллигентом, а уж как вы это сделаете, нас совершенно не касается. Волшебство? Пожалуйста, пусть будет волшебство. Колдовство, чары, телекинез... футурокинез, так сказать,— да ради бога. Вообще — пусть это будет ваше ноу-хау, мы не претендуем. Понятно?

— Мне понятно, что вы с ума сошли,— сказал Вадим медленно.

Он вдруг поднялся.

— Хорошо,— сказал он.— Ладно. Сейчас. Я только принесу бумаги...

Он шевельнулся — к палатке, но элегантный Эраст Бонифатьевич даже не посмотрел, а только лишь покосился в сторону рыжего Голема, и тот — единственный, кажется, шаг сделав — тотчас оказался между входом в палатку и Вадимом.

— Рыжий-красный — человек опасный...— сказал ему остановленный Вадим, и асимметричное лицо Голема перекосилось еще больше, он даже, кажется, прищурился от напряжения.

— Чево?! — спросил он чрезвычайно агрессивно, но неожиданно высоким и сиплым голоском.

— ...А рыжий-пламенный поджег дом каменный... Извини,— поправился Вадим поспешно.— Ничего личного. Это я так — от ужаса.

— Не обращай на него внимания, Кешик,— сказал небрежно Эраст Бонифатьевич.— Это он от ужаса. Шутит. Очень перепугался. Это, как известно, бывает... Вадим Данилович, вы бы сели. Что вы, в самом деле, вскочили как прыщ? Один мой замечательный знакомец говорит в таких случаях: сядьте на попу... Ну что там у вас в палатке может быть? Двустволка какая-нибудь, я полагаю? Так ее надо ведь еще выкопать из-под барахла, потом патроны разыскать, зарядить... Смешно, ей-богу, не серьезно. Бросьте, давайте лучше дальше разговаривать.

Вадим снова сел за стол, пригладил волосы обеими руками.

— Как говорят в таких случая англичане,— произнес он с вымученной улыбкой,— my poodle light, on dick as all. Что в переводе означает: мой пудель лает, он дико зол.

Эраст Бонифатьевич не сразу, но понял и сейчас же осведомился:

— Интересно, а что говорят в таких случаях голландцы?

— Не знаю.

— Ну хорошо, допустим... А французы?

— Алён-алён трэ,— немедленно откликнулся Вадим,— ма кар тэ ля пасэ.

— Что в переводе означает...

— Алена лён трэ, Макар теля пасэ. Сельская картинка. Левитан. Крамской. «Идет-гудет зеленый шум».

В ответ на это Эраст Бонифатьевич неопределенно хмыкнул и сказал с одобрением:

— Остроумно. Вы остроумный собеседник, Вадим Данилович. Но давайте вернемся к нашему маленькому делу.

— Но я не знаю, что вам еще сказать,— проговорил Вадим, устало прикрывая глаза.— Вы меня не слушаете. Я вам говорю: это невозможно. Вы мне не верите... Вы в чудеса верите, а чудес не бывает.

— А ЗНАТЬ будущее? — сказал Эраст Бонифатьевич с напором.— Знать будущее — это разве не чудо?

— Нет. Это не чудо. Это — такое умение.

— Исправлять будущее — это тоже умение.

— Да нет же! — сказал Вадим с досадой и с отвращением.— Я же объяснял вам. Это как газовая труба большого диаметра:

вы смотрите в нее насквозь и видите там, на том конце, на выходе, картинку — это как бы будущее. Если бы вы эту трубу повернули — увидели бы другую картинку. Другое будущее, понимаете? Но как ее повернуть, если она весит сто тонн, тысячу тонн — ведь это как бы воля миллионов людей, понимаете? «Равнодействующая миллионов воль» — это не я сказал, это Лев Толстой. Как прикажете эту трубу повернуть? Чем? Х..ем, простите за выражение?

— Это полностью ваша проблема,— возразил Эраст Бонифатьевич, слушавший, впрочем, внимательно и отнюдь не перебивая.— Чем вам будет удобнее, тем и поворачивайте.

— Да невозможно же это!

— А мы знаем, что возможно.

— Да откуда вы это взяли, господи?!

— Из самых достоверных источников.

— Из каких еще источников?

— Сам сказал.

— Что? — не понял Вадим.

— Не «что», а «кто». Сам. Понимаете, о ком я? Догадываетесь? САМ. Сам сказал. Могли бы, между прочим, и сообразить, ейбогу.

— Врете,— проговорил Вадим и поперхнулся.

— Невежливо. И даже грубо.

— Не мог он вам этого сказать.

— И однако же — сказал. Сами посудите: откуда еще мы могли бы такое узнать? Кому бы мы еще могли поверить, сами подумайте?

В этот момент Тимофей Евсеевич словно очнулся от гипноза. Он издал странный скрипучий звук, сорвался вдруг с места и кинулся прочь — огромными прыжками, перескакивая через натянутые палаточные стропы, петляя из стороны в сторону, словно исполинский потный заяц с прижатыми красными ушами,— выскочил из расположения и помчался к северному склону, прямо на призрачно мерцающие сахарные головы Эльбруса.

Все следили за ним, словно завороженные. Потом большеголовый любитель орешков спросил быстро, почти невнятно:

— Скесать его, командир?

— Да нет. Зачем? Пусть бежит...— Эраст Бонифатьевич вдруг легко поднялся и помахал своей тросточкой кому-то поверх кухонной палатки — видимо, тем, кто оставался у машины: все в порядке, мол, не берите в голову.— Пусть бежит,— повторил он, снова усаживаясь на место.— У него свои дела, у нас свои, правильно, Вадим Данилович?

Вадим молчал, глядя вслед Тимофею Евсеевичу — тот все еще скакал, все еще петлял, мелькая длинными голенастыми ногами в кирзовых никогда не чищенных сапогах. Он неплохо все это проделывал для пятидесятилетнего с лишним мужика, обремененного внуками и болезнями,— и даже очень неплохо. Видимо, сам господин Ужас нес его на своих бледных крыльях, и он сейчас не смог бы остановиться, даже если бы очень захотел.

— Молчите...— проговорил Эраст Бонифатьевич, так и не дождавшись не то чтобы ответа, но хотя бы какой-нибудь от Вадима реакции.— Продолжаете молчать. Проглотили дар речи... Ну, что ж. Тогда начинаем эскалацию. Кешик, будь добр.

Лысый носорог Голем-Кешик тотчас же надвинулся сзади и взял Вадима в свои металлические потные объятия — обхватил поперек туловища, навалился, прижал к складному креслу, зафиксировал, обездвижил, сковал,— только хрустнули внутри у Вадима какие-то не то косточки, не то хрящики. Теперь Вадим больше не мог шевельнуться. Совсем. Да он и не пытался.

— Руку ему освободи,— командовал между тем Эраст Бонифатьевич.— Правую. Так. И подвинься, чтобы я его физиономию мог видеть, а он — мою. Хорошо. Спасибо... Теперь слушайте меня, Вадим Данилович,— продолжал он, придвинув свое, неприязненно вдруг осунувшееся, лицо в упор.— Сейчас я преподам вам маленький урок. Чтобы вы окончательно поняли, на каком вы свете... Открыть глаза! — гаркнул он неожиданно в полный голос, вскинул свою черную указку и уперся острым жалом ее в щеку Вадима пониже левого глаза.— Извольте смотреть глаза в глаза! Это будет серьезный урок, но зато на всю вашу оставшуюся жизнь... Лёпа, делай — раз!

Большеголовый мелкий Лёпа освободил горсть от орешков, вытер ладонь о штаны и приблизился, небрежно брякая челюстями щипчиков. Это были блестящие светлые щипчики, специ-

ально для орехов — две металлических ручки с зубастыми выемками в том месте, где они скреплялись вместе поперечным стерженьком. Большеголовый мелкий Лёпа неуловимым привычным движением ухватил в эти зубчатые выемки Вадимов мизинец и сжал рукоятки.

— Такой маленький и такой непр-риятный...— сказал ему Вадим перехваченным голосом. Лицо его сделалось серым, и пот вдруг выступил по всему лбу крупными каплями.

— Не паясничать! — приказал Эраст Бонифатьевич, мгновенно раздражившись.— Вам очень больно, а будет еще больнее. Лёпа — два!

Мелкий Лёпа быстро облизнулся и ловко перехватил второй палец. «Н-ну, ты! — прошипел Вадиму в ухо рыжий Голем-Кешик, наваливаясь еще плотнее.— С-стоять!..»

— Все. Хватит...— Вадим задохнулся.— Хватит. Я согласен.

— Нет! — возразил Эраст Бонифатьевич.— Лёпа — три!

На этот раз Вадим закричал.

Эраст Бонифатьевич, опасно откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ним, играя черной указкой с шариком. На лице его проступило выражение брезгливого удовлетворения. Все происходило по хорошо продуманному и не однажды апробированному сюжету. Все совершалось правильно. Непослушному человеку вдумчиво, аккуратно, умело и со вкусом давили пальцы, причем так, чтобы обязательно захватить основания ногтей. Человек кричал. Вероятно, человек уже обмочился. Человеку преподавали серьезный урок, и человек был расплющен и сломлен. Что, собственно, в конечном итоге и требовалось: человек в совершенно определенной кондиции.

Потом он распорядился:

— Все. Достаточно... Лёпа! Я сказал: достаточно!

И они отступили, оба. Вернулись на исходные позиции. Как псы. В свои будки. Псы поганые. Шакалы. Палачи. Вадим смотрел на посиневшие свои пальцы и плакал. Пальцы быстро распухали, синее и багровое прямо на глазах превращалось в аспидно-черное.

— Мне очень жаль,— произнес Эраст Бонифатьевич прежним деликатным голосом светского человека.— Однако, это

было безусловно необходимо. Необходимый урок. Вы никак не желали поверить, насколько все это серьезно, а это — очень серьезно! Теперь — следующее...— Он сунул узкую белую ладонь за борт пиджака и извлек на свет божий длинный белый конверт.— Здесь деньги,— сказал он.— Неплохие, между прочим. Пять тысяч баксов. Вам. Аванс. Можете взять.

Длинный белый конверт лежал на столе перед Вадимом, и Вадим смотрел на него стеклянными от остановившихся слез глазами. Его сотрясала крупная дрожь.

— Вы меня слышите? — спросил Эраст Бонифатьевич.— Эй! Отвечайте, хватит реветь. Или прикажете мне повторить процедуру?

— Слышу,— сказал Вадим.— Деньги. Пять тысяч...

— Очень хорошо. Они — ваши. Аванс. Аванс не возвращается. Если шестнадцатого декабря победит Интеллигент, вы получите остальное — еще двадцать тысяч. Если же нет...

— Шестнадцатого декабря никто никого не победит,— сказал Вадим сквозь зубы.— Будет второй тур.

— Неважно, неважно...— проговорил Эраст Бонифатьевич нетерпеливо.— Мы не формалисты. И вы прекрасно понимаете, что нам от вас надо. Будет Интеллигент в губернаторах — будут вам еще двадцать тысяч. Не будет Интеллигента — у вас возникнут, наоборот, большие неприятности. Теперь вы имеете некоторое представление, какие именно это будут неприятности.

Вадим молчал, прижав к груди правую больную руку левой здоровой. Его все еще трясло. Он больше не плакал, но по виду его совершенно нельзя было понять, в уме ли он или в болезненном ступоре — согнувшийся в дурацком складном кресле трясущийся потный бледный человек. Эраст Бонифатьевич поднялся.

— Все. Вы предупреждены. Счетчик пошел. Начинайте работать. У вас не так уж много времени, чтобы повернуть вашу газовую трубу большого диаметра: всего-то каких-нибудь пять месяцев, даже меньше. Как известно,— он поучающе поднял длинный бледный палец,— даже малое усилие может сдвинуть гору, если в распоряжении имеется достаточно времени. Так что приступайте-ка лучше прямо сейчас...

— Если нет трения...— прошептал Вадим, не глядя на него.

— Что? А, да. Конечно. Но это уж ваши проблемы. Засим желаю здравствовать. Будьте здоровы.

Он повернулся и пошел было, но вновь остановился:

— На случай, если вы решите бежать в Америку или там вообще геройствовать — у вас есть мама, и мы точно знаем, что вы ее очень любите...— Лицо его брезгливо дрогнуло.— Терпеть не могу такого вот низкопробного шантажа, но ведь с вами иначе никак нельзя, с поганцами...— Он снова было двинулся уходить и снова задержался.— В качестве ответной любезности за аванс,— сказал он, приятно улыбаясь.— Не подскажете, кого нынче поставят на ФСБ?

— Нет,— проговорил Вадим.— Не подскажу.

— Почему так? Обиделись? Зря. Ничего ведь личного: дело, специфический такой бизнес, и боле ничего.

— Понимаю,— сказал Вадим, глядя ему в лицо.— Ценю,— говорить ему было трудно, и он произносил слова с особой старательностью, как человек, который сам себя не слышит.— Однако любезность оказать не способен. Я знаю, чего хотят миллионы, но я представления не имею, чего хочет дюжина начальников.

— Ах вот так, оказывается? Ну да. Естественно. Тогда — всего наилучшего. Желаю успехов.

И он пошел прочь, больше уже не оборачиваясь, помахивая черной тросточкой-указкой — элегантный, прямой, весь в сером, уверенный, надежно защищенный, дьявольски довольный собой. Мелкий Лёпа уже поспешал следом, не прощаясь, на ходу засовывая в карман свои ореховые щипчики — такой маленький, и такой непр-риятный!.. А вот Кешик задержался. Поначалу он сделал несколько шагов вдогонку начальству, но едва Эраст Бонифатьевич скрылся за кухонной палаткой, он остановился, повернул к Вадиму рыжее лицо свое, вдруг исказившееся, как от внезапного налета зубной боли, и, не размахиваясь, мягкой толстой лапой махнул Вадима по щеке так, что тот моментально повалился навзничь вместе с креслом и остался лежать с белыми закатившимися глазами. Кешик несколько секунд смотрел на него, потом еще несколько — на узкий белый конверт, оставшийся на столе без присмотра, потом снова на Вадима.

— С-сука ссаная...— просипел он едва слышно, повернулся и, тяжело бухая толстыми ногами, поскакал догонять своих.

Некоторое время Вадим лежал как упал — на спине, нелепо растопырив ноги, раздавив собою сложившееся после падения кресло. Потом в глазах его появился цвет и смысл, он задышал и попытался повернуться набок, опираясь на локоть больной руки. Повернулся. Освободился от зацепившегося кресла. Пополз.

Вставать он даже и не пытался. Полз на локтях и коленях, постанывая, задыхаясь, глядя только вперед — на два ведра с нарзаном, поставленные с утра под тент хозяйственной палатки.

Дополз. Сел кое-как и, оскалившись заранее, погрузил больную руку в ближайшее ведро.

— Ничто не остановит энерджайзер...— сказал он в пространство и обмяк, прислушиваясь к своей боли, к своему отчаянию, к опустошенности внутри себя и — с бессильной ненавистью — к мрачному бархатному взрыкиванию роскошного «джипа-чероки», неторопливо разворачивающегося где-то там, за палаткой, на бугристой дороге.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 1. ОТЕЦ ТИМОФЕЯ ЕВСЕЕВИЧА

«...Тимофей — странный человек. Он каким-то непонятным образом зациклен на своем отце. Широчайшее поле деятельности для упертого психоаналитика. Отец — то, отец — се. Лихость отца. Умелость отца. Многоумие его же. Ловкость...

Образец лихости: одна тысяча девятьсот, примерно говоря, пятьдесят шестой год. Колхоз имени Антикайнена (где-то на Карельском перешейке под Питером). Стройбат под командой, сами понимаете, отца разбирает амбар, сохранившийся еще с финских времен. Принципиальный спор между, сами понимаете, отцом и местным бригадиром: разберут солдаты амбар за один день или — ни в коем случае. Проигравший должен залезть на печную трубу и туда (при всех) «насерить» (что сказано, то сказано, не вырубишь топором). Так вот:

не только за семь часов амбар разобрали, но еще, когда бригадир, глядя на высоченную (пять метров) печную трубу красного кирпича, принялся ныть, что у него, мол, в спину вступило,— сами понимаете, отец на эту трубу, «взлетев как орел, там как орел уселся и в нее насерил... извиняюсь за это выражение»... А было в те поры отцу, чтобы не соврать, уже сорок восемь и с хвостиком... Пример многоумия: «Человек есть животное двуногое, всегда алчущее, никогда не сытое...» (где он это вычитал — бог знает, но не сам же придумал?) И еще: «Самый упорный солдат, который обманутый. На правде солдата не воспитаешь, а воспитывать приходится, куда деваться, иначе они же тебе же на голову и сядут...»

Он (отец, сами понимаете) вообще любил вспоминать про войну. Но как-то странно. На этой его войне не стреляли и даже, кажется, не убивали. «...Солдаты прибегают: товарищ капитан, там в подвале вино — двенадцать бочонков! Я сразу же — так: два бочонка Бате, и быстро, быстро, в темпе вальса... Очень был Батя доволен, парабеллум подарил, трофейный, у какого-то полковника отобрали...» Видимо, он умел приспособиться, этот, сами понимаете, отец. «У нас был начальник контрразведки СМЕРШ майор Скиталец — зверюга, и в глазах у него — смерть, так он у меня из ладони ел, как лошадь... Потому что надо уметь приспособиться, а это — наука!..» В одна тысяча девятьсот сорок пятом, уже в Восточной Пруссии, он, было такое дело, жил сразу и с мамашей — хозяйкой дома, и с ее дочкой. Можно сказать — в одной кровати. Причем — никакого насилия: сами предложились, что ж ему — отказываться?.. А осенью того же сорок пятого, уже в Манчжурии, они из орудийных амортизаторов выливали тормозную жидкость и на освободившееся место засовывали штуки шелка, чтобы на КПП не засекли... И так далее, абсолютно в том же духе.

Умер он в одна тысяча девятьсот семьдесят шестом: на зимней рыбалке, но уже весной,— поблизости от Кивгоды унесло его со льдиной вместе в открытые воды, и никто его больше никогда не видел...

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений». Не знаю, не уверен. Кстати, я вот вообще никогда не видел своего отца. Даже на фотографиях. Так может быть, оно и к лучшему?..»

Глава вторая

ДЕКАБРЬ. ВТОРОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОСТОМАРОВ ПО ПРОЗВИЩУ ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ

Ночью разразилась оттепель — потекло, закапало, застучало по железным карнизам. С внезапным грохотом обрушивались подтаявшие ледяные пробки, проваливаясь в многоэтажные жестяные колодцы водосточных труб. Сделалось сыро и мерзко, в том числе и в доме. Всю ночь он ворочался, просыпаясь и снова с трудом засыпая, слушал сквозь тяжелую дрему, как Жанка торопливо и неразборчиво говорит кому-то нечто совсем вроде бы несвязное, но при этом, как ни странно, очень искреннее и беспримесно чистое — точно ручеек журчит среди зелени. В результате выспаться не получилось: он поднялся в чертову рань, еще семи не было — с больной головой и злой как собака. А день, между прочим, предстоял тяжелый: три контакта, причем все время с разными объектами и при этом один контакт вообще — наружный.

Для начала, как и было условлено, за пятнадцать минут до девяти он пришел на угол Малой Бассейной и Люблинской (где на доме с незапамятных времен мелом было написано печатными буквами «ЗЮГАНОВ спаси россию»), купил, как было договорено, сливочный вафельный стаканчик и принялся неторопливо его поедать, читая — по собственной уже инициативе — вывешенную тут же газетку «Петропавловское время» за вчераш-

нее число. Ближайший фонарь располагался не так уж к нему и близко, так что в чертовой предутренней тьме читать было трудно, а вдобавок еще и неинтересно: что-то там такое насчет профессионального обучения, про ярмарку мехов, и еще какая-то предрождественская мутотень...

Зонтика он с собой, естественно, не брал: какие зонтики в декабре месяце? Однако без пяти девять начался дождь. Все, кто скопился к этому времени на углу, все эти жалкие ранние пташки-воробушки, дожидающиеся кто — свидания, а кто — автобуса «четверки», одинаково нахохлились, съежились, скукожились, и лица у всех сделались одинаково несчастные и мокрые, словно бы от слез.

Без одной минуты девять (немец паршивый, педантичный) на углу образовался Работодатель — в обширном английском плаще до пят и с титаническим зонтом, тоже английского происхождения. Он занял позицию в шаге от Юрия, грамотно расположившись к нему спиной (мокрым блестящим горбом зонта), и стал дожидаться клиента, который, видимо, не был ни немцем, ни педантом, а потому опаздывал, как и полагается нормальному русскому человеку мужского пола, если свиданка не сулит ему ничего особенно хорошего или такого уж совсем плохого.

Не прошло, однако, и пяти минут, как выяснилось, что клиент еще вдобавок и не мужчина вовсе. Юрий отвлекся на статью о коррупции в органах милиции, а когда вновь вернулся к реальности, на Работодателя наседала статная, яркая особа в коричневом кожаном пальто и с огромными, красными, пушистыми волосами, красиво усеянными водяной пылью. В руках у нее был мощный оранжевый ридикюль, и говорила она хотя и шепотом, но необычайно напористо и энергично. Весь вид ее вызывал в памяти полузабытое ныне понятие «бой-баба»,— равно как и любимую Работодателеву по этому поводу формулу: «Конь с яйцами».

Поскольку особа всячески старалась сохранить приватность, слышно ее — особенно поначалу — было плохо. Но шепот ее был громоподобен, да и не умела она шептаться — она была из тех, кто провозглашает свое мнение во всеуслышание и на страх врагу. Резко и зычно. Поэтому Юрий довольно быстро оказался в

курсе дела, тем более что Работодатель под напором коричневого пальто вынужден был все время пятиться (чтобы не оказаться растоптанным под копытами) и вскорости уперся своим мокрым зонтом в плечо Юрию, так что и тому тоже пришлось отступить-подвинуться, сохраняя, впрочем, дистанцию достаточной слышимости.

А обстоятельства дела сводились к тому, что клиента, оказывается, ночью сегодня схватил радикулит. Встал он это часов в пять по малой нужде — тут его и скрючило, да так, что из сортира до дивана пришлось его, бедолагу, на руках нести («буквально!..»), и теперь он не способен передвигаться не то чтобы как люди, но даже и на костылях. (А костыли припасены у них в доме заранее, с незапамятных времен и именно для таких вот случаев.) Пришлось сделать даже инъекцию диклофенака, и теперь он спит. Так что не подумайте: ни о каком манкировании своими обязательствами речи не идет, а идет речь только лишь и исключительно о неблагоприятном сочетании обстоятельств и, можно сказать, о несчастном случае...

Ошеломленный (и полузатоптанный) Работодатель слабо и робко отбивался в том смысле, что ладно, мол, чего уж теперь, да что вы, ей-богу, так беспокоитесь, ну нет и нет, ничего страшного, пусть поправляется, созвонимся, передавайте мои соболезнования, это ж надо ж, как не повезло, но страшного-то ничего не случилось, что вы так волнуетесь... И они пошли шептаться задавленными голосами уже по второму кругу.

Когда все это кончилось (яркая статная особа удалилась так же внезапно, как и налетела: сорвавшись с места, штурмом взяла подошедшую «четверку», затоптав по дороге какую-то зазевавшуюся старуху), Работодатель, не скрывая огромного своего облегчения, перевел дух и, поглядев небрежно вправо-влево, двинулся (походкой фланера) вверх по М. Бассейной в направлении станции метро. Выждав положенные по конспирации две минуты, Юрий двинулся за ним (походкой совслужащего, опаздывающего на работу). В подземном переходе они воссоединились.

— А почему, собственно,— шепотом? — спросил Юрий (вспомнив старый анекдот про генеральский автомобиль на правительственной трассе).

— Пива холодного после бани хватимши...— сипло и немедленно ответствовал Работодатель, вспомнив, надо полагать, тот же самый анекдот.— Представления не имею, что он ей там наплел такого, что ее на конспирацию потянуло... А вообще-то странная какая-то история, должен тебе признаться. Радикулит, видите ли, у нас возникает в самый ответст...

И оборвав себя таким вот образом, буквально на полуслове, Работодатель замолчал, глубоко задумавшись. Юрий тоже попробовал обдумать происшедшее, но у него ничего интересного не получилось. Он никогда не отличался способностями к дедукции, индукции и ко всякой прочей формальной логике. Он обычно видел только суть вещей, совершенно при этом не понимая подоплеки. Ну, назначил свидание. Ну, схватил его ридикюль... Дело житейское. Прислал вместо себя бабу свою. Потому что неловко человеку показалось — просто взять и совсем не прийти... Ну и в чем, собственно, проблема?

Самому Юрию проблема виделась сейчас только одна и совсем другая. Работодатель скуп, как двадцать четыре Плюшкина. Заплатит он теперь за несостоявшийся сеанс или же уклонится? На вполне законных, между прочим, основаниях. «За что платить, если не за что платить?» И получалось (после применения дедукции и индукции), что двадцать гринов, в скобках — баксов, только что накрылись медным тазом — старым, дырявым и с прозеленью. И с длинной гладкой ручкой притом — для удобства накрывания... Он попытался вспомнить, сколько у него оставалось в последний раз на книжке, но вспомнить не сумел. Вспомнил только, что немного. То ли сто черно-зеленых, то ли двести.

Между тем они шли уже вдоль решетки Парка Свободы, и дождь становился всё сильнее и всё омерзительнее, а встречные-поперечные всё мокрее и чернее,— они все были словно выкарабкавшиеся из воды (из дымящейся полыньи) утопленники. Они были на вид совсем неживые, в отличие от Работодателя, пусть даже и погруженного в размышления. На роденовского Мыслителя он, впрочем, отнюдь не походил. У него была густая, абсолютно седая шевелюра и постоянно красное, даже, пожалуй,

малиновое лицо не то скандинавского шкипера, не то кадрового употребителя спиртных напитков.

— В такую погоду,— сказал Юрий, стирая щекочущую воду с лица,— хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Без зонтика.

— А кто же ей не велел зонтика брать, спрашивается,— тут же откликнулся Работодатель, не выходя, однако, из задумчивости.

— Кому — ей?

— Да собаке.

Юрий не нашелся, что на это сказать, и некоторое время они шли молча, огибая ажурную ограду Парка, чтобы попасть на автостоянку, где у Работодателя мокла под дождем машина, «нива», мрачная и грязная, словно тягач в разгар осеннего наступления. Они погрузились, и все окна в машине тотчас запотели до полной непрозрачности. Работодатель принялся их протирать грязноватым вафельным полотенцем, а Юрий сидел без какого-либо дела и думал, что в машине вот воняет кошками, сил нет, как воняет, хотя уже полгода, наверное, прошло с того страшного дня, когда они возили Работодателева Рыжика в ветеринарную поликлинику и Рыжик, непривычный к автомашинам, ополоумев со страху, обмочил вокруг себя все — сиденья, пол, а под занавес и самого Юрия, исполненного глубокого, но бессильного к нему сострадания.

— Я одного не понимаю,— объявил вдруг Работодатель, который к этому моменту уже протер наиболее важные стеклянные поверхности и теперь чистил от грязи отвратительно скрипящими «дворниками» ветровое стекло.— Я не понимаю, зачем надо было так затейливо и очевидно врать

— А кто это тебе, бедненькому, врет? — спросил Юрий, тотчас профессионально насторожившись.

— Да бабель эта, красноволосая... Ну, сказала бы, что простудился, мол. Или что на службу срочно вызвали... А то — «радикулит», «костыли», «инъекция»... Какая там еще инъекция — от прострела?

Юрий посмотрел на него с подозрением. Проверяет, что ли? «Тестирует» (как он любит выражаться)? А ведь не похоже! Ра-

ботодатель скуп, но справедлив. Призрак «хрустящего Джексона» вдруг снова забрезжил в пространстве возбудившегося воображения.

— Она тебе не соврала ни слова,— сказал он по возможности веско.

— То есть? — Работодатель повернулся к нему всем телом и уставился едкими светло-зелеными глазами.

— То есть все, что было тебе сказано — все правда.

— Ручаешься?

— Ну.

— Точно?

— Ну! — сказал Юрий с напором и как бы для вящей убедительности решился тут же и ввернуть: — Зря ты мне, что ли, деньги платишь!

Работодатель помотал малиновым лицом.

— Нет. Уж надеюсь, браток, что не зря... Но и удивляться тебе при этом — тоже не устаю. Ей-богу. Ладно, поехали.

И они поехали. Покатили, хрюкая двигателем, по черному, мокрому проспекту Героев Шипки, освещенному оранжевыми фонарями, сквозь безнадежный сеющий дождь пополам с туманом, опасно, с выездом на встречную полосу, обгоняя гигантские грузовики и бесконечной длины трейлеры дальнобойщиков, а потом повернули направо (по чистому «желтому» и из левого ряда) и сразу же нырнули в тоннель под площадью Свободы.

Оба молчали. Юрий молчал, находясь в состоянии голодного удовлетворения в предвкушении заработанной (в поте лица) двадцатки. А Работодатель молчал по обыкновению своему. Предстоял контакт, он не любил разговоры разговаривать перед контактом, даже перед самым пустяковым, а сейчас, видимо, контакт предстоял сложный, и требовал он, видимо, полного сосредоточения внимания и внутренней нацеленности на объект.

Молча доехали до своей родной Елабужской, молча выгрузились, молча зашли в подъезд. Охранник Володя, сидевший за столиком у входа в АО «Интеллект», сделал им приветственно ручкой — они молча и дружно ему кивнули. Поднялись по широкой старинной лестнице (некогда беломраморной, а теперь,

после ремонта,— под мрамор) на второй этаж: Работодатель впереди, Юрий — следом, на две ступеньки ниже, со всей почтительностью, как и подобает наемному работнику. Перед дверью в офис задержались и наконец издали некий звук: Работодатель с неразборчивым шипеньем поправил снова сбившуюся на сторону, временную, от руки писанную (Юрием) табличку

ЧАСТНОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ПОИСК-СТЕЛЛС»

после чего вступили в приемную.

Здесь было светло и, слава богу, тепло. Секретарша Мириам Соломоновна говорила по телефону и, увидевши их, сделала строгие глаза и длинным черно-багровым ногтем уставилась в Работодателя.

— ...Да, он уже пришел, минуточку...— сказала она в трубку и, прикрыв микрофон ладонью, сообщила: — Это Кугушев. Очень недоволен, звонит сегодня второй раз.

Работодатель тотчас же прошел к себе в контору, а Юрий разделся и разместил мокрое пальто на вешалке.

— Кофе будете? — спросила его Мириам Соломоновна. Она уже была на подхвате — полная фигура ее выражала стремительную готовность сей же час обслужить: кофе, чай, рюмка бренди, сигаретка «Винтер», распечатать файл, найти ссылку, сгоношить бутерброд, дозвониться до ремонтной службы, вызвать ментов, сделать инъекцию, заштопать дырку в кармане, вправить вывих — она все умела и никогда ни от чего не отказывалась. Она была — клад.

Ей было пятьдесят шесть лет, дети ее отирались не то в Израиле, не то в Штатах, муж пребывал в длительных бегах, она была свободна и скучала. Работодателю она приходилась дальней родственницей, очень дальней: он каждый раз запутывался, пытаясь определить степень родства — то ли тетка двоюродной сестры приемной матери, то ли еще что-то, еще даже более отдаленное.

— Спасибо,— сказал Юрий и тут же добавил, предвидя новый вопрос: — Спасибо, нет. У нас клиент сейчас,— объяснил он, хотя ничего объяснять не требовалось — Мириам Соломо-

новна не нуждалась ни в каких объяснениях. Она была вполне самодостаточна — эта белая рубенсовская женщина с антрацитовыми волосами Гекаты.

— Почту разбирать будете? — спросила она, протягивая ему желтокожую папочку с аккуратно завязанными тесемками.

— Пожалуй...— Он принял папку, поискал, что бы такое ей сказать, гекатоволосой, приветливое, дружелюбное что-нибудь, теплое,— и сказал (вполне по-американски): — Прекрасно смотритесь сегодня, Мириам Соломоновна!

Она улыбнулась блестящими губами.

— Это из-за дрянной погоды,— объяснила она.— Повышенная влажность мне идет, как вы могли уже не раз заметить.

Это была неправда (он почувствовал характерный «толчок в душу», как он это про себя называл,— у медиков же это называлось сердечной экстрасистолой), и улыбка у него в ответ на ее неправду получилась фальшивая, хотя, казалось бы, ну какое ему дело до этой маленькой, бытовой, бескорыстной, исключительно для гладкости разговора, кривды?

— Пойду плодотворно трудиться,— сказал он, поспешно закругляясь.— Чего и вам от души желаю.

В конторе Работодатель все еще разговаривал по телефону. Он помещался в своем «кресле для руководителя» (сто пять долларов, включая доставку) — угольно-черном, с неимоверно высокой спинкой и круглыми подлокотниками,— помещался, перекрутивши себя сложнейшим образом в некий узел из длинных подергивающихся конечностей и сделавшись похож не то на осьминога в черной паре, не то на клубок пресмыкающихся в состоянии так называемого склещивания, то есть занятых любовью. Юрий подумал (в который уже раз): да-а, увидь его сейчас случайный клиент, хрен бы он захотел нас нанять — разве что для цирка-шапито.

— ...Главное! — втолковывал Работодатель в трубку специфическим своим, только для клиентов, бархатистым голосом.— Нет-нет, вот это и есть самое главнейшее! А все остальное — малосущественно, прах, небытие материи, вы уж мне поверьте...

Юрий не стал его слушать, а прошел прямо к своему рабочему месту, уселся, отложил в сторону желтую папку с почтой и

принялся настраивать аппаратуру. Включил компьютер, проверил магнитофон, проверил сигнальную кнопку — все вроде бы было о'кей: магнитофон писал и считывал, кнопка нажималась легко и бесшумно, оставляя в пальце приятное ощущение «шарика от пинг-понга», и сигнальная лампочка на столе у босса срабатывала — красноватый блик ее можно было при специальном старании заметить на подошве Работодателя, находившейся сейчас примерно там, где в момент делового контакта должна была находиться Работодателева физиономия. Вообще говоря, это было неудачное решение — с сигнальной лампочкой. Клиент мог заметить этот отблеск и насторожиться, или удивиться, или даже заинтересоваться, и это было бы совершенно ни к чему. Но ничего другого они придумать не сумели, все другие способы сигнализации оказывались либо сложными, либо малонадежными, а опыт показал, что клиенту, как правило, не до того, чтобы следить за таинственными красноватыми отблесками на загадочном малиновом лице Великого Сыщика.

— Надо табличку на двери закрепить как следует,— распорядился Работодатель. Он уже повесил трубку и теперь распутывал себя, хрустя суставами.— Займись.

— Ладно,— сказал Юрий.— Сейчас?

— Как только, так сразу. А сейчас уже три минуты одиннадцатого. Клиент на носу.

— Опоздает,— сказал Юрий уверенно.— Такие всегда опаздывают.

— Откуда ты знаешь? — спросил Работодатель с любопытством.— Ты ж его даже и не видел еще.

— По голосу. Такие всегда опаздывают.

— Какие?

— Ну...— Юрий затруднился.— Неуверенно-мямлистые. Ни шаткие, ни валкие...

— Слушай, может быть, у тебя еще и такой талант имеет быть?

Юрий ответить не успел, потому что строго-казенный голос Мириам Соломоновны из селектора на столе объявил:

— Павел Петрович, здесь господин Епанчин. Ему назначено на одиннадцать.

Работодатель скорчил Юрию рожу, означающую что-то вроде «хрен у тебя, а не талант», и бархатно произнес в микрофон:

— Просите, пожалуйста.

Господин Епанчин (Тельман Иванович, 68 лет, вдовец, пенсионер бывшего союзного значения, бывший штатный чиновник Общества филателистов Российской Федерации, известный филателист, старинный и заслуженный консультант компетентных органов, проживающий по адресу... телефон... факс... без вредных привычек, без политических убеждений, состоит в разводе, жена проживает в Москве, сын — астрофизик, живет отдельно, работает в ГАИШе... и тэ дэ, и тэ пэ, и пр.) оказался сереньким маленьким пыльным человечком с разрозненными золотыми зубами и с быстрыми мышиными глазками на морщинистом лице Акакия Акакиевича Башмачкина.

Вошел и поздоровался без всякого достоинства, быстро-быстро потирая озябшие сизые ручонки, подшмыгивая серым носиком (не граф де ля Фер, нет, совсем не граф, и даже не канцлер Сегье, а скорее уж господин Бонасье, но — заметно съежившийся от старости и аскетического при советской власти образа жизни). Чинно присел в предложенное кресло. Скрытно, но внимательно огляделся и тотчас же затеял маленькую склоку насчет Юрия, присутствие коего показалось ему, естественно, не обязательным и даже излишним. Работодатель, естественно, придерживался по этому поводу мнения прямо противоположного. Произошел следующий разговор, во время которого Юрий нейтрально помалкивал, продолжая быстренько изучать досье клиента («фотография в полный рост с загадочным интимом», как любил выражаться относительно таких досье Работодатель).

— У меня, знаете ли, дело чрезвыча-айно деликатное, чрезвычайно...

— Разумеется, дорогой Тельман Иванович! За другие мы ведь здесь и не беремся...

— Тельма́н,— поправил его клиент голосом раздраженным и даже капризным.— Меня зовут Тельма́н Иванович, с вашего позволения.

— Прошу прощенья. И в любом случае вы можете рассчитывать у нас на полную и абсолютную конфиденциальность.

— Да-да, это я понимаю... Фрол Кузьмич мне вас именно так и аттестовал...

— Ну, вот видите!

— И все-таки... Здесь случай совершенно особенный. Дело это настолько щекотливое... Мне придется называть звучные имена, очень даже звучные... А немцы, между прочим, знаете, как говорят: что знают двое, знает и свинья, хе-хе-хе, я извиняюсь. Двое!

— Совершенно с вами согласен, уважаемый Тельман Иванович. И с немцами — тоже согласен. Но ведь сказал же понимающий человек: «Два — любимое число алкоголика». А в Писании так и совсем жестко сформулировано: где двое вас собралось, там и я среди вас. И соответственно, я предупреждаю, просто обязан предупредить, что вся наша беседа записывается.

— Ах, вот даже как! Но в этом случае я вынужден буду, к сожалению...

И оскорбленный в лучших своих ожиданиях господин Епанчин принялся демонстративно собираться покинуть сей негостеприимный кров — задвигался, изображая сдержанное дипломатическое возмущение, зашевелился лицом и всем телом, начал приподниматься над креслом, но никуда, разумеется, не ушел, и даже спорить перестал, а только уселся попрочнее и произнес с покорностью:

— Ну хорошо, ну раз так... Раз иначе нельзя...

— Нельзя, Тельман Иванович! — бархатно подхватил Работодатель.— Никак нельзя иначе. Ноблес, сами понимаете, оближ. На том стояли и стоять будем, а что касается гарантий, то они абсолютны — здесь у нас тоже ноблес неукоснительно обли[illegible]можете быть совершенно уверены: ни одно сказанное ва[illegible]тих стен не покинет. Без вашего, разумеется, специального позволения.

Господин Епанчин произнесенными заверениями, видимо, удовлетворился. Он снова в двух-трех беспорядочных фразах подчеркнул чрезвычайную и особливую щепетильность предлагаемого дела, снова без особой связи с предметом, но с явным

нажимом, напомнил о таинственном (для Юрия) Фроле Кузьмиче, рекомендовавшем ему Работодателя, как серьезного профессионала и в высшей степени порядочного человека, и только после этого, совершенно бессвязного и даже, пожалуй, бессюжетного вступления, принялся излагать наконец суть.

Суть эта (изложенная, напротив, отточенно гладкими, ясными, хорошо отредактированными и, может быть, даже заранее отрепетированными фразами) состояла в следующем.

Господин Епанчин, оказывается, был не просто видным коллекционером-филателистом, он был («доложу вам без ложной скромности») обладателем крупнейшей в СССР (он так и сказал — «в СССР») коллекции марок, включающей в себя выпуски всех без исключения стран мира, ограниченные, впрочем, одна тысяча девятьсот шестидесятым годом. Марки, выпущенные в мире после шестидесятого года нашего века, его почему-то не интересовали, но все, что было выпущено ДО ТОГО, составляло предмет его интереса и в значительной — «в очень значительной степени, что-нибудь порядка девяноста пяти процентов» — было в его замечательной коллекции представлено.

Среди многочисленного, прекрасной красоты, но, так сказать, «рядового материала», находится в его сокровищнице и некоторое количество «мировых раритетов», подлинных филателистических жемчужин, а правильнее сказать — бриллиантов чистейшей воды и неописуемой ценности. Каждый из этих бриллиантов знаменит, известен по всему миру в количестве двух-трех, максимум десяти экземпляров, и когда — редко, крайне редко! — появляется подобный такой на аукционе, то уходит он к новому владельцу по цене в многие десятки и даже сотни тысяч долларов.

И вот один из этих бриллиантов, самый, может быть, драгоценный, у него несколько месяцев назад пропал, а правильнее сказать, был варварски похищен. И он догадывается, кто именно совершил это хищение. Более того, он (Тельман Иванович) догадывается, когда — в точности — это произошло и при каких конкретных обстоятельствах. Однако доказать что-либо у него (Тельмана Ивановича) никаких возможностей нет, есть только обоснованные подозрения, и задача, которую он хотел бы перед Работодателем поставить, как раз и состоит в том, чтобы в

этой деликатнейшей ситуации найти хоть какой-нибудь реально приемлемый выход и, по возможности, восстановить попранную справедливость, а именно: защитить законное право личной собственности — пусть даже и без наказания преступника, буде таковое наказание окажется затруднительным...

Любопытно: начал он говорить по заранее заготовленному и говорил поначалу казенно, бесстрастно и осторожно, словно по минному полю шел на ощупь, но постепенно разгорячился, история этого отвратительного, низкого преступления, этой глубоко личной несправедливой обиды разбередила старые раны, он сделался страстен и зол. «Как он только посмел, этот подлый вор? Как посмел он затронуть самое святое?..»

...Он, знаете ли, английские колонии собирает, а я — весь мир. Так вот МОИ английские колонии лучше его в два раза, и это его озлобляет, это его выводит из себя совершенно... Как же так: ведь он академик, миллионер, а я кто? Да никто. А моя коллекция в два раза лучше. Он этого уже не способен переносить, и он на все готов, чтобы меня опустить — не так, так иначе... Сначала слухи обо мне унизительные распространял, будто я в НКВД... в КГБ... Неважно, гнусности всякие. Интриги строил, чтобы меня из руководства Общества исключить. А теперь вот — пожалуйста! — докатился и до уголовщины...

...Это был душный августовский вечер, гроза надвигалась, было жарко, потно, Академик — грузный, одышливый мужчина — поминутно утирался роскошным шелковым платком, они пили чай за обеденным столом и говорили «о редких вариантах ретуши ранних марок Маврикия». Они были одни в квартире, Полина Константиновна накрыла им чай и ушла до понедельника (а произошло все в пятницу, часов в восемь-девять вечера). Окна были [redacted] — от духоты,— толку от этого было немного, но это [redacted] обстоятельство, потому что все началось, видимо, именно с предгрозового порыва ветра: ветер вдруг ворвался в комнату, ахнули с дребезгом тут же захлопнувшиеся створки окна, полетели со стола бумажные салфетки, он кинулся их (зачем-то) ловить, зацепил стакан, чайник, вазочку с конфетами, еще что-то, все полетело на скатерть, на пол, Академик с непри-

личным смехом (хотя чего тут, спрашивается, было смешного?) выскочил из кресла, спасая штаны от разлившегося чая...

...Нет, марок, разумеется, на чайном столе не было. Все альбомы и кляссеры оставались там, где они их рассматривали,— на отдельном столике в углу, где шкафы с коллекцией. Но вот что странно: почему-то и некоторые кляссеры тоже оказались на полу, хотя до них от места чаепития было не меньше трех метров, а скорее даже больше. Он не может толком объяснить, как это произошло. Он и сам этого не понимает. Словно затмение какое-то с ним внезапно тогда приключилось. Только что вот сидел он за чайным столом и ловил улетающие салфетки, и вдруг, без всякого перехода, сидит уже на диване у дальней стены, Академик с лязгом орудует щеколдами, запирая окна, а кляссеры — лежат на полу, четыре штуки, и несколько марок в клемmташах из них выскочило и тут же рядом пребывает — на полу, рядом с журнальным столиком и под самим столиком.

...Нет, тогда он этому никакого значения не придал — испугался только, не попортились ли выпавшие марки. Но все оказалось в порядке, марки были целы и невредимы, они с Академиком тут же собрали их и положили в соответствующие кляссеры на нужное место... Нет, он уже не помнит, что это были за марки. Кажется, Британская Центральная Африка. Да это неважно — рядовые какие-то, по сто-двести «михелей», ничего особенного, поэтому и не запомнились.

...Вообще-то, по правде говоря, многие обстоятельства тогдашних событий ему не запомнились, и весь тот вечер в памяти до сих пор как бы затянут этакой смутной дымкой, и по поводу каких-то простейших вещей остались и остаются неясные недоумения. Например: был телефонный звонок сразу после аварийного чаепития, или ему это только кажется теперь? Вроде бы все-таки был. А может быть, и не было... Разогревали они с Академиком чайник по второму разу, или он, Академик, тут же после инцидента и удалился, сославшись на позднее время? Не вспоминается. Провал. Неясность. Вряд ли это важно для дела, но факт тот, что в памяти все это смотрится до странности нерезко, словно в расфокусированный бинокль.

...Он грязный, грязный тип! У него внуки в институте уже учатся, а он все за девками гоняется, старый козел. И язык у него грязный, что ни слово — похабщина. Можете себе представить — вдруг ни с того ни с сего сообщает мне: он у врача, видите ли, был, анализы какие-то делал, так у него все сперматозоиды, видите ли, оказались живые! А?! Какое мне, спрашивается, дело до его сперматозоидов? Грязный он, грязный, и все мысли у него грязные. И вор.

...Я вам сейчас скажу откровенно, что я сам об этом думаю: он меня чем-то отравил. Он же химик. Подсыпал мне в чай какую-то дрянь и, пока я лежал в беспамятстве, взял из коллекции, что ему захотелось. А кляссеры — на пол бросил: как будто они от ветра туда свалились... Не зря же про него ходит дурная слава, что он гипнотизер: является к человеку, якобы честно купить у него коллекцию, наведет на него дурь, тот и отдает ему за бесценок. Потом схватится, бедняга,— да только поздно, и ничего уже никому не докажешь... Тем более: академик же, лауреат! «Как вы можете даже подумать о нем такое?!. Ай-яй-яй!» А вот и не «ай-яй-яй». Очень даже не «ай-яй-яй»...

Юрий слушал все эти сбивчивые жалобы пополам с инвективами почти отстраненно — он был близок к обмороку. Сердце билось с перебоями и уже даже не билось теперь, а лишь судорожно вздрагивало, как лошадиная шкура под ударами вожжей. Он отчаянно боролся с наползающей дурнотой, его мучила одышка, а в голове крутилась, как застрявшая пластинка, единственная фраза из какого-то романа: «И вот тут-то я и понял, за что мне платят деньги...» Пару раз он уже поймал на себе косой, сердито-обеспокоенный взгляд Работодателя, но отвечал на эти взгляды только раздраженным насупливанием бровей, а также злобными гримасами, в смысле: «Да пошел ты! Занимайся своим делом».

Такой сумасшедшей концентрации вранья давно ему встречать не приходилось, а может быть, не встречал он ничего подобного и вообще никогда. Серый-пыльный Тельман Иванович врал буквально через слово, почти поминутно, причем без всякого видимого смысла и сколько-нибудь разумной усматриваемой цели. Каждая его очередная лживость хлестала несчастно-

го Юрия вожжой по сердечной мышце, поперек обоих желудочков и по коронарным сосудам заодно. Он уже почти перестал улавливать смысл произносимых Тельманом Ивановичем лживых слов и молил бога только об одном — не обвалиться бы сейчас всем телом на стол, прямо на всю эту свою регистрирующую и контролирующую аппаратуру, а в особенности — на Главную Красную Кнопку, об которую он уже указательный палец намозолил непрерывно нажимать.

...Вы меня спрашиваете, почему я ничего не предпринял. (Удар по коронарам: вранье — ничего подобного никто у него не спрашивал.) А что? Что мне было делать? Я, между прочим, еще как предпринимал! Какие только варианты не перепробовал! Лично к нему ходил — и знал же, что пустой это номер, но пошел! Как вам не стыдно, говорю! (Вранье.) В лоб его спрашиваю: «Где же ваша совесть, господин хороший?» (Вранье, ложь, ложь.) «Ведь вы же заслуженный, говорю, пожилой человек! О Боге пора уже подумать!» (Врет, врет, серый крыс — никуда он не ходил, никого в лоб ни о чем не спрашивал...)

— И что же он вам на это ответил? — Работодатель наконец включился (и как всегда — в самый неожиданный момент).

— Кто?

— Академик. Что он вам ответил на поставленные в лоб прямые вопросы?

— Ничего. А что он мог ответить? Молчал себе. Улыбался только своими искусственными челюстями.

— Не возражал? Не возмущался? Не угрожал?

Тут Тельман Иванович словно бы затормозил. Пожевал серыми губами. Вытащил клетчатый платок, вытер лоб, губы, руки почему-то вытер — ладони, сначала левую, потом правую.

— Плохо вы его знаете,— проговорил он наконец.

— Я его вовсе не знаю,— возразил Работодатель.— Кстати, как, вы сказали, его фамилия?

— А я разве сказал? — встрепенулся Тельман Иванович. У него даже остроконечные ушки встали торчком.

— А разве не сказали? Академик... академик... Вышеградский, кажется?

Тельман Иванович ухмыльнулся только, с некоторой даже глумливостью.

— Нет,— сказал он почти высокомерно.— Не Вышеградский. Отнюдь.

— А какой?

— Я не хотел бы называть имен,— произнес Тельман Иванович еще более высокомерно,— пока мне не станет ясно, готовы ли вы взяться за мое дело и что именно намерены предпринять.

Однако Работодателя осадить и тем более нахрапом взять было невозможно. Никому еще (на памяти Юрия) не удавалось взять Работодателя нахрапом. Он ответствовал немедленно и с неменьшим высокомерием.

— Не зная имен,— сказал он,— я совершенно не могу объяснить вам, что я намерен предпринять, и вообще не могу даже решить, готов ли я взяться за ваше дело.

Тельман Иванович молчал, наверное, целый час, а потом шмыгнул носом и сказал жалобно:

— Я ведь с ним и сам без малого до уголовщины докатился. Вы не поверите Серьезно ведь раздумывал подослать лихих людей, чтобы отобрали у него... или хотя бы,— лицо его исказилось и сделалось окончательно неприятным,— хотя бы уши ему нарвали... чайник начистили хотя бы... И главное — недорого ведь. Пустяки какие-то. Слава богу, Фрол Кузьмич отговорил, спасибо ему, а то вляпался бы я в уголовщину, вовек бы не расхлебался...

— И сколько же с вас запрашивали?

— Да пустяки. Пятьсот баксов.

— Хм. Действительно, недорого. С кем договаривались?

Тельман Иванович немедленно ощетинился.

— А какая вам разница? Зачем это вам?

— А затем,— произнес Работодатель наставительно,— что я должен знать всех, без исключения, кто в эту историю посвящен. Без всякого исключения!

— Да никто в эту историю не посвящен...

— Ну как же — «никто». Фрол Кузьмич — раз...

— Да ничего подобного! — запротестовал Тельман Иванович и даже — для убедительности — привстал над креслом сво-

им, застывши в позе напряженной и вовсе не изящной.— Я ему только в самых общих чертах... без имен... без никаких деталей... «Деликатнейшее дело. Затронуты важные персоны». И все. Что вы?! Я же все понимаю!

— Это хорошо. А как все-таки насчет бандюги вашего, ценой в полштуки баксов?

— Да я вообще ни с каким бандюгами не общался! Что вы! Просто есть знакомый мент один. Ему я вообще ничего не сказал, сказал только, что надо бы одного тут проучить...

— Академика.

— Да нет же! Просто одного типа. И все.

Это была правда. Во всяком случае здесь не было ни грана прямого вранья — и на том тебе спасибо, серый пыльный человечек, подумал Юрий, вконец замученный сердечными экстрасистолами. Работодатель выждал секунду (не загорится ли красный) и продолжил:

— И в Обществе вы никому об этом не рассказывали?

— Еще чего! Конечно, нет.

— Друзьям?

— Нет у меня друзей. Таких, чтобы.

— Знакомым филателистам?

— Господи, нет, конечно.

— Сыну? Жене?

— Да перестаньте. Какое им до меня дело? — вздохнул Тельман Иванович.— У них свои заморочки.

— Но таким образом, получается, что об этой прискорбной истории не знает никто?

— Да. Именно так. Что я вам и докладывал. Никто.

— А почему, собственно? — спросил Работодатель вроде бы небрежно, но так, что Тельман Иванович сразу же напрягся и даже вцепился сизыми ручонками в подлокотники.

— Н-ну... как — «почему»? А зачем?

— Я не знаю — зачем,— Работодатель пожал плечами.— Я просто хотел бы уяснить себе. Для будущего. Как же это получается? У вас украли ценнейшую марку. Вы знаете кто. Вы догадываетесь, каким образом. Проходит четыре месяца, и теперь оказывается: никаких серьезных мер вы не предприняли... никому о

преступлении не сообщили... даже в милицию не обратились. Почему?

Это был интересный вопрос. Тельман Иванович не стал на него отвечать. Точнее — ответил вопросом:

— Я не понимаю, вы беретесь за мое дело? Или нет?

— Пока еще не знаю,— ответил Работодатель.— Пока еще я думаю, размышляю... А какую, собственно, марку мы будем разыскивать?

Тельман Иванович весь сморщился и моментально сделался похож на старую картофелину.

— Слушайте. Вам так уж обязательно надо это знать?

— Мину-уточку! — произнес Работодатель бархатным голосом.— А вы сами взялись бы разыскивать украденный предмет, не зная, что это за предмет?

— Да, да, конечно...— мямлил Тельман Иванович. Ему очень не хотелось называть украденный предмет. Ему хотелось как-нибудь обойтись без этого.— А разве нельзя просто указать: редкая, ценная марка? Очень редкая, очень ценная... Уникальная. А?

— Где «указать»?

— Н-ну, я не знаю... Как-нибудь так... Без названия. Описательно... Все равно же это — только для специалистов. Для профессионалов, так сказать... А так — зачем?.. Кому?..

Он говорил все тише и тише, а потом замолчал. Бормотать и дальше маловнятную чепуху было ему уже неприлично, называть предмет — не хотелось, а как со всем этим клубком противоречий быть, он не знал — сидел молча, склонив головушку на грудь и рассматривал сложенные на коленках ладошки.

— «Британская Гвиана»? — вдруг спросил, а вернее, негромко произнес Работодатель.

Тельман Иванович встрепенулся и сразу сделался бледен.

— Откуда вы знаете? — прошептал он спертым голосом.

Работодатель пожал плечами.

— Какая вам разница? Знаю. Догадался.

Некоторое время они смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Работодатель — уверенно, с горделивым смирением ученика, одержавшего замечательную, но неожиданную победу над господином учителем. А Тельман Иванович — испуганно, даже

затравленно, не понимая, поражаясь, медленно оправляясь от нанесенного удара и в ожидании новых ударов... Но он тоже был не из слабых, наш Тельман Иванович, его тоже было так просто ни нахрапом не взять, ни тем более на пушку. Бледность его со временем прекратилась, исчезло выражение страха, да и все его состояние грогги пошло выветриваться. И вдруг — понимание пополам с легким презрением проступило на его лице.

— Да ничего вы не знаете,— произнес он облегченно и уже с пренебрежением.— Слышали звон да не поняли, откуда он. Вы же про одноцентовик красный думаете — нет, батенька, не туда попали! Эка хватил — одноцентовик! А впрочем, откуда вам знать. В детстве, небось, марки собирали?

— В детстве,— признался Работодатель. Теперь пришла его очередь сидеть, сокрушенно повесив голову и стыдливо отведя глаза. Ученик был поставлен на то место, где ему впредь и надлежало пребывать в состоянии внимания и прилежания.

Тельман же Иванович (господин учитель), сразу же сделавшись добрее и мягче после одержанной и очевидной победы, позволил себе разумную снисходительность и тут же рассказал, ЧТО это на самом деле была за марка. Впрочем, Юрий, от филателии бесконечно далекий, понял из снисходительных объяснений только самую разве что суть. Называлась марка «Британская Гвиана, первый номер». Как бы расшифровывая это лошадиное (из области рысистых испытаний) название, Тельман Иванович описал ее также, как «два цента на розовой бумаге». Таких марок на свете было не так уж и мало — целых десять штук, но все они, оказывается, были «гашеные», «прошедшие почту», а Тельман-Ивановичева марка была «чистая», «правда, без клея», и это обстоятельство («чистота» ее, а не отсутствие клея) являлось решающим: мало того, что она переходила в силу этого обстоятельства в категорию «уникум», так вдобавок еще никто, оказывается, не знал о существовании таковой — никто в мире, ни один живой человек: она была великой и сладкой тайной Тельман Ивановича, символом его абсолютного над всеми превосходства и, похоже, осью всего его существования среди людей и обстоятельств...

Излагая все это, он даже серым перестал быть — он сделался розовым, звонким пионером-комсомольцем, он помолодел лет на тридцать-сорок. Он сделался счастлив. Он явно забыл, что марки этой у него больше нет. Он вообще все забыл, глаза у него теперь стали большие, блестящие и радостные, а ладошки его так и летали, как это и полагалось у вдохновленного поэта или трибуна. И все, что он говорил, было правдой.

— А откуда она у вас? — спросил Работодатель, и Тельман Иванович тотчас же замолчал, словно ему перехватили горло.

Работодатель терпеливо ждал. В комнате было так тихо, что Юрий, кажется даже, слышал слабое сипение магнитофонной ленты в кассетнике.

— Зачем? Ну зачем вам это знать? — прошептал наконец Тельман Иванович — да с такой мукой в голосе, что Работодатель, похоже, несколько смягчился.

— Можно ведь без деталей,— проговорил он сочувствующе.— Как, что, когда — это неважно. Я хотел бы только знать, кто был последним владельцем? До вас?

— Не знаю,— сказал (выдавил из себя с очевидным трудом) Тельман Иванович.

(Правда, констатировал Юрий — не без удивления.)

— Как так? — сказал Работодатель. Он тоже был удивлен.— Как это может быть? Чтобы вы этого не знали?

Тельман Иванович молчал. Он опять молчал — снова серый, крысоватый, унылый, и снова рассматривал сизые свои ручонки, смирно сложенные на коленях.

— Ну, хорошо,— сказал Работодатель.— Ладно. Господь с вами. Не хотите — не надо. Обойдемся. А как все-таки зовут вашего академика? Да не упрямьтесь вы, в самом деле! Вы ведь уже все про него рассказали: академик, химик, марки собирает, крупный спец по английским колониям... Петербуржец. Неужели вы полагаете, что мы его теперь не вычислим? Да вычислим, конечно же, только лишний шум поднимем своими расспросами. Подумайте сами: ну зачем нам с вами лишний шум?

Тельман Иванович, видимо, был этой энергичной речью вполне убежден, но повел себя тем не менее несколько неожиданно. Он вдруг поднялся из кресла, наклонился над столом Работода-

теля и, сказав негромко: «Где тут у вас можно?..», принялся ему что-то царапать на четвертушке листка.

— Только не надо «ля-ля-ля». Я вам ничего не говорил! — объявил он не без торжественности и демонстративно двинул листок Работодателю под нос. Потом вернулся в кресло, посмотрел почему-то на Юрия (впервые за все это время — с вызовом посмотрел, горделиво, «знай наших») и повторил: — Не надо «ля-ля-ля». Не сказано — значит не сделано!

Некоторое время Работодатель разглядывал его с видом, пожалуй, слегка ошеломленным, взял листок, прочитал написанное, удовлетворенно кивнул, а затем извлек из нагрудного карманчика тускло блеснувший «ронсон», выщелкнул длинный синеватый огонек, поднес к нему листочек и, подождав, пока огонь доберется до пальцев, бросил обугленные останки в медную пепельницу.

— Так? — спросил он у Тельмана Ивановича.

— Можно и так,— согласился Тельман Иванович как бы равнодушно, но на самом деле — очень довольный.

— Только так! — произнес Работодатель строго и принялся размешивать и растаптывать пепел огрызком карандаша.

— У меня сложилось несколько противоречивое впечатление о вашем деле,— сказал он.— Мне нужно подумать, прежде чем я приму окончательное решение. Поспешность здесь не нужна и даже вредна. Мой совет: никаких самостоятельных действий. И вообще никаких действий. Сейчас внесете моему секретарю двести у. е.— за консультацию. В течение двух дней я вам позвоню, мы встретимся снова и, может быть, заключим договор. Об условиях договора — тогда же, но учтите заранее: мы фирма дорогая.

Тельман Иванович печально кивал. Он был со всем согласен. Он, кажется, вообще больше не слушал, что ему говорят. И едва только Работодатель сделал паузу — значительную паузу перед тем, как сформулировать самое деликатное,— Тельман Иванович вдруг сообщил:

— У меня отец был филателистом...

Работодатель вежливо замолчал, ожидая продолжения, но продолжения все не было и не было, минута прошла (это очень

долго, когда в разговоре возникает минутная пауза, это мучительно долго — безнадежно глухая пропасть немого времени), потом пошла другая, и тут наконец Тельмана Ивановича прорвало.

...У него отец был филателистом. Не знаменитым каким-нибудь, нет, денег вечно не хватало, но зато самоотверженным и знающим, Тельман Иванович многому у него научился и вообще пошел по стопам. Так вот, отец привез из Германии, после войны, в качестве трофея, некоторое количество марок — время тогда было такое, многие целыми чемоданами привозили, и некоторые, ныне замечательные, коллекции начали произрастание свое именно тогда, из этих самых чемоданов. У отца же никаких чемоданов в помине не было — так, несколько альбомов и обувная коробка, набитая марками разных стран и времен. И вот много лет спустя, уже отца в живых не было, уже сам Тельман Иванович выбился в люди и стал известен в кругах специалистов, попалась ему под руки эта коробка, и решил он разобраться, что там за материал и не найдется ли там что-нибудь интересненькое.

...В коробке среди прочего обнаружился желтый, плотный конверт из-под фотобумаги «кодак», а в конверте этом — несколько десятков самых разных марок, в том числе и на обрывках конвертов. Вообще говоря, «марки на вырезке» (то есть аккуратно вырезанные из конверта таким образом, чтобы остались тут же при марке почтовые штемпеля, служебные наклейки и прочая специфическая мутотень) — такие марки ценятся особо, но здесь, в желтом конверте, наличествовали только какие-то драные обрывки конвертов и открыток, грязноватые, иногда даже замасленные и совершенно неколлекционные на вид. Он собрал их в общую кучу и положил в кювету с теплой водой, чтобы отмокли от бумаги сами марки — в основном «рядовые немецкие княжества и кое-какая небезынтересная Швейцария». Каково же было его изумление, когда полчаса спустя обнаружил он в остывшей воде — среди обрывков размокшей бумаги и отклеившихся свободно плавающих рядовых марок — это ослепительное чудо на розовой бумаге, Британскую эту Гвиану номер один, в великолепном состоянии, прекрасно обрезанную, «экземпляр кабинет» или даже «люкс-сьюперб», чистую, негашеную, но, к сожалению, правда, без клея. Не исключено, между прочим, что изначально

она была даже с клеем, как и положено быть чистой почтовой марке, да в теплой воде клей безвозвратно растворился... но возможно, что клея у нее не было никогда, как это встречается частенько у марок, выпускаемых в жарких тропических странах...

...Теперь можно только гадать, кто был предыдущим владельцем этого уникума. Ясно только, что был это человек осторожный и предусмотрительный, равно как и человек грамотный и хорошо понимавший, какое сокровище находится у него в руках. И в ожидании нелегких времен и дурных перемен он принял надлежащие меры — не без остроумия спрятал свою драгоценность: положил на небрежный обрывок старого конверта и сверху аккуратненько наклеил какую-нибудь обыкновеннейшую Баварию, скорее всего, двадцатых годов выпуска — чтобы размером была побольше, а привлекательностью — поменьше... Простейший расчет: если кто-нибудь и покусится на коллекцию, то рядом с красивыми золочеными «альбомами Шаубек» кого заинтересует и соблазнит ботиночная коробка, набитая второстепенными марками, и тем более в этой коробке — невзрачный желтый пакет из-под фотобумаги «кодак»?..

Рассказывая всю эту авантюрную, в манере Луи Буссенара, историю, Тельман Иванович был проникновенен и откровенен настолько, насколько это вообще в силах человеческих. И вся его история, как это ни удивительно, была правдой, на редкость чистой беспримесной правдой. За одним, впрочем, но довольно существенным, исключением: не было желтого конверта в коробке из-под обуви. Не было его там. Он попал к Тельману Ивановичу каким-то другим образом. Совсем другим. И Тельман Иванович почему-то не пожелал рассказать, каким именно.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 2. ОТЕЦ ТЕЛЬМАНА ИВАНОВИЧА

В большом и даже огромном кабинете (где все было огромное — кресла, электрический свет, стол, окна, занавешенные титаническими портьерами, портрет Ленина во всю стену) — находились два маленькие человечка, похожие чем-то друг на

друга: оба были серые, с редкими серыми волосами, зачесанными назад, со щеками, навсегда изуродованными оспой, только один из них спокойно стоял у стола, и лицо его было неподвижно, а другой — сидел тут же, у этого же стола, в гигантском кресле, и весь, вместе с лицом, мучительно подергивался, словно кресло обжигало ему задницу. То ли встать ему хотелось руки по швам, то ли уменьшиться до нуля, вообще исчезнуть и оказаться в другом каком-нибудь месте, и мысли его так же лихорадочно и болезненно подергивались, как он сам. Он, разумеется, вглухую молчал и вообще старался не дышать. И молчал (долго, непереносимо долго молчал) второй человек — смотрел в простенок между окнами, в никуда, словно догадывался, что, посмотрев на человечка в кресле, может нечаянно убить его этим взглядом. Потом он сказал, тихо и почти неразборчиво:

— Есть мнение, что надо сделать хороший подарок нашему другу и союзнику господину Рузвельту. Мне сообщили, что он филателист. Занимается филателией. Это правда, товарищ Епанчин?

— Так точно, товарищ Сталин! — Человечек в кресле поперхнулся и судорожно откашлялся.— Извините... И говорят, что — страстный филателист!

Наступила новая долгая, изнуряюще долгая, мучительная пауза.

— А что это означает — «филателия»?

— Собирание почтовых марок, товарищ Сталин. С целью их коллекционирования, а также...

— Это я знаю. Я спрашиваю: что само это слово означает — «фи-ла-те-лия»? На каком языке?

— Это греческий, товарищ Сталин. А перевод... как бы это точнее выразится... Буквально?

— [redacted]чно. Лучше всего буквально.

— [redacted]бовь к почтовой оплате»... Наверное, так будет точнее всего.

— Как вы сказали?

— «Нелюбовь к почтовой оплате», товарищ Сталин. А еще точнее: «Любовь к неуплате почтового сбора»...

Стоявший человек сказал с удивлением:

— Глупость какая-то...— Он помолчал и добавил: — И вообще занятие глупое. Взрослый, умный человек, политик, а занимается глупостями.— Он снова помолчал.— А может быть, он никакой не умный? Может быть, все только считают, что он умный, а на самом деле — глупец?

И он засмеялся — тихо, весело и неожиданно, словно засмеялся вдруг известный всему миру портрет. И так же неожиданно снова помрачнел.

— А как вы думаете, советские марки у него в коллекции есть?

— Думаю, что есть, товарищ Сталин. Думаю, что у него очень хорошая коллекция советских марок.

— Все советские марки у него есть?

— Думаю, что нет, товарищ Сталин. Думаю, всех советских марок ни у кого на свете нет.

— Почему?

— Существуют редкости, которых всего пять-шесть штук известно, и даже меньше.

— Это хорошо. Это очень хорошо. Задача ваша определяется. Надо собрать полную коллекцию советских марок, и мы преподнесем ее господину Рузвельту. Как вы думаете, он будет доволен?

— Он будет в восторге, товарищ Сталин. Но это невозможно.

— Почему?

— Невозможно собрать полную коллекцию...

— Считайте, что это партийное поручение, товарищ Епанчин. Надо собрать. Срок — один месяц. Мы думаем, этого будет достаточно. Обратитесь к товарищу Берия. Он в курсе и поможет.

— Слушаюсь, товарищ Сталин,— сказал маленький человечек Епанчин, обмирая от ужаса.

...Но независимо от этого ужаса, мысль его уже заработала привычно. Консульский полтинник придется отдать свой, подумал он озабоченно. И ошибку цвета «70 руб.» без зубцов... Где взять перевертку Леваневского с маленьким «ф»?.. Она была у Гурвиц-Когана, он ее продал — кому? Должен знать. Знает. И скажет. Не мне скажет, органам скажет... Товарищу Берия скажет, подумал он с внезапным ожесточением, удивившим его са-

мого: он почувствовал себя сильным и большим, как это бывало с ним иногда во сне...

Вот так, или примерно так, состоялся его единственный и последний в жизни звездный час. Так, или примерно так, он рассказывал об этом сыну своему — маленькому, плаксивому, капризному, но умненькому Тельману Ивановичу. Но он ничего не рассказывал о том, что пережил, пока везли его в Кремль на огромной черной машине. И как героически сражался он в огромном кабинете с приступами медвежьей болезни. И как слег на другой день с сердечным приступом — от нервного перенапряжения.

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений».

...И уж конечно, ничего не рассказывал он о том, как, сидя на специальной квартире, четыре страшные недели лихорадочно составлял подарочную коллекцию для чертова американца из тех многих коллекций, которые приносил ему неприятный человек в штатском — иногда молчаливый, иногда почему-то болезненно разговорчивый, иногда сдержанный, а завтра вдруг развязный, вчера красивый (кровь с молоком), а сегодня никакой,— но всегда крайне неприятный в общении, и глаза у него всегда были волчьи, несытые, нацеленные и как бы прицени вающиеся.

...Было, было что рассказать! Как в промерзшем насквозь, до последнего винтика, самолете летел вынутый среди ночи из постели неизвестно куда — оказалось, в Ленинград, на улицу Попова, в Музей Связи, где замерзала в ледяном, промерзшем до подвала, некогда роскошном доме Государственная коллекция — бесценное филателистическое сокровище под присмотром полумертвого хранителя, не похожего уже на человека, а скорее на черную мумию, запеленутую в три шубы и в извозчицкий тулуп...

...Как руки у него тряслись и делалось нехорошо, когда в принесенной штатским человеком очередной коллекции он узнавал коллекцию знакомую, сто раз виденную раньше, вылизанную до блеска его завистливыми глазами... и хозяин, естественно, вспоминался сразу же, но не как живой человек, а как уже покойник, хотя он догадывался, конечно, что никого они не убивают —

просто конфискуют для нужд государства и соответствующую расписку дают... ну, сажают — в крайнем случае... в самом крайнем... Ему не хотелось об этом думать.

...Как потерял он однажды сознание, когда вместо привычного волка в штатском явился вдруг на спецквартиру какой-то чин в мундире и заорал с порога: «Саботируешь, сука, в рот тебе нехороший? Препятствуешь следствию?..» Оказалось, что он в списке указал неправильно фамилию одного филателиста, «с» написал вместо «ц»,— откуда было ему знать, как эта сволочная фамилия пишется, в паспорт же он к нему не заглядывал... а они найти его не могли, весь Горький перевернули — нет такого, как в землю провалился... Слава богу, все тут же выяснилось и обошлось одним неистовым этим криком да небольшим расстройством до конца дня...

Потом все кончилось. Его вызвали, поблагодарили, подписку взяли о неразглашении, а через несколько месяцев (война уже тоже кончилась) дали квартиру — правда, в Ленинграде, но зато хорошую, двухкомнатную, на третьем этаже (в Москве он жил в полуподвале с окнами на общественный туалет). А еще через полгода пригласили к большому начальнику, и тот, с улыбкой, вручил ему ордер на получение конфиската: разрешение получить конфискат в количестве «два экз.», на его собственный выбор. Как сотруднику, проявившему себя. («Вы же свои марки отдали, из своей коллекции, мы же знаем, не забыли...»)

...На складе конфиската сонный толстомясый старшина выбросил перед ним на прилавок штук двадцать альбомов... господи, это было как в прекрасном сне! Он выбирал и выбирал, листал, проглядывал, откладывал, принимал решение и тут же брал его назад... о сладкие муки выбора на халяву! А потом, уже решившись, уже выбрав, уже отложив, уже даже расписавшись в получении,— не выдержал, заныл, принялся просить, клянчить, канючить со слезами в голосе: ну, еще что-нибудь, ну вот хотя бы этот маленький кляссерчик (с подборкой «черного пенни», между прочим), малюсенький, его, наверное, и в описи-то нет... И представьте себе: толстомясый оказался человеком с сердцем в груди. Кляссерчика он, конечно, не дал, но выставил на прилавок несколько картонных коробок, по виду — из-под обуви, и пред-

ложил: выбирай, не жалко. И он выбрал. Чепуха там была какая-то, «Altdeutschland» на маленьких вырезках с гашениями, но тоже ведь — на дороге не валяется. Взял. Пусть лежат...

...Этих деталей он тоже никогда даже сыну не рассказывал и, уж конечно, ни слова никому не сказал, что до конца жизни так и проработал «на них» — консультантом по конфискату. И ни разу, между прочим, об этом не пожалел.

Глава третья

ДЕКАБРЬ. ПО-ПРЕЖНЕМУ ВТОРОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. МАЛОЕ МОТОВИЛОВО

— «Чаю, чаю накачаю, кофию нагрохаю»,— задумчиво пропел Работодатель на некий не вполне определенный, но безусловно варварский мотивчик.

— Это еще что такое? — спросил Юрий без особого интереса.

— А хрен его знает. Ситуация навеяла.

Они сидели за столиком для подписания договоров и пили чай, поданный и сервированный Мириам Соломоновной. Чай был безукоризненно горячий, рубиновый, цейлонский, в тонких стаканах с серебряными подстаканниками. К чаю предлагались песочные печенья «Нежность» и божественные плюшки домашней выпечки — Мириам Соломоновна, как всегда, была на недосягаемой высоте.

Юрий, впрочем, пил чай без всякого удовольствия и все время судорожно зевал. Ему не хватало кислорода после перенагрузки и хотелось прикорнуть минуток хоть на десять. Слечу когда-нибудь с нарезки, думал он обреченно. Ну и работку я себе подобрал, мама дорогая...

— Я все-таки не понимаю: у тебя что-то внутри щелкает, или как? — спросил вдруг Работодатель и поглядел пристально.

— Или как,— неприветливо ответил Юрий. Он выбрал себе плюшку поподжаристей, неохотно откусил, отпил из ложечки.

— Нет, но все-таки...— настаивал Работодатель.— Я и сам не лаптем деланный, слава богу, не жалуюсь, как-нибудь вранье от правды отличу, но не на сто же процентов, в самом деле.

— А я — на сто. Вот и вся между нами разница. Ты мне за эту разницу деньги платишь.

— Хорошо, хорошо. Деньги... Тебе бы все о деньгах... А ты объясни. Сколько раз уже обещал. Ну, вот что ты чувствуешь, когда он врет, какое при этом у тебя ощущение? Физически?

Юрий мучительно хрустнул челюстями, подавляя в зародыше очередной зевок. Ну как это можно объяснить, подумал он обреченно. И в особенности — здоровому человеку объяснить, у которого сердце — как метроном... Никак не объяснить. Да и незачем.

— Как будто жизнь уходит через плечи,— сказал он медленно. И тут же сам себе удивился. Не хотел ведь говорить, а все-таки сказал. И совершенно напрасно, разумеется.

— Это что — цитата? — осведомился Работодатель.

— Нет. Это такое ощущение.

— Только не надо наводить хренотень на плетень.

— Да шел бы ты.

Поговорили. Некоторое время чаепитие продолжалось в демонстративно-недоброжелательном молчании. Потом Работодатель спросил нарочито деловым тоном:

— Завтра расшифруешь запись?

— Естественно. Может быть, даже сегодня.

— Сегодня уже не успеть,— проговорил Работодатель, словно бы извиняясь.— У нас сегодня еще один клиент. Причем очень серьезный. Ты как — выдержишь?

— Если он будет врать так же, как этот,— обязательно слечу с нарезки. Клянусь. Это было что-то особенное.

— Да-а, любопытный экземпляр. Не знаю что и думать.

— А я и не пытаюсь,— сказал Юрий, наливая себе еще полстакана.— Тьма кромешная. Не представляю, что ты будешь со всем этим делать.

— Ничего, скорее всего.

— То есть?

— Да не крал у него никто этой марки.

— То есть?

Работодатель покончил со своим чаем, откинулся на спинку дивана, переплел голенастые ноги диковинным джинсовым вин-

том и занялся «ронсоном» и сигареткой — аккуратно закурил, пустил два аккуратных колечка в потолок, посмотрел на Юрия, прищурившись.

— Ты, главное, не углубляйся,— посоветовал он проникновенно.— Зачем это тебе? При твоих-то моральных принципах?

Мои моральные принципы, подумал Юрий. О боже! «Не бери чужого и не словоговори ложно». А в остальном: «Перекурим — тачку смажем, тачку смажем — перекурим». Роскошная нравственная палитра, снежные вершины морали...

— Перекурим — тачку смажем,— сказал он вслух,— тачку смажем — перекурим...

— Воистину так! — воскликнул Работодатель и, словно спохватившись, принялся затаптывать окурок в пепельнице.— Поехали. Нам еще пилить и пилить — сорок пять кэмэ по слякоти.

Однако никуда уехать им не удалось: без доклада, но зато в ватном сером пальтугане до пят ввалился Борька Золотоношин, Агент Би, красноносый и живой как ртуть. Наскоро поздоровавшись за руку (лапы красные, свежемороженые, ледяные), он выхватил из-за пазухи пачку бумаг с загнувшимися уголками и сунул ее — с неразборчивым ворчанием — Работодателю, а сам, не садясь даже и, уж конечно, не раздеваясь, принялся цедить себе в наугад схваченный немытый стакан остатки цейлонского. Судя по нему, дождь на дворе кончился, оттепель тоже, и валил там теперь густой снег — снег этот тут же принялся на Борьке подтаивать и комками шлепаться на ковер, на столик, на диван, потому что Борька непрерывно двигался, перемещался, кипел, испарялся, и Юрий встал и перешел на свое рабочее место — подальше от всех этих физических явлений.

Работодатель проглядел бумаги быстро, но внимательно, как считывающая машина, вроде сканера, и уставился на Борьку выжидающе.

— Это всё? — спросил он.

— Говорит — всё,— ответил Борька, не переставая жевать и прихлебывать.

— Молодец,— сказал ему Работодатель. Он открыл дверцу стенного сейфа, положил туда бумаги, достал из недр небольшой пакетик (зеленый, перетянутый резинкой), сунул в боковой карман и снова запер сейф.

— Вызывать его будете? На ковер? — спросил Борька.

— Обязательно.

— Позвонить?

— Всенепременнейше.

— Прямо сейчас?

— Ни в коем случае! — сказал Работодатель.— Сейчас ты поедешь домой, примешь горяченький душик, пообедаешь, трахнешь свою Светланку...

— Она на работе,— сказал Борька, расплываясь в счастливой улыбке.— Она вчера на работу устроилась.

— Ну, тогда примешь еще один душик — холодненький...

— Да он же там на ушах стоит, Пал Петрович. Он же помрет в ожидании...

— Спорим, что не помрет? — предложил Работодатель. Он уже натягивал свой титанический плащ.— Позвонишь ему вечером, часиков в семь, не раньше, и назначишь на завтра, на десять, здесь. И пусть принесет остальное...

— Он говорит, что это — все.

— ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ОСТАЛЬНОЕ! — гаркнул Работодатель.— Так ему и передай. И таким же вот тоном. Пускай в штаны поднавалит — Простатит Аденомыч неоперабельный!

«Простатит Аденомыч» — это была жемчужина дня, и Юрий с удовольствием поаплодировал, отдавая Работодателю должное. Однако Работодатель настроился уже на серьезный лад.

— Собирай писалку,— скомандовал он.— Да пошевеливайся, я уже одет, как видишь.

— Секретку или обычную? — спросил Юрий.

— Бери обе. На всякий случай. Обе пригодятся.

— Слушаюсь, командир,— сказал Юрий и принялся собирать регистрирующую аппаратуру.

А Борька-агент стоял со стаканом остывшего чая и отрешенно-задумчивым взором гипнотизировал единственную оставшуюся на блюде плюшку — так хамелеон гипнотизирует притихшую в ужасе муху перед тем, как слизнуть ее раз и навсегда.

В машине Юрий наладился подремать — расслабился, пристроив голову в щели между спинкой и стенкой, закрыл глаза и

попытался думать о приятном. Как он идет в подвальчик «24 часа» и накупает там вкуснятинки для Жанки: карбоната, семги, осетринки горячего копчения... французский батон... маслица «Фермерского»... «икорки, понимаю»... И бутылку бефитера, и швепс-тоник, разумеется... Пусть это у нас будет пир духа, подумал он со сладострастием. Вечер плотских утех и радостных возлияний... Только вот если клиент попадется нехороший, ничего из плотских утех не получится — измотаюсь как жесть на ветру...

— А что за клиент? — спросил он, не раскрывая глаз.

— Небось, небось,— откликнулся Работодатель.— Клиент нормальный. Большой говорун.

— Но при этом — брехун?

— Надеюсь, нет. Иначе грош ему цена. Да и мне тоже,— добавил Работодатель самокритично.

— Действие происходит у него дома?

— Нет. Действие у нас развивается в стенах дома для престарелых и убогих имени господина Брызговицына. Слыхал про господина Брызговицына, Леонида Юрьевича? Долларовый мультимиллионер и благосклонный покровитель малых сих — бездомных собак, кошек, осиротевших крокодилов, а также окончательных калек. Феноменальная личность, но мы с ним не повстречаемся. Он сейчас в Дрездене, на ярмарке фарфора. А мы будем иметь откровенную и продолжительную беседу с господином Колошиным, Алексеем Матвеевичем. Алексей — божий человек. Это — фигура! Сам увидишь.

Они стояли на площади Победы и пропускали транспорт, движущийся во встречном направлении по Пулковскому шоссе. Пушистый ласковый снежок сменился теперь свирепой крупой, ветер крутил ее столбом, и видно было в сереньком свете вяло помирающего денька, как опасно поблескивают наледи на асфальте, схваченном внезапным морозцем.

— И где это все будет у нас происходить?

— В населенном пункте Мотовилово.

— О, Мотовилово! Пуп земли русской.

— Нет, браток,— возразил Работодатель.— Пуп земли — это Большое Мотовилово, а мы с тобой едем в Малое.

Юрий снова закрыл глаза и расслабился. Малое так Малое. Хоть и вовсе — Микроскопическое. Микро-Мотовилово — это звучит даже недурно. Макро-Мотовилово и Микро-Мотовилово... Еще часа три, подумал он. Ну, пускай четыре, и все кончится, и я дома, и можно будет на все наплевать. Лишь бы клиент не оказался тяжелым. Пусть это будет... пусть это будет достойный старый джентльмен, жаждущий, скажем, проследить судьбу своего не вполне путёвого внука... Или, например, судьбу дочери, попавшей в сети организованного шантажа... Интересно, откуда у джентльмена из дома престарелых деньги, чтобы с нами расплатиться? «Мы фирма дорогая...»

— А кто он такой — этот твой Галошин? — спросил он, не раскрывая глаз.

— Не Галошин,— сказал Работодатель наставительно,— и не Калошин, а — Колошин. От слова «колоситься». «Раннее колошение хлебов...» Он — секретоноситель.

— То есть?

— То есть лицо, которому известны сведения, составляющие государственную тайну.

Услышав это, Юрий встревожился и раскрыл глаза:

— Еще чего нам не хватало! Зачем это тебе?

— Небось, небось. Все схвачено. Никто — ничего. На самом деле он у нас глубокий инвалид, бесконечно от всего далекий. Так что успокойся и дрыхни дальше. Нам еще пилить и пилить, а дорога — вон какая.

Дорога была — каток. Сумерки уже наступали — час между собакой и волком,— встречные машины включали фары, и лед мрачно поблескивал в их желтоватом пока еще свете. Все, кто ехал навстречу, ехали медленно, не ехали даже, а ползли — пробирались осторожно, словно бы ощупывая ближним светом дорогу перед собой.

— Щас спою,— проговорил Работодатель напряженно, и Юрий тотчас же сел прямо, ухватившись для надежности за скобу над дверью. Дрянь дело, подумал он. Работодатель вроде бы даже и не совершал ничего, никаких заметных действий, только газку, может быть, чуть добавил, чтобы совсем уж не остановить-

ся, но машину вдруг повело, она грузно завиляла и пошла боком-боком-боком, словно краб по камню.

— «Вечерело. Серенький дымок...» — затянул жалобным высоким голоском Работодатель, нежнейшими движениями руля выправляя занос,— «...таял в розовых лучах заката...»

Каждый раз, когда они попадали на трудную, непроезжую или опасную дорогу, Работодатель принимался петь, и песни его всегда были в этом случае жалостливые, странноватые и, как правило, совершенно незнакомые.

— «...Песенку принес мне ветерок, милая, что пела ты когда-то...»

Вляпаемся сейчас в какой-нибудь «мерседес», думал Юрий, окаменело уставясь в роскошные красные фонари впереди ползущей иномарки. Вовек не расплатимся... Или в нас кто-нибудь вмажется, мэн крутой. С тем же результатом... А в кювет не хочешь? Хорошие кюветы, многообещающие, двухметровой высоты... (И серые подслеповатые равнодушные домики по пояс в снегу, справа и слева от дороги. И заснеженные мерзлые деревца. О этот свинцовый идиотизм деревенской жизни!..) Машину снова повело и снова без всякой видимой причины. Юрий еще крепче вцепился в скобу правой рукой, а левой уперся в торпедо — для прочности. «Для прочности, для легкости и для удобства стекания крови»,— пронеслось через сознание ни с того, ни с сего, а Работодатель все тянул заунывно, все страдал, все жаловался: «Где ты и в каких теперь краях... я тебя так часто вспоминаю...»

Они ехали уже больше часа. Сделалось темно. Встречные огни слепили, а лед на дороге выглядел так, словно это была не дорога, а замерзшая река. Белая крупа поземки металась в лучах фар. Сзади чудовищный автобус-междугородник грозно и опасно нависал, сверкая огнями, повисел минуты две, а потом вдруг тяжело выдвинулся и угрюмо пошел на обгон. Юрий стиснул зубы. Давай-давай, железа много. Обгоняльщик тоже мне нашелся... Автобус шипел и ревел, повиснув теперь уже слева, а Работодатель замолчал и совсем окаменел за рулем — он еле полз по самой кромке шоссе, не решаясь ни поддать газу, ни — упаси господь — затормозить.

Потом созвездие красных и желтых огней вместе с огромной кормой сухопутного дредноута, обросшей грязной снежной коростой, ушло вперед, повисело недолго рядом с приплюснутой (казалось — от ужаса) иномаркой и окончательно погрузилось в ночь и метель.

— «Гвоздики алые, багряно-рдяные дождливым вечером дарила ты...» — с облегчением затянул Работодатель, несколько раздервянев душой и телом.

Эту песню Юрий знал, а потому с готовностью и энтузиазмом тут же подхватил вторым голосом:

— «А утром снились мне сны небывалые, мне снились алые в саду цветы...»

В лучах фар впереди сверкнул синий указатель «М. Мотовилово 6 км», Работодатель снизил скорость до минимума и с величайшими предосторожностями повернул направо (хорошо хоть, что не налево!), на заметенную девственным снегом дорогу с неглубокой колеей. По обеим сторонам здесь высились восхитительно безопасные сугробы, за сугробами чернел шатающийся под ветром кустарник, а в лучах фар, слава богу, теперь не было ничего, кроме столбов крутящейся снежной крупы и серебристо-черной пустоты.

А если встретите ее на воле вы,
То не старайтеся собой увлечь —
Здесь за решеткою, в темнице каменной,
Лишь я любовь ее могу сберечь...

С последними словами этой древней тоскливой песни, сочиненной, говорят, знаменитым тюремным бардом еще времен Великих Посадок, подъехали они к настежь распахнутым, с покосившимися створками, воротам в дощатом высоком заборе. Забор уходил направо и влево в непроглядную вьюжную тьму, так что видна была лишь пара десятков метров облезлых досок с уныло провисшей колючкой поверху.

Обширный двор внутри изгороди был пуст. В глубине светился разноцветными зашторенными окнами трехэтажный плоский дом с заснеженными автомобилями у подъезда. Отдельные деревья собирались справа и слева от дома в какое-то подобие

лесочка. А под одиноким фонарем посреди двора стоял засыпанный снегом ссутулившийся человек в балахоне до пят с капюшоном (словно солдат с верещагинского триптиха «На Шипке все спокойно»), и носился вокруг него, волоча за собою поводок, пятнистый фокстерьер, похожий как общим видом, так и манерами своими на сосредоточенно энергичного кудрявого поросенка.

В светлом и пустоватом вестибюле висел некий незнакомый, но крепкий дух, не больничный какой-то, скорее, зоологический или ботанический, а может быть — просто сердечных капель в смеси с легким, словно бы мерцающим, запашком какого-то неопределенного говнеца. Тетка в зеленом халате сидела неподвижно в углу со шваброй поперек колен и с белым жестяным ведром у ноги,— без всякого интереса смотрела на них и молчала. За регистрационной стойкой никого не было, и никто даже не попытался остановить их, когда они — Работодатель решительно впереди, Юрий, озабоченно насупившись, следом — пересекли помещение и углубились в коридор, подсвеченный голубыми газосветными трубками.

Работодатель, видимо, уже бывал здесь, но ориентировался не так чтобы очень. Сначала он (поминутно поглядывая на часы) поднялся на третий этаж, ткнулся в какой-то сумрачный прокуренный кабинет без людей и без света, потом, поминая черта, снова спустился на второй, прошелся, читая таблички на дверях, вдоль всего коридора до самого застекленного тупика, за которым ничего уже не было, кроме метели и тоскливо раскачивающихся деревьев, резко повернул направо в неприметную дверь без всяких надписей и указателей и по слабо освещенной узенькой лестнице снова поднялся на третий этаж. Все это время Юрий следовал за ним молча и беспрекословно, дивясь только странным порядкам в этом странном доме престарелых: пустота-безлюдье, как в заколдованном царстве, везде понатыканы волосатые пальмы в толстых бочках, и — тишина, словно в храме божием.

Впрочем, дальше пошло еще страннее. Они вошли без стука в стеклянную, но закрашенную белой краской по стеклу дверь с табличкой (которую Юрий прочитать не успел: что-то вроде «дак-

тилоскопия» или «отоларингология» промелькнуло и в памяти не задержалось). За дверью оказалась комнатушка — стол, стеклянные стеллажи (с лекарственными пузырьками) справа-слева, страшноватые медицинские схемы-расчлененки развешаны по стенам. За столом читал газету «Коммерсантъ» человек в белом несвежем халате, похожий на кого угодно — на палача, на мясника, на гардеробщика,— но никак не на врача и даже, пожалуй, не на санитара. Газету он тотчас же опустил и отложил в сторону, а сам стал смотреть на вошедших светлыми, редко мигающими глазами — круглоголовый, коротенькие волосы белобрысым ежом, тяжелая челюсть и массивные плечи профессионального вышибалы.

— Алексей Матвеевич нам назначил,— поспешно сообщил ему Работодатель с некоторой даже (как Юрию показалось) угодливостью и снова поглядел на часы.— Романов. Павел Петрович. Контора «Поиск-стеллс».

Плечистый доктор опустил глаза, разбросал толстым пальцем на столе беспорядочные бумажки и тем же пальцем повел сверху вниз по какому-то — явно — списку. Видимо, обнаружив там царственные ФИО Работодателя, он легко поднялся и, подойдя к дверям в глубине кабинетика, два раза деликатно стукнул костяшками пальцев по филенке. Никто и никак ему вроде бы не ответил, но он легонько толкнул дверь и сделал Работодателю приглашающий жест: прошу.

Они вошли. Войдя, Юрий сразу же ослеп, обомлел и покрылся нервическим потом. В помещении стояла тьма и оглушающе горячий воздух, словно в деревенской бане по-черному. Освещена была только неестественно белая постель со скомканными простынями, человек посреди этих простыней — вернее, нижняя половина человека, ноги в кальсонах, босые и словно бы неживые, с[redacted]ные кое-как кем-то посторонним.

— Чем [redacted]ываешь, голубок? — проскрипел из темноты сварливый голос.— Сказано было как? Сказано было: с четырех до пяти. Сейчас сколько? — Голос был с неприятной то ли трещинкой, то ли хрипотцой — слыша его, мучительно хотелось откашляться.— Мы так с тобой не договаривались. Сейчас вот отправлю тебя в обратный зад и буду в своем праве!

Работодатель, ничего на этот внезапный выговор не отвечая, извлек у себя из-за пазухи давешний зеленый пакетик, перетянутый резинкой, и аккуратно положил его на прикроватный столик среди стаканов, бутылок, бокалов и тарелок с засохшими объедками.

— Хм...— неприветливый человек в кальсонах немедленно смягчился.— Ладненько,— сказал он тоном ниже.— Плюнули и забыли. Что так задержался? Дорога плохая?

— Гололед,— подхватил Работодатель как ни в чем не бывало.— Еле добрались, честное слово. Думал, разобьемся...

— Не тот первый прибежит, кто быстрее бежит,— произнес хозяин постели назидательно,— а тот, кто раньше выбежит! Раньше выезжать надо было, тогда бы и не опоздал. Тогда бы и меня, старого человека, не заставил бы нервничать...

— Виноват, Алексей Матвеевич,— сказал Работодатель смиренно.— Более не повторится.

— Уж я надеюсь! — сказал хозяин заносчиво и спросил с отчетливой неприязнью в голосе: — А это кто с тобой? Он — с тобой, я полагаю?

— Со мной, со мной,— успокоил его Работодатель.— Это мой сотрудник. Юра его зовут. Он будет вас записывать, Алексей Матвеевич. Для истории.

— Ха! «Истории для истории». Отчегё же. Можно и для истории, это значения не влияет...

К этому моменту Юрий уже попривык к темноте и стал помаленьку разбираться в обстановке. Теперь он видел, что комната велика (дальняя часть ее, та, что за кроватью, совершенно скрывается во тьме), есть поблизости, слева, большой овальный стол со стульями вокруг, какие-то титанические не то шкафы, не то буфеты вдоль стены... толстый ковер под ногами... черные квадраты окон, плотно закупоренных мохнатыми шторами... Все это было странновато (для дома престарелых), но страннее всего смотрелся (в рассеянном от простынь свете) все-таки сам хозяин: поблескивающий голый череп, обросший по бокам косматой черной волосней, косматая борода во все стороны, огромные черные очки на пол-лица (такие в начале века называли «консервами») — он мучительно напоминал кого-то, какого-то всем извест-

ного и крайне неприятного человека, и спустя немного Юрий понял — кого: перед ним возлежал на разобранной постели чеченский бандит и террорист Салман Радуев, лично-персонально, без своеобычной, правда, боевой фуражки с длинным козырьком, но зато — в кальсонах.

Потрясенный этим своим маленьким открытием, Юрий упустил сам момент представления, поклонился неловко и не вовремя и принялся расстегивать на себе куртку, одновременно озираясь в поисках подходящего седалища. Ан не тут-то было!

— На пол садитесь, на пол! — распорядился бандит, он же террорист.— На ковер! Ковер хороший, удобный, садись на попу... И раздеваться не велю! Нечего тут у меня блох трясти.

Совсем уже ошеломленный Юрий замер с пальцами на последней пуговице, а Работодатель — ничего: тут же, не говоря лишнего слова, скрестил свои длинные ноги и ловко уселся потурецки в двух шагах от кровати, ничуть не смущаясь того обстоятельства, что голова его теперь оказалась как раз на уровне хозяйских кальсон. Юрий все еще колебался, но тут Работодатель так глянул на него (снизу вверх), что пришлось немедленно опуститься на корточки, а потом и перейти в позу лотоса — преодолевая хруст в суставах и мучительные боли в нерастянутых, совсем не приспособленных к таким внезапным подвигам, сухожилиях.

А странный (и страшный) хозяин уже говорил — словно с утра еще дожидался, никак все дождаться не мог и вот еле-еле дождался наконец такой редкой и желанной возможности. Его словно прорвало. Он говорил непрерывно, жадно, но на редкость сбивчиво, перескакивая с одного на другое без всякой видимой системы, и спервоначалу очень трудно и даже почти невозможно было понять: о чем это он? О ком? О каких местах и временах?..

...Пал[redacted]ыла огромная, широкая и длинная, может быть, стар[redacted]азарма или царских еще времен казенная больница: высоченные сводчатые потолки, полы, выстеленные расписным кафелем, тюремного вида окна — высоко, три с лишним метра, над полом,— и забраны двойной решеткой — одна изнутри, а другая снаружи, по ту сторону стекла. Шестьдесят восемь

койко-мест, и почти все время — полный комплект нашего брата: шесть десятков гаврилоидов в возрасте от шестнадцати до шестидесяти.

...Холодно всегда было в этой палате, вечно они там все мерзли, как плешивые собаки, а им говорили: так и положено, цыц!.. Холодина, скучища, никакого женского персонала, санитары — сплошь мужики, солдатня, да еще и кормили впроголодь: «пятый стол», кашки-машки-какашки, а мясо вареное — по большим только праздникам: на октябрьские, да на майские, да на Новый год. Но кровати были — хорошие, с пружинными матрасами, деревянные, и чистое белье всегда, меняли два раза в неделю, халаты теплые, фланелевые, с полосками, кальсоны и рубахи, правда, похуже, чем здесь, солдатские, проштемпелеванные: «Шестое Особое Управление ННКВ». А что это за ННКВ — неизвестно, и никогда не было известно никому...

...Главное, от скуки все подыхали. Книжки читать — не тот был контингент, чтобы книжки читать. Прогулок не положено. Оставалось одно: перекуривать да языки чесать. Их всех, конечно, предупреждали строго, чтобы не трепались между собой. «Враг, блин, подслушивает». Но как тут можно было удержаться? И о чем еще людям разговаривать, кроме как о своих мучениях. Опять же — все ведь кругом свои. Какие тут могут быть, к растакой матушке, враги, когда я — питерский, а Вован-Кривоногий — из Чкалова, а Толька-Лапай — вообще даже из лагеря, сука приблатненная...

(Все это смотрелось почти как в нездоровом сне. Или, вдруг, налетало иногда, что это все на самом деле — театр. Тихая тьма. Неестественно резко освещенная сцена. Гениальный, ни на кого не похожий, актер на этой сцене... бесконечный и нарочито бессвязный монолог его, почти без жестов и совсем без мимики... Мертвенная неподвижность театра абсурда, и только — вдруг — время от времени, без приказа, без намека даже на какое-то распоряжение, беззвучная, словно тень, и бессловесная, как призрак статиста,— женская фигура появляется по ту сторону постели, едва видимая в темноте, но в черном непристойно тонком платье на голое тело и подает диковинному этому рассказчику

очередной бокал с темно-вишневым питьем... И — адова жара, воздух в легких, кажется, уже шипит, но почему-то все время мерзнет вытянутая — с диктофоном — рука...)

...Один был — кавказец, то ли грузин, то ли осетин,— он всегда молчал, а когда обращались к нему, только буровил в ответ поганым черным взглядом, так что и не порадуешься, бывало, что затеялся с ним разговаривать. Он круглые сутки только спал да жрал, кормили его отдельно от нас, держали на особой диете, но он не толстел и всегда был голодный, как волчара, смотреть было страшно, как пожирает он курятину вместе с костями или ложкой гребет свою кашу,— ни крошки никогда после него в тарелках не оставалось, а пайку ему давали двойную, а может быть, и тройную. Ну, и недаром, конечно. В этом мире ничего даром не бывает. Его брали на процедуры не часто, раз, много два раза в неделю, но уж обратно — привозили на каталке, сам идти не мог, и черно-синий становился он после этих процедур, что твой удавленник. Полежит пластом (тихо, без звука, даже дыхания, бывало, не слыхать) сутки, и снова — как зеленый огурец... И вот однажды вечером, все уже помаленьку спать укладывались, разговоры сворачивали, затихали один за другим — он вдруг поднялся с койки, огромный, как статуя какая-нибудь, и пошел, пошел, пошел, ни на кого не глядя, к выходу, где дежурный сержант задницу свою просиживал, в носу ковырял от скуки. Сержант этот вскинулся было (тоже не цыпленок, к слову сказать, мужик ядреный, как сейчас говорят — накачанный), но он его с дороги смахнул, как хлебные крошки со скатерти смахивают,— сержант этот без единого пука загрохотал по кафелю по проходу между [redacted] да так и остался лежать, как Буратино, до поры до [redacted], как шкаф, вышел на коридор, грохнуло там[redacted], будто кошку прищемили и — все. Больше [redacted]ели никогда, как не было человека... Да и был ли он[redacted], вообще? Не знаю, судить не берусь. То есть поначалу-то [redacted] был, конечно, как все, но вот что они потом из него сделали? Это, знаешь ли, вопрос!

...Был еще такой Костик, Костя Грошаков — маленький был шмакодявчик, черненький, армянчик такой... На самом деле ни-

какой он был не армянин, но как прилипло к нему с самого начала — «Карапет» да «Аванес»,— так уж и не отлипло до самого конца. Так вот с ним что сделали? Он ходить перестал. То есть — в туалет. Ни писать, ни по большому делу. Совсем. Месяц не ходит, второй не ходит. Все это уже заметили, ржут, жеребцы, шуточки отстегивают, а чего тут смешного? Представляешь, на подводной лодке — экипаж, которому гальюн не нужен? Или космонавты, например? Полезная вещь, и ничего смешного... Потом его от нас перевели. Почему? Куда? Зачем? Явился однажды с процедуры, собирает личные вещи и объявляет: прощайте, ребята, переводят меня от вас, не поминайте лихом. Причем веселый весь, будто орден ему дали. Да и мы, надо сказать, тоже не слишком огорчились: пахнуть от него стало нехорошо последнее время, карболовкой какой-то, химией, причем особенно сильно — к вечеру...

(Странное дело! То ли адский черный жар, исходящий из глубин помещения был тому виною, то ли противоестественный холод, почти мороз, которым веяло от клиента, то ли сам клиент — окоченелый в неподвижности, оскаленный, заросший косматым волосом полупокойник,— то ли надтреснутый голос его... а может быть, манера говорить... а может быть, именно то, что он рассказывал... Все это создавало ощущение ирреальности и невозможности происходящего, атмосферу удушающего малярийного кошмарчика... И еще была в этой атмосфере — почему-то — вялая, серая угроза и необъяснимая опасность, словно не человек был перед тобою, непонятно почему словоохотливый рассказчик, а — невидимая бормочущая толпа... Почему толпа? При чем здесь толпа? Наверное, при том, что толпа людей — это уже не люди, это тоже такое особенное опасное животное, непредсказуемое и неопределяемое, никакого отношения не имеющее ни к человеку, ни к человеческому.)

...В большинстве своем были они все самые обыкновенные из обыкновенных. Ширяли их какой-нибудь дрянью по три раза в день, растягивали на станках из металлических серебристых трубок, крутили на этих станках разнообразно, пока кости из су-

ставов не выползут... поили микстурами, таблетки заставляли глотать по пригоршне в день... держали — кого в полной темноте, кого, наоборот, при ярком свете, на жаре, а кого — в ванной со льдом... Варили. Бля буду, варили — вкрутую! Сам видел: в таких специальных чанах... Мне однажды две кишки сразу засадили — одну в глотку, другую — с нижнего конца, и так вот я и пролежал врастопырку чуть ли не полдня, думал, богу душу отдам совсем... Тольку-Лапая — кусали змеей, красной, живой, настоящей, он потом бредил всю ночь — про баб... Мы от всех этих процедур блевали, дристали, мочой исходили, по сто раз в ночь бегали, волдырями шли по всему телу, кто — желтел, как при печенке, кто, наоборот, чернел, словно последний пропойца... Но, в общем-то и целом, оставались мы, как нас бог создал: дураки умнее не становились, а умные — глупее. Не менялись мы, и ничего с нами не происходило такого, о чем стоило бы поговорить за полбанкой вечерком. А нам и плевать! Денежки капают, каждый месяц — пять кусков на книжку, причем книжки эти — именные и всегда при нас. А время было тогда какое: «москвич», «горбатый» стоил тогда в магазине пять с половиной тысяч, свободно, а «волга» — двенадцать... Не было тогда «волги»? Ну значит, «победа» была, какая тебе разница?.. Так что за такие-то денежки мы и по три кишки принять в себя были готовы, и даже с благодарностью, было бы куда вставить. Между прочим, никого из нас силком туда не затаскивали — все добровольцы, все как один: «За Родину, за Сталина!»...

...Главный у них был — маленький, толстенький, розовый, чистенький такой, хорошо отмытый боровок. Волосы всегда прилизанные и словно бы мокрые, как из душа, на носу — пенсне, лапки б[illegible], слабые, он их держал всегда одну на другой поверх брюшк[illegible]ко вечно у него торчало из распахнутого халата. И уси[illegible]од носом. Смешной такой, безобидный человече[illegible]ой. Но — видел насквозь. «Опять мастубивовал, п[illegible]..» Тоненьким своим противным голоском, и — с таким к тебе отвращением, будто ты куча говна. «Я тебя пведупвеждал или нет? Не давать ему мяса, павшивцу, до самых октябвьских...» Не знаю, что другим, а мне он всегда говорил, когда меня наизнанку в процедурной выворачивало: «Тевпи, казак,

атаманом непременно будешь. Бегать будешь, как Нувми, а забивать будешь, как Бобвов». Бобров — это было понятно, экстра-форвард был тогда в ЦДКА, а Нурми — бегун какой-то, по-моему, финский, а может быть, и шведский...

(Работодатель слушал его, словно древнего скальда, поющего ему Эдду Младшую — в самопальном переводе на солдатский,— но иногда вдруг врывался в паузу и принимался одолевать вопросами.

— А как была фамилия Тольки-Лапая?

— Тольки-то? Лапая? Хрен его знает. Не помню. Может быть, Лапаев? Или Лапайский какой-нибудь...

— А за что он сидел?

— За кражу. Корысть наживы. Квартиру какую-то обнес и сразу же сел, расп..дяй с Покровки, даже проспаться ему менты не дали. Пятерку отхватил, а выпустили через два года — за примерное поведение и как социально-близкого.

— Питерский?

— Ну. С Нейшлотского. Я там с ним потом бывал. Не знаю только, сохранился этот переулочек сейчас или уж нет — там большая стройка, помню, происходила — гостиницу строили, «Ленинград»...

— А Главного как звали?

— Слушай, настыряга, я ж тебе уже все это объяснял...

— Ну, а вдруг вспомнили. Неделя ведь прошла.

— Не могу я вспомнить того, чего не знаю и не знал никогда. Объясняю еще раз: солдатики звали его «товарищ полковник». Холуи, в глаза,— то же самое. А между собою называли его «Главный» или — «Папаша»...)

...Точно помню, случилось это седьмого марта. Я проснулся — меня кто-то трясет за плечо. А я после вчерашнего сеанса совсем больной, ничего не соображаю, и перед глазами — как тюлевая занавеска. А это меня расталкивает Толька-Лапай, очи как плошки, не бачут ни трошки: вставай Алеха, надо когти рвать, никого уж не осталось. «Как не осталось?!» А палата и в самом деле — пустая, никого нет, и койки не застелены, все брошено,

как на пожаре. Я вскочил, а одежи-то нет! Не положено одежи. Белье да халат с тапочками. Куда в таком виде? А от нервов зуб на зуб уже не попадает. Кинулись мы с Толиком на выход — везде пусто! В операционной — пусто, в перевязочных — пусто, в процедурных — пусто, в комнате отдыха — пустота, на постах — никого... Выскочили в вестибюль — огромный, что твой вокзал, и опять же никого нет, только дверь выходная на сквозняке хлопает. И вот тут у меня наступило помрачение рассудка. В глазах сделалось темно, и я все забыл. Помню какой-то переулок булыжный... старые облупленные ободранные дома над головой... старуха какая-то черная на меня смотрит из подворотни... А когда полностью очухался, оказалось, что я уже на Толиковой малине, среди воров и бандитов... ну, это уже не так интересно.

...Что ты! Были очень странные! Например, помню, было двое... Один — мальчишка совсем, лет шестнадцати,— я и сам был тогда сопляк, но он даже мне пацаном казался, абсолютным шкетом. Звали его Денис, фамилию — не помню, а вернее сказать — не знаю. Лопоухий, шея — с палец толщиной, ручки тощие, а лапы — красные, как у гусака, и здоровенные. Щенок... А второго мы звали все — Сынуля. Не знаю уж, чей он там был сынуля, но его сам Главный так звал: «А тепевь, сынуля, довогуша моя, займемся вами певсонально...» Так вот этих двоих мучили совершенно особенным образом. Вообще-то, что именно с ними делали, я не знаю, и никто из нас этого не знал. Они — кричали. День и ночь кричали, по нескольку суток подряд. Врачи около них бегают, перекошенные, со шприцами, с капельницами, туда-сюда, отгораживают их от нас в дальнем конце, да что толку — они же кричат, в полный голос, до смертного хрипа... Тогда их стали вообще у[redacted] держали где-то вдалеке, аж за второй процедурной, но, [redacted]шь пластом в первой процедурной с кишкой в э[redacted] слышишь, как он там криком кричит — через ч[redacted]коридор. Не понимаю, как такую муку можно было[redacted]ть, и однако же, ничего — переносили, как миленькие. Человек — он на все способен. Пять дней вопит от непереносимой боли, пусть даже и в полной бессознанке, а потом сутки проспится — и снова как зеленый огурец. Только не помнит ничего, что с ним было эти дни... Я говорил тебе, что из

них хотели там сделать? Нет? Ну и правильно поступил: нечего об этом трепаться. Вдруг — правда? Не дай бог, если правда...

(— ...А про дом, в котором вас держали? Про само здание? Неужели ничего не помните?

— Ничего. И не то чтобы не помню — не знаю. Привезли меня туда ночью, в закрытом фургоне... помню: какой-то двор, дождь проливной, черные стены вокруг, ни одного окна горящего... Даже сколько этажей там было, и того не скажу — не знаю. Загадка, полная тайн...

— А на прогулку вас никогда не выводили?

— Какая прогулка, милок? Когда? Между процедурами? Так между процедурами ты спишь нездоровым сном и смотришь кошмары про баб... Вот что я очень хорошо запомнил, так это вестибюль. Бывал на Витебском вокзале? Так вот точно такое же зало, кафель двухцветный под ногами, потолок — застекленный, и какие-то, вроде железные, ажурные решетки по стенам...)

...Вместо прогулок были у них заведены регулярные встречи с товарищем оперуполномоченным. Два раза в неделю плюс как потребуется. Кто что кому сказал, когда, зачем, и кто при сем присутствовал. Обычная система, очень удобная, между прочим, для сведения личных счетов. В Библии как сказано? Око за око, блин, зуб за зуб. Я человек мирный, но задевать меня никому не советую. Морды бить — это занятие для слабоумных. Я тебя помимо морды твоей так вдарю, что всю жизнь помнить будешь и десять раз задумаешься, чем меня в другой раз задеть...

...Нет, ни с кем он из них не видится. Откуда? Столько с тех пор прошло! Был, правда, интересный случай: приходит один, приводит свою — говорит — жену. Бабе лет пятьдесят и еще с довеском, а ему от силы лет тридцать, ну пусть даже тридцать пять. Баба красивая, надо признаться, но совсем плохая... ладно, не об том речь. А я смотрю не на нее,— я смотрю на него и глазам своим не верю: Дениска. Один к одному, в натуральную величину. «Дениска! Браток! Не узнаешь?» Он смотрит бесцветными глазами: ошибаетесь, говорит, я вас не знаю. «Как так не знаешь?! Денис?» Денис. «А я Лешка-Калошка! Лабораторию

помнишь?» Нет, не помнит он никакой лаборатории, плечами только пожимает. «И Сынулю, что ли, не помнишь?» И Сынули никакого не помнит... Вижу же, что врет нагло, в упор, но ничего поделать не могу. И, главное, не понимаю: почему? Почему не признается? Боится? Так сколько лет прошло, никто ничего давно уже про те дела не помнит... Я даже злиться на него начал: не понял, говорю, чувства юмора! Тебе что — мозги в голову ударили?.. Но очень быстро спохватился: какой Дениска? Дениске сейчас под семьдесят должно быть, старый должен быть пердун, вроде меня... Родственник, может быть? Сынуля?.. Не признается и как сынуля. Полностью проглотил дар речи. Ладно, я от него отстал, а потом, много спустя подумал: неужели же и на самом деле получилось у Папаши? Неужели же он с тех пор так и не стареет, а злобу на меня держит, что я тогда про них с Сынулей куму доложил?..

...Что-то там произошло между ними. Что-то неблаговидное, стычка какая-то. Что-то он случайно подслушал: как они орали друг на друга в курилке, ослепшие и оглохшие от собственной злобы — куренок этот, малолетка, Денис, и Сынуля, человек уже на возрасте, солидный, казалось бы, не из крикливых, высокомерный барин, седой, плешивоватый, с огромным родимым пятном на ползатылка... Он подслушал и, видимо, стукнул на них куму, не по злобе даже, а просто чтобы барин этот не слишком много о себе воображал, буржуй недорезанный... А спорили они — о товарище Сталине, причем произносились какие-то странные, несусветные слова: «вытяжка из грибов жоучжи», «настойка на фиолетовых муцзинь», но это еще ладно, китайская медицина, а там были слова и похлеще: «мучения нечеловеческие», «прокля[redacted]», «бессмертие»...

Сов[redacted]ная, не в лад, невпопад, история (как обычно) без [redacted]конца, и Юрий не успел даже толком зацепиться в[redacted]за эти примечательные слова о «родимом пятне в ползат[redacted]ка», как хозяин неожиданно, сам себя оборвав на полуслове, заскрипел вдруг почти с надрывом:

— Всё, всё, всё! Валите отсюда. С песнями. Сеанс окончен. Какать сейчас буду. Хотите полюбоваться, как паралитик кака-

ет? Зрелище, достойное кисти пера. Самсон, раздирающий пасть манекену-пис...

И тут же ниоткуда, нипочему, без зова, без приказа, неслышно, появилась дебелая красавица в неприлично прозрачных шелках; и сам собой включился, засиял вдруг спектральными красками гигантский безмолвный телеэкран у левой стены; в руках у красавицы обнаружилось вдруг бело-фарфоровое чудо сангигиены; жаром пахнуло из черных недр комнаты совершенно уж нестерпимо; и Юрий, рта не успев захлопнуть, обнаружил себя в медицинском предбаннике, в атмосфере божественной прохлады и внезапной безопасности; и дежурный вышибала за столом показался ему старинным и до слез добрым знакомцем...

В машине они некоторое время молчали, и хотя дорога была по-прежнему дрянь, Работодатель не пел, а только тихонько посвистывал сквозь зубы. Потом Юрий вытянул из-за пазухи диктофон, отмотал немного назад и послушал неприятный голос с трещинкой.

— Как он тебе? — спросил Работодатель.

— Нормально. Четыре балла. Даже четыре с плюсом.

— Но один-то раз он — точно — наврал?

— Пожалуй. Как он остался в пустом здании.

— Именно,— согласился Работодатель с удовольствием.— И знаешь, почему я догадался? В прошлый раз он мне эту историю совсем по-другому рассказывал: будто его вывезли в крытом фургоне за город и там выбросили, прямо в снег...

— Угу. И еще эта история про Дениску... который к нему пришел со своей женой...

— Ну?

— Тоже какая-то... неубедительная... Подвирает он там, не пойму только в чем... Ладно. Слушай, ты что, много раз с ним уже общался?

— Да. Сегодня — в третий раз.

— И что, он так и не вспомнил, как звали этого... ну... Сынулю этого? Барина?

— Силецкий,— быстро ответил Работодатель, и сразу сделалось очевидно, что — врет. Он и сам это понял, засмеялся и ска-

зал: — Не вспомнил. Или не захотел вспомнить. В самом деле, клянусь... А почему ты спрашиваешь?

— У меня знакомый есть,— сказал Юрий по возможности небрежно.— У него тоже такое же вот пятно на ползатылка.

— Да? — Работодатель быстро на него покосился.— И сколько же ему лет, знакомому твоему? — спросил он, тоже небрежно.

— Лет шестьдесят, наверное. Или шестьдесят пять.

— Нет. Это не тот. Не получается. Тому должно быть сегодня лет сто и еще с хвостиком.— Он снова посмотрел, на этот раз откровенно пристально.— Хотя вообще-то, с другой-то стороны, если подумать... Познакомишь?

— Вряд ли,— сказал Юрий, спокойно выдерживая его знаменитый взгляд.— Зачем это тебе? Только зря тревожить старого человека.

Работодатель промолчал. Юрий достал второй диктофон, секретный, проверил запись — здесь тоже все было в порядке. Ладно, подумал он. Потом. Все потом. Не хочу сегодня думать вообще. Ни о чем. К чертям.

— А кто он вообще такой, этот твой Алексей Матвеевич? — спросил он.

— Как? Ты так и не понял? Это же Алексей Добрый. Великий целитель. Ты что, газет не читаешь?

— Не читаю. И радио не слушаю.

— И рекламу тебе в ящик не бросают?

— И рекламу не читаю. И телик я не смотрю. Серый я, чего и тебе от всей души желаю... А от чего он исцеляет?

— От всего,— сказал Работодатель тоном щедрого хозяина.

— И на хрен он нам с тобой сдался?

— Н[redacted] сказал Работодатель.— Это — заказ.

— К[redacted]

— В[redacted]ого чего знает, этот Лешка-Калошка. Ты же с[redacted]

— А[redacted]к?

Работ[redacted] ответил не сразу, но все-таки ответил:

— Аятолла,— сказал он.— Извини.

Опять Аятолла, хотел сказать, но, конечно, не сказал Юрий. Неужели не понятно, что — нельзя. Опасно. Да и попахивает.

Баксы не пахнут? Еще как пахнут. Если принюхаться. Но если не принюхиваться специально, тогда, разумеется... Тогда не пахнут. Я не хочу работать на Аятоллу, понятно тебе? На Павла Петровича Романова — с удовольствием. На себя, любимого,— пожалуйста. А на Аятоллу — не хочу. Тошнит. И не только от страха.

Они уже въезжали в город, белый от свежего снега и черный от теней, ртутного света и мокрого асфальта. «А за окном белым-бело, это снегу намело... А за окном черным-черно, это ночь глядит в окно...»

Работодатель остановился у подвальчика «24 часа», не сказав ни единого слова в поучение, отслюнил шестьдесят баксов двадцатками и умчался, сделав на прощанье ручкой. «До завтра. В десять ноль-ноль, как штык, на рабочем месте — будем потрошить еще одного дяденьку с бородой...»

Да хоть с рогами. Юрий спустился в подвальчик и набрал там на сорок баксов всякого. (Все в подвальчике были его старые знакомые и принимали у него хоть баксы, хоть дойче-марки, хоть юаровские рэнды — по специальному курсу, разумеется, но такова уж селяви...)

Руки у него были (на американский манер) заняты двумя титаническими пакетами, и чтобы не рисковать драгоценными бутылками, он, добравшись до двери дома, нажал на кнопку звонка подбородком. Жанка, слава богу, прискакала тут же, распахнула дверь, и он по квадратным глазам ее моментально понял: что-то не так.

— Что?

— Вадим там твой...— сказала Жанка тихонько и как бы с испугом.— Знаешь, он, по-моему, совсем не в себе, честное слово.

— О господи!..— сказал Юрий, но более с облегчением, нежели с раздражением или неудовольствием.

Вадим, как вернулся из своей дурацкой экспедиции на Северный Кавказ, так с тех пор и пребывал в состоянии, для него совершенно необычном. Он стал какой-то тихий, невзрачный, незаметный — до такой степени, что порой казался даже вовсе невидимым простым глазом. Он, впрочем, и раньше был таким, довольно-таки малоприметельным, но теперь его словно стерло, как старый пятак. Он стал стариком. И кто-то из ребят отметил

(с некоторым даже испугом), что Вадим теперь временами поразительным образом теряет контроль над своим лицом и становится тогда вообще похож на растерянного и даже угодливого старичка-бомжа. Да что с тобой, скотина? — спрашивали его. Что у тебя болит?.. Он вяло огрызался цитатами из телевизионных реклам. Мариша, не выдержав этого зрелища распада и деградации, затащила его в знакомую частную поликлинику, где, впрочем, нашли его физически здоровым, но психически подавленным (что и без них было всем очевидно) и порекомендовали курс каких-то сволочных инъекций, от которых Вадиму, кажется, стало только еще хуже.

Сейчас он спал в кресле перед включенным — без звука — телевизором, и лицо его было еще более жалким и убогим, чем обычно, рот полураскрыт, а опущенные серые веки судорожно подергивались. Юрий обнюхал его — спиртным не пахло. Ладно, пусть дрыхнет. Пока. А там посмотрим.

Он вернулся в кухню, где Жанка уже орудовала вовсю — шуршала замаслившейся оберточной бумагой, вскрывала пакеты, раскладывала снедь по тарелкам, что-то там нарезала — розовое и жирное, хлопала холодильником, брякала вилками-ножами — тоже, видимо, проголодалась, старушка моя, и взалкала выпить. (Интересно, можно так сказать: взалкала выпить?) Ему оставалось только откупоривать бутылки и готовить джин-тоник, первую порцию, самую смачную. Шпокнули взламываемые баночки тоника, зазвенел лед в прозрачной синеве божественного напитка, они чокнулись толстыми стаканами и выпили, и сразу же в усталой голове весело зашумело, и мир сделался вполне приемлем, и даже более того — уютен и хорош. Мир стал добр, но тре[illegible] — срочно требовалось повторить...

Ко[illegible] телефон, они были уже целиком от мира сего — до[illegible] дьявольски хороши. Жанка, не очень-то уверенно ступая, удалилась трепаться, как выяснилось, с Маришкой и о какой-то кулинарии — обсуждался рецепт торта «Аристократ». Юрий же вдруг обнаружил себя чокающимся с возникшим из ничего Вадимом, который хорошенько, видимо, отоспался в мяг-

ком кресле и теперь готов был соответствовать,— даже порозовел в предвкушении.

Произошел странный разговор.

— Ты за кого голосуешь? — спросил вдруг Вадим, тыкая вилкой в распадающийся кусок осетрины горячего копчения.

— В каком смысле?

— Ну, на выборах.

— На каких выборах?

— Блин. Ты что — газет не читаешь?

— Да, не читаю! Не читаю я газет! Что вы все ко мне привязались? Не читаю, и вам не советую!

— Я могу изменять будущее,— сказал вдруг Вадим и, сказав, выжидательно уставился.

— Ну? — сказал Юрий, не дождавшись никакого продолжения.

— Что — ну? Могу? Или нет?

— Не знаю,— сказал Юрий честно.

— Так слушай, мать твою! Я — МОГУ — ИЗМЕНЯТЬ — БУДУЩЕЕ. Это правда? Или нет?

— Брат,— сказал Юрий.— Господи! — Он наконец понял, что от него требуется, но ведь он же ничего не мог сейчас.— Слушай, брат, давай лучше выпьем еще по одной. Ей-богу...

Вадим, весь словно вздернутый — прямой, напряженный,— смотрел на него непонимающе, а потом облизнул губы и расслабленно обмяк.

— Ну да...— пробормотал он.— Ты же поддатый, я забыл совсем... Извини. Понимаешь, мне показалось, что я уже могу... мне спросонок показалось. Такой хороший был сон.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 3. ГЛАВВРАЧ, ПАПАША СЫНУЛИ

— Кто там у тебя все время орет? — спросил Большой Начальник, болезненно от собственного вопроса перекосившись. Похоже, у него болела голова после вчерашнего. А может быть, газы совсем замучили. Он явно и откровенно страдал метеориз-

мом. Кроме метеоризма, у него было еще огромное жирное лицо — репа хвостом вверх,— и белесое, как репа, и с темными пятнами, словно репа эта местами подгнила. Глаза на этом лице смотрелись как некое биологическое излишество.

— Испытания идут, товавищ геневал,— объяснил главврач со всей доступной ему предупредительностью.— Полным ходом. Не пвекващаясь ни на час. Товавищ геневал.

— А заткнуть его никак нельзя?

— Можно, конечно же. Но это, сковее всего, пов'ведит экспевименту.

— Какому эксперименту?

— Тому самому, товавищ геневал,— сказал главврач со значением.

Репа смотрела на него, мигая человеческими глазами, и находилась как бы в напряженном размышлении... И вдруг раздался длинный сипящий звук, и завоняло как в сортире. Видимо, напряжение превысило некий допустимый предел.

— Я извиняюсь,— произнесла репа с простодушным облегчением.

— Вам показан актививованный уголь, товавищ геневал,— заметил главврач, но товарищ генерал не стал развивать эту интересную тему.

— Вы, доктор, уже шестой месяц эти свои эксперименты ставите,— сказал он, перейдя вдруг на «вы».— А где результаты?

— Везультаты обнадеживающие, товавищ геневал.

— Вы мне шестой месяц толкуете про результаты ваши. Обнадеживающие. А где они?

— Очень сложная задача, товавищ геневал. Никто в миве...

— Знаю, знаю! — Большой Начальник помолчал, а потом произнес с[illegible]?— Если бы где-нибудь это умели, мы бы, товарищ п[illegible]тебя бы обошлись. Понял?

— Т[illegible]

— Во[illegible] Начальник снова помолчал, прислушиваясь.— А чего он, вообще-то, орет? Непонятно.

— Больно,— объяснил главврач.— А пвименять паваллельно болеутоляющие пвепаваты...

— То есть как — больно? Кому — больно?

— Подопытному. Добвовольцу. Это очень болезненный пвоцесс, товавищ геневал... (Начальник слушал, приоткрыв рот с золотыми зубами. Белесые щеки его медленно розовели. Пунцовели. Багровели.) В этом вся пвоблема, к сожалению. Собственно, пвоцесс нами уже отваботан, по квайней мере, в пев'вом пвиближении, но вот сопутствующие...

Тут начальник стал окончательно цвета свежего мяса и заорал. «Курва недобитая, картавая! — орал он.— Вредитель недо..анный! Б..., сука белогвардейская! Ты понимаешь, кому ты свои препараты сраные готовишь? Ты понимаешь, кто их принимать будет, б..дина пухломордая, пидор гнойный, мудила, говно еврейское!.. Семейственность, понимаешь, развел в учреждении и вредительством занимаешься? Встать, полковник, когда разговариваете с генерал-лейтенантом!..»

Главврач с готовностью поднялся и терпеливо, руки по швам, слушал выговор, дожидаясь возможности оправдаться. Не то чтобы он привык, обычно с ним разговаривали вежливо и даже почтительно, но этот репоголовый пердун всегда орал, нравилось ему орать, и он всегда находил повод, к чему придраться, чтобы всласть поорать. Разрядиться. Метеоризм — поганая штука, мучительная и унижающая. И полный идиот, к тому же. Бабка говорила: на копейку луку, а на рубль бздуку,— это о нем, и в прямом смысле, и в переносном... Вот, кажется, и все — иссяк. Успокоился. Сейчас предложит сесть...

— Садитесь, товарищ главврач,— сказал Начальник утомленно.— Вы и сами понимаете, что такое положение недопустимо. Надо что-то предпринимать.

— Конечно, товавищ геневал-лейтенант. Именно над этим мы и ваботаем сейчас.

— Правильно. Так держать. И если нужны какие-нибудь лекарства... микстуры, препараты,— немедленно докладывайте, мы обеспечим.

— Слушаюсь.

Начальник некоторое время осторожно и даже с нежностью ощупывал себе щеки белыми золотоволосыми пальцами, потом спросил:

— Но в основном, вы говорите, дело продвигается?

— Так точно. Главная задача уже вешена.

Начальник кивнул, глазки у него вдруг сделались как щелочки.

— И как же эта штука у вас работает? Я никак не представлю себе, что это. Защита от болезней? Или?..— он так и не решился выразить словами, что именно «или», и только руками показал нечто неопределенно опасное.

— Я не уполномочен обсуждать эти вопвосы,— сказал главврач сухо и мстительно добавил: — С вами.

Это произвело должное впечатление. Товарищ генерал-лейтенант снова пукнул — смачно, от души,— и тогда главврач поднялся, извлек из стеклянного аптечного ящика тюбик активированного угля и протянул его через стол.

— Всячески вам векомендую,— сказал он поощряюще.

«В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений».

Глава четвертая

ДЕКАБРЬ. СРЕДА. НОЧЬ ПАТРИАРХА

«...Его зовут Стэн Аркадьевич Агре. Имя, казалось бы, необычное, но только для нашего нынешнего деидеологизированного безвременья. На самом деле Стэн — это «СТалинЭНгельс». У него, между прочим, был когда-то еще и старший брат, которого звали Марлен: Маркс плюс Ленин. А вот откуда взялась у него, совершенно русского человека, такая экзотическая фамилия, мне выяснить пока не удалось. Знающие люди объясняют, что «агрэ» на санскрите значит «первый» или даже «наивысший», по-грузински это — «вот» («Вот какой рассеянный...»), а на иврите «агра» (ударение на последнем слоге) означает «налоги». Вот и все, что удалось мне выяснить об этом предмете. То есть — ничего.

...Я согласился сейчас писать о нем не потому, что испугался вас. Не надо преувеличивать. И уж конечно, не потому, что хочу помочь вам. Вообще — не потому, что усматриваю в этом занятии хоть какой-нибудь корыстный или прагматический смысл. Я начал эти записки потому, что, кажется, понял окончательно: после меня в мире не останется ничего, кроме этих записок. Более того: и после НЕГО самого не останется ничего, кроме этих моих записок. Да, пожалуй, еще — нескольких слухов, теперь уже напоминающих легенды. Да великого множества интервью, не дающих никакой информации, а только раздражающих воображение и порождающих новые слухи и новые легенды.

О нем до сих распускаются странные слухи и распространяются сочные легенды. Полагаю, в вашем департаменте их кто-нибудь старательно собирает, сортирует (высунув набок язык) и дотошно анализирует. Вполне допускаю даже, что часть этих слухов придумано и распространено именно вами... Но две легенды я здесь приведу. Одну — потому, что она кажется мне совершенной, отшлифованной в пересказе до состояния готовой новеллы. А вторую — потому, что сам был свидетелем события и имею возможность на этом примере наблюдать, как скромно-затрапезная куколка факта трансформируется в роскошную бабочку легенды.

Итак, история первая. Действие происходит году этак в девяносто четвертом, не позже девяносто пятого. Идет троллейбус, по дневному времени — малонаселенный, народ сидит. Всё тихо, мирно. На заднем сиденье расположился неопределенной конфигурации дядёк, про которого одно только и можно поначалу сказать, что он — с большого пролетарского бодуна. Скорее всего, именно поэтому сидит он в полном одиночестве, и ему, видимо, скучно. И он начинает говорить, а точнее — возглашать.

— На следующей остановке,— провозглашает он,— выйдут двое, а войдет один...

— А вот на следующей никто не выйдет, а войдет мама с ребенком...

— А на следующей — выйдут четверо, а войдут трое...

На все эти объявления спервоначалу мало кто обращает внимание, но однако довольно скоро народ обнаруживает, что все непрошеные эти предсказания странным образом сбываются. Все. До единого. И абсолютно точно.

— На следующей трое выйдут, а двое войдут — мужчина и [illegible]ина.

Тот [illegible].

— Какая следующая? Московский? Двое выйдут, двое войдут...

Absolutely!..

Рты помаленьку раскрываются, глаза выкатываются. Теперь уже все его слушают, словно какого-нибудь Жванец-

кого, кроме какой-то блеклой девицы, углубившейся в лакированный детектив. Прочие же внемлют жадно, со сладким ужасом, причем никто оборачиваться на него не рискует, только уши у всех настропалены, как у битых котов.

— ...А на следующей войдет один, и один выйдет.

Точно: один входит (и сразу же, между прочим, со страхом настораживается — туда ли он попал и что тут за дела происходят?), но вот не выходит — никто! Троллейбус стоит с открытыми дверями, часики тикают, уже несколько злорадных рыл поворачивается к похмельному пророку, уже створки дверей начинают смыкаться, но тут тусклая девица захлопывает вдруг свое чтиво и с воплем «Ой-ей-ей!» (или что-то в этом же роде) продирается сквозь соседа по сиденью и без малого застревает в дверях, но успевает-таки выскочить. По троллейбусу проносится задавленный вздох. Все ждут, что будет дальше, но дальше ничего не происходит: пророк молчит, героически сражаясь с абстинентным синдромом. А когда троллейбус останавливается в очередной раз, он поднимается со своего места — маленький, неряшливый, кривоногий,— спускается на ступеньку, чтобы выйти, и напоследок объявляет:

— В девяносто шестом выберут Ельцина, а в две тыщи шестом будет ядерная война с террористами...

Это — про него. Хотя он вовсе не маленький, а скорее уж рослый, не неряшливый, а очень даже ухоженный, и никогда не напивается до похмелья. (Он вообще не любит быть пьяным. «Чего это ради я буду напиваться? — спрашивает он сумрачно.— Мне и так весело».) Я прекрасно помню времена, когда все еще были живы и даже здоровы, он частенько тогда пребывал в веселом расположении духа, не пренебрегал выпить стаканчик и с удовольствием расслаблял себя шутками. Теперь-то он не шутит. Никогда. А на тех, кто в его присутствии позволяет себе пошутить, смотрит. Внимательно. Словно ждет продолжения.

Вторая история незамысловата и в значительно меньшей степени канонична. На некоего (святого) человека нападает толпа развлекающихся подростков, нанюхавшихся какой-

то дряни, а может быть, просто — в целях оттяга. Его окружают, прижимают к садовой решетке и принимаются было мучить, но тут он мощно возглашает, обращаясь к главарю: «Не медлите! Завтра же найдите книгу. Автор — имя рек. Название — имя рек штрих. Ищите!» Потрясенные (чем, собственно?) юные раздолбаи отпускают его немедленно на волю, а главарь и в самом деле принимается искать книгу. Названную книгу он, сами понимаете, так и не находит, но зато пристращается к чтению и делается — во благовременье — порядочным и даже выдающимся человеком.

Чрезвычайно любопытны в этой вполне безвкусной истории — варианты книг и авторов. Чаще всего называется Библия: Апокалипсис или Екклезиаст. Иногда — книги по естественным наукам, скажем: «Курант и Роббинс! «Что такое математика?»! Глава первая, параграф четвертый, «Диофантовы уравнения»!..» А иногда — совершенно неизвестные и, видимо, фантастические, нигде не существующие, например: Артур Майлз, «Как стать собой»... Но самое любопытное не это. Самое любопытное, что он обращается к поганому хулиганишке на «вы». Во всех вариантах этой истории, которые я слышал. И это тоже — про него. Он — единственный известный мне человек, который всегда и всем говорит «вы» — даже десятилетнему пацану.

Что же касается самой истории, то на самом деле все было не так. Он поехал к себе на четвертый этаж в лифте, а мы с Тенгизом и Маришей решили размяться и пошли пешком. Эти двое козлов торчали площадкой выше, видимо, уже давно (судя по количеству окурков), и как только он стал открывать калитку в решетке, они напали на него и успели ударить несколько раз. Чего именно они хотели, так и осталось невыясненным, но во всяком случае ничего плохого они больше сделать не успели — мы подоспели, и Тенгиз взял их в оборот. Я кинулся поднимать его с полу, но он уже и сам вставал, цепляясь за решетку,— белый, свирепый, кровища течет по лицу, глаза, как у звероящера. «Дайте его сюда»,— приказал он Тенгизу, показывая на того козла, что был пожиже, и сам подался вперед, к этому козлу вплотную, наклонился к его

козлиному уху и что-то сказал ему,— никто из нас не услышал, что именно. А потом он велел Тенгизу отпустить их, и они ушли, еле передвигая ноги, как покорные паралитики. А тот козел, что был пожиже, спустившись на три ступеньки, вдруг обернулся и спросил (с огромным недоумением): «А зачем?» — «Идите-идите. Потом поймете»,— ответил он, и на этом история, собственно, и закончилась, а начались перевязки, антистолбнячные уколы и прочая лабуда из ведения нашей Мариши.

Есть еще история, как он оживил человека — девяностолетнего старца, который тихо угасал на руках рыдающей родни, а очухавшись, вдруг возопил: «Дядя Стэн! Это же я — Щуренок! Вы меня на коленке подкидывали, помните?..»

Вообще подозрительно много историй про людей, которые старше его возрастом или, как минимум, такие же немолодые, но помнят его с детства — со своего собственного детства — именно таким, каков он сейчас. Я сам присутствовал при подобном случае, когда он привел (в приступе последнего отчаяния) свою жену, Татьяну Олеговну, к какому-то великому целителю, а тот, его увидев, возопил: «Сынуля! Ты что, меня не узнаешь, что ли? Я же Лешка-Калошка!» Из его слов получалось, что они оба лет пятьдесят назад сидели в одной камере, или что-то в этаком же роде. Странная какая-то история, если учитывать, что он никогда и ни по какому поводу не сидел и что — по словам целителя — «совсем за эти годы не переменился». Это за пятьдесят-то лет? Правда, целителю этому — грош цена, ничем он Татьяне Олеговне не помог...

Впрочем, о его прошлом вообще мало что известно. Сам он никогда ничего о себе не рассказывает. И никогда ни о чем не вспоминает. Может быть, ему нечего вспоминать? Или, может быть, он все позабыл и существует теперь только в настоящем и будущем? Когда я однажды спросил его напрямик, рискуя даже нарваться на высокомерное его неудовольствие, он ответил мне неожиданно спокойно и даже с каким-то удивлением: «Но мне и в самом деле нечего рассказать о своем прошлом. Там нет ничего, кроме многочисленных проб и ошибок. Мне не нравится все это вспоминать. Удачные про-

бы давно уже сделались моим настоящим, а о неудачных я рассказывать не хочу — стыдно. До сих пор стыдно. Достаточно того, что я не повторяю ошибок».

Это неправда. Он ПОВТОРЯЕТ ошибки. Он совсем не Господь Бог, он даже не гений, он — интерпретатор. Вот его собственные слова: «Поймите же, я не творец. Я всего лишь интерпретатор. Я ничего не создаю, все уже создано, без меня и до меня. Я — лишь НАЗЫВАЮ».

Я совершенно оставляю в стороне истории и легенды со смертоубийствами, увечьями и прочими злодействами. Вот сейчас ходят слухи (и даже в газетах об этом писали), будто участились случаи, когда киллеры пользуются нервно-паралитическим ядом. Или каким-то особенно страшным газом, убивающим почти мгновенно. Обнаруживаются трупы граждан (как правило — весьма состоятельных, даже богатых: коммерсантов, владельцев всяких там АО, ОАО и ООО, нефтяных магнатов, воротил игорного бизнеса), у которых жизнь вдруг прекратилась вследствие внезапной остановки дыхания. У меня в регулярной статистике — три таких случая за последние два года, но я помню, такое бывало и раньше. Находили их в машинах, в подъездах, на лестничных маршах, иногда рядом со своими телохранителями, которые тоже пострадали, но очухались и ничего толком не могут сказать: шли себе за боссом как положено, вдруг стало трудно дышать, в глазах — темнота, обморок, очнулся: труп — и пахнет кругом горелой бумагой... Так вот это все — не про него. Он брезглив. Я бы сказал даже — он брезгливо добр... «Не хотел бы прослыть старомодным, но: жизнь — священна», «Не нами данное не нам же и отнимать», «Смерть больше любой проблемы»... И так далее...

***По утрам** он читает газеты. (Он выписывает четыре газеты разных направлений, и еще одну — «Общую» — ему вот уже несколько лет выписывает некий доброхот, полагающий почему-то за благо оставаться неизвестным.) Читает жадно. Пыхтит. Покряхтывает. Вдруг начинает остервенело ковырять в носу. Елозит локтями по расстеленным полосам, мнет их безжалостно, а потом принимается бездумно раз-*

глаживать сухими своими белыми ладонями. Щелкает ножницами. Вырезает заметки. Или таблицы. Или куски текстов.

Совершенно невозможно понять, что именно его интересует. Всё. «Врожденный запрет братоубийства» (статья Конрада Лоренца). «Настоящее и будущее литературы» (обзор за год). «Операция ГРИФ» (как Скорцени пытался ликвидировать Эйзенхауэра в декабре 1944 года). «Осада "Уотергейт"» (скандал, из-за которого обвалился Никсон). «"Ад" и "Рай", затерянные в океане» (о Галапагосских островах). «Поиски ответа на трудный вопрос» (по поводу полового воспитания детей и подростков). «Капитуляция лейтенанта Онолы» (история самурая, в одиночку продолжавшего воевать на Филиппинах аж до 1972 года). «Средний возраст — 900?» (популярно о проблеме долгожительства). «Признания убийцы» (откровения террориста Баруха Наделя, организовавшего убийство графа Бернадотта). «Толпа одиноких» (о рокерах, блузон-нуарах и прочих таких же)...

Но прежде всего — статистика. Самая разнообразная. «Удельный вес военных расходов в ВНП США»... «Текучесть кадров: причины и предупреждение»... «О проблеме рождаемости и демографическом неведении»... «Интеллект ученых Кембриджа»... «Поколение 2000 года»... «Продуктивные районы океана»...

Вырезки распихиваются по папкам, тесемочки завязываются, разрезанные и помятые листы швыряются в корзину. Не могу вспомнить ни одного случая, ни единого, чтобы он хоть как-нибудь воспользовался всеми этими сведениями. Он никакой эрудит, памяти у него совсем нет, или он ею ленится пользоваться. Память его — это я. Для того меня и держат, дабы помнил все, что вдруг и зачем-то понадобилось. Только нечасто, ох, как редко, возникает во мне такая нужда. Обычно же меня используют не как банк данных, а как самую обыкновенную записную книжку. «Когда я должен встретиться с этим кретином из «Дейли ньюс»?..» «Я хочу видеть Маришу, свяжитесь с ней и назначьте на среду, на пятнадцать тире шестнадцать...» «Мы забыли ответить Институту прикладной астрономии? Забыли. Очень мило.

Набросайте текст с вежливым отказом, я подпишу...» С тем же успехом он мог бы завести себе перекидной календарь. Это обошлось бы ему гораздо дешевле. Но тут, я полагаю, все дело в том, что помыкать перекидным календарем неинтересно, да, пожалуй, и вовсе невозможно.

Кроме газет и журналов он не читает ничего. Он давно уже, и глубоко, погрузился в тот возраст, когда беллетристику не читают совсем, и вообще читают мало, а если уж читают, то литературу, так сказать, «фактическую» — словари, энциклопедии, исторические опусы или самые неожиданные учебники.

Живет он один, вот уже четыре года. У него есть жена, Татьяна Олеговна, сильно больная женщина, но вот уже четыре года, как она переселилась в специальную клинику и, видимо, навсегда. Он ездит к ней по понедельникам и, вернувшись, каждый раз, черный и злобный как дракон, шипит мне: «Всё! Больше я туда не поеду. И напоминать мне не смейте! Всё!..»

Еще у него есть сын. Ему на вид лет тридцать. Живет сейчас, если мне не изменяет память, в Австралии, держит антикварный магазин. Рослый, белокурый (ни в мать, ни в отца) красавец с манерами номенклатурного барина и с сильнейшим английским акцентом. Несколько раз в год приезжает, у них какие-то общие, мне непонятные, кажется, филателистические дела. Но главным образом, он (я имею в виду — сын) давно и безуспешно охотится за Тенгизовыми старинными часами. С ума сходит по этим часам, с каждым приездом предлагает за них все больше и на ломаном своем русском (каша во рту) умоляет папочку (Daddy) помочь Тенгиза уговорить. Daddy вежливо уклоняется, Тенгиз — тоже, и через полгода все повторяется сначала. Кроме этих часов, по-моему, ничто с сыном его не связывает. Чужие, вежливо безразличные друг к другу люди.

К животным он тоже вполне равнодушен. Но у него живет черепаха по имени Старуха. Шуршит мятой бумагой по углам. Смотрит старушечьими бессмысленно-зоркими глазами, словно видит что-то за горизонтом событий. (Легко

могу представить себе, как глухой осенней ночью, запершись в пустой своей шестикомнатной квартире, он берет ее на ладонь, гладит пальцем прохладную гладкую кость панциря, заглядывает в мертвенно-неподвижные глазки и — помирает от тоски и одиночества.)

Квартира гигантская, старинная, с крепко выдержанными запахами прошлого. Потолки — четыре метра с хвостиком, лепнина (морские боги, водоросли, наяды, нереиды), проводка наружная, на старинных фарфоровых роликах, могучие люстры в гостиной и в кабинете, а спальни (их две) обшиты дорогим деревом, и окна там — разноцветные витражи, изображающие желтое солнце над коричневым горизонтом.

Есть еще дальняя комната, маленькая комнатушка без окон, по сути дела, чулан, заставленный стеллажами. Там стоит компьютер, всегда включенный (всегда работающий в программе CROSSYST — представления не имею, что это за программа), и сквозняки жутковато раскачивают развешанные поверх стеллажей бесчисленные шерстяные вязаные хвосты, длинные, узкие, в пять рядов петель, серо-черные, словно вшивые косы кочевника. Здесь всегда полутемно, страшно, как на капище, и душно пахнет пылью и паутиной.

Есть ли у него друзья? Интересный вопрос. Я и сам хотел бы понять, есть ли у него друзья. Друзья — это люди, которых ты любишь «за все», за все без исключения. По сути — как самого себя, ибо только с самим собой ты всегда можешь о чем угодно договориться, яростно отхлестать по щекам, а потом простить, плача от нежности. Так вот, таких у него нет. У него есть мы, но мы не друзья ему, мы ему, скорее, дети, но — любимые. Но — не на равных. Но — без которых нет смысла существования. Но — ступенькой пониже. Словно вымученная выстраданная книга — для писателя, статуэтка — для скульптора, бриллиант — для мастера. Можно радостно и нежно любить драгоценный камень, извлеченный тобою из грубого нечистого алмаза, но нельзя с этим камнем дружить.

К нему — время от времени — приходят. Как правило, это старые люди, как правило — старики, очень редко — стару-

хи. Иногда это бывают довольно странные визиты. Но самое странное, что никто и никогда (за редчайшими исключениями) не приходил к нему дважды. Хотя почти каждый раз видно, что это старинные знакомцы, «вась-вась», «ба, какие люди!», «сколько-лет-сколько-зим!».

Чаще прочих бывает у нас Академик. Человек-гора. Куинбус Флестрин. Огромный, пузатый, ручищи, плечищи, ножищи, щеки, как два пирога. Он его так и называет: Академик. И еще — иногда — Лауреат. Он и в самом деле академик (физико-химик, нефтяник), очень известный в своих кругах, и лауреат самых немыслимых премий: в прошлом году, например, получил весьма престижную премию саудовского короля — немыслимую кучу баксов (за вычетом налоговых сумм, разумеется). Но с сэнсеем они говорят отнюдь не о физике с химией, и даже не о нефти, а о почтовых марках и о деньгах. Только о почтовых марках и деньгах. Сэнсей жалуется, что денег постоянно не хватает и что предложили ему вот давеча «Четвертый Номер» (не бюстгальтера, разумеется, а какой-то очень ценной марки — «на вырезке с московским гашением»), а он вынужден был отказаться, нищета проклятая. На что Академик отвечает ему что-нибудь о том, что не в деньгах, мол, счастье, и в свою очередь жалуется, как он давеча (на деньги саудовских королей) купил несколько хороших марок у одного старого маразматика, а тот возьми и передумай и теперь вот требует «все назад» и грозит милицией, общественностью и даже якобы на все готовыми якобы «братками»... Разговоры о деньгах мне понятны и даже интересны: деньги — это всегда интересно. Но когда речь у них заходится о марках!.. Тенгиз утверждает, что они оба — больш[redacted]матоки. Возможно. Во всяком случае, я в их разговорах о [redacted] не понимаю абсолютно ничего

— ...Это безводные?

— Нет, с водой.

— Горизонталки?

— Три горизонталки, а на вырезке — вертикалка.

— Угу. Хорошая калоша... Тройка. Это Кронштадт, кажется? Жалко, что смазана.

— Уж какая есть. Не я ставил.

— А крупнозубых у него нет?

— Есть единичка, чистая, в квартблоке.

— А пятерки нет?

— Гашеная. Штрайф из трех...

И так далее. Отдайте это вашим шифровальщикам.

Есть один очень странный посетитель. Однажды заявился без звонка — не молодой, не старый, красно-коричневый, словно курительная трубка, и так же провонявший никотином, по последней моде плохо выбритый (эн-дневная щетина), маленький, но страшный и какой-то весь неестественный, как Божий грех. Я не хотел пускать его, но он только глянул на меня глазами Дракулы (не знаю, что это значит: исподлобья, радужка — сплошной зрачок, а белки в кровавых прожилках),— глянул и представился наждачным голосом, неприятно картавя, что, мол, агент социального страхования и обязан срочно побеседовать с достопочтенным господином Агре, имея в виду его же, Стэна Аркадьевича, насущную нужду... Не Дракулу он напоминал (бог с ним, с Дракулой, что я про него знаю?), а старика Пью, слепого убийцу из Стивенсона. Мне стало страшно, до омерзения, до потери личности, и я его пропустил.

Оказалось, что они знакомы, и, видимо, давно. Битый час толковали о чем-то неудобопонятном, какие-то дурацкие анкеты обсуждали, заполняли вместе, грызлись по поводу ответов на совершенно идиотские вопросы. («Прожил большую часть жизни в крупном городе? Да-нет»... «Регулярный уход за зубами? Да-нет»... «Физические упражнения: нерегулярные, регулярные умеренные, регулярные активные...») Я почти не слышал их — я только пялился на страхагента как загипнотизированный. Смотреть на него без содрогания, почти физического, было мучительно трудно, не смотреть же совсем — невозможно. И я смотрел, ничего почти не слыша и не

понимая. Но потом стали возникать имена, как правило, незнакомые, но вдруг мелькнули и знакомые: Костомаров, Хан... (Какой такой Хан? Тенгиз?) Тут достопочтенный Агре поднялся величественно и произнес: «Попрошу вас ко мне!» (Как будто до сих пор они были не у него, а на лестничной площадке.) И они удалились в чулан и еще добрый час бубнили там о чем-то, время от времени резко покрикивая друг на друга, а затем вновь появились: страхагент впереди (с довольным видом и уже не такой страхообразный, какой был изначально), а достопочтенный Агре — следом, весь перекошенный лицом и с фужером коньяка в руке. Этот коньяк он потом, сидя на рабочем месте, еще полчаса после ухода Социального Страхования, молча потягивал, словно оттаивал, словно отходил от сильного стресса. А когда я осмелился спросить, в чем собственно дело и кто это был, он ответил: «Ангел Смерти это был»,— и снова занялся своим фужером. И я ему поверил. Почти. Потому что не поверить было, знаете ли, довольно трудно, а поверить — совершенно невозможно...

Я привел здесь этот эпизод, чтобы продемонстрировать: пользы от меня вам будет немного — ничего интересного вы о связях его от меня не узнаете, как ничего об этих связях не узнал я сам за десять лет беспорочной службы.

Что касается его клиентов, то десятки и десятки их прошли передо мною, все они совершенно официально занесены были в соответствующие файлы, и файлы эти могут быть представлены в любой момент — по соответствующему запросу, скажем, Налогового управления. Десятки и десятки, главным образом, мам и бабушек со своими отпрысками... Попадаются среди них и папы с дедушками, но это вариант — болев редкий, почти экзотический. Жадные родительские глаза в жадном ожидании чуда — сегодня, сейчас, желательно — в середине сеанса... Испуганные детские, испуг в которых так быстро и трогательно заменяется испуганным интересом, а потом и обстоятельной деловитостью, и вот перед тобою — сосредоточенно сопящий пацан, словно занятый каким-нибудь сногсшибательным, чудесно пахнущим, новым с

иголочки дареным конструктором... И вечный страдальческий вопль: ну почему же нельзя девочку?!!

Он и сам не знает толком, почему он не может работать с девочками. С девочками, с девушками, с матронами... Он сказал как-то (не мне, но в моем присутствии), что видит людей как бы на просвет — прожилки, сложнейшая ячеистая структура, нити, шевелящееся, цветное с богатыми оттенками, сложно организованное месиво,— но совсем не видит женщин: они для него все — как сплошные терракотовые, бирюзовые, графитовые, малахитовые сосуды,— они непрозрачны, хотя и невероятно, почти божественно, красивы... Но: любоваться — да, работать с ними — нет. И это при том, что родители девочек особенно — невероятно, удивительно, неправдоподобно! — настырны...

Он скромен. Этого у него не отнимешь. Он невысокого о себе мнения — и на словах, и на деле. Величайшим и непростительным грехом своим он считает лень и категорическое неумение заниматься тем, что ему неинтересно. Когда я пристаю к нему в том смысле, что надо, мол, наконец и поработать! — он отвечает мне из Екклезиаста: «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья — размышляй...» Но на самом деле он так не думает. Просто налетающие приступы творческого ступора мучают его, словно какая-нибудь экзема,— от которой не умирают, но и никогда не вылечиваются до конца.

Я знаю, он не любит думать об этой своей экземе. Ему скучно и тошно об этом думать. Ему (как мне кажется) вообще — и уже довольно давно — скучно и тошно существовать. С тех пор, наверное, как он пережил свой двадцать второй приступ профессиональной импотенции и понял вдруг, что эти приступы теперь — навсегда... Это, по-моему, единственное, что страшит его и беспокоит по-настоящему.

Он, наверное, и сам не помнит уже, когда это произошло впервые и окончательно. Наверное, это было как открытие в себе семени смерти: вдруг понимаешь впервые и окончательно, что ты смертен и ждать осталось не так уж и долго — ну пятнадцать лет, ну двадцать... А ведь только вчера ты

полагал себя (а значит, и был) бессмертным! Что такое двадцать лет жизни по сравнению с бессмертием? Что такое скупые дозы... разовые взрывы... счастливые пароксизмы вдохновения, сделавшиеся отвратительно редкими, в сравнении с тем ликующим сознанием мощи, которое сотрясало тебя еще совсем недавно, какой-нибудь десяток лет назад... Ощущение беспредельного всемогущества. Ощущение Бога в груди — вот здесь, под самой ямочкой, под ключицами, где теперь — с некоторых пор — не бывает больше никаких ощущений, кроме, разумеется, тупой ишемической боли, если вздумаешь, как встарь, догнать уходящий автобус...

Я вижу, как желчно завидует он людям, которые могут реализовать свой профессионализм в любой момент, когда им только этого захотелось. Художникам завидует. Музыкантам. Акробатам.

Захотелось акробату сделать сальто назад — напружинил мышцы, присел, вскинул тело, перевернул себя в воздухе и снова стал на ноги — прочно и точно, как влитой. Или — ударил по клавишам и родил мелодию, которой только что не было и которая вдруг стала быть... Главное — в тот самый момент, как только тебе захотелось... пришло в голову... зачесалось... Несколько раз он при мне (по разным поводам) повторял: «Я знаю, почему так много людей охотно занимаются колкой дров — по крайней мере, сразу видишь результат своей работы...» Это не его слова, это цитата, я только не помню, откуда.

И он очень сочувствует сочинителям всех родов. Потому что сочинительство — это есть изобретение не существовавшего [redacted] тебя, до тебя и помимо тебя. Изобретение, повторяю [redacted] и вновь, и вновь — в конечном счете открытие [redacted] человеке, который перед тобой — сидит, и ничего не [redacted]ет, только глаза на тебя таращит, и в голову даже не берет, что все уже СЛУЧИЛОСЬ, что ты видишь перед собою уже не его, глазами лупающего, не оболочку его бренную, а суть, подноготную, душу. Сущее его и будущее, на многие годы вперед, аминь...

Я, как вы видите, постепенно приближаюсь к главному, к его работе, приближаюсь как бы по неуверенной шатающейся спирали, приближаюсь, но все никак не могу приблизиться, потому что не знаю, как поточнее о ней рассказать.

Здесь нет никаких тайн! Сам он охотно и без какого-либо внешнего или внутреннего принуждения рассказывает о своей работе всякому, кто его об этом спросит. Иногда мне кажется, что он и сам пытается разобраться в себе и в том, чем он занимается,— именно пытается, тужится, тщится — как правило, неуклюже, иногда — не без изящества, но всегда — безуспешно.

Мне кажется замечательным и странным, что охотно соглашаясь на интервью с газетчиками и журналистами, он словно нарочито и выборочно отказывает всем мало-мальски авторитетным изданиям. «Московские новости» — решительное «нет». «Известия» — нет. «Коммерсантъ» — нет, нет и нет. «Московский комсомолец» — н-нет. «Аргументы и факты» — пожалуй... а впрочем, нет, извините, нет... Зато какой-нибудь «Логос и Космос» — с удовольствием! «Голос Неведомого» — да, да, завтра в двенадцать. «Черная аура» — пожалуйста!..

(Я понимаю, помимо всего прочего, его работа его же и кормит, реклама нужна ему, как хлеб насущный, хотя бы только для того, чтобы поддерживать определенный уровень жизни. Я не говорю уж о задачах высоких и целях неназываемых... Впрочем, если подумать, на кой ляд ему реклама, если мы имеем по пять-шесть заявок в неделю и разборчивы, словно до неприличия раздраженный Ниро Вульф? Но он обожает получать гонорары за свои интервью. «Ха! — восклицает он, полный радостного удовлетворения.— Сто баксов! Не село не пало! Ай да мы, ай да мы — работнички заработливые!..»)

Вот, например, кусок из его интервью корреспонденту желтоватого журнальчика «Багровое утро магии».

— ...Значит это все-таки чудесный дар?

— Дар — да. В том смысле, что — от Бога. Не пито не едено. Из немыслимого переплетения хромосом. Но почему вы

говорите: «чудесный»? Инстинкт, побуждающий синицу в некий момент времени заинтересоваться прутиком, подобрать его, тащить куда-то на дерево, еще не зная куда, а потом вдруг каким-то образом — каким? — понять: вот сюда, вот в эту развилку, только в нее и никуда больше... Это — чудо?

— Но это... как бы... чисто инстинктивная деятельность...

— А ученый, среди ночи, в полусне-полубреду, вдруг понявший, что надо тензор энергии-импульса приравнять, черт его побери, к тензору масс, и тогда все встанет на свои места и Вселенная обретет новый смысл? Это не инстинкт? Только не говорите мне, что это — разум! Я специально спрашивал у математиков, у физиков. Разум нужен, чтобы объяснить открытие, сделать его понятным для окружающих, а главное, для себя. Само же открытие к разуму никакого отношения не имеет. Оно возникает из пустоты, с белого потолка, из указательного пальца... А врач, который по выражению лица, по тоскливым глазам, по цвету кожи на ладонях ставит точный диагноз?

— Ну, это просто опыт... накопленная с годами информация...

— У компьютера информации может быть и поболее, но что толку от нее, если нет программы? А какая программа работает в голове этого врача? Кто ее заложил туда? И откуда следует, что эта программа — в голове? А может быть, она в клетках всего тела сразу? А может быть, в душе?..

— Да, но без информации любая программа бессильна...

— А кто вам сказал, что я обхожусь без информации? Мальчишка сидит передо мной, я вижу его руки, пальцы, краску на [illegible] шевелящиеся его уши... Я слышу его запах. Голос. Сами [illegible] которые он произносит, ответы его на мои вопросы, [illegible]менно он на них отвечает... Да здесь столько информации, что любой компьютер спасует... А ведь я даже не знаю, что мне из этого нужно, а что нет! Программа решает без меня. Такая же программа, может быть, как в маленьком горячем тельце синички, только гораздо более хитро-

умная... А впрочем, откуда нам знать? Может быть, как раз наоборот — гораздо более примитивная и совсем тупая.

— То есть, вы просто задаете вопросы?..

— Например. Например, я просто задаю вопросы. И слушаю ответы. НАБЛЮДАЮ ответы. В этих ответах есть все, что мне нужно... Только вот вопросов становится все меньше и меньше, к сожалению.

— И любой мальчишка...

— Любой мальчишка. Строго говоря — любой человек вообще. Любой человек — это ходячая могила таланта.

— И вы раскапываете эту могилу?

— Грубо говоря, да. Но не раскапываю, а — вскрываю.

— И вы уверены, что при этом делаете его будущее счастливым?

— Представления об этом не имею. Я не делаю людей счастливыми. Я не делаю людей лучше. Я только ищу у них таланты, и выбираю самый мощный, тот, что доминирует.

— А если таланта нет?

— Не знаю, что тогда. Но до сих пор такого не случалось. Может быть, мне не всегда удается найти ГЛАВНЫЙ талант, но какой-нибудь ОДИН талант я до сих пор находил всегда... Полная бесталанность — это, видимо, очень редкий талант...

Так оно все и есть. Он задает вопросы. Мальчишка сидит перед ним, более или менее вольготно развалясь в специальном ласковом кресле по одну сторону стола, а он, скрючившись на полумягком древнем стуле (с прямой резной спинкой) по другую сторону стола, лязгает ловкими спицами и задает вопросы. А иногда поет и требует, чтобы ему подпевали. Или читает стихи. Или их придумывает. Или вдруг принимается решать логические задачки. Масса вариантов, и никогда заранее неизвестно, какой именно вариант он выберет. Он и сам этого, по-моему, не знает...

Любимое его занятие во время этой работы — вязать длинные шерстяные косы, абсолютно ни к чему не применимые. Три клубка — черная, белая и серая шерсть. Он ведет свой...

опрос? урок? диалог? — щелкает спицами, не глядя, коса растет, ползет у него из-под пальцев, а потом он ее либо распустит (бормоча с придыханием какие-то сумрачные шаманские проклятия-заклинания), либо торжественно пронесет через всю квартиру, как боевую хоругвь, и повесит в чулан, где таких уже — десятки...»

Дочитав распечатку до этого места, он, не глядя, отложил ее в сторону — поверх накопившегося за месяц на журнальном столике слоя книг, и рукописей, и газет, и мятых писем, и коробочек из-под снотворного, и таких же распечаток на дорогой голубоватой бумаге,— поднялся в постели и сел, спустив босые ноги на пол. Необходимо было сходить.

В квартире стояла привычная глухая тишина, но через несколько секунд он стал слышать сухое тоненькое потрескивание, издаваемое торшерной лампочкой, готовящейся перегореть. Потом на фоне тишины и этого потрескивания появился некий новый звук,— он не сразу догадался, что это в ванной плохо закручен кран и течет вода в рукомойник. А потом снаружи проехал грузовик, заухал железом по колдобинам, и тишина исчезла, словно бы оскорбленная,— раздосадованно спряталась в коридоре, в глубине дома, в чулане. Он сунул ноги в шлепанцы и прошаркал по коридору в туалет.

Потом он зашел в ванную и долго там мылил руки, разглядывая свое лицо в зеркале над рукомойником. Что-то с этим лицом было не в порядке, что-то было в нем не так, как всегда, и тут он вдруг обнаружил, что бровей у него совсем не осталось. Он поспешно сдвинул очки на нос: бровей почти не было. То есть они и раньше у него были, прямо скажем, не как у Брежнева и даже не как у Никсона, но теперь вместо правой торчали три одинокие дик[redacted]осины, а от левой остался вообще только какой-то[redacted]ый пушок.

— Да,[redacted]он громко и откашлялся.— Не как у Никсона.

Ритм ему понравился, и, вытирая руки полотенцем, он спел на мотив кукарачи: «Не как у Ник-сона, не как у Ник-сона...» Полотенце было несвежее. Под шлепанцем крякнула и хрустнула вылетевшая из своего гнезда кафельная плитка. Он наклонил-

ся вставить ее на место и увидел в углу под батареей Старуху. Черепаха мирно дрыхла, подобрав лапы и толстый свой короткий черный хвост. Тут же валялись и ее какашки, похожие на вывалившиеся из какого-то текста крупные запятые.

— Черт знает, в каком состоянии дом! — сказал он громко. Тишина вдруг перестала нравиться ему. Ночная ватная тишина. Ватная, но зато — приватная. Личная. Персональная... Бесплотные сумерки звуков. Тени звуков. Призраки... Это было одиночество, вот что это было такое.

Он почувствовал озноб и торопливо натянул старый вязаный халат, запахнул полы, туго препоясался шелковым шнуром. Халат попахивал... Халат попахивает. Полотенца — несвежие. Кафель везде повываливался. Ванна — рыжая, унитаз — серый. Не как у Ник-сона... Он вернулся в спальню, сел на постель и, не ложась, взял в руки распечатку. Там оставалось не прочитано еще страниц десять, он проглядел две последние.

«...Рукопись его: мельчайшие буквы-бисеринки, ровная как по линеечке, скрупулезная вязь, арабески — вовсе это даже не похоже на текст, кажется, и в голову никому не могло бы прийти — читать такое. Рассматривать — да: в лупу, задерживая дыхание, как рассматривают древний орнамент, как филателист изучает любимую марку. Но уж никак не читать. Однажды я осмелился спросить его: «Что вы пишете, сэнсей? Мемуары?» Произошел странный разговор, точнее — монолог. Сначала он несколько раз повторил: «Мемуары... Хм, мемуары... Мемуары?..» — он словно дегустировал это слово. А потом произнес со странным и неожиданным пренебрежением: «Но ведь мемуары — это же... вы же понимаете, Роберт: это — нечто прошлое. Это уже состоявшееся. Я же вам не историк какой-нибудь. Какое мне дело до прошлого. Я пишу будущее...» Он так и сказал: «пишу будущее». Просто. Простенько. Со всею откровенностью. И ничуть не красуясь. Как художник сказал бы: «Я пишу пруд». Как бухгалтер сказал бы: «Я пишу квартальный отчет». Не знаю, что он имел в виду. Рукописи его я, разумеется, не читал. Только однажды, случайно, через плечо его, увидел две строчки на новой стра-

нице: «Если ты хочешь, чтобы через сто лет что-то в этом мире изменилось,— начинай прямо сейчас. Божьи мельницы мелют медленно».

Тридцать часов я потратил и тридцать страниц настучал (на клавиатуре, разумеется; я имею в виду «настучал на клавиатуре компьютера»), чтобы только лишь повторить то, что уже тридцать раз разные люди говорили вам раньше. Я ничего не знаю о нем. Никто и ничего не знает о нем. У него словно нет прошлого. Он ниоткуда. И он — никто.

Восторженный циник Тенгиз считает его последним Чародеем на нашей Земле, и вот этот последний из чародеев возомнил себя способным вернуть племя исчезнувших волшебников — людей, знающих свой главный талант, а потому бескомплексных, спокойных, уверенных, самодостаточных, добрых. Он плодит их десятками ежегодно и никак не поймет (или не хочет поверить?), что жизнь идет следом, как свинья за худым возом, и подбирает, перемалывает их всех своими погаными челюстями: дробит, мельчит, ломает, корежит, покупает, убивает...

Вадим, разумеется, мнит его «делателем будущего». Для него он — Мойра мужеска пола. У древних: Клото — прядет нить судьбы; Лахесис — проводит человека через превратности; Атропос — перерезает нить. Так вот сэнсей — един в трех лицах. Он не знает будущего, он его делает. Щелкает серебряными спицами, вяжет черно-белые шарфы судьбы...

Не помню точно, кто, кажется, Мариша красиво говорила о горьком аггеле — исполнителе воли Бога на Земле. О раздавателе наказующих ударов и ласковых наград. Но мерзостей в мире много, а доброты — так мало. И вот все молнии давно уже растрачены, а наград — полный шкаф: раздавать кому и не за что... Не раздавать ли теперь их всем подряд — ведь каждый грешник есть и праведник тоже? Нет ведь во всей Вселенной никого, кроме мечущегося, замученного, страдающего и побеждающего человека...

А вот Матвей, этот певец рациональных фантасмагорий, считает его пришельцем, прогрессором сверхцивилизации. Получается довольно стройно. Они тщатся хоть что-то из-

менить в ходе нашей истории. Уже давно всем известно, что изменить ничего нельзя, однако отдельные безумцы все еще пытаются, не жалея ни себя, ни других. И Татьяна Олеговна, жена его,— оттуда же, из них же. Когда заболела, отказалась вернуться, шел 1991 год, не до того было, вот и сожрала ее болезнь, а потом сошла с ума — забыла, где находится — говорит на своем языке, перестала узнавать мужа... Вообще эти прогрессоры здорово поработали в 19-м веке: энергичная попытка решительно двинуть вперед технологию, смягчая технический прогресс мощным развитием гуманитарии (Пушкин, Достоевский, Толстой, Диккенс, Дарвин, Фрейд и пр.). Но все равно — ничего не вышло — победила животная инерция толпы. Изменить ход истории нельзя. Можно только попытаться изменить Человека. Но как? Что в нем поменять и на что? Сделать всех добрыми? Но доброта ведь делает пассивным. Сделать умными? Но это возможно не с каждым, как не каждого получится натренировать бегуном-разрядником. Сделать терпимыми? Так нет же ясной грани между терпимостью и равнодушием — терпимость, на практике, есть равнодушие в девяти случаях из десяти...

Не знаю. Греческие боги частенько вмешивались в ЛИЧНУЮ жизнь смертных, но никогда даже не пытались повлиять на ход человеческой истории, на прогресс. А теперь вот и людей стало слишком много — боги не успевают уследить за всеми и за каждым. Я вообще не верю в Бога и в богов. Я не верю, что существует разумная сила, способная влиять по своему усмотрению на мою жизнь. Но я верю, что бывают на свете очень странные люди. Я просто знаю это.

КОНЕЦ ВТОРОГО ВАРИАНТА

9 декабря».

Дочитав до даты, он сложил распечатку поаккуратнее, поднялся и прошел в кабинет. Включил люстру. Включил настольную лампу. Положил распечатку на стол, но сам садиться не стал — прошел к окну и некоторое время смотрел на заснеженную улицу и черный дом напротив. «А на дворе белым-бело —

это снегу намело... А за окном черным-черно — это ночь глядит в окно...»

Вернулся к столу, опустился на полужесткое сиденье резного стула с прямой высокой спинкой, взял шариковую ручку и сразу же стал писать — выводить, чертить, разрисовывать свои арабески — тут же, пониже даты, благо свободного места хватало.

«Теперь стало значительно лучше. Но надо постараться, чтобы получился совсем гнусный, вонючий старикашка.

1. Иногда его схватывает позыв на низ (это называется императивным позывом), он все бросает и мчится в сортир.

2. Когда питается — весь подбородок замаслен.

3. Халат никогда у него не стирается, попахивает козлом.

4. Еще что-нибудь. Подумайте.

Не забывайте, что Ваше умение «помнить все без исключения» должно быть им хорошо известно. Поэтому обратите внимание на Ваши неудачные выражения типа «если не ошибаюсь», «не помню точно, кто», которые в свете названного факта выглядят для внимательного читателя странновато и малоестественно...»

Он написал еще с абзаца: *«Не надо так много об обстоятельствах личной жизни. Это бесполезно...»* Но тут же перечеркнул эти слова крест-накрест и приписал: *«А впрочем, пишите, как хотите».*

Посидел, вертя ручку в пальцах, и вдруг тихонько запел, отбивая ритм ребром ладони:



Несите меня бережно, несите меня бережно,
ведь я защитник родной страны.
Благодарите! Благодарите! Благодарите!..

— Храбрец? — крикнул он, прерывая ритм и тут же снова подхватывая его:

Его несут к печи, его несут к печи...
Где трус?
Бежит доносить, бежит доносить, бежит доносить!..

Он оборвал себя и быстро приписал в самом низу:

«Не надо имен. Я никакой знаток чекизма-кагебизма, но я понимаю одно: они о нас знают ровно столько, сколько мы сами говорим о себе и пишем. А значит, чем меньше мы говорим и пишем, тем меньше они о нас знают».

Потом он перечитал все только что написанное и положил ручку.

— Я не трус,— произнес он убежденно.— Я просто предусмотрителен. А точнее — стараюсь быть таковым. Так что «несите меня бережно»!..

Глава пятая

ДЕКАБРЬ. ЧЕТВЕРГ. РОБЕРТ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПАЧУЛИН, ПО ПРОЗВИЩУ ВИНЧЕСТЕР

Сегодня мы вышли на работу особенно не в духе. Даже не побрившись, что служит у нас признаком самого категорического неприятия реальной действительности. Сопели с раздражением. Массировали свое красно-коричневое пятно на затылке — видимо, ко всему вдобавок, и затылок еще ломило вследствие атмосферных перепадов и нехватки кислорода в городе и области.

На своего верного и единственного секретаря-референта мы посмотрели мельком, неприязненно поджав губы, кивнули ему как бы в рассеянности и сразу же полезли в архив. При этом мы изволили напевать на мотив кукарачи какую-то ритмическую белиберду: «Ни-ка-ку-ник са-на, ни-ка-ку-ник са-на...»

Было девять часов две минуты. Не дождавшись от начальства доброго слова, я снова сел за свой стол и на всякий случай вывел на принтер расписание сегодняшнего утра. Сеанс был назначен на десять, и пароль был «аятолла». Детали не сообщались, однако стояла пометка: «С отцом и с сопровождающим». Понимай, как захочется. Я понял так, что кроме папани (а не мамани,— и это уже само по себе явление скорее редкое) мальчишку будет сопровождать еще некто — например, казначей с чемоданом зеленых. Что было бы весьма и весьма своевременно. У нас в казне оставалось денег на один месяц (при наших-то потребностях), а в списке предстоящих пациентов числилось всего двое, причем одна из них была — девочка, дохлый номер.

В девять тридцать ровно позвонили в дверь, я поглядел на сэнсея и, поскольку ни указаний, на даже намека на указания не последовало, пошел открывать. Недоумевая. Впрочем, тут же выяснилось, что это не пациент пришел раньше назначенного времени, а какие-то двое мальчишек, шмыгая соплями, просят клей «Момент» — шина у них спустила, велосипедная. Я без всякой жалости послал их этажом выше (или ниже, по их собственному выбору) и вернулся на рабочее место, где в ответ на вопрошающий взгляд доложил обстановку.

Мы изволили усмехнуться. Это была особенно ненавидимая мною усмешка — Усмешка Подавляющего Превосходства. За такой усмешечкой обычно следовала краткая, но исчерпывающая лекция на тему: «Поразительно, как нынешняя молодежь плохо разбирается...» Поразительно, как мало разбирается нынешняя молодежь, да и молодежь вообще, в окружающей ее реальности (было произнесено в манере зануды-Хирона, поучающего малолетку-Геракла). Эта ваша велосипедная история — замечательно характерная реплика дремучих представлений начала века. Даже ему (Хирону) известно, что нынешние сопляки используют клей «Момент» исключительно для того, чтобы его нюхать. Они его нюхают, паршивцы (сказано было мне). Ловят кайф. Что еще за велосипеды, сами подумайте, в разгар декабря?.. Какое сегодня число, кстати?

Я (с каменным, надеюсь, лицом) сообщил ему, какое сегодня число, а заодно — день недели и московское время, после чего разговор наш естественным образом прекратился и каждый занялся своим делом. Он — листал древние вырезки из газеты «За рубежом», а я думал о двух мальчишках, которые (синие от холода и сопливые, отравленные и жаждущие новой отравы) обходят сейчас квартиру за квартирой и выпрашивают «Момент», чтобы потом в подвале каком-нибудь, провонявшем кошками и бомжами, словить свой дешевый кайф — сладостный и тошнотворный, как сама наша вонючая жизнь, в скобках — житуха.

В десять ноль четыре раздался звонок, и сэнсей проворчал: «Еще бы минута, и я бы приказал гнать его в три шеи. Вовремя прийти не способны, новороссы...» Я отправился открывать. В дверной глазок наблюдались по ту сторону решетки три фигу-

ры: одна очень большая, черная, вторая значительно поменьше — элегантно серая, а третья совсем маленькая, черненькая с беленьким. Я открыл дверь и вышел к решетке.

Главный у них был, конечно, человек в сером костюме, дьявольски элегантный, с матово-бледным (как у графа Монте-Кристо) лицом и совершенно змеиной улыбкой на блестящих (словно бы намакияженных) устах. Который в черной обтягивающей коже — огромный качок, рыжий, лысый, конопатый и круглоголовый,— тот несомненно был у них «сопровождающий». А собственно пациентом был, разумеется, пацаненок: мальчик лет семи, а может быть, и десяти (я не специалист),— в строгом черном костюме, белая сорочка с галстучком, блестящие лакированные туфельки, держится за папанину ручку и выглядит противоестественно и даже, на мой взгляд, неприятно, как и всякий ребенок, одетый нарочито по-взрослому.

Без сомнения, это были «они», но я, как человек педантичный и склонный все формализировать, открывать им решетку не стал, а только поздоровался со всей доступной мне вежливостью:

— Добрый день. Чем могу служить?

— Здравствуйте,— отчетливо выговорил пацан-джентльмен, а человек со змеиной улыбкой щегольнул безукоризненными зубами и, не теряя зря времени, произнес пароль:

— Аятолла приветствует вас, милостивый государь мой! — и добавил, уже от себя, как бесплатный довесок к паролю: — Мир дому сему и всем его добрым обитателям!

Я отпер им калитку в решетке, после чего рыже-конопатый брахицефал немедленно удалился — не произнеся ни единого слова, погрузил себя в кабину лифта и так грохнул, мудила, дверцей, что весь дом содрогнулся. «О боже!» — сказал я не удержавшись, а серый элегантный папаня только руки развел, всем видом своим изображая полнейшее сочувствие пополам с искренним раскаянием. В правой руке у него при этом обнаружилась какая-то длинная черная остроконечная палочка, наподобие школьной указки. Но не указка, разумеется. Странная такая палочка — слишком уж остроконечная на мой взгляд...

Я препроводил их в прихожую, где раздеваться они не стали, поскольку снимать им было с себя нечего (естественно — пря-

миком сюда из лимузина, где всегда тепло, сухо и пахнет кедром). Здесь я их оставил перед большим нашим зеркалом, огромным и мрачным, как дверь в чужое пространство, а сам заглянул в кабинет и кивнул сэнсею — в том смысле, что все о'кей. Сэнсей кивнул в ответ, и я их ввел — пацан впереди, папаня следом,— а сэнсей уже дожидался, возвышаясь над своими компьютерами, кварцевыми полусферами и горами папок, на фоне распахнутых дверец грандиозного архивного шкафа,— тысячи папок подслеповато глядели оттуда плоскими рыжими, синими, белыми и красными обложками своими, и запутанные щупальца тесемок шевелились, потревоженные сквознячком, и каждому сразу ясно становилось, что и речи быть не может — найти в этом хранилище прошлого хоть что-нибудь полезное простому обитателю настоящего.

Надо признаться, в таком вот ракурсе и с таким видом (возвышаясь, утопая костяшками пальцев в ворохах газетных вырезок, в багровом своем свитере, обширном и одновременно обтягивающем, с немигающим взором из-под нависающего безбрового лба) сэнсей не мог не производить известного впечатления, и он его, да, производил. На всех. Даже на меня. К этому зрелищу невозможно было привыкнуть, как никогда я не привыкну к трагическому пожару заката или, скажем, к страшному свечению Млечного Пути в черную зимнюю ночь.

— Здравствуйте! — ясным голоском (как учили) провозгласил малоразмерный джентльмен, а родитель его издал что-то вроде «рад видеть...», но тут же прерван был свирепо-величественным жестом, как бы выметающим его из поля зрения, а я уже был тут как тут — подхватил под элегантный локоток, нежно, но с твердостью, направил в кресло, усадил, сделал глазами «тихо! помалкивайте, please!» и бесшумно проскользнул на свое место, так что джентльменистый малец остался посреди кабинета один. Ему сразу же сделалось страшно и неудобно, даже вихор на темечке встопорщился, он завел за спину крепко сжатые кулачки и совсем не по-джентльменски почесал их один о другой.

Сэнсей осторожно уселся и сделал ладони домиком, как дяденька на плакате «Наш дом — Россия». Вдохновение прибли-

жалось. Глаза у сэнсея сделались ореховыми, а голос низким — теплым и мягким, словно драгоценный мех.

— Как вас зовут, молодой человек?

— Алик.

— Оч-хор, Алик. Замечательно. Подходите, садитесь. Кресло мягкое, удобное... Вот так, превосходно, устраивайтесь, как вам удобнее... Меня зовут Стэн Аркадьевич. Можно по-американски — просто Стэн. Сейчас мы будем с вами играть в одну полезную игру. Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Понятно?

— А зачем?

— Алик. Вопросы задаю только я. А вы только отвечаете. Отвечаете все, что вам захочется, но — обязательно. Договорились?

— А если непонятно?

— Алик. Вопросы задаю только я. Больше никто. Отвечать можно все, что захочется, понятно вам или непонятно — это совершенно несущественно. Главное, чтобы на каждый мой вопрос получился бы ваш ответ. Начнем?

— Да.

Сеанс начался. Сэнсей откинулся на спинку кресла и спросил (небрежно, без всякого нажима):

— Где храбрец?

— Его будут в печку сажать,— немедленно откликнулся Алик и радостно заулыбался, ужасно довольный, что у него так быстро и ловко получилось.

Я давно уже привык к странным вопросам. И к странным ответам я привык тоже, но это, видимо, был случай, неожиданный даже для сэнсея. Он молчал, разглядывая радостного Алика со странным выражением: то ли ему сделалось вдруг интересно, то ли он вообще был ошеломлен.

— А где трус? — спросил он наконец с недоверием в голосе.

— Побёг всех закладывать!

Сэнсей помолчал и осведомился вкрадчиво:

— Джека Лондона почитываем?

— А кто это?

Но сэнсей не стал задерживаться на Джеке Лондоне (рассказ «Зуб кашалота» в переводе Клягиной-Кондратьевой).

— Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? — спросил он требовательно.

— Рыцарь.

— Какой рыцарь?

— Железный. Блескучий. С копьем.

— А как он скачет?

— Во всю ивановскую! — радостно выпалил находчивый юный джентльмен.

Я слушал их вполуха, а сам смотрел на элегантного родителя и только диву давался поразительному его равнодушию к происходящему. Поначалу он, надо сказать, заинтересовался: глазки заблестели, сел он пряменько и, полуоткрыв змеиный рот, с любопытством переводил взор свой с сэнсея на мальчишку и обратно, явно пытаясь понять, что происходит,— обычная реакция свежего человека на наши экзерцисы. Но потом, довольно скоро, отчаялся, видимо, что-либо понять, поскучнел, потускнел, откинулся в креслах и принялся задумчиво играть со своей зловещей указкой — ловко, виртуозно, неуловимо для глаза то отправляя ее в небытие, то снова возвращая из ниоткуда, словно это была у него волшебная палочка. Странный, однако, родитель. Хотя видывали мы и не таких, конечно.

— ...Что сделала эта кошка?

— Она съела тигра.

— А что сказала кошка?

— Я победила тигра! Я съела тигра!

— Откуда взялся тигр?

— Он там был. Светлогорящий.

— Тигр, о тигр светлогорящий в глубине полночной чащи? Этот?

— Нет. А тот, который любит все.

— Не тигр, а Тигра?

— Да! Я победила Тигру! Я съела Тигру!..

Сэнсей уже вязал — щелкал спицами, высоко поднимал руки, продергивая нити, но глядел он только на мальчишку и не видел он сейчас никого и ничего, кроме мальчишки. И не слышал. И не замечал. Можно было бы, например, уронить на пол компьютер, или запустить на полную мощь «Полет валькирий», или, скажем,

подраться с родителем — сэнсей ничего бы этого не заметил, только голос повысил бы да задрал бы до потолка свои голые брови.

Вообще-то я все понимаю: вопросы — это серьезно. В конце концов, с вопросов начинается все-все-все в этой жизни. Например, вся наука. Это любой дурак знает. Даже последний дурак знает, что правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа... Не будем спорить о цифрах, половину — вряд ли и далеко не всегда, но — заметную долю, да, несомненно, содержит. Однако сэнсей-то не ставит ПРАВИЛЬНЫХ вопросов! Правильно поставленные вопросы его совершенно не интересуют. Было время, когда я часами сидел, уставясь в стену, и перебирал в памяти какой-нибудь сеанс, мучительно пытаясь уловить стратегию, или хотя бы тактику, или хотя бы мимолетный смысл в этой череде вполне бессвязных фраз с вопросительной интонацией. И не находил ничего.

— ...У папы черные глаза, у мамы черные глаза, а у сына — серые. Верите, что такое может быть?

— Верю.

(Они уже играли в «веришь-не-веришь».)

— А что у папы серые глаза, у мамы серые глаза, а у сына черные, верите?

— Не-а. Не верю.

— Правильно не верите. А что кузнечик слышит ногами, верите?

— Верю.

— А что есть такие утверждения, что их нельзя ни доказать, ни опровергнуть,— верите?

— Верю!

— Умница. А пример привести можете?

— Могу. «Бог создал все». Ничего не докажешь.

— [redacted]... А что Бог существует, верите?

— [redacted].

А и Бог нет... А propos: я СОВЕРШЕННО не помню тех вопросов, которые задавал он мне двадцать лет назад, когда мама привела меня к нему на тестирование. У меня абсолютная память (бывает абсолютный слух, а у меня — абсолютная память). Я помню все. Помню, что сеансов было четыре. Помню, как была

одета мама во время каждого из этих сеансов, и тогдашний коричневый шлафрок сэнсея (с пятном от мороженого на левом обшлаге) тоже помню прекрасно. Даты помню, и соответствующие дни недели помню, и погоду помню — температуру воздуха, атмосферное давление, скорость ветра... А вот вопросов не помню. И совершенно не помню своих ответов.

...Может быть, он ищет гёделевские вопросы (приходит мне иногда в голову) — те самые вопросы, на которые нельзя ответить ни «да», ни «нет», не погрешивши при этом против истины? Сомнительно. Но если даже он их и в самом деле ищет, то — зачем?.. Он постоянно жалуется, что ему не хватает вопросов. Но некоторых вопросов он не задает никогда. Например, великий вопрос любой современности: «Почему — я?» Вопрос-вопль. Вся наша ойкумена стоит на нем, как Петербург на болотах... Довольно трудно, правда, представить себе контекст, в который встраивается этот вопрос. Но какое ему дело до контекста?..

«...Мы переходим сейчас в новую фазу культуры, в которой ответом на вопросы будут не утверждающие высказывания, а новые, более глубоко сформулированные вопросы». Это написал В. В. Налимов в своем философском трактате «Канатоходец». Не знаю, не знаю. Почему-то все современные философы оставляют у меня впечатление безответственных говорунов. Никакой солидности. Никакой, понимаете ли, обстоятельности. И даже спецтерминология (испытанное оружие классиков) им не помогает — только возрастает протестное ощущение, что тебя, кроме всего прочего, еще и дурят. Что-то кашпировское вдруг обнаруживается в серьезном тексте, что-то чумаковское...

— ...Кому это принадлежит?

— Его все равно нет.

— Кому это будет принадлежать?

— Кто первый придет.

Так. Начитанный мальчик. Конан Дойла он тоже почитывает. «Обряд дома Месгрейвов», перевод Д. Лившиц. Но цитирует неточно. Надо было: «Тому, кто ушел» и «Тому, кто придет»...

— В каком месяце это было?

— В летнем месяце.

Надо было: «В шестом начиная с первого». Но все равно — очень и очень недурственно. Какая смена подрастает. Конкуренция, Боб Валентиныч, конкуренция! Рынок.

— Где было солнце?

— Над елкой.

— Где была тень?

— Под палкой.

— Сколько надо сделать шагов?

— Десять и десять, а потом еще пять и пять...

— Что мы отдадим за это?

— Все, что у нас есть, все и отдадим.

Сэнсею вдруг надоел «Обряд Месгрейвов», а может быть, этот сюжет попросту исчерпал себя,— он вдруг резко поменял тему.

— Голова буйвола, рога его и четыре ноги прошли через окно. Почему же не проходит его хвост?

— Потому что зонтик раскрылся!

— У всех есть родина. Какая родина у тебя?

— Утром я ел рисовую кашу, а на обед будет суп с фрикадельками и блинчики с абрикосовым вареньем.

— Чем мои руки похожи на руки бога?

— Играют на пианино.

— Почему мои ноги напоминают ноги осла?

— У нашего Барсука они разного цвета...

Это были какие-то незнакомые мне тексты. Или, может быть, он принялся придумывать вопросы сам — такое тоже бывало, хотя и не часто.

— ...Что надо делать по двенадцать часов в сутки?

— Этот вопрос я по стеночке размажу!

— Что такое Будда?

— Такая специальная палочка.

— Вот как? А что такое чистое тело Дхармы?

Тут пацан вдруг задумался. До сих пор он отвечал, словно блиц-партию разыгрывал, а тут замолчал, насупился и неуверенно проговорил:

— Это грядка. С клубникой...

Сэнсей, кажется, не слушал его больше. Он быстро спросил:

— Его слуги — Шакьямуни и Майтрея. Кто он такой?

— Гражданин города Петербурга, страшный дурак Юрий Бандаленский! А слуги его — заметчики, потому что все замечают.

Тут у родителя за пазухой заверещал мобильник. Родитель его выхватил, как Джеймс Бонд выхватывает свою «беретту» из наплечной кобуры, а сам метнулся из кресла вон, к двери, от людей подальше — вести свои дико секретные сверхделовые переговоры. Я отвлекся на него, на характерную его позу: «Новый русский разговаривает по мобильному телефону»,— аллегорическая фигура начала тысячелетия, сюжет для нового Родена... А когда вернулся к текущим событиям, то обнаружил, что игра в вечер вопросов и ответов прекратилась, они играли теперь в «вечер поэзии»:

— ...Дожди в машины так и хлещут,— читал мальчишка с упоением,— деревья начало валить. Водители машин трепещут, как бы старух не задавить...

Сэнсей в ответ ему прочитал про кошку, которая «отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит». А мальчишка ему отбарабанил считалку: «Жили-были три китайца: Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони. Жили были три китайки: Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони. Поженился Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони...» А сэнсей с наслаждением преподнес ему свое любимое:

При-ки-бе-ке-жа-ка-ли-ки в и-ки-збу-ку де-ке-ти-ки,
В то-ко-ро-ко-пя-кях зо-ко-ву-кут о-ко-тца-ка:
«Тя-кя-тя-кя, тя-кя-тя-кя, на-ка-ши-ки се-ке-ти-ки
При-ки-та-ка-щи-ки-ли-ки ме-ке-ртве-ке-ца-ка...»

Мальчишка сдался и спросил: «Чего это такое?» — «А вы сами догадайтесь»,— предложил сэнсей. (Спицы так у него и мелькали, пыльно серая коса вязания свисала аж до самого пола.) Мальчишка несколько секунд думал, сосредоточенно шевеля губами, а потом вдруг весь засиял, как именинник: «Прибежали в избу дети!..»

— Молодца! — гаркнул сэнсей и поднялся, обеими руками бросивши вязание на стол.— Все! На сегодня — все. Э-э-э...— оборотился он к элегантному родителю, и тот немедленно вы-

скочил из кресел.— Оставьте адрес...— сказал ему сэнсей.— Впрочем, зачем? Я знаю ваш адрес... Письменное заключение я пришлю по е-мейлу. Предварительное, разумеется. Следующий сеанс — через пять дней, во вторник, в то же время. И проследите, чтобы мальчик все это время ничего не читал. Любые игры, телевизор, кино, музыка, но — ни единой книжки, пожалуйста. До свидания, сударь. До свидания, Алик. Роберт, будьте добры...

Мальчик подал папочке ручку, и я повел их обоих к решетке. Конопатый брахицефал был уже тут как тут — громоздился посреди лестничной площадки, отсвечивая черным и рыжим. Мальчик вдруг сказал:

— Эраст Бонифатьевич, а можно мы сейчас заедем в зоомагазин?

Видимо, я непроизвольно зыркнул по сторонам в поисках этого Эраста Бонифатьевича (какой еще Эраст Бонифатьевич? откуда взялся?), и, видимо, серый-элегантный заметил мое недоумение. Он усмехнулся (вылитая гюрза!) и произнес снисходительно:

— Вы заблуждались, Роберт Валентинович! Я вовсе не Аликов папа...— И сейчас же Алику: — Конечно, конечно. Куда захочешь, душа моя...— И снова мне: — Ин локо парентис, всегонавсего. Ин локо парентис!

Я это скушал со всей доступной мне покорностию и отпер решетку, стараясь как можно тише лязгать ключами. В конце-то концов, какая мне разница: папаня он джентльменистому пациенту или всего лишь заменитель? Главное — сумма прописью. Впрочем, я прекрасно понимал, что и сумма прописью — это еще далеко не главное.

Когда я вернулся, сэнсей сидел на своем месте, прямой, как дипломат на приеме, и заканчивал вязанье.

— Ну? — сказал он мне нетерпеливо.— Какие впечатления?

— Это, оказывается, вовсе не отец его...— начал было я, но тут же был решительно прерван.

— Знаю, знаю! Я не об этом. Как вам мальчишка?

— Забавный, по-моему, мальчишка,— сказал я осторожно.

— Забавный?! И это все, что вы находите мне сказать?

— Почти.

— Что — «почти»?

— Почти все,— сказал я, уже горько сожалея, что вообще ввязался в этот разговор. Ясно было, что сэнсей воспламенен, а в этом случае лучше держаться от него подальше. Чтобы не опалить крылышки.

— Вы заметили: я спросил его, кто такой Будда...

— Да, и он ответил, что это «такая палочка».

— А вы знаете, какой ответ корректный? «Палочка для подтирания зада». Знаменитый ответ Юнь-мэня в коане из «Мумокан»...

— По-русски, если можно, пожалуйста.

— Неважно, неважно... «Что такое Будда?» — «Палочка для подтирания зада».— «Что такое чистое тело Дхармы?» — «Клумба пионов»...

— А он сказал: «грядка с клубникой»...

— По-вашему, все это забавно?

— Я не точно выразился. Это не забавно, это — странно.

— Почему странно?

— Я не верю в телепатию, сэнсей.

— При чем здесь телепатия? Какая, в задницу, телепатия! Вы ничего не поняли. Он говорил мне то, что я хотел услышать! В меру своих сил, разумеется.

— Да, сэнсей,— сказал я покорно.

— Что — «да»?

— Он говорил то, что вы хотели от него услышать. Не понимаю только, чем это отличается от телепатии. В данном конкретном случае.

Он не ответил. Швырнул спицы в стол, поднялся, высоко поднял убогое свое вязанье и стремительно, как молодой, двинулся вон из кабинета, и пыльный серый хвост взвился, словно странная языческая хоругвь, следуя за ним.

— Обедать! — гаркнул он уже из коридора.— Мы сегодня заслужили хороший обед, черт их всех побери и со всеми концами!..

Я поджарил ему любимое: казенные «бифштексы из мяса молодых бычков». С вермишелью. И с корейской морковкой на закуску. И соевый соус подогрел. И поставил на стол томатный сок с солью и перцем. Все это время он сидел на своем месте — в уголке дивана у окна и смотрел сквозь меня, делая бессмыслен-

ные гримасы, похожий не то на академика Павлова, не то на пожилого шимпанзе, а может быть, сразу на них обоих. Чтобы отвлечь (и развлечь) его, я рассказал анекдот про кавказца перед клеткой гориллы-самца («Гурген, это ты?..»). Он хихикнул и вдруг приказал подать водки. Я, потрясенный (белый день на дворе, впереди еще часов шесть работы...), молча выставил бутылку «Петрозаводской» и любимую его стопочку с серебряным дном.

— «Кровавую Мэри»! — провозгласил он.— Сегодня мы с вами заслужили «Кровавую Мэри». Будете?

— Нет, спасибо,— сказал я.

— Зря. Нет ничего лучше, как посреди трудового дня, наплевав на все правила и установления, выпить кровавым потом заработанную стопку «Кровавой Мэри»!

Я помалкивал, смотрел, как он творит свой любимый коктейль в два слоя («выпивка-закуска») и слушал рассказ о могучей дискуссии, которая давеча разразилась в Интернете: делать «Мэри» в два слоя или же, напротив, размешивать; как стороны в течение недели обменивались мнениями, случаями из жизни и цитатами из классиков; и как (по очкам) победили сторонники смешивания.

— ...Вот вам классический пример, Робби, когда тупое, грубое, невежественное большинство одерживает незаслуженную победу над врожденной интеллигентностью и хорошим вкусом!

Он выпил с наслаждением, сощурившись облизнулся и подцепил вилкой пучок морковных стружек.

— Мальчишке, может быть, понадобится опекун,— объявил он без всякого перехода.— Ваше мнение?

У меня не было мнения. Я не совсем понимал, почему, собственно, мальчишка вызывает такие восторги. Ну, начитанный мальчик. Ну, даже телепат. Да ради бога. Что мы здесь — телепатов не видали, в этом доме?..

— Маришку? — спросил я наугад. Он только глянул на меня укоризненно, и я тут же заткнулся.

Потому что у нее четверо собственных детей и еще совершенно беспомощный муж — по прозвищу Недоеда. («Недоеденный паук» — намек на обыкновение некоторых членистоногих дам поедать своих самцов сразу после или даже во время интимных

игр. Недоеда у нее второй муж. А первый тоже не был съеден, как мы все сначала полагали: в незапамятные времена он — прямо по анекдоту — ушел от нее, но не к другой женщине, а к другому мужчине.) А она — директор-воспитатель-менеджер-спонсор-ангел-хранитель интерната для слабоумных детей. Квартира ее — тут же, при интернате. Адский рай — шум, гвалт, смесь слабоумных и вполне здоровых детишек, рев, смех, сопли, все чем-то заняты, по полу — рулоны обоев через всю комнату (для рисования картинок), куклы Барби, разноцветные пирамиды, неумолкающие трубы и барабаны, сверкают мониторы компьютерных приставок, веревочные лестницы свисают с потолка,— и через все это с благожелательной улыбкой на длинных устах шествует Недоеденный Паук, пробирается к себе в норку, где он кропает детские стишки и рассказики для журналов, упорно, но беспобедно соревнуясь с Григорием Остером, Хармсом, Эдуардом Успенским и прочими корифеями («Лягушка квакает, сияет ночь, и утка крякает — чия-то дочь...»). Больше он не умеет ничего, так что у Маришки на самом деле не четверо, а пятеро детей... Плюс весь интернат.

Сэнсей сделал себе второй коктейль, полюбовался стопочкой на просвет и («В малых дозах водка безвредна в произвольных количествах...») выпил,— основательно крякнул и потянулся за морковкой. Я смотрел, как он ест свои любимые котлетки, изящнейше и даже грациозно управляясь с вилкой и ножом. Он ничего не говорил, но я знал, что он все еще ждет ответа.

— Матвея, может быть? — спросил я.

Я знал, что Матвей не годится, но больше я никого предложить ему не мог. К сожалению, Матвей из тех, кто любит человечество, но совершенно равнодушен к отдельным его представителям и в особенности же — к детям. «Чистый, как хрустальный бокал, талант математика». Мальчик Мотл. Велмат — Великий Математик. Классический еврей, узкогрудый, сутулый, бледный, горбоносый, с ушами без мочек — безукоризненная иллюстрация к Определителю Еврея из газеты «Народная правда». Он попал к сэнсею на прием довольно поздно — в возрасте тринадцати лет, и сэнсей подарил ему тогда книгу Юрия Манина «Кубические формы». (Книга эта начинается словами: «Любой ма-

тематик, неравнодушный к теории чисел, испытал на себе очарование теоремы Ферма о сумме двух натуральных квадратов».) В четырнадцать лет мальчик Мотл решил так называемую «Вторую задачу Гилберта» (правда, как выяснилось, уже решенную задолго до него), а в пятнадцать — «Восьмую задачу», никем еще в те поры не решенную. В университет его приняли прямо из восьмого класса без экзаменов и сразу на второй курс. При этом было нарушено несколько советских законов и сломлено сопротивление неописуемого множества советских бюрократов. Открывающиеся перспективы ослепляли, два восхищенных академика, начисто лишенные почему-то антисемитской солидарности, двигали его, не щадя своей репутации, и, разумеется, в конце концов заслуженно на этом погорели. Их (и его самого) подвело утрированное у вундеркинда до абсурда чувство социальной справедливости. Вместо того, чтобы добивать (в тиши кабинета) почти добитую уже гипотезу Гольдбаха, он принялся вдруг подписывать заявления в защиту узников совести и сочинять страстные послания советскому правительству а-ля академик Сахаров. Но он-то был не академик Сахаров. Он не умел делать бомбы, он только умел доказать, что количество так называемых пар простых чисел бесконечно. Этого оказалось недостаточно. Излишне восторженные академики были предупреждены о служебном несоответствии, а сам мальчик Мотл объявлен был — для начала — невыездным, потом отовсюду вычищен, моментально превратился в профессионального диссидента, забросил математику и наверняка сгнил бы в конце концов в тюрьме либо в психушке, но тут, слава богу, подоспела перестройка и компетентным органам стало не до него. Он уцелел, но уже — в новом качестве. Талант борца за справедливость оказался в нем сильнее таланта математика. И теперь он — сутулый, вечно голодный и лохматый, как шмель-трудяга,— организатор и вдохновитель нескольких микроскопических партий и не думает ни о чем, кроме блага народного, которое понимает не слишком оригинально: «Раздави гадину!» — и все дела...

Сэнсей подобрал на вилку остатки вермишели, запил томатным соком и — в знак благодарности — тихонько спел (в мой адрес):

— Ой, найився варэников, водыци напывся, опрокинув макитерку, богу помолывся!.. Матвея, говорите? — переспросил он, утирая губы салфеткой.— Велмата нашего, никем не превзойденного? Велмат в своей нынешней ипостаси годен только на то, чтобы штурмом брать цитадели коррупции. А также — бастионы социального зла. Из него опекун, как из господина Робеспьера. Огюстена Бона Жозефа.

Я молчал. Я не знал, кого ему еще предложить. Новенькие были мне почти незнакомы, а из дедов предлагать было некого. Я убрал посуду в мойку и поставил чайник — вскипятить воду для кофе. Потом я сказал:

— А почему вы вообще думаете, что ему понадобится опекун?

— Я не сказал «понадобится»! — возразил он, раскуривая сигарету.— Я сказал: «может быть».

— А может быть, и нет.

— А может быть, и нет,— согласился он.— Я уже не об этом. Я уже о другом...

И он замолчал, глядя в окно, затягиваясь время от времени и с силой выдувая из себя дым — он словно отплевывался дымом. Я подождал продолжения, потом помыл посуду, протер влажной губкой стол и расставил толстенькие чашечки коричневого фаянса. Он продолжал молча курить, и я занялся кофе.

— Ни черта не получается,— сказал он наконец.— Я так обрадовался сегодня этому мальчишке. Вы не видите, Робби, и, наверное, не можете этого видеть, но я-то знаю точно: мальчишка — экстракласс, он всех нас за пояс заткнет, дайте только срок. Он — УЧИТЕЛЬ!

Я внимал ему с самым (надеюсь) почтительным видом. Он, разумеется, верил тому, что сам говорил. Но я-то знал, что это, само по себе, ничего еще не значит. Просто очередной приступ оптимизма. У нас бывали и раньше приступы оптимизма. Как правило, они у нас кончаются приступами угольно-черного пессимизма. Такова жизнь. Приливы-отливы. Подъемы-спады. Восходы-закаты. Черно-белое кино.

— Не верите...— сказал он осуждающе.— Ладно. Дело ваше. Я не о том. Я вот о чем. Он — учитель, и ему не нужны никакие

опекуны. Но я почему-то вдруг подумал: ну, а если бы опекун понадобился? Если бы нужен был позарез! Сегодня. Сейчас. Где нам его взять? Из кого выбрать? А? Не знаете? И я не знаю...

Он ткнул окурком в блюдечко — с ненавистью, словно это был глаз заклятого врага.

— Вы ленивы и нелюбопытны. Бог подал вам со всей своей щедростью, как никому другому, а вы — остановились. Вы стоите. В позе. Или — лежите. Вы сделались отвратительно самодостаточны, вы не желаете летать, вас вполне устраивает прыгать выше толпы, вы ДОВОЛЬНЫ — даже самые недовольные из вас...

Он попытался снова закурить, но тут уж я был начеку. Он отдал коробку сигарет без сопротивления, даже не заметив.

— Богдан? Любимчик, да, не спорю — любимчик. Благоносец. Кладезь добра... Где он теперь — этот наш кладезь добра? Коралловый аспид! Гадюка рогатая. Подойти страшно. Я боюсь с ним разговаривать при встрече, вы можете себе это представить?

— У него сейчас уже есть опекуемый,— напомнил я на всякий случай, но он меня не слушал.

— Кладезь добра... Боже, во что вы все превратились! А Тенгиз? «Бороться со злом,— видите ли,— все равно, что бороться с клопами поодиночке: противно, нетрудно и абсолютно бесполезно». И поэтому не надо больше бороться со злом, а давайте лучше таскаться по бабам или устраивать эстрадные представления для новороссов... Юра Костомаров честно и бездарно зарабатывает на хлеб насущный, Полиграф наш Полиграфыч... Андрей-Страхоборец — старик. В пятьдесят лет он — старик! Что с ним будет через сто? Через двести? Руины? И ведь это все — драбанты, спецназ, старая гвардия! Деды! А молодые ни к черту не годятся, потому что ничего пока не умеют. Они знай себе галдят: «Дай, дай!..» О проклятая свинья жизни!..

— Вы еще Вадима забыли,— сказал я.— Resulting Force.

— Вот именно. Резалтинг-Форс. Только почему вы решили, что я его забыл?

— Мне так показалось.

— Я никого не забыл,— он явно не хотел говорить о Вадиме.— Я помню вас всех. Я вас во сне вижу, если хотите знать. Что же, по-вашему, я не понимаю, что вот вы, лично вы, Роберт Валентинович Пачулин, лорд Винчестер, попросту гниете здесь, при мне, на тепленьком местечке, без доступа воздуха? И я знаю, кто в этом виноват!

— Проклятая свинья жизни.

Он посмотрел на меня, высокомерно задрав безволосые брови.

— Вы полагаете, я не прав?

Я пожал плечами и занялся кофейной посудой.

Конечно же, он был прав. Как и всегда. Я мог бы еще добавить всякого к тому, что он здесь наговорил. Я много еще грустного мог бы к этому добавить... Роберт лорд Пачулин, по прозвищу Винчестер... К чертям. К собакам. Не хочу об этом думать... Но почему все это — так? Ведь все мы ДОВОЛЬНЫ! Мы же все вполне удовлетворены... Проклятая свинья жизни.

— Но, сэнсей,— сказал я,— ведь мы все довольны. Можно сказать, с нами все о'кей... Разве не этого вы хотели?

Он ответил мгновенно:

— Конечно, нет! Я вовсе не хотел, чтобы вы были довольны. Я даже не хотел, чтобы вы были счастливы. Если угодно, я как раз хочу, чтобы вы были НЕ довольны. Всегда. Во всяком случае, большую часть своей жизни... Я хотел, чтобы вы были ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ. Ощущаете разницу? — Он поднялся, тяжело опираясь на столешницу.— Ладно. Спасибо за обед. Пойду поваляюсь немножко. А вы — уж пожалуйста — сделайте распечатку. Прямо сейчас. Там были прелюбопытнейшие повороты!

Он удалился к себе в апартаменты, а я засел за компьютер и принялся восстанавливать рабочий диалог. Никаких «прелюбопытнейших поворотов», естественно, я в этом диалоге не обнаружил, если не считать случаев, когда пацан выдавал свои ответы совсем близко к опорному тексту, и еще мне понравился «гражданин Петербурга, страшный дурак Юрий Бандаленский». При случае обязательно преподнесу этот перл Юрке-Полиграфу, это будет «стрёмно» (как любит произносить мой непутевый племянник, ударник капиталистического труда).

В четыре часа позвонил Вадим и тусклым голосом попросил сэнсея, если можно, конечно.

— Он разлагается. На диване. Тебе срочно?

— Да нет... Не обязательно.

Он уже в четвертый раз звонил сэнсею, каждый раз «не обязательно», и каждый раз ничего не получалось. По-моему, сэнсей явно не хотел с ним встречаться. А он этого не понимал. (Я, впрочем, тоже.)

— Ты как, вообще? — спросил я на всякий случай.

— Никак. Ты придешь?

— Куда?

— К Тенгизу.

— Когда?

— Завтра, к семи. Все собираются.

— Первый раз слышу.

— Тебе что, Тенгиз не звонил?

— Нет.

— Ну, значит, позвонит еще,— равнодушно пообещал Вадим и повесил трубку.

Несколько минут я думал о нем и опять ничего не придумал, и тут, действительно, позвонил Тенгиз и в обычной своей отрывистой манере сообщил, что «завтра... у меня... в девятнадцать. Сможешь?»

— А в чем дело? — спросил я на всякий случай: вдруг что-нибудь изменилось.

— Надо.

— Что-нибудь изменилось? Новые обстоятельства какие-нибудь?

— Увидишь, блин. Надо же что-то делать. Выборы на носу.

— Ладно,— сказал я без всякого энтузиазма.— Надо значит надо. Тем более давно не собирались. С собой приносить?

— А как же, блин! Что за дурацкий, блин, вопрос!..

— А других, по-моему, не бывает,— сказал я, глядя на экран монитора.— Умные давно кончились. Да и с ответами затрудненка.

(На экране у меня было:

«— Чем мои руки похожи на руки бога?

— Играют на пианино.
— Почему мои ноги напоминают ноги осла?
— У нашего Барсука они разного цвета...»)

— Ты лучше скажи: у тебя тачка — как? Бегает? — спросил я его, вспомнив про понедельник.

— Н-ну, с утра бегала, блин... Но была бледная!

— В понедельник сэнсея везти, ты не помнишь, конечно, блин.

— А, блин... Действительно. Третий понедельник. К которому часу подавать?

— К десяти — сюда. Я тебе еще напомню, не беспокойся.

— А чего мне, блин, беспокоиться? Это ты беспокойся. Это ты у нас лорд, блин, Винчестер.

Он дал отбой, а я вдруг понял, что думаю о нем. Не о работе, и не о понедельнике, и не о несчастном Вадиме, а о нем. И о себе. О нас всех, будь мы все неладны.

...Сверхбоец, Психократ, Великий Мэн. Красавец, лентяй, яростный еще совсем недавно плейбой, а теперь — безнадежно утомленный борьбой со злом страстный филуменист. Собирает спичечные этикетки! Тенгиз! Гос-споди!.. Да возможно ли такое? Возможно. Увы. Сейчас он годен разве что удалить препятствие: заставить кого-нибудь «забыть», например. Только и осталось от него, что чугунный взгляд исподлобья, да веки надвинутые на половину глазного яблока, да брезгливые губы. Люди, по его нынешним понятиям,— все, без исключений — полное говно. Мерзкие хари. Слюнявые пасти. Гнойные глазки. Мокрые лапы. Вонючие подмышки и подштанники... Черный матершинник, каждое второе слово «блин». Натужный бабник, баб своих меняющий еженедельно. И при этом — безнадежно влюбленный в лживую, кокетливую шлюшку. На эту его «Олюшку» (женщину легкомысленную и даже, пожалуй, развратную) почему-то совсем не действуют психократические Тенгизовы пассы, и, наверное, именно поэтому он влюблен в нее, как гимназист — смотрит в рот, стелится ковриком, прощает (не видит) измены, умоляет пожениться и завести ребенка. Не знаю более душераздирающего и непристойного зрелища, чем Тенгиз, умоляющий эту шлюшку

панельную пойти с ним на Пласидо Доминго. Можно себе представить, что она с ним делает в окрестностях постели... Сэнсей, бедолага, только догадываться может, какое основное у Тенгиза занятие теперь: халтура эта позорная в частных психдиспансерах и вытрезвителях, где он «лечит внушением» расслабленных, проспиртованных и наркозависимых. А иногда, совсем уж без затей, занимается этим же самым и просто на дому, за хорошие деньги, ready cash, благо, что квартира у него хорошая, двухкомнатная...

...А Андрюха-Страхоборец — не просто старик, сэнсей, всевидящий вы наш. Он — мерзкий, поганый, въедливый, занудастарикашка. Хотя и смотрится при этом, словно картинка из «Vogue» — пестро-лакированная, душистая, лизнуть хочется. «Его боится сама бабушка Старость и сама госпожа Смерть». Возможно, сэнсей, возможно. Струльдбругов, помнится, тоже Смерть, так сказать, бежала, но они не становились от этого симпатичнее... Почему бесстрашие порождает именно бессовестность? Бессовестность, безнравственность и вообще — равнодушие, холодное, словно задница проститутки. Тайна сия велика есть. Человек будто слетает с последних тормозов. «Ничего не боится». А бояться — при прочих равных — видимо, должен... «Страх божий».

...А Богдан-Благоносец заделался бухгалтером в каком-то АО или ТОО, я не понял деталей, да и не захотелось уточнять. И ему там нравится. Благоносцу! Фирма производит леденцы «Матушка Медоуз», спрос на них обалденный, Богдан ходит — пузо вперед, и когда ему говорят: «Ну ты, бухгалтер», он важно поправляет: «Я тебе не бухгалтер, я ГЛАВНЫЙ бухгалтер!..» Когда в последний раз дарил он свое пресловутое «благо»? Кому? Да он их всех терпеть не может, он зол на них, как Господь на Дьявола...

...А Юрка-Полиграф служит при частном сыщике, определяет искренность-ложность показаний хныкающих свидетелей и почти не пьет, потому что под балдой теряет способность отличать правду от вранья.

...А про Костю-Вельзевула сэнсей вообще не вспомнил. Между тем, наш Повелитель Мух занимается (за деньги!) уничтожением («уговариванием») тараканов, истреблением подвальных

комаров и «выпроваживанием» крыс. Очень хорошо, оказывается, можно также заработать, вытравливая плод у домашних кошек — всего в два сеанса, совершенно безболезненно и абсолютно безвредно для здоровья. Пятнадцать баксов, не пито не едено.

...И все ДОВОЛЬНЫ! Никто из нас не жалуется. И не думают даже! Проклятая свинья жизни!

Снова зазвенел телефон.

— Папа,— пропищало из трубки.— С тобой мама хочет поговорить...

— Подожди! Ляпа!..— завопил я, но в трубке была уже моя любимая Номер Два. Она хотела знать, куда я опять засунул эту проклятую сберкнижку. «А как ты думаешь, золотая моя чешуйка, куда человек может засунуть свою сберкнижку? Попробуй поискать в холодильнике».— «Знаешь что, шутник ты мой хренов!..» — «Изумруд мой яхонтовый, деван лез анфан!..» — «Сберкасса сейчас закроется, а ты тут меня шуточками обшучиваешь...» Я срочно доложил, где хранится эта проклятая сберкнижка, и тут же снова остался один.

И оставшись один, я вдруг (совершенно некстати и даже недостойно) подумал, что если бы вот сегодня, не дай бог, конечно, но все-таки, моя Сашка, перламутровая моя пуговка, ушла бы от меня к этому своему горному орлу Володе Хергуани, я бы, черт меня побери совсем, остался бы, подлец, и жив, и цел, как ни кощунственно это звучит: скрипел бы зубами, залетел бы в запой, наверное, но в конце концов вполне бы уцелел, бедолага. Но вот если бы она при этом забрала бы у меня Валюшку!..

...Мою Копуху. Валяху мою. Мою Кутю... С серыми трогательными глазами — и это при том, что у папы и у мамы глаза темные и нисколько не трогательные... Никогда не вопит, не орет, не выгибается. А когда обидели ее — тихо и горько плачет, и в такие минуты я готов отдать ей все, что у меня есть, и все неразрешенное — немедленно разрешить...

...Нет, какое это все-таки счастье, что она у меня девчонка, и что никогда мне не надо будет решать эту проклятую дилемму: вести или не вести ее на прием к сэнсею! Хотя иногда — редко, ночью, когда не могу заснуть и лежу с открытыми глазами — я понимаю с холодным ужасом: наступит время и — поведу, пове-

ду как миленький, и буду жалким голосом умолять сэнсея, чтобы сделал исключение, и принял, и поговорил, и приговорил... Потому что я не знаю, что такое — быть «достойным уважения» (чьего там еще уважения? зачем?), и что такое «счастье», я тоже не совсем понимаю, но зато я точно знаю, какая это мука — неудовольствие от жизни, я все время вижу эту суконно-унылую тошноту вокруг себя, и я не потерплю, чтобы моя Кутя, моя Валяха, моя Тяпа погрузилась бы в эту суконную, унылую, тошную тошноту. Пусть уж лучше она будет ДОВОЛЬНА, что бы это ни означало.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 4. «ЧИЯ-ТО ДОЧЬ» И НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

«...Родители девочек особенно — невероятно, удивительно, неправдоподобно! — настырны...»

Эти, например, приходили уже четыре раза. Первый раз — втроем (полный комплект: папаня, плюс маманя, плюс любимая дочурка, она же «подросточек-девица»), второй раз — вдвоем (папахенс плюс мамахенс) и еще дважды — маман единолично. Папочка — фигура неопределенная, без имени-отчества и фамилии, но несомненный, впрочем, госчиновник, муниципального уровня. Маманя же, Элеонора Кондратьевна,— женщина того типа, что с самых юных лет выглядят «хорошо сохранившимися». Она из породы бойцовых дам, обитающих в райкомах, профсоюзах и собесах — бой-баба высочайшего класса и невероятной пробивной силы. Баллиста. Катапульта. Стенобитная пушка. Единорог. Да только не на таковских напала: сэнсей стоял, словно Великая китайская стена под напором кочевников.

...Неприятная девочка — выломанная, тощая, неприветливая, с темным взглядом исподлобья. Роберт получил задание напоить ее какао, пока в кабинете происходят деликатные переговоры. (Запись включить, беседу не слушать, развлечь ребенка и быть на подхвате.)

Ребенок без всякого энтузиазма копал грязноватым пальцем в вазе с печеньем. Выбирал, откусывал и бросал обратно. Крош-

ки сыпал на скатерть. Бумажки от конфет ронял на пол. Роберт, разозлившись, приказал подобрать — подобрала, положила на край блюдца и уставилась темным взглядом, словно запоминая гада навсегда. Потом (выхлебав две кружки какао) выбралась из-за стола (молча) и уперлась лбом в оконное стекло — стояла неподвижно минут двадцать, наблюдая, как мальчишки гоняют шайбу на детской площадке. Очаровательное существо двенадцати лет от роду и без единого располагающего просвета в облике... Чтобы разрядить обстановку, Роберт ей спел:

Одна подросточек-девица
Бандитами была взята,
Принуждена им покориться,
Была в мансарде заперта...

(Старинный комический романс. Там с девочкой вытворяют разные ужасы в манере девятнадцатого века — морят голодом и холодом, заковывают в кандалы, бросают в океан, однако же — после каждого куплета припев: «Но поутру она вновь улыбалась перед окошком своим как всегда, рука ее над цветком изгибалась, и из лейки лилась вновь вода». Неугнетаемая и непотопляемая девица. Очень смешно.) Не помогло. Все тот же темный взгляд «из-под спущенных век» был ему наградой. Бормоча под нос классическое «...и утка крякает, чия-то дочь», он прибрал со стола и стал терпеливо ждать окончания переговоров.

...Сэнсей, разумеется, отказался с ней работать. Объяснение было предложено стандартное (предельно вежливое): у меня не получается работать с девочками, увы. Благодарю вас за щедрое предложение — нет. Но дело оказалось не так просто. Немедленно и вдруг (на другой же день) появился в доме жуткий страхагент, и они спорили битый час о непонятном и неприятном. В ход шли сплошные эвфемизмы, и Роберт понял только, что страхагент предрекает гадкой девочке огромное будущее, а сэнсей отказывается это будущее ковать. «У меня здесь вам не скотоводческая ферма. Я не умею выводить породу. Я только умею замечать то, что уже есть. А то, что я здесь замечаю, мне не нравится. Категорически!..» Что-то нехорошее виделось ему в этом неприятном ребенке. Какое-то обещание зла. И страхагент, собственно, этого видения не оспаривал. Он только полагал, что

обещание имеет место не «зла», а «пользы» — титанической пользы для этого мира («вашего мира», говорил он) — «заевшегося, опаскудевшего, упертого чавкающим рылом в тупик...».

Такого еще не бывало: сосредоточенное наступление на сэнсея длилось две недели. Родители — страхагент, снова родители и снова страхагент. Сэнсей выстоял.

...Когда в последний раз Роберт проводил страхагента к выходу и вернулся в кабинет, мрачно сидевший за столом сэнсей спросил его вдруг: «Вы можете себе представить этого человека кругленьким розовеньким поросеночком с усиками квадратиком и с картавым говорком капризного гогочки?» Роберт задумался и сказал: нет, не получается, воображения не хватает. «И у меня тоже,— признался сэнсей.— Что с нами делает время!.. А вы можете представить себе меня — стройным как тополь и с черной тучей волос на голове? Из-под которой не видно, между прочим, этого чертова подзатыльника, даже и догадаться о нем невозможно?» Могу, честно сказал Роберт, хотя и не сразу понял, о каком «подзатыльнике» идет речь. «Льстец,— сказал ему сэнсей без улыбки и вдруг процитировал Монро (почти дословно): — Человек не меняется на протяжении жизни, он просто становится все больше похожим на самого себя...» Это прозвучало убедительно, и Роберт решил не спрашивать, кого он имеет в виду — себя или страшного страхагента... И в чем здесь дело с этой дурной девочкой, он тоже решил лучше не спрашивать — пусть все идет своим чередом, в любом случае, сэнсей наверняка знает, что должно быть, а что нет.

...Но может быть, как раз в том-то все и дело, что мы не работаем с женским полом? (Позволил он себе подумать тогда.) Сто двадцать семь математиков-физиков у нас получилось (или сто двадцать восемь? — если считать и Велмата, который возник еще в доисторические времена). И лишь только трое врачей, все как один — кардиологи (почему, кстати?). Сто двенадцать инженеров-управленцев-технарей-изобретателей... По мелочам: гуманитарии, искусствоведы там, журналисты, один писатель... И ни одного политического деятеля. И — главное — ни одного учителя. Ни единого! Ведь Маришка не учитель, Маришка — детсадовская воспитательница и вообще — Мать. А больше девочек в наборе никогда и не было...

Глава шестая

ДЕКАБРЬ. ТОТ ЖЕ ЧЕТВЕРГ. ГРИГОРИЙ ПЕТЕЛИН ПО ПРОЗВИЩУ ЯДОЗУБ

Когда Вадим замолчал, Гриша-Ядозуб некоторое время продолжал еще стоять у окна, глядя во двор. Во дворе ничего интересного не наблюдалось — хищные костлявые мужики в бандитских вязаных шапочках разгружали там фургон с какими-то огромными кубическими коробками. На Вадима смотреть было бы гораздо интереснее: греющее душу зрелище полностью уничтоженного человечишки. Унылого и коленопреклоненного. Раздавленного. Однако эстетически правильно было стоять вот так: спиной, не глядя и как бы даже не видя. В этом была «драматургия». Он спросил (все еще не оборачиваясь):

— Ну, и что ты от меня хочешь?

— Не знаю,— сказал Вадим с тоской.— Я во все двери толкаюсь. У меня выхода нет.

— А все-таки? Чем я тебе могу помочь — слабый больной человек?

— Да ладно тебе, Гришка. Все всё давно знают.

— Что именно они знают? Что, собственно, они могут знать?

— Ну — не знают. Ну — догадываются.

— По-моему, мы никогда с тобой не были такими уж друзьями,— сказал Ядозуб.— Или я ошибаюсь?

— Откуда мне знать? Я к тебе всегда хорошо относился. Это ты со мной рассорился, неизвестно почему...

Ядозуб повернулся наконец и посмотрел нарочито пристально. Он увидел бледное маленькое личико с красными пятнами на щеках. Унылый нос. Приоткрытый рот с неуверенной полуулыбкой. Просящие глаза — совершенно как у голодного пса и быстро-быстро мигают. А между прочим, именно этот вот человечек придумал ему кличку Ядозуб. Тенгиз предлагал звучное, но очень уж экзотическое — «Олгой-хорхой», однако «Ядозуб» в конечном счете победил — в честной конкурентной борьбе. И правильно. Кличка простая, но хорошая, точная...

— А где он живет — Аятолла? — осведомился Ядозуб со всей возможной благожелательностью.

— Не знаю.

— А Эраст этот твой Бонифатьевич?

— Не знаю я ничего,— сказал Вадим с тоской.

Ядозуб снова отвернулся к окну. «Ваша поза меня удовлетворяет». Он, поганец, конечно, даже не помнит ничего. Для него это было тогда всего лишь маленькое привычное удовольствие — процитировать, якобы к месту, любимого классика и перейти к очередным делам. Любимое это его дурацкое занятие: приспосабливать к случаю разные цитаты. Дурацкие. Ему ведь даже и в голову не приходило тогда, как это было для меня важно: блокадный архив, шестнадцать писем из Ленинграда в Вологду и обратно. Никогда больше ничего подобного мне не попадалось. И не попадется уж теперь, наверное, никогда...

— Ладно,— сказал он, выдержав основательную, увесистую, как булыжник, паузу.— Я тебя понял. Я подумаю.

— Да уж подумай, сделай милость.

— Сделаю. Милость — сделаю. «Ваша поза меня удовлетворяет». Так, кажется, у классиков?

Умилительно бледная дурацкая улыбочка была ему ответом. Теперь этот любитель цитат имел то несчастное выражение глаз, какое бывает у собак, когда они справляют большую нужду.

— Не понимаю, правда, что я тут могу сделать. Все эти намеки твои — глупости. Так что ты губу не раскатывай... А этот ваш Интеллигент, он что за птичка такая в виде рыбки?

— Да ничего особенного. Профессор. Членкор. Честный человек, вполне приличный.

— Я видел его по телику. Породистый конь.

— Да. Безусловно... У него, между прочим, штаб-квартира тут, у тебя же в доме, за углом.

— А-а... То-то я смотрю, там стада «мерседесов» всегда, как на водопое... Слушай, так в чем же дело? Если он такой у тебя вполне приличный — напрягись! Присядь, надуйся и организуй ему соответствующий рейтинг.

Вадим снова улыбнулся собачьей своей улыбочкой (похожей теперь уж вообще на предсмертный оскал) и ничего не ответил.

— Ладно,— сказал Ядозуб.— У тебя всё? Тогда иди с богом. Привет мамане. Она у тебя пока еще жива, я полагаю?

Он увидел гнев, и бешенство, и ярость, и желание ударить (ногой, в пах, с носка), но ничуть не испугался — некого ему здесь было бояться. Наоборот, он испытал острое наслаждение, тем более острое, что точно уже знал: ничего он делать для этого засранца не станет, палец о палец не ударит, пусть получает свое. Все, что ему причитается по жизни. Jedem das seine.

Когда Вадим ушел (со своей бессильной яростью, с тоской своей смертной, с перепрелым своим ужасом перед завтрашним днем), он сел за стол, включил яркую лампу и придвинул поближе папку с письмами.

«Уважаемый Николай Димитриевич! Шлю сердечный привет и спешу известить Вас, что я нахожусь в центре кратера вулканического извержения. Тут национальная болезнь настолько развивается, что грозит запрудить трупами Северный Кавказ. С уважением...»

Открытое письмо в Петроград, датировано 7 февраля 1918, с ятями еще и с ерами, но без подписи. Неужели уже понятно ему сделалось, что такие посланьица лучше не подписывать? Вряд ли. Но, судя по тексту, прозорливый человек и не без юмора... Достоин известного уважения, хотя наверняка — белая кость, высокомерная сволочь дворянского происхождения... Просрали державу.

«Господину Директору Курсов Десятников земельных улучшений для увечных воинов. Уволенного вовсе от военной служ-

бы рядового 8го Стрелкового полка Сергея Николаевича Чеповского, жительст. раз. Кабаклы 927 вер. Омской жел. дор. Я получил от Вас извещение о начале курсов и проспект, отправленные 21 дек. 917 года, я получил 14 февраля 918 г., мне надо быть в Петрограде 20 фев, что к сожалению я за такой срок не мог явиться, но ввиду переживаемого момента в России, и труднаго почти не возможного проезда по ж. д. я не выезжал; но покорнейше прошу, если курсы не состоялись, а в будущем будут, то непременно известить меня своевременно, я являюсь. Сергей Чеповской».

Сбоку, на свободном местечке, аккуратная и обстоятельная пометка: *«1918 года февр. 16 дня отправл.»*. Да-а-а. Этот уж точно ничего не понял еще. Уволенный от службы рядовой. Скорее всего, контуженный какой-нибудь, а может быть, и безрук-безногий. И не зажиточный, нет — в панике и отчаянии ищет возможности хоть как-то обустроить жалкое свое будущее, и не понимает, козявка, что нет у него будущего, нет и быть уже не может... «В центре кратера вулканического извержения».

«15 мая по старому. Дорогая Нюся! Сообщи пожалуйста в добром ли ты здоровье и не сидишь ли по приказу большевиков где-нибудь в подвале Смольного? Зная их манеру начинать с конца т. е. сначала схватить и посадить, а затем уже искать причину почему садить, то мы и опасаемся не случилось ли и с тобой такой штуки...»

Без всякого сомнения — жирная, дебелая корова. Мещанка. Дура. Ни единой собственной мысли в голове. Если выжила, двадцать лет спустя с такой же идиотской самоуверенностью повторяла за газетами, что «правильно их стреляют... органы не ошибаются, а дыма без огня не бывает...».

«...Живем не важно, но еще не умерли от голода, хотя и был один момент, когда мы решили, что нам пришел капут. Живем собственно как студенты, всегда случайными деньгами. Вещи продаются очень дешево, ибо наши покупщики

почуяли как вороны нашу нужду, а им значит поживу и не дают хоть сносную цену. Как на грех седло не покупается, а это главный козырь в наших руках. Если бы оно продалось то отец не медля поехал бы в Москву хлопотать о пенсии. А то если предоставить естественному ходу вещей то можно будет прождать и еще года или до своей кончины от голода...»

Седло какое-то. При чем здесь седло? Может быть, они из помещиков, и осталось у них от прежнего выезда одно лишь роскошное седло. С чепраком. Смотри «Три мушкетера». Впрочем, маловероятно: какая пенсия может быть для помещика в восемнадцатом году? Но с другой стороны, откуда в мещанской или, скажем, чиновничьей семье седло?..

«...Хорошо бы нам выхлопотать пенсию и уехать скорее отсюда. Уж очень дорогие здесь продукты. Скоро вот продукты будут нам не по карману. Хотя по газетам судя, куда мы собираемся там уже началась холера, но это нас не пугает, ибо от холеры можно умереть или нет, а уж голод то не помилосердствует...»

Не-ет, никакой голод вас не возьмет. И уж никакая холера, конечно. Вечные. Вечные! Будьте вы неладны, с пенсиями вашими и с вашими продуктами.

«...Что будет, Нюся, что только будет дальше если еще будет этот год неурожай. Все людское зверье поднимется и станет грызть друг друга тогда. Ну да на все воля Господняя...»

Это уж точно. И про зверье точно, и про волю Господню. Сколько же лет... сколько веков вы это повторяете: воля Господня, воля Господня. Удобрение.

«...Дело в том что хозяин наш всем и каждому говорит, что квартирантами он тяготится, что стоит ему посидеть день и пошить как вся плата за квар. пополнится. А ему важен покой собственной персоны. Но конечно он все это лжет

и пренахально, ибо такого скупца и спекулянта я еще не видывала. На днях еще продал картофель тете Катерине за меру 45 руб. а сам платил своим род. за нее 25 руб. Это той тете Катерине, за которой посылали в 3 ч. ночи прося ея обмыть покойницу жену. А послушать его речи, так это прямо святой...»

Штамп на письме: «*Тверь, 28.5.18*». Без малого век миновал, а что изменилось? Картошка подешевела. А может быть, и нет. Это смотря что такое «мера»... Так, теперь у нас почтовая карточка. Вот странно: вся мухами засижена. Что они ее, на стенку вешали, что ли?

«Ваня, привези одну керосиновую лампу, одну оставь для себя и для Нюши. Нюша просит оставить с ея вещами маленькую подушку. Бачил в Сар. не поехал и пожалуй вовсе не поедет...»

Отправлено 2.11.18 из Москвы в Петроград. Где они теперь, эта Нюша и этот таинственный Бачил? А керосиновая лампа, очень может быть, и цела. Впрочем, нет, вряд ли. Кто станет хранить керосиновую лампу? Разве что какой-нибудь вконец сдуревший коллекционер.

«Милая Лета. Поздравляю тебя с прошедшим днем ангела. Лета, спасибо тебе за сухари, они очень нужны, т. к. я теперь получаю паек меньше. Отпусков у нас не дают (такое свинство), а то я бы прикатила. Пришли, если можешь, картошки. Поцелуй за меня, только обязательно, Мииксю и Волика. Борусу Ал. привет. Леля».

Эта открытка отправлена в Петроград из Орла, 26.7.19. Сухари, картошка, паек... Они вообще о чем-нибудь еще говорили тогда между собой? Ведь, между прочим, война идет. Генерал Деникин, рейд Мамонтова, Буденный Первую конную организует... На самом деле не Буденный, а совсем другой человек, впоследствии ликвидированный за ненадобностью, но не в этом же дело...

А, да на хрен их всех! Получили то, чего заслуживали. Все. Все до одного... А это еще что за ракообразное?

«Estimata sinjoro! Mi tralegis Vian anonceton kaj kuragas skribi al Vi...»

Писано из Иркутска в Cerveny Nostelec, Чехословакия, и это уже декабрь двадцать первого. Это мы отложим в сторону. В языках не сильны, нет, совсем не сильны: немецкий со словарем. Странно, как открытка, отправленная в Чехословакию, попала в этот сугубо российский архив?

«Верунчик дорогой, стоим в Армавире. Денечки жаркие, как предыдущие, но очень хорошо. Набегают легкие облачка, ласкающий ветер. Я побывал в городе на рынке и очень разочарован ценами. Черешня 8 — 15 милл фунт. Какая маленькая разница с Петроградом! Малина 15 милл. В Крыловском масло было не дорого (2 ф — 25 милл), но к сожалению не во что было взять. В бумаге оно расплавилось бы. В другой раз надо собираться в дорогу иначе. С собою провизии брать очень мало, но брать сосуды для молока, масла. Взятая мною провизия почти вся испортилась. Котлеты выдержали 1 день, пирожки дня 2, колбаса вся погибла. Бросать ужасно жаль особенно то, что сделано заботливыми ручками. Целую крепко...»

Послано из Армавира в Петроград, 22.6.23, уже отъелись, уже котлеты жрут, масло фунтами. Пирожки... Как с гуся вода! Будто и не было ничего — ни голода, ни войны, ни катастрофы. Все проходит! Одни котлеты вечны — сделанные заботливыми ручками...

Он пристроился к компьютеру, чтобы занести все данные по конвертам и открыткам в базу, но тут Тимофей объявился вдруг из своего логова — сначала положил горячую морду на бедро, а потом, оставшись без ответа (в скобках — привета), ткнул носом под локоть, крепко и настойчиво. Ядозуб посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Животное. Обоссался уже?» — «Еще нет,

но — скоро»,— откликнулся Тимофей, усиленно вращая обрубком хвоста, попискивая и страстно дыша. Потом он, задрав тощую задницу, прилег на передние лапы и так замотал головой, что черные уши его разлетались как лохмотья на ветру и слюни полетели во все стороны. Надо было и пора выводить. С семи утра человек не ссамши. Не то что некоторые, привилегированные, которые по два раза в час...

Он отправился в сортир, и Тимофей, разумеется, последовал за ним как привязанный, и все время, пока он кряхтел там над горшком и тужился, преодолевая патологические свои затруднения, он слышал, как за дверью нетерпеливо и нервно цокают когти о линолеум и раздается мучительный писк, отчаянно-тонкий, почти ультразвуковой, и он улыбался, представляя себе лохматое дурацкое животное, помирающее сейчас от отчаяния и горя, что не может видеть воочию богоподобного хозяина своего, давателя пропитания и опору мира сего. Смешной пес, ей-богу. Хорошие люди — собаки. В отличие от людей. Собаки — хорошие люди, а вот люди, как правило,— паршивые собаки...

Потом он приготовил похлебку — навалил от души большой ложкой в Тимофееву миску и поставил на специальную скамеечку, чтобы животное, вернувшись с променада, сразу же могло бы насладить себя любимой жрачкой. И только после этого снял с гвоздя поводок и занялся приготовлениями к выходу уже вплотную.

— Интересно мне знать: почему этот сопленосец называл тебя Тимофей Евсеичем? — приговаривал он вслух, приспосабливая поводок к ошейнику.— Какой же ты Евсеич? Ты у нас какой-нибудь Рексович. Уж как минимум — Артемонович...

Артемонович не возражал — он рвался гулять и был согласен на любой вариант.

Перед выходом он погляделся в зеркало. Поправил берет. Приласкал горстью восьмидневную щетину. Остался вполне доволен собою и осторожно приоткрыл выходную дверь. Маловероятно было столкнуться здесь с опасностью, но, как известно, самые неприятные случаи в жизни именно маловероятны. Осторожность еще никому не повредила... Там, в чужих теперь владениях, было тихо, и стоял привычный уже не то аромат, не то смрад загадочных благовоний. В коридоре до самого поворота

никого не было видно, лампочку никто, в натуре, и не подумал ввинтить, так что освещен был только сам поворот за угол — но не электрическим светом, а желтоватым, колеблющимся,— видимо, там опять жгли лампады.

Он вышел в коридор и, придерживая беззаветно рвущегося с поводка Тимофея, принялся тщательно запирать дверь на свою территорию. Здесь, за этой дверью, у него все было свое: свои шесть с половиной квадратных метров, и своя кухонька с газовой плитой, и свой санузел со своей страшненькой на вид, но вполне годной к употреблению ванной. Когда-то здесь жила прислуга. Как же ее звали на самом деле? Анастасия Андреевна ее звали, вот как, а он звал ее Асевна и любил больше всех на свете. Она была большая, мягкая, добрая, и около нее всегда замечательно пахло тянучками... Собственно, никого, кроме нее, он, пожалуй, никогда не любил, так что и сравнивать, пожалуй, было не с кем...

(Он подумал о ней сейчас совершенно случайно, по ассоциации, которая была недоступна сознанию, потому что сознание его было занято одной мыслью и одной только — вполне обычной — воображаемой картинкой: пилот космического корабля, соблюдая все меры предосторожности, покидает свою крепость и выходит в чужой и опасный мир. Картинка эта родилась в его воображении очень давно, он уже не помнил себя без этой картинки: космический корабль потерпел аварию на другой планете, пилот доживает век свой за стальными стенами, а там, снаружи, кипит, варится, булькает, исходит вонючим паром чужая и смертельно опасная жизнь, порождающая страх и ненависть. Страх — всегда, ненависть, к сожалению, лишь изредка...)

Пока он возился с замками (замков было три плюс специальное стопорное устройство для надежности), из-за поворота бесшумно появилась вдруг фигура в белом и остановилась там, в деликатном отдалении,— странная и даже жутковатая в колеблющемся свете невидимой лампады. А он вдруг услышал монотонное пение, на самом пределе слышимости, и не пение даже в привычном смысле этого слова, а как будто в несколько голосов полушепотом читали нараспев что-то ритмичное.

— Здравствуйте,— сказал он на всякий случай в адрес белой фигуры и получил в ответ беззвучный поклон со сложенными у груди руками. Узкоглазое темное лицо было неподвижно и не выражало ничего, кроме абсолютного нечеловеческого спокойствия. Он подождал две секунды, но более ничего не происходило, да и не могло происходить: арендную плату они внесли (строго в соответствии) четыре дня назад, а больше предмета для общения у них не было, да и быть не могло, и он вежливо сказал: «Саёнара», мгновенно исчерпав свои познания в японском на добрую четверть.

Он всегда был вежлив с этими людьми, но на самом деле они не нравились ему — точно так же, как все и прочие люди на этой земле. Вдобавок, он совсем не понимал их, что удивительным образом рождало не уважение и не интерес даже, как можно было бы ожидать, а скорее только дополнительную неприязнь и даже некоторое презрение. Мысленно он всегда называл их япошками, хотя вовсе не уверен был, что имеет дело именно с лицами японской национальности и что ему когда-нибудь понадобятся припасенные некогда и зачем-то впрок: «коннити-ва», «вакаримасен» и совсем, казалось бы, в этой ситуации неуместное «ватакуси-ва табе тай». Однако эти узкоглазые платили деньги, хорошие деньги за те четыре комнаты, где он жил когда-то с родителями и куда теперь вход ему был запрещен. Не потому запрещен, что загадочные арендаторы не хотели бы его там видеть — может быть, они как раз и не имели бы ничего против того, чтобы пригласить, познакомиться поближе, обласкать, может быть, даже попытаться приобщить его к этому своему пению шепотом, к странно пахнущим своим лампадам и к белым одеяниям,— а потому запрещен был ему туда вход, что он сам себе его запретил, раз и навсегда отрезав себя от того, что было когда-то, и оставив от прошлого только комнатку Асевны с личным своим сортиром и персональным вход-и-выходом, который в прошлом назывался «черный ход».

Он, осторожно прислушиваясь и оглядываясь, спустился по черной лестнице, которая была на самом деле не черной, а грязно-серой, с грязными окнами во двор (которые не мыли со времен советской власти), с прихотливо изуродованными, скручен-

ными каким-то невероятным силачом железными клепаными перилами (пребывающими в этом первозданном виде еще со времен блокады), с заплеванными и вдумчиво (казалось — старательно) замусоренными ступеньками и с застарелыми презервативами, присохшими к разрисованным стенам. Это была лестница-помойка, лестница-нужник, лестница-музей, то, что в южной России называется «зады». Впрочем, он к этому давно уже привык, а Тимофею здесь даже нравилось или, как минимум, было интересно: он читал эту лестницу, как любознательный человек — свежую многостраничную газету из породы желтоватых. Кроме того, пес имел обыкновение начинать свои мочеиспускательные процедуры уже прямо здесь, не дожидаясь улицы, и делал это с удовольствием, хотя и без надлежащей основательности. Хозяин ему в этом не препятствовал, но и не поощрял — просто спускался по ступенькам, не задерживаясь и не давая человеку возможности вложить в процедуру всю душу, до самого донышка. На Тимофея здесь была вся надежда: он чутко не любил незнакомых, и никакой бомж, никакой посторонний бандюга не имел шанса уклониться от его неприязненного внимания. Впрочем, по черепу на этой лестнице можно было получить и от хорошо знакомого человека — например, от Кости-драника с четвертого этажа...

Во дворе уже больше не разгружали фуру, и не было там жилистых бандитов, а только две полузнакомые тетки с помойными ведрами у ног (одно полное, с верхом, другое — только что опустошенное) обсуждали повышение цен на электроэнергию в десяти шагах от мусорной цистерны. Он с ними, от греха подальше, поздоровался, они тут же ответили небрежно и без всякого интереса проводили глазами. Они знали его с титешнего возраста и все косточки его, до самой последней, крохотной, уже давно были перемыты и обсосаны.

Оказавшись на бульваре, он предоставил наконец Тимофею свободу постоять с задранной правой задней столько времени, сколько это необходимо для полного удовлетворения, а сам между тем внимательно оглядел окрестности. Час Собаки уже наступил, но в поле зрения, слава богу, ничего по-настоящему опасного не наблюдалось. Был там мраморный дог, вышагивающий

словно собственный призрак рядом со своей элегантной хозяйкой, этакой накрашенной сукой в мехах и с неестественно длинными ногами; была знакомая старая овчарка с отвислым пузом и провалившейся спиной; и еще какая-то мелочь мелькала между деревьями: извечно унылая такса длиной в полтора погонных метра, визгливая, но безопасная болонка с шестого этажа и еще какая-то, черненькая, незнакомой породы и вообще незнакомая, с хозяином в виде шкафа, с ножищами, словно у Идолища Поганого. Главного врага, черного терьера Борьки, видно пока не было и, даст бог, не будет сегодня вообще. Он со своим омерзительным новороссом иногда пропадал на несколько дней совсем, а иногда гулял в другое, не как у всех нормальных собак, время.

Задерживаясь у каждого дерева, они прошествовали до самого конца бульвара, ни с кем не подравшись и вообще тихо-мирно-индифферентно. Тимофей шел без поводка: он был не из тех, кто уносится вдруг в полном самозабвении — пусть даже за самой привлекательной дамой. Он так боялся снова потеряться, что даже не отбегал дальше второго дерева, а если это и случалось ненароком, то тут же останавливался и ждал, совершая ритуальные вращения обрубком хвоста. Смешной пес, ей-богу. Здорово, надо полагать, натерпелся он от предыдущих своих хозяев, а может быть, просто забыть не мог ужасов безпривязного своего существования в большом городе, равнодушном, как поребрик, и жестоком, как голодная смерть.

Он совсем было уже собрался развернуться на сто восемьдесят (тем более что природа, а точнее — проклятая аденома уже напоминала, что «пора вернуться в хазу, к родному унитазу»), но задержался, обнаружив за углом, видимо, в районе той самой штаб-квартиры, о которой говорил закаканец Вадим, небольшую, но вообще-то нетипичную здесь толпу обывателей, запрудившую все пространство тротуара и даже разлившуюся отчасти на мостовую. Блестящие крыши своеобычных «мерседесов» плавали в этой толпе, как островки в половодье. Что-то там происходило. Митинг какой-то. А вернее сказать — встреча с кандидатом в губернаторы: рослая фигура в светлом пальто имела там место — возвышалась над толпой, обращаясь к ней с верхней ступеньки у парадного входа в офис, широко помавая над нею распростер-

тыми руками. И доносился оттуда голос,— слов было не разобрать, но слышно было даже с расстояния в полста метров, что голос — сытый, бархатистый и раскатистый, словно у незабываемого доцента Лебядьева (теория функций комплексного переменного), провозглашающего свои знаменитые принципы выставления отметок на экзаменах: «Кто безукоризненно ответит на все вопросы билета и на все дополнительные вопросы, тот получает пя-а-ать... Кто безукоризненно ответит на все вопросы билета, но слегка запнется на дополнительном вопросе, тот получает четы-ы-ре...»

Он ощутил мгновенную вспышку ненависти и — почти неуправляемо, ноги сами понесли — пересек улицу, чтобы приблизиться... Зачем? Он не сумел бы объяснить зачем, даже если бы вздумалось ему это кому-то объяснять. Он должен был услышать и увидеть ЭТО. И все. Вблизи. В подробностях. Должен. Как всегда в подобных случаях, не было ни одной связной мысли в голове и никаких ясно осознаваемых или хотя бы на что-то знакомое похожих желаний. Физиология. Транс. Ноги шли сами собой, а в голове крутилась несвязица, изрекаемая отвратительно бархатным голосом: «...Сегодня мы с вами начали позже, а потому надлежит нам закончить раньше...» (Все тот же Лебядьев, который был крутым на факультете партийно-общественным деятелем и перманентно опаздывал к началу собственных лекций.) Он даже не слышал ничего, ни единого слова. Он видел только, как открывается и закрывается благородных очертаний аристократическая пасть с безукоризненными зубами. И сверкают влажно вдохновенные очи. Он видел бисеринки измороси на белоснежном ежике, белые широкие ладони, помавающие в профессионально точном ритме неслышимой речи... (У него всегда было великолепное зрение, он, как легендарная мамаша Тихо Браге, видел простым глазом фазы Венеры и способен был кучно посадить все пять пуль в «восьмерку» точно на одиннадцать часов.) А сейчас ему показалось вдруг, что он даже обоняет этого человека — запах дорогого одеколона вдруг налетел, здоровый крепкий запах энергичного крепкого мужчины, не знающего унизительных болезней, не знающего никаких болезней вообще, а

заодно не знающего низменных чувств и обыкновенных для обыкновенного человека животных желаний.

Ненависть вспыхнула и принялась расти в нем как гнойная опухоль — безболезненно, но быстро. Ее, оказывается, уже порядочно накопилось за последние полгода, но до этого момента она жила в нем тихо, безобидная и безопасная, как застарелая скука, а сейчас вот вдруг пробудилась, и принялась пожирать пространство души, и запульсировала там, выдираясь на волю, зеленовато-желтая, ядовитая и опасная, как боевой хлор. Она душила. Хотелось кричать, а она застревала в горле — не давала дышать и жить. Хотелось вонзить ее в это белое, холеное, тренированное, вечно здоровое тело, как белая кобра вонзает кривые зубы свои, чтобы ворваться в жертву ядом. Убить.

Смутно он помнил и понимал, что — опасно. Вокруг слишком много народу. Охранники с сумрачно-напряженными лицами шарят глазами, а один уже уставился и смотрит в упор, старея лицом, уже приготовившись, уже целясь... Это не остановило бы его. Его и выстрел в горло не остановил бы сейчас, наверное,— подступало, вздувалось, напрягалось, готовилось взорваться, прорваться, вспыхнуть, словно чудовищный, противоестественный, сверхъестественный оргазм... вот сейчас — вылетит ядовито-желтым, удушающим, выжигающим, стометровым языком... еще немного... вот сейчас... нельзя, нельзя, опасно, двое уже смотрят... И тут вдруг подступило снизу, схватило мгновенно и остро (у врачей это называется — «императивный позыв»), и ненависть мгновенно поникла, растворилась обессиленно, ушла на дно, ушла в ничто, а ноги — опять же сами собой — понесли его прочь, домой, скорее, еще скорее, сейчас польется, все, не выдержать, все, все... И оказавшись в подворотне, он судорожно, в постыдной спешке, кое-как расстегнулся — лицом к стене, в неестественной и дурацкой позе, на одной почему-то ноге стоя, прямо на виду у какой-то дамы с дочкой — и застонал от срама, натужно и с болью опорожняясь.

Вот и все, думал он с привычной горечью. Вот и все. Вот и все... Где Тимофей? Тимофей был здесь же — стоял рядом в самой своей неприветливой позе и наблюдал за маминой дочкой. Он не любил детей и не доверял им. «А что это дядя делает? —

спрашивало между тем дитя ясным голоском.— Дядя заболел?» Не заболел дядя. Дядя сдох. Дядя обмочил штанину изнутри и чувствует себя полным и безусловным говном. А тот, вальяжный, безукоризненный и любимый массами, даже ничего не заметил. Охранники — да, заметили, явно что-то заподозрили, хотя, конечно, так и не поняли что к чему, а барин этот демократический даже и не почувствовал ничего. Глухарь на току.

...Вернуться, подумал он с вялой злобой. Вернуться и добить гада... Он знал, что не вернется. Сегодня — нет. Завтра. Потом. Он вдруг почувствовал — поверх бессильной тоски — неожиданный прилив энтузиазма: появилось что-то, о чем надлежало помнить, о чем стоило теперь содержательно думать. Не только о том, где бы раздобыть старый архив, желательно блокадных времен, а еще и о том, каково это будет, когда они снова встретятся. На каком-нибудь митинге, например. Там же выборы, кажется, происходят у них? Вот и прийти на встречу с избирателями. Избиратель я или нет?.. Я избиратель. Я имею право избирать. И я избрал. Его. Пусть молится теперь — я его избрал... Он вспомнил, что говорил давеча засранчик Вадим, и хихикнул: не отломится тебе ничего, засранчик ты мой, не выберут его никогда, потому что я его выбрал, а ты — знай себе надейся, засранчик, ты получишь то, что тебе только и причитается по жизни — горестное разочарование. Ибо сказано: разочарование есть горестное дитя надежды...

Дома он прежде всего переоделся. Штаны и трусы бросил в стиральную машину. Машина была уже набита, и был набит, причем с верхом, ящик для грязного белья. Значит, сегодня надо будет заняться стиркой. Мы люди простые, у нас прислуги нет, не держим мы прислуги, сами стираем, сами готовим, сами полы моем... Правильно, животное? Сожрало кашу? То-то же. Мяса сегодня не будет. Мясо будет завтра...

Телефон зазвонил неожиданно громко. Особенно громко именно потому, что неожиданно. Семь часов. Кто бы это мог быть? «Полковнику никто звóнит...» Оказалось — Тенгиз. Психократ. Он побаивался Тенгиза. С этой зверюгой свирепой следовало держать ухо востро. Этот не шутит и шутить не любит...

— Олгой-хорхой? Приветствую тебя.

— А, господин Психократ, лично? Ты еще жив?

— Не дождешься, Олгоша. Он же — Хорхоша. Слушай, ты Димку Христофорова давно видел?

— Сегодня видел. Отвратительное зрелище.

— Значит, ты в курсе?

— В курсе чего именно?

— В курсе его проблем.

— Да. К сожалению. Всю жилетку мне своими соплями залепил.

— Понятно. Так вот, имею тебе сообщить. Мы собираемся у меня завтра, в девятнадцать часов...

— Кто это — «мы»?

— Драбанты. Деды. Все.

— А я здесь при чем?

— Не п...и, Григорий! Это серьезное дело. Это нас всех касается. Сегодня — Димка, завтра — ты.

— Это ты не... это самое... Ради меня вы уж никак не стали бы собираться.

— Уверяю тебя, стали бы.

— Да вы же все меня терпеть ненавидите!

— Не преувеличивай, Олгоша. Не преувеличивай своего общероссийского значения. Ты человек малопривлекательный, это, блин, верно, но ты — один из нас, и никто этого обстоятельства пока не отменял. Да и не сможет отменить...

Проще было не спорить. Проще было — соглашаться, а потом делать по-своему.

— Ладно. Убедил. Я подумаю. В девятнадцать часов, говоришь? А завтра у нас что — пятница?

— Да. Завтра, у меня, в девятнадцать часов.

— Я подумаю.

— И не п...ди!

— Постараюсь. А ты — живи. Если получится.

— Я же тебе уже сказал, блин: не дождешься!

Тенгиз положил трубку на рычаг осторожно, словно она была тончайшего фарфора, и шумно выдохнул через нос.

— Жуткий тип,— сказал он.

— Придет? — спросила Ольга.

— Не знаю. Вообще, он меня побаивается, так что, может быть, и придет.

— А ты его разве не побаиваешься? — Она внимательно разглядывала себя в зеркале, будто видела впервые после долгого перерыва.

— Есть немного.

— Но почему? Я с ним как-то разговаривала по телефону. Вежливый. И совсем безвредный, если судить по голосу.

— Да. Но внешность обманчива, как сказал еж, слезая с сапожной щетки.

— Не пошли, пожалуйста. А какой у него талант?

— Он замечательно умеет ненавидеть.

— Значит, ваш сэнсей и ненависти учит тоже?

— Сэнсей никого и ничему не учит. Он только открывает ворота.

— Как-это-как-это?

— Человек смотрит и видит: перед ним забор. Или даже — стена. Каменная. А сэнсей говорит: вот дверь, отворяй и проходи...

— Ну?

— И человек проходит.

— А как же ненависть?

— Он вошел не в ту дверь. Это была ошибка.

— Сэнсей ошибается?

— Да. И не так уж редко. Он дал Гришке «Американскую трагедию», а Гришка вместо этого прочел «Путешествие на край ночи».

— Не понимаю.

— А никто не понимает. Сэнсей, думаешь, сам понимает? Хрена с два.

— Ты можешь без крепких выражений?

— Вообще-то могу, но зачем?

— По просьбе трудящихся.

— Слушаюсь. Голос трудящихся — голос божий.

— Расскажи лучше про этого своего Олгой-хорхоя. Что это, кстати, значит — Олгой-хорхой?

— «Олгой-хорхой» в переводе с монгольского значит «страшный червяк». Есть такая легенда, будто он водится в пустыне и убивает на расстоянии — то ли ядовитым газом, то ли электрическим разрядом.

— А при чем здесь твой Гриша?

— Слушай, княгиня, зачем тебе все это знать?

— Мне его жалко,— сказала Ольга.

— Вот тебе и на. Ты же его не видела никогда.

— Вот и расскажи.

— Он маленький, толстый, всегда небритый человечек с неподвижным взглядом. Очень неопрятный.

— С плохими зубами?

— Не помню. Кажется. Он не имеет обыкновения показывать зубы.

— И не улыбается никогда?

— По-моему, никогда. С чего это ему улыбаться? Он один как перст — ни родственников, ни друзей...

— Почему?

— Родственники все померли, а друзей он разогнал.

— Зачем?

— А как ты думаешь, приятно общаться с человеком, который при встрече всегда спрашивает: «Ты еще жив?» С изумлением.

— Не знаю. Наверное, неприятно. Но он же не всерьез это спрашивает?

— Откуда мне знать, может быть, и всерьез. Было время, он входил в компанию, но потом отошел. Просто перестал появляться. И звонить перестал. Сделался сам по себе. Сидит в своей каморке, как каракурт в норе, и читает чужие письма.

— Зачем?

— Хобби у него такое. Скупает старые семейные архивы. Бродит по свалкам, по разным помойкам, собирает старые письма. Как бомж. Если стоит дом, предназначенный к сносу, он тут как тут, наш Олгой-хорхой, с мешком и с фонариком... Спелеолог хренов.

— Ты его здорово не любишь, правда?

— А за что его любить? За то, что он всех нас ненавидит?

— Ну и что? Ты тоже всех ненавидишь.

— Неправда. Меня просто тошнит иногда. А вот он — да — ненавидит.

— Откуда ты взял?

— А вот ты приходи ко мне завтра — посмотришь.

Ольга сделала гримасу.

— Нет.

— Что — нет?

— Не приду. Мне с вами не нравится.

— Почему, кстати? Давно хотел спросить.

— Сама не знаю. Мне с вами жутко. Или противно. Или жутко противно.

— Вот странно! Ведь это все нетривиальные люди. Что ни личность, то фигура.

— Ладно. Я не хочу об этом говорить. Расскажи еще лучше про своего Олгоя-хорхоя.

— Он как раз из нас самый, наверное, серый. Совершенно не знаю, что еще о нем рассказывать.

— А кто у него родители?

— Они померли все. Мать — ему еще года не было. Отец — лет уж тридцать, наверное, как помер. Выдрал его однажды ремнем, дико, со злобой, за какую-то мелкую пакость, и сам же тут и отрубился. Сердце. Он у него был нетривиальный человек — знаменитый архитектор, строил виллы для начальства, лауреат, академик, партайгенацвале. Пил по-черному всю жизнь. Человек могучих страстей и слабого здоровья. Любимое присловье у него было: «Всё на свете херня или залепуха»...

Он замолчал, сходил на кухню, извлек из холодильника банку джин-тоника, откупорил, хлебнул, а потом, спохватившись, спросил: «Хочешь?» Она нетерпеливо мотнула волосами и сказала:

— Рассказывай дальше.

— Да я не знаю ничего толком. Ну, остался он с мачехой. Ему, скажем, десять лет, а мачехе — двадцать. Судя по всему была она неописуемая красавица и вполне законченная блядь... Извини, но из песни слова не выкинешь. Пережила своего архитектора на двадцать лет, пила по-черному, а под конец жизни еще и кололась. Жила одна в пяти комнатах, продала в конце концов

всё — все ковры, все хрустали, до последнего стула,— оставила после себя голые стены и Гришанин закуток, где он ютился с какой-то старухой, с прислугой, она ему была что-то вроде Арины Родионовны... Да ну его к черту, лапа, иди ко мне.

— Не смей называть меня лапой!

— Что это вдруг?

— Потому что это твой Роберт придумал.

— Хорошо. Я буду тогда называть тебя ногой. Ножкой. Нога моей судьбы. Прощайте, други, навсегда, страдать я боле не могу: судьбы рука сломала любви ногу...

— Господи, как я от тебя устала!.. Подвинься.

— М-м-м?

— Нет. Не хочу. Прекрати.

— Головка болит?

— Все болит. Я, между прочим, целый день стирала... Отстань.

— Вымрем!

— Ничего, не вымрем. Одна знаменитая ваша Мариша обеспечит воспроизводство, и с лихвой.

— Ну, не знаю. У Маришки трое. Или четверо? Не помню. Пусть даже четверо. У Эль-де-преза — двое. У Роберта — один. У Юрки-Полиграфа — ноль, и ничего не предвидится. У Димки — ноль...

— Зато у Андрей Юрьевича!..

— Да, это верно. Но они у него все незаконные.

— А какая разница?

— Никакой. М-м?..

— Отстань, я тебя прошу. Лучше посуду помой.

— Ей-богу, вымрем! Вот увидишь, нога души моей!..

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 5. ОТЕЦ ЯДОЗУБА, или БОЛЬШИЕ ДЕТИ — БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Он вернулся домой рано, снял пиджак, аккуратно повесил его на плечики и сказал жене (не глядя, распутывая галстук): «Водки». Она метнулась в столовую, вернулась со стопочкой на

подносике (три четверти стопки, пикуль на блюдечке, салфетка углом). Он брезгливо принял стопку, выплеснул ее на ковер, сам прошел к буфету и налил полный фужер. Выпил в три глотка. Всосал воздух через побелевшие ноздри. Постоял неподвижно несколько секунд, потом спросил (по-прежнему не глядя): «Дома?» — «Дома»,— сказала жена шепотом. Она уже безусловно все знала: позвонили, доложили, обосрали своим радостным сочувствием с ног до головы...

Через всю квартиру, ступая тяжело (словно весь день грузил мешки на станции), прошел по коридорам, распахнул дверь с табличкой (украденной где-то в присутственном месте) «ПРОШУ СТУЧАТЬ», вошел в комнату и остановился у порога, не закрывая за собой дверь: намеревался только два слова сказать и сейчас же уйти (ненависть душила, пополам со стенокардией).

Наследник занимался любимым делом: перебирал старые бумаги. Старыми бумагами было все в комнате завалено, словно это не комната подростка, а сраный какой-нибудь архив домжилуправления. И пропахло все старой бумагой, а у стены стояли, перекосившись, два рыжих облупленных чемодана — давеча притащил с какой-то свалки, с клопами и тараканами.

На отца он глянул мельком и спрятал глаза — лицо, только что розовое и азартное, сразу сделалось неподвижно и словно бы пожелтело.

Он хотел сказать мальчишке только одну фразу, но такую, чтобы в ней было все. «Ты понимаешь хоть, в какую яму меня свалил? — металось беспорядочно в голове у него.— Что теперь со мной сделают эти говнюки, понимаешь?» И — вдруг — всплыло: «Ох, ему и всыпали по первое! По дерьму спеленутого — волоком...» Это он Галича вспомнил. Нашел время и место вспоминать Галича! Но уж очень это было точно и про него: «Раздавались выкрики и выпады, ставились усердно многоточия, а потом, как водится, оргвыводы: мастерская, выговор и прочее...» Мемориалу моему — конец, вдруг понял он с пронзительной ясностью. Впервые понял и принял это как неизбежную данность. Покаюсь я, не покаюсь, осудю, не осудю этого мелкого паразита,— мемориал мне теперь не дадут. И ничего больше не дадут никог-

да. До конца жизни буду частные заказы клепать. Конец архитектору Петелину — полный и окончательный п..дец внакладку.

Но сказать, как тут же выяснилось, было нечего. Нечего ему было сказать этому желтолицему толстенькому подростку, у которого два деда не вернулись с Отечественной и который в компании дружков (уже третий год подряд, оказывается) праздновал день рождения Гитлера. В компании у него были: сын первого секретаря райкома; сынок зампредседателя горисполкома; племянник директора завода, члена бюро обкома... И всем им сказать было бы нечего, даже если бы они все оказались внезапно здесь, перед ним.

— Ну почему — Гитлера? — сказал он наконец спертым голосом.— Объясни, я этого не понимаю.

— Потому что — двадцатое апреля,— сказал сын Главного Архитектора неожиданно охотно и даже глаза на Главного Архитектора поднял, и глаза эти были честные, круглые, но со странной желтизной.

Впрочем, ответа главный архитектор все равно не понял.

— Ну и что из того, что двадцатое? — спросил он.

— День рождения,— объяснил наследник и мельком улыбнулся.

Видимо, ему понравилось, как удачно он ответил. Видимо, он сам себе вдруг понравился — здесь и сейчас. Видимо, он совсем не понимал своего положения. Гаденыш. Вша.

— Ты что, не любишь евреев? — спросил он — просто по инерции. Чтобы не ударить. Чтобы не размазать гаденыша по стене.

— А кто их любит? — лениво, вразвалочку ответил наследник. И рот скривил презрительно. На отца он не глядел теперь совсем и, может быть, именно поэтому не понимал, что происходит.— Они сами себя терпеть не могут,— добавил он. Как бы между прочим.

— У тебя же мать была наполовину еврейка,— сказал главный архитектор Петелин.

— А я-то здесь при чем? — возразил наследник и добавил с отвращением: — Это — ваши дела. Разбирайтесь.

Тогда Петелин-старший шагнул к нему через всю комнату, уже не помня себя. Все перед ним сделалось желтым, стены поплыли, в ушах возник механический не то вой, не то дребезг,— и он — как на рогатину, как на пулю — налетел вдруг на желтый немигающий *светящийся* взгляд. Его словно ледяным гноем окатило, и он оказался на полу, на спине, затылком и спиной в обломках развалившегося стула, а грудь ему — словно резало ножом, последние минуты пришли, он это понял сразу же и принял, согласился принять, как последний и окончательный приступ катастрофического невезения последних дней.

Он попытался подняться, заелозил ногами, руками, оперся кое-как на ковер, который ходил под ним ходуном. Невыносимо воняло горелой бумагой, душило вонью, дышать было совершенно нечем, а в голове бродила какая-то несообразная чушь. «Желтый дьявол», бродило почему-то там. «Зубы желтого...» «Зубы желтого обломаны...» (Название какой-то трилогии из далекого детства, что-то патриотическое, про самураев и пограничников, про озеро Хасан и сопку Безымянную...) Он мучительно возился на полу, все еще надеясь встать, и смотрел на наследника, потому что ничего другого не было у него в желтом тумане перед глазами. Как наследник шарит лупой по очередной дряхлой бумажке. Как бережно бумажку свою поднимает и смотрит ее на просвет. Как улыбается мерцающей своей, слабой, но довольной улыбкой...

...Видимо, ему удалось подняться: он обнаружил себя в коридоре — еле передвигая онемевшие ноги, он полз вдоль стены, распластавшись по ней грудью, срывая одну за другой гравюры в багетах за стеклом, развешанные на уровне лица.

...Потом была еще гостиная, где он лежал на ковре, рядом со столом красного дерева, скомканная скатерть — под головой, жена со шприцом, розовые губы шевелятся, глаза стеклянные от слез, молодая еще совсем, девчонка, всего шесть месяцев как женился, ее еще драть и драть... «Желтый,— сказал он, и это были его последние слова.— Зубы желтого. Зубы желтого обломаны».

Глава седьмая
ДЕКАБРЬ. ПЯТНИЦА. НЕКОТОРЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

...Ну и ночка получилась, распронаетить-ее-пополам-с-дерьмом!.. С такой вот энергичной, но малоинтеллигентной фразой на устах или, правильнее было бы сказать — в мыслях своих проснулся (очнулся? очухался? оклемался?) Матвей Аронович Вул, более известный среди друзей и знакомых как Велмат, то есть Великий математик. Утро еще не началось по-настоящему, однако же ночь (жуткая ночь, бредовая ночь) уже основательно призадумалась, и звезды над дальней лесопосадкой побледнели в предчувствии неизбежного рассвета. Было семь утра. Унылотухлая капель прекратилась совсем, но и мороза настоящего пока еще не наступило, только прихватило тоненьким ледком края луж на дороге, а сосульки, свисающие с крыши, сделались больше и выглядели самоуверенно — не то что вчерашним вечером.

Комнату за ночь выстудило основательно. Бедняга Вадим пластом лежал на кровати, уткнувшись носом и лбом в стену, одеяло поверх него выглядело плоским, как будто ничего под этим одеялом не было, только торчала из-под — одиноко и трогательно — босая нога с грязноватой ступней и огромной костлявой пяткой. Тулуп валялся на полу, распахнув лохматые внутренности.

...Жуткая ночь. Чадная ночь. Когда они приехали сюда, Вадим все время мерзнул, его била крупная дрожь, по лицу катил-

ся пот, а руки были ледяные, словно гусиные лапы. Он все время подбрасывал и подбрасывал дрова в печку, в конце концов в комнате сделалось невыносимо жарко, тянуло по дому угаром и дымом, а он все равно мерзнул, и трясся, и подбрасывал, и в конце концов натянул на себя овчинный тулуп, который Матвей специально достал для него из дедовского сундука. Но и тулуп этот не помог ему тоже...

И он был пьян. Он был пьян уже с вечера, когда Матвей заехал навестить его — на всякий случай, голос Вадима не понравился ему по телефону: пьяный, надтреснутый голосишко вдребезги раздавленного бедой человека. De visu Вадим оказался еще даже хуже, чем его голос по телефону. Не было Вадима. Совсем. Перед Матвеем вихлялся и ерзал, поминутно теряя равновесие и чуть не падая со стула, расхристанный, потный, белолицый с красным сопливым носом человечек, отдаленно напоминавший, правда, Вадима, но не Вадим, а поганенькая на него карикатурка, какую и злейший враг бы не придумал. Он был дома один, и он был вдребезги пьян — давно и горько, словно пил уже добрую неделю смертным запоем (хотя вчера еще по телефону был вполне человекообразен и даже шутил в обыкновенной для себя манере).

«А Софья Ефимовна где?» В ответ на этот вполне невинный и даже естественный вопрос он еще более перекосился лицом, многозначительно помотал пальцем у Матвея под носом (в смысле: «Не-ет, голубчик... не получится у тебя... и не надейся даже...»), а потом и вовсе показал фигу,— чтобы никаких уже сомнений в отрицательном ответе не оставалось. Матвей сначала не понял, почему такие тайны, но понял, однако, сразу же, что мамы Вадимовой дома нет, давно нет, и, видимо, не скоро будет, а поэтому придется ему, Матвею, здесь сидеть, сидеть и сидеть, потому что оставлять Вадима в таком виде одного было бы попросту безответственно, а Матвей, при всех своих недостатках, полагал себя человеком ответственным. Поэтому — остался и допил вместе с Вадимом большую бутылку синеватого терпкого водянистого дерьма, а потом еще одну бутылку дерьма (какую-то древнюю наливку из затхлых запасов), и — ночка полетела.

...Слава богу, хоть в собеседниках Вадим не нуждался. Он все время говорил сам, сам к себе сочувственно прислушивался, сам над своими рассказами хихикал, сам себя перебивал, пару раз принимался плакать, но сам же эту свою слабость и пресек без всякой пощады.

Три — совершенно не связанные — истории причудливо переплетались в его бормотании. Одна, видимо, вполне реальная,— про страшного дьяволоподобного человека, про Сатану с жалом вместо указательного пальца — знакомая уже Матвею кавказская история про угрозы и требования (но теперь из нее, в частности, получалось, что Вадиму не просто грозили — как он рассказывал об этом раньше,— а еще и пытали его какой-то поганой пыткой). Вторая история — без начала и конца, про то, как некая сильно разогретая компашка выходит из чайной (на Бермамыте? в Каменномосте? — в общем, все там же, на Кавказе) — выходит, выходит и все никак выйти не может, до такой степени все нажрались, а некоего Мишку вообще выносят на плече, он блюет толстой бурой струей, и большой охотничий кинжал (между прочим, не зарегистрированный) вылетает у него из ножен у пояса и с лязгом скачет по каменным ступенькам... Все довольно правдоподобно и даже вполне жизненно, не понятно только — к чему и зачем. А третья история была совсем странная. Там фигурировала палатка, горы (опять же), пасмурная ночь с дождем, неприятный какой-то человек по имени Тимофей, который дрыхнул на раскладушке рядом... а может быть, и не дрыхнул вовсе, а только притворялся, что дрыхнет... И вдруг поблизости от ихней палатки каким-то волшебным образом образуется еще одна палатка... а в ней — посторонний человек... ниоткуда... никто... мертвый... убитый, избитый и изуродованный до смерти... А потом появляются еще какие-то люди, двое, тоже невесть откуда взявшиеся, плачущие над трупом и произносящие смутные угрозы, но не в адрес Вадима, а вроде бы в адрес этого самого Тимофея, который знай себе лежит на боку в своем спальнике и трусливо притворяется спящим... Странная, малоправдоподобная, явно выдуманная зачем-то (зачем?) история без сколько-нибудь определенного конца, да и без определенного начала, пожалуй...

В большой комнате Вадимовой квартиры, где все было разбросано, попорчено, загажено, потоптано, где горела верхняя люстра, а торшер лежал на боку рядом с диваном, где накурено было, совершенно как в киношном сортире, стояла атмосфера болезненного бреда и застарелого страха, давно уже превратившегося в привычный ужас... Темный ужас. Бледный ужас... «Что такое темный ужас начинателя игры...» (крутилось у Матвея, совсем потерявшего управление и представления не имеющего, что со всем этим делать). «И бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала...» Он только хватал Вадима за потные скользкие руки, на давая ему еще что-нибудь разбить, повалить, разгромить, растоптать...

...Вдруг звонил телефон — глухо, задавленный диванными подушками,— неожиданный, словно внезапный человек на пороге. «Кто это? Мама? Мама, я же просил не звонить! Все в порядке у меня, просто насморк... Мама я же просил не звонить. Не звони больше...» И, повесив трубку, сразу же, без перехода, уже Матвею: «Просил же: не звони! Прослушивается же все... Теперь они ее засекли. Спрятал, называется...» Новая сигарета, трясущаяся рука с зажигалкой, красные скошенные глаза. «...Убьют — ладно. Это еще не так страшно. Плевать. Но ведь пытать будут. Искалечат, суки, изуродуют. В инвалидную коляску посадят на всю оставшуюся жизнь...»

— ...Я маленький человек, ты понимаешь это? Маленький. Мне ничего не надо, я ничего не прошу и тем более не требую. Да, бывает со мной... Бывает. Знаешь, как это бывает? Я вдруг вижу как бы связь вещей... дорогу вижу... по которой все катится, как по рельсам... Но ведь ничего же больше этого! Почему им мало? Почему они хотят, чтобы я делал невозможное? Это же так понятно: если человек видит дорогу, это же не значит, что он может ее проложить... А это даже не дорога. Это труба — бетонная, тесная, у меня от нее клаустрофобия начинается... Маленький я, поймите вы, Христа ради. Маленький...

Слово «маленький» повернуло его на сто восемьдесят градусов, он вдруг всполошился: где маленькая? «На утро же оставалась маленькая. Специально оставил. Ты взял? Отдай, не будь гадом! Верни, ну, пожалуйста, ну я тебя прошу... Матвей, чтоб

ты сдох, блин, отдай маленькую, евр-рей, сука...» Полез за диван, отпихнул поваленный торшер, нашел бутылек, обнял ладонями, прижал к щеке, как любимого котенка... Матвей попытался уложить его баиньки, но куда там! Его вдруг понесло на кухню: варить кофе. Кофе ему, бедолаге, срочно понадобился. Слышно было сначала, как у него там посуда летит на пол, а потом вдруг потянуло по квартире газом. Оказалось: включил все конфорки, ни одну не зажег, стоит с джезвой в руках и, весь перекосившись от ужаса, смотрит в кухонное окно на двор, где какие-то (вполне мирные, и женского пола в том числе) люди то ли загружаются в черную «волгу», то ли, наоборот, выгружаются из.

Было уже основательно заполночь, когда Матвей принял решение увезти его отсюда на хрен. Подальше. Пусть хоть отоспится спокойно, на природе. Поразительно, но Вадим не возражал. Даже наоборот, сам тут же побрел в прихожую одеваться, лукаво приговаривая: «А вот хрен вам... не достанете... Сегодня четверг, а завтра уже пятница... хрена вам за щеку...» В машине он сразу же заснул, словно выключили электричество, и спал самым благополучным образом, тихо и крепко, но на подъезде уже к Хвойному проснулся, а на даче началось все сначала, включая беспорядочное бормотание по поводу кавказских дел (выдуманных и реальных), а также истерические попытки разыскать забытую и оставленную в городе маленькую...

Матвей оделся и вышел на воздух. Надо было сходить в сарай, пополнить запасы дров в доме, но он задержался на крыльце, изо всех сил вдыхая и выдыхая чистейший воздух, колючий от мороза и свежий, как хвойная лапа прямо из леса. Морозная тишина лежала над миром, даже собак не было слышно, и мертво светились сквозь елки окна соседнего слева особняка, где, по обыкновению, весь свет был включен и при этом ни единой души, ни малейшего движения видно не было, словно не особняк это был, а заколдованный дворец.

Все было как всегда. Матвеев «жигуленок» — в полном порядке — стоял там, где и полагалось ему стоять, тихонечко мигая красной точкой включенной сигнализации. В доме справа уже, видимо, народ пробудился — толстый белый дым поднимал-

ся из печной трубы,— но и там все было тихо и недвижимо. А чего ты, собственно, ожидал, Жорж Данден, подумал Матвей, спускаясь с крыльца. Филера, примерзшего плечом к телефонному столбу напротив? Или, может быть, толпу бандитских «мерседесов», сгрудившихся перед воротами? Не смеши людей. Не так все это делается. Если делается вообще, кстати. Странная какая-то история, есть в ней некая раздражающая избыточность. Чрезмерность какая-то... Он попытался уловить быстро промелькнувшую трезвую (очень ценную в этом бредовом хаосе) мысль, но не поймал ее, упустил — она ушла в муть и мрак подозрительных артефактов. Теперь надо ждать, когда она снова вынырнет. Ничего, время есть, подождем. Сегодня еще только четверг... пардон, пятница. Пока еще только пятница, и сегодня мы все встретимся у Тенгиза и найдем решение. Если оно есть.

Он притащил и уложил в прихожей три вязанки дров, растопил печку в комнате, пошел на кухню и поставил на газ полчайника воды. Потом пошарил по сусекам. Еды не то чтобы не было совсем, но была она вся какая-то безнадежно далекая от окончательной готовности к употреблению. Сырье. Даже не полуфабрикаты, а именно сырье: мука, крупа, свекла, морковка... Впрочем, в холодильнике обнаружились куриные яйца. В трех экземплярах. Но с хлебом было совсем плохо: каменная полубуханка ржаного, вся в мрачных трещинах, словно среднеазиатский такыр.

Когда он вернулся в комнату, чтобы подбросить дров в печку, Вадим уже сидел в постели, накинув на плечи тулуп, и рассматривал в маленькое зеркальце свою распухшую физиономию со смешанным выражением отчаяния и крайнего отвращения.

— Слушай,— сказал он.— Сегодня среда или четверг?

— Пятница сегодня.

— Врешь!

— Зуб даю.

— Так сегодня нам к Тенгизу идти?

— Всенепременнейше.

Вадим застонал и принялся мять себе щеки и лоб, словно пытался таким образом привести все это свое хозяйство в порядок.

— Ну, а как насчет хеджирования портфеля гэ-ка-о с помощью фьючерсов? — спросил Матвей осторожно. Это был контрольный вопрос.

Несколько секунд Вадим молчал, но потом ответил все-таки — неохотно, но в соответствии с нормами и обычаями:

— Увы. Могу гарантировать только личное участие во вторичных торгах гэ-ка-о о-эф-зэ из дилингового зала.

Слава богу, мысленно произнес Матвей и присел перед печкой с кочергой наизготовку.

— Как я был вчера? — спросил Вадим.

— По-всякому. Хорош тоже был. Иногда.

— Много всякого наплел? — спросил Вадим смущенно.

— О да. Не без того.

— «Иногда лучше жевать, чем говорить»,— сообщил Вадим, как бы демонстрируя свое благополучное возвращение в мир реальностей, и тут же осведомился: — А пожевать ничего не найдется в этом доме? Солененького бы чего-нибудь, а?

— Соль есть,— сказал ему Матвей.— Килограмма два. Сейчас организуем. Имей в виду, мне к двенадцати надо в Зеленогорск, на семинар. Поедешь со мной или здесь останешься?

— Я подумаю,— сказал Вадим.

...До полудня Тенгиз успел принять троих «расслабленных» и, заряженный мучительным отвращением к себе и ко всему этому миру, отправился на Дондурееву улицу, дом шесть. Напротив там было кафе, и весь народ из логова Аятоллы имел обыкновение в этом кафе обедать. Тенгиз занял столик у окна и заказал чахохбили из баранины, зелень и хачапури. Выпить? Минералку, пожалуйста. Любую. С глубины пять тысяч метров? Очень хорошо, давайте с глубины...

За окном была чистая тихая улочка без автомобилей и почти без прохожих,— сухой асфальт мостовой, плиткой выложенные тротуары без единого окурка,— а по ту сторону: светло-желтый двухэтажный особнячок с трогательными башенками на крыше, с двумя широкими (приветливыми) проездами во внутренний двор по обе стороны от роскошного парадного, сияющего безукоризненными стеклами и резьбой по черному дереву. И — ни одного человека охраны в пределах видимости. И даже своеобычных слепо настороженных телекамер. И, уж разумеется, никаких — на стене рядом с подъездом — досок с золочеными бук-

вами, рекламных плакатов, неоновых надписей по краю крыши и прочих купеческих банальностей. Строгий, но приветливый частный дом очень богатого человека. Ни одной машины у подъезда, но зато в глубине двора их усматривается несколько, и все — роскошные.

Пока Тенгиз неторопливо поедал чахохбили, во двор въехала одна черная машина (кажется, «роллс-ройс», а впрочем, хрен их теперь разберет), и один человек с кейсом пришел (откуда-то справа) пешим ходом и совершенно беспрепятственно проник в здание через парадный подъезд. И по-прежнему — ни малейших признаков охраны в камуфляже или даже хотя бы швейцара какого-нибудь ветхозаветного (в галунах от шеи до пят) так и не обнаружилось.

Все это смотрелось довольно-таки странно, но, впрочем, и не более чем странно. В конце концов, Аятолла устами народа объявлен был человеком, который никого не боится и которого, наоборот, боятся все. Все без исключения. От и до.

...Кроме меня, подумал Тенгиз со злобным удовлетворением. И кроме Андрея Юрьевича нашего, разумеется... Кстати, неужели он не боится даже зубодеров, Страхоборец хренов? Быть того не может. Надо будет обязательно его спросить. Ага. И он в ответ расскажет самый свежий анекдот про зубодеров и коротко хохотнет — хохотком своим ледяным, от которого странно зябнет и съеживается сердчишко каждого смертного... или, может быть, душонка?

Между тем, роскошные двери парадного подъезда распахнулись, извергнув из себя первую порцию клерков. Тенгиз медленно цедил ледяную воду, потревоженную кем-то на глубине пять тысяч метров, и смотрел, как они идут, рассыпаясь веером,— кто направо, кто налево за пределы видимости, а кто — прямехонько сюда, под гостеприимные кровы специализированного заведения с громокипящим названием «ШАШЛЫКИ — ЧЕБУРЕКИ».

Один за другим появлялись они в дверях, все — по-легкому, без пальто и без шапок, все они были здесь завсегдатаи: неспешно занимали хорошо знакомые насиженные места, оживленно обмениваясь гастрономическими замечаниями, а иногда без

всякого стеснения перекликаясь через весь зал, по-дружески заговаривали с официантами, заказывали «как обычно, Володя», и Тенгиз поймал на себе несколько вопросительных и даже, пожалуй, настороженных взглядов, а двое амбалов прямо с порога поглядели на него и вовсе неприязненно: видимо, он захватил ихний хренов персональный столик. Однако, запнувшись у порога лишь на секундочку, они все-таки подошли, разрешения, как это водится между приличными людьми, не спросив, по-хозяйски энергично отодвинули стулья напротив Тенгиза, снова поглядели на него с откровенным недружелюбием, а когда он остался к этим взглядам отстраненно равнодушен (сидел себе, полузакрыв глаза, откинувшись на спинку, и потягивал свой экзотический напиток), перестали его магнетизировать и по-хозяйски кликнули официанта Толю по прозвищу (надо думать, а не по фамилии все-таки) Марадона.

Несомненно это были охранники («охранные структуры») — могучие молодые парни с одинаковыми башками на конус, стриженные по-борцовски и с борцовскими же покатыми плечами длиною семьдесят пять сантиметров каждое. Впрочем, они были похожи друг на друга только самыми общими своими очертаниями да, пожалуй, еще и повадкой, но никак не более того. Тот, что уселся напротив, был красивый малый, смуглый, беловолосый, с черными писаными бровями шире плеч, с худощавым лицом аскета и киногероя. Другой же смотрелся отнюдь не столь авантажно: морда у него была, как румяная двухпудовая гиря, бока и брюхо выпирали из пиджака, он был не столько даже могуч, сколько жирен — светлоглазый хряк, мясо с жиром, гуманитарный тупик эволюции...

Они заказали чанахи в горшочках и были обслужены молниеносно, словно на кухне там уже заранее, с самого утра ждали: сейчас вот придут Хряк с Красавчиком, так надобно немедленно... сию же минуту... без задержки... Тенгиз смотрел, как они яростно глотают из своих горшочков, рвут кусками лаваш, откусывают от пучков зелени — жадно, в темпе, азартно,— словно делают хорошо знакомую и любимую работу; дождался, пока они покончат с чанахами и возьмутся за чебуреки, поданные им с пылу с

жару, и за баночное пиво «Туборг»,— возьмутся в точности так же жадно, азартно и умело, и так же молча... Он их готовил, доводил до необходимой кондиции, осторожно, исподволь, так, чтобы ни они сами, ни — упаси бог! — кто-нибудь со стороны ничего не заметил бы, а когда момент наступил, он выключил Хряка и одновременно включил Красавчика, как более на вид сообразительного и годного к употреблению. Тот сразу же охотно и быстро заговорил, словно давно у него наболело, словно давно уже дожидался он такой вот редкой возможности — многословно и даже витиевато, приличествующим образом понизив голос, рассказать хорошему человеку о самом насущном, о своем, о теплом.

Речь его, как ни странно, оказалась неожиданно правильной, вполне интеллигентной, почти без вульгаризмов и совсем уж без своеобычной теперь сплошной безвкусно-бессмысленной матерщины. Впрочем, говорил он какую-то чушь, про беспросветность нынешнего его бытия, про джунгли быта, про трудности свои с потенцией, которые возникли у него последнее время из-за нервных, видимо, перегрузок,— Тенгиз прервал его без всякой жалости и спросил небрежно, на месте ли сейчас хозяин. Оказалось: нет, на месте его пока не видели, но ведь, с другой стороны, судите сами, откуда ему, Красавчику, знать — на месте начальство или в отъезде, он, Красавчик, человек на фирме небольшой, живет по приказу, знаете, как говорится: «Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли»,— он ведь вообще хозяина толком не видел, можно сказать, ни разу, если не считать, конечно, случая, когда он ему докладывал про обои... Про какие еще обои? Про моющиеся, с драконами, божественно красивые, японские... или китайские?.. Ладно, сказал ему Тенгиз. Не надо подробностей. А где он сидит, хозяин, как к нему пройти? Оказывается — сидит хозяин на втором этаже, за Белым залом, но пройти к нему просто так нельзя, надо сначала записаться... у секретарши... там секретарша у него всегда на посту — замечательно, говорят, злое..учая баба, простите за выражение...

Тут углубленный в себя Хряк вдруг вынырнул из временного небытия (разбуженный, видимо, крепким словечком) и спросил хрипло и с неприязнью:

— А чего это ты вдруг раззвонился тут? Звонарь недодолбанный.

Тенгиз только взглянул на него исподлобья, и Хряк тут же отступился. Замолчал. Отсосал из банки — основательно, словно воздуху набирал перед тем, как нырнуть. И нырнул. И его здесь снова не стало. Можно было спокойно работать дальше, но, к сожалению, Красавчик уже иссяк. Да и не знал он ничего. «Мы с Коляном — дежурим по стоянке. Наше дело — машины. Подогнать, откатить. Прозвонить, осмотреть. Оберегать. А в доме мы ведь никогда, по сути дела, и не бываем. Вам бы следовало не с нами, а с кем-нибудь из клерков поговорить. Вон девочки сидят — из бюро...»

Тенгиз отпустил его. Он отпустил их обоих, и они тотчас же поднялись, аккуратно поставили стулья на место, попрощались, неумело поклонившись, и пошли себе, посасывая на ходу из своих банок,— огромные, тяжелые, бездарные... Но Красавчик при этом смотрелся все-таки очень даже недурственно: хорош, не просто громоздок, а элегантно-спортивен и даже красив,— смотреть приятно. Но человечек явно никакой, да и тупой при этом, как колено горничной. И господь с ними обоими...

Девочки из бюро, между тем, к лязгом и дребезгом обрушили что-то у себя на столе, кувшин какой-то с соком,— стол моментально залило, потекло на пол, полетели в стороны вилки-ложки,— девочки, заливаясь смехом, вскочили, спасая наряды и сумочки, официант Марадона уже спешил к ним, ничуть не сердясь и весь в готовности услужить и обслужить, а девочки огляделись, увидели свободные места и со щебетанием перепорхнули к Тенгизу, так ничего в происшедшем не поняв и уже вполне готовые к немедленному употреблению.

Впрочем, он подождал, пока Марадона перенесет им с разгромленного столика их чуть надкушенные хачапури, и новый кувшинчик им организует, и уберет остатки пиршества охранных структур,— а они тем временем всё оживленно перехихикивались друг с другом «и щебетали, щебетали, щебетали... дуры проклятые» (в полном соответствии с любимым Андрей Юрьевича анекдотом про молодожена и про его впечатления от нового образа домашней жизни). На Тенгиза они не обращали вни-

мания, казалось бы, совсем, но он знал, что они внимательно и вполне профессионально обследуют его и колеблются по его поводу (достоин ли он внимания — или так, пенек придорожный), и он не стал дожидаться, пока они сделают свой выбор, а сам взял их в оборот, да так, что у них только ребра хрустнули, и в течение десяти тихих, интимно-доверительных, почти любовных минут они по очереди рассказывали ему все, что они знали, и все, о чем только могли догадываться, и все, о чем слышали, но сами в это не очень-то верили...

...Яркие, как тропические бабочки, и такие же безмозглые. «Крылышками бяк-бяк». Совершенно обе никакие и по имени никто. Утомительно-великолепные самочки, гнусненько-божественные сосуды для сброса известных излишков жизнедеятельности наслаждающегося организма... Кошечки. Упоительно смердящие ядовитые кошечки. Двуногие роскошные машины для многократного соития... Он закрыл глаза, чтобы отогнать наваждение, и они, обе, тотчас же освободившись, затихли испуганно, словно прислушиваясь к отзвукам собственного бессмысленного и опасного щебетанья, куриные мозги их, ничего не поняв, ощутили черную угрозу, им стало страшно, неуютно — студеная зима ворвалась вдруг к ним в откровенные вырезы платьев и заледенила их, покрыла гусиными пупырышками роскошную атласную шкурку... Они, не сговариваясь и не доев едва начатое, сорвались с мест и отчаянно помчались к выходу, размахивая яркими сумочками на длинном ремешке, только что не переходя на панический бег, не замечая и не слыша ничего вокруг себя, не видя весело-изумленных взглядов жующих сослуживцев, не слыша их шутливых вопросов и желудочно-сортирных намеков...

Он и не подумал их удерживать. Он узнал уже все, что ему было надо. Или почти все. Скажем так: многое и достаточно. Потому что всего не знает даже сам Аятолла.

Он посмотрел через улицу на приветливый дом богатого человека. Человека и властелина... Пойти прямо сейчас, подумал он. И сделать все самому. Резко. На раз-два. Он представил себе последовательно: как он входит, куда поворачивает, по какой лестнице поднимается, что говорит и кому... Получившееся кино, показалось ему вполне правдоподобным и даже достоверным.

Прямо сейчас. Даже не одеваясь (куртку оставить здесь же в гардеробе — сказать, что скоро вернусь). Покончить с этим делом, раздавить гадину, и можно еще будет успеть к пятнадцати тридцати в диспансер на Бармалеевой... Он поймал взглядом Марадону и пригласил его к себе — расплатиться. Воду с глубины пять тысяч метров он так и не допил. Не осилил. Вода как вода, и чего только в ней люди находят.

...В это самое время Андрей Юрьевич Белюнин (имеющий среди друзей прозвище Страхоборец) держал стрелку с Корнеем Аверьяновичем Есауловым, известным в определенных кругах, главным образом, как Корень, а также — Есаул. Беседа происходила в новой, абсолютно пустой многокомнатной квартире нового, только что отстроенного элитного дома, переговорщики сидели на больших ящиках из-под какой-то роскошной аппаратуры (кроме упаковочных ящиков в квартире не было ничего, но зато ящиков этих было здесь великое множество), оба курили «Мальборо», а пепел стряхивали на брошенную между ними прямо на пол обширную газету «День Икс».

Голоса в пустой огромной квартире звучали странновато, вроде бы даже реверберации временами возникали, пахло свежестью, краской, лаком, все вокруг блестело и отсвечивало — рамы, филенки дверей, богатый пол, выложенный каким-то совсем уже немыслимо роскошным трехцветным паркетом. Хозяин всему этому благовеликолепию соответствовал вполне: серое с иголочки пальто до щиколоток, галстук цвета бордо (с черной искрой), бледное аристократически вытянутое лицо, выбритое идеально, вдохновенные русые кудри под молодого Бетховена — перед Андреем сидел несомненно русский дворянин в десятом поколении, дитя тургеневских усадеб, чудом сохранившийся элитный экземпляр,— только вот глаза выдавали его, осторожные, неспокойные глаза опытного хищника вполне от мира сего, причем в самой грязной и страшной мира сего ипостаси.

Впрочем, все это были игры неспокойного воображения. Просто Андрей знал, кто перед ним, и это знание накладывало вполне естественный отпечаток на восприятие. И правильно делало,

что накладывало: ухо с этим Есаулом надобно было держать востро. Предупрежден значит вооружен.

— А что же сам Александр Александрович со мной не связался? — как бы между делом спросил Есаул, вроде бы разглядывая дымящийся кончик своей сигареты, а на самом деле внимательнейшим образом, искоса, наблюдая за собеседником.

— А он в отъезде. Далеко отсюда. Очень далеко.

Есаул кивнул, давая таким образом понять, что ответом удовлетворен, и сейчас же спросил снова,— и снова как бы между делом:

— А как вы с ним познакомились, Андрей Юрьевич? Если не секрет, разумеется.

— Разумеется, не секрет. Мы с ним вместе искали Шамбалу.

— Нашли?

— Нет. Не успели. «Пришел лесник и всех выгнал к чертовой матери»... Анекдот! — поспешно объяснил Андрей в ответ на короткий, мгновенно уколовший его настороженный взгляд (словно осиное жало скользнуло вдруг из полосатых ножен).— На самом деле пограничники налетели и, не говоря худого слова, выдворили нас вон вместе со всем нашим скарбом и с разрешительными документами в придачу. Китайские погранцы — это серьезно, могу вас уверить.

— О да! — согласился Есаул с таким видом, будто всю свою сознательную жизнь имел дело именно и только с китайскими пограничниками. (Хотя, если подумать: бог знает, с кем он только не имел дела, этот примечательный человек, за невозможно долгие, неправдоподобно долгие свои тридцать шесть лет... может быть, и с китайцами тоже.)

— Так чем же все-таки я могу быть вам полезен? — спросил он и, легко наклонившись, тщательно погасил свой окурок о газету.

— Александр Александрович рекомендовал мне вас как человека, который знает все и обо всех.

Есаул коротко поклонился.

— Благодарю вас. Но это вы уже говорили. Что — конкретно — вас интересует?

— Александр Александрович представил вас также как человека, который требует конфиденциальности, но и сам гарантирует полную конфиденциальность.

— Безусловно. Итак?

— Меня интересует человек, которого все зовут Аятолла.

На этот раз Есаул ответил не сразу. Видимо, совсем не это ожидал он услышать,— длинное лицо его стало как будто бы еще длиннее, казалось, он был разочарован услышанным. Или встревожен. Или, возможно, обижен?..

— Надеюсь, я не задел вас этой своей просьбой? — спросил Андрей.— Если да, то...

— Нет-нет, нисколько. Но понимаете ли вы сами опасность такого рода вопросов?

— Понимаю,— сказал Андрей, успокаивающе улыбаясь.

— Боюсь, что нет,— возразил Есаул жестко.— Однако, впрочем, это совсем не мое дело. Итак, что именно вас интересует?

— Вообще-то меня интересует все, но я понимаю... вам нужны конкретные вопросы... Хорошо, начнем с самого начала. Имя?

— Его зовут Хан Автандилович Хусаинов.

— Вот странное сочетание имен! Татарин?

— Возможно. Но родился он в Ленинграде в тысяча девятьсот семидесятом. Отец был известным декоратором, рано умер, Хан рос без отца. Кончил военмех, специалист-электронщик. В бизнес вошел на компьютерах, сейчас занимается всем на свете: электроникой, машинами, станками, нефтью, держит сеть ресторанов...

— Игорный бизнес?

— Нет.

— Наркотики?

— Нет. Ничего противозаконного. Никогда. Принцип.

— Женщины? Мужчины?

— Нет. Жена, маленький сын, души в нем не чает. Примерный семьянин и считает это нормой.

— Слабости?

— Смотря что считать слабостями,— возразил Есаул.

— Верно. Как насчет семи смертных грехов?

Есаул задумался.

— Чревоугодие, пожалуй,— любит покушать, вкусно и много.

— Болезни?

— Здоров.

— Фобии?

Есаул вдруг засмеялся.

— Есть такое. Боится пауков, жуков, тараканов — до смерти боится! Как ребенок.

— Ясно. Арахнофобия. Дело житейское. Пьет?

— Только грузинское, полусухое. Твиши, ахашени, хванчкару, киндзмараули...

— Как товарищ Сталин.

— Он мало похож на товарища Сталина.

— Однако же основной принцип его благополучно исповедует: «Нет человека — нет проблемы».

Есаул покачал головой.

— Не доказано,— произнес он.— Ни одного случая не известно, чтобы он физически убирал соперников своих... конкурентов... да и вообще — кого-либо. У него совсем иная методика.

— Вот как? И какая же?

— Я бы сказал: щадящая. Он вызывает человека к себе и беседует с ним. Как, о чем — никто еще не рассказывал. Но после беседы человека этого уже не узнать. Другой человек.

— Вполне миролюбивый?

— Вообще — другой. В частности, вполне миролюбивый.

— И все время улыбается. Как та девочка.

— Какая девочка?

— Послушная. Которая на стройке всегда носила каску. А непослушный мальчик — не носил. И на них упали строительные леса. Мальчика — всмятку, а она — идет себе и только улыбается...

— Да. Помню. «С тех пор так и ходит в каске и все время улыбается...» Ну что ж. Похоже. И даже очень.

— Страшные вещи вы мне рассказываете, Корней Аверьянович.

— Сами же напросились, Андрей Юрьевич.

— Ну а если, будучи приглашен, человек вдруг уклонится от такой чести?

— Не знаю. Таких случаев пока не наблюдалось. Впрочем, гарантировать не могу. Просто не знаю. Нет такой информации.

— Хорошо,— сказал Андрей.— То есть ничего хорошего, но все очень интересно и полезно. А как у него насчет хобби?

— Ну, главное его хобби — это работа. Но есть и какие-то дополнительные увлечения. Например, он собирает старое оружие — мечи, доспехи, пистолеты...

— У меня есть два старинных пистолета,— сказал Андрей.— От предков достались. Очень старые, пушкинских времен, а может быть, и еще старее. Один даже со штыком.

— Со штыком? Зачем?

— Ну как же: выпалил, промахнулся — коли бусурмана штыком.

— Понятно... Да, это то самое. Вы собираетесь их ему продать?

— Возможно.

— Хм.

— Ну, может быть, не продать,— сказал Андрей легко.— Может быть, подарить.

— Богатая идея,— заметил Есаул, раскуривая новую сигарету.

— А вы не смейтесь. Вы, небось, бог знает что обо мне подумали, а ведь я всего-то и хотел бы: встретится с ним, поговорить, подружиться, попросить кое о чем.

— Это как раз несложно,— возразил Есаул.— Дондуреева, шесть. Там его офис. Там он бывает каждый божий день, включая субботу и воскресенье, с десяти до шести. Ради бога: приходите, записывайтесь на прием...

— Так просто?

— Проще простого.

— В любой день?

— В любой день. Если он, конечно, вообще в городе.

— Это замечательно,— сказал Андрей.— А где он живет?

— Дома он не принимает. Никогда и никого.

— Ах, вот как... А все-таки?

— Обратитесь в справочное,— холодно сказал Есаул.

Некоторое время они молчали. Есаул курил, время от времени поглядывая на Андрея со спокойным ожиданием. У него сейчас был вид человека, который долго колебался, принял наконец определенное решение и теперь был готов сидеть здесь и ждать хоть до ночи. Впрочем, это были, по-прежнему и несомненно, все те же игры раздраженного воображения.

Андрей вытянул из нагрудного кармана длинный узкий конверт и с полупоклоном предложил его Есаулу. И вот тут произошла заминка. Долгую секунду, а может быть, и целых две, Есаул смотрел на конверт, оставаясь в неподвижности, и Андрей, разумеется, сразу же вспомнил, что было ему сказано по этому самому поводу: «...но если не возьмет, тогда — молись. Тогда тебе лучше сразу уезжать отсюда и куда-нибудь подальше, за бугор, в Тасманию...» Есаул протянул наконец руку и принял конверт (не заглядывая внутрь, сунул его в карман пальто, словно сдачу с десятки). А Андрей тем временем вспомнил и начало фразы: «Если он возьмет гонорар, это вообще-то еще ничего не значит, но если не возьмет...»

— Благодарю вас,— сказал Есаул вежливо.— Надеюсь, вы удовлетворены?

— Вполне.

— Может быть, у вас есть еще вопросы?

— Пожалуй, что и нет.

— Тогда послушайте бесплатный совет: оставьте эту затею.

— Какую затею?

— Не знаю. Вам виднее. В любом случае — оставьте. Ничего не получится. Не вы первый, не вы и последний.

— А почему вы думаете, что ничего не получится?

— Ну, например, потому,— сказал Есаул,— что я, разумеется, сообщу ему об этой нашей беседе.

— Ха! — сказал Андрей, развеселившись.— Ловко! А как же — конфиденциальность? Была ведь обещана полная конфиденциальность.

— Я предупреждал вас, что вы задаете опасные вопросы.

— Не бывает опасных вопросов, бывают опасные ответы.

— Верно. Но в данном конкретном случае это одно и то же.

— Слава богу, что вы ничего обо мне не знаете,— сказал Андрей.— Вы опасный человек, Корней Аверьяныч. Вы — опасней моих вопросов и уж заведомо опасней своих собственных ответов.

— Почему вы решили, что я ничего о вас не знаю? Я знаю о вас все, что необходимо, и вдобавок еще много совсем ненужного.

— Да? Например?

— Я знаю, сколько вам на самом деле лет. Сколько раз вы были женаты, сколько у вас детей, сколько внуков. Я знаю, как вы искали Шамбалу. Гора Кайлас. Долина Смерти. Обитель Голодного Черта... Все знаю. Как раскапывали Кала-и-Муг и чем у вас там все кончилось. Как ныряли за «Черным Принцем»... Долго перечислять. Вы человек бесстрашный, но при этом очень расчетливый, отсутствие страха сочетается у вас со звериной, прошу прощения, точностью поступков: вы инстинктивно выбираете каждый раз самый правильный маршрут, самый ловкий финт, чтобы миновать опасность. Отлично поете и недурно бренчите на гитаре... И еще многое. Продолжать, нет?

Андрей выслушал все это, сохраняя вид, самый что ни на есть доброжелательный и в то же время ироничный. Вместо же ответа он процитировал:

— «Женился Иван Дурак на Василисе Премудрой, и стала она Василиса Дурак...»

— Да-да, об этом я тоже слышал: большой знаток анекдотов.

— Oh, yes! Здесь я на коне.

Есаул пожал плечами.

— Тогда расскажите самый последний,— предложил он.

— Последний? — переспросил Андрей, улыбаясь.

Есаул не ответил. Молча смотрел прозрачными глазами, которые у него вдруг сделались неподвижные, как у фотографии.

— Пожалуйста,— сказал Андрей.— Собирают, это, грибы Ленин с Дзержинским. И вдруг за деревьями появляется еще какой-то грибник. Ленин хватает Дзержинского за шинель и кричит: «Феликс Эдмундович! Батенька! Что же вы смот'гите. Ст'геляйте же ско'гее!» Дзержинский — ба-бах! Ленин подбегает к трупу, переворачивает его ногой и говорит с удовлетворением: «Наве'гное, меньшевик!»

Есаул улыбнулся — исключительно из вежливости.

— Какой же это последний? У этого анекдота седая борода росла, когда я еще под стол пешком путешествовал.

— Наверняка. Я его рассказал исключительно по наитию.

— То есть?

— Словечко ваше — «последний» — навеяло, знаете ли.

Есаул снова улыбнулся и снова без всякой охоты.

— Да. Вы не робкого десятка, Андрей Юрьевич.

— Безусловно. Истинно так, Корней Аверьянович: совсем не из робкого. Так и передайте.

На этой оптимистической ноте стрелка благополучно завершилась. Без никаких жертв и разрушений. И можно было теперь со спокойной совестью отправляться к Тенгизу. Он уже опаздывал, но это уж как водится. Все опаздывают. Никогда не опаздывает только тот, кто ничего не делает...

Глава восьмая

ДЕКАБРЬ. ВСЕ ЕЩЕ ПЯТНИЦА. КОМАНДА В СБОРЕ

К назначенному времени никто, разумеется, без опоздания не пришел. Первыми — опоздав всего на десять минут — явились: Маришка, нагруженная кошелками со съестным, и Костя-Вельзевул с двумя бутылками «Кристалла». В квартире, однако, никого не оказалось, и, поцеловавши замочную скважину, они привычно расположились на лестничной площадке у мусоропровода и выкурили по сигаретке. Разговаривали, главным образом, о предвыборных скандалах, а также о странном поведении доллара. Электоральные предпочтения у них не совпадали. Маришка намеревалась голосовать за Интеллигента, а Костя считал Интеллигента занудой, рохлей и треплом. Он был — за Генерала. По Скалозубу соскучился, сказала ему Маришка с сердцем. «Он в две шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит»... Ну и давно пора, возражал непримиримый Костя. И в две шеренги нас всех давно пора, и успокоить не мешало бы. Растявкались, понимаешь. Моськи... Длинный, тощий, весь из углов, локтей, рычагов и шарниров, в своем вечно-зеленом пальто до пят,— он был похож не столько на Вельзевула, сколько на Дуремара. Да он и был, в определенном смысле, Дуремар. Только Дуремар любил пиявок, а Костя — вообще всех малых сих. Без какого-либо исключения. (Пиявок он тоже любил. А они — его.) Но больше всего он любил (обожал, уважал, ценил, всячески воспевал, только что не лобзал) членистоногих. Например — тарака-

нов. Он часто и с удовольствием повторял: «Каждый отдельный человек умнее таракана, это верно, но каждая человеческая толпа безмерно глупее любой стаи тараканов».

Богдан (он же Благоносец) присоединился к ним в самый разгар электорально-энтомологической дискуссии на тему «Возможны ли выборы у тараканов, а если да, то как это должно выглядеть?». Он кивнул Вельзевулу, приложился губами к теплой Маришкиной ручке, пахнущей сладко и уютно, как домашняя пастила, и, прервав поток Костиных разглагольствований, на всякий случай представил своего спутника: «Вова. Опекуемый»,— поскольку абсолютно не помнил, с кем из дедов он своего опекуемого уже знакомил, а с кем еще нет.

Как и следовало ожидать (Богдан уже успел к этому привыкнуть), опекуемый Вова произвел на присутствующих свое обычное впечатление. Разыгралась сцена. Опекуемый Вова неуклюже раскланивается, и огромная серо-белого меха шапка тут же съезжает ему на глаза. Он поправляет шапку судорожным движением толстой как полено руки — разумеется, именно той самой руки, в которой держит он полиэтиленовый пакет с бутылками,— и бутылки крякают в пакете, да так опасно, что Костя, рассыпая искры из сигареты, дергается было их спасать, но, слава богу, все обходится благополучно. Все напряженно улыбаются, Маришка произносит нежнейшим из своих голосков: «Да мы ведь знакомы уже... Вовочка, хотите жвачку?», Костя же Вельзевул (для него все это в новинку) молчит, и ясно, что внешность (равно как и манеры) опекуемого Вовы продрали его до самых печенок.

(...Даун. Абсолютный беспримесный даун. Гигантские нелепые ножищи, отвислая жопа, как у старого бегемота, унылые, всегда безнадежно опущенные плечи, ручищи-лапищи... И жирное белое лицо с раскосыми глазами — вечно полуоткрытый рот и стеариновые щеки, налитые молодым салом. И постоянный около него тяжелый дух, словно от лошади. И бабий невнятный голосок. И мучительное неумение связывать слова... И фантастическая неуклюжесть движений... Образцово-показательная уродливая жертва беспощадно-равнодушной трисомии по двадцать первой хромосоме... И сумрачный, бесценный, жестокий дар — глубо-

ко-глубоко под этой тошнотворной оболочкой, на самом дне странной его души.)

— Можешь благополучно успокоится,— сказал Богдан, глядя на Вельзевула с усмешкой.— Вова абсолютно безопасен. Он даже полезен иногда. Вова, как у дяди Кости со здоровьем?

— Камни! — тут же откликнулся дядя Костя. Он не любил терять инициативы и никогда не терял.— Камни, а под камнями — рачок.

И поскольку Вова ничуть на это не отреагировал и смотрелся как человек, смутно представляющий себе, о чем здесь идет речь и вообще какое нынче число, Костя тут же принялся пересказывать свой разговор с последней любимой девушкой. (Диалог типа: «Кто такой Брэдбери?» — «Психиатр».— «???!!!» — «Ну знаю, знаю, писатель...» — «И что же он написал?» — «Записки сумасшедшего»...)

— Нет,— сказал Вова неожиданно. Он, оказывается, не слушал про Брэдбери и смотрел он только на Богдана.— Ничего этого нет. Но будет грипп. Завтра.

Костя замолчал на полуслове.

— Вот видишь,— сказал Богдан, с удовольствием наблюдая за быстро изменяющимся спектром Вельзевуловой мимики.— А ты боялся.

— Костя! — сказала Маришка, немедленно встревожившись.— Значит, ты сейчас бациллоноситель? Кошмар! — Она порылась в обширной своей сумке и, как фокусник кролика, извлекла оттуда длинную марлевую повязку.— Надень.

— Еще чего! — возмутился Костя.

— Надень немедленно!

Тут лязгнула дверь лифта, и появился наконец хозяин — в роскошной черной хромовой куртке, мрачный как туча и неприветливый, как таможенный инспектор. Он глянул полуприкрытыми своими тяжелыми глазами на собравшуюся компанию, посмотрел на часы и проговорил неразборчиво: «Ну всё, всё. Пошли в дом...» И все послушно побрели к нему в дом.

В маленькой прихожей возникла обычная толкотня и суета, все мужики двинулись галантно принимать у Маришки дубленку, а Вова, опекуемый, снял с себя титаническую шапку сам и сто-

ял с нею посреди суеты, всем мешая и не умея ничего полезного предпринять. И не успели они все толком разоблачить себя, как зазвенел дверной звонок и запоздалый гость пошел косяком.

Андрей-Страхоборец объявился, безукоризненно точный в движениях души и тела, и вообще безукоризненный, как человек коммунистического будущего (или — аристократического прошлого, если вам будет угодно). Он расцеловался с Маришкой, прочим сделал ручкой и тут же рассказал свежайший анекдот про хакера и его ДНК. Тенгиз, едва дождавшись окончания анекдота, буркнул ему: «Встречался?» — и Страхоборец, глядя в упор ясными глазами, откликнулся почему-то на мове: «А як же ж!» — у них, как всегда, были свои дела, впрочем, сегодня можно было без труда догадаться, какие именно.

А тут и виновник торжества прибыл (несчастный, весь словно в лихорадке, непрерывно улыбающийся, как раз и навсегда заведенная игрушка) — Вадим Христофоров-Кавказский, он же — Резалтинг-Форс, мученик своего таланта, а с ним и «временно его сопровождающий» Матвей, озабоченный, безобразно плохо выбритый и даже, кажется, сутулый более обыкновенного. Увидевши эту парочку, Богдан внутренне поджался, но, видимо, только он один. Остальные принялись, наоборот, шуметь, галдеть и суетиться еще больше, хотя это у них, безусловно, тоже была лишь реакция на ту же парочку, только другая, более истерическая.

В гостиной, всю середину которой занимал старинный стол, как всегда покрытый тяжелой скатертью, было по обыкновению сумрачно, почти темно (только уличный оранжевый фонарь за полузадернутыми шторами на обоих окнах), а когда кто-то включил самодельную люстру, похожую на космическую станцию отдаленного будущего, на стенах возникли, загорелись, затлели картины: черно-красный шемякинский герцог Альба уставился на гостей с ледяною неприязнью, и повеяло привычной тоскливой скукой с желто-синей улицы из «Прогулок двадцать первого века» Игоря Тюльпанова, и маленький Иуда сгорбился пред ликом гигантского Христа на большом полотне, где прочие одиннадцать апостолов спали расслабленно и безмятежно, синевато-зеленые, блеклые, похожие на протухающие куриные тушки...

Разбирался ли Тенгиз в живописи, это был вопрос спорный, но подбор картин у него имел место, безусловно, своеобразный — на свежего человека эта маленькая галерея действовала оглушающе, а человек привычный, едва только бросив рассеянный взор, сразу же понимал вдруг, что опять кое-чего не заметил здесь раньше и опять чего-то недопонял...

К Вельзевулу все это рефлексирование отнюдь не относилось: похожий в своей марлевой повязке на хирурга перед решающей операцией, он тут же кинулся за Маришкой на кухню, а вот опекуемый Вова — тот да, тот — остолбенел. Юноша не приучен был к такому искусству. Впрочем, вряд ли он приучен был хоть к какому-нибудь искусству. У него папа был потомственный алкоголик, а мама — владелица трех овощных магазинов, крутая бабища из породы несгибаемых русских кариатид, сиречь атлантов женского полу...

...Стоящий по всей квартире галдеж вдруг усилился: прибыл Юрочка-Полиграф, румяный, рослый, толстощекий, с веселыми усиками щеточкой. «Полундра! — раздавалось ему навстречу.— Ахтунг-ахтунг, ас Костомаров в воздухе!.. Водки ему, срочно! Пока не поздно, водки, умоляю...» И уже несли из кухни стакан водки, и несчастный Костомаров уже послушно принимал его и бестрепетно поглощал, проливая алмазную влагу на кашне и на обшлага полуснятого с плеч пальто.

— Выглохтал? Слава богу! Теперь хоть можно разговаривать по-человечески...

— Слушай, Юрка, только честно: а сэнсей как — тоже врет? Ну хоть иногда?

— Да все врут, брат, можешь быть уверен...

— Так уж и все?

— Все как один. Только это не имеет никакого значения, потому что никто никого все равно не слушает.

— Хорошо сказано, однако!

— Это, к сожалению, не я, брат. Это называется «закон Либермана»...

— Которого Либермана?

— А хрен его знает, брат. Одного из.

— А разок?!

— Буду рад.
— А пару?
— Умру от счастья.
— А три?
— Можно четыре.
— А пять?
— Как дома побывать!
— А шесть?
— По уставу не положено...

И прочие прибаутки-фенечки ДМБ-восемьдесят-пять.

...Расселись, с грохотом двигая тяжелые дедовские стулья, распределились в привычном порядке вокруг стола (полуживого от стеснительности Вову загнали в дальний угол под напольные часы — чтобы никому не мешал,— и там он навсегда закоченел с полуоткрытым ртом и вытаращенными глазами); уже разливалось спиртное, и ножи брякали об тарелки, и тянулись через стол за закусками руки, удлиненные серебряными вилками из семейного старинного сервиза; все оживились (или сделали вид, что оживились), все галдели кто во что горазд, все казались голодными (а возможно, и были голодными на самом деле), и все было совершенно как обычно, как встарь, когда собирались, просто чтобы беспредметно погалдеть и вкусно поесть.

...Боже мой, подумал Богдан. Как же я все это любил раньше! Совсем недавно ведь, и пятилетки даже еще не прошло. Этот веселый общий гам, дым сигарет, звякание приборов у накрываемого стола, и запах гренок с луком и сыром, которые уже запекает в духовке Маришка, и предсмертное пшиканье откупориваемого пива, и толкотню по всей гостиной («Извини, брат».— «Ничего страшного, брат, топчи меня и дальше такого-сякого...») — весь этот милый гармидер, всю эту раблезианскую, почти даже олимпийскую атмосферу предвкушения божественной Жрачки Духа и Тела... Ничего теперь не осталось, кроме раздражения, и желания уйти, похожего на тягучую ишиасную боль, и стыдной мысли: ладно, пусть, еще два, ну — три часа, и все это кончится, и можно будет отправиться домой...

Галдели как всегда, совершенно как обычно, будто ничего особенного не случилось,— ни о чем и обо всем одновременно.

О фигурном катании. О последнем сериале (который никто не смотрел, но почему-то все при этом были в курсе). О ценах на нефть. О литературе, разумеется. И о философии. Мы спокон веков обожаем погалдеть насчет литературы и философии.

— ...Изъятие себя извне!

— Это еще что такое?

— Не помню. Вычитал где-то. «Эдипальность как изъятие себя извне».

— Юнг какой-нибудь?

— Очень даже может быть. Там было что-то про ребенка мужского пола, который хочет скомпенсировать каким-то хитрым образом нехватку фаллоса у своей родной матушки.

— Жалко Винчестера нет — он бы тебе настрогал цитат.

— Ничего, брат. Во-первых, он не столько их строгает, сколько идентифицирует. А во-вторых, мы и без Винчестера обойдемся: «Постмодернизм метафоризировал всеобщую метонимию авангарда-тоталитаризма».

— Круто. Красиво сказано. Сам выдумал?

— Нет. Это — оттуда же.

— Бросьте, у каждой науки — свой язык.

— Однако же, есть наука, а есть — «созерцание стены». Брат.

— Или еще лучше: есть физика, а все остальное — коллекционирование марок.

— Попрошу не касаться коллекционирования марок! Филателия — это святое.

— ...Я давеча полистал Ясперса — «Философскую автобиографию» — и ничего, ну ничегошеньки оттуда полезного не почерпнул. Кроме того, что Хайдеггер был, оказывается, нацистом. Откуда немедленно следует: в каждом море Ума обязательно найдутся острова Глупости. Но это я, положим, знал и раньше...

— Не «Глупости», а «Гнусности».

— Брось. Какая в данном случае разница?

— Не говори, брат! Еще какая. Как между карьерным дипломатом и карьерным самосвалом.

— Все равно: есть наука, а есть — «созерцание стены».

— ...Это Гильберт, кажется, сказал про какого-то бедолагу: «У него-де не хватило воображения для математики, и он стал

поэтом». Погорячился, великий человек. Тут дело ведь не в количестве воображения, а в качестве. Это все равно что сказать про Беккенбауэра: у него не хватило силенок, чтобы стать тяжелоатлетом, и он пошел в футболисты...

— А кто такой Беккенбауэр?

— О боже! С кем мне здесь приходится общаться!

— Я давеча в одном доме уговаривал тараканов. Девчушка. Лет шестнадцати, очаровательная, как умывающийся котенок. Я стал ее клеить. Вижу — не врубается. Я спрашиваю: «Вы что, не знаете, кто такой Брэдбери?» Знаю, говорит: психиатр...

Галдели, впрочем, не все. Тенгиз по-прежнему оставался мрачен и молчалив. Глотал охлажденную водку, запивал минералкой, совсем не закусывал, только смотрел в пустую тарелку, а когда поднимал глаза, выпуклые, мрачные, с тяжелыми красными веками, мало кто выдерживал этот взгляд — неуютно становилось и зябко и хотелось сделать вид, что никакого этого взгляда не было, просто маленькое недоразумение возникло, а сейчас вот все разрешится и разъяснится наилучшим образом. И красив он был — страшен и великолепен одновременно, словно врубелевский демон. «Красавéц и здоровляга, и уж наверное не еврей...» Дрянь дело, думал Богдан, поглядывая на него украдкой. Видимо, совсем ничего не получается. Видимо, кусок этот нам совсем уж не по зубам. А может быть, у него просто что-нибудь опять не ладится с княгиней Ольгой?.. Впрочем, княгиня просто терпеть не может нашу Маришку, вот почему ее здесь нет. И не надо. Господь с ней, без нее даже лучше...

А Маришка была как всегда очаровательна (словно умывающийся котенок). Васильковые глаза. Грудной, с хрипотцой голос. И чудный смех, которым она награждала, словно орденской лентой. Своих дорогих паршивцев. Своих любимых мальчиков. Она точно знала, что мальчики не подведут. Никогда не подводили — и теперь не подведут. А если кто-то дрогнет, она тут же окажется рядом и подставит плечо. Или улыбнется ему. Или просто скажет: я здесь... Откуда в ней эта непостижимая вера в нас? Ведь мы же на самом деле абсолютно бессильны перед мерзостью, перед любой злобной силой. Я не говорю уж про гангстеров и про сексотов,— перед обыкновенным хулиганьем бессиль-

ны! Вот ты, Благоносец хренов,— можешь ты отбиться от пары гопников? Дать в рыло? Заехать гаду по яйцам? Зла ведь никогда у меня на это не хватает. А она все равно в нас верит. И эта вера, она так дорого стоит, что ее почти уже невозможно приобрести. Как любовь. Как здоровье. Как талант. Неужели мы и в самом деле лучше, чем выглядим?.. «В конце концов, все зависит только от нас самих!..» Увы. В том-то и дело. Я бы предпочел, чтобы все зависело от кого-нибудь понадежнее...

...А герой дня Вадим был изжелта-бледен и дурен, глаза красные и заплыли, рот — кривой, словно его непрестанно тошнит и он вот-вот вырвет прямо на скатерть. («Так вот ты какой — человек третьего тысячелетия!..») Хлопотливый Матвей очень нежно его опекал, настоятельно пододвигал закуску, бегал в кухню за минералкой, подбирал за ним падающие на пол вилки-ножики,— видимо, фундаментально и основательно напугал его Вадим своими бабскими фокусами, и Великий Математик уже и не знал теперь, чего еще ему следует опасаться. Зрелище это было, скорее, тошнотворное, но к своему удивлению Богдан испытал по этому поводу что-то вроде укола ревности: никогда не видел он Велмата таким заботливым и таким внимательным, он даже представить его не мог таким — этого ядовито-ехидного умника, всегда совершенно беспощадного и к себе, и к другим, и ко всему нашему нелепо-идиотскому миру. Да-а, а Вадим вот оказался — сущая размазня. Сопля зеленая. Тьфу... Или он все-таки актерствует? Быть того не может. А впрочем... Ничего мы друг о друге не знаем, да и знать не умеем, и так — всю жизнь. Открытие за открытием, и все открытия — почему-то поганые. Открываются расписные ворота души, и несет оттуда вдруг такой тухлятиной, что хоть святых выноси...

— М-м-м! Маришка! (Хрум-хрум.) Какие гренки! Божественно!..

— А это что такое? Бифштексы?

— Не тормози! Бифштексни!

— Это не бифштексы, брат. Это ГОВНАТРУБ.

— Чево-о-о?!

— Говядина натуральная рубленая, брат. Извини, брат.

— Слушайте! Прекратите жрать. Боба еще нет!

— Боба ждать — знаешь... Боб человек подневольный: когда отпустят, тогда и придет. И ни минутой раньше...

— Ты только закусывай, пожалуйста. Я тебя умоляю, Вадим, не надирайся. Подожди...

Дзынь-дзынь-дзынь — ножом по краю рюмки. Тенгиз. Решил, что пора, и возбудился к действию.

— Господа! Леди и джентльмены! Внимание! Вы что сюда — жрать пришли? Прекратите обжираловку, блин! Сначала — дело!

— Вот и именно! (Это Вадим. Уже на взводе и уже даже — с перебором.) Объявляется дело Вадима Христофорова, погоняло — Резалтинг-Форс! Пр-рашу! Вот стою я п'р'д вами, словно голенький...

— Да помолчи ты, ради бога! Отдай стакан!.. Не умеешь ведь пить, жопа с ручкой, совершенно...

— Д-да! Но зато я умею напиваться!

— Тихо! Заткнитесь все! Начинаем. Обстоятельства дела всем известны? Я полагаю, всем...

— Вове не известны.

— Вова перетопчется. Я к дедам обращаюсь: все в курсе?

Деды были в курсе. Все. Некоторые слышали эту историю уже неоднократно — и от Вадима, и друг от друга. Всем и все было понятно. И никто не знал, что надо делать.

— У меня вопрос к Димке,— сказал Богдан.— Они прорезáлись последнее время? Или нет?

— Откуда мне знать,— проговорил Вадим, пьяно растягивая слова.— Они у меня телефон пр-рслушивают, суки...

— Когда ты их видел в последний раз? — терпеливо настаивал Богдан.

— «Не в этой жизни...» — Вадим истерически хихикнул.

— Отстань от него,— сказал Богдану озабоченный Матвей.— Что ты пристал к человеку? Не знает он ничего больше. И не соображает.

— Вижу-вижу,— сказал Богдан и замолчал.

Ничего у нас не получится, подумал он. Мы либо безразличны, либо бессильны. Бессильные мира сего... Но вот что поразительно: ведь я, кажется, завидую ему. За ним охотятся, от него чего-то еще ждут, он нужен кому-то, или мешает кому-то, или

может быть кому-то полезен. Трепло, слабак, размазня, но представляет ведь собою некую ценность, причем, похоже, немалую. А я вот — пуст. И никому не нужен. Как высосанная банка из-под пива.

Вадим между тем стремительно надирался. Матвей хватал его за руки, отбирал стакан, отставлял подальше бутылки — ничего не помогало. Казалось, Вадим буквально цель перед собою поставил: надраться вглухую,— как можно основательнее и как можно быстрее. А скорее всего, так оно и было на самом деле. Может быть, он устал быть трезвым. «...Все, кто вам дорог, достойны самого лучшего...— провозглашал он, никого не слушая и ничего не слыша.— Я просто мою голову и иду... Что вы вообще можете понять? Слышали про такого: Эраст Бонифатьевич зовут... Педераст Бонифатьевич... Если бы у меня была под рукой двустволка, я бы набил этой суке морду...» — и он заливался смехом, кашлял смехом, задыхался смехом, беспорядочно раскачиваясь всем телом, словно воздушный шар на ветру.

— Отдай стакан, говорю!..

— Да отстань ты от него, в самом деле!

— Заткнись. Ты что — не видишь, что он вытворяет?.. Сидеть!

— Св-в'боду Вадиму Христофорову!..

Тут напольные часы (мрачная черная башня, отсвечивающая лаком и медными виньетками) подали голос — всхрапнули и ударили, глухо, с благородно-сдержанной мощью, так что все тотчас же замолчали, словно вдруг заговорил среди них старший,— да так оно и было, по сути дела: часы эти были старинные, немецкие, привезенные в свое время из Ваймара, в счет репараций. Они размеренно отработали свое «хр-р-баммм!» восемь раз подряд, вздохнули напоследок и стихли. И Юра-Полиграф традиционно произнес с демонстративным благоговением: «Ей-богу, клянусь, встать хочется!..» И все переглянулись, и заулыбались, и почему-то всем сделалось хорошо.

...Всем, кроме Вадима, конечно, которому хорошо стать не могло уже ни при каких обстоятельствах. Ему теперь могло стать только плохо, и ему таки стало плохо, и Матвей с Маришкой поспешно увели его в ванную, а остальные вновь загомонили —

главным образом, для того, чтобы заглушить мучительные звуки, доносящиеся оттуда.

— ...Вэл'вл!

— Что, горе мое?

— Перестань врать!

— Никогда! Настоящих жуков больше не осталось. Я еще застал жуков-носорогов. Oryctes nasicornis. Под Лугой их было довольно много. Но вот жука-оленя живого не видел ни разу. Сейчас все они исчезли навсегда. Бронзовка обыкновенная — Cetonia aurata — заделалась редкостью. Жужелицы крупной на огороде не встретишь...

— А в Японии, между прочим, жуков до черта. Их там разводят.

— Сравнил! Япония войну проиграла. Тоталитарным государствам полезно проигрывать войны — они от этого сразу идут на поправку.

— Мы тоже проиграли войну.

— Верно. Но во-первых, гораздо позже. А во-вторых — явно идем на поправку.

— Что-то не видно.

— Видно, видно. Но жуков нам уже теперь не вернуть. Разве что в Японии станем закупать. Но нет худа без добра: у нас появились удивительные тараканы!..

— Полундра! Не надо про тараканов!

— Слушайте, жлобьё, мы будем языком болтать или мы будем, блин, делом заниматься?..

— ...Открывает жена. Руки опущены, подбородок открыт...

— Недурно. Но мне больше понравилось про новоросса. Выходит из Эрмитажа и говорит: «Ну, что ж. Не бог весть что, конечно, но ничего, ничего — чистенько...»

— «Машка, женушка моя дорогая! Родила? Сколько? Трое? Мои есть?..»

— ...А ты представь себе «Ревизора» с точки зрения чиновника. История про то, как мелкий проходимец и негодяй обманул приличных и порядочных людей...

— ...Слушай, вот интересно, что было бы, если бы у Николая хватило сообразительности дать Александру Сергеевичу сразу камергера вместо камер-юнкера?

— Между прочим, я только к старости узнал, что Ольга, оказывается, была сестра Татьяны...

— Господи! А кто же она тогда была, по-твоему?

— Ну, не знаю, брат. Приятельница. Подружка. «Скажите, девушки, подружке вашей...»

Потом Маришка снова появилась, растерянная и встрепанная, и сразу же, не садясь, налила себе минералки и жадно выпила.

— Ну и ну,— сказала она и опустилась на ближайший стул.

Андрей произнес с недурным французским прононсом:

— Monsieur Christoforoff va s'animaliser.

Кто понял — промолчал, кто не понял — тем более. А Вельзевул осведомился деловито:

— Уложили?

— Там с ним Матвей...— ответила Маришка невпопад.— Ребята, он так долго не протянет, надо что-то делать, честное слово. Богдан, ты не хочешь им заняться?

— Нет,— сказал Богдан так резко, что все сразу же замолчали и теперь смотрели на него. Даже Тенгиз. Даже опекуемый Вова.

— Извини меня, конечно, но почему? — спросила Маришка беспомощно.— Это же сейчас — совершенно очевидно — твой клиент.

— Я предпочел бы не давать объяснений,— сказал Богдан таким тоном, чтобы разговор прекратился. И разговор прекратился.

— Что ты выяснил? — спросил Тенгиз, переведя тяжелый взор свой на Страхоборца.— Ты узнал что-нибудь?

— Да. Я узнал, что Аятолла замечательная личность и что у него есть два слабых места.

— Целых два? — сказал Юра-Полиграф.— Да он у нас просто слабак!

— Первое: он любит жену. Второе — он любит сына.

— О боже! — сказала Маришка нервно.

— Сын маленький? — осведомился Юра.

— Да. Десять лет.

Некоторое время все молчали, уткнувшись в тарелки, и только Маришка оглядывала всех по очереди, постепенно закипая.

— Это не для нас,— сказала она наконец решительно.

— Но он-то этого не знает,— возразил Страхоборец.

— И думать на эту тему не хочу,— сказала Мариша.— И вам не разрешу. Забудьте. Прямо сейчас.

— «Гордость составляет отличительную черту ее физиономии»,— произнес Юра-Полиграф, безусловно, кого-то цитируя.

— Хорошо, хорошо,— сказала ему Мариша нетерпеливо.— Но я на эту тему даже разговаривать не желаю.

— Ну, вот что, золотко мое,— сказал Тенгиз, глядя ей в лицо.— Либо мы тут будем обливаться соплями, блин...

— Да, мы будем обливаться соплями! И всё! Нет темы для разговора!

— Ты скажи это Димке...— мрачно предложил Тенгиз, отводя, впрочем, глаза.

— Скажу, не беспокойся. И он со мной согласится. Со мной, а не с тобой.

Ну, это, положим, дело темное и отнюдь не очевидное, подумал Богдан, но в дискуссию вступать ни с кем не стал, а только спросил Тенгиза:

— Подобраться к нему вплотную можно?

— Можно,— сказал Тенгиз.

— Так за чем же дело стало?

Тенгиз не отвечал, как бы находясь в затруднении. Все смотрели на него и ждали.

— Слишком уж легко к нему подобраться,— сказал наконец Тенгиз медленно.— Мне это не понравилось.

— То есть?

— Я прошел к нему в офис свободно, блин, как в собственный сортир. Гада не оказалось на месте, но все равно — легкость эта... эта вседозволенность... там же охраны должно быть, как в Кремле. Тут что-то явно не так, блин. Так не бывает. Мне показалось, что это западня. Капкан для дураков.

Появился Матвей, запыхавшийся, но веселый.

— Слава тебе господи,— сказал он.— Задрыхнул наконец... Ну, что вы тут без меня решили?

— У него есть еще одна слабость,— сказал Страхоборец, уклоняясь от ответа на этот вопрос.— Он страдает арахнофобией.

— Это еще что за зверь такой? — осведомился Юра.

— Он боится пауков, жуков, мокриц и все такое прочее.

— О! Это интересно! — оживился Вельзевул.— И сильно боится?

— Было сказано: до смерти. Как ребенок.

— Отдайте его мне! — сказал Вельзевул радостно.— Где он живет? Адрес?

— Он живет в Царском Доме. Тебя туда не пустят.

— Ничего! Тенгиз проведет.

— Хрена,— сказал Тенгиз.— Царский Дом, знаешь,— там все на автоматике...

— Ну, нет, и не надо,— легко согласился Костя.— Чего мне там у него в квартире делать, в конце-то концов? И так прекрасно обойдусь.

Все смотрели на него с ожиданием, а он сиял и радовался, даже на стуле подскакивал от удовольствия,— он уже понял решение, Дуремар заполошный, да и не так уж трудно было сообразить, что именно он задумал, только выглядел этот его замысел дураковато и несерьезно на фоне сложившихся обстоятельств — инфантильно и легкомысленно, как и все Вельзевуловы замыслы. Потом он вдруг перестал сиять, сморщился, отчаянно чихнул в торопливо сложенные ладони — и тотчас же, под грозным взглядом Маришки, полез в карман за марлевой повязкой.

— Накаркал ты мне, Вова,— гнусаво сказал он, укоризненно моргая слезящимися глазами.— Опекуемый хренов, куда только твой опекун смотрит...

Богдан сказал:

— Опекун все-таки хотел бы окончательно понять, о чем здесь у нас идет речь. Мы же знаем Димку сто лет. Он же выдумщик, артист, почему я должен ему верить?

— Ну, знаешь! — сказал Матвей, ошеломленный и возмущенный одновременно.

— Нет уж, позволь! В прошлом году он устроил нам спектакль по поводу падения дойче-марки. В позапрошлом году мы все как идиоты...

— Перестань, Благоносец. Не срамись,— Матвей, весь скривившись, налил себе водки.— Не знаешь — не берись и судить. Видел бы ты его этой ночью.

— А что такого особенно произошло этой ночью?

— Не хочу рассказывать. Он подыхает от страха, понимаешь?

— Нет. Не понимаю. Где гарантия, что он не разыгрывает перед нами очередной свой водевиль? Что я — Димку не знаю?

Матвей на это ничего не сказал, а только скривился еще больше и выпил свою водку, не закусывая и даже как бы не заметив.

— Я ему верю,— сказала Маришка.

— Я тоже,— сказал Тенгиз, как бы нехотя.

— Ты, Благоносец, по-моему, просто ищешь предлога уклониться,— сказал Андрей-Страхоборец, вежливо улыбаясь.— Подчеркиваю: по-моему. Извини. Без обид, ладно?

— Ладно,— сказал Богдан.

— Ты же видишь, на что он похож...

— Вижу. На переполненный нужник.

— Ну, допустим. Но разве это не твоя работа?

— Допустим. Наверное, я должен его осушить. Но — не буду.

— Это — твои проблемы,— сказал Страхоборец, вежливо улыбаясь.— У нас — свободная страна...

— Он одинок, как я не знаю кто,— сказал Матвей с проникновенностью, совсем ему не свойственной.— Он знаешь мне что сказал? Представь, говорит, километровый столб посреди степи. На одной табличке у него: одна тысяча тридцать пять кэмэ, а на другой: три тысячи сто сорок четыре. И я стою около этого столба. Один.

...Что вы понимаете в настоящем одиночестве, подумал Богдан с каким-то даже мрачным удовлетворением. Сказал бы я вам, что такое настоящее одиночество. Это когда никого не хочется видеть. Никогда. Но сказал он другое:

— И за километраж ты тоже ручаешься?

— И за километраж я ручаюсь тоже,— сказал Матвей вполне серьезно.

Богдан решил не развивать эту тему. Хотя ему очень хотелось спрашивать и дальше. А помните (хотелось ему спросить), как он всех нас почти убедил, что появилась в Питере банда «чистильщиков»? Это он их так называл: чистильщики. То ли новая секта, то ли — даже — новые люди, зигзаг эволюции. Они, видите ли, очищали город от скверны, в первую очередь от лже-

цов,— отлавливали их и драли ивовой лозой — церемониально, с приговором, в специальных тайных помещениях, надевши белые маски. А лозу по старинным рецептам выдерживали в уксусной эссенции... И ведь Юрка-Полиграф без малого поверил тогда, что еще год-другой и останется он без работы...

...А как он придумал и сообщал всем по большому секрету: в городе исчезают люди. Не первый год уже. И — в количествах. Их отправляют в будущее. По какому-то странному, неудобопонятному принципу. А дело-то все в том, оказывается, что обнаружен летальный ген человечества, который распространяется как пожар, и вот теперь пытаются спасти хоть кого-то, хоть немногих... Маришка, между прочим, поверила и сейчас же рванулась искать этих спасателей, чтобы похлопотать о своем детдоме...

Ладно. Как хотите. Я и сам не уверен, что он сейчас разыгрывает с нами спектакль. Он выдумщик, конечно, но не Тальма все-таки, Франсуа Жозеф, и даже не Смоктуновский, Иннокентий... И вообще меня от него тошнит...

В этот момент с потолка (или с люстры?) камнем упало нечто тяжелое, многоногое, живое — грянулось с костяным стуком о край сахарницы, отскочило, перекувырнулось и понеслось стремительно по скатерти, сумасшедшим зигзагом, огибая бутылки, чашки и бокалы. Это был, несомненно, таракан — огромный, Богдану показалось — с кулак величиной, никогда он таких не видел... черный, отсвечивающий красным, стремительный, он слаломным зигзагом промчался по столу и — словно ласточкой с берега — прыгнул на колени Вельзевулу и тотчас же исчез, будто его никогда здесь и не было, будто это некое омерзительное видение шарахнуло всех по глазам и тут же пропало без следа. Никто не успел испугаться по-настоящему, но все дружно и с шумом отшатнулись, а Маришка коротко взвизгнула и вместе со стулом стремительно отъехала к стене.

«Мать-твою-наперекося!..» — произнес Тенгиз, вскакивая на ноги, грянул хор возмущенных голосов, в котором особо выделялся отчаянный вопль Маришки: «Убирайся, он по тебе ползает, брысь с глаз долой, чтобы я тебя никогда не видела!..», Вельзевул делал успокаивающие жесты, рассылал обеими руками

воздушные поцелуи, и даже сквозь повязку видно было, как самодовольно он ухмыляется, а когда вопли и проклятия поутихли, он зловеще пообещал: «Этот гад будет у меня кричать "капиви"...», но все были так злы и раздражены, что никто даже не спросил, что он этим хочет, собственно, сказать. Впрочем, и так все было ясно — по одной лишь интонации.

Вельзевула заставили встать со стула, распахнуть куртку, расстегнуть рубаху, потрясти портками. Экстремисты требовали, чтобы он разделся догола. Повелитель Мух помирал со смеху: «Да нет его здесь! Да он же уже в подвале... Что он — дурак, что ли?» В разгар суматохи раздался звонок в дверь, объявился Роберт, строгий и неулыбчивый, как и всегда, его усадили в единственное полукресло, налили водки, Маришка принесла из кухни парочку еще теплых бифштексов. Богдан смотрел, как обхаживают лорда Винчестера, и старательно отгонял от себя тухлые мыслишки о «близости к телу», а равно о свечении отраженным светом. Вздор все это. Боб — высокомерен без заносчивости и строг без жестокости. Вполне достойная личность, на самом деле, да сэнсей и не стал бы держать около себя недостойного. И он почему-то вспомнил вдруг, как Тенгиз сказал Роберту в сердцах: «Ты же у нас символ супер-гипер-благопристойности. Ты, блин, даже когда пистон ставишь, только о том и думаешь, как бы сохранить при этом максимально возможную благопристойность...» Роберт тогда в ответ вполне благосклонно хмыкнул — видимо, нарисованная сценка показалась ему не столько обидной, сколько забавной. Нет-нет, он славный, наш лорд Винчестер, только слегка пересушен...

— Как там наш сэнсей? — спросил Богдан из вежливости. Кто-то же должен был это спросить.

— Сэнсей в полном порядке,— лаконично ответствовал Роберт, поедая бифштекс.

— Указания? Пожелания? — подключился уже основательно поддавший Юра-Полиграф.— Приказы?

— Вольно. Можете отдыхать.

Роберт явно не собирался распространяться на эту тему, что, впрочем, не противоречило обыкновению.

— Подлинная деликатность всегда незаметна,— прокомментировал ситуацию Андрей-Страхоборец и осведомился: — Тебе рассказать, о чем мы здесь договорились?

— Обязательно. Только — вкратце.

— Еще бы. Разумеется, вкратце. Тенгиз, расскажи человеку.

Тенгиз сказал:

— Значит, так. Я предлагаю следующий вариант. Выборы в воскресенье. В воскресенье, прямо с утра Димка переселяется сюда, ко мне. Пусть поживет пока здесь, так мне будет спокойнее. В понедельник я выхожу на Аятоллу и имею с ним беседу. Далее будем действовать по обстоятельствам. Ты, Вельзевул, должен быть к этому времени полностью готов. Успеешь? (Вельзевул кивнул.) Хорошо. Есть у меня еще и запасной вариант, но сначала, Боб, скажи, в какой степени мы можем рассчитывать на сэнсея?

— Ни в какой,— сказал Роберт, подбирая соус корочкой.

— То есть? Ты что — так с ним и не поговорил?

— Нет. Я поговорил с ним. В последний раз — час назад. Мы не можем на него рассчитывать.

— Но почему, блин? Что он тебе сказал?

— Дословно?

— Давай дословно.

— Он сказал: «Отличная штука — команда. Всегда есть возможность свалить вину на кого-нибудь другого».

— Что это, блин, значит? — спросил оторопевший Тенгиз.

— Это так называемое «Восьмое правило Фингейла». Если тебе от этого легче.

— И все?

— И все,— сказал Роберт-Винчестер и потянулся к остывшим уже гренкам на огромном фамильном блюде кузнецовского фарфора.— Слушай, Матвей,— продолжил он без всякого перехода.— Давно тебя хотел спросить. Можно назвать геделевским утверждение «Вселенную создал Бог»?..

Богдан не стал слушать дальше. Ему было неинтересно знать, является ли это утверждение геделевским, тем более что он смутно представлял себе, что это означает — «геделевское», и был совершенно уверен, что Вселенную создал не Бог. Он поднялся,

вылез из-за стола и поманил за собою опекуемого Вову. Надо было работать. Он мало что умел делать в этой жизни, но то, что он умел, он делал лучше многих. Может быть, лучше всех.

Он прошел в спальню. Вова грузно топал след в след, тяжело сопя, как ломовая лошадь. Однако в сопении этом уже слышался рабочий азарт: опекуемый предчувствовал работу, а работать он тоже любил. Хотя и мало что пока умел.

Вадим лежал на боку, свесив руку до полу, зеленоватое лицо его было смято подушкой, и весь он выглядел как раздавленное животное. Сейчас это был просто бурдюк, наполненный отчаянием, бессилием и смрадным страхом. Но он же вполне здоров, возразил Вова. Это тебе только кажется, ответил Богдан. Он несчастен, а несчастье это болезнь. Более того, это лоно всех болезней на земле. Несчастье не лечится, возразил Вова. Оно проходит само собой, как дождь. Или не проходит, сказал Богдан. Или не проходит, согласился Вова. Но тогда оно перестает быть несчастьем и становится образом существования...

— Правильно поступает тот,— процитировал Богдан,— кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сна.

Однако Вова тоже читал «Книгу самурая». И тоже ценил ее.

— Но с другой стороны,— возразил он немедленно,— даже чашка риса или чая должна браться в руки должным образом, без малейшей неряшливости и с сохранением бдительности.

Богдан усмехнулся и преподнес опекуемому свое любимое:

— Не нужно быть все время настороже,— сказал оно.— Нужно просто считать, что ты УЖЕ мертв.

— Это правило не для нас,— сказал Вова, как бы обидевшись.— Это — для них.

— Для нас тоже, Вова. Для нас тоже... Ладно. Приступим?

— Попробуем,— сказал вдумчивый и осторожный Вова и присел перед Вадимом на корточки, оттопырив необъятный свой зад молодого дегенерата.

Глава девятая

ДЕКАБРЬ. СУББОТА. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ

— Он не музыкант! — нетерпеливо повторил сэнсей (в третий раз).— Он совсем не музыкант и никогда не станет музыкантом.

— Но он же не расстается со скрипочкой! — настаивал папаня.— Мы купили ему скрипочку, и он прямо готов с ней спать...

— С игрушечными машинками он ведь расстался со временем? И с железной дорогой, не так ли?

— Но это же совсем другое дело! Тогда он был дитя.

— Он и сейчас дитя,— сказал сэнсей.— Не делайте из него взрослого. Если бы он был взрослый, я бы за него не взялся.

— Но ведь педагог сказал, что у него абсолютный слух!

— Господин Фираго, у меня тоже абсолютный слух. Но я не музыкант. Более того, у меня абсолютный нюх, но я не служебная собака.

— Это совсем другое дело.

— Вы читали мое заключение?

— Конечно! Мы читали его как священное писание.

— Вы поняли, что там написано?

— Там написано...

— Там написано, что мальчик по природе своей,— по сути своей, понимаете? — по организации психики, по настрою души, по структуре подсознания — систематизатор. Он талантливый

архивист, коллекционер, может быть, будущий Линней или Менделеев... А вы хотите сделать из него лабуха. Чтобы обслуживать второразрядные свадьбы. Или вообще пиликать с шапкой на полу — в переходах метрополитена.

— Но согласитесь, Стэн Аркадьевич, если приложить усилия... Если бы вы все-таки взялись...

— Усилия здесь ни при чем. Я не могу сделать хорошего музыканта из хорошего архивариуса! Я вообще никого и ни из чего не делаю. Черт возьми, я же объяснил вам с самого начала! Я только говорю: вот дорога, по которой ему лучше всего идти...

— Если это потребует дополнительных занятий, мы готовы увеличить гонорар до необходимых...

— Вы ни черта не понимаете, Фираго. Вы меня не слушаете. Сколько вам лет, сорок?

— Сорок два.

— Сделайте себе еще одного ребенка. Может быть, получится музыкант. А сейчас — я занят. До свидания. Роберт, произведите расчет с господином Фираго.

И он умчался, яростно крутя головой, растягивая на ходу ненавистный парадный галстук. Роберт сейчас же поднялся, руки по швам,— демонстрируя таким вот образом необходимое почтение. Не то чтобы так у них было заведено, но на клиентов это должно было производить — и производило — соответствующее впечатление. Вот и сейчас господин Фираго тоже судорожно подскочил на месте — круглый и розовый, как надутый шарик — и даже сделал попытку поклониться в адрес стремительно удаляющегося мэтра. Господин Фираго был бизнесмен, а значит, уже наверное не полный осел,— но он, видимо, просто никак не мог уразуметь, что есть вещи, которые невозможно купить. «Если приложить усилия. Если постараться. Если очень хорошо постараться и приложить все необходимые усилия...»

— Вы думаете, мне его не переубедить? — озабоченно спросил он у Роберта.— Если, например, очень постараться?

— Я бы вам не советовал,— отозвался Роберт, тоже озабоченно. Со всей доступной ему озабоченностью.— Можно перегнуть палку. Давайте лучше пока ограничимся уже достигнутым. А там видно будет.

Это была безотказная проверенная идея. Главное — построить в воображении клиента перспективу, остальное начнет совершаться как бы само собою.

— То есть, вы думаете, через месяцок-другой?..

— Правильнее: через полгодика-год,— сказал Роберт, вынимая из принтера распечатку счета-договора.

— Ну что ж...— Перспектива обрисовалась, процесс пошел.— Наверное, вы правы. Я готов положиться на вашу компетентность. Вы известите меня, когда это потребуется?

— Мы еще не раз с вами увидимся,— пообещал Роберт.— Мы теперь в прочном контакте. Наверняка понадобятся дополнительные консультации. И неоднократные. Так всегда бывает... Вот ваш счет. Как вам удобнее — чеком или наличными?

Господину Фираго оказалось удобнее наличными. И почему-то — дойче-марками. Притом что аванс он выплачивал, помнится, английскими фунтами. Видимо, он что-то как-то таким вот образом выгадывал. Он, видимо, был из тех, кто постоянно выгадывает четверть процента. Это был его модус операнди, плавно преобразовавшийся уже в модус вивенди. Наверное, это способствовало его процветанию. Наверное, он был богат. («Мерседес», мордастый шофер-охранник, бумажник, плотно набитый кредитными карточками и валютой.) Но при всем при том он был все-таки еще и дурак.

— Позвольте мне...— сказал он, протягивая Роберту радужную бумажку (кажется, двести марок).— В знак признательности... и с особой благодарностью...

Роберт мельком глянул на бумажку и, поджав губы для значительности, стал смотреть господину Фираго в лицо,— но не в глаза ему, а ниже, в румяные нервно шевелящиеся губы. Наступила минута острой неловкости, и длилась она секунд десять.

— Все! Понял! — господин Фираго поднял руки (в одной бумажник, в другой — бумажка).— Намек понят и усвоен! Все деньги — из одного окошечка, правильно, разумно. Был бестактен. Забудем, договорились?

Забудем? Роберт мысленно усмехнулся. Ну нет.

— Договорились,— сказал он. И почувствовав в тоне своем некое невольное пренебрежение, высокомерие даже какое-то барское, поспешно добавил: — Нет проблем. Дело житейское.

И тут в лице господина Фираго, в румяном этом глуповатом личике фарфорового поросенка, что-то неуловимо изменилось, и сам он изменился весь — как бы выпрямился и сделался даже выше ростом. Роберт, удивившись и насторожившись, приготовился уже выслушать горделивую тираду (в защиту незапятнанной чести и достоинства), но господин Фираго, напротив, понизил почему-то голос и спросил вдруг:

— А мы с вами как, не мешаем маэстро? Не слишком здесь галдим?

Словечко «галдим» в устах его прозвучало совершенно неожиданно и неуместно, да и сам вопрос показался Роберту как бы из другой пьесы, словно Сальери-Смоктуновский заговорил вдруг в манере Юрия Никулина.

— Не думаю,— сказал он озадаченно.— Не думаю, что он нас вообще слышит... Но орать при этом, разумеется, не следует,— добавил он на всякий случай.

— Ни боже мой. Наоборот. А как здесь у вас насчет «жучков»?

— Каких жучков?

Господин Фираго менялся на глазах. Куда девался розовый надувной шарик с поросячьими манерами? Перед Робертом стоял озабоченный и внимательный джентльмен, склонный, правда, к полноте, но при этом вполне элегантный и даже значительный.

— Я, собственно, имею в виду записывающие устройства,— пояснил он деловито.— Как тут у вас насчет?

— Не знаю,— сказал Роберт, от удивления рассердившись.— А в чем, собственно, дело?

— А в том дело, что я хочу поговорить с вам сейчас о довольно интимных вещах. Можно? Или лучше не рисковать?

У Роберта мелькнула было мысль, что с папаней случился приступ мании преследования пополам с манией величия, однако господин Фираго эту мысль немедленно развеял.

— Вам большой привет от Германа Тихоновича,— сказал он, еще основательнее понизив голос и глядя Роберту прямо в глаза — зрачки в зрачки, совершенно так, как некогда делал это сам Герман Тихонович. И хотя Герман Тихонович в своей роли смот-

релся безусловно гораздо более убедительно, но и у господина Фираго получалось тоже очень даже недурно.

Так, подумал Роберт, почувствовавши неприятный холодок в подвздошье. Начинается. Квартал прошел, и ничего, оказывается, не кончилось. Эти не отпускают: рубль за вход, четвертной за выход...

— Спасибо,— сказал он, стараясь, чтобы голос звучал по возможности ровно, но, видимо, то ли с голосом у него, то ли с лицом что-то сделалось не в порядке, потому что господин Фираго вдруг усмехнулся (не без тонкости) и продолжил:

— Герман Тихонович просил меня узнать, как продвигается ваша рукопись. Три месяца уже прошло, хороший срок, роман можно успеть написать.

— Я не романист,— сказал Роберт, с трудом побеждая в себе желание облизнуть губы. Сухие губы клейким языком. Мерзость какая.

— Само собой,— тут же согласился сотрудник Германа Тихоновича, он же — в недавнем прошлом — папаня.— Само собой, кто бы спорил. Но — все-таки? Это не я, это Герман Тихонович интересуется. Когда все-таки можно ждать обещанного?

Тут, разумеется, напрашивалось «обещанного три года ждут», но это было бы слишком уж жалко, мелко и злобно. И беспомощно.

— Я предпочел бы говорить на эти темы с самим Германом Тихоновичем,— сказал Роберт.

— Понятное дело! Но раз уж я здесь, то как ему передать?

— Так и передайте,— сказал Роберт со всей возможной твердостью.— Слово в слово.

— Господи, да вы не волнуйтесь! — воскликнул господин Фираго.— Не хотите — не надо. Конечно, так и передам. Слово в слово. Что вы, в самом деле, Роберт Валентинович! Даже с лица спали, ей-богу. Работайте себе спокойно, мы не спешим. Никто вас не торопит. Главное, лишь бы дело делалось...

Роберт не ответил, и господин Фираго тут же совсем отступился, заспешил, снова сделался папаней — озабоченным и слегка дураковатым, стал прощаться, суетясь фарфоровым личиком. Роберт, держа каменное лицо, проводил его в прихожую, подал

пальто, шарф, шляпу. Кейс. Господин Фираго пыхтя упаковался, спросил озабоченно: «Значит, вы полагаете, он меня еще вызовет?» — и, не дожидаясь ответа, двинулся на выход, да так споро и энергично, что Роберт еле поспевал отпирать перед ним двери. Попрощались у решетки. «Очень на вас рассчитываю, Роберт Валентинович, по моему делу. Если будет малейшая возможность, попытайтесь его подвигнуть, так сказать... Мальчик не расстается со скрипочкой...» Роберт кивал. Ему очень хотелось что-нибудь сказать напоследок (для передачи Герману Тихоновичу персонально), что-нибудь веское, значительное что-нибудь, но он не знал, что именно. В голове у него вертелось только: «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?..» Это было бы и крепко, и веско, но абсолютно не соответствовало ситуации. Поэтому он не сказал ничего. Он даже не попрощался.

Потом он вернулся на рабочее место, извлек из нижнего ящика стола папку с рукописью и бездумно перебросил несколько страниц. Попытался было читать, но тут же оказалось, что он ничего перед собою не видит, кроме поросячьего личика папани с внимательными глазами Германа Тихоновича. Сволочьё. А чего ты, собственно, от них ожидал? Что оно все само собой потихонечку изноет и рассосется? Нет, миленок: рубль — вход, четвертной — выход. Но ведь я и рубля вам не платил, вы меня бесплатно к себе запустили. Профес-с-сионалы... Он вынул из папки последнюю страницу и перечитал примечания сэнсея. Четыре пункта. Хотя нет, строго говоря, три.

«1. Иногда его схватывает позыв на низ (это называется императивным позывом), он все бросает и мчится в сортир.
2. Когда питается — весь подбородок замаслен.
3. Халат никогда у него не стирается, попахивает козлом.
4. Еще что-нибудь. Подумайте».

Думал. Но ничего новенького так и не придумал. Противно было. И думать было противно, и придумывать. А, главное, не понятно было, зачем, елки-палки, все это понадобилось и для чего?

«Не забывайте, что Ваше умение «помнить все без исключения» должно быть им хорошо известно. Поэтому обрати-

те внимание на Ваши неудачные выражения типа «если не ошибаюсь», «не помню точно, кто», которые в свете названного факта выглядят для внимательного читателя странновато и малоестественно...»

Потом — еще полуабзац, перечеркнутый крест-накрест, но разобрать текст можно без особого труда: *«Не надо так много об обстоятельствах личной жизни. Это бесполезно...»* А ниже приписано: *«А впрочем, пишите, как хотите».*

Собственной Его Императорского Величества рукой начертать соизволил... Зачем ему это надо? Зачем-то надо. Никакого представления не имею зачем. А вот мне бы надо было сразу же отказаться. Наотрез. Без размышлений. «Нет»,— и все разговоры. Что бы они мне сделали? За границу бы не выпустили? Так я туда и не рвусь, мне и здесь неплохо... Плевать я на вас хотел. Не прежние времена на дворе... Но порядки, похоже, старые, подумал он с горечью. «Новый год, порядки старые, холодной проволокой ржавою наш лагерь окружен, кругом глядят на нас глаза легавые, и сталь холодная блестит со всех сторон...» Ну-ну-ну, сказал он себе. Не до такой же степени, все-таки... Правильно, не до такой. Не смертельно, но зато — тошнит. Меня. А его? Неужели же его — не тошнит?

Он поднялся и, на всякий случай ступая осторожно, чтобы не скрипеть и не шуршать, прошел по коридору. Спальня: дверь настежь, форточки настежь, шторы опущены, тихо, пусто. Гостиная: дверь настежь, тихо, темно, торшер выключен. Сам лежит на диване в любимой позе: газета поперек живота, горбатый длинный нос уставлен в потолок, одна тапочка свалилась на ковер. Спит. Глаза закрыты.

— Что-то случилось? — тут же спросил сэнсей. Глаза у него, оказывается, были, наоборот, вполне открыты, просто смотрели с прищуром, но очень внимательно и с интересом.

— Они опять на меня вышли,— сказал Роберт.

Сэнсей несколько секунд молчал, потом спросил (или объявил?):

— Господин Фираго.

— Да. Спрашивал, как идет работа над рукописью.

— То-то он меня доставал, как умел. Я еще подумал: что за осел нам попался, прости господи. А он просто хотел, чтобы я выкатился побыстрее... И что вы ему сказали?

— Сказал, что не буду с ним разговаривать. Пусть начальство вызывает.

Сэнсей с кряхтением поднялся и сел, нашаривая потерянный тапочек. Газета съехала на пол, он не обратил на нее внимания.

— А что это вы с ним так сурово, Робин?

— А как было надо?

— Ну, не знаю... Удовлетворили бы законное любопытство сотрудника компетентных органов. Рассказали бы, как идет работа: заканчиваю-де, как только, так сразу... Подневольный же человек, зачем его так уж сурово отшивать.

Роберт, сделав два шага, нагнулся, подобрал газету, сложил по возможности аккуратно и пристроил на журнальном столике среди бумаг. Потом он сказал:

— Затошнило меня, сэнсей, вот и все.

Сэнсей произнес (словно максиму процитировал):

— Они знают о нас только то, что мы им сами говорим. Вот пусть и знают. То, что мы с вами им говорим.

— А зачем им вообще что-нибудь о вас знать?

— Работа у них такая. Сволочная. Но интересная! Скажете, нет?

— Не знаю,— сказал Роберт.— И знать не хочу. Меня от них тошнит.

— Нормальная реакция нормального человека,— сказал сэнсей с одобрением.— Вы абсолютно здоровый и нормальный человек, Робин. С чем я вас и поздравляю.

— То есть, вы по-прежнему настаиваете, чтобы я...

— Настаиваю, Робин. Самым решительным образом. Это пойдет на пользу силам мира и прогресса. Вы уж мне поверьте.

Было ясно, что он опять ничего толком не объяснит и не намекнет даже. И было ясно — как день,— что у него есть цель, есть план, есть замысел. И придется ему споспешествовать. Раз уж вообще взялся на него работать.

— Что у нас сегодня на обед? — спросил сэнсей.

— А что бы вы хотели?

— Рыбный суп. И бутерброды из черного хлеба с аджикой.

Роберт не удержался, расплылся в улыбке, как довольный младенец.

— Жутко вредно!

— А наплевать. Все вредно. Поправьте меня, если я ошибаюсь: «Все, что есть приятного в жизни...»

— «Все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо незаконно, либо ведет к ожирению». Первый постулат Пардо. Ладно, убедили. Будет вам рыбный суп с черным хлебом с аджикой.

— С хлебом с маслом и с аджикой!

— С маслом и с аджикой.

Сэнсей удовлетворенно вздохнул, снова лег навзничь и сложил ладони на груди.

— Замечательно,— сказал он.— Тогда я еще погоризонталю. После обеда сон серебро, а до обеда — золото!

Роберт не стал спорить.

Он вернулся к себе, на рабочее место, и сейчас же позвонили в дверь. Никому не было назначено на это время, и Роберт, заранее насупившись, пошел смотреть, кто там еще пожаловал. Оказывается, пожаловал несчастный Вадим Резалтинг-Форс, уже вполне протрезвевший, но — в своей штопаной серой штормовке, в кепчонке своей кожаной — похожий не то на бомжа, не то на студента-пропойцу,— замерзший, скукоженный, красноносый и мокрый.

— Я — к сэнсею,— объявил он прямо с порога в ответ на изумленно-неприветливый взгляд Роберта.

— Сэнсей занят.

Он словно ждал этого.

— Ну, я тогда просто с тобой посижу. Можно? Или ты тоже занят?

И такая жалкая готовность принять самое худшее, такая раздавленная гордыня, такая безнадежность пополам с жалобной заносчивостью прозвучала в этом вопросе, что Роберт, сам того не желая, посторонился и пропустил его в дом.

В прихожей он велел ему раздеться, повесить штормовку на плечики, велел кеды отсырелые снять и надеть гостевые тапоч-

ки, завел в туалетную, дал полотенце — вытереть морду. Вадим подчинялся беспрекословно и даже с готовностью, и Роберт подумал, что давно уже не видел такого Вадима: тихого, покорного, послушного. Видимо, вчерашнее «очищение подпространства души» сделало свое светлое дело.

Сначала он хотел отвести его в дежурку, а потом решил, что это будет слишком близко к сэнсею, и выбрал кухню. Тем более что скоро все равно надо будет готовить обед.

На кухне Вадим, как благовоспитанный мальчик, уселся на табуретку — ладошки под себя,— и они поговорили. Вполне светски.

— Чайку заварить?

— Чай-кю?

— Да, чайкю. Заварить?

— А какой у тебя?

— «Крепкий».

— Ну, уж я надеюсь, что не жидкий...

— Да нет. Называется так: чай «Императорский. Крепкий».

Вадим задумчиво спел:

— «Чай «Великий Тигр» каждый выпить рад...»

— Понятно. Может, кофей-кю?

— «Кофе пить будем и державу подымем!..»

— Хм. Ты сегодня в хорошей форме. Может, водочки?

— Нет,— сказал Вадим решительно.— Хватит с меня. Тем более я теперь человек внутренне чистый. Зачищенный, так сказать. Кстати, ты видел, как он это делает?

— Богдан? Нет. Не видел никогда. А что?

— Так. Интересно было бы посмотреть. «Зачистка», как никак, не хрен собачий. «Зачищение подпространства».

— Не знаю, не видел,— повторил Роберт.— Знаю, что он ушел к тебе со своим воспитуемым, с Вовой с этим, а потом через полчаса вышел, очень мрачный, и сказал: «Все, хватит с него, засранца...» То есть — с тебя.

— А Вова что сказал?

— А Вова не сказал ничего. У Вовы был такой вид, будто он вообще смутно представляет, где он находится и который на дворе год.

— Сильная штука — эта зачистка,— сказал Вадим.— Я ничего не помню. А проснулся — будто это не я. Будто выздоровел от какой-то застарелой пакости... Представляешь?

— Нет.

Вадим покивал, глядя мимо Роберта в окно.

— Будто совсем новый человек, причем даже — малознакомый. Мощная штучка — наш Богдаша. А я, надо признаться, никогда в него по-настоящему не верил. Думал, все это так, залепуха. Для старух...— Он помолчал.— Впрочем, в любом случае все это — ненадолго. Увы.

Роберт на захотел уточнять. Да он и сам знал, что — ненадолго.

— А Матвей где? — спросил он. Просто так спросил. Чтобы переменить тему.

— Я от него улизнул.

— Правда? А я думал, он внизу, у себя в машине сидит.

— Он наверняка сидит где-нибудь у себя в машине, но вряд ли внизу... А зачем он тебе?

— Да так. Поговорить хотел.

— А ты поговори со мной,— предложил Вадим. С самым серьезным видом.

(О чем? — сейчас же захотелось Роберту спросить. О чем нам с тобой сейчас разговаривать? Жаловаться друг другу, какие мы несчастные — полураздавленные жертвы рэкетиров?..)

— А что ты в этом смыслишь? — сказал Роберт вместо этого.

— В чем?

— «Вселенную создал Бог» — это геделевское утверждение или нет?

— Что значит — геделевское?

— Ну такое, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Вадим посмотрел, искрививши рот, а потом пробормотал:

— Мне бы твои заботы.

И тогда Роберт вдруг решился. Какого черта? Пусть знает. Он же до сих пор надеется на что-то, приперся вот — унижаться...

— Ты зря сюда приперся,— сказал он.— Сэнсей не станет нам помогать, причем по двум даже причинам. Во-первых, он явно хочет, чтобы мы сами решили эту твою проблему. Без него.

— Понятно. А во-вторых?

— А во-вторых, Аятолла его клиент.

— Врешь,— сказал Вадим, и глаза у него снова сделались вчерашние — глаза неудачливой нищенки, только трезвой.

— К сожалению, нет. Не вру. Так что придется тебе рассчитывать только на себя.

Теперь Вадим смотрел на него с внезапным удивлением.

— Слушай, ты — жестокий человек. Почему? Или ты меня за что-нибудь не любишь?

— Да ничего подобного,— сказал Роберт нервно.— Просто мне надоело смотреть, как ты мыкаешься без всякого толку. Не поможет тебе никто, забудь. Мы — не способны, а он — не захочет.

— Ну, спасибо,— сказал Вадим медленно.— Утешил товарища. Спасибо тебе, родной мой и дорогой...

Роберт не стал дальше разговаривать. Он повернулся к Вадиму спиной и выдвинул (с грохотом) овощной ящик. Выбрал четыре картофелины покрупнее, бросил их (с грохотом) в мойку. Потянулся за ножом. На душе было погано, словно он сделал какую-то ненужную и совсем бесполезную пакость. Хотя на самом-то деле давно уже надо было ему сказать все, как оно есть. Правду. Горько-соленую. Правда вообще — штука малоаппетитная, а иногда и вовсе несъедобная... Вот пусть он и переваривает эту свою горько-соленую, несъедобную. Тут уж ничего не поделаешь — ему теперь все равно с этим жить...

И тут он вдруг обнаружил, что за спиной у него сделалось как-то необычайно тихо. Словно там никого больше не было. Словно Вадим (совершенно бесшумно) встал вдруг и ушел. Исчез. Испарился. Он быстро поглядел через плечо. Вадим сидел в прежней позе (ладошки под задницей), только голову втянул в плечи и нахохлился как больной воробей. Глаза у него были широко открыты, но, похоже, он ничего перед собою не видел.

— Эй,— тихонько позвал его Роберт.

— Эге ж...— так же тихонько откликнулся Вадим.

— Ты чего это?

— А что? — выражение Вадимова лица отнюдь не переменилось. Он разговаривал словно во сне.

— Тебе плохо, что ли?

— Нет,— сказал Вадим.— Мне хорошо.— Он вдруг улыбнулся, и это выглядело странно и даже страшновато, словно улыбнулся неживой предмет.— Рожа исчезла! — объявил он вдруг.

— Какая рожа?

— Красная,— сказал Вадим, по-прежнему словно во сне.— Генеральская. С усами.

Роберт схватил ближайший чистый стакан, быстро плеснул туда минералки и сунул Вадиму под нос. Тот отшатнулся.

— Перестань! — сказал он возмущенно, высвободил из-под себя руку и с досадой отстранил стакан покрасневшей ладошкой.— Со мной все нормально. Ты не понимаешь: рожа исчезла. Полгода она передо мной маячила, как приклеенная, днем и ночью, а сейчас я поглядел — а ее нет!

— А что есть? — спросил Роберт на всякий случай.

— Ничего нет. Пусто...— он вдруг отобрал у Роберта стакан и жадно выхлебал его до дна.— Ф-фу, даже в пот ударило. Надо же...

Он хотел еще что-то добавить и даже рот уже раскрыл, но говорить не стал, а вместо этого резко повернул голову — ухом вперед — к двери в коридор, и тогда Роберт тоже услышал приближающиеся оттуда тяжелые шаги и шаркающие щелчки шлепанцев по паркету. Как мой Кот-Федор, подумал он. Надо будет записать в донесение: «Он может двигаться бесшумно, как сквозняк, а иногда шумит и топает, словно горожанин в лесу...» Кот-Федор. Тот тоже умеет, при желании, изобразить лошадь: топ-топ-топ-топ...

Сэнсей появился в дверях, благостный, домашний, в пижаме.

— А,— сказал он, улыбаясь.— Вадим Данилыч! Лично! Рад вас приветствовать у наших пенатов. Обедать будете?

Вадим поднялся, но сделал это как-то странно, с паузой,— словно сначала подниматься не хотел вовсе, а потом все-таки раздумал и, так уж и быть, поднялся. И говорить ничего не стал в ответ на приветствие, только поклонился... И не поклонился даже — кивнул коротко, как кивают при случайной встрече нежелательному знакомцу. Сэнсей сказал:

— Что-нибудь неладно? Что именно?

— Будто вы не знаете! — возразил Вадим. Дерзко. И даже ладони засунул в карманы джинсов, но сейчас же вынул их обратно.— Я к вам два месяца пробиваюсь. Легче к президенту попасть на прием.

Сэнсей перестал благодушно улыбаться.

— Да. К президенту легче. Но ведь вы пробились? Слушаю вас.

— Да чего уж теперь слушать,— продолжал дерзить Вадим.— Поздно уже!

— Вот как? Поздно?

— Поздно.

— То есть я — могу быть свободен?

— Да ради бога! Вы же всегда свободны. У кого сила, у того и свобода.

— Благодарю вас,— сказал сэнсей кротко, и это была жутковатая кротость. Ледяная. От этой кротости мороз шел по коже. По крайней мере, у Роберта. А этот дурак молодой словно не видел ничего и не слышал: руки судорожно по швам, кулачишки сжаты, большие пальцы по-детски оттопырены — сейчас ляпнет что-нибудь такое, что его тут же и выдворят. Как Ядозуба в свое время выдворили — разом и навсегда. Роберт с лязгом уронил в мойку самый большой (разделочный) нож, но это ни черта не помогло. Истерика уже накатила.

— А это уж как вам будет угодно!..— выкрикивал Вадим в запале, не видя ничего и не слыша.— Вы ведь всегда в стороне!.. И при этом всегда правы, правильно? Мы ведь при вас только кормимся... вы нас прикормили, видите ли, и мы при вас теперь состоим...

(Что за чушь несет этот оборзевший кретин? Что он имеет в виду и каким местом думает?..)

— ...А вы — на горе! Вы всегда на горе! Со скукой наблюдаете коловращение жизни. Мы тут все коловращаемся как проклятые, а вы изволите наблюдать!..

— ...А мы ведь — голые, мы без шкуры даже, с нас шкуру это самое коловращение содрало. Ничего! Поколовращаемся и новую нарастим! Так ведь по-вашему?.. Боги молчат, значит — не возражают. Ведь искусство есть всегда беспощадный отбор озарений...

— ...А вы знаете, каково это, когда тебя отбирают? Когда ты один-одинешенек, и никто тебе не поможет — ни друзья, ни родственники, ни учитель, на которого надеешься как на самое последнее?..

— Знаю,— серьезно сказал сэнсей, и Вадим замолчал и только всхлипнул, словно бы от отчаяния.

— «Иди один и исцеляй слепых,— процитировал сэнсей (вполне серьезно, совсем без иронии, которая оказалась бы здесь вполне уместна),— чтобы узнать в тяжелый час сомненья учеников злорадное глумленье и равнодушие толпы...»

Вадим молчал, но кулаки его вдруг разжались, и руки повисли свободно.

— Пойдемте, Вадим,— сказал ему сэнсей.— Я вас понял, но надо все это обсудить спокойно. По возможности не стоя, а сидя... Мы не очень надолго,— сказал он Роберту.— На полчасика. Извините.

И они ушли, оба: сэнсей, легкий как одуванчик, а Вадим следом за ним — уже ссутулившись, уже покорно,— вялый, словно сдувшийся воздушный шарик. Связь с кабинетом была включена, можно было повернуть верньер и услышать, о чем они там говорят, но Роберт не стал этого делать. Воображение у него всегда было жиже памяти, и представлял он себе только, как Вадим валяется в ногах, просит прощения за грубости и дерзости и умоляет помочь, а сэнсей сидит над ним словно Будда и изрекает свои коаны. Чтобы уничтожить эту малопривлекательную картинку, он ожесточенно принялся за картошку, потом за морковку, а потом стал вскрывать консервы с горбушей в собственном соку. Картинка исчезала, снова появлялась, снова затуманивалась, никак от нее не удавалось избавиться, а потом вдруг включилась громкая связь и сэнсей сказал:

— Вадим уходит. Проводите его, пожалуйста, Робин.

Он уменьшил газ под кастрюлькой и пошел провожать. Вадим уже натягивал серые свои отсырелые кеды, упершись задом в стену, лицо у него от неудобной позы было красное, он пыхтел, но не выглядел ни жалким, ни убитым. Более того — он выглядел довольным. И слава богу. К черту подробности! Жертв и разрушений нет,— о чем еще может в этом мире мечтать мирный

обыватель, не претендующий на управление историческими процессами?.. И все-таки он не удержался.

— Ну? Поговорили?

— Если можно так выразиться,— отвечал Вадим, с трудом разбираясь, где у штормовки зад, где перед.

— И что он тебе сказал?

— Напоследок?

— Давай — напоследок.

— «Ты обрел мой костный мозг».

— Понятно. А перед этим было объявлено: «Время настало. Почему бы тебе не сказать, чего ты достиг?»

— Да, что-то в этом роде. Только он никому не говорит «ты». Даже мне.

— Это не он. Это Бодхидхарма. Мы последнее время увлекаемся дзэн-буддизмом.

— Да, как и вся страна побежденного социализма...

Они уже стояли у решетки, и Роберт гремел ключами, отпирая калитку. Когда калитка отворилась, он процитировал:

— «Наконец дошла очередь до Хуй-кэ. Он почтительно поклонился и молча застыл. Учитель сказал: "Ты обрел мой костный мозг"...» Ты тоже почтительно поклонился и молча застыл?

— Нет,— сказал Вадим, нажимая кнопку лифта.— Я сказал ему, что рожа исчезла.

— И что же это означает?

— Что я повернул ее. Трубу большого диаметра.

Он откровенно сиял. Он был горд. Роберт признался:

— Ни хрена не понимаю. Но я рад за тебя, Хуй-кэ. Рад, что у тебя наконец захорошело, Хуй-кэ.

— Не выражайся! — сказал Вадим и шагнул в кабину.

...Пока он шел к станции метро «Московская», пока шарил по карманам, наскребая на билет (все деньги куда-то вдруг провалились, в какое-то совсем уж незапомнившееся «никуда»), пока спускался по эскалатору (бегом, как в далеком детстве, с риском для себя и окружающих, под тревожные возгласы и окликания забеспокоившейся дежурной внизу), пока ждал поезда в мокрой толпе и пока ехал, стиснутый мокрой толпой в позе

смирно-руки-по-швам,— все это время он заставлял себя не думать и все равно думал: «Как? Как я это сделал? Или оно сделалось само? Или ничего не сделалось, а я просто с ума съезжаю от страха?..» Почему-то ему было ясно, что искать понимания «как?» — не надо. Это неполезно. Это даже опасно. Кто-то предупредил меня об этом еще раньше. Кто-то из наших... Кто? Правильно, давай лучше вспоминать: кто это был такой, умненький-разумненький Буратино, кто сказал мне: «Брось, не мучайся, это либо произойдет само собой, либо не произойдет совсем...» Никак не вспоминалось, кто это был, хотя сохранились в памяти и интонация, и уверенный взгляд: «...а тогда мы тебя прикроем». За последний душный и тошный месяц много было сказано уверенных слов и сделано самоуверенных утверждений, но запомнился почему-то только один этот разговор,— может быть, потому, что ему предлагалось ничего не делать, а только спокойненько плыть по течению. В сторону Стикса...

Перед родной парадной, под самым оранжевым фонарем, стояла знакомая «копейка», грязная, словно мусорный контейнер. И из нее уже торопливо выкарабкивался возмущенно глядящий Матвей, и вот уже знаменитый возмущенно-недоуменный вопрос прозвучал:

— Ты где был?!

— Пиво пил,— ответил Вадим немедленно и сам же засмеялся — так ловко все это получилось, но тут ему стало не до смеха: Матвей, оказывается, не просто так здесь стоял, его поджидая, он рвался к нему в дом, он хотел присутствовать, охранять, наблюдать и вообще держать ситуацию под контролем.

Не надо под контролем, попытался втолковать ему Вадим. Все уже устроилось. Все о'кей... «Но позволь! Мы же договорились... Тенгиз же ясно сказал!..» Да в интимные отношения я вступал с твоим Тенгизом! Не надо вам меня больше охранять, можете вы это понять?.. «Как это так — не надо?..» А так: вольно, р-р-разойдись! Нет, Матвей этого понять не мог. Он, потерявши Вадима из виду, полдня мотался по улицам, чуть ли не в морги уже звонил, переполошил всех знакомых, побывал в двенадцати злачных местах и местечках, а потом еще торчал добрый час здесь,

под фонарем, ожидая неведомо чего... Не мог он поверить, что все труды его пропали напрасно.

— Дурак,— сказал ему наконец Вадим.— Можешь ты хотя бы понять, что ко мне женщина должна прийти сейчас? На хрен ты нам с ней нужен, спрашивается?

— Какая еще женщина? — спросил подозрительный Матвей.

— Людмилка. Помнишь Людмилку? Манекенщицу?

— Помню Людмилку,— признался Матвей, все еще пребывая в тисках страшных подозрений, но уже значительно помягчев.

— Я ей еле дозвонился, договорились на сейчас, неужели не понятно?

— Что-то ты не очень сейчас похож на Дон Жуана,— сказал Матвей, сверля его прокурорским глазом.

— Это почему еще? На что ты намекаешь? Очень даже похож. И не порти мне удовольствие, пожалуйста. Вали отседова.

В конце концов удалось отвязаться. Вадим взбежал по лестнице, отпер дверь в квартиру и — остолбенел на пороге. Он совсем забыл, что вытворял здесь двое суток назад, и на мгновение в панике вообразил, что это ОНИ побывали тут — мстительные и злобные, как гарпии, подлые и беспощадные. Паника была внезапна и сокрушительна, словно взорвалось что-то у него внутри, он чуть не упал — ноги подкосились,— но тут же очухался и все вспомнил. Прошел в комнату, поднял и поставил (среди хаоса и мусора) перекосившийся торшер (мамин любимый), огляделся, осторожно ступая по разбросанному, прошел к окну, выглянул сквозь задернутые тюлевые занавески. Матвей отнюдь не уехал — он все еще стоял возле своей мусоровозки,— задрав голову, глядел на его окна. Этот не уедет, нет. Этот не уедет никогда. Он будет терпеливо ждать, чтобы проверить: прибудет ли названная Людмилка, когда прибудет, одна ли, на какое время?.. Урюк под контролем...

Он огляделся, нашел телефонный шнур, проследовал вдоль него до аппарата, погребенного под старыми журналами «Знание — сила» вперемешку с папками с рукописями, набрал номер. (Телефон — на удивление — работал.) Людмилкин хриповатый голосок произнес высокомерно: «Вы разговариваете с автоответчиком. Оставьте сообщение после короткого сигнала».

Короткий сигнал прозвучал, но Вадим не стал оставлять никакого сообщения. Да подите вы все в жопу! Он шваркнул трубкой по аппарату, поднялся с корточек и еще раз огляделся. Жуть! Срам! Мерзость запустения!.. Ненавижу... Он был по натуре своей аккуратист и терпеть не мог любого беспорядка. Может быть, именно поэтому, напившись и потеряв человеческий облик, он всегда такой отвратительный беспорядок учинял. По принципу доктора Джекила, он же — мистер Хайд... Спасибо, что хоть полы не заблевал в расстройстве чувств при потере личности...

Добрый час он старательно, скрупулезно и даже с неким сладострастием убирал авгиеву конюшню. Матвей внизу, видимо, утомившись ждать (а также, видимо, вспомнив о наличии второго входа на лестницу — со двора), уехал наконец. Когда Вадим покончил с разбросанными журналами, поднял и поставил на место книжную стенку, Матвей позвонил и осведомился, как он там. На вершине блаженства, ответил Вадим. «Точно?» Абсолютно. «Имей в виду,— сказал Матвей,— я все время дома и машина под парами. Если что — так сразу!..» А как Тенгиз? Он тоже под парами, сказал Матвей. Спасибо, ребята, но ей-богу ничего больше не надо, сказал Вадим. Все устроилось. «Как?» — спросил Матвей. Само собой, ответил Вадим. «Но если все само собой устроилось — еще чудесней!» — процитировал Матвей и повесил трубку.

Тут Вадим спохватился и позвонил к тетке в Наклажную. Мама подошла, и они поговорили. У мамы все было в порядке, слава богу, только ангина пока еще не прошла, а в остальном все в порядке. И у Вадима все было в порядке. Во всем мире стоял сплошной, беспросветный и полный порядок, оставалось только передвинуть на место диван, уехавший на середину комнаты, и расставить по местам рассыпавшиеся книги, устилающие пол, как пестрая стая мертвых птиц...

И в этот момент Вадим вспомнил. Вспомнил, кто говорил ему: не трепыхайся и не напрягайся, все произойдет самой собой или не произойдет совсем. Это же, конечно, Андрей Белюнин ему сказал. Страхоборец. В первый же раз, когда он, весь трясясь и в отчаянии, прибежал к нему жаловаться и просить защиты. «Не унижай себя надеждой. Все произойдет самой собой или не про-

изойдет совсем. Просто считай, что ты уже мертв, и тогда никто и ничего с тобой сделать не сможет...» Он вспомнил это, и ему снова стало страшно, как и тогда, хотя теперь, казалось бы, бояться было уже нечего. Длинное породистое лицо брезгливо глядело на него с того конца тоннеля, освещенное почему-то только слева — золотистым ровным светом. Да ведь я еще вдобавок и богат теперь, подумал он вдруг. Но сразу же отогнал от себя эту мысль, как преждевременную и потому — опасную.

...А в это самое время Андрей Юрьевич Белюнин (по прозвищу Страхоборец) сидел на кухне своего приятеля Сережи Вагеля, известного (среди драбантов) также под кличкой Эль-де-през. Неспешно обменивались нейтральными репликами (главным образом насчет хоккея), сосали пиво из длинных холодных банок и наблюдали искоса за действиями малолетнего сынишки Эль-де-преза, сидящего тут же на собственном стуле за тарелкой еды. Сынишка сражался со своим ужином. Диспозиция была такая: в левой руке он держал большой, однажды надкусанный ломоть хлеба, в правой — вилку с насаженной на нее четвертинкой котлеты, и еще полкотлеты вместе с горкой картофельного пюре неаппетитно стыло в тарелке. Кроме того, приблизительно четверть котлеты и некоторое количество хлеба пополам с пюре находилось у него за щекой, отчего миловидное, черноглазое (в мамочку) личико выглядело болезненно асимметричным.

Мама со старшенькой в данный момент плавали в бассейне, а папа Эль-де-през старательно и бездарно исполнял строгий наказ: «Изжарить котлеты, разогреть пюре, накормить Существо, дать ему столовую ложку пертусину и в восемь часов — спать». Однако существо кормиться не желало. У существа вообще никогда не бывало аппетита, а уж если кормлением занимался папаня, процедура приема пищи превращалась в котлетомахию и в сущий цирк.

— Жу-уй! — в очередной раз не вытерпев, распорядился Эль-де-през нарочито занудным голосом.— Жуй и глотай. Горе луковое.

Луковое Горе совершило несколько торопливых движений челюстями, ничего не проглотило и снова застыло в неподвижности, почти уже трагической.

— Не желает,— объяснил Эль-де-през.— Не желает, и все тут. В отказе стоит.

— А может быть — пусть? — осторожно предположил Андрей, понизив на всякий случай голос.

— То есть как это — пусть? А кто жрать за него будет?

— Проголодается — сам попросит.

— Что ты в этом понимаешь? — сказал Эль-де-през с усталым пренебрежением.— Папаня аховый...

Андрей плотно зажмурил глаза и поднял обе руки (ладонями вперед) в знак того, что молчит, сдается и вообще заткнулся навсегда, а Эль-де-през произнес решительно, адресуясь уже не к нему:

— Значит, так. Прожевать и проглотить то, что за щекой! Потом — доесть что на вилке, половину пюре, и я тебя отпускаю. Договорились?

Горе Луковое быстро-быстро закивало и сейчас же принялось жевать — образцово-показательно, всем телом: даже зубами прищелкивая по ходу дела, даже на стуле подпрыгивая и усиленно размахивая вилкой с куском котлеты. (Может быть, в надежде, что кусок слетит на пол, и проблема решится тогда как бы сама собою?)

— Пива еще хочешь? — спросил у Андрея опытный отец, поднимаясь к холодильнику.— Есть «Туборг», между прочим.

— Спасибо, мне достаточно.

— Ух ты, какие мы твердокаменные!

— А знаешь, как товарищ Сталин товарища Молотова называл?

— Знаю: твердокаменный ленинец.

— Угу. Почти. Он называл его «каменная задница».

— Ну да? И что — с осуждением? Или — одобрительно?

— Скорее, одобрительно.

— Вот странная вещь,— заметил Эль-де-през глубокомысленно.— Кого ни послушаешь, у всех товарищ Сталин всегда в хорошем настроении, добрый и шутит...

— Это называется «селекция наблюдений»,— объяснил Андрей.— Просто те, кто видел его в плохом настроении,— не выжили, и их рассказов история нам не сохранила.

— Может быть,— согласился Эль-де-през.— А может быть, он и в самом деле был неплохой мужик? А?

— Вроде твоего хозяина?

— Ты кого имеешь в виду? — спросил Эль-де-през, сразу же профессионально насторожившись (словно кто-то в толпе сунул вдруг руку во внутренний карман пиджака).

— Что значит — «кого»? У тебя так много хозяев?

— А-а-а... Нет, мой хозяин в порядке. Грех жаловаться. Печальный человек с длинными волосами.

Андрей посмотрел на его с удивлением.

— Да ты поэт! Как сказано, однако: «Печальный человек с длинными волосами»!

— Да это не я сказал, вообще.

— А кто?

— Неважно.

Тут Андрей поймал на себе внимательный взгляд черноглазого Существа, и хотел было подмигнуть ему ободряюще... или скорчить какую-нибудь гримасу посмешнее... или хотя бы губы свои сочувственно этак поджать... Но — не решился. Поостерегся. Дети его недолюбливали, и он это знал. Что-то в нем их настораживало: они старались не разговаривать с ним, уклонялись от игр и не принимали его шуток. Это его огорчало, но не так уж чтобы слишком. Неприятно, конечно, когда такой вот симпатяга глядит неприязненно и с опаской, но бывают ведь ситуации и похуже, не так ли?.. Например, когда на тебя неприязненно смотрит какой-нибудь дьяволоподобный питбуль.

— Значит, так,— решительно объявил папа Сережа, перехвативший этот обмен взглядами, но понявший его совершенно неправильно.— Будем все-таки лопать или будем в гляделки с дядей Андреем играть?

— Соку хочу,— объявило Луковое Горе, уклоняясь от прямого ответа на поставленный вопрос.

— Так. Желание законное. Подливаю соку. Пей. Но после — немедленно глотай то, что у тебя за щекой, и черт с тобой, давай сюда эту котлету, и хлеб можешь оставить, положи на тарелку, я все уберу, только вот этот кусок котлеты доешь... который на вилке. Договорились, нет?

Это было похоже на полную и безоговорочную капитуляцию, каковой оно, по сути, и было. Андрей великодушно пропустил разгром опытного и умелого папы Сережи мимо внимания и спросил:

— Ну, хорошо. «Печальный рыцарь с длинными волосами». А поподробнее?

— «Печальный человек». Цитируешь, так цитируй.

— Виноват. «Человек». И что он, спрашивается, за человек? О нем же легенды ходят. Это все правда?

— Смотря что именно.

— Что он из людей делает овечек, например.

— Это как?

— Приходит к нему человек,— объяснил Андрей.— Мафиози какой-нибудь. Людоед. А выходит — смирный как овечка. Вегетарианец.

Эль-де-през покачал головой.

— Первый раз слышу.

— Что у него квартира — Эрмитаж пополам с Лувром. Сплошь увешана старинным оружием, латами там разнообразными, ятаганами...

— Не знаю. Дома у него никогда не был.

— А ты его вообще — видел когда-нибудь? — спросил Андрей мягко.

Эль-де-през только фыркнул с презрением, потом поднялся и, не говоря ни слова, вышел вдруг из кухни — неестественно бесшумный и легкий — при такой-то массе. Андрей посмотрел на Горе Луковое и — не удержался все-таки — скорчил ему рожу в том смысле, что такие вот дела, друг мой — какой у тебя папаня, оказывается, нервный и легковозбудимый... Впрочем, контакта никакого не получилось: парнишка отвел глаза в сторону — и даже откусил от остатков котлеты, чтобы только не общаться с неприятным дядей. (Правая щека у него сразу сделалась еще больше.)

Эль-де-през вернулся (так же внезапно и так же бесшумно) и сунул Андрею под нос цветную фотографию неописуемой красоты: лето, зелень, роскошный белый лимузин аномальной длины, и какие-то люди рядом — стоят у распахнутых дверец.

— Это кто по-твоему? — спросил Эль-де-през с невыразимым презрением.

— Ты.

— А это?

— Не знаю.

— Он. Между прочим, заметь: рядышком. Вась-вась.

— Понял. Сражен. Сдаюсь.

...А ведь и в самом деле: «Печальный человек с длинными волосами». Бледное, слегка одутловатое лицо, уголки губ опущены, глаза чуть прищурены от солнца (в руках — темные очки). Все вокруг улыбаются, зубы напоказ, а он — нет. Ему — грустно. Или, может быть, скучно. Какой-то он... несовременный! Вот точное слово: несовременный. Несовременная одежда — подержанная и мешком. Несовременное лицо... Выражение лица несовременное... И эта общая печальная расслабленность...

— А женщина кто?

— Супруга. Алена Григорьевна.

— Красивая.

— Ну дак!

— Краси-ивая...— повторил Андрей.— И дети есть?

— Есть. Сынишка. Алик. Это он нас как раз и фотографирует.

— А вот это кто, с тросточкой?

Эль-де-през протянул руку и отобрал у него фотографию.

— Много будешь знать, знаешь, что будет?

— Гос-с-с... Подумаешь, тайны! Подожди, а что там у тебя написано? Покажи!

Эль-де-през показал, и с удовольствием. На обороте четким детским почерком написано было (фломастером): «Эль-де-презу — с благодарностью за все». И витиеватая неразборчивая подпись. И дата: июль прошлого года. Числа нет. Наверное потому, что снималось в один день, а надписывалось — в другой.

— А почему его зовут Аятолла?..

— Его зовут Хан Автандилович,— резко сказал Эль-де-през.— Или господин Хусаинов. А ты не повторяй глупостей.

Андрей молча смотрел на него: какой он огромный, черный, грозный и праведно встопорщенный. Потом сказал:

— Кайлас помнишь?

— Ну,— ответил Эль-де-през, сразу же помягчев и сделавшись Серегой, Сержем, Серым, Щербатым.

— Черная гора. Долина Смерти. Титапури...

— «Обитель голодного черта»...— Сережа уже больше не сердился, взгляд его сделался задумчив.

— Если бы я тогда самого господа бога назвал бы аятоллой, разве ты на меня обиделся бы?..

— Ну, я вообще-то неверующий...— Эль-де-през от внезапных воспоминаний совсем смягчился было, но тут же посуровел.— Всё! — сказал он Луковому Существу.— Ты меня достал. Пошел с глаз моих, чтобы я тебя не видел. Игрушки убрать! Десять минут тебе на все... Дай сюда вилку...

Горе Луковое радостно отдало вилку с куском котлеты, съехало со стула и радостно затопало вглубь квартиры, мелькая вылезшей из рейтуз клетчатой фланелевой рубахой.

— Побеждает не сила,— сказал Андрей поучительно,— побеждает терпение.

— Это ты о чем? — спросил Эль-де-през с подозрением, но уточнять не стал — сунул в рот остаток котлеты, а вилку, не вставая и не прицеливаясь, с большой точностью переправил через всю кухню в мойку. С лязгом.

— Слушай,— сказал Андрей задумчиво.— Как ты думаешь, почему меня детишки не любят?

— А кто тебя такого вообще любит?

— Гм. И то верно. Впрочем — женщины! Женщины меня любят.

— Это не любовь,— сказал Эль-де-през пренебрежительно.— Это — похоть. При чем здесь любовь?..

Андрей почему-то сразу же вспомнил анекдот про мужика, который своей законной решил однажды показать по видику крутую порнуху, но рассказывать анекдота не стал: у Сережи всегда была некая затрудненка с юмором. Смешные истории он не воспринимал и ничего смешного в этой жизни никогда не замечал. «Ну, не знаю, не знаю,— говаривал он.— Со мной никогда ничего смешного не происходит...» Он был строгий парень. Но зато надежный, как «роллс-ройс».

— А откуда он знает, что ты — Эль-де-през? — спросил вдруг Андрей и на этот раз был понят немедленно, хотя, казалось бы, речь шла уже совсем о другом.

— Сам удивляюсь,— признался Эль-де-през.— Знает откуда-то. Он вообще все знает.

— Но ты ему не говорил?

— Конечно, нет. Чего ради? Да и когда? Он со мной два раза всего разговаривал: когда я нанимался к нему и когда он меня отправлял в эту командировку...

— В какую еще командировку?

— Ну, в охрану к этому, к Профессору, к кандидату нашему.

— А-а-а...

— Я ведь не насовсем к нему перешел,— объяснил Эль-де-през, доставая из холодильника новую банку.— К кандидату. Я ведь только на время выборов.

— Ну и что, тяжелая работа?

— Да нет. Нормальная. Я бы даже сказал — пустяковая. На хрен кому он нужен, этот наш Профессор?

— А говорят, у него рейтинг вдруг круто пошел,— заметил Андрей между прочим.

— Да, говорят. Я утром сегодня в штаб звонил — там все на ушах стоят от восторга. Но вообще-то странно — с чего бы это вдруг?

— Представления не имею,— соврал Андрей. Кое-какие соображения по этому поводу у него были.

— Вообще-то какая разница? Я жду не дождусь, когда вся эта залепуха кончится и я вернусь к ребятам. Надоело. У этого профессора команда — все какие-то нервнобольные. Дерганые какие-то.

— А ты чего ждал? Высокая политика.

— Ну да, высокая...— проворчал Сережа Эль-де-през.— Выше дерева стоячего. Может, все-таки дать тебе еще пива? Что ты пустую банку сосешь второй час?

— Спасибо, не надо. Мне и так хорошо.

— Потолстеть боишься?

— Нет. Я вообще-то ничего не боюсь, как ты, может быть, слышал.

— Слышал, слышал... Бодигард из тебя никакой.

— Это почему же?

— А потому,— наставительно произнес Эль-де-през, вскрывая очередную банку,— что настоящий бодигард должен всего бояться. Только тогда от него и будет толк. Тетка в толпе в зеркальце посмотрела — губы подкрасить,— а ты обязан тут же вздрогнуть и насторожиться.

— Ну и работка! Так весь день и вздрагиваешь?

— Ей-богу. Как проклятый. Но виду, конечно, показывать нельзя. С виду ты должен быть — как египетский сфинкс. «Каменная задница»...

Он засмеялся, но как-то невесело. Лицо его словно бы вдруг постарело, глаза остановились.

— Дурак какой-нибудь, собачник гуляющий, посмотрит как-нибудь не так...— Он замолчал, оборвав самого себя, а потом пробормотал: — Знаешь, я все-таки позвоню туда еще разок...— Он вытянул из заднего кармана мобильник и нажал кнопку.— Чего-то мне неспокойно вдруг сделалось, ей-богу,— объяснил он, как бы извиняясь.— Сам не понимаю, почему... Толян, ты? Да, это я. Ну, как вы там?.. Точно?.. Водку празднуете? А не рано?.. Я говорю, не рано начали?.. Да? Ну, слава богу... Ну, давай. Давай, говорю!.. До завтра... Гудят! — объяснил он Андрею, заметно повеселев.— Гудят, корифеи! Не рано ли начали?

Глава десятая

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ФИНАЛ

Он стоял на кухне перед раскрытым холодильником, поедал бутерброд с яичницей и смотрел, что бы еще такое из холодильника добыть. Во дворе за окном падал светлый медленный снег, было тихо и спокойно. Он с наслаждением ни о чем не думал. Сегодня ему замечательно легко и хорошо ни о чем не думалось, и внутри себя он ощущал легкую и теплую, ласковую пушистую пустоту и совсем ничего больше, кроме этой пустоты. Впервые, может быть, за последние полгода.

Он превосходно выспался и с удовольствием предчувствовал, как будет доводить до кондиции разоренную гостиную, которую вчера уже в значительной степени привел в порядок, но — недостаточно, безусловно недостаточно. Комната по-прежнему вызывала в памяти старый рекламный слоган: «Так выглядит под микроскопом трудновыводимое пятно». Надо этим случаем воспользоваться, подумал он с приятным предвкушением. Расставить наконец книги должным порядком: собрания сочинений — отдельно, беллетристику — отдельно и чтобы по алфавиту, фактическую литературу — отдельно, на стеллаж слева...

Звонок в дверь раздался (он автоматически посмотрел на дедовские часы с кукушкой) ровно в двенадцать: дзинь, дзинь, дзинь-дзинь-дзинь — кто-то из «дедов» заявился. Скорее всего, Матвей — с сосредоточенно целеустремленным своим носом и застывшим раз и навсегда мучительным состраданием на длин-

ном лице. Надо сразу же погнать его за жратвой, вот что. Тут главное — не давать человеку опомниться, а хлеба в доме нет...

Но это оказался не Матвей: какой-то совсем незнакомый человек в берете смотрел на него из-под трагических бровей трагически-черными немигающими глазами. И с ним, за спиной у него, виднелись в вечном сумраке лестничной площадки еще какие-то люди, и увидев их — еще не узнав, а только лишь обнаружив,— Вадим задохнулся, и все, что вроде бы успокоилось в нем со вчерашнего, улеглось было совсем, сделалось прошлым и необратимым, снова вспучилось и взорвалось, словно бомба угодила в старое болото. Он даже, кажется, ослеп на мгновение от этого страшного взрыва внутри, он понял, кто это (как собака понимает — без слов, без имен, без названий), и тут человек в берете произнес:

— Здравствуйте, Вадим Данилович. Я к вам всего лишь на несколько минут, вы разрешите?

Вадим послушно отступил от него в прихожую, и человек с трагическими бровями двинулся следом, на ходу снимая свой берет, а за ним выступили из сумрака и те двое, причем впереди — элегантный, в кожаном пальто до пят, аристократически бледный, отвратительно знакомый, с лакированной указкой-тросточкой в правой руке.

И тогда Вадим сказал хрипло:

— Нет. Этому — нет. Не позволяю!..

И человек с беретом сейчас же (ничуть не удивившись и очень вежливо) попросил аристократически-элегантного:

— Эраст Бонифатьевич, побудьте снаружи. Пожалуйста. И ты, Семен тоже. Я — ненадолго... Вы разрешите мне раздеться? — спросил он у Вадима.

— Да,— сказал Вадим перехваченной от приступа внезапной ненависти глоткой.— Да, конечно.

Ненависть отступила так же внезапно, как и налетела, но мысли и чувства его беспорядочно метались. Этот (совершенно очевидно было), именно этот ведь человек мучил, терзал, запугивал его (и до позора запугал же, до кровавого поноса!) последние полгода, это же был нелюдь — зверь, нравственный урод, медленный палач, компрачикос поганый, сволочь, этический отброс...

Его надо было сейчас же ударить. Пнуть ногой в коленку. Плюнуть ему в лицо... Но вместо этого он почему-то, совершенно необъяснимым образом, вопреки естеству, вопреки разуму и логике, испытывал к нему сейчас самую дружескую симпатию, ласковый резонанс какой-то и даже почему-то сочувствие. Было почему-то ясно, что он, этот человек, сам находится сейчас в мучительном душевном раздрае, нравственно болен, нуждается в простейшем человеческом сочувствии, и очень хотелось это сочувствие как-то выразить...

...Например, помочь ему раздеться. И Вадим взял у него из рук невесомую меховую куртку и повесил ее на распялки, а черный мефистофелевский берет с каплями полурастаявших снежинок положил на столик под зеркалом.

— Заходите,— предложил он с максимально доступным ему радушием и повел его в гостиную, хотя сначала хотел — в кухню, куда позвал бы любого из своих. Но это все-таки был не свой. Очень симпатичный, очень и явно нуждающийся в душевном уюте и даже в помощи человек, но — никаким образом не свой. Чужой. Сугубо посторонний... Да и невозможно было вот так сразу, безо всякой подготовки, совсем уж без всякого наказания (пусть даже и формально-показного) забыть все обиды и раны, которые наносились еще совсем недавно.

Удивляясь этим своим несвязным и даже противоестественным каким-то ощущениям, он пригласил гостя в мамино кресло, сам сел напротив и вполне светским тоном осведомился: «Может быть, чаю?» Он точно знал, что никакой чай им не понадобится и что светского разговора не будет вообще, да и не умел он вести светские разговоры, однако же что-то заставило его задать этот вопрос и выжидательно улыбнуться в ответ на вежливый и обстоятельный отказ.

— Спасибо, нет,— сказал гость с самым серьезным видом.— Для утреннего чая — поздновато, а до файф-о-клока, согласитесь, еще довольно далеко...— Он сделал микроскопическую паузу и представился: — Меня зовут Хан Автандилович. Мы ведь незнакомы?

— Очень приятно,— сказал Вадим. Надо же было что-то ответить. (Хотя на самом деле следовало бы, наверное, ответить

совсем по-другому: «Вот тебе и на — незнакомы! Да у меня от этого нашего с вами незнакомства вся шкура, можно сказать, облезла. Особенно на пальцах». Впрочем, это было бы грубо. Неприлично, неадекватно грубо. И неуместно.)

— А еще меня частенько зовут Аятолла,— продолжал Хан Автандилович с прежней печальной непринужденностью.— Вы, вероятно, это знаете. Но так меня зовут только те, кто со мною не знаком.

— Да,— сказал Вадим.— Понимаю вас.

И он, действительно, очень хорошо понимал сейчас, что только человек совершенно уж посторонний и чужой, никогда не слышавший этого мягкого печального голоса, никогда не видевший трагически заломленных бровей и длинных черных волос, обрамляющих узкое бледное лицо,— только совсем уж безнадежный дикарь и варвар, отпетый жлоб, бомж подвальный, способен был бы связать такого славного печального человека с сумрачной этой азиатской кличкой — Аятолла.

— Я вижу, тут у вас ремонт? — полувопросительно, полуутвердительно произнес гость, откровенно озираясь.

— Да... вроде этого... Навожу порядок...— Вадим вспомнил, откуда возник беспорядок и вновь почувствовал было приступ злобы, но снова встретился глазами с печальным взглядом Хана Автандиловича, и снова злоба испарилась, заменившись ощущением сочувствия и готовностью сопереживать как только понадобится.

Наступило короткое молчание, пятнадцать секунд обоюдной неловкости — печальный человек словно бы не знал с чего начать новую страницу разговора и колебался, внутренне ежась от собственной неуверенности. Вадим почти физически ощущал эти колебания и эту неуверенность, он и рад был бы помочь, рад был бы сказать что-нибудь, чтобы разрушить молчание, но совершенно не представлял себе, что именно. Не о снеге же за окном заводить было разговор?..

(И еще он подумал вдруг, что гость вообще-то не так уж уверен в себе и вальяжен, как стремится продемонстрировать и как это показалось на первый взгляд. Была в нем на самом деле какая-то неуловимая червоточинка, скрытое опасение какое-то,

может быть, даже страх? И это было непонятно, и неприятно, и раздражало, словно заусеница рядом с ногтем.)

— Прежде всего,— начал все-таки наконец новую страницу Хан Автандилович,— позвольте мне поздравить вас. Вы совершили подвиг, который... Да, да, да — не спорьте, пожалуйста: каждый, кто совершает невозможное, совершает подвиг!

Вадим спорить намерения вовсе не имел, хотя и соглашаться с неожиданными этими и даже чрезмерными комплиментами было бы тоже как-то странно. Как минимум — нескромно. Он с удовольствием ответил бы сейчас каким-нибудь рекламным слоганом, да как назло именно сейчас ничего подходящего в голове не возникало, и он только плечами повел в том смысле, что «да ладно... чего уж тут... не стоит разговора...».

— Замечательно, но вы совсем не выглядите счастливым,— сказал Хан Автандилович удивленно.— Вы выглядите уставшим.

— Так оно и есть,— согласился Вадим, поражаясь проницательности гостя.— Я устал, как Сизиф,— добавил он вдруг, неожиданно для себя самого.— Представляете, как устал Сизиф, которому удалось наконец взгромоздить на гору этот свой камень?

(Ну, надо ж, как красиво у меня это сформулировалось, подумал он с удивлением. И откуда что взялось?..)

— Представляю,— сказал Хан Автандилович с готовностью.— Очень хорошо я его себе представляю и думаю, что он совсем не чувствовал себя счастливым.

— «Счастье можно найти только на проторенных путях»...

— Правда. Откуда это?

— Пушкин любил это повторять. Из Шатобриана, кажется. Или из Монтеня? Не помню. Мне это показалось очень точным: счастье это — любовь, семья, друзья... Обязательно — хорошо известное, обыкновенное, никакой экзотики...

— Да. Очень точно. Очень.

И снова наступило натянутое молчание. Тема счастья казалась исчерпанной, тема сизифовой усталости — тем более. На лице Хана Автандиловича проступило страдание, но он справился с собою и сказал, словно начиная некую лекцию:

— Тут ведь все дело в том, что в современной России большим начальником может быть избран либо бывший партайгеноссе, либо так называемый крепкий хозяйственник, либо силовик...

— Или криминальный авторитет,— вставил Вадим не без яду. Он просто не смог удержаться. Напрашивалось же.

— Да, разумеется,— Хан Автандилович яду предпочел не замечать, а может быть, и в самом деле не заметил.— Просто у нас криминальный авторитет есть некая разновидность силовика: скрытая, тайная, грозная сила... Но я о другом. Я хотел сказать, что исключения возможны, хотя и маловероятны. Более того, они, может быть, даже опасны. Выберут, например, врача — и накачают себе на шею Папу Дока в российском варианте. Представляете себе Папу Дока в российском варианте?

— Ну, это как сказать,— возразил Вадим.— Виртуальная история всегда страшнее реальной.

Хан Автандилович беззвучно похлопал в ладоши.

— Очень точно. Но почему вы решили, что российский Папа Док — это виртуальная история?

— Потому что виртуальная история — это такая, которая могла бы осуществиться, но не осуществилась.

— Она осуществилась! — сказал Хан Автандилович проникновенно и с напором.— Спасибо вам, но она — именно — осуществилась.

Вадим некоторое время смотрел в его бледное, печально улыбающееся лицо.

— Но ведь вы же сами хотели, чтобы стал Интеллигент,— проговорил он наконец.— Не понимаю...

— Я хотел? — удивился Хан Автандилович.— Вы ошибаетесь! Мне было совершенно безразлично, уверяю вас... Сами подумайте, какое мне до всего этого дело? Другой вопрос, что сама по себе попытка повернуть ход событий... повернуть «трубу большого диаметра» — так, кажется, вы это называете? — это ведь чудо. Поверить в это изначально было невозможно...

— Подождите,— прервал его Вадим нервно.— Вы хотите сказать, что это не вы заказали мне... повернуть трубу?

— Ну разумеется, не я! Вы придаете моей особе слишком уж большое значение. Я никогда не осмелился бы сам поставить перед вами такую задачу. Но меня попросили, и я никак не мог позволить себе отказать.

— Кто попросил?

— А вы не знаете? Не догадались?

— Нет.

— Нет? — Хан Автандилович явно находился в большом затруднении. Похоже было, что он уже сожалеет о затеянном разговоре.— Но в таком случае я вовсе не уверен, что могу... Зачем? Нет же никакого смысла...

— Нет никакого смысла — в чем?

Хан Автандилович не ответил. Врать он явно не хотел, а говорить правду не хотел еще больше. Выдержав совершенно недвусмысленную и откровенную паузу, он сказал вдруг:

— В конце концов, какая вам разница? Главное ведь не это. Главное, что все ваши проблемы оказались теперь решены. Все. Вы победили. А значит, как говорит один мой знакомый, «и можете дышать себе свободно».

Это было довольно пошлое искажение какого-то очень знакомого стиха. Плоская шутка, по сути дела. Совершенно здесь неуместная. Но произнесена она была с таким внезапно прорвавшимся и отнюдь не шуточным высокомерием, и Хан Автандилович сделался вдруг так недоступен и величествен, что Вадим (удивляясь себе) вдруг внутренне вострепетал и обнаружил на лице своем отвратительно искательную улыбку. Он тотчас же вспомнил Пушкина: «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах», и, чтобы побороть это внезапное и стыдное наваждение, произнес с рекламным пафосом:

— «Свободное дыхание! Быстро и надолго!»

Однако Хан Автандилович, видимо, никогда не смотрел телевизор, почему и дурацкого этого выпада не понял совсем. Он только брови свои трагические вопросительно поднял, словно ждал продолжения или хотя бы объяснения, но ничего не дождался и повторил снова:

— Какая вам разница, Вадим Данилович? Вы лучше скажите мне, что вы теперь станете делать? Вы не задумывались еще, что вы теперь станете делать?

Это был хороший вопрос, потому что Вадим, конечно, ни о чем таком не задумывался. И не собирался задумываться. Сейчас ему хотелось только понять, кто же его «заказал» и зачем.

Совершенно бесполезное и даже дурацкое желание, но зато вполне естественное.

— А почему я вообще должен об этом задумываться? — спросил он с раздражением.

— А потому,— сказал Хан Автандилович проникновенно,— что вы сделались теперь в некотором роде источником эволюции.

— Ну и что?

— Да, собственно, ничего особенного... Разве что... придется вам быть повнимательнее. Я читал где-то: эволюция уничтожает породившие ее причины...

— Я тоже это читал,— сказал Вадим медленно.— И тоже — где-то...

Телефонный звонок вдруг раздался неожиданно, так что оба почему-то вздрогнули, и Вадим вновь (мимоходом) отметил про себя, что гость его только выглядит вальяжно, а на самом деле напряжен и словно бы ждет все время какой-то неприятности. Он взял трубку.

— Слушаю.

— Это Андрей,— сказал Страхоборец.— Он у тебя?

— Д-да... А кто, собственно?

— Где сидите? В гостиной?

— Ну.

— Или на кухне?

— Нет, в гостиной. А что?

— Ничего. На всякий случай,— непонятно объяснил Страхоборец.— Ты, главное, не дрейфь,— добавил он.— Продержись еще минут пять, мы сейчас будем.

— Кто это — «вы»? — спросил Вадим, но Страхоборец уже дал отбой. Вадим повесил трубку и, пожав плечами, сказал гостю: — Странный звонок какой-то. Ребята, видимо, сейчас зайдут...

Он сказал это в знак извинения, но гость понял его совсем по-другому и сразу же засобирался.

— Ну, разумеется, разумеется...— заспешил он.— Извините, я засиделся у вас, а ведь всего-то и хотел, что выразить вам свое восхищение... И кстати, вот...— он полез за пазуху, что-то там ухватил, но зацепился, покраснел от неловкости, потом все-таки вытащил и положил на середину стола обандероленную пач-

ку долларов.— Не сочтите, пожалуйста, за...— Тут лицо его вдруг исказилось необычайно — словно его прижгли огнем или он увидел отвратительное привидение.— Что это?! — почти закричал он, судорожно вскочив и загораживаясь стулом.

Вадим оглянулся и тоже вскочил. Из спальни, распространяя объявившийся вдруг из ничего неприятный хрустящий шелест, плыло к ним по воздуху что-то черно-полосатое, большое, какая-то воздухоплавающая медуза, размером, как показалось Вадиму, с ладонь,— свисали пучком неподвижные, как бы парализованные щупальца-лапки, длинное черно-полосатое тело беспричинно содрогалось, и вертолетным винтом крутилось над всем этим прозрачное шелестящее мерцание. Это была гигантская оса. Тигровый шершень. Прошлым летом гнездо их объявилось вдруг над балконом, и пришлось вести настоящую войну с этими чудовищами в палец длиной — бесстрашными и опасными, словно летающий аспид.

— Ёк-кэлэмэнэ!..— прошептал Вадим, невольно отступая.

Шершень уже плыл над столом, он направлялся прямо к Хану Автандиловичу, он словно целился собою в него — медленный, страшный, неотвратимый, и Вадим в отчаянии ударил по нему рукой, не успев ни подумать о возможных последствиях, ни испугаться по-настоящему.

Он — попал (ощущение в руке было такое, словно он ударил по пучку сухих листьев). Шершень упал на стол, прямо на пачку денег и распластался на ней, растопырив полосатые лапы, все так же подергиваясь длинным полосатым брюхом и бессильно дрожа перепончатыми желтоватыми крылышками. Он был чудовищно, неестественно огромен — со средний палец длиною,— Вадим никогда не видел таких и даже не думал, что такие бывают.

— Спасибо,— сказал Хан, еле шевеля онемевшими губами и сейчас же добавил с отчаянием в голосе: — Еще один! Гос-споди...

Из спальни с хрустящим гудением плыл второй — еще больше, еще страшнее, еще опаснее на вид. Но этот тянул с явным трудом, как подбитый бомбардировщик, еле ползущий к родному аэродрому, не было, конечно, за ним хвоста маслянистого дыма, но была эта механическая натуга, почти немощь, неуверенность какая-то, словно летел он вслепую, не понимая, куда летит

и зачем. «Вертолеты — это души подбитых танков»,— вспомнил почему-то Вадим ни с того, ни с сего. Этот гигантский, вялый, полудохлый бомбовоз тоже казался чьей-то душой — душой какого-то подземного ядовитого чудовища,— и тоже вовсе не бессмертной, а наоборот — подыхающей на лету. Он еле дотянул до стола и упал неподалеку от первого, сантиметрах в двадцати от него, но в отличие от первого он даже не шевелился — припавши к скатерти, лежал неподвижно и бессильно, словно раздавленный.

Хан Автандилович был уже в прихожей. Панически суетясь руками и всем телом, он судорожно напяливал на себя куртку, промахиваясь мимо рукавов, болезненно серый, с проступившей вдруг многодневной угольной щетиной,— губы его все время шевелились, он бормотал что-то неразборчивое, что-то про «второй раз уже...» и «это все неслучайно... это кто-то грозит...». (Или «шалит»?) Вадим помог ему натянуть куртку, отряхнул от капель и подал берет, он ничего не понимал, ситуация представлялась ему почти фантасмагорической, ничего не понятно было с этими чертовыми шершнями, пробудившимися вдруг посреди зимы (и где они до сих пор были? под кроватью? за диваном? в платяном шкафу?), и особенно непонятна была эта паника, этот ужас, почти неприличный, который терзал сейчас его печального гостя. Никакой печали в нем уже не оставалось. Никакого достоинства. Одна только необъяснимая патологическая паника...

Тут грянул звонок в дверь, и сейчас же кто-то ударил в эту дверь кулаком. Послышались вдруг возбужденные и неприятно громкие голоса — три или четыре голоса, мужские, вроде бы незнакомые.

— Господи! — воскликнул Хан Автандилович.— Да они там сейчас перебьют друг друга!

Он распахнул входную дверь, и на лестничной площадке, в вечном тамошнем вонючем сумраке, освещенные только люстрой из прихожей, обнаружились знакомые лица: Андрей-Страхоборец (высокомерный и презрительный, изрыгающий краткие ругательства), Юра-Полиграф (с продовольственным пакетом в обнимку, румяный и даже красный, как яблоко, и тоже изрыгающий) и давешний Семен (со своим серым ежиком, начинающим-

ся от бровей, и — черт побери! — с самым настоящим пистолетом наголо). Все они одновременно орали друг на друга, и ни слова разумного было не разобрать, кроме абсолютно черного мата.

Хан Автандилович преобразился — мгновенно и неузнаваемо. Не теряя ни одной секунды, он рванулся встать между ними, раскинув руки крестом.

— Стоп-стоп-стоп! — закричал он голосом властным и неожиданно громким.— Отставить! Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны! Семен, убери ствол. Немедленно! Алеша! (Это — к кому-то невидимому, к тому, видимо, кто стоял пролетом ниже и тоже, надо полагать, со стволом наголо.) Алексей, успокойся! Ничего страшного не происходит. Никто ни на кого не собирается нападать, не правда ли, господа? (Это уже — Страхоборцу, по-прежнему очень громко, но самым доброжелательным тоном и с самым доброжелательным выражением лица.)

— Святая и истинная правда,— тотчас же прекратив изрыгать черную брань, откликнулся Страхоборец — прекрасный, благородный и величественный, как сам король Артур в натуральную величину. Или сэр Найджел. Или лорд Гленарван. Смотреть на него стало одно удовольствие — если бы не дрожь в коленках при мысли, что застывший в классической боевой позе Семен (а равно и невидимый отсюда Алеша) сейчас откроет беглый огонь из своего огромного никелированного пистолета, который он и не думал «убирать в ножны».

— По крайней мере, МЫ...— Страхоборец сделал такой мощный акцент на этом «мы», что даже дал маленького петуха, но тут же поправился: — Мы отнюдь не собираемся нападать. Но мы намерены защищать! И самым решительным образом.

— Кого и от кого? — осведомился Хан Автандилович, делая шаг в сторону, чтобы рукой опустить все-таки к полу никелированный ствол непреклонного Семена.

— Вы прекрасно знаете, кого и от кого,— объявил Страхоборец высокомерно.— Не притворяйтесь! Всем же все известно. Вы лучше скажите мне, пожалуйста, ведь вы сегодня весь день встречаетесь с мелкими, но омерзительными неприятностями, сударь? Не так ли?

— Так,— сказал Хан Автандилович, помедлив лишь самую малость.

— Я надеюсь, у вас хватило сообразительности понять, что это — отнюдь не случайные совпадения?

— Так это — ва-аша работа...— протянул Хан Автандилович с некоторым даже удовлетворением.

— Представьте себе — да.

— Господи, но зачем?!

— Мы хотим, чтобы вы оставили в покое нашего друга.

— Вы имеете в виду Вадима Даниловича? Но у меня нет к нему никаких претензий! Мы с ним в прекрасных отношениях. И я глубоко уважаю и ценю его...

— Это что-то новенькое,— процедил сквозь зубы Страхоборец и вопрошающе посмотрел на Юрку-Полиграфа.

Юрка-Полиграф (трезвый как стеклышко и напряженный, как перед большой дракой) уже нацелился на Хана Автандиловича, словно пойнтер на вальдшнепа. Он перехватил взгляд Страхоборца и кивнул — коротко и отчетливо,— будто гербовую печать поставил на заверенный текст. И тогда Страхоборец поглядел уже на Вадима, недоуменно поджавши губы самым комическим образом.

— Мать вашу наперекося,— сказал ему Вадим пересохшей глоткой. Голос у него наконец прорезался.— Защитнички хреновы...

На этом разборка (она же стрелка, она же, если уж на то пошло, терка) благополучно закончилась, и высокие разбирающиеся стороны разошлись, вроде бы довольные собой и вполне, вроде бы, удовлетворенные. По крайней мере, внешне все это выглядело именно так. Хан Автандилович, раскланявшись со всеми остающимися, проследовал в сопровождении Семена и Алеши вниз (к своему «мерседесу»), а навстречу им, демонстративно не спеша, с чувством большого достоинства поднялись: Вельзевул, имевший вид насмешливо-победительный, и Матвей — легкомысленно крутящий на указательном пальце цепочку с автомобильными ключами и никого не желающий видеть в упор. Тут уж обошлось без каких-либо поклонов-реверансов, хотя и вполне на уровне упрощенного дипломатического протокола (то есть,

прохладно, но без взаимных грозных выпадов, окриков и обнажения стволов).

А потом вся компания дедов с грохотом, с шарканьем и победными возгласами ввалилась в квартиру, сметя собою хозяина с порога его собственного дома. Напряжение боевой схватки слетело с них — жить им стало легко и хорошо, о т п у с т и л о,— они разом все сделались румяные, веселые, громогласные и дьявольски доброжелательные ко всему на свете.

— Какие тут у нас натюрморты зелененькие! — вскричал Вельзевул, едва только оказавшись в гостиной.— Где такие надыбали, Вадим Данилович?

Вадим молча показал ему фигу и забрал пачку в задний карман джинсов (который с молнией). Шершней на столе уже не было. Словно их не было вовсе и никогда.

Но они — были.

— Как тебе мои питомцы? — продолжал Вельзевул, сбрасывая с себя куртку и швыряя ее в пространство.— Как тебе мои Vespa crabro? Произвели необходимое впечатление? Аятолла наш, я полагаю, в штаны надундолил? Очаровательные существа, не правда ли? У Брема, между прочим, сказано: «Гнезда их достигают очень почтенных размеров — почти величины ведра». Но старина Брем не видел нынешних шершней-мутантов!

Вадим хотел спросить его, где эти впечатляющие «vespa crabro» отсиживаются в данный момент и не могут ли они пожаловать к нему, Вадиму, ночью, но Вельзевул его не слушал — с тем же азартом он уже рассказывал (всем желающим слушать и не желающим — тоже), как утром устроил Аятолле «маленький уютный балаганчик» с отборными мокрицами (Oniscus asellus) в главных ролях. И тоже с мутантами, разумеется.

— ...С мутантами получается лучше всего, они послушные, вялые, на все согласны, ты меня понимаешь?.. Тут уж он в портки точно надундолил! Гарантирую!.. Жалко, что никто этого не видел, но я и так знаю: надундо-олили его святейшество — надундолили от всей души!..

Конечно же, он был сегодня герой, наш Вельзевул,— тощий, голенастый, костлявый Повелитель Мух, он же Рмоахал, он же Главатль, он же Тольтек,— достойный наследник расы древних

атлантов, силой слова и мысли повелевавших животными и растениями. Он нашел управу на непобедимого владыку. Он принудил его отказаться от злобных замыслов. Он заставил его надундолить в портки... Но слушали его все равно невнимательно, потому что он был — трепло. Его обнимали за костлявые плечи, похлопывали по сутулой спине, трепали ему и без того растрепанную гриву (желтую, как у льва), Матвей, расчувствовавшись, попытался его даже облобызать, но, главным образом, занимались все не Вельзевулом, а подготовкой пира победителей: откупоривали принесенное с собой пойло, раскладывали по тарелкам снедь, требовали у хозяина вилки-ложки... Они галдели и веселились — победители. Они ни черта не понимали, что произошло. Им казалось, что отныне все задачи благополучно разрешены и что именно они эти задачи разрешили.

И вообще все они сегодня были герои. Все как один. Они выследили Аятоллу и вели его по городу с самого утра. Герой-Матвей вцепился в его ослепительно белый «мерседес» как бульдог в штанину и не отпускал гада от себя ни на шаг — и это у него получалось вполне профессионально, если не считать случая на углу Московского и Фрунзе, где он, увлекшись преследованием, чуть не впилился юзом в белую роскошную корму, однако же бог спас.

Герой-Андрей провел переговоры с противником на недосягаемой для обыкновенного человека дипломатической высоте: задавил гада личным превосходством и, вне всяких сомнений, перематерил матершинника Семена с его сраным пистолетом. А что касается героя-Юрки Полиграфа, то он был как всегда точен, однозначен и чисто конкретен...

...За все эти подвиги было выпито с бурным энтузиазмом и даже с некоторой жадностью, вновь наполнено и вновь выпито же. В головах зашумело теперь уже и от спиртного тоже. Матвея потянуло спеть, и он незамедлительно спел — старинное, давно уж всеми позабытое и вышедшее из употребления, но вечно прекрасное:

По дороге в Бигл-Добл (по дороге в Бигл-Добл!),
Где растет тенистый топ'л...

И Вельзевул тотчас же подхватил («четвертым голосом»):

Шел веселый паренек, не жалел своих сапог,
Веткой вслед ему махал топ'л...

Выяснилось вдруг, что песню эту знают все, и все почему-то встали (со стаканами на изготовку), торжественно и разом, словно при исполнении любимого гимна.

Знал веселый паренек: ждет любимый городок,
Ждет его родной Бигл-Добл!..

...Что за чертовщина, думал Вадим, старательно выводя энергичные синкопы. Что это нас разобрало вдруг? Что за всеобщая, внезапная и взаимная любовь?.. Мысли у него цеплялись друг за друга и путались, превращаясь в «бороду», знакомую каждому рыболову. Из какой-то неожиданной петли вдруг выползло: «Эволюция уничтожает породившие ее причины...» Это надо было бы обдумать. А, впрочем, зачем? Может быть, наоборот, ничего не обдумывать, а лучше еще раз выпить... и потом снова налить. В конце концов, плевать мне на эволюцию. Вообще. Главное, что все мы здесь братья... и навсегда. А где вы все были, когда я дристал от страха? — спросил он, сводя брови самым грозным образом. Где? Неделю назад всего?.. И вдруг — вот — словно просветление на вас нашло... И сразу же, строго: не надо так думать. Это дурно. Это недостойно. О друзьях так не думают. О братьях... Не суди, брат! (Это, кажется, Юрочка вмешивается. Полиграф.) А кто, собственно, судит? Я? И не думаю даже. Страшный Суд. Районный. «Решение районного Страшного Суда утверждено в городском Страшном Суде и теперь будет опротестовано в Верховном Страшном Суде»... О хищные жертвы века! В конце концов, все люди слабы. Все, совсем без исключения. И особенно слабы так называемые супермены: они не способны справиться с собой и отыгрываются на других. Тоже слабых... Как так — «глупости»? Хотя-а-а... А пусть даже и глупости. Между прочим сказано: хочешь, чтобы тебя услышали — говори глупости...

...Тут Андрей объявился рядом, обнял Вадима за плечи и принялся ласково уговаривать его поехать с ним куда-то... Куда-то далеко, в непроизносимую даль... Там у него есть страна холмов,

целая планета холмов, их там тысячи — округлых одинаковых невысоких сопок, весной шелковисто-зеленых и мягких, летом буро-желтых, колючих, источающих зной... а между ними прихотливой змеей (гигантской драконьей кишкой) извивается цепь сорока семи озер, библейски фантастических и прекрасных: первое — зеленое и твердое видом, словно малахит, другое — неправдоподобно желтое, маслянистое и как бы мертвое, третье — гагатово-черное (не агатовое, а именно гагатовое, гагат — это такая разновидность антрацита), оно черное, но когда смотришь под известным углом к солнцу, твердая стеклянная вода брызжет всеми цветами радуги, спектрально чистыми, словно это не вода, а экран какого-нибудь супермонитора... И там надо будет отлавливать раков... там водятся раки, разноцветные и тяжелые, словно из золота... собственно, они и в самом деле из золота: они вытягивают золото из воды и из ила — золото, молибден, уран... Каждый такой рак — пара тысяч баксов, но разве в баксах дело?.. Ты же лучше меня знаешь, что дело совсем не в баксах.

...Знаю. Но зачем тебе я понадобился? Возьми лучше Вельзевула, он этих твоих раков будет «уговаривать», как тараканов в ванной... Чудак, да я же для твоей пользы. Знаешь: уйди от зла — сотворишь благо. Знаю: уйдя от блага, не содеешь зла... Какое там благо: сожрут они тебя. Сегодня мы тебя отмазали, а завтра зазеваемся, и они тебя — ам!.. Ты ничего не понял, сказал ему Вадим. У меня все хорошо. А-атлично, Константин!.. Давай выпьем.

— Да тише вы, гробозоры! — заорал вдруг Матвей и, когда стало чуть тише (все, кроме Вельзевула, замолчали и воззрились на него), произнес несколько непонятных слов и закончил: — ...Твой Интеллигент-Профессор побеждает в первом круге: шестьдесят восемь процентов — чистая победа!

— Ну? — сказал Вадим, осознав (не сразу), что обращаются именно к нему.

— Пальцы гну! — рявкнул Матвей, поднимая над головой лэптоп, с которым он пристроился в уголочке на диване.— Экзитпол опубликовали... Фонд Сороса... У Профессора — шестьдесят восемь процентов, у Генерала — двадцать семь. Чистая победа в первом туре.

— У кого победа? — спросил Вельзевул, до которого, как правило, все доходило медленно. («Я понимаю медленно, но всегда!»)

— У Профессора!

— Как так — у Профессора? — проговорил Вельзевул, и взор его обратился на Вадима. И все воззрились теперь уже на Вадима, словно он совершил что-то — вдруг и неприличное.

Он пожал плечами.

— Так я что вам все время пытаюсь втолковать...— сказал он проникновенно.— Только вы же не слушаете.

Все молчали. Все словно протрезвели.

— Я же тебе говорю,— сказал Вадим, обращаясь к Андрею.— Меня не надо оборонять. У меня все о'кей...

— То есть ты сделал это? — сказал Андрей медленно.

— Ну. А что тут такого?

— Что тут такого? — повторил Андрей.— Он спрашивает: что тут такого?

— Сделал и сделал,— сказал Вадим.— Вот если бы я еще понимал: как?

Андрей сказал:

— Он нас спрашивает: как? Нас!

А Юрка-Полиграф сказал:

— То есть получается — мы зря корячились? Или не зря?

А Вельзевул сказал:

— Ни хрена себе — уха! Ты сам-то в это веришь?

А Матвей сказал:

— Ну, и что мы теперь будем с этим делать?

Это был уже не новый, но зато единственно правильный вопрос. Только вот никто не знал на него ответа.

...Ровно в двадцать два, когда избирательные участки окончательно закрылись и стало МОЖНО, запустили долгожданный митинг перед входом в штаб-квартиру. Мороз давил уже не на шутку. Уши щипало, и мерзли пальцы в перчатках, но под бронежилетом все равно было жарко, и от напряжения пот время от времени скатывался по животу и по спине. Эль-де-през и сам не понимал, откуда у него это напряжение и почему. На первый (да и на второй-третий) взгляд все было спокойно и вполне обыкно-

венно. Привычное множество запрокинутых лиц, округлившиеся от опасения пропустить хоть слово глаза, полураскрытые рты и лихорадочная эта готовность разразиться аплодисментами, как только подскажет интонация оратора. Оратор был, как обычно, на высоте. Он был совершенно уверен, что уже победил, но скромничал, обходил острые углы, однако самоощущения победителя не скроешь, и, может быть, именно поэтому он был сегодня особенно хорош, раскован и щедр, он даже шутил сегодня, чего обычно не позволял себе делать совсем («Толпа не любит шуток, толпа всегда мучительно серьезна...»).

По всей площади, черной от народа, поднимались в лучах прожекторов столбы белого пара из заваленных снегом канализационных люков, и облачка пара вырывались из каждого полураскрытого рта, снег в сугробах на обочине празднично серебрился, а там, дальше, где площадь и толпа уходили из круга света, снег мрачно поблескивал на ветвях деревьев и на кустах бульварчика,— там тоже стояли люди, но их было мало: это были случайные прохожие — из тех, что прогуливали по бульварчику своих собак.

И не успел Эль-де-през толком разобраться, почему появилось в нем это ощущение болезненного напряжения, как оттуда, из-за черно-белых мрачно мерцающих кустов, потянуло вдруг ледяной угрозой, от которой не было спасения. Это не прицеливание было, и вообще даже не «намерение совершить». Это было нечто, ни на что не похожее: угроза леденила глазные яблоки и была желтой и блестящей. Как свежий гной, но — ледяная. Он оцепенел, ощутив ее, и потерял несколько замерзших в беспомощности секунд, а потом вспомнил: то же самое было пару дней назад, в точности то же самое, и шло оттуда же — из кустов — и вдруг исчезло тогда, так же внезапно, как и появилось. А вот сегодня — не исчезало... длилось... наливалось нечеловеческой силой... грозило лопнуть, разразиться гибелью, безликой и неотвратимой. Ничего нельзя было сделать. Успеть было можно, а вот сделать — нельзя. Выпрыгнуть перед Профессором, закрыв его собой... схватить за пышную седую шевелюру, согнуть беспощадно пополам это импозантное туловище в мохнатом пальто, спрятать, затолкать за свинцовый фартук, наброшенный на балюст-

раду... просто поднять шухер... Все это, да, можно было успеть сделать, но все это было — он з н а л — все это было бесполезно. «Атас!» — сказал он ларингофону и успел еще увидеть удивленное лицо повернувшегося к нему Петюни Федорчука, но тут все, что он предчувствовал и чему помешать никак не мог, произошло.

...Светящееся яркое пятно появилось там, где стояли на бульварчике случайные зеваки,— словно включил кто-то странный расфокусированный фонарь. Продолговатое пятно, неровное, бугристое, с мутными потемнениями на нем... Пятно это стремительно наливалось желтым светом, клочки пара серыми тенями крутились по нему, все сделалось желтым на площади — толпа, столбы пара, запрокинутые лица... Это лицо, понял он вдруг. Чья-то посмертная маска, понял он. Золотая. Незнакомая... И тут ледяная влага замерзла вдруг у него на глазах, и он мгновенно вырубился — без какой-либо видимой причины, без боли, без дурноты, только вдруг яростно обожгло язык и глотку, словно он по неосторожности хватил раскаленного кофе.

...Но пахло совсем не кофе. Запах был сильный, незнакомый и, скорее, неприятный. Чистилище, подумал он отвлеченно — сквозь желтый туман. Он и сам не знал, откуда и почему всплыло у него в мозгу это слово, которое он слышал за всю жизнь, может быть, два раза и уж точно никогда не произносил вслух сам. Чистилище, чистилище, повторял он молча, пытаясь мучительно понять, почему все вокруг желтое и почему он сам не стоит уже, а сидит, прислонившись спиной к балюстраде,— ног и рук у него нет, горит ошпаренная глотка, глаза в орбитах ледяные и следят (сами собой, без всякого его на то желания), как Толян с Фанасом, согнувшись словно под бомбежкой, уволакивают в дом длинное мертвое тело в белом мохнатом пальто. Навстречу им, в клубах пара, выскакивали заполошные штабисты с ошалелыми лицами и ребята из внутренней охраны. И все это происходило в желтой плотной тишине, словно уши ему забило тугими влажными тампонами.

Петя Федорчук вдруг заслонил собою всю эту немую картинку — присел на корточки, заглянул в лицо, провел рукой перед глазами, и сейчас же тампоны из ушей пропали куда-то, и Эль-

де-през понял, что никакие это были не тампоны, а плотный истерический ор сотни надсадных глоток — соединенный вопль толпы в последнем градусе паники. И сквозь этот вопль Петюня спросил (вполне спокойно и даже деловито):

— Ну, ты как? Дырок нет?

— Не знаю,— сказал Эль-де-през и подтянул к себе непослушные ноги.

— Что это было? — спросил Петюня, помогая ему подняться.

— Не знаю...

Ноги были ватные, но держали, а на руках почему-то не оказалось перчаток, и обе ладони были в ссадинах — продольные ранки распухли, сочились сукровицей, и он машинально лизнул их, как в детстве.

— Ты его видел? — спросил Петюня. Лицо его, румяное и спокойное, ничего не выражало, кроме деловитого интереса. Смоляные волосы стояли торчком, как всегда, и как всегда он был аккуратен и готов к любому повороту событий. Только вот «макаров» у него в руке смотрелся не совсем все-таки обычно.

— Не знаю,— сказал Эль-де-през в третий раз и спросил сам: — Профессор как?

— По-моему, ...дец,— сказал Петюня.

Он больше уже не вглядывался в лицо Эль-де-преза, он смотрел поверх его головы, на площадь, искал там глазами что-нибудь достойное внимания и, видимо, не находил.

— Точно, не видел? — спросил он снова.

Тогда Эль-де-през, сделав над собою усилие, развернулся на сто восемьдесят градусов и тоже стал смотреть на площадь. Там было полно бегающих людей, орущих во всю глотку и явно не знающих, куда бежать и где укрыться. Это было бы похоже на панику тараканов в ванне, но было там и еще довольно много таких, которые не бегали, а лежали на снегу — человек двадцать, а может быть, и пятьдесят, они лежали поперек площади, образуя какую-то почти правильную фигуру, длинный овал, протянувшийся от бульварчика досюда. Некоторые шевелились и как бы пытались встать, но большинство лежало неподвижно. Совсем неподвижно. Похоже, им тоже был ...дец.

— Вон там что-то было,— сказал Эль-де-през.— На бульварчике, в кустах.

— Что именно?

— Говорю тебе — не знаю. Не видел.

— А почему ты сказал «атас»?

— Потому что почуял.

Петюня посмотрел на него, сделав губы дудкой.

— Ну да, ну да. За это тебе и деньги платят... А сейчас чуешь что-нибудь?

— Не знаю. Скорее, нет.

— Ладно,— сказал Петюня решительно.— Пойдем посмотрим.

Они спустились по пандусу и пошли через площадь — Петюня (с «макаровым» наголо) впереди, Эль-де-през следом,— на ватных ногах, в которых, словно он их отсидел, забегали теперь огненные искры. Слева, на тротуаре, толпились люди, они стали тише, орали, но не так пронзительно, как раньше, и их стало заметно меньше — видимо, самые напуганные убежали отсюда совсем, а остались самые неистребимо любознательные... А справа — где черные тела — было совсем тихо, только сухой надрывный кашель там раздавался, мучительный и множественный, как беспорядочная стрельба.

И стоял сильный, горьковатый и совершенно здесь неуместный запах — не то взбаламученной старой пыли, не то горелой бумаги.

— Петюня, ты запах слышишь какой-нибудь?

— Ну?

— Чем пахнет?

— Пахнет, что мы с тобой остались без работы,— сказал Петюня и хохотнул невесело, оглянувшись через плечо скошенным свирепым глазом.

Он сказал и еще что-то, но тут в толпе слева совсем уж истошно завопили («Скорую! Скорую вызывайте, козлы!..»), и Эль-де-през Петюню не услышал, а переспрашивать не стал. Петюня был шутник, а сейчас было не до его шуток. Эль-де-през осознал наконец, что произошло, и это осознание обожгло его так, что он окончательно опомнился. Он дело провалил. Хозяин поручил ему дело, а он это дело провалил. Первый раз в жизни, но зато

уж — целиком и полностью, и без каких-нибудь разумных оправданий... Но ведь я ничего не мог сделать, подумал он отчаянно. Невозможно было что-нибудь сделать... Он понимал, что это — не оправдание. Да он и не пытался оправдываться. Так, бессмысленное бормотание это было — убогое бормотание покалеченной профессиональной чести. Слушать это бормотание никто не станет, да и некому его будет слушать...

Петюня шагал быстро, и они уже оказались на бульварчике, среди кустов, сугробов и серебристых деревьев. Здесь было сумрачно и пустовато,— только в отдалении кучковались беспорядочно какие-то темные, неуверенно движущиеся туда-сюда личности. И тихие собаки. Все как один эти люди были с собаками. И больше ничего здесь, конечно же, не было. Мертвенно светили ртутные лампы сквозь переплетения ветвей. Снег был весь затоптан, собачьи какашки чернели, и среди этих какашек, в самом конце бульвара лежало неподвижное тело со свалившейся в снег шапкой. Черный беспризорный пудель с волочащимся ремешком бродил тут же неприкаянно, и Эль-де-през мельком отметил, что собаку бьет крупная дрожь, и вспомнил почему-то про Мефистофеля... Какая-то связь была между этим черным пуделем и Мефистофелем... он забыл какая.

— Ну что? Чуешь здесь чего-нибудь, нет? — спросил Петюня, настороженно озираясь.

— Нет. Понимаешь... остыло уже все... Не знаю, как тебе объяснить...

— Надо же, ты посмотри, как они все лежат,— сказал Петюня.— Как сигара, точно?

Он засовывал «макаров» в кобуру за пазухой и глядел на это неправдоподобно правильное пятно, образованное на заснеженной площади лежащими телами. Это действительно была — сигара. В ближнем острие ее они сейчас стояли, а дальнее — упиралось в балюстраду, где теперь никого уже не было, только метались заполошные штабисты без пальто и без шапок. Словно язык ядовитого пламени из некоей гигантской форсунки вылетел откуда-то отсюда, из-за кустов, и выжег всех, кто оказался на пути к намеченной цели.

— Огнемет,— сказал Петюня.— Или газомет какой-нибудь.

Не было никакого огнемета, хотел сказать Эль-де-през, но не сказал, потому что Петюня и сам знал, что не было ни огнемета, ни газомета, а было здесь что-то такое, о чем они никогда раньше не слыхивали. Да и никто, наверное, не слышал.

— Больше всего это было похоже на лазер,— сказал все-таки Эль-де-през. На всякий случай. Он понимал, что — зря.

— А почему тогда — сигара? — сейчас же возразил Петюня.— Пшел, пшел отсюда,— сказал он пуделю, который попытался к ним приблизиться.— Пшел, говорю!

— Отстань,— сказал Эль-де-през нервно.— Не трогай его.

— Да ну его в жопу! Терпеть ненавижу блохастых.

— Может быть, он — этого... вот этого...

Петюня наклонился и сунул два пальца за воротник лежащему, потом снова выпрямился, вытер пальцы об куртку и, весь скривившись, покачал головой. Лицо у лежащего было серое, свинцовое, безжизненное, и Эль-де-през вдруг снова почувствовал запах горелой бумаги. Он заставил себя присесть на корточки. Запах шел от тела. Но никаких следов огня не было. И вообще не было никаких следов поражения. Просто лежал, подломив под себя тряпочные руки, мертвый человек с полуоткрытым ртом и стеклянными глазами на темном, сильно небритом лице. Бомж какой-то. Неподвижный, брошенный кое-как, в точности такой же, как и те несколько десятков, что на площади. И пахло от них от всех горелой бумагой. Или подгоревшей кашей. Или паленым волосом... Но на площади все-таки оставались живые. Двое или даже трое — шевелились, а один вообще поднялся и, сгибаясь в мучительном раздирающем кашле, пошатываясь, почти с ног валясь от этого кашля, брел сейчас прочь, куда-нибудь, подальше отсюда...

— Ну? — сказал Петюня нетерпеливо. Он, видимо, все еще ждал от Эль-де-преза откровений. Петюня был простой человек: обосрались — ладно, давай хоть информацию какую-нибудь соберем. «Что именно произошло? Каким образом? Где располагался? Как ушел?..»

Эль-де-през заставил себя шевелиться — еще раз огляделся (ничего нового не обнаружил), обогнул тело, трясущийся пес сунулся ему в ноги унылой мордой, он осторожно обогнул и пса

(мельком подумал: вот бы кого сейчас допросить — этот, наверное, все видел), на снегу вдоль кустов было много собачьих следов, человеческих не было совсем, а по ту сторону кустарника снег и вовсе лежал нетронутый. Похоже, палили прямо с дорожки, из-за спины этого... который с пуделем... поверх его головы и поверх толпы: балюстрада отсюда отлично просматривалась, театрально освещенная прожекторами. Выпалил и — ушел себе, не торопясь, в сторону Белоберезовой, где фонарей — раз-два и обчелся, и где у него, скорее всего, стояла машина. А может быть, и вверх по бульвару ушел — спокойно, по дорожке, без паники и суеты, между деревьев, между собак и собачников...

— Я вот чего не понимаю,— сказал он Петюне.— Ведь я его почуял. Однозначно. Но почему я уверен был, что ничего нельзя сделать? Ни прикрыть, ни спрятать — ничего. Безнадежно было, понимаешь?..

Он замолчал, потому что ни рассказать, ни объяснить толком он все равно ничего не умел. Да и бессмысленная это была затея — объясняться с Петюней. При чем здесь Петюня? Ты свои объяснения прибереги лучше на будущее, подумал он неприязненно. Тебе теперь всю жизнь придется объяснительные писать... «Лучший друг президента», мудила-грешник... А что я мог, спрашивается? Мое дело маленькое: я должен был его почуять. Почуял? Почуял. И что? А ничего! Ничего нельзя было сделать. Вот этого мне никогда и никому не объяснить, подумал он с отчаянием. Как объяснить, откуда я знал, что ничего нельзя было сделать...

— А ты-то? — сказал он Петюне.— Неужели ничего не видел? Совсем? (Петюня помотал румяными щеками.) Совсем ничего?

Он не ждал серьезного ответа. С какой стати? Но Петюня вдруг ответил — вполне серьезно, хотя и коротко. Он ничего не видел. Все было совершенно нормально, а потом он услышал «атас», тут же (по инструкции) повернулся, чтобы заслонить «тело», но Профессор уже падал — как стоял, с поднятой рукой,— падал на спину, и его тут же подхватили Фанас с Толяном.

— ...А ты стоял на коленях и вроде бы пытался перебраться за перила, а потом повернулся и сел спиной. И, похоже, тут же вырубился вчистую...

— И выстрела не видел?

— Не было выстрела.

— А что было?

— А ни хрена не было,— сказал Петюня Федорчук.— Вдруг все начали падать, а другие заорали и забегали туда-сюда как тараканы... Да пош-шел ты, каз-зел! — прошипел он с ненавистью и пнул в бок пуделя, который опять попытался приблизиться.

Пес, издавши екающий звук, отскочил и опрометью бросился прочь. Он поскакал вверх по бульвару, опустив голову, свесив уши до земли и уставив нос в снег, словно пытался обнаружить там что-нибудь жизненно для себя важное. Поводок волочился следом, подпрыгивая на замерзших какашках.

Эль-де-през смотрел, как он бежит, и думал: взять его домой, Сережке-маленькому? То-то радости было бы. Но ведь и этого даже нельзя: аллергия, мать ее туда и сюда. Ну что за жизнь такая паршивая, беспросветная! Ничего нельзя, и ничего впереди нет хорошего, кроме гнилых неприятностей...

Он все еще смотрел вслед убегающему псу, когда заклекотали, завыли, засверкали огнями по площади налетевшие сразу с трех сторон «ноль-тройки» и милицейские «луноходы».

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 6. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

...Я ничего толком не знаю об ее болезнях. Знаю, что был у нее рак. Вырезали, вроде бы благополучно («...как в мешочке вынули...»). Знаю, что она с тех пор ждала возвращения этого рака, дождалась, перенесла вторую операцию, тоже вроде бы благополучную. Наверное, ждет его и сейчас, если она сейчас вообще чего-нибудь ждет.

Я помню ее молодой и прекрасной. Я был влюблен в нее по уши, как и все мы, вся наша бригада. Гарцевали вокруг нее словно лейб-гусары, через всю комнату, толпой, бросались — огоньку поднести к сигаретке, остроумием блистали, выпендривались друг перед другом в меру своих возможностей каждый,

а потом, когда она уходила из комнаты, очумело глазели друг на друга: что это с нами, ребята, господи?..

На наших глазах она превращалась в сухую крючконосую ведьму с длинной белесой щетиной на подбородке. Оставались только ореховые глаза и бархатный ее голос, но и этого было достаточно для нашего ею восхищения.

Однажды — она как раз вернулась домой после второй операции — я подслушал случайно, как она сказала ему с ужасом: «Вот это вот — я, посмотри». Это было на кухне. Потрошеная курица лежала на кухонном столе — белая, голая, с пупырчатыми ляжками и бесстыдным черным отверстием между ними... «Потрошеная курица,— сказала она с ужасом и повторила: — Кура потрошеная...» Именно с той поры она и начала пить.

Бесконечные карточные пасьянсы за кухонным столом. Ликеры. Наливки. А потом и обыкновенная водочка — по бутылке в день, а потом и по две... Приемник на подоконнике, на голове — скоба наушников, по клеенке — россыпь карт, полупустая бутылка и стакан тут же — обыкновеннейший наш вечерний натюрморт. Я думал, она слушает музыку, но однажды, когда она заснула, уткнувшись лицом в клеенку, я осторожно снял наушники и послушал — чистый детский голосок выводил там: «Аве Мария грацья плейна Доминус тейкум бенедикта ту ин мульерибус ет бенедиктус фруктус вентрис туи Йезус...» И детский печальный хор подхватывал: «Санкта Мария матер деи ора про нобис пекаторибус...» А потом тишина, космическое молчание и снова — «Аве Мария грацья плейна...». Я позвал его, и он с трудом дотащил ее, волоком, до постели — она была уже худая, но большая и все еще тяжелая тогда. Это теперь она съежилась, словно мертвый воздушный шарик...

Роберт сложил распечатку пополам, еще раз пополам, подумал секунду, а потом решительно порвал странички в лапшу. Никому это не покажешь. Да никому это и не нужно. Жизнь продолжается. Жизнь все равно продолжается: вот уж и воскресенье на исходе, а понедельник — на носу. Звонить Тенгизу — напомнить еще раз, или достаточно уже? Достаточно, решил он.

Он старался не думать о завтрашнем дне: зашторенная палата, болезненная желтизна ночника, мертвенный дух поганой неопределенности — еще не смерти, но уже и не жизни тоже... Отвлекись, приказал он себе и послушно отвлекся — взял листочки с сегодняшней порцией последней сэнсеевой статьи, пробежал глазами полузнакомый текст — сэнсей внес-таки изменения и добавил кое-что для вящей понятности.

...Ничего не изменится, пока мы не научимся как-то поступать с этой волосатой, мрачной, наглой, ленивой, хитрой обезьяной, которая сидит внутри каждого из нас. Пока не научимся как-то воспитывать ее. Или усмирять. Или хотя бы дрессировать. Или обманывать... Ведь только ее передаем мы своим детям и внукам вместе с генами. Только ее — и ничего кроме. («Я старый хакер, и я точно знаю, что нет на свете программы, которую нельзя было бы улучшить. Но что значит УЛУЧШИТЬ, когда речь идет о ДНК?..»)

...Но вот ведь что поражает воображение: все довольны! Или — почти все. Или — почти довольны. Недовольные — стонут, плачут и рыдают, молятся, бьются в припадках человеколюбия, и ничего не способны изменить. Святые. Отдающие себя в жертву. Бессильные фанатики. Они не понимают, что ВОСПИТАННЫЕ никому не нужны. Во всяком случае, пока — не нужны...

...Это как неграмотность, аналогия исчерпывающая. Тысячелетиями неграмотные люди были нормой, и это никого не беспокоило, кроме святых и фанатиков. Понадобилось что-то очень существенное переменить в социуме, чтобы грамотность сделалась необходимой. Что-то фундаментально важное. И тогда, как по мановению жезла Моисеева, за какие-нибудь сто лет все стали грамотными. Может быть, и воспитанность тоже пока нашему социуму не нужна? Не нужны нам терпимые, честные, трудолюбивые, не нужны и свободомыслящие: нет в них никакой необходимости — и так все у нас ладненько и путем. («Пусть мною управляют. Не возражаю. Но только так, чтобы я этого не замечал...»)

Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, должно произойти с этим миром, чтобы Человек Воспитанный стал этому миру нужен. Человечеству сделался бы нужен. Самому себе и ближнему своему. И пока эта тайна не реализуется, все будет идти как встарь. Поганая цепь времен. Цепь привычных пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов... Пока не потребуется почему-то этот порядок переменить... («В России у нас действуют только два закона: закон сохранения энергии и закон неубывания энтропии,— да и те по мере необходимости благополучно нарушаются».)

Роберт не стал ничего править, хотя и напрашивалось. Пусть утром сам прочтет и сам поправит. Альтруизм есть эгоизм благородного человека. Мы, да, альтруисты, но не до такой же степени, чтобы править на правку обреченное.

Жизнь продолжалась. Пора было делать укол и идти домой.

В спальне света не было. Сэнсей, завернувшись в халат, лежал на кровати, лицом к стене, скорчившись,— он притворялся спящим. На стене над ним слабо отсвечивала лаком картина Пиросмани, говорили — подлинник. Роберту больше всего в ней нравилось название. Она называлась «ХОЛОДНЫЙ ПИВО» (большими печатными буквами).

— Укол, сэнсей. Время.

— Какой укол? Зачем? Темно же!

— Ничего, в такую мишень трудно промахнуться. А кроме того, можно зажечь свет.

— Это правда... А какой-нибудь достойный компромисс возможен?

(Вымученный юмор беспомощного старика, загнанного в темный угол, из которого есть один только выход — в завтра, в понедельник, в Дом Страдания. Такой юмор надлежало поддержать, хотя бы только из обычного милосердия.)

— Я не хожу на компромиссы,— высокомерно ответил Роберт, разрывая упаковку шприца.

Сэнсей вдруг спросил (не оборачиваясь, все так же — лицом в стену):

— Вы тоже меня осуждаете, Робин?

— А як же ж, конечно,— сказал Роберт.— А за что, собственно? — Но он уже насторожился — голос сэнсея ему не понравился решительно.

— За то, что я учинил с Вадимом.

— Вот как? Вы что-то учинили с Вадимом? — Роберт все еще пытался держать юмористический тон, хотя сомнений уже не оставалось, что речь пошла о серьезных вещах. И вдруг — понял.

— А вы не заметили?

— Заметил,— медленно сказал Роберт.— Только что.

— Вы считаете, это было слишком жестоко?

— Какая разница, что я считаю,— пробормотал Роберт. А может быть, и не пробормотал вовсе, а только подумал.

(«...Вы ленивы и нелюбопытны. Бог подал вам со всей своей щедростью, как никому другому, а вы — остановились...»)

Лицо Вадима вдруг вспомнилось, не лицо, а физиономия — мокрая, зябкая, с просинью, физиономия непристойно, до омерзения перепуганного человека. (Стоило оно того? Наверное...) И запах псины от него... И голос его — искательный голосишко битого холуя...

(«...Вы сделались самодостаточны, вы не желаете летать, вас вполне устраивает прыгать выше толпы, вы ДОВОЛЬНЫ — даже самые недовольные из вас...»)

...И потому надлежит нас иногда пришпоривать? Шенкеля давать? Дабы не застоялись? Наверное. Если человека не бросить однажды в воду, он никогда не научится плавать, хотя умение плавать заложено в нем самим Богом. И если не гнать нас пинками, к зубодеру — так и будем ведь ходить с дырками в зубах...

...Какая, впрочем, теперь разница. Он сделал это, он добился своего, а теперь мучается. Вадим, небось, ходит гоголем: он победитель, и все зубодеры позади. А этот странный старик мучается, потому что не уверен и никак не убедит себя, что достигнутая цель оправдывает средства.

— С нами иначе нельзя,— сказал Роберт с максимально глубоким убеждением в голосе.— Победа все списывает... (Сэнсей слушал. Внимательно. Насторожив затылок с черно-багровым пятном «чертового подзатыльника».)

«Достигнутая цель оправдывает средства»,— сказал Роберт этому пятну. Врать было неприятно. Но в конце концов, он, может быть, и не врал совсем?

— Все, ваше время истекло,— сказал он бодро и надломил кончик ампулы.

— Разочарование — горестное дитя надежды,— сказал сэнсей. Он все еще лежал лицом в стену.— Но, может быть, все-таки попозже? Перед самым уходом?

— А я, собственно, уже собрался. Одиннадцать часов.

— Караул! Праздник кончился! — сказал сэнсей, задирая полу халата.

Глава одиннадцатая

ДЕКАБРЬ. ТРЕТИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. СОВЕРШЕННО НЕТ ВРЕМЕНИ

Отбыли точно в десять, по дороге большей частью молчали.

Сэнсей сидел на обычном своем месте (самом безопасном, справа сзади) и вообще не произнес ни слова — только в самом начале, усаживаясь, тихонько поздоровался с Тенгизом. Новость насчет Интеллигента его просто раздавила — никогда прежде не видел его Роберт таким тихим и покорным. С самого раннего утра, с момента, когда позвонил какой-то доброхот от Аятоллы и преподнес подарочек, он ничего не хотел, на все был согласен и только кивал, как носом клевал, причем каждый раз — с некоторым запозданием, словно до него не сразу доходило.

Тенгиз, оказывается, о вчерашнем знал все и даже, видимо, больше. По своим каналам. О деталях — умолчал и вообще, увидевши сэнсея, сделался молчалив. Он управлял машиной с необычной для себя осторожностью, никаких разговоров не заводил и только иногда сквозь зубы отпускал очередную порцию (вполголоса) «блинов» пополам с энергичными инвективами в адрес «долбаных наледей, выледей и проледей».

А Роберту уж совсем было не до разговоров. Он думал о «странных превратностях бытия», о несчастном Интеллигенте-Профессоре, о бедолаге Ядозубе, но, более всего,— о том, что будет, когда они приедут на место: позовет его сэнсей с собой в палату, или все как-нибудь обойдется. В палату идти не хотелось катего-

рически. Он вспоминал землистое это и ставшее совершенно чужим лицо, впалый морщинистый рот, длинные белесые волосы по щекам, болезненный взгляд беспомощного обессиленного животного... костлявая грудь в вырезе серой рубашки... горький запах мочи... Безжалостная все-таки штука — эта наша обыденная жизнь. И не то беда, что мы от нее меняемся. Беда в том, что она нас п р е в р а щ а е т. Всех. Всегда. Без всякого сожаления. И безо всякой пощады...

Прибыли на место ровно в двенадцать. Тенгиза оставили в машине. В одиночестве. Перед зданием никого не было. Елки стояли тихие и грустные под снегом, не было видно ни посетителей на широкой входной лестнице, ни прогуливающихся пациентов с финскими санками наперевес.

У дверей палаты сэнсей остановил Роберта и сказал ему тихо:

— Подождите здесь. Только не исчезайте, пожалуйста. Может быть, я вас позову... И я не хочу, чтобы мне мешали.

Роберт, естественно, подчинился. Перевел дух. Отошел от дверей в глубину холла, сел в тяжелое кожаное кресло у журнального столика, увидел кривое свое отражение в экране гигантского выключенного телевизора. Покусал губу, взял, не глядя и не видя, какой-то дурацкий журнал со столика. Стыд выедал глаза. Какого черта! Это же не моя обязанность — присутствовать... Я же не врач. И не родственник... Он знал, что это — его обязанность. И это есть его обязанность, и еще многое — неприятное, неаппетитное, горькое и стыдное... Но все-таки не такое стыдное, как облегчение, какое испытываешь, когда удается уклониться. «Никогда не жалейте себя»,— вспомнил он. «Каждый из нас достоин жалости, да только вот жалеть себя — недостойно».

В доме было невероятно, неправдоподобно, звеняще тихо. Как в сказочном волшебном замке. Неестественно тихо, светло, пусто, и пахло, как в ботаническом саду — пряностями и сказкой. Не слышно было властно-свободных разговоров медперсонала, ни шарканья подошв согбенных пациентов, ни зычного перекликания нянечек, протирающих квадратные километры здешнего линолеума,— ничего здесь не было из своеобычной атмосферы большой, пусть даже и самой привилегированной и дорогой больницы. Впрочем, это ведь и не больница была на самом деле. Это

был хоспис для богатых. Для очень богатых. А может быть, на самом деле и не хоспис даже. В хосписах доживают безнадежные. А здесь был — дворец надежды. Дом Самой Последней Надежды...

Сначала, первые минут пять, ничего вокруг не происходило. Он листал журнал — яркие, глянцевые страницы, фотографии роскошных автомобилей и женщин, сверкающие небоскребы, специфические тексты, рассчитанные на специфического читателя... Поглядывал рассеянно вправо-влево вдоль коридора, менял положение вытянутых и перекрещенных ног, старался не прислушиваться к невнятному голосу сэнсея из-за дверей палаты (голос этот вдруг выкристаллизовался из тишины — то ли сэнсей дверь закрыл недостаточно плотно, то ли звукоизоляция здесь была как в доходном доме)... Ничего не происходило. Экзотические растения в кадках, справа и слева от гигантского, в полстены, окна, источали тропические запахи. За окном была заснеженная автостоянка, несколько заснеженных лимузинов на ней и «шестерка» Тенгиза — совсем не заснеженная, но — грязноватая. Из глушителя шел кудрявый дымок.

Потом вдруг обнаружилось некоторое движение в коридоре слева. Из-за угла выкатилась медицинская тележка (стеклянная этажерка на колесиках), и вместе с нею — классическая, прямо-таки плакатная медсестра (прямая, как торшер, монахиня в клобуке — неподвижное лицо и поджатые губы). Едва только увидев их обеих (монахиню и тележку), Роберт мгновенно понял, что они направляются именно сюда, в эту вот палату, к сэнсею, и надобно срочно принимать меры. Он поднялся и в два шага оказался у дверей палаты, став к ней спиною. Журнал при этом он почему-то захватил с собой, только свернул его в трубку и трубкой этой стал постукивать в раскрытую ладонь левой руки. Таким образом он как бы хотел подчеркнуть прочность своей позиции и полную неготовность эту позицию покинуть. Чувствовал он себя при этом достаточно глупо. И неуверенно.

Монахиня и тележка приближались — неторопливо, неотвратимо и совершенно бесшумно — словно плыли поверх ковровой дорожки. Колбочки и стаканчики на этажерке беззвучно подрагивали, неподвижные бесцветные глаза монахини смотре-

ли мимо и непреклонно. Роберт мысленно съежился. Заранее. В предчувствии. А за спиной, за дверью, голос сэнсея стал вдруг вполне различим, и, совершенно того не желая, Роберт услышал:

— ...Ничего не изменится, пока мы не научимся что-то делать с этой волосатой, мрачной... наглой, ленивой обезьяной...

Голос снова сделался невнятным (словно бы сэнсей расхаживал туда-сюда по палате и сейчас повернулся спиной к двери), а монахиня надвинулась вплотную и встала, глядя бесцветными своими пуговицами в упор, и взгляд ее сделался требовательным и неодобрительным: словно она только что обнаружила перед собою препятствие и теперь с холодным нетерпением ждала, пока препятствие это само собою расточится и исчезнет.

— Извините, но сюда нельзя,— сказал ей Роберт, преодолевая естественное желание уступить дорогу женщине и медицинскому работнику.

— Анализ крови,— сказала монахиня, почти не разжимая губ и по-прежнему глядя насквозь. Навылет.

— Не сейчас, пожалуйста. Сейчас сюда нельзя.

— Назначено на сейчас.

— Пожалуйста,— сказал Роберт.— Не сейчас. Сейчас нельзя.

— Хорошо,— вдруг согласилась монахиня.— Я зайду через час. Только пусть ничего не кушает.— И, привычно развернувшись, укатила дальше по коридору, беззвучная, как белый призрак с неестественно прямой спиной.

Сэнсей за дверью воскликнул вдруг:

— И вот ведь что поразительно: все довольны!..

Дверь, и действительно, была не прикрыта. Роберт хотел было ее прикрыть, но тут же сообразил, что получится щелчок или скрип, какой-нибудь дурацкий предательский шум, и будет неловко... Он колебался, не понимая как поступить. Тем более что ему вдруг стало интересно.

— ...Это как неграмотность, представь это себе на минутку. Тысячелетиями неграмотные люди были нормой...

Надо было что-то предпринимать. Немедленно и решительно. Но он не предпринимал ничего. Он слушал. Подслушивать дурно. Но ведь не подслушивал. Он — слушал! И это было совсем не то, что — читать.

— ...поганая цепь времен. Цепь пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов... Пока не потребуется почему-то этот порядок переменить...

Тут сэнсей, видимо, и сам заметил, что дверь плохо прикрыта — голос его приблизился, и дверь захлопнулась. Со щелчком. Но без скрипа... Роберт перевел дух и вернулся в свое кресло. Бросил скрученный журнал на столик, сел, вытянул ноги. Не то чтобы речь сэнсея содержала в себе новое, но определенное впечатление она производила (и сильное впечатление, между прочим), причем самым острым (понял он вдруг) было ощущение мертвой тишины в ответ на сэнсеевы откровения — словно он тренировался в произнесении какой-нибудь там нобелевской лекции перед зеркалом в пустой прихожей. Или, может быть, она сегодня в себе? Бывает же она в себе. Хоть и редко очень. И с каждым месяцем все реже... Впрочем, и нечто новое там, у сэнсея, тоже было. Было, было, не спорь. Пополам со старым. И потом — это сильно у него получилось, с отчаянием и страданием...

...Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, должно произойти с этим миром, чтобы Человек Воспитанный стал этому миру нужен. Человечеству. Самому себе стал нужен. И пока эта тайна не реализуется, все будет идти как встарь. Цепь убогих пороков и нравственной убогости. Ненавистный труд в поте лица своего и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов... Пока не потребуется вдруг и почему-то этот порядок переменить...

В том-то и беда: не знаем мы, что надобно нашему бедному сволочному миру и что с ним еще должно произойти, чтобы он захотел, наконец, Человека Воспитанного. Да только мы ведь вообще массы вещей не знаем. Причем гораздо более элементарных. Например, знаете ли вы, что Вальтер Скотт писал свои самые знаменитые романы под псевдонимом, а точнее говоря — вообще анонимно?.. Что кровавый Пол Пот был изначально мягкий, интеллигентный, скромный человек, любящий и даже нежный отец, и звали его в молодости Салот Сар?.. Мало ли чего мы не знаем. Какие, например, были последние предсмертные слова Василья Львовича Пушкина, вы знаете? Никогда и никто

не догадается. «Как скучны статьи Катенина!» — сказал он напоследок. (Вот как надо любить литературу!)

Он попытался вспомнить еще что-нибудь — неожиданное, из недавнего чтения — и даже вспомнил было что-то (про ацтеков), но тут в коридоре вновь начались перемещения войск противника, и он отвлекся на суконную реальность.

По ковровой дорожке, не спеша, но уверенно, приближалась довольно странная пара. Роль стеклянной этажерки играло теперь кресло-каталка, вместо монахини был монах — невысокий, но явно очень крепкий, широкоплечий человек в черном спортивном костюме с неразборчивой красной эмблемой на сердце, а в кресле восседало нечто совсем уж несообразное — инвалидное тело, все в голубом, с серебром и золотом, с серебряными и золотыми драконами от шеи до пяток — голый белый череп, косматo-чернобородый, в неестественно огромных черных очках, закрывающих половину лица.

Ну вот, подумал Роберт с горечью. Теперь — эти. Он поднялся и занял свой пост — спиной к двери,— стараясь держаться уверенно и независимо, как и подобает настоящему бодигарду. Тенгиза бы сюда, подумал он мельком. Очень не помешал бы здесь старина Тенгиз... Противник приблизился, и теперь Роберт мог видеть глаза того, кто катил коляску. Неприятные глаза. Волчьи. Или, скорее, пожалуй, змеиные. Равнодушные, как у пресмыкающегося, но при этом прозрачные, светлые. Да, без Тенгиза мне здесь не обойтись. Роберт вытащил из-за пояса мобильник. А может быть, они не к нам?..

Но они были именно к ним. Коляска остановилась в шаге от двери, и косматый инвалид сказал высоким, слегка надтреснутым голосом:

— Здравствуйте, мой дорогой. Мне бы к Стэн Аркадьевичу. К господину Агре.

В этот момент Роберт узнал его: это был тот самый Великий Целитель (по имени Лешка-Калошка), к которому они уже Татьяну Олеговну водили без всякого толку. Только космами с тех пор оброс словно команданте Че Гевара. И бодигарда себе завел.

— Господин Агре сейчас не принимает,— сказал ему Роберт без всякой приязни.

— Ничего-ничего. Меня примет.

— Господин Агре просил его не беспокоить,— Роберт говорил почти механически, а сам поглядывал краем глаза на вражеского бодигарда и лихорадочно думал: пора нажимать аларм на мобильнике, или еще рановато будет?

— Мой дорогой,— говорил между тем Целитель надтреснутым голосом, совершая успокоительные помавания белыми ладонями.— Все путем. Стэн Аркадьевич мне назначил на это время...

— Имею приказ не беспокоить.

— А я тебе объясняю, что меня именно ждут, непонятливый ты человек...

Беседа явно зашла в тупик, и живое воображение нарисовало Роберту малопривлекательную картинку неизбежно надвигающегося насилия: тычок в болевую точку, воздействие на отключающую точку и прочие прелести, описанные в современной литературе о гангстерах и киллерах. Он нажал тревожную кнопку на мобильнике и, так сказать, препоручил себя своей судьбе.

— Я, мой дорогой, не люблю, когда мне препятствуют...— повышая надтреснутый свой голос провозгласил напористый инвалид, и тут, слава богу, дверь растворилась, и сэнсей появился, как бог из машины. Лицо у него было озабоченное и напряженное до незнакомости, и он сказал:

— Алексей. Я вас жду. Проходите... Один! — добавил он сейчас же, уловив движение змеиноглазого плечистого монаха.

Возникла суета. Кресло-коляска прошло в дверь не вдруг, пришлось покорячиться, причем корячились все, включая и роскошного инвалида Алексея. Он обеими руками крутил туда-сюда никелированные колеса, приговаривая на разные лады: «Один, обяза-ательно один... Вот видите, дорогой мой, а вы мне не верили... Я, Стэн Аркадьевич, говорю ему: назначено мне! А он стоит, как Мамаев курган...» А тем временем слева по коридору уже приближался, двигаясь с быстротой, почти неестественной, хмурый Тенгиз, готовый к самому худшему, но тут кресло протиснулось внутрь, дверь захлопнулась, и в коридоре остались трое — трое бодигардов, слегка запыхавшихся и все еще настороженных. Но напряжение уже отпускало их, уходило, как воздух из проколотой шины. Как болевой приступ. Как шок.

Плечистый монах последний раз обмерил их прозрачными, абсолютно равнодушными глазами, повернулся (через широкое левое плечо) и удалился в холл, к телевизору, сел напротив, взял со столика газету и тут же ее развернул — быстро и жадно, словно соскучился по новостям.

Ничего не оставалось, как тоже отступить на исходные. Роберт вернулся в свое кресло, а Тенгиз встал у прозрачной стены между пальмами и стал смотреть вниз, на стоянку.

— Блин...— произнес он с досадой.— Машину не запер. Забыл второпях.

— Кому она нужна, твоя жестянка,— откликнулся Роберт, не оборачиваясь.

— Но-но! Попрошу без фамильярностей! — Тенгиз отошел от окна и сел рядом.

— Ну, извини,— Роберт исподлобья наблюдал за потенциальным противником, и воображение снова рисовало ему разнообразные малопривлекательные картинки.

Они помолчали, вдвоем уже теперь наблюдая, как потенциальный противник листает газету.

— Память стала совсем плоха,— сказал Тенгиз.— Все забываю.

— Имена, адреса, явки...

— Нет, в самом деле. Давеча, представь себе, забыл фамилию клиента. На языке вертится, а вспомнить, блин, не могу.

— Это называется шперунг,— объяснил Роберт рассеянно.— Заикание памяти.

— Да, это я уже знаю... «Запомнить нетрудно — вспомнить трудно». И так далее. Относительно «пыльных чуланов у нас в черепушках»...

— Цитируешь помаленьку? Я скоро по индексу цитирования выйду у вас на первое место.

— Уже вышел, блин. Лицо, приближенное к телу. Только тебя и цитируем...

Тут раздалось чириканье мобильника, и потенциальный противник торопливо вытащил из кармана трубку. Он говорил тихо, но слышно его было хорошо, и тем более непонятным казалось то, что он говорил.

— ...Белую? Ну да — серебристую... Есть. Только в левом нижнем ее не было... Вчера. Понял. Есть... Есть... Сделаем. Есть.

Он спрятал мобильник и, не повернув головы кочан, быстрым шагом удалился по коридору в ту же сторону, откуда десять минут назад появился.

— Кто такие, не совсем понимаю...— сказал Тенгиз раздумчиво.— Или ты их знаешь?

— Представления не имею,— соврал Роберт, чтобы не заниматься дурацкими утомительными объяснениями.

— По-моему, этого, в роскошном халате, я где-то видел... В кино, может быть? В рекламном ролике?..

— Ну, со вторым-то тебе все ясно, я полагаю?

— О да,— сказал Тенгиз.— Здесь, блин, разумных вопросов нет и быть не может.

Роберт не возражал, и Тенгиз, понизив голос, спросил:

— Худо? — он мотнул головой в сторону палаты.

— Не знаю,— сказал Роберт.— Не видел. Думаю, что худо.— Он опять кривил душой, но не объяснять же было ему про нобелевскую лекцию, которую сэнсей читает полутрупу.

— Б-блин,— сказал, огорчившись, Тенгиз, и они оба надолго замолчали.

Потом Тенгиз спросил:

— И как тебе понравилась эта история? Я имею в виду — с Интеллигентом.

Роберт пожал плечами.

— Да, господа мои,— сказал Тенгиз.— Воистину: все, что неестественным путем было начато, неестественным путем и закончится.

Роберт возразил без всякого азарта:

— Чего уж тут неестественного: шлепнули, как простого, заскорузлого лоха. Если отвлечься от деталей, разумеется. Детали — да. Тут остается только руками развести.

— Нет, голубчик, не говори. Не как простого. Совсем не как простого. И не только в деталях дело. «Если бы ненавидящие взгляды могли убивать, население бы сильно поубавилось». Ядозуб — он это умел. Он был — олгой-хорхой, только вы все в это

поверить не умели... А вот знаешь ли ты, кто его охранял? Интеллигента? Эль-де-през. Лично.

— А кто это? — Роберт удивился.— «Кто таков, почему не знаю?»

— Л. Д. П.— Тенгиз нарисовал в воздухе три буквы с точками.— Лучший Друг Президента.

— Кто-нибудь из наших? — догадался Роберт.

— О да! И не кто-нибудь, а Серега Вагель.

— А... «Идеальный бодигард». Я с ним незнаком.

— Естественно, он никогда с нами не общается. Вернее, редко.

— Куда уж реже. Никогда.

— Это с тобой — никогда. А с нами, с простыми людьми — редко, но все-таки общается.

— Что ж он его не спас, если он «идеальный»? Или он только по президентам специалист?

— В том-то и проблема, блин. В том-то и проблема! Видимо, против лома нет приема.

— «Нету лучшего приема, чем сидеть все время дома»,— процитировал Роберт, и они снова замолчали.

По коридору прошуршала (справа налево) еще одна монахиня в клобуке и с толстой пачкой бумаг на согнутой руке. Тихо было, как в приемной какого-нибудь самого высокого превосходительства, но как ни напрягал Роберт слуха, ни звука не доносилось теперь из палаты, и совершенно невозможно было представить себе, что там делает этот странный чудо-инвалид в синем халате, исполосованном серебряными драконами.

Тут Роберт вдруг, ни с того ни с сего (а в общем-то — понятно почему), вспомнил давний разговор, который имел место между сэнсеем и человеком, которого прислал Аятолла,— разговор по поводу Интеллигента, которого они, впрочем, дружно и не сговариваясь называли «наш профессор». «В экономике наш Профессор обладает скорее убеждениями, нежели познаниями»,— сказал тогда человек Аятоллы. И сэнсей вежливо заметил, что это звучит как цитата. «А это и есть цитата»,— заметил человек Аятоллы (лощеный, длиннолицый, длиннорукий, вообще длинный, безукоризненно вежливый, весь с иголочки — от лакированных штиблет до употребляемых цитат). «Но, однако же, со-

гласитесь — к месту».— «Вот как? И откуда же это?» — «Представьте себе, не помню. У меня странная память: я хорошо запоминаю тексты, но совершенно не помню ссылок». Тут сэнсей посмотрел на Роберта, и Роберт не подкачал: «Андре Жид. «Подземелья Ватикана». Перевод Лозинского. Цитата не совсем точная».— «Спасибо,— сказал ему сэнсей и снова обратился к человеку Аятоллы и к теме разговора.— Но ведь ему и не надо обладать познаниями, нашему Профессору. Достаточно убеждений. Он же политик, а не экономист».— «Мы придерживаемся ровно такого же мнения»,— мгновенно откликнулся человек Аятоллы, и они, видимо, заговорили о деталях (и теперь понятно, о каких: как поэффективнее настропалить беднягу Резалтинг-Форса),— во всяком случае, Роберт был тут же отослан готовить кофе по-турецки...

— Все равно жалко,— сказал вдруг Тенгиз.

— Конечно, жалко,— согласился Роберт.— Он столько намучился, бедняга, и все коту под хвост. Но зато он научился поворачивать трубу!

— Какую трубу?

— Большого диаметра.

— Да я не о нем! — сказал Тенгиз с досадой.— Блин. С ним все ясно. Я о бедолаге этом, о Ядозубе. Хотя я все знаю про него. Больше вашего. Он был тот еще фрукт... Знаешь, он однажды вдруг при мне пустился в рассуждения: почему вот он с удовольствием смотрит на щенят и на котят, а от детишек, любых, его тошнит? Почему больную собаку жалко ему до слез, а бомжа какого-нибудь ну нисколечки. Старуха, говорит, прогуливает своего мопса, старого как египетский сфинкс, уже оцепенелого совсем,— мопсу я сочувствую, а старуху — в гробу видел и то — с отвращением... Я ему сказал тогда: ты просто, наверное, очень любишь животных, Олгоша дробь Хорхоша? И знаешь, что он мне ответил? Нет, сказал он. Я просто очень не люблю людей. Совсем не люблю. Никаких. И при этом он смотрел на меня как на кучу свежего говна. Нисколечки не стесняясь и даже с вызовом.

— Да-а, прелесть какой симпатичный был человечек, мир праху его. Только вот зачем ему понадобилось гробить Интеллигента?

— Это ты меня, блин, спрашиваешь?.. И откуда ты, собственно, взял, что он кого-нибудь вообще гробил? Может быть, он таким вот, блин, сложным образом самоубился?

— Это возможно? — осведомился Роберт.

— Откуда, блин, нам знать, что возможно, а что невозможно, когда речь идет о хомо сапиенс? На мой взгляд, например, так помнить все на свете, как ты помнишь,— вот это, да, действительно невозможно, блин. Или управлять тараканами, как наш Вэлвл.

— Понял.

— Ну?

— Все. Понял тебя. Понял, что ты хочешь сказать... Минуточку.

Роберт поднялся. Слева приближался потенциальный противник — скорым шагом, энергично, напористо — и за спиной его, словно хоругвь, словно некий рыцарский плащ, вился и трепетал по воздуху серебристый шлейф, какое-то легкое полупрозрачное мерцающее покрывало: довольно толстый рулон этой серебристой материи он держал в обнимку обеими руками, будто ребенка. Выглядело все это довольно странно, но Роберту было сейчас не до деталей, пусть даже и странных,— он устремился к двери и встал в проеме.

— Мне только передать,— сказал вражеский бодигард с интонацией неожиданно просительной. Роберт мельком отметил, что он нисколько не запыхался, словно не шел только что быстрым шагом, почти, можно сказать, бежал. И выражение лица у него обнаружилось вполне человеческое, а вовсе не волчье, как давеча. И вообще...

Роберт поджал губы и, повернувшись, тихонько постучал в дверь. Дверь распахнулась мгновенно — словно там стояли и ждали в нетерпенье этого стука, а за дверью обнаружилась почему-то тьма кромешная, и пахнуло оттуда сухим жаром, как из сауны, а сэнсей уже тянул через порог длинные жадные руки, нетерпеливо приговаривая: «Давайте... Ну! В чем дело?..»

Роберт стоял остолбенело. Рядом прошуршала с шелковистым свистом серебряная ткань, коснулась его лица (слабо треснули статические разряды),— а он все глаз оторвать не мог от

этого мрачного виденья: в слабом свете ночника, прямая, как готическая фигура — горгулья, горгона, гарпия,— с черными руками, уроненными поверх одеяла, сидела в постели мумия — с полуоткрытым провалившимся ртом, всклокоченными, словно сухая пакля, волосами, темно-желтая, мертвая, а круглые неподвижные глаза светились красным...

Дверь захлопнулась, и Роберт перевел дух, приходя в себя словно после короткого обморока. Вражеский бодигард бормотал что-то над ухом — он не слышал и не слушал его. Будь оно все проклято, думал он бессильно и беспорядочно. На кой, спрашивается, ляд все это, если все так кончается?.. Не хочу!.. Он словно в преисподнюю заглянул — окунулся в уголья, в серное инферно — и вынырнул, обожженный, весь залитый внезапным потом.

— Знаешь, я, с твоего позволения, все-таки пойду,— сказал Тенгиз.

Роберт посмотрел на него. Видимо, Тенгиз ничего не заметил. Видимо, со стороны все выглядело вполне обыкновенно, пристойно и достойно — никакого общего позеленения, помутнения взора и прочих признаков кратковременной психопатии.

— Мне не нравится, что машина стоит незапертая,— пояснил Тенгиз.— Мало ли что.

— Да, конечно,— проговорил Роберт по возможности небрежно.— Конечно, иди. Обойдусь.

— А если вдруг...— сказал Тенгиз со значением, поглядев в сторону потенциального противника (тот уже снова листал журнал у телевизора).

— Само собой,— сказал Роберт.

— Ну, давай,— сказал Тенгиз и удалился, бесшумно ступая по ковровой дорожке.

Потом Роберт стоял у окна, среди пальм, и смотрел, как Тенгиз обихаживает автомобиль — протирает стекла, чистит номера, сбрасывает с крыши мелкую порошу... Облака бежали по небу неестественно быстро для декабря, устрашающе быстро, как это иногда показывают в кино, и Роберт вдруг придумал загадку: «Ног нет, а бегут быстро — что это такое?» Между прочим — вопрос, подумал он. Надо будет подарить сэнсею. Когда все это закон-

чится. Закончится же все это — рано или поздно, так или эдак, не мытьем, так катаньем...

Вопрос, да, получился, но это был ненастоящий вопрос. Он это чувствовал. Очередной ненастоящий вопрос. Пустышка. Фраза с вопросительным знаком на конце. Впрочем, никто никогда не может сказать определенно, будет от вопроса толк или нет. Надо пробовать. Метод проб и ошибок. Истерических проб и угрюмых ошибок.

Он записал в память: «Что это такое — ног нет, а бежит быстро?» На всякий случай. Он боролся с воспоминанием, которое вдруг проступило... собственно, понятно, почему — чистая же аналогия, само собой напрашивается, выползает из тины памяти, как мрачное уродливое животное... Справиться оказалось невозможно, и он осторожно позволил себе вспомнить. Не целиком. Абзацами. Чтобы не вспомнить лишнего. Поминутно натыкаясь на лишнее и судорожно загоняя это лишнее обратно, в самый глубокий подвал...

...Звонок в ад, вот что это было. Господи, как сэнсей не хотел туда звонить! Отбрыкивался, шипел, злился, мучился почти физически, и в конце концов позвонил — сразу сделавшись такой фальшиво-бодрый, исполненный казенного оптимизма и вымученного участия... А тот уже умирал. Безнадежно. Саркома легкого. Роберт все это слушал и слышал — по отводной трубке (постоянная его чертова обязанность — слушать по отводной трубке, если нет отменяющего распоряжения, черт бы все эти порядки подрал...). «Стэнни, милый... Это такая мука... такая мука... Брось все, забудь. Не наше это дело... Такая расплата, Стэнни...» (Слабый голос из чадящего пекла. И — видение: чадной, черной, наглухо закупоренной комнаты. Черный платок на ночнике. Бессмысленное и беспощадное пятно света на простынях. Удушье. Страх. Боль. Смерть.) И беспорядочно бегающие (как всполошенные тараканы) бессмысленные вопросы: что «бросить, забыть»? за что «расплата»? что еще за «наше дело» — «не наше дело»? Да понимал ли, о чем речь, сам сэнсей? И вообще — слышал ли? Бормотал какую-то жалобную чушь: держись, держись, дружище, надо держаться, держись, пожалуйста... За что держаться? И чем? Чем держаться?.. Не хочу об этом думать, объ-

явил себе Роберт решительно, но ничего из этой решительности у него не получилось... Оказалось, он вообще ни о чем больше не может сейчас думать: жаркая тьма, красные огни зрачков и горячечный шепот из прошлого.

Он уловил боковым зрением какое-то нештатное движение за спиной и обернулся. Сэнсей стоял на пороге палаты. В своем полосатом нелепом костюме похожий то ли на беглого зэка, то ли на остолбенелое привидение. Зеленовато-бледный. Потный — крупные капли дрожали на лбу и на шее у него, катились по лысине. Глаза не мигали. Он был не в себе.

Роберт шагнул к нему — подхватить под локоть, проводить к креслу,— но сэнсей отстранил его ладонью, сам (неверными ногами) прошел вглубь холла, сам опустился на диван, посидел сначала несколько секунд с прямой спиной, а потом словно вдруг обрушился внутрь себя — осел, как оседает умело взорванное здание,— и лицо его разом перекосилось и обессмыслилось.

Не надо было ему сюда ехать, подумал Роберт с ожесточением. Он достал трубочку нитрокора, отсыпал на ладонь три крупинки, предложил,— сэнсей, как послушный ребенок, высунул язык — язык был плохой, обложенный, с трещинами... Не надо было ехать. Какого черта ему вообще сюда ездить? Какой от него здесь прок? Только сердце зря себе рвет... Вражеский бодигард опустил журнал и с каким-то пристальным, сочувственным, пожалуй даже, интересом наблюдал за происходящим. Еще любопытствующих нам только здесь и не хватало. Роберт сделал шаг в сторону, чтобы загородить сэнсея собой,— загородил его демонстративно и в наглую: охота тебе наблюдать — наблюдай мою задницу...

— Он сказал, что поставит ее на ноги,— проговорил сэнсей — невнятно, словно озябшими губами. Он умоляюще посмотрел на Роберта.— «Встань и иди». И она пойдет. А я не верю.

Роберт промолчал. Что тут было говорить? И в голову ничего даже не приходило. И тут вдруг подал голос вражеский телохранитель:

— Надо верить! — сказал он истово.— Верить надо! Если Он сказал — значит надо верить!

Сэнсей повернулся к нему всем телом и отстранил Роберта, чтобы не мешал. (Без всякой деликатности. Как предмет обстановки.)

— Вы считаете, что это возможно? — спросил он с отчаянием.

— Это не я так считаю. Это Он так считает. («Он» у него явно получалось с большой буквы.) А значит — надо верить!..

Сэнсей что-то проблеял в ответ, что-то жалостливое до непристойности, но Роберт их уже не слушал. Новое действующее лицо появилось в коридоре (со стороны лестницы, что слева): фигура, странно и в то же время страшно знакомая, но совершенно здесь неуместная,— невысокий человек с лицом красно-коричневым и поблескивающим, словно головка курительной трубки, маленький, коренастый, уверенный,— остановился, наблюдая за ними и в то же время неспешно и откровенно застегивая ширинку. Страхагент. Ангел Смерти. Только почему-то — в белом докторском халате и даже при хирургической шапочке слегка набекрень. Что он здесь делает, подумал Роберт, а рядом со страхагентом объявился, между тем, еще один белый халат, и еще один, и еще — целый консилиум вдруг образовался в коридоре, тихий, почтительно взирающий на краснолицего (все как один с папками под мышкой, с докторскими наушниками на шее, в белых шапочках, и почти все — в очках). Человек пять. Может быть — шесть. Ежедневный обход — с главврачом во главе — медотряда специального назначения.

Страхагент (главврач?) завершил деликатную свою процедуру, и на лице его обнаружилась улыбка, показавшаяся Роберту зловещей, хотя на самом деле была она, скорее всего, ироническ-кой, а может быть, даже приветливой.

— Двуг мой! — провозгласил главврач (страхагент) голосом скрипучим, но громким и даже, пожалуй, звучным.— Какая встреча! Вад тебя видеть!

Обнаружив его пред собою, сэнсей (что-то бормотавший только что про силу веры или веры в силу) замолчал и сделал безуспешную попытку выбраться из дивана. Роберт подхватил его за вытянувшуюся вперед руку и помог подняться.

— Что вы здесь делаете?! — воскликнул сэнсей, глядя на страхагента почти с ужасом.— Как? Вы — здесь?

— Я собиваюсь пвиобвести это богоугодное заведение,— объяснил страхагент, приближаясь с улыбкой теперь уже явно доброжелательной и еще сильнее картавя.— Собственно, я его уже пвиобвел. Можешь меня поздвавить: владелец!

— Поздравляю,— сказал сэнсей с видом полного и безнадежного непонимания.

— Спасибо. Я надеюсь, ты поздвавляешь меня искренне?

Сэнсей издал неопределенный звук, а Роберт вдруг увидел вражеского телохранителя — тот стоял столбом, руки по швам и ел страхагента (главврача? владельца?) преданными глазами. Наступило что-то вроде классической немой сцены: остолбенелый телохранитель, почтительнейше замершие в позах безусловной готовности врачи, сэнсей, ничего не понимающий, а посредине — благодушно и жутковато улыбающийся человек с лицом черно-красным и блестящим, словно головка дорогой курительной трубки.

И тут вдруг распахнулась дверь палаты, и в коридор выехал в своей коляске пестрый инвалид, на плече он держал рулон прозрачной ткани, а коляску ему катила скрюченная ведьма с землистым лицом, полуоткрытым ввалившемся ртом и красными глазами.

— «Тебе говорю: встань»,— провозгласил инвалид пронзительно и ликующе, словно в трубу протрубил,— «возьми постель твою и иди в дом твой»! Каждому да воздастся по вере его!

Никто опомниться не успел, и никто не успел даже удивиться, как колени женщины подломились, она закинула страшное лицо свое с помертвевшими вдруг глазами и повалилась на ковер — мягко и бесшумно, как умеют падать опытные эпилептики. Или алкоголики, утратившие наконец чувство равновесия.

— Может быть, все-таки закуришь? — спросил Тенгиз осторожно.

— Нет. Воздержусь. Я думаю, он сейчас придет.

Роберт старался говорить по возможности спокойно. Перед глазами у него была Татьяна Олеговна — как она падает навзничь, закинув к потолку мертвое свое лицо... и бегущие к ней со всех сторон развевающиеся белые халаты... и тревожные ка-

кие-то звонки все еще дребезжали в ушах, и нечленораздельный гомон многих голосов, и визгливые невнятные приказы: «тарара-зепам, струйно!», и страшный голос страхагента-владельца: «Идиот косматый! Мозги в голову ударили? Кветин безгвамотный!..» И поверх всего этого — сухой непреклонный голос сэнсея: «Идите в машину. Я прошу вас — в машину!» — голос командора, а у самого ноги тряслись, старческие тощие ноги в узких брюках в полоску...

— Совсем плохо? — спросил Тенгиз сочувственно.

— Да уж хорошего мало,— пробормотал Роберт.

— Если бы точно знать, что с человеком происходит после смерти,— сказал глубокомысленно Тенгиз,— ни за что жить бы не стал.

— С человеком после смерти ничего не происходит. Все, что потом происходит, происходит уже с трупом.

— Потому вот и скрипим помаленьку,— сказал Тенгиз.

— Не философствуй. Не умеешь.

— И не собираюсь. Просто отвлекаю тебя от мрачных мыслей.

— Самым лучшим способом.

— Естественно. Как отвлечься от неприятных мыслей? Вспомнить, что смертен. И сразу все встает на свои места. Масштаб появляется, понимаешь?

— Понимаю. Только: «Когда я думаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить...» Вон он, кажется, идет. Заводись.

— Давно. Печка же работает...

Роберт его не слушал. На обширное крыльцо вышел и сразу же зябко обхватил себя руками сэнсей, и он был не один. Страхагент-владелец вышел вместе с ним, и они остановились на самой верхней ступеньке, продолжая разговор. У обоих была неважная артикуляция, и поначалу Роберт сумел прочитать по губам только странную фразу владельца: «Во все тяжкие, что ли? Я тебе что обещал?» Тут он отвернулся, и Роберт перестал видеть его рот, а сэнсей сказал с возмущением: «А почему я должен вам верить? Что вы такого сделали, что я вам должен верить?» Владелец ответил что-то невидимое, повернулся в профиль, сделался похож на ворона, и тут Роберт вспомнил, как сэнсей назы-

вал его давеча: Лахесис. Он называл его Лахесис. «Она умирает,— сказал сэнсей.— Я вас тысячу раз просил: сделайте что-нибудь».— «Ничего сделать нельзя. Она уже умерла. Смирись. Все, что можно сделать — вернуть ей разум. На несколько дней».— «Хоть на час. Я попрощаться хочу».— «Да не хочешь ты этого. Признайся...» — «Вы просто кусок ржавого железа,— сказал сэнсей.— Я вас ненавижу».— «Принимаю. Это твое право. Ударь меня, если хочешь».— «Это было бы противоестественно».— «Ничего, не страшно. Все, что происходит — естественно...»

Сэнсей ничего на это не ответил, и некоторое время они молчали, глядя друг на друга в упор, глаза в глаза. Сейчас сэнсей ему врежет по мордам, подумал Роберт с мстительным удовлетворением. И тут Тенгиз спросил шепотом:

— Кто это такое? — У него даже лицо осунулось.

— Лахесис,— сказал Роберт, криво усмехнувшись.

— Кто?

— Лахесис. Мойра. Мужеска пола мойра. Клото — прядет нить судьбы; Лахесис — проводит человека через превратности; Атропос — нить перерезает.

Тенгиз все смотрел неподвижными глазами.

— А ты не врешь? — сказал он почти жалобно.

— Не знаю,— сказал Роберт честно.

— Врешь, блин. Мойры ведь — женщины, разве нет?

— Это в Древней Греции они были женщины. А у нас в России — мужчины. Как видишь.

— Страшное какое,— сказал Тенгиз.

— Все такие будем,— сказал Роберт.— Подожди, не мешай.

Старики снова заговорили, и теперь стало совсем уж непонятно, о чем речь. «Вы напрасно меня испытываете,— говорил сэнсей.— Я все равно не буду работать с вашей протеже».— «Это почему же?» — «Сто раз объяснял вам: я не работаю с женским полом».— «Обрати внимание: я бы мог сказать тебе то же самое. Слово в слово...» — «Вы просто кусок ржавого железа,— повторил сэнсей онемевшими губами.— Я вас ненавижу».— «Спасибо. Это, конечно, честь для меня. Но меня ненавидели люди и покруче...» Красно-черное лицо его светилось самодоволь-

ством, а на лице сэнсея была не только ненависть, на лице еще был страх.

...Какого черта? Сэнсей никогда никого и ничего не боялся. Что еще за протеже? И вдруг он понял: Злобная Девчонка. Вот о ком они сейчас говорят. Опять. В третий раз уже. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим как всегда. Ее рука над цветком изгибалась, и из лейки лилась вновь вода...» Этот чернолицый дьявол хочет запустить в мир «всеизлечающее зло», а сэнсей не хочет. Сэнсей боится. Просто боится, и все. А сволочь черномордая его шантажирует...

Он смотрел, как старики раскланиваются — старомодно-вежливо, с достоинством, дьявольски прилично. Он увидел слова Лахесиса: «Я по-прежнему жду ответа». И слова сэнсея: «Я вам уже ответил. Не смейте меня мучить...» Или что-то в этом роде: губы у сэнсея снова сделались словно замерзшие, онемели.

Он выскочил из машины, подхватил сэнсея еще на ступеньках, довел до машины, помог забраться на заднее сиденье. «Ничего, ничего,— приговаривал сэнсей невнятно.— Все в порядке. Я могу... Вполне...» Роберт пристегнул его ремнем, сел рядом с Тенгизом, пристегнулся сам. «Поехали»,— сказал он Тенгизу, и Тенгиз аккуратно и мягко развернул машину. (Лахесис все еще стоял у подъезда, страшное лицо его чернело на фоне снежных подушек, прилипших к стенам здания, он держал руку в лениво расслабленном приветствии, как товарищ Сталин на мавзолее.)

...Кому нужны эти ваши мировые проблемы, раздраженно думал Роберт, адресуясь к страхагенту-владельцу-Лахесису. Оставьте мир в покое и займитесь собственными персональными делами. И всем сразу же станет легче... Он понимал, что сэнсей ни за что не согласился бы с этим простым рассуждением. Сэнсею ведь тоже не давал покоя этот мир, слишком неудачно скроенный, чтобы в нем просто жить, не пытаясь переменить выкройку. Но сэнсею я верю. А Лахесису нет. ...Да провались ты пропадом, неприятный старик, подумал Роберт. Я вообще не верю тем, кто претендует проводить меня через превратности судьбы. Оставьте меня с моей судьбой наедине, и мы с ней как-нибудь да разберемся... В конце концов, я тоже согласен, чтобы мной управляли, но при условии, что я этого управления не замечаю... Он

понимал, что хорохорится. Ни черта не годен был он разбираться один на один со своей судьбой. И никто из нас не годен, подумал он. Даже Тенгиз-Психократ. Сэнсей как-то сказал с горечью (в ответ на какой-то дурацкий упрек): «А я сейчас все плохо делаю. Я даже сплю плохо». Это и про нас про всех тоже. И особенно плохо все мы распоряжаемся своею судьбой. Да мы ею вообще не распоряжаемся. Совсем. Дилетанты. Никакошенького профессионализма...

Тут он отвлекся, потому что сэнсей вдруг заговорил, и голос у него был резкий и незнакомый:

— Когда у нас мальчик назначен? — спросил он.

— Завтра,— сказал Роберт.— В десять утра.

— Я помню, что в десять утра. А нельзя — сегодня? Сейчас?

— М-м, не знаю.

— Нет времени, Роберт. Времени — нет. Позвоните. Устройте. Соврите что-нибудь. Чтобы через пару часов. Лучше — через час. Мы будем через час дома, Тенгиз?

— Через два,— сказал Тенгиз коротко.

— Отлично. Пусть будет через два. Соврите что-нибудь, если понадобится.

— Хорошо,— сказал Роберт и достал мобильник.— Я попытаюсь.

— Соврите что-нибудь,— повторил сэнсей в третий раз.— Скажите, что обнаружились новые важные обстоятельства.

— Я совру,— пообещал Роберт, набирая номер.— Не беспокойтесь, сэнсей.

— Времени совершенно нет,— сказал сэнсей с каким-то даже отчаянием. Он откинулся на сиденье, положил руки на колени, но сейчас же снова сгорбился, почти повиснув на ремнях.— Совершенно,— повторил он.— Совершенно нет времени.

3.10.2002

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ

«СКАЗАНИЕ О ЁСИЦУНЭ»

Источник: Завтра: Фантастический альманах: Вып. 5, М.: Текст, 1993. (Первопубликация под заглавием: «Три подвига японского Суворова. Несостоявшееся предисловие к анонимному средневековому рыцарскому роману XIV века, а ныне материал к размышлениям для тех, кто интересуется историей Японии»: Живое слово (Тюмень).— 1992.— № 1.)

ИНСТРУКЦИЯ К ЧТЕНИЮ

Предисловие к публикации в альманахе «Завтра» (1993 год):

Аркадий Стругацкий был еще и блистательным переводчиком — с английского и особенно с японского. Ему принадлежат переводы романа Джона Уиндема «День триффидов», повестей Абэ Кобо «Четвертый ледниковый период» и «Тоталоскоп», повести Санъютэя Энтё «Пионовый фонарь» и других произведений (часть из них — под псевдонимом С. Бережков). Вершиной его трудов был перевод со старояпонского известного во всем мире романа «Сказание о Ёсицунэ».

Предисловие к роману, написанное Стругацким, должно было объяснить русскому читателю, слыхом не слыхавшему о подвигах Ёсицунэ, какова подоплека событий в японском рыцарском романе XIV–XV веков и какова роль героя романа в истории Японии. Но увлекательное произведение Стругацкого напечатано не было. Произошло обычное в отечественной издательской практике хамство: издательство «Художественная литература» выпустило роман в 1984 г. тиражом 50 тыс. экз. без предисловия. А в чахлом послесловии о Ёсицунэ не было сказано почти ничего, и читать его, как всегда в таких случаях, трудно и скучно.

*Мы печатаем эссе Аркадия Стругацкого не только по долгу памяти. Для нас, российских читателей XX века, это — **иная** фантастика: повествование о неизвестной стране, о непостижимых событиях и людях.*

Это роман исторический, биографический и авантюрный.

Время действия — далекий XII век.

Место действия — далекая Япония, Нихон или Ниппон.

(«Корень Солнца» — так впервые и навсегда назвал свою страну в официальном документе некий крупный политический деятель VII века[1].)

Это роман средневековый: он увидел свет всего через два века после описанных в нем событий.

Это роман о верности и предательствах, о беззаветной любви и легкомысленных изменах, о великой цели и низких средствах, о надежде и разочарованиях, о душевном благородстве и подлой зависти.

Это роман о трагической судьбе Ёсицунэ, замечательного полководца, японского Суворова, имя же это знакомо на его родине любому школьнику, ибо он был боевым участником грандиозных событий, определивших историю Японии на семь веков вперед[2]. (Впрочем, о событиях этих в романе почти не упоминается, как об обстоятельствах совершенно общеизвестных.)

Итак, это роман о Ёсицунэ.

Для начала читателю предлагается запомнить два японских слова-имени: Тайра и Минамото. Так назывались два могущественных клана, возглавлявших почти все организованные вооруженные силы Японии XII века.

Что представляли собой тогда вооруженные силы?

Самурайские дружины. Самурайская конница.

Слово «самурай» происходит от древнего глагола «сабуроу», «самурау» — «верно служить господину своему». В классическом японском романе «Гэндзи-моногатари» (нач. XI века) одну

---

[1] Принц-регент Умаядо, он же посмертно Сётоку-Тайси, смелый реформатор и дальновидный политик. Речь идет о послании к китайскому императору в 607 году. (Здесь и далее, кроме особо отмеченных, примечания автора.— *Ред.*)

[2] И еще об имени. Ни в коем случае нельзя произносить его с ударением на «у». Лучше уж это «у» вообще не произносить, а называть нашего героя «Ёсиц'нэ».

из фраз с этим глаголом можно перевести так: «Во дни, когда решалось многое, он состоял при господине, не щадя живота своего».

Позже самурайство оформилось в воинское сословие, своего рода дворянство, а во времена Ёсицунэ самураями назывались вассалы, обязанные господину и его роду безоглядной верностью в беде и в бою, и коим господин и род его обязаны были благосклонностью, милостью и материальным обеспечением. В массе своей это были выходцы из крестьян, деды которых получили наделы из владений дедов господина. Отличившиеся в жестоких битвах доблестью и боевым искусством оставляли крестьянский труд и становились дружинниками, профессиональными воинами на полном содержании у господина, а некоторые получали в награду новые наделы с вассалами и крестьянами. Словом, имел место процесс почти такой же, как в Западной Европе, с той только существенной разницей, что японский крестьянин не был тогда смердом и вилланом, и лишь четыре века спустя прозвучали страшные слова жестокого диктатора: «Хякусё коросадзу икасадзу» — «Не убивай мужика, но и не давай ему жить»[1]. И еще: не действовал в Японии закон «вассал моего вассала не мой вассал».

Самурайство возникло в жестоких битвах.

К слову, за всю свою писаную историю Япония всего четыре раза подвергалась иноземным нашествиям. В 1019 году пиратская армия той (чжурчженей) численностью до трех тысяч голов высадилась на северном берегу острова Кюсю и принялась убивать, жечь и грабить. Быстро, хотя и не без труда налетчики были истреблены. В 1274 году примерно в тех же местах высадилось монголо-китайское войско богдыхана Хубилая. Поначалу самурайским дружинам пришлось плохо (по недостоверным сведениям, они тогда впервые столкнулись с огнестрельной артиллерией, хотя, возможно, это были своеобразные огнеметы), но налетевший тайфун потопил большую часть десантных кораблей, и неудачливые завоеватели, теснимые разъяренными япон-

[1] Токугава Иэясу, первый сёгун династии Токугава, правившей Японией с конца XVI века и вплоть до «революции Мэйдзи» в 1868 году.

цами, убрались восвояси. Через семь лет Хубилай направил в Японию новую армаду, и вновь налетел тайфун и перетопил весь десантный флот, и это была последняя попытка Китая посягнуть на Японию. Академик Н. Конрад писал: «В сознании японского народа такое благополучное отражение грозного нашествия было понято как действие родных богов: именно они в образе камикадзе (божественного ветра) ринулись на пришельцев». Четвертый раз Япония подверглась иноземному нашествию в 1945 году: на ее земли и воды пришли оккупационные армии США.

Нет, не в битвах с внешним противником возникла и совершенствовалась превосходная самурайская конница. (Пехоты почти не было, щитами почти не пользовались, всадник в войлочных и кожаных доспехах великолепно владел дальнобойным луком и способен был при случае разнести противника мечом от плеча до пояса.) Отцы и деды тех десятков тысяч людей, которым суждено было выйти на историческую арену в конце XII века, становились воинами на суровом северо-востоке страны в походах против аборигенов-айносов и против соплеменников, пытавшихся оторваться от центрального правительства. Это были фронтиреры, профессиональные вояки, грубые, жестокие, беспредельно верные и беспредельно лукавые...

Тайра и Минамото — вот два клана, организовавшие и возглавившие самурайские армии по праву феодального старшинства. Клан Тайра господствовал на более или менее цивилизованном западе страны. Клан Минамото имел преимущество в краю Канто, на «Диком Востоке» тогдашней Японии. Между ними — Киото, Кёто, столица, Хэйанкё — Столица Мира и Спокойствия.

Время действия — последние десятилетия XII века.

Небесполезно вспомнить, что происходило в это время в мире.

Русь. Грандиозная держава, созданная столетие назад Владимиром Мономахом, распалась. Грозные междоусобицы сотрясают страну. В 1169 году галичане, владимирцы и суздальцы громят Киев.

Китай. Устоялась граница по великой реке Янцзы между чжурчженьским государством Цзинь и китайской Южно-Сунской

империей. Цзинь грызется с Южным Суном, а над их головами, в междуречье голубого Керулена и золотого Онона, свирепый Темучжин[1] уже ломает «бескровно» хребты непокорным родичам и вождям татар и меркитов.

Европа. Пошел третий крестовый поход. Потея от жары и страдая от паразитов под миланскими панцирями, высаживаются в многострадальной Акре Ричард Львиное Сердце, Филипп-Август и Фридрих Барбаросса. Поздно. Уже потеряно графство Эдесса и королевство Иерусалим, а там на очереди остров Крит и (правда, столетие спустя) графство Триполи, и княжество Антиохия, и все прочее.

Америка, Африка... Автор извиняется перед читателем: не хватает эрудиции. Впрочем, надо думать, там тоже громят, режут и жгут...

К середине XII века административно-политический строй, утвердившийся в Японии в VII веке, пришел в полный упадок. Устройство власти стало сложным и нелепым, как Птолемеева система эпициклов. Был император, тэнно, Сын Неба. Его сажали на престол во младенчестве и снимали, едва он давал потомство. Фактическая власть принадлежала регенту, канцлеру, престолоблюстителю из древнего рода Фудзивара. Регенты непременно женили малолетних императоров на своих дочках и внучках и выдавали принцесс за своих сыновей и внуков. С конца XI века этот механизм еще более усложнился: отставные императоры создали свой собственный двор и перехватили у регентов-канцлеров значительную часть их автократических прерогатив.

Бесконечно далеки от народа и насущных нужд государства были эти люди. Крестьянин был для них сущей абстракцией. К грубым и жестоким самурайским главарям они относились с боязливым презрением. О торговцах и ремесленниках они знать ничего не хотели. Жизнь в вещных проявлениях существовала для них лишь в форме дворцовых и междворцовых интриг, хитроум-

[1] Впоследствии Чингисхан.

ных и беспринципных, преследующих самые малопочтенные цели.

Один из многочисленных примеров идиотизма тогдашнего правительственного аппарата. Как уже упоминалось, в 1019 году чжурчжени высадили на побережье Кюсю разбойничий десант. Императорский двор объявил вознаграждение местным самурайским дружинам, если они управятся с неприятелем. К тому времени, когда рескрипт о вознаграждении достиг района боевых действий, с чжурчженями было уже покончено. И что же? Вознаграждение выплачено не было — на том основании, что неприятель был разбит *до* получения рескрипта.

Конечно, велись войны, и даже победоносные — с возомнившими о себе подданными. Так, в конце девятого века самурайские дружины в течение пяти лет затаптывали пожар мощного крестьянского восстания на северо-западе Кюсю. В X веке был разгромлен на востоке мятеж Масакадо, объявившего себя императором, а на западе раздавлено восстание Сумитомо, задумавшего отложиться от столичного правительства. Во второй половине XI века был стерт с лица земли могучий клан Абэ, объявивший себя независимым властителем крайнего северо-востока страны.

Однако не военными (и, уж разумеется, не административными) успехами ознаменовала течение свое та эпоха. Невиданный в веках расцвет литературы и искусства создал ей мировую славу. Слово «Хэйан» («Мир и Спокойствие»)[1] — название этого периода в истории Японии — немедленно ассоциируется в сознании любого культурного человека на нашей планете с такими шедеврами, как «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон, поэтическая антология «Кокинсю». Были построены изумительные храмы и дворцы, созданы бессмертные скульптуры, написаны выдающиеся картины... Да, этого у старинной хэйанской аристократии не отнять: в изящной словесности и в изящных искусствах, в китайской литера-

[1] Формально хэйанский период исчисляется с 794 года, когда столица была перенесена из Нары в Киото, до 1185 года.

турной и философской классике, в возвышенном и прекрасном она толк понимала[1].

Во второй половине XII века этой блистательной цивилизации и бездарной политической системе пришел конец.

Как часто случалось в мировой истории, все началось с инцидента довольно незначительного. В 1156 году разыгрался финальный акт обычной по тем временам междворцовой усобицы: отставной император Сутоку при поддержке очередного регента Фудзивары выступил против занимавшего престол сводного брата по имени Го-Сиракава (в европейской терминологии — Сиракава Второй; имя этого подлеца и интригана следует запомнить, ибо он сыграл немаловажную роль в последующих событиях). Сутоку и регент выставили несколько сотен человек так называемых регулярных войск, наспех собранных по ближним провинциям, и тут, совершенно неожиданно для всех, беспрецедентно, возмутительно, придворная камарилья, поддерживавшая Го-Сиракаву, прибегла к недозволенному приему: воззвала о помощи к главарям кланов Тайра и Минамото. Профессиональные вояки в одну ночь перебили кое-как вооруженных наемников, руководимых блестящими знатоками изящных искусств, и заодно сожгли резиденцию Сутоку. Дворцовое восстание, известное впоследствии как мятеж Хогэн[2], было подавлено.

Повторяем, внешне событие как будто незначительное. Довольно обычная вспышка нормальной грызни между августейшими особами, не имеющая никакого значения для судеб народа и страны. Сожжено несколько построек, убито и покалечено несколько сотен человек, кого-то сослали, кому-то пришлось

---

[1] Автор не считает себя знатоком истории японской культуры. Его основной интерес — переведенная им книга. Интересующихся культурой Хэйана он отсылает для первого знакомства к превосходной работе покойного Н. И. Конрада «Очерк истории культуры средневековой Японии VII–XVI века» (изд. «Искусство», М. 1980 г.).

[2] Хогэн — название (девиз) правления тех дней — с 1156 по 1158 год. На протяжении годов царствования одного императора девизы могли меняться несколько раз.

постричься в монахи... Бывали дела куда более страшные. Так что древняя хэйанская аристократия, сплотившаяся вокруг императорского трона, была по-прежнему нерушимо уверена в своих исконных правах и привилегиях. Самураи, от младых ногтей воспитанные в благоговейном отношении ко всему, что связано с правящей династией (а она, как всем известно, ведет начало из чресел богини Аматэрасу, покровительницы Японии), тоже были по-прежнему убеждены в праве аристократии разрешать и вязать. О торговцах, ремесленниках и крестьянах и говорить не приходится — их политическое самосознание пребывало на уровне родового строя.

А между тем свершилось небывалое! Самураи впервые показали себя как единственная реальная сила в государстве, решающая сила не где-то там на «Диком Востоке» и в отдаленных мятежных провинциях, а в сердце страны, в самой столице, в стенах императорского дома. Отныне древняя государственная система становилась всего лишь традицией, только тогда мало кто осознавал это. Но кое-кто осознал. Киёмори, глава клана Тайра. И Ёситомо, глава клана Минамото. Киёмори и Ёситомо, эти два имени тоже надлежит запомнить читателю, ибо именно с вражды между этими свирепыми и гордыми людьми, с их бешеной борьбы за влияние при дворе началась грандиозная война между их кланами, началась гибель древней хэйанской цивилизации и наступила эпоха военно-феодальных диктатур.

Следует отметить, что и Тайра, и Минамото не были совершенными чужаками в придворной среде. Тайра Киёмори был племянником любимой наложницы одного из экс-императоров, а Минамото и вообще вели свой род от императора Сэйва, занимавшего престол с 858 по 876 год. Правда, утонченные аристократы третировали их как грубых солдафонов, и родниться с ними считалось едва ли не мезальянсом, однако военные триумфы военачальников Минамото на «Диком Востоке» и блестящие расправы вождей Тайра с пиратами на японском Внутреннем море воспринимались двором весьма благосклонно. А после разгрома мятежа Хогэн герои дня Ёситомо и Киёмори и вовсе поняли, что их час пробил. Возможно, они одни только понимали тогда, что

неизбежна между ними смертельная схватка и что призом победителю будет ***власть***.

Впрочем, есть основания полагать, что идею захвата власти, идею единоличной диктатуры осознавал только Тайра Киёмори, человек незаурядных, организаторских талантов и совершенно непомерной гордости. Минамото Ёситомо был более консервативен, менее целеустремлен, и двигали им не столько политические соображения, сколько неопределенные, хотя и весьма сильные эмоции.

Прочие факторы: клан Тайра был сплочен и выступал как единый социальный организм, а вожди Минамото были разобщены и не очень доверяли своему главарю; Киёмори был по воспитанию эрудитом и ценителем прекрасного и потому принимался при дворе как свой, а Ёситомо был отъявленным воякой, склонным к развлечениям довольно низкого пошиба, и потому при дворе на него косились, как на чужака; наконец, Киёмори был отличным политиком, а Ёситомо отдавал предпочтение прямым действиям.

Гроза разразилась в январе 1160 года. Ёситомо, вступив в сговор с Фудзиварой Нобуёри, молодым аристократом из недовольных, во главе пяти сотен отборных рубак захватил императора и Го-Сиракаву (тот стал уже экс-императором) и принялся избивать политических противников и их присных. Киёмори с небольшим отрядом засел в своей резиденции. Нобуёри объявил себя канцлером и вместе с Ёситомо засел в Большом Дворце. Киёмори предложил переговоры. Мятежники медлили, не зная на что решиться. Но тут агенты Киёмори ухитрились выкрасть мальчика-императора и освободить Го-Сиракаву. К Киёмори прибыли подкрепления. Большой Дворец был осажден, начались кровопролитные бои. Ёситомо сопротивлялся отчаянно и искусно, но в конце концов вынужден был пойти на прорыв и бежать. Так закончилась первая схватка между Тайра и Минамото, названная впоследствии мятежом Хэйдзи[1]. Полегло несколько ты-

[1] По девизу годов правления (1159–1160).

сяч человек, сгорело несколько десятков дворцов и храмов. Нобуёри был взят и казнен. Ёситомо «ушел в бест»[1], но вскоре был зарезан собственным вассалом.

Внешне все осталось, как было: император, экс-император, регент. Но отныне над всеми ними встала грозная фигура Тайра Киёмори, опиравшаяся на десятки тысяч самурайских мечей. Клан Минамото исчез с политической арены. Киёмори правил во дворце, в столице, в стране железной рукой, беспощадно пресекая малейшие попытки противиться его воле. Важнейшие государственные посты и наместничества в провинциях заняли его родственники и верные ему люди. Он организовал всепроникающий политический сыск и утвердил пытку и заложничество как регулярные методы дознания. Уцелевшие вожди Минамото боялись шелохнуться в своих уделах и местах ссылок. Чванливая аристократия трепетала при упоминании его имени. Он выдал одну из дочерей за регента, другую положил в постель самого императора. Он занял должность канцлера и получил высшие придворные звания. Наконец он заключил под стражу экс-императора Го-Сиракаву и заставил императора отречься от престола в пользу трехлетнего сына, которого родила императору его, Киёмори, родная дочь. Казалось, владычеству клана Тайра не будет конца.

Запомним еще одно имя: Ёритомо.

Минамото Ёритомо, третий из девяти и старший из уцелевших сыновей злосчастного Ёситомо, сводный брат главного героя этого романа Ёсицунэ и сам один из героев этого романа. После гибели отца — главарь клана Минамото по праву наследования.

(Впоследствии один из крупнейших исторических деятелей Японии, сравнимый по значению с Иваном Грозным на Руси и с

---

[1] «Уйти в бест» (чаще «сесть в бест») — скрыться от наблюдения, не проявлять себя. (Прим. ред. альманаха «Завтра»).

Людовиком Одиннадцатым во Франции, основатель первого сёгуната[1], решительный реформатор и проницательный политик.)

В дни мятежа Хэйдзи ему было четырнадцать лет, он числился по дворцовой гвардии и дрался против самураев Тайры Киёмори стремя в стремя с отцом. После разгрома мятежа разъяренный Киёмори хотел было его прирезать, но на беду свою пощадил и сослал в далекую провинцию Идзу. Там, едва ли не в сердце «Дикого Востока», провел Минамото Ёритомо, затаившись, два томительных десятилетия.

Судя по последующим событиям можно не сомневаться, что с самого начала он посвятил свою жизнь сокрушению клана Тайра и восстановлению славы и могущества родного клана Минамото. Нетрудно представить себе, как пристально следил он через верных людей за обстановкой в столице, за малейшими изменениями в расстановке сил в стране, за ростом ужаса, отчаяния и гнева в терроризированном императорском доме; как тщательно и методично разрабатывал он тактику и стратегию грядущего переворота и политического переустройства государства после своей неминуемой (он в этом был уверен!) победы; как осторожно, с полным пониманием конспирации нащупывал он возможных союзников... А союзники определялись. Главным был местный вассал клана Тайра[2], на кого возложили обязанность надзирать за ссыльным. Этот дальновидный человек поверил в счастливую судьбу Ёритомо и стал его тестем. (Красавица Масако оказалась непомерно ревнивой, но это обнаружилось гораздо позже.)

Годы шли. Годы и годы в провинциальной дичи, в безнадежной дали от блестящей столицы, от почета и лести, от лукавых и податливых красавиц-фрейлин, от утонченных распутников-придворных, к которым он мальчишкой успел привыкнуть за четыре

---

[1] Сёгунат (от «сёгун» — «верховный главнокомандующий») — политическая система военно-феодальной диктатуры в Японии, просуществовавшая с 1192 по 1867 год. Возглавляли ее династии автократов-сёгунов. Первый сёгунат (династия Минамото) длился с 1192 по 1333 год.

[2] Ходзё Токимаса.

года после мятежа Хогэн. Два десятилетия — не шутка. Наверное, постепенно образы столичного прошлого утратили для него реальность и прелесть, сладкие воспоминания вытеснились железными фактами повседневности. Он наблюдал, планировал, копил ненависть. Ждал. И дождался.

К концу семидесятых годов того бурного для Японии века положение в стране осложнилось необычайно. Старый Киёмори смертельно болел (вероятно, у него был рак) и несказанно мучился. Но страшнее физической боли терзала его гордыня, а еще страшнее — сознание, что на нем все кончается. Сыновья не удались, и призрак гибели рода терзал этого могучего и грубого человека. Всю любовь свою и надежды он сосредоточил на внуке-императоре, заливаясь слезами, тетешкал его, а затем извергал (иного слова не подберешь) гибельные приказы, один ужаснее другого. Впрочем, никакого реального смысла в его действиях уже не было, как не было уже для него никакой политики, ни хорошей, ни плохой, ни полезной, ни вредной. Власть сама по себе — одно лишь это интересовало его. Слепые самурайские мечи, изощренный сыск, игрушечные интриги в императорском доме до поры до времени еще поддерживали его, но дело шло к концу.

Словно нарочно в это же время на страну обрушились опустошительные землетрясения и эпидемии, столицу потрясали пожары, голод, нашествия огромных разбойничьих шаек (разоренные вконец крестьяне, обозленные высокомерной неблагодарностью чиновников самураи, осатаневшие дезертиры из монастырских армий...). Можно себе представить японский народ в те годы, суеверный, подавленный, возбужденный: «Злодеяния Киёмори навлекают на нас все эти ужасы, наступил край существования!» А шестидесятилетний старец в своей столичной резиденции на улице Рокудзё, измученный непереносимыми болями и не желающий знать ничего, кроме собственного свирепого «Желаю!», продолжал отправлять на смерть, на пытки, в ссылку, в заточение... Поистине, это была первая, по необходимости нелепая, прикидка самурайской власти.

В пятом месяце 1180 года, не вынеся угроз и насилия, поднял мятеж принц Мотихито (сын заключенного под стражу экс-

императора Го-Сиракавы). Мятеж был скверно организован и быстро подавлен, Мотихито убит при попытке прорваться на восток, но его призыв к оружию против тирании клана Тайра очень быстро достиг всех сколько-нибудь значительных вождей Минамото, затаившихся в северных и восточных провинциях.

Видимо, это и был тот случай, которого дожидался Ёритомо в далекой провинции Идзу. Пусть не сам император, но все же его августейший дядя, принц, объявил ненавистного Киёмори врагом государства. В середине восьмого месяца 1180 года Ёритомо с горсткой людей разгромил гарнизон наместника и двинулся на восток поднимать старых вассалов. К знамени его было прикреплено воззвание принца Мотихито. (Вряд ли это было подлинное воззвание, но сомнений оно, насколько нам известно, ни у кого не вызвало.) Великая война Минамото и Тайра началась.

Ёритомо сразу же удалось собрать значительные силы, вскоре к нему присоединился со своей дружиной средний брат по имени Нориёри, на севере выступил против Киёмори их двоюродный брат Кисо Ёсинака, и с юга к столице подступили дружины их дядюшки Юкииэ, на сторону Минамото переходили даже вассалы дома Тайра — впрочем, этим просто некуда было деваться в охваченном восстанием краю...

В десятом месяце Ёритомо прочно укрепился на левом берегу реки Фудзи поперек Токайдоского тракта, соединяющего столицу с «Диким Востоком». Карательные войска не заставили себя ждать, отбили дядюшку Юкииэ, а затем двинулись на восток и заняли позиции на правом берегу Фудзи. Следующей же ночью самураи Ёритомо переправились через реку. Лагерь карателей был разгромлен, столичные военачальники отдали приказ к поспешному отступлению. Это было первое серьезное поражение войск Тайра.

Ёритомо не стал их преследовать. Он прекрасно понимал, что прежде всего ему необходимо укрепить тылы. И как раз в это время в его ставке на берегу Фудзи, словно чертик из коробочки, появился его младший сводный брат Ёсицунэ, девятый и младший из сыновей злосчастного Ёситомо.

Мало что известно достоверного о Минамото Куро Ёсицунэ до этого двадцать первого октября 1180 года. Родился он в 1159 году, за год до рокового для его отца мятежа Хэйдзи, у незначительной придворной дамы, и был он у этой дамы третьим от громогласного и нестеснительного вояки Ёситомо. В дальнейшем обстоятельства его детства, отрочества и юности складывались, по-видимому, примерно так, как они описаны в романе. Во всяком случае, противоречащих роману данных нет, если не считать некоторых элементов слегка мистического толка да еще его наружности: не был он белолицым красавчиком, похожим на знаменитых древнекитайских прелестниц, а был смугловатым пучеглазым парнем с кривыми растопыренными зубами. Таким он и предстал перед хмурым и озабоченным старшим братом — увешанный оружием и готовый на немедленную смерть во имя процветания и славы рода Минамото и для умиротворения неотмщенного духа их общего отца. С этого дня и до конца 1185 года деятельность Минамото Ёсицунэ прослеживается достаточно определенно. Правда, именно этот период почти не нашел отражения в романе как слишком известный современникам автора. И роман не стал от этого хуже, но выше уже говорилось, что события этого периода определили историю Японии на семь веков вперед, и русскому читателю небесполезно будет узнать о них подробнее. Даже оставляя в стороне то обстоятельство (об этом тоже упоминалось выше), что герой романа сыграл в них далеко не последнюю роль.

Итак, братья встретились — тридцатитрехлетний Ёритомо, собранный и недоверчивый, всегда себе на уме, и двадцатилетний Ёсицунэ, пылкий и исполненный самых светлых надежд. Характерно, что с первого же взгляда они понравились друг другу. Младший благоговел перед главой родного клана. Старший сразу увидел в простодушном, восторженном мальчишке верного помощника в грядущих испытаниях. Вероятно, Ёсицунэ был несколько разочарован, когда выяснилось, что Ёритомо не собирается незамедлительно двигаться дальше на запад, на столицу, но он верил старшему брату, как божеству и покровителю их клана Юмия Хатиману. Гарцевать на конях перед авангардами армии Тайра на дальних подступах к столице они предоставили

своему дядюшке Юкииэ с его растрепанными дружинами, а сами вернулись в Камакуру[1], где Ёритомо учредил свою постоянную резиденцию. Дел было много. Надо было создавать свою администрацию. Надо было угрозами, лестью и раздачами конфискованных у врагов земельных наделов привлекать на свою сторону колеблющихся вождей влиятельных кланов. Надо было неусыпно следить за событиями на западе.

События на западе развивались довольно благоприятно.

В марте 1181 года скончалось наконец всеяпонское пугало, первый самурайский диктатор страны Тайра Киёмори. В последние минуты перед смертью, когда его спросили о последнем желании, неукротимый старик, корчась от мучительных болей, исступленно прохрипел: «Когда я умру, не творите вы жертв Будде, не возносите молений ему! Одно только. Отрубите вы голову Ёритомо и повесьте ее, эту голову, перед моей могилой!»

Вскоре после этого войска Тайра вдребезги разбили армию Юкииэ на реке Суномата у границы так называемых столичных провинций. Ёритомо, узнав об этом, только презрительно сморщился. «Как тигр, увидевший мышь»,— по выражению А. Толстого. Дядюшка, получивши воззвание принца Мотихито, с самого начала принялся воевать на свой страх и риск. Знать он ничего не хотел о наследном главаре клана, племяннике с «Дикого Востока», и конечно же примерял звание первого среди Минамото на себя. Как и следовало ожидать, руки у старого дурня оказались коротки, даром что в свое время неплохо воевал.

По донесениям из столицы в Камакуре понимали, что в ближайшие месяцы вожди Тайра на активные и планомерные выступления будут не способны. Во всю глубь и ширь начали сказываться грубые просчеты запуганной администрации покойного диктатора. Наспех (впервые за два десятилетия!) собранные армии были ненадежны. Население столицы роптало. Резервы были

---

[1] Камакура — город в тогдашней провинции Сагами, ныне в часе езды на электричке к югу от Токио. Ёритомо сделал его своей столицей и учредил в нем свое правительство («бакуфу» — «полевая ставка»). Камакура оставалась военно-политическим центром Японии до свержения сёгуната Минамото в 1333 году.

далеко на западе, ресурсы подходили к концу. Снова вставал над страной страшный призрак голода. Во дворце царила тихая паника. Кто-то из вождей предложил отступить на запад, в исконные свои провинции по берегам Внутреннего моря — разумеется, вместе с императором и всеми экс-императорами, со всеми их придворными и фрейлинами. На него шикнули, но Го-Сиракава, освобожденный из-под стражи, уже тайно слал своих гонцов к Ёритомо.

Нет, не в столице видел теперь для себя угрозу Ёритомо, дальновидный Камакурский Правитель. Был еще двоюродный братец.

Это имя тоже стоит запомнить: Минамото Ёсинака по прозвищу Кисо, двоюродный брат Ёритомо и Ёсицунэ, родившийся за шесть лет до мятежа Хэйдзи.

Этот Минамото, как и дядюшка Юкииэ, тоже претендовал на звание главы клана и тоже ни в грош не ставил камакурского родственника. Вырос он в горах Кисо (отсюда его прозвище) в самом центре острова Хонсю, а потому, выступив по воззванию принца Мотихито, все расчеты свои положил на соплеменные горные кланы в провинциях на северном побережье. И не ошибся: уже осенью 1181 года появился со своими дружинами горцев к северу от столицы и разгромил высланную ему навстречу карательную экспедицию, возглавляемую одним из вождей Тайра. Победа эта не обрадовала Ёритомо, как не огорчило его полгода назад поражение дядюшки Юкииэ. Камакурский Правитель сразу оценил появление на сцене могучего по-настоящему соперника. Однако на этот раз двоюродный братец успеха развивать не стал (видимо, вовремя сообразил, что сил для взятия столицы у него все же недостанет) и убрался обратно в свои горы.

(Успех диверсии Кисо вызвал в Камакуре не только тревогу, но и дух соревнования. Месяц спустя там узнали, что Тайра собираются еще раз потрепать многострадальное воинство Юкииэ, по-прежнему стоящее на границе столичных провинций. Тогда Ёритомо приказал Ёсицунэ выступить и разбить неприятеля. Ёсицунэ совершил стремительный бросок на запад, но армия Тайра уклонилась от боя, и его полководческий дебют не состоялся.

Впрочем, дядюшка Юкииэ все равно был рад за себя и за него: к этому времени старый воин уже признал главенство Ёритомо.)

В 1182 году военные действия между столицей и Камакурой полностью прекратились. Вожди Тайра, борясь с голодом и эпидемиями, подтягивали и организовывали боевые резервы, а Ёритомо, борясь с голодом и эпидемиями, расширял и укреплял свою диктатуру на «Диком Востоке». Между тем Кисо Ёсинака тоже не сидел сложа руки. Он вновь выступил из своей горной резиденции и, громя по пути не пожелавших подчиниться ему баронов и сквайров (да простится нам европейская терминология!), двинулся прямо на север. К концу года он вышел к Японскому морю и свернул вдоль побережья на юго-запад по Хокурикудоскому тракту. Там, в царстве полудиких горных кланов, он чувствовал себя как дома. Привлеченные широкими обещаниями богатых земельных наделов и неисчислимых трофеев, нищие вожди кланов с сотнями своих вассалов-самураев охотно присягали ему на верность и следовали за ним.

Ёритомо не спускал с него глаз и в начале 1183 года внезапно совершил угрожающий маневр ему во фланг и в тыл. Опасный момент для Кисо Ёсинаки! Кузены ненавидели друг друга, но до открытой вражды у них еще не дошло. Сдерживая бессильное бешенство, Кисо предложил переговоры. Ёритомо согласился. Кисо выразил Камакуре если и не готовность подчиниться, то полную свою лояльность. Ёритомо поверил — или сделал вид, что поверил,— и отвел войска. Кисо Ёсинака вздохнул с облегчением, поклялся в душе отомстить и возобновил поход. Вдоль побережья Японского моря, все круче на юго-запад и затем на юг, и вот уже его пятитысячная армия нависла с севера над столицей.

Но столица уже оправилась от потрясений позапрошлого года. Были собраны новые войска, созданы запасы продовольствия, оживились гордые воспоминания о недавнем могуществе. Единственной реальной угрозой представлялся Кисо Ёсинака, ибо Ёритомо по-прежнему недвижимо сидел в далекой Камакуре, а битое войско Юкииэ можно было к расчет не принимать. В апреле 1183 года, едва в горах стаяли снега, не жалкий карательный отряд, а отборное сорокатысячное войско под командо-

ванием одного из лучших военачальников Тайра вышло в поход «для подавления беспорядков в северных провинциях».

В течение месяца Кисо Ёсинака отступал перед превосходящими силами. Один за другим оставлял он свои опорные пункты и так сдал две провинции. А на границе третьей, на перевале Курикара, в ночь на одиннадцатое мая окружил главный корпус противника и наголову его разбил. Войска Тайра обратились в паническое бегство. Бегущих избивали беспощадно — двадцать тысяч из них полегло убитыми и ранеными, остальные побросали оружие и доспехи. Потери Кисо Ёсинаки были мизерными. Собрав трофеи и приведя себя в порядок, его армия снова двинулась на юго-запад. Путь на столицу был открыт.

Легко представить, какой ужас охватил вождей Тайра, их родичей и приверженцев при известии о разгроме на перевале Курикара. «В Рокухаре[1] лишь плач и стенания»,— сообщает о тех днях одна из хроник. Мгновенный переход от возродившихся надежд к сознанию безнадежности был поистине страшен. Имелись еще войска, но они помышляли только о бегстве. Имелись и военачальники, но они были деморализованы. А с севера неотвратимо надвигался беспощадный Кисо Ёсинака, а с юго-востока подходил кипящий местью Юкииэ. Ничего не оставалось иного, как со всей поспешностью отступать из столицы на запад, к берегам Внутреннего моря, где когда-то взошла звезда клана Тайра, к верным вассалам и верному боевому флоту. На том и порешили. Помолились богам о спасении и одолении, подожгли Рокухару и покинули столицу. С малолетним императором, с его августейшей матушкой, с придворными и чиновниками, со всем оставшимся войском.

Впрочем, одна августейшая особа не ушла вместе с отступающими Тайра. Воспользовавшись суматохой, экс-император Го-Сиракава своевременно ускользнул из столицы, вступил в контакт с Кисо Ёсинакой и вернулся в столицу в сопровождении

[1] Рокухара — дворец-резиденция вождей Тайра в столице. Там же помещалась и сыскная канцелярия.

нескольких тысяч горцев уже как единственный суверенный представитель императорского дома в стране.

Теперь Кисо Ёсинака стал полным хозяином в столице и окрестных провинциях, а также в северных, подвассальных ему землях. У него был свой император, у него была мощная армия, у него была операционная база. Осенью 1183 года он начал тайную подготовку к нападению на Камакуру, на Ёритомо, на претендента, однако Го-Сиракава убедил его — и подтвердил свои слова соответствующим экс-императорским рескриптом,— что прежде всего надлежит ему вкупе с Юкииэ нагнать и уничтожить войско Тайра, которое продолжало медленно отступать вдоль северного побережья Внутреннего моря. К этому времени весьма кстати стало известно, что вожди Тайра переправили малолетнего императора и императорский двор на остров Сикоку в местечко, именуемое Ясима[1]. И Кисо соблазнился возможностью одним выстрелом убить двух зайцев: разбить Тайра и захватить «вражеского императора».

Судьба решила иначе. Он нагнал и атаковал войска Тайра у деревни Мидзусима (двести с лишним километров к западу от столицы), но потерпел сокрушительное поражение. А тут до него дошел слух, будто на столицу идет камакурская армия. Тогда он бросил свое разбитое воинство, примчался обратно в столицу и предложил Юкииэ схватить Го-Сиракаву, основать в горах северных провинций собственное государство и оттуда начать войну с Ёритомо. Насмерть перепуганный дядюшка донес об этом экс-императору. Тот немедленно снесся с Камакурой, и Ёритомо понял, что медлить больше нельзя. Мощная армия восточных самураев под командованием Ёсицунэ и Нориёри двинулась в столицу.

(Нориёри — брат Ёритомо и Ёсицунэ, шестой сын злосчастного Ёситомо, увалень и посредственный полководец, благоговевший перед старшим братом и тихо любивший младшего. Мы упоминаем его здесь только потому, что в анналах войны Минамото и Тайра он то и дело значится рядом с Ёсицунэ.)

---

[1] Ныне город и порт Такамацу со стотысячным населением на северном побережье Сикоку.

Узнав о предательстве Юкииэ и Го-Сиракавы, Кисо Ёсинака пришел в бешенство. До Юкииэ он дотянуться не мог — тот, во исполнение экс-императорского рескрипта, в свою очередь отправился нагонять войско Тайра,— но Го-Сиракава был под рукой. Кисо напал на дворец экс-императора, сжег все постройки, перебил всю челядь, самого его взял под стражу, столицу же отдал на поток и разграбление своим верным горцам. В это время (начало 1184 года) пришло известие, что дядюшка Юкииэ, получив от Тайра очередную взбучку, с удовольствием отступил и стал в крепости Исикава, откуда угрожает столице с юга. С запада неизбытой опасностью дышали в спину воспрянувшие духом войска Тайра. А с востока двумя колоннами уже подходили корпуса Ёсицунэ и Нориёри. И Кисо заколебался: не пора ли уносить ноги на север?

Но тут разведка доложила, что левая колонна камакурских войск под командой Ёсицунэ имеет в составе всего не более тысячи человек. Кисо решился. Выставив сильный заслон против Юкииэ, он с оставшейся тысячью воинов бросился навстречу младшему двоюродному братцу. Одним ударом разгромить мальчишку, затем повернуть во фланг растяпе Нориёри, смять, растоптать его и развернуться фронтом на запад... Или повернуть на юг, соединиться с заслоном и наказать дядюшку за предательство... Так или примерно так думал Кисо Ёсинака, а когда вывел свой отряд на поле боя, перед ним встала сила не в тысячу, а в четыре тысячи закаленных восточных ветеранов. Это он был разгромлен, смят, растоптан одним ударом. Двоюродным братцем, мальчишкой.

Спасаясь от позорного плена (поволокут в Камакуру, допросят под пыткой, казнят и выставят голову на шесте), Кисо Ёсинака кинулся назад, надеясь прорваться на дорогу к северу, наткнулся на колонну Нориёри и был убит.

Трудно сказать, читают ли на военно-исторических факультетах курс стратегии и тактики Минамото Ёсицунэ. Скорее всего, нет. Командовал он всего в четырех сражениях, и полководческая его карьера длилась всего тринадцать месяцев. С другой стороны, заслужить навечно славу великого полководца хотя бы

и в своей стране всего за четыре сражения и за смехотворный срок в тринадцать месяцев — уже это говорит о многом.

Для начала стоит вдуматься в ход битвы на подступах к столице в январе 1184 года. Разгром и гибель Кисо Ёсинаки определились стечением двух роковых для него обстоятельств. Во-первых, Юкииэ, зализывая раны после стычки с войсками Тайра, вдруг в самый тяжелый для Кисо момент проявил угрожающую активность вблизи столицы. Во-вторых, разведчики Кисо жестоко и необъяснимо обманулись в оценке сил Ёсицунэ. Очевидно, не будь любой из этих случайностей, события развернулись бы совсем по-иному. Если бы Кисо не был вынужден выделить большую часть своих сил в заслон, он обрушился бы на камакурцев всей своей мощью. Если бы он не был уверен, что у Ёсицунэ всего тысяча бойцов, он бы не стал рисковать и ушел на север.

Возможно, действительно имело место стечение роковых обстоятельств. Но представляется более вероятным, что за этими обстоятельствами стоял не слепой случай, а военный гений Ёсицунэ. Это он через тайного гонца приказал дядюшке Юкииэ (который, между прочим, смертельно боялся Кисо Ёсинаку) совершить в условленный день демонстрацию в сторону столицы. Это он либо сумел подкупить, либо ловко обманул разведчиков противника. И таким образом, это он заранее определил ход предстоящей битвы с самого начала и до конца. Кстати, вызвать на себя удар грозного победителя на перевале Курикара само по себе требовало незаурядного мужества и уверенности. Даже при четырехкратном перевесе в силах. Вполне в духе Ёсицунэ, как показали последующие события.

Но продолжим по порядку.

Вступив в столицу, Ёсицунэ и Нориёри по приказу из Камакуры незамедлительно повергли к стопам экс-императора Го-Сиракавы просьбу разрешить им напасть на войско Тайра. Разрешение было благосклонно пожаловано.

К тому времени Тайра отъелись на домашнем рисе, окрепли и исполнились оптимизма. Базировались они на острове Сикоку, где вот уже более века процветали под покровительством их дома исполненные беззаветной верности подвассальные кланы. Маленький император со своим маленьким двором благополуч-

но дышал здоровым морским воздухом в Ясиме. В море безраздельно господствовал боевой флот под красными знаменами[1]. Тайра еще не решались наступать, но полагали, что пора готовиться к наступлению.

В конце первого месяца 1184 года они высадились на берегу Хонсю примерно в шестидесяти километрах к западу от столицы (неподалеку от того места, где расположен ныне Кобэ). Выбранный ими плацдарм был необычайно удачен: участок длиной в полтора десятка километров и шириной от двух-трех километров до полусотни метров, стиснутый между морем и горными склонами немыслимой крутизны, узкая кишка между двумя равнинами. На западе ее ограничивала деревушка Ити-но-тани, на востоке она замыкалась храмом Икутамори. Плацдарм заняла пятитысячная армия, практически сухопутные силы Тайра в полном составе. Сразу после высадки принялись укреплять деревушку и храм — копать рвы, строить частоколы, возводить вышки для лучников. И столь приподнятым было настроение, столь велика была уверенность, что вожди Тайра переправили на плацдарм императора. Да и чего было опасаться? С севера — горные кручи. С юга — весь боевой флот. С запада и востока — узкие проходы, перегороженные укреплениями. И пятитысячное войско внутри.

Читателю предлагается запомнить название деревушки, запирающей плацдарм с запада: Ити-но-тани.

Получив августейшее разрешение, Ёсицунэ и Нориёри немедленно выступили на запад. Корпус Нориёри (тысяча человек) неторопливо прошел по Санъёдоскому тракту и ровно через три дня ранним утром начал штурм укреплений перед храмом Икутамори. Корпус Ёсицунэ (тысяча человек) стремительно проделал стокилометровый обходный марш и ровно через три дня утром начал штурм укреплений перед деревней Ити-но-тани. Это был редкий случай в военной истории: армия в две тысячи человек штурмовала крепость с гарнизоном в пять тысяч. Камакурцы дрались, как всегда, свирепо и крови не жалели. Но воины Тайра не отступали ни на шаг.

---

[1] Красное — родовой цвет клана Тайра.

А между прочим, самого Ёсицунэ не было среди штурмующих. Еще на марше, километрах и двадцати от цели, он покинул свой корпус и с сотней отборных сорвиголов полез на горные кручи. По скалам, по оленьим тропам. С конями. В полном боевом снаряжении. Право, это было не слабее перехода суворовских войск через Альпы. В самый разгар штурма отряд выбрался на гребень горы, нависающей над тылами войска Тайра у Ити-но-тани. Там, укрывшись в густых кустарниках, они дождались вечера.

С жутким ревом, размахивая горящими факелами, обрушились они на конях вниз по страшной крутизне. Пораженным воинам Тайра почудилось, наверное, будто это демоны ада валятся им на головы с неба. А демоны уже швыряли факелы в соломенные крыши хижин, рубили направо и налево и со сверхъестественной быстротой били из луков. Трещало и выло пламя, раздуваемое ветром, торжествующий рев мешался с ревом отчаяния и ужаса, и багрово вспыхивали клинки беспощадных мечей... Началась дикая паника. Защитники укреплений отхлынули, камакурцы ворвались на плацдарм, и началась резня.

Командующий войсками, оборонявшими Ити-но-тани, был убит. Командующий войсками, оборонявшими Икутамори, был пленен. Императора удалось переправить обратно в Ясиму. На месте осталось более тысячи трупов, раненых и пленных. Остальные успели спастись на лодках и кораблях.

Таков был первый шедевр военного искусства Ёсицунэ: сражение при Ити-но-тани. Седьмое февраля 1184 года.

После этой блестящей победы Камакурский Правитель Ёритомо определил Ёсицунэ своим полномочным представителем в столице. Двадцатипятилетний полководец купался в лучах славы, пользовался благосклонностью экс-императора и принимал уверения в дружбе и совершенном почтении от придворных. Делами, конечно, занимались суровые и зоркие чиновники из Камакуры, а он простодушно предавался радостям столичной жизни. (Разумеется, в ожидании и готовности, когда старшему брату и повелителю вновь потребуется его полководческое искусство.)

А дело обстояло непросто. Основные силы Тайра теперь безвылазно сидели на Сикоку, их флот по-прежнему господствовал на море, и добраться до них было решительно невозможно. Была у Тайра еще одна база — небольшой островок Хикосима в устье Симоносэкского пролива у крайней западной оконечности Хонсю. Она тоже была недоступна для сухопутных Минамото. Вообще все до крайности усложнилось. Тайра и их вассалы имели вековой опыт мореходства и даже морских сражений с пиратами, а бесстрашных восточных всадников мутило от одного вида соленой волны.

Шли месяцы. Ёритомо медлил, не зная на что решиться. К тому же он был по-прежнему по горло занят дипломатией и административными делами со строптивыми вождями восточных кланов. Ёсицунэ беззаботно веселился в столице. Тайра, пользуясь передышкой, пополнялись людьми и продовольствием из ресурсов подвассальных провинций. И во время этой паузы между Ёритомо и Ёсицунэ произошел конфликт.

Одним из основных принципов режима, который скрупулезно разрабатывался в Камакуре, была полная зависимость всех самураев снизу доверху от личной воли Ёритомо. В частности, это касалось щепетильной области отношений между самурайством и императорским двором. Ёритомо отдал приказ, запрещающий кому бы то ни было принимать знаки августейшей благосклонности иначе, чем через его ходатайство. Нарушителю грозила конфискация земельного надела и даже смертная казнь. (Цель этого приказа ясна: Ёритомо стремился полностью изолировать двор от своих подчиненных.) В середине года по почтительному представительству из Камакуры экс-император пожаловал провинциальное наместничество и высокий придворный чин Нориёри. Ёсицунэ же, к его крайнему удивлению, был обойден августейшей милостью, хотя он неоднократно уже обращался к Камакурскому Правителю с просьбой о ходатайстве. Почему старший брат остался глух к его просьбам — вопрос особый, но старый интриган Го-Сиракава мигом заметил обиду победителя при Ити-но-тани и, отлично зная, чем это может кончиться, возвел его разом в ранг императорского судьи и в звание офицера дворцовой гвардии.

Ёритомо, Камакурский Правитель, взбесился (или притворился взбешенным). Правда, он не стал ни упрекать, ни наказывать. Он наконец отдал приказ на новый поход против Тайра, но военачальником назначил не Ёсицунэ, а Нориёри. Что думал и чувствовал обойденный Ёсицунэ — можно только догадываться. Внешне он принял это известие со спокойной покорностью. Так или иначе, в сентябре 1184 года Нориёри во главе трехтысячной армии выступил из Камакуры.

Вероятно, до знаменитых походов глуповского градоначальника Бородавкина не было в истории более идиотского военного предприятия. Побив по дороге несколько разбойничьих шаек и дочиста объев придорожные населенные пункты, Нориёри в два месяца дотащил свою армию до западных пределов Хонсю и остановился. Дальше было море. На юге за свирепым течением неширокого пролива высился недосягаемый берег острова Хикосима, западной базы Тайра. Позади были четыреста километров зловещей пустоты, где любой километр грозил новым десантом с оставшегося далеко в тылу острова Сикоку. Двигаться было некуда, есть было нечего. В армии началось брожение. Нориёри гнал в Камакуру гонца за гонцом с отчаянными просьбами о мудром совете и о продовольствии. Ёритомо отвечал неопределенно-успокоительно. Он давно уже понял, что поход провалился. Но только в начале 1185 года он, скрепя сердце (так уверяют хроники), отдал приказ Ёсицунэ.

(В конце концов судьба сжалилась над Нориёри. Ему посчастливилось договориться с местными пиратами, которые — под носом у боевого флота Тайра! — переправили его армию из Хонсюского мешка на северо-восток острова Кюсю. Изголодавшиеся вояки без труда сломили беспорядочное сопротивление местных баронов, пытавшихся помешать высадке. Когда армия несколько отъелась, Нориёри повел ее куда глаза глядят. Так он и промыкался по Кюсю до конца войны.)

Получив приказ на поход, Ёсицунэ помчался к экс-императору за обязательным рескриптом.

Он сказал, что не вернется, пока не уничтожит клан Тайра. Даже если для этого придется гнать врага до самой Кореи.

Затем он отправился в порт Ватанабэ (северо-восточный угол Внутреннего моря). Было это десятого января 1185 года.

Надо помнить, что Ёсицунэ ни разу в жизни не ступал на корабельную палубу. Но, в отличие от Нориёри, он отлично понимал, что в сложившейся обстановке врага можно достать только через море. Победу обещало только внезапное нападение на Сикоку.

Выход в море был назначен на вечер семнадцатого февраля. Десантная армия уже готовилась к посадке на суда, как вдруг налетел сильнейший шторм. Большую часть кораблей и лодок разметало, воины в ужасе пятились от беснующихся волн, корабельщики в один голос заявили, что выйти в море невозможно. Невозможно? Ёсицунэ воспрянул духом. Раз выйти в море невозможно, значит на Сикоку его нынче не ждут. Он отобрал полтораста самых отчаянных рубак и приказал им садиться на сохранившиеся корабли. Охваченные страхом, корабельщики запротестовали было — им пригрозили мечами. В два часа ночи пять кораблей вышли в бушующее море.

Читатель может представить себе, как Ёсицунэ стоит на палубе, цепляясь за мачту, насквозь промокший, соленая вода пополам с пеной стекает с двурогого шлема, как он блюет и отплевывается и осипшим голосом подбадривает корабельщиков и изнемогающих от морской болезни воинов... Это было плавание! Но лютый шторм гнал корабли столь стремительно, что трехдневный путь был покрыт за три или четыре часа. На рассвете отряд высадился в небольшой бухте на восточном берегу Сикоку. Отсюда до Ясимы было не более пятидесяти километров. До императора. До ненавистных вождей Тайра.

Они проделали двухдневный переход за одни сутки, убивая и сжигая по дороге всех и всё, и утром девятнадцатого обрушились на императорский дворец. Лагерь Тайра был захвачен врасплох. Клубы дыма, взметнувшиеся сразу в нескольких местах, воинственный вой, раздавшийся сразу с нескольких сторон, свист стрел, летящих словно бы отовсюду,— немудрено, что воинам Тайра почудилось, будто на них напала целая армия. Они в па-

нике бросились к кораблям. И только на берегу обнаружили, что нападающих не так уж много. Закипела битва.

(Конечно, Ёсицунэ был беспримерно храбр и обладал замечательным военным талантом. Конечно, все сто пятьдесят самураев его отряда были отборные воины, может быть, лучшие в Японии. Но даже при всем при этом глупо ему было бы рассчитывать на победу над всей армией Тайра. Но имелось тут одно обстоятельство. Основной контингент гарнизона Сикоку как раз в это время находился в полутораста километрах от Ясимы, на западном краю острова, где среди местных сквайров и монахов возникли какие-то беспорядки. Знал ли об этом Ёсицунэ? Безусловно. Иначе его диверсия была бы просто дрянной авантюрой. Но как он мог узнать? Не логично ли предположить, что упомянутые беспорядки были инспирированы его агентурой? Тогда становится понятно, почему он, всегда такой стремительный, более месяца медлил в порту Ватанабэ: готовил, инструктировал и отсылал агентов и ждал условленного срока. Вполне в духе этого мастера войны.)

Двадцать первого числа после упорного сопротивления воины Тайра оставили Ясиму, кое-как погрузились на корабли и ушли. На остров Хикосиму, свою последнюю базу. Император опять ушел из рук Минамото, у Ёсицунэ осталось всего восемьдесят воинов, но остров Сикоку был очищен от неприятеля. (Войска Тайра, оставшиеся на западном краю острова, ошеломленные случившимся, частью рассеялись, частью сдались на милость победителя.)

Таков был второй шедевр военного искусства Ёсицунэ: сражение при Ясиме. 21 февраля 1185 года.

Двадцать второго на Сикоку прибыла из Ватанабэ вся армия. «К шапочному разбору!» — так можно было бы перевести ехидные шуточки, которыми победоносные головорезы Ёсицунэ встретили товарищей. Те виновато огрызались.

Теперь у Ёсицунэ было около четырех тысяч воинов и полтораста кораблей. Мало! То есть мало кораблей. Предстояло нанести удар по последнему убежищу дома Тайра, а это означало неминуемый морской бой. По самым скромным подсчетам у Тайра

было до пяти тысяч воинов и около восьмисот кораблей, укомплектованных опытнейшими корабельщиками.

Ёсицунэ думал. Рассылал тайных агентов. Отправлял в Камакуру всеподданнейшие письма. Армия, опоздавшая к пиршеству победы при Ясиме, выпивала, закусывала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Помощники Ёсицунэ, готовые в любую минуту очертя голову броситься через Внутреннее море хотя бы и вброд, перешептывались, что Ёсицунэ (пользуясь выражением Леонида Леонова) медлит, то ли сберегая силы, то ли накапливая ярость своих самураев.

Но мастер войны медлил совсем не поэтому. В середине месяца к нему явился гонец от некоего Миуры, наместника одной из западных провинций Хонсю, известного внутреннеморского торговца и пирата. Ёсицунэ прочел послание и скомандовал немедленную посадку на суда. На другой день в Ясиме остался лишь небольшой гарнизон. Полтораста тяжело перегруженных кораблей поплыли на запад.

Миура предоставил в распоряжение Ёсицунэ именно то, чего ему так недоставало: три сотни полностью оснащенных судов и опытнейших корабельщиков. (Будь на месте тогдашних вождей Тайра их грозный отец Киёмори, он наверняка озаботился бы блокировать Ёсицунэ в Ясиме своим мощным боевым флотом и, уж во всяком случае, сжег бы все посторонние корабли в портах южного побережья Хонсю. Но этим горе-полководцам такое и в голову не пришло.) Армия распределилась по кораблям, и эскадра под белыми знаменами[1] двинулась дальше на запад. Перед входом в Симоносэкский пролив, на траверзе городка Дан-ноура, ей навстречу вышла эскадра Тайра. Восемьсот кораблей. Было утро двадцать пятого марта.

Несомненно, вожди Тайра рассчитывали на быструю победу. Они были настолько уверены в победе, что взяли в сражение маленького императора, весь его двор, своих жен и дочерей. Их корабельщики знали наизусть все коварства стремнин в припроливье, приливное течение им благоприятствовало. Правда, они совершенно упустили из виду, с каким противником имеют дело.

---

[1] Белое — родовой цвет клана Минамото.

У них так и недостало воображения представить себе, что Ёсицунэ, заведомо сухопутный человек, тоже способен с помощью опытных корабельщиков дотошно изучить капризы и закономерности местных вод и спланировать свои маневры в соответствии с ними.

Итак, с утра течение благоприятствовало Тайра. Их наносило на камакурцев, а те медленно отступали, отстреливаясь из луков. Флотоводцы Тайра не сразу заметили, что великолепные лучники Ёсицунэ старательно выцеливают не воинов, а гребцов. Корабли Тайра теряли ход, надежды схватиться с противником на абордаж таяли с каждым часом. А тут вдруг несколько десятков судов под командованием какого-то сикокского барона спустили красные флаги и перешли на сторону Ёсицунэ. (Сработала агентура!) Нечувствительно наступил полдень, приливное течение остановилось и повернуло вспять.

Мгновенно вся эскадра Ёсицунэ ринулась вперед и вправо, оттесняя флот Тайра к берегу, на предательские рифы и отмели. Корабли Тайра смешались. Часть с проломленным днищем пошла ко дну. Часть выбросилась на берег. Остальных, зачалив за борта «медвежьими лапами», бешено брали на абордаж. Погиб в волнах несчастный маленький император, вожди Тайра были перебиты или пленены. Разгром был молниеносный, полный и окончательный.

Дом Тайра перестал существовать. Великая война Минамото и Тайра закончилась. Камакурский Правитель Ёритомо стал единственным и безраздельным правителем Японии.

Ёсицунэ отправил в Камакуру донесение:

«Двадцать четвертого дня нынешнего месяца более пятисот наших судов вышли в пролив Амагасэки у провинции Нагато. Они были встречены восьмьюстами судами Тайра[1]. После полудня сражение завершилось поражением бунтовщиков. Бывший император погрузился на дно морское. Нижеперечисленные утонули. (Приводится список утонувших вождей Тайра, в том чис-

[1] Цитируется по хронике «Адзума Кагами» («Восточное Зерцало»). Численность морских сил у противника приведена в оригинале неточно. Здесь она исправлена.

ле имя вдовы Киёмори.) Госпожа Кэнраймон-ин и молодой принц (мать и младший брат утонувшего императора) спасены. Пленные (список двух десятков вождей Тайра и их родственниц). Вдобавок пленены еще мужчины и женщины, коих список будет представлен позже. Священная Печать найдена. А Меч утрачен, и его ныне ищут[1]».

Говорят, суровый и невозмутимый Камакурский Правитель подскочил и вскрикнул от изумления, прочтя эти строки.

Таков был третий и последний шедевр военного искусства Ёсицунэ: морское сражение при Дан-но-уре.

Инструкция к чтению закончена. Теперь читатель представляет себе историческую обстановку, на фоне которой происходит действие романа. Он знает теперь, чем и как прославлено главное действующее лицо. Дальнейшая судьба Минамото Ёсицунэ описана в романе достаточно подробно и убедительно: наветы, немилость Ёритомо, бегство, скитания и страшный конец. Только одна подробность: голову мастера войны доставили в Камакуру в черной лакированной шкатулке, наполненной сладким сакэ.

16.02.81 г.

[1] Священная Печать, Меч...— имеются в виду священные императорские регалии (Печать, Меч и Зеркало), якобы пожалованные некогда первому императору Японии его божественной бабкой Аматэрасу.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Б. Стругацкий

ИЗ ПИСЕМ К Б. ШТЕРНУ

24.09.71

Уважаемый Борис Гедальевич!

Роман Ваш я получил и прочитал. Надо сказать, Вы меня приятно удивили. То, что обычно присылают начинающие нашему брату-писателю, как правило, не лезет ни в какие ворота. Я же от Вашего романа, как Вы и надеялись, получил «несколько приятных минут».

У Вас несомненно есть способности. Роман в общем получился. Не знаю, какую Вы ставили перед собою цель, но то, что вышло из-под Вашего пера — очень милая вещица для среднего и старшего школьного возраста, да и взрослый прочтет ее не без приятности. Написано живо, энергично, легко, весело, и если снять с романа тонкий, но явственный налет этакой разухабистости, переходящей в пошловатость, убрать стилистические огрехи, вычеркнуть бородатые анекдоты, ввести почти на всех страницах сухой закон (за исключением тех мест, где выпивка обоснована требованиями сюжета), а также привести употребление глагола «класть» в соответствие с нормами русского литературного языка (у Вас везде — «ложу», «ложить» и т. д.) — в этом случае я лично готов бы был походатайствовать в каком-нибудь издательстве за Ваш роман. В своем нынешнем состоянии он представляет собою некую заготовку, чушку, так сказать, необработанный и неошлифованный алмаз, и работа над ним предстоит еще немалая.

Так что поздравляю Вас с открытием у Вас литературных способностей, рекомендую Вам не бросать литературу, пробовать еще и еще. Сейчас у меня, к сожалению, совсем нет времени для подробного ана-

лиза Ваших огрехов, и я смутно представляю себе, когда это время появится. Попробуйте отнести Ваше детище в какое-нибудь издательство в Одессе. Вам наверняка откажут, но добросовестный редактор, буде такой найдется, должен был бы мотивировать причины отказа и ткнуть Вас носом в недоделки. Это могло бы пойти на пользу и Вам, и Вашему роману.

С самыми добрыми пожеланиями, Ваш Б. Стругацкий

20.01.72

Уважаемый тов. Штерн!

Мне рассказали о Вашем звонке. Сейчас я очень занят и не мог написать Вам сразу.

Положение с Вашей рукописью не обещает ничего хорошего. Второй вариант я получил от Вас давно, просмотрел его, нашел его значительно улучшившимся и неофициально дал его прочесть одному знакомому редактору и одному знакомому литературному критику. Литкритик, как ему и полагается, рукопись разругал, назвав ее подражанием Шекли (доля истины, надо сказать, в этом есть), а что касается редактора, то он более миролюбив, но никаких практических мер не предложил. Впрочем, я и без него знал, что устроить сейчас в Ленинграде рукопись фантастической повести, да еще иногороднего автора, практически невозможно. Я, честно говоря, надеялся на что-то вроде чуда, на какую-нибудь счастливую случайность. Однако, ни чуда, ни случайности не произошло.

5.04.72

Дорогой Борис!

Спасибо за доброе письмо. Такие письма очень полезны нашему брату-писателю: они поддерживают тонус и создают ощущение нужности и незряшности писательского существования.

Мне трудно сейчас сформулировать какие-то определенные советы по «Лунапарку» — я основательно подзабыл его. И потом у меня совершенно четкое ощущение, что в профессиональном плане я, пожалуй, и не смог бы больше ничего посоветовать. Явные недостатки практически устранены, а то, что там еще осталось недоброкачественного (на мой взгляд) составляет уже Ваш УРОВЕНЬ. Иначе говоря: все, что резануло бы ухо ЛЮБОМУ человеку (писателю, редактору, критику)

со вкусом, Вы убрали; начиная с этого момента любой совет Вам будет уже базироваться на личном представлении советующего, что такое хорошо и что такое плохо, то есть начнется вкусовщина. Конечно, Вам придется учитывать и такого рода советы, но это надо делать только в том случае, если от вкуса советчика зависит какой-то практический результат — например, опубликование.

Мой главный совет Вам (по-прежнему): пишите рассказы. Пишите, размножайте и один экземпляр посылайте мне. А я (если рассказ мне понравится) буду уже ждать случая сунуть его в какую-нибудь внезапно освободившуюся щель какого-нибудь редакционного портфеля.

Очень советовал бы Вам, собрав папку рассказов, как-нибудь лично выбраться в Москву и посетить изд-во «Молодая гвардия» (я мог бы дать рекомендательное письмо). Этот визит, может быть, и не дал бы непосредственного результата, но знакомство было бы завязано, а в нашем писательском деле, хорошо это или плохо, знакомства играют первостепенную роль.

Все эти советы есть результат многолетнего опыта, а не теоретических умозаключений.

6.08.72

По поводу главного вопроса Вашего — об испанской фантастике — к сожалению ничего толком ответить не могу. Насколько мне известно, ХОРОШЕЙ фантастики на испанском не существует. В Латинской Америке сейчас работает несколько прекрасных писателей — Кортасар, Маркес, Сильва — но это настоящие реалисты в лучшем смысле этого слова, и «чистой» фантастики они не пишут. Я знаю только одного латиноамериканского фантаста — его фамилия Буш, и некогда он был президентом Доминиканской республики. Несколько его рассказов переведено на русский, кое-что я видел на английском, а на испанском — ничего. Наверное, есть кто-нибудь в самой Испании, фантастику там вообще печатают (например, опубликовали перевод нашей «Страны багровых туч»), но кто, сколько, каковы? — ничего не знаю.

Где официально достаются оригиналы? — спрашиваете Вы. Отвечаю: нигде. Каждый переводчик в меру своих сил и способностей раздобывает книжки в пестрых глянцевых обложках, на свой страх и риск переводит и несет в редакцию, где, как правило, перевод отклоняют. Обычно оригиналы привозятся из-за рубежа случайными людьми, а потом через много рук попадают к переводчику. Иногда, если повезет,

можно купить томик в Старой Книге. (В Ленинграде такой магазин есть рядом с Академкнигой, на Литейном проспекте в одной остановке от Невского.)

Пишите мне, когда Вам захочется и о чем захочется. Письма Ваши читать интересно, и я буду рад получать их, но сам-то я писать письма не любитель, так что не посетуйте, если ответы мои будут суховаты и сугубо конкретны.

Желаю Вам всего наилучшего, а — главное — того терпения и упорства, которое почему-то называется вдохновением.

2.11.72

Дорогой Борис!

Письмо Ваше получил и при этом так удачно, что могу ответить немедленно. (Не надо пока никуда бежать, ехать, звонить и вообще трепыхаться в волнах житейского моря. Отдых. Релаксация.)

Рад, что Вы покончили с армией и вернулись к мирному созидательному труду. Замыслы Ваши очень мне импонируют, желаю успехов от души, а замысел романа — так просто превосходен: завидую, ей-богу. Вижу массу возможностей порезвиться во всех смыслах. Знаете: правильно поставленный вопрос — это половина ответа. А хорошо придуманная ситуация — это половина романа. Так вот Вам посчастливилось наткнуться, как мне кажется, именно на такую хорошо придуманную ситуацию. Давайте, давайте! И да поможет Вам бог. (Впрочем, уже сейчас ясно, что публикация такого романа встретит известные трудности. Но сие от нас не зависит.)

Спасибо за добрые слова по поводу «Улитки». Хотя, конечно, читать ее надо целиком, чтобы получить право судить по-настоящему. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Сейчас у меня нет ни одного экземпляра рукописи, но ведь будет же когда-нибудь! Вот тогда я Вас и вспомню.

По поводу нашего романа в «Неве» могу Вам точно сказать: липа. Никогда они у нас ничего не просили и ничего печатать не собирались (до сих пор еще не могут оправиться от фитиля, полученного за опубликование «Острова»). Просто позвонили и сказали: «Вы знаете, Б. Н., мы тут в Литературку дали, что ждем Вашего нового романа. Вы не возражаете?» — «Конечно, нет»,— грустно ответил я, потому что такая публикация давала мне хоть тень возможности, а в нашем положении и тень пригодится. Вот «Юность», та, действительно, просила у нас что-

нибудь и заранее сообщила, в той же Литературке, что «рассматривает». Мы дали туда «Лебедей», получили через месяц отказ, и дело увяло.

Вот пока и все. Желаю удачи и вдохновения, которого, впрочем, по-моему, не бывает, Ваш Б. Стругацкий

28.12.72

К Аркадию Львову, конечно же, обратитесь. Я с ним не знаком, но читал его рассказы и слышал о нем хорошее от Аркадия. Судя по всему, это вполне порядочный человек. И писатель явно талантливый. Адреса его почему-то нет в писательском справочнике (может быть, он не член СП?), но я могу попытаться узнать этот адрес у Аркадия. Напишите мне, если не найдете сами.

Как быть с публикацией в газете. Вопрос, прямо скажем, нелегкий. Я могу придумать только два выхода, которые мне кажутся достойными. 1. Публиковать не повесть, а отрывки из повести — отдельные главы (самые интересные) или даже куски из глав, но куски цельные. 2. Опубликовать сокращенный вариант повести, но сокращение производить самому, не отдавать этого важного и деликатного дела газетным пиратам. Мы с Аркадием, бывало, поступали и так и эдак, но без всякого удовольствия — деньги жалкие, славы никакой, одно расстройство. Но для Вас немаловажно напечататься, хотя бы и таким способом. Видите ли, у нас можно сделаться писателем только так: либо вам повезет, вы опубликуете что-то хорошее и в хорошем издательстве, и тогда вторую вещь пробить станет сразу же легче; либо вы пройдете весь путь молодого литератора — пристроитесь в группу молодежи при местном СП, будете регулярно ходить на заседания, покорно выступать по телевидению, читать отрывки на разных встречах с читателями и т. д. Тогда вас будут опекать, всовывать в какие-нибудь сборники молодых и со временем даже организуют вам персональный сборник. Вот нам, например, повезло. Мы попали в струю — в Эпоху Расцвета Фантастики. Но я знаю вполне приличных писателей, которые прошли и второй путь. Например, Варшавский и Ларионова в Ленинграде, Григорьев и Биленкин в Москве. Правда, для некоторых этот путь оказался коротким (Варшавский), а некоторые и до сих пор не члены Союза, но печатаются они все и теперь уже сами, потому что завели знакомства в издательствах и редакциях, заработали себе имя. Поэтому я и рекомендую Вам начинать с рассказов. Рассказ легче опубликовать.

8.02.73

Дорогой Борис!

Отвечаю с опозданием, потому что болел да и сейчас еще болен, но уже встаю.

Рассказы Ваши хороши. Молодец! Мне ведь присылают довольно много рукописей, и теперь я могу сказать с полной определенностью: Ваши — лучше всех.

Конечно, много еще шероховатостей.

Кое-где изменяет вкус. Что-то растянуто, что-то, наоборот, зажато, но!

Но есть: 1. Талант

2. Самостоятельность

3. Отличные стилистические находки.

Все это, конечно, ни к чему не обязывающая болтовня. Но я обещаю Вам: как только оклемаюсь, сразу же понесу Вашу папку Брандису и Дмитревскому. Они сейчас составляют два сборника фантастики — один для Лениздата, второй для Лендетгиза. Ничего обещать не могу, но буду всячески рекомендовать.

Продолжайте работать!

7.03.73

Рассказы Ваши передал на рассмотрение Брандису только 5-го — до этого нам никак не удавалось встретиться по разным причинам. Позвоню ему, чтобы узнать мнение, числа 12–15-го. Потерпите. Положение в Ленинграде сейчас таково. Есть три места, на которые можно теоретически (повторяю: теоретически) рассчитывать. Сборник ф-ки в Лениздате (готовит его Дмитревский). Сборник ф-ки в ЛенДетиздате (готовит Брандис). Журнал «Аврора» (молодежный, время от времени печатает ф-ку). Главное препятствие: «муниципальный патриотизм» — «ленинградские издательства — для ленинградцев». Так сказать, издательский вариант известного лозунга «Геть, жиды и москали!». Если бы Вы были ленинградцем, для успеха достаточно было бы, чтобы Ваш рассказ понравился составителю. В нашей конкретной ситуации этого мало. Рассказ должен понравиться составителю настолько, что он (составитель) готов будет драться с издательством, отстаивая глубоко чуждые и сомнительные права Одессы. Поэтому повторяю снова и снова: заранее смиритесь с неудачей.

Отвечаю на Ваши вопросы. Сейчас во всех издательствах СПРОС есть только на одну тему: «Рабочий класс». Все остальное идет лишь

постольку поскольку. В СССР есть только два журнала, которые печатают ф-ку более или менее регулярно: «Техника — молодежи» и «Знание — сила». Оба журнала предпочитают (от греха подальше) либо отечественную ТЕХНИЧЕСКУЮ, либо переводную литературу этого жанра. Оба журнала окружены жадной толпой старых заслуженных авторов, а равно и молодых напористых халтурщиков, точно знающих, на какой стороне у бутерброда масло. В оба журнала писатель Вашего типа может пробиться лишь случайно и с малой вероятностью. (И тем не менее, советую попробовать — хуже не будет, а лучше — может быть.)

В СССР я знаю только три редакции научно-фантастической литературы: в изд-ве «Молодая Гвардия»; в изд-ве «Детская лит-ра» (Москва) и изд-ве «Детская лит-ра» (Ленинград, филиал). Спрос на ф-ку во всех трех редакциях последние годы неуклонно падает. И конечно, там тоже есть свои старые заслуженные авторы, которых — в первую очередь, и свои молодые напористые халтурщики, которые пристально стерегут малейший шанс. Самая подходящая для Вас (как для писателя определенного типа) редакция — в «Молодой Гвардии». Но именно там сейчас с ф-кой особенно плохо. (И тем не менее, когда и если Вы соберете десяток-другой рассказов в этакий сборничек, посылать его Вам надо будет в первую очередь именно в «Молодую Гвардию»; обещаю Вам в этом случае рекомендательное письмо, но шансы будут ничтожны, если Вы к этому времени не сумеете опубликовать хоть где-нибудь хотя бы три-четыре рассказа.)

А пока придется Вам писать в пустоту. Стисните зубы. Пишите. Вода камень точит. Все равно Вы обязаны писать, раз уж судьба дала Вам талант.

5.06.73

Получил Ваше письмо с рассказом о Барбосе. Спасибо за россыпь теплых слов. «Пикник» и с нашей точки зрения получился довольно удачно (скажем, на «четверку», если считать, что «Отель» на тройку, а «Улитка» на пятерку). В «Авроре» там повесть основательно поковеркали — то есть, это с авторской точки зрения — основательно, читатель, очень возможно, ничего и не замечает. Но «Авроре» приходится многое прощать — вот и сейчас они снова заключили с нами договор, единственная редакция в СССР! Будем писать новую повесть. Уже сейчас видно, что писать будет трудно — и сюжет не простой, и фон для нас необычный. Ладно — бог не выдаст, свинья не съест.

Что касается Вашего рассказа, то он очень мил, но, к сожалению, основной сюжетный поворот его не является новым — я читал очень похожий в этом смысле рассказ какого-то американца.

22.10.73

Дорогой Борис!

Долго не отвечал Вам потому, что почти не жил дома. С самого начала августа не пробыл дома в общей сложности и десяти дней: отпуск — Москва — Польша — снова Москва, и вот только вчера прибыл наконец и берусь за накопившиеся долги.

Ну, прежде всего, Вас, естественно, интересует судьба рассказа в будущем ленинградском сборнике. Сразу отвечаю: ничего нового. Лежит гора рукописей, ее будут сокращать раза в три, но за счет кого — неизвестно. Спешить им некуда, над ними не каплет, под них не подтекает. Остается одно: ждать и надеяться. И, натурально, надеясь на лучшее, ожидать худшего.

Очень Вам сочувствую. Кризис Ваш имеет в своей основе именно тоску от невозможности публиковаться. Уверяю Вас, если бы Ваши рассказы шли, Вы бы и знать ничего не знали о кризисах — писали бы как бешеный. А когда в подсознании (да и сознании — тоже) сидит эта поганая мыслишка: «Для кого стараешься?» — вот тут-то они, эти кризисы, и разыгрываются. Все это мне оч-чень хорошо знакомо, и спасения от этого никакого нет, разве что в самой работе, а как работать, если кризис? Порочный круг. Приходится его рвать. Помучаешься-помучаешься да и разорвешь. Так и живем.

Хотите попробовать работать в соавторстве? Дело хорошее. Методик такой работы существует несколько. Мы, кажется, испробовали их все. Наш опыт позволил нам сформулировать следующий фундаментальный принцип: результат тем лучше, чем больше доля работы проделана в непосредственном контакте соавторов. Иначе говоря: все делать вместе. Обдумывать идею — вместе. Разрабатывать сюжет — вместе. Составлять подробный план — вместе. Писать черновик — вместе. Править черновик — вместе. Писать чистовик — вместе. Всё — вместе. Никаких этих глупостей: «Ты составляешь план, я составляю план, потом сравниваем и выбираем лучшее»; или: «Ты пишешь все четные главы, а я все нечетные...» или: «У тебя лучше получаются диалоги, а у меня — описания, так вот давай, ты будешь...» и т. д. Обдумывать идею, разрабатывать сюжет и составлять подробный план вместе — это одно удо-

вольствие. Собственно писать — тут дело хуже. Нужна привычка; нужно усилие воли, чтобы преодолеть смущение и стесненность; нужна взаимная терпимость, иногда поистине безграничная. Впрочем, мне приходилось работать в соавторстве не только с Аркадием, и у меня создалось впечатление, что если собираются вместе люди с юмором, уважающие друг друга и симпатизирующие друг другу — дело пойдет. Сам процесс писания состоит из последовательного предложения и обсуждения фраз. Один предлагает, другой либо принимает сразу, либо вносит поправки, либо предлагает свой вариант. Не разрешается отвергать вариант соавтора без объяснений причин. Не разрешаются аргументы типа: «Нутром чую, что это не годится!..» или «Не годится потому, что не хватает чего-то этакого... не знаю как выразить... в общем — не хватает...». Наконец, категорически запрещается отвергать, ничего не предлагая взамен. В спорных случаях, когда оба соавтора предложили свои фразы, обосновали их и не могут найти компромисса, из кармана достается пятак и проблему решает жребий. В таком вот плане.

3.12.73

Дорогой Борис!

Вы жалуетесь на кризис. Не надо. Кризис — это, в общем, хорошо. Что-то вроде боли в мышцах после усиленных физических упражнений — больно, неприятно, иногда мучительно, но зато это означает, что мышцы крепнут и ты становишься сильнее. У бездарностей кризисов не бывает, они знай себе гонят листаж. Утешение кажется слабым, но ведь все это и на самом деле так. Мы пережили за без малого 20 лет работы два кризиса, сейчас сидим в третьем и — ничего. Правда, нынешний кризис — явление внешнего порядка, явление искусственное. Не то чтобы мы не могли и не хотели писать по-старому (и можем, и хотим),— а не дают, не пускают писать по-старому. Приходится искать новую форму не от внутренней потребности, а под внешним давлением. Вот это — по-настоящему неприятно. К сожалению, у Вас, вероятно, имеют место кризисы обоих родов сразу, а потому — приходится разбираться, какие мучения проистекают от желания писать лучше, а какие — от желания напечатать хоть что-нибудь. Терпите. У Вас еще довольно много времени впереди — полвечности.

Теперь о режиме. Для нас идеальный режим выглядит так: полмесяца работы вдвоем, полмесяца абсолютного безделья, и так — круглый год за вычетом двух — двух с половиной летних месяцев. При этом работа должна быть на изнурение, а безделье должно быть — до от-

вращения (чтобы захотелось работать). Практически получается только первая часть программы — работать до изнурения. Полного безделья не получается (особенно в последнее время), потому что все время набегают какие-нибудь делишки — то сценарий приходится кропать с режиссером в соавторстве, то статейку какую-нибудь, то вычитывать верстку (вот омерзительное занятие!), то писать какие-нибудь рецензии, то читать какие-нибудь рукописи, то сидеть на семинарах. Опять же никуда не денешься и от так называемой личной жизни с болезнями, двойками по геометрии, вызовами в директору школы, неприятностями на работе у жены и друзей, текущими потолками, трескающимися обоями, насущной необходимостью купить то, се, пятое и десятое — а в условиях относительного и абсолютного обнищания большинство этих заботишек и проблемок преобразуется в Заботы и ПРОБЛЕМЫ, голова оказывается забита чепухой, и когда приходит время работы, оказывается необходимым тратить день, два, три (из пятнадцати, черт побери, всего лишь из пятнадцати, на большее не хватает дыхания!) на раскачку, очищение духа и идейное просветление. Я не говорю уже о спорадически возникающих неприятностях в издательствах, когда оказывается, что «это нам, знаете ли, не подойдет... да, конечно, договор... но вы нам что-нибудь другое напишите, что вам стоит, а?». И уж я совсем не говорю о пароксизмах идеологической лихорадки, когда со страхом раскрываешь газету, со страхом берешь телефонную трубку и вообще хочется залезть в унитаз и спустить за собой воду. Вот Вам и годовой режим. Но Вы знаете, Борис, как-то ко всему этому привыкаешь, приспосабливаешься, и оказывается, что жить все-таки можно, стóит и даже хочется — просто коэффициент полезного действия оказывается не сорок процентов (в соответствии с теорией идеального режима), а процентов 25–30, что, кстати, тоже очень неплохо.

А Вам я бы посоветовал такой режим: на протяженности недели не пишите ничего, а в воскресенье садитесь и давите из себя сразу страниц 10–15.

Расписывать мне прелести Одессы не надо. Я приложу все усилия, чтобы следующим летом вообще никуда не ездить — хочу валяться на диване и читать Дюма, голый и потный.

29.01.74

Дорогой Борис!

Спешу Вас порадовать. Ваш рассказ («Фокусник») сделал еще один шаг в нужном направлении. Теперь он довольно прочно вошел в сбор-

ник, и понадобится достаточно неблагоприятное сочетание обстоятельств, чтобы он оттуда вылетел. Во всяком случае, редактор уже не возражает. Остается, конечно, еще достаточное количество инстанций, и на каждой рассказу может прийти капут, но, пожалуй, главную инстанцию Вы уже прошли.

Не обошлось, конечно, без потерь. Редактор потребовал, чтобы:

1. Была выброшена линия проводника-милиционера («а то получается непонятно, когда что кто говорит»).

2. Были категорически упразднены спиртные напитки, женихи, свадьбы и пр.

3. Было произведено сокращение вообще.

Поразмыслив, я решил, не затягивая дела, на все это пойти. И пошел. Рассказ сократился страниц на шесть, выпал проводник, выпал старик и зять его, испарились спиртные напитки. Рассказ, на мой взгляд, хуже не стал, хотя кое-что из выброшенного было несомненно хорошо. В Вашей воле, конечно, сейчас возмутиться и потребовать рассказ назад, но я Вам не советую это делать. Берегите силы, главные бои — впереди.

Сейчас я уезжаю в Москву, вернусь в середине февраля. Если у Вас будут какие-то спецсоображения — пишите. Дело протянется еще долго — сборник планируется на 75-й год.

11.02.74

Я приехал из Москвы раньше срока. Мы там должны были кончить ту самую повестуху (вернее, ее черновик), которую Вы с таким нетерпением ждете в «Авроре». Но повесть эта нам так осточертела, до того нам ее было тошно писать, что вместо запланированных 10–12 дней мы закончили ее по-стахановски за 7. Теперь только отбарабанить чистовик (чем мы и займемся в конце февраля) и можно выбрасывать продукцию на рынок по демпинговым ценам.

Далее. Не надо хаять «Фокусника». Это, конечно, не лучший Ваш рассказ, но начинать с него, на мой взгляд, вовсе не стыдно (тем более, что с лучшего Вам все равно начать не дадут). И имейте в виду, что этот, столь презираемый Вами, «Фокусник» сияет на общем фоне сборника как звезда, если не первой, то, уж наверняка, второй величины. Мое приватное мнение состоит в том, что в сборнике есть две хороших повести и три хороших рассказа: остальное — дерьмо. Один из хороших рассказов — «Фокусник». Что же касается попадания в сборник «по зна-

комству», то я уже, кажется, писал Вам, что не знаю ни одного писателя моего поколения, вышедшего в люди другим образом. Рассказ обязательно должен понравиться кому-то из имеющихся на данный момент авторитетов, каковой авторитет и обязан похлопотать. Редактора ведь, к счастью, очень редко полагаются на собственное мнение, иначе в литературе нашей вообще царил бы ад кромешный.

Далее. Не помню, писал ли я Вам, что уже второй год веду семинар молодых писателей-фантастов при секции н-ф литературы ЛО ССП. Ходит на этот семинар человек 10–15 молодых авторов в возрасте от 25 до 65 лет. Читаем и разбираем рассказы и повести. Ребята считают, что это полезно. Так вот, я хотел бы на этом семинаре почитать что-нибудь Ваше — два-три рассказа из тех, что Вы мне прислали. Выберу сам — с таким расчетом, чтобы было максимально поучительно для прочих (у Вас есть то, чего нет у подавляющего большинства,— свежесть и раскрепощенность стиля). Для Вас пользы от этого много не будет, хотя Вы по идее получите стенограмму и сумеете ознакомиться с мнениями Ваших коллег,— а некоторые из них являются вполне квалифицированными и достаточно тонкими ценителями. Однако, если устремить взор в отдаленные дали, то может проистечь и конкретная польза. Именно: Вас зачислят в иногородние члены семинара, и когда (если) удастся пробить сборник участников нашего семинара (а об этом уже поговаривают), Вы займете в этом сборнике свое законное место. Перспектива, конечно, отдаленная и шаткая, но чем черт не шутит? Так что жду от Вас:

1. Принципиального согласия на проведение указанной операции.

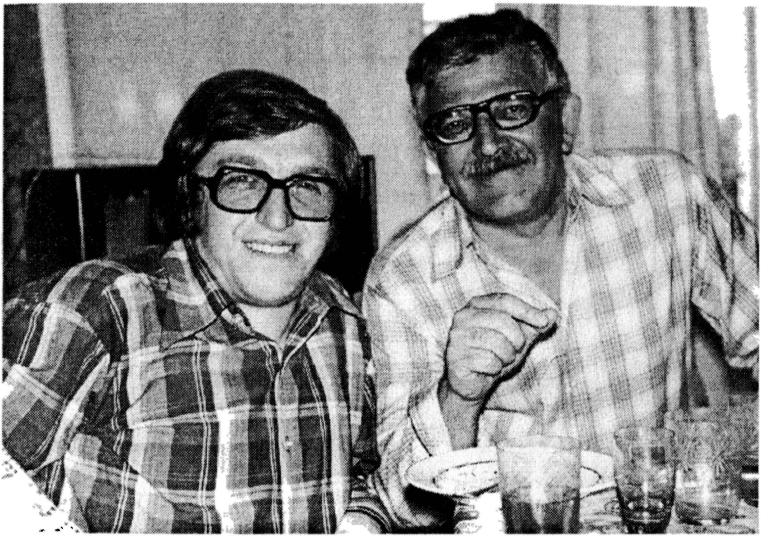
2. Соображений относительно того, что именно прочитать, буде такие соображения у Вас появятся.

Со своей стороны я всячески советую Вам согласиться, плюнув на все прочие соображения, ибо после такой (согласен — не слишком-то приятной) процедуры Вы, житель Одессы, окажетесь в то же время както организационно оформленным в Ленинграде, а быть организационно оформленным не мешает никакому советскому автору, в особенности начинающему.

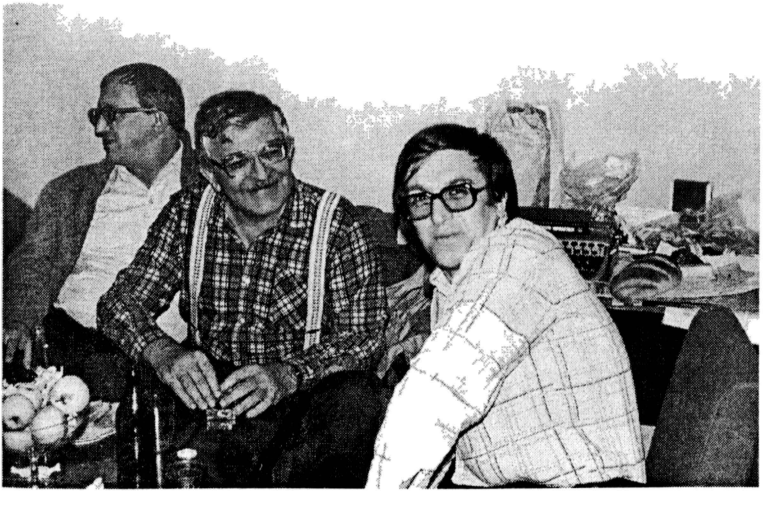
29.03.74

Дорогой Боря!

Имею сообщить Вам, что заседание семинара, посвященного Вашему творчеству, состоялось. Все прошло превосходно. Ребята приня-



Эдуард Геворкян, Аркадий Стругацкий. Начало 80-х.



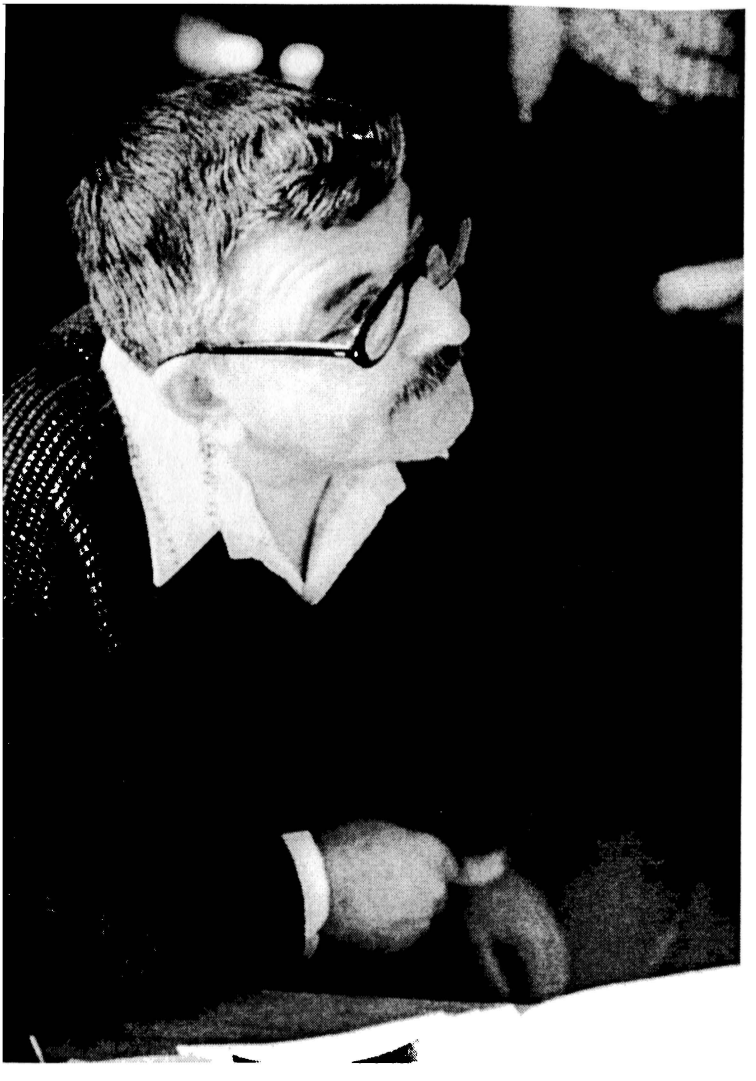
Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Эдуард Геворкян.
Семинар по кинофантастике. Репино, ноябрь 1985 г.



Аркадий Стругацкий на «Аэлите-81». Свердловск, 1981.



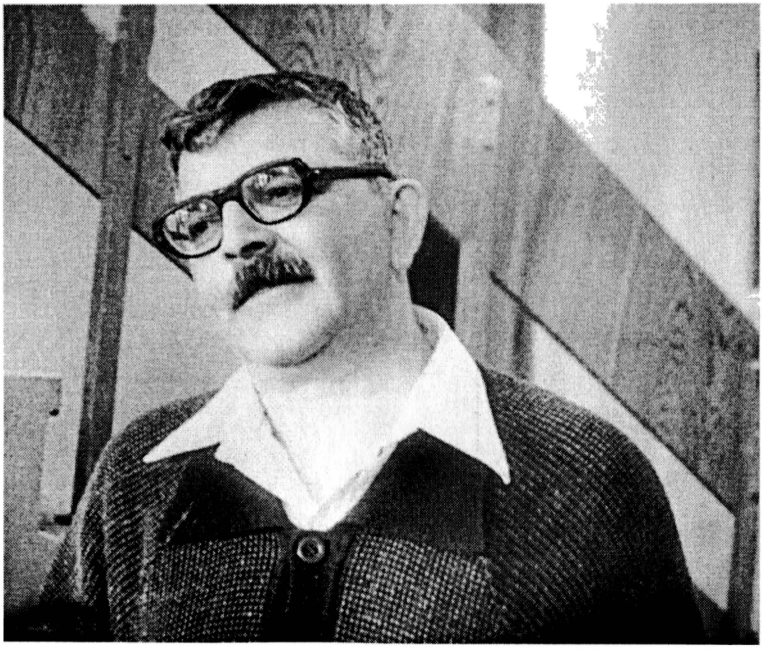
Вручение Александру Казанцеву куклы-неваляшки;
справа – Аркадий Стругацкий. «Аэлита-81». Свердловск, 1981.

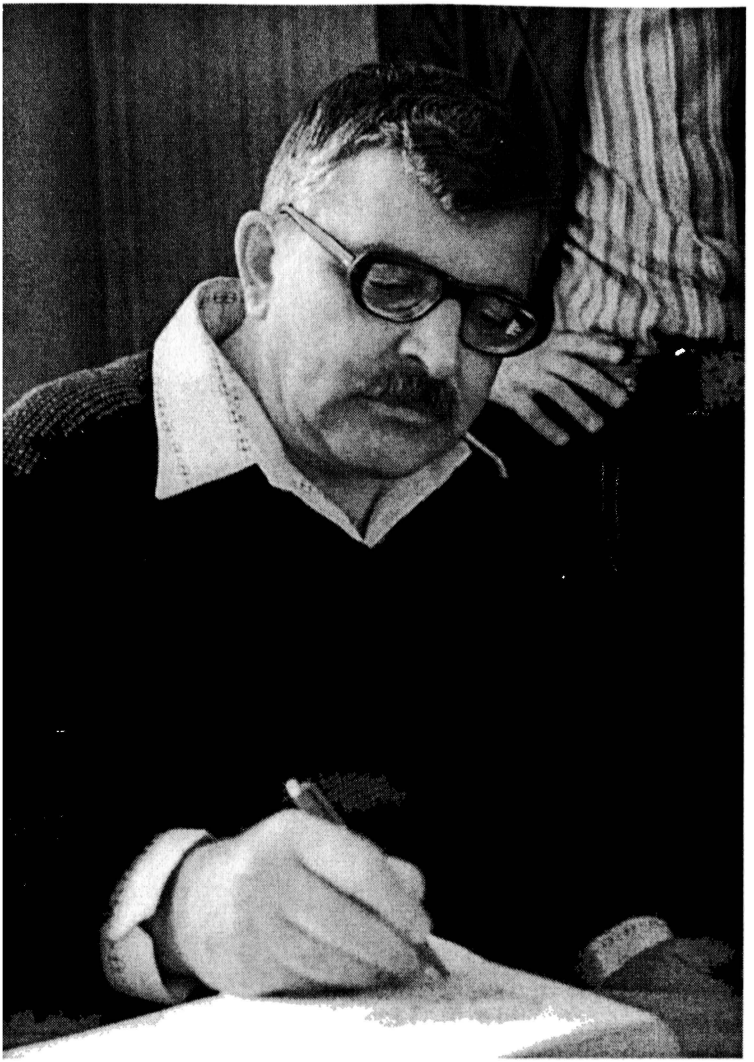


ркадий Стругацкий на «Аэлите-81». Свердловск, 1981.

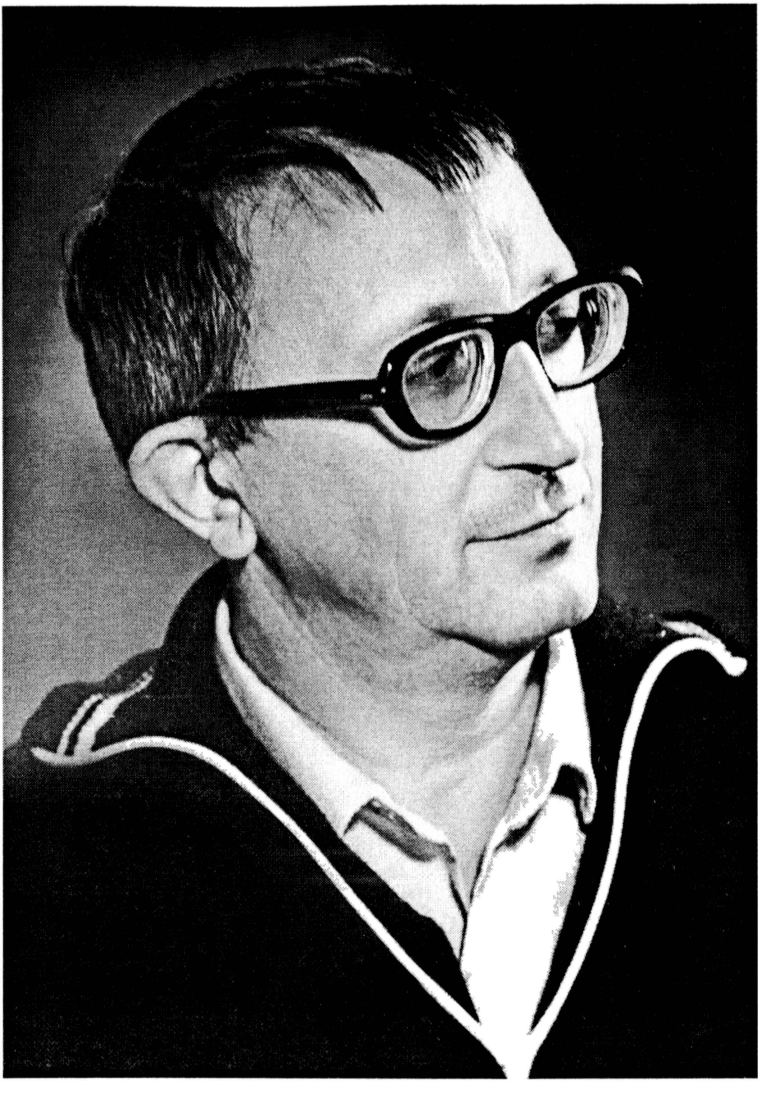


Аркадий Стругацкий на «Аэлите-81». Свердловск, 1981.

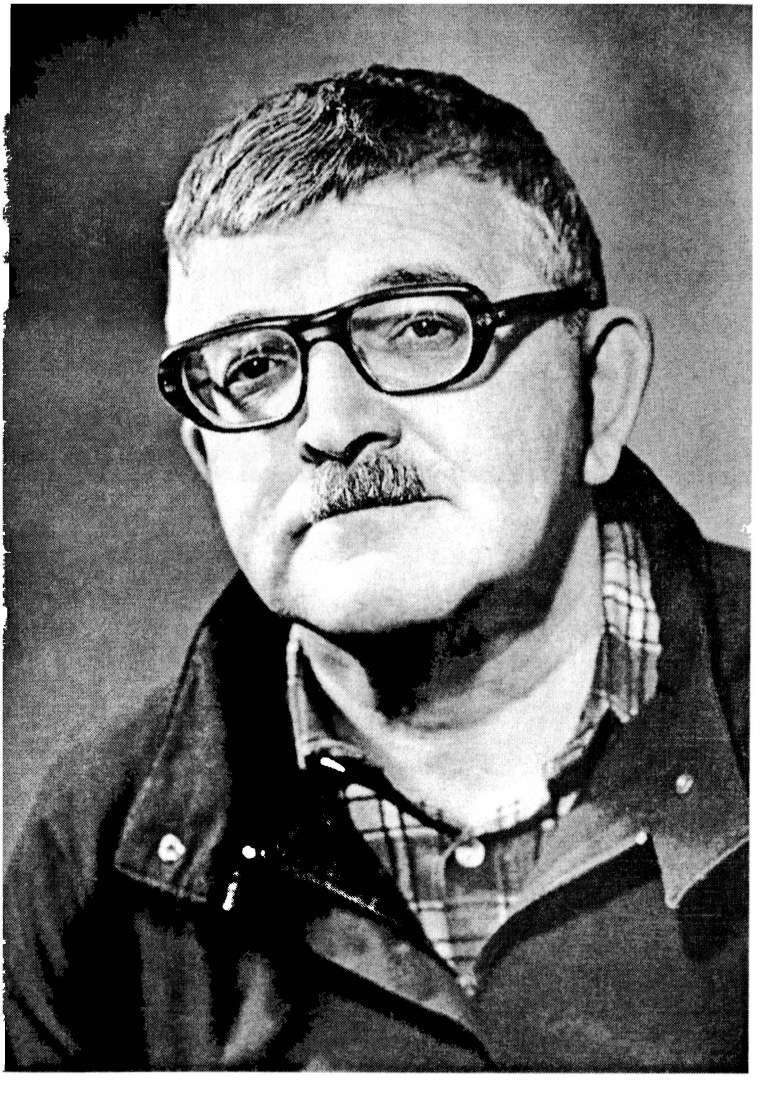




.ркадий Стругацкий на «Аэлите-81». Свердловск, 1981.



Борис Стругацкий. Москва, 1983.

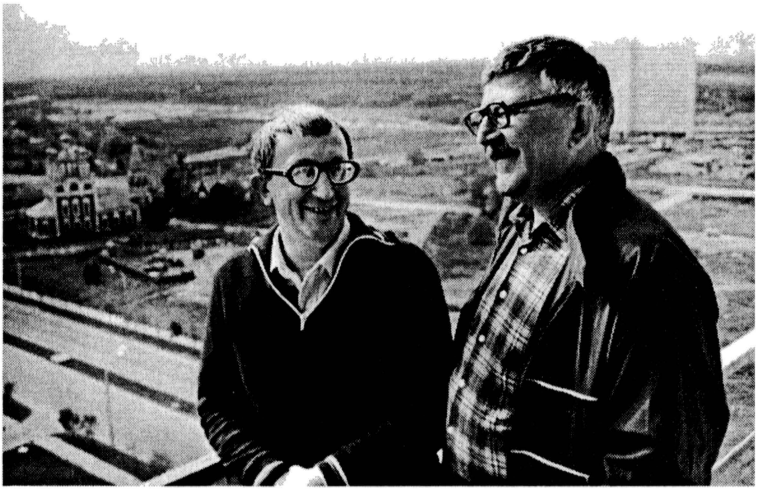


Аркадий Стругацкий. Москва, 1983.



Аркадий и Борис Стругацкие.
Москва, квартира Аркадия Стругацкого. 24 сентября 1983 г.





Аркадий и Борис Стругацкие.
Москва, балкон квартиры Аркадия Стругацкого
на 16-м этаже. 24 сентября 1983 г.





Борис Стругацкий. Москва. Февраль 1989 г.



Аркадий Стругацкий. Москва. Февраль 1989 г.



Аркадий и Борис Стругацкие. Москва. Февраль 1989 г.



Мариан Ткачев, Аркадий Арканов, Аркадий Стругацкий.
Одесса, конец 60-х.

ли Вас на ура, чего я, честно говоря, даже не ожидал, ибо ребята злые и дотошные. Я прочитал «Дом» и «Чья планета». Сначала обсуждали и даже начали было вести протокол, но потом было решено, что кто захочет, напишет Вам сам. Я раздал Ваши рассказы по рукам, так что теперь ждите писем.

Вчера я был в Детгизе. Редактор Анна Ивановна Плюснина, сияя, сообщила мне, что Вы прислали ей исправленного «Фокусника» и что «получился очень милый рассказ». Акции поднимаются, Боря! Дело, по-видимому, на мази. Как Вы правильно пишете, перед Анной Ивановной Вам надлежит стоять «смирно». Перед Сергеем Георгиевичем Жемайтисом, между прочим, тоже. Он — завотделом н-ф в изд-ве «Молодая Гвардия», так что никому больше не говорите о нем в связи с черными дырами. Нажимайте лучше на пылающие бездны таланта и гуманизма в творчестве таких выдающихся литераторов, как. Впрочем, это тоже не поможет. Но зато и не повредит!

28.05.74

Дорогой Боря!

Получил Вашу бандероль... В этом полугодии заседания нашего семинара уже кончились, а вот осенью пущу Ваши новые опусы по рукам. Думаю, не одному мне понравится. Конечно, следовало бы их куда-нибудь сунуть, но куда? Ладно, посмотрим.

С детгизовским сборником пока, кажется, все в порядке, если не считать того малоприятного обстоятельства, что нашу повесть оттуда, по всей вероятности, выкинут — есть намек из Центра, что не следовало бы, де. А Ваш «Фокусник» пока держится... тьфу-тьфу... чтоб не сглазить.

Спасибо за похвалы «Улитке». Мы ее тоже любим. Вообще, это, наверное, лучшая наша повесть, хотя любим мы больше «Гадких лебедей» (может быть, потому, что она до сих пор не опубликована?).

«Пикник» (вместе с «Малышом» и «Отелем») должен был выйти отдельной книжкой в изд-ве «Молодая Гвардия» еще в 72-м году. Как видите, не вышел и, судя по ситуации, не выйдет.

За рубежом нас переводят, и довольно активно. Главным образом, почему-то в Польше и в ФРГ. В этом году, например, успели выйти: «Отель» — в Болгарии, «Трудно быть богом» в США и в Польше. Все это дает кое-какие деньги, но очень небольшие.

Далее, Вы спрашиваете, «имеют ли члены семинара какие-нибудь права и обязанности, как начинающие?». Нет, не имеют. Более того, даже члены Союза писателей никаких особенных прав не имеют, если не считать права не служить (не иметь отметки в паспорте о месте работы) и при этом не считаться тунеядцем, права брать ссуды под договор и права покупать путевки в Дома Творчества. Впрочем, для всего этого достаточно быть членом так называемой профгруппы — это что-то вроде кандидатов в члены СП. Так что единственная реальная (хотя и весьма эфемерная) польза, которую Вы можете извлечь из оргоформленности в нашем семинаре, это то, что Вас будут знать люди, ведающие составлением сборников в Ленинграде. Ну, и то, что у Вас появятся знакомые коллеги.

23.08.74

С удовольствием прочитал Ваши «Производственные рассказы». Вы молодец. Конечно, они непроходимы. В них нет никакого «анти-», они не представляют интереса для улицы Бебеля, но при всем при том они непроходимы.

Их нельзя, между прочим, назвать абсолютно непроходимыми. Скажем, если из № 1 выбросить кое-какие мелочи, вроде портрета дедушки, а сам рассказ ухитриться ужать до трех-четырех страниц — он, теоретически, вполне мог бы украсить собою 16-ю полосу Литгазеты.

Но это — теоретически. Практически они непроходимы просто потому, что их негде печатать. У нас нет редакций, где подобная стилистика была бы привычной — а ведь именно это определяет судьбу любого произведения. Привычность. Возможность соотнести с чем-то, уже опубликованным.

В этом — горе всех молодых ТАЛАНТЛИВЫХ авторов. Ибо что такое талант в литературе, как не новая стилистика? Но именно новая стилистика (не новая тематика, не новые герои, даже не новые конфликты!) в первую очередь настораживает редактора. Вот почему молодому так трудно выбиться. Талант проявляет себя, как правило, именно в новой стилистике. И именно новая стилистика оказывается главным камнем преткновения. «Ни на кого не похоже — значит, подозрительно, опасно, не стоит связываться».

Выводы: 1. Вы молодец. 2. Продолжайте в том же духе — смело и по-своему. 3. Рассказы эти пусть пока полежат. До лучших времен.

С «Авророй» и «Миллиардом лет...» имеет место путаница. Повесть, которую намеревается печатать (но неизвестно, напечатает ли) «Аврора», называется «Парень из преисподней». «Миллиард лет...» — это название повести, которую мы собирались написать, но пока еще не написали. (Как раз сейчас с ней возимся.) В редакции перепутали все на свете и рекламируют сами не знают что.

17.12.74

Получил Вашу бандероль. Прочитал рассказы. Что ж, хуже не стало — читал с удовольствием. Положил в папочку (Вашу) до лучших времен. Мой совет: не возвращайтесь сейчас к старым вещам до тех пор, пока это не станет совершенно необходимо (скажем, возникнет возможность напечататься). Никакой пользы от переделок для Вас не воспоследует. В Вашем возрасте проще написать новый рассказ, чем оттачивать старый. И гораздо полезнее.

В Детгизе возникла было паника: пронесся слух, что объем сборника сокращается на 8 – 10 листов и будут выкидывать иногородних. Я кинулся к Плюсниной. Оказалось, все верно, но Вас вроде бы она пока не намерена трогать («...рассказ маленький... десять страничек... пусть...»). Посмотрим. Но лозунг прежний: надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.

Наши дела в Детгизе по-прежнему неясны. Может быть, поможет тот факт, что «Аврора» все же опубликовала «Парня...». Опять же — посмотрим. Повесть эту я не люблю, но — деньги!..

Сплетня, Вами сообщенная, для нас — увы! — не новость. Вот уже года два мы слышим со всех сторон, что уехали или собираемся. Два года тщетно пытаемся найти источник этих слухов. Сколько нам крови попортили, сколько договоров затормозили этими слухами — ни в сказке сказать, ни пером описать!.. Прямо хоть объявления давай в Литгазету: слухи, мол, сильно преувеличены.

Сейчас кончаем новую повесть — «За миллиард лет до конца света». Ничего себе получается, по-моему. Пока я доволен.

9.02.75

Дорогой Борис!

Поздравляю с первой публикацией! Это, конечно, не первая любовь, но тоже приятно.

В Детгизе дела пока обстоят благополучно. Очередной этап Вы тоже проскочили без потерь (производилось сокращение сборника на 15%, в основном — за счет иногородних).

«Малыш» был опубликован в журнале «Аврора», кажется, в 71 году. Я эту повесть не люблю (так же, как и «Парня»), поэтому, наверное, ничего Вам о ней и не писал.

4.03.75

Дорогой Борис!

Прочитал Ваше письмо, прочитал Ваши рассказы, отвечаю.

Рассказы. Ну, во-первых, в папку я их все-таки положу, хотя они, и вправду, не фонтан. Далее. Нефантастический рассказ — будем называть его условно «юмореска» — имеет главным недостатком то, что при всех своих недостатках он еще и непечатен. Вот этого, Боря, Вы не можете позволить! Если Вы уж пишете рассказ-не-ах, то он должен, обязан быть печатен. Это просто правило. Не имеете Вы права писать рассказы просто так. Тут или — или. Или Вы задумываете рассказ серьезно (т. е. в нем, по идее, и замысел, и частица Вашей души), и тогда Вы имеете право портачить, ошибаться, делать промахи. Тогда это полезно, для тренировки, скажем. Или же Вы задумываете рассказ-безделку, в коем по идее нет ничего, кроме какого-нибудь более или менее ловкого сюжетного выверта,— вот тогда, голубчик, пиша с холодной головой и холодным сердцем, извольте холодно рассчитывать: пойдет или не пойдет. В юмореске Вашей имеет место несомненная скабрезность, очевидно непроходимая в наших реальных условиях (советские люди не занимаются такими вещами — по крайней мере, в юморесках). Эту юмореску, придумав, Вы не должны были вовсе брать в работу. (Хотя, конечно, есть в ней и определенная, уже присущая Вам милота, так что это — работа не вовсе на пропасть.)

«Вакуум» — посерьезней. Он в принципе, пожалуй, даже печатен. Но он мне не очень понравился. Может быть, потому, что я не совсем разобрался в Ваших аллегориях — то ли это совершенный примитив, то ли нечто глубокое, что пока до меня не дошло.

Возможно, мы и посвятим семинар Вашим последним вещам, но я думаю, что обсуждать будем, скорее всего, производственные рассказы — они интереснее. Впрочем, на ближайшем заседании намечается треп по общим вопросам: «Замысел, техника работы, сюжетообразование и пр.».

Еще несколько слов о «Производственных рассказах» и о Вашей полемике с Балабухой. Если бы в этих рассказах не было бы ничего, кроме ляпов (что, натурально, невозможно), и то Вы были бы правы в этой полемике, ибо написали ХОРОШИЕ рассказы. А рассказы ХОРОШИ потому, что создают мир, внутренне непротиворечивый, живущий своей жизнью, по своим законам и правилам, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ протеста, не противоречащим, следовательно, чему-то главному, существенному, всем известному, чему-то гораздо более важному, нежели та или иная частность. Конечно, хорошо, если НИКТО не способен придраться НИ К КАКОЙ частности рассказа, но это уже вопрос шлифовки, задача второго порядка значимости.

Теперь Ваши вопросы. На «Миллиард лет...» заключен с «Авророй» договор на этот год. Но в редакции повести еще не читали. Что будет, что случится и чем сердце успокоится, таким образом, не может предсказать никто.

«Сыт я по горло, до подбородка...» — конечно же, песня Володи Высоцкого. В оригинале повести имеет место сноска: «Текст песни В. Высоцкого слегка изменен с разрешения автора», что есть полная правда. В процессе перепечатки сноска эта, по-видимому, затерялась.

(Моя жена только что прочитала Ваш «Детективный дамский» — сидит и с удовольствием хихикает. Говорит: «Ну, смешно и все!..» Вокс попули, вокс деи. Может быть, мы с Вами слишком суровы к этой юмореске?)

18.04.75

16-го был семинар. Обсуждали Ваш «Производственный рассказ № 1». Получилось очень забавно: вдруг на семинар нагрянул не кто-нибудь, а лично Космонавт СССР, Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко! Он большой любитель фантастики, поклонник Ларионовой и Стругацких, узнал каким-то образом о семинаре и нагрянул. Инкогнито. Семинар был бурный. Обсуждение как-то нечувствительно свелось к терминологическому спору: какова разница между рассказом и фельетоном. Много было орано и крикано. Рассказ в общем всем понравился, и все же его ругали — кто за что. Народу было до черта. Космонавт высказался одним из последних и сказал очень здраво: чего вы все тут разорались? Пока рассказ читался, все хихикали, а теперь ругаетесь; рассказ веселый и хорошо написан, чего вам еще надо? В общем, это было выступление, хотя и непедагогическое (я от людей ста-

раюсь всегда добиться здравого спокойного анализа), но вполне трезвое и здравое. По окончании процедуры были собраны копейки (по тринадцатибалльной системе), и всего набралось 132 штуки. Народу было 24 человека, но некоторые новички, по-моему, остались не в курсе и баллов своих не внесли, так что я полагаю, средний балл получился что-то около 6,0 — весьма неплохо: второй или третий результат в сезоне.

Вот так. А копейки в соответствии с традицией были тем же вечером пропиты через посредство кофе. (Было предложение послать их Вам переводом, но большинство оказалось против, и я в том числе, ибо «гонорар» должен пропиваться немедленно.)

22.07.75

Дорогой Боря!

Большое спасибо за очередное горячее приглашение, но, право же, никак в этом году не получится! Честное слово, по горло в делах, причем в делах гнусных и раздражающих. Аркадий после гриппового осложнения плохо себя чувствует и уехал куда-то там «в глушь, в Саратов», а все дела — на мне.

По поводу сборника ничего ни нового, ни хорошего не слышно.

По поводу «Миллиарда лет...» — наоборот, слышно: в этом году его печатать во всяком случае не будут, а в следующем... Там видно будет. В ближайшее время встречаюсь с редработниками на предмет выслушивания замечаний и претензий. Ничего хорошего, натурально, не жду.

25.08.75

Новостей никаких нет — во-первых, по причине летнего времени, а во-вторых, просто нет их и нет. Откровенно говоря, мне это совсем не нравится. Еще весной Плюснина обещала выслать Вам договор. Раз не выслала, значит угроза быть выброшенным за иногородность по-прежнему над Вами висит. В сентябре буду снова звонить. Возможно, что-нибудь прояснится. Ох, Боря-Боря, главное — не утомляйте себя надеждами! Сок надежд ядовит и пагубен в наше шибко стохастическое время! В наше время писатель должен относиться к вопросам публикации в точности так же, как к игре в спортлото. И на устах его должна постоянно блуждать ироническая усмешка всепонимания.

Что касается публикации «Пикника», то упомянутая усмешка блуждает у меня уже не только на устах, но и по всему телу. Но — никакой

свинячьей тоски! И тем паче — бельевой веревки, капроновой или, скажем, дедовской, волосатой. Этого удовольствия мы им доставлять не должны! Пить-есть пока имеется? Да, имеется. Друзья не поразбежались? Отнюдь. Даже наоборот. В семье все живы-здоровы? Пока да (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить)... Так чего же тебе еще надобно, смертный? Ах, ты еще и в спортлото хочешь выиграть по шести номерам?! Ну-ну... Тебе, значит, мало, что ты по пяти номерам уже выиграл: заполучил неизвестно почему и чьим отпущением божественную искру в так называемую душу. Тебе, паршивцу, еще надо по шести номерам выиграть: чтобы искра сия разгорелась всем вокруг видимым костром? Ну-ну, неблагодарный!..

Короче говоря, Боря, все равно надо работать. Десяток читателей — это тоже неплохо. Особенно если учесть, что это не просто читатели, а, как говорят социологи, РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА! То есть отборнейшая элита сочувствующих и сомыслящих...

12.11.75

Дорогой Боря!

С «Химией и жизнью» не спорьте. Просят дать им химию — дайте, от пуза. Трудно Вам, что ли? Журнал, между прочим, в авторитете — один из лучших сейчас науч-поп журналов.

Нытье Ваше по поводу того, что, мол, плохо, с негодованием отметаю как несущественное. Всем плохо.

«Миллиард лет» отложен на неопределенный срок. Сейчас садимся за новую повесть. Вы абсолютно правы: быть профессиональным писателем — это значит писать, писать, опять писать... всю дорогу навалом писать... И при этом с натугою держать хвост пистолетом.

Чего и Вам желаю, Ваш Б. Стругацкий

23.12.75

Дорогой Боря!

Получил Ваше письмо и тут же решил, что Вы в нем описываете одесский тайфун, и представил себе, как в ответ буду описывать ленинградский тайфун и как из нашей переписки родится новый Джек Лондон. А Вы, оказывается, о Володине...

Честно Вам признаюсь: незнаком я с Володиным и даже, пожалуй, ничего о нем не слышал. Впрочем, судя по всему,— человек хороший и полезный. Я буду очень рад, если он Вас как-нибудь протолкнет.

Рад, что Вы обрели душевное равновесие. Так-то оно лучше. Чем сунуть руки в карманы и рвать на себе волосы. Работайте, и воздастся Вам!

3.02.76

С привычным удовольствием прочитал Ваше письмо и рассказ.

Рассказ хороший. Больше всего мне нравится, что он очень Ваш. Ни с кем не спутаешь. Это, голубчик, большое дело. Это — стиль! Люди годами пишут без всякого стиля — читаешь и словно вату жуешь. А Вы — одна пятилетка всего, может быть, и прошла, а уже — стиль. Молодец. Мне, правда, не понравился конец. Не люблю: а) когда герой сходит с ума, б) когда иностранцы какие-то (к Вам это, впрочем, почти не относится) и в) когда вдруг выясняется, что все в рассказе кому-то приснилось (к Вам это не относится совсем). Зато, впрочем, все это очень нравится редакторам — не знаю уж почему.

Рассказ имеет все шансы на публикацию. Правда, при чем тут «Химия унд жизнь»? Я бы сказал, что это рассказ скорее для «Знания — сила». Впрочем, Володину виднее.

11.03.76

Дорогой Боря!

Ужасно рад за Вас. И не тому даже рад, что Вы завязали там какие-то контакты с «Юностью» — я совсем не знаю Славкина, но неплохо знаю «Юность» и представляю, что это такое — иметь дело с этим журналом. А рад я тому, что Вы явно оживились. Чувствуется, как бурлит в Вас снова молодая южная кровь и подымает ошикованную ударами судьбы забубенную свою головушку Ваш природный оптимизм. Вот и хорошо, вот и прекрасно. Глядишь — и напишете еще что-нибудь, переставши ныть и жаловаться.

Время мое до сих пор толком не определилось. Попытаюсь Вам объяснить, в чем тут дело. Мы связались с одним большим кинорежиссером — делаем ему сценарий. Он, как и полагается гению, капризничает — все ему не так. А что́ ему так, сказать зачастую не может. Поэтому порядок работы такой: мы пишем вариант сценария и даем его гению; гений читает, обдумывает, бранится, хвалит то, что ругал вчера, и наоборот — и все это длится, к сожалению, неопределенно долго. Мы же все время должны быть на подхвате: как только гений разражается наконец требованиями и рекомендациями, мы тут же съезжаемся и начи-

наем писать следующий вариант. Именно поэтому я начисто лишен возможности планировать свое время.

12.05.76

Надеюсь, Андрей сообщил Вам уже мое мнение по поводу тех черновиков, что Вы тогда оставили. Коротко: рассказы о Поляне — прекрасно задумано и может интересно получиться, но Вы по-прежнему не видите конца и не знаете, куда и к чему вести события. Поймите, Боря: автор должен точно знать, о чем он пишет. Если он это знает, тогда можно составить представление о том, чем все должно кончиться (ибо конец — делу венец). А если известен конец, известно все (и в частности, сразу появляется критерий «важно — неважно»). Вы же пишете, как детишки рассказывают, захлебываясь, о событиях в детском садике — все важно, все интересно, и все никуда и ни к чему не ведет — поток жизни...

В Детгизе снова собирают сборник фантастики. Анна Ивановна заявила, что уж в этом сборнике Штерн будет обязательно. Посмотрим, посмотрим. Я вот попытаюсь ей подсунуть «Чья планета?». Авось.

22.07.76

Дорогой Боря!

Опять за свое? Опять ноете? Драть Вас некому! И нечего завидовать Рыбакову: он с первого класса пишет, целый шкаф уставил своими рукописями. И только последние два года у него стало получаться. Вот что такое труд. Плюс страсть, разумеется.

Рад, что «ХиЖ» берет «Фокусника». Но берет ли? Вот Плюснина тоже берет «Фокусника» — третий год подряд.

Киносценарий мы закончили, и он даже, вроде бы, принят. Но деньги еще не выплачены. Что-то будет?! Тарковский мотается по Средней Азии — ищет натуру... Посмотрим.

С фильмом Германа тоже ни хрена не понять. С одной стороны, он, казалось бы, формально принят. С другой — ленинградское начальство стоит горой против и требует вырезать то-то и сократить то-то. С третьей — в «КомсПравде» была превосходная, хвалебная и точная рецензия на этот фильм. С четвертой — высшее московское начальство должно смотреть и сказать последнее окончательное слово... В общем, ни хрена не понять. А у Германа — жена на сносях, и родственники уехали в США, и нервы — как рояльные струны... Жуть!

11.09.76

Дорогой Боря!

Отвечаю на Ваше письмо с запозданием и кратко — дела!

Сын мой Андрей в институт не поступил — не добрал одного балла.

Писать он уже больше не пробует. В глубоком детстве пробовал, и получалось очень забавно. Целый ряд имен, им придуманных, мы использовали в «Гадких лебедях» (Росшепер, Бол-Кунац, Роц-Тусов).

Сценарий для Тарковского мы закончили. Сценарий принят и даже оплачен. Дело вроде бы на мази. Тарковский намеревается приступить к съемкам в октябре. Но он сделал тридцать три замечания и пожелания, так что работы впереди — непочатый край.

Прочитал я исправленный вариант «Общего района». Стало, пожалуй, лучше, но я бы эту вещь все равно рассматриваю как экспериментальную. Забавно, что Андрей Зинчук приехал от Вас очень тихий и без всякого гонора. Видимо, Вы его там хорошо проскипидарили! Он полон благих намерений и пишет сейчас сразу три повести, причем — сюжетные, без обычных фокусов.

Очень рад, что настроение у Вас бодрое и работа идет. Конечно же, стена не резиновая! Надо иметь терпение и настойчивость. Все это проходит по классу «трудно, но можно». (Знаете эту блестящую загадку? Что легко могут сделать два мужчины, с большим трудом — мужчина и женщина, и совсем уж неспособны две женщины?)

А «Маска» мне не шибко понравилась. Хотя из того, что последнее время у нас публикуется, это, несомненно, лучшее. Лем — это Лем! Но в сравнении с «Солярисом» и даже с «Непобедимым» это, безусловно, безделка (если не сказать — поделка).

30.10.76

Дорогой Боря!

Рад был получить от Вас, наконец, письмо. Рад, что Вы работаете и что Ваши «кислые» настроения в значительной степени испарились. Правда, избыток кислотности все еще наблюдается в Ваших рассуждениях о «широких спинах Стругацких, загородивших-де все шоссе, не проехать, не пройти, мать их за ногу». Кому бы и жаловаться, да только не Вам с Вашим уже устоявшимся стилем, чертовски характерным одесским подъ..цем, с умением увидеть смешное там, где смешного на самом деле — чуть. Если Вам (лично) кто и загораживает дорогу, то уж не Стругацкие, а скорее Шекли.

Да и можно ли на самом деле загородить дорогу? Почему Ньютон (или Дарвин) так далеко видели? Хрестоматийный ответ: ибо он, Дарвин (или Ньютон?), стоял на плечах гигантов. Что, в конце концов, такого сделали Стругацкие? Да они просто применили уэллсовские принципы к современной советской фантастике — так сказать, вскарабкались на спину гиганту. Вот и Вы займитесь.

Что «Юность» не возьмет Ваш «Дом», ясно было и ежу, причем с самого начала. За «Фокусника» у Плюсниной в свете публикации в ХиЖе не волнуйтесь: одно другому не мешает. Общее правило: журнальная публикация — не помеха публикациям в сборниках (исключение — альманах «Мир приключений», где, действительно, предпочитают брать ранее нигде не опубликованное, но зато здорово платят).

Семинар молодых в Москве, действительно, будет. От нас туда посылают Балабуху и Ларионову, как наиболее активно печатающихся. Пустят ли Вас туда? Думаю, что ДА, особенно, если Вы воспользуетесь знакомством, скажем, с Володиным. А вот стоит ли Вам туда ехать? На кой это Вам хрен? Чего Вы там не видели? Глубокое заблуждение, что путь в литературу лежит через семинары и совещания. Путь в литературу лежит через личные контакты с издателями. Из этой вот теоремы и исходите.

Тарковский собирается начать съемку в январе.

9.01.77

Дорогой Боря!

Задержался с ответом на Ваше письмо, так как получил, наконец, своего «запорожца» с полным комплектом хлопот, забот и развлечений. Телефон наяривает, на столе громоздятся нераспечатанные письма, а я знай себе подтягиваю разнообразные гайки или торжественно сползаю на брюхе (автомобильном, разумеется) в снежную канаву... Поэтому, сами понимаете, буду сейчас предельно краток.

По поводу «Рыбы». Орел. Молодец. Боевой петух! Очень хороший рассказ. Хвалю. «Подарить ему барана — он изрядно пошутил!..» Замечание: не всегда смешны и точны искажения вывесок... (Ч-черт! Хотел проиллюстрировать замечание изящным примером — не могу найти рассказа. Зинчуку я его отдал, что ли?) В общем, недостаточно точны, а потому и не всегда смешны. Второе замечание (предложение? совет? задание?): напишите еще один рассказ В ТОМ ЖЕ стиле. Если получится, значит стилем (данным) овладели, а это — хороший стиль. Ваш.

Дуйте до горы. Попытайтесь сделать (в этом Вашем стиле) что-нибудь для печати. СПЕЦИАЛЬНО для печати. Но — в этом стиле.

Кстати, получил соответствующий номер «Химии и жизни». Поздравляю. Неплохо. Не испортили. Повторяю — НЕ. Это уже хорошо и даже в каком-то смысле прекрасно. Научились исправлять, не портя. НЕ. Это — большое умение! Растёте! Орел. Петух! Горжусь. (А чем, собственно? С самого начала было ясно: талантливый паренек, трудно ему будет.)

С женой не ссорьтесь. Никогда. Нельзя. Вредно и для тела, и для духа. Меньше принимайте внутрь — количество ссор сразу уменьшится на 30%. Больше юмора, значительно больше терпимости, на порядок больше нежности — и все станет ОК. Советую. Знаю. Сам ссорился как последний идиёт. Литература — дерьмо. Все книги, которые Вы напишете, не стоят дружбы с женой. Клянусь. Уверен.

О З. и его «Человеке...». Тыщу раз ему было говорено (З.): научитесь сначала рисовать — ногу, титьку, ж..у,— и только потом принимайтесь писать маслом и — тем более — заниматься разложением пространства в стиле Пикассо. В основе литературы — всегда реализм, умение написать титьку, ссору, пьяный разговор и увязать все это в единый сюжет, скрученный туго, наподобие каната. З. за его формальные упражнения — били, бьем и будем бить. Пусть сначала докажет, что умеет писать, как писали до него, а потом — ради бога! — пусть развивает классику дальше. Такова моя точка зрения. «Человек...» — это абстрактный анекдот, растянутый на 50 страниц. Не потерплю! НЕ!

15.04.77

Дорогой Боря!

Последнее Ваше письмо настигло меня в больнице, так что сразу ответить я не смог. Неужели я ухитрился два месяца Вам не писать? Нет мне прощения. Но, вероятно, я замотался сначала, а потом заболел, а потом болел-болел да и угодил в больницу, причем сразу же — под нож. Вырезали мне гангренозный желчный пузырь, а заодно вышибли два передних зуба во время анестезии. Так что сейчас я снова дома, без желчного пузыря и без зубов, но зато с огромным четвертьметровым шрамом через все брюхо (так называемый «разрез Федорова»).

Шрам почти уже зарос, но зубы еще предстоит вставлять. Работа, конечно, вся полетела к чертям. Бедный Аркадий в Москве отдувается за двоих.

Вот и все мои новости.

А за Ваши — пусть небольшие — успехи я рад (...или надо было сказать Вашим... успехам? Отвык от машинки — раньше пальцы сами выбирали нужные обороты).

7.06.77

Вы меня удивили своим резким приговором рыбаковскому «Доверию». Ей-богу, мне эта повесть очень понравилась. Я даже задумался: в чем же тут дело? Вероятно, в том, что я, читая рукописи, мало слежу за деталями — меня более всего интересует общее впечатление. А общее впечатление было как раз сильным — новый, жестко написанный, необычный мир. Сильные страсти. Чувства, раздавливаемые долгом. Безнадежный конфликт. Все это мне по душе. За красотами и «красотами» стиля я и вовсе не следил — было бы правдоподобно, не резало бы слух фальшью — и ладненько. Конечно, я убежден, что там полным-полно работы для редактора, да ведь я-то не редактор! Имейте в виду, я ведь и Ваши вещи так же читаю: общее впечатление, отсутствие фальши — вот все, что меня интересует.

«Рыбу» я давал читать многим. Всем нравится. Хороший рассказ, но непечатный. Должен Вам сказать (не без издевочки), что нет ничего проще писать хорошие, но непечатные рассказы.

Тарковский начал снимать «Сталкера». По плану должен закончить в ноябре. А мы сейчас занимаемся исключительно сценариями: недавно в шестой раз переписали «Сталкера», а теперь возимся с новыми вариантами «Отеля» (для Таллинфильма) и «Трудно быть богом» (для студии им. Горького). В этом году вряд ли сядем за новую повесть. Возможно — в будущем.

9.08.77

Сто раз я Вам намекал: не присылайте Вы мне реалистических рассказов, не умею я их судить! Ну что мне с Вами делать? Ну, рассказы, ну, два, ну, из жизни... Ну, ничего вроде... особенного... Ни то ни се... Ну, не Чехов. И Хемингуэй не. И вообще много не. Ну, попадись мне такие рассказы в «Новом мире» (в новом), ну, прочитал бы, ну, хмыкнул бы одобрительно... Удовлетворяет Вас такой отзыв? Ведь нет? Вялые они какие-то, вот что. Перчика нет. Ваш перчик — юмор и поворот

сюжета. Нет ни того ни другого, и получается что-то нештерновское. Хулиганства в них нет. Зато ощущается некая мораль, что тошнотворно. Словом, как экзерсис я это понимаю, как готовые вещи — нет. Хотя могут быть и напечатаны! Но — зачем?

Огорчил я Вас, наверное. Даже самому как-то мношно. Но ведь говорил же: не присылайте мне... Впрочем, «Рыба» ведь тоже реалистический рассказ. Или нет? Или рассказы бывают: фантастические, реалистические, юмористические, сатирические... Черт его знает. В «Рыбе» есть хулиганство, воля автора, свобода. И никакой морали. Есть в ней что-то от Воннегута, которого я очень люблю. Любит людей и постоянно издевается над ними. Это великое искусство: издеваться, любя. По сути, это умение издеваться над собой. Самому себе морали не прочтешь. А издеваться над собою научиться можно...

У меня дела так: фильм снимается, но медленно и трудно; в издательствах — тишина, пыль, редакторы пьют чай и делают бутерброды с сардинками, замасленными руками осторожно и с отвращением перебрасывают листки никому не нужных рукописей; «Пикник» не появится никогда, будь они трижды неладны; ощущения владельца «Запорожца» те же, что у мужа женщины, страдающей кровотечениями — ездить можно, но не слишком часто, не очень долго и с большими предосторожностями, ибо запчастей не хватает (очень, кажется, неприлично получилось, но, Вы знаете, весьма похоже).

3.01.78

Повесть Вы написали приятную. На крепкую четверку. Восторгов она не вызывает, но читается с удовольствием. Буду давать ее читать направо и налево.

Недостатки, разумеется, имеют место, но их довольно трудно конкретизировать. Например, у меня осталось четкое ощущение, что временами стиль нарушается и вместо очаровательной хохмаческой трепотни начинает переть какая-то псевдореалистическая тягомотина (переживания, психология и пр.). На самом деле, мне следовало бы сесть с пером в руках и отметить скрупулезно такие вот места, но, во-первых, лень, а во-вторых, неохота заниматься мелочами. Главный недостаток новести таким способом не устранишь. Он состоит в том, что Вы написали повесть там, где материал есть только для рассказа.

Посудите сами: стержень всего — обнаружение каната на полюсе и объяснение этого феномена. Т. е., имеем историю о том, что на некой планете была такая вот легенда, герой-ученый добрался до полюса, чтобы легенду развенчать, а оказалось... и т. д. Это — типичный рассказ, причем, по определению, хохмаческий. Вы же завернули вокруг этой нехитрой (хотя и приятной, не спорю) хохмы целое повествование, придумали сложный мир, развернули систему социальных отношений, тут и любовь, и трагедия драконьего племени, и черт в стуле. Читать все это интересно и приятно, не возражаю. Но прочитав, неизбежно задаешься вопросом: ну и что? Если бы это был рассказ на 15–20 страниц, такой вопрос не возник бы. Просто не успел бы сформироваться. А здесь — целый мир, и ждешь, что это все зачем-то будет нужно, что не зря автор разворачивает перед нами целую социальную панораму. А оказывается, что весь этот «Капитал» создан для того, чтобы объяснить насчет каната. Несерьезно. Представьте себе, что «451 градус по Фаренгейту» кончается так: «Академик Уебл выключил рубильник. Да, этот вариант мира не проходит, подумал он. Надо искать другие пути». А? Вот тошнота-то!

Кроме того, повесть в наше время значительно труднее пристроить. Я уже имел беседы. Морщатся: «По-овесть! Вот если бы рассказ!» Мать Вашу за ногу, Боря! Вы же превосходный новеллист. Вы же могли бы стать вторым Варшавским. Какого хрена Вы лезете заниматься повестями? Ну, потерпите Вы два-три года! Напишите 10–20 хороших хохмаческих рассказов, а потом уже возьметесь за большие формы.

Вот сейчас есть шансы попасть в один из трех (!) сборников. И везде нужны рассказы. Причем именно в Вашем стиле — забавные, остросюжетные, с неожиданным поворотом. А Вы шлете повесть. «Чьи планеты» надо писать! Штук пять-десять! Вот тогда народ скажет Вам «спасибо» и осыплет Вас зелененькими.

Ну, как это у меня все получилось? По голове? Или значительно ниже? Не огорчайтесь. Повесть получилась на крепкую четверку, но я-то от Вас жду рассказов на крепкую пятерку с минусом.

В общем, хватит трепаться. Даю Вам задание. Серия рассказов на темы: «Различные варианты контактов человека с иным разумом»; «Различные удивительные свойства, которые приобретает ни с того ни с сего герой (умение становиться невидимым, умение читать задницей, умение понимать язык животных и т. д.)». Время действия: произвольно. Место действия: некая капстрана или далекая планета. Действуйте. Об исполнении докладывайте.

8.02.78

Дорогой Боря!

Рад Вашему письму, ибо оно оптимистично. Намерение писать серию с майором и роботом категорически одобряю и санкционирую. У Вас это должно получиться.

Повесть свою хаете зря. Повесть хорошая. И вполне Ваша, ни с кем не спутаешь. Писание на заказ здесь явно ни при чем. Просто, повторяю, Вы ее не сумели композиционно выдержать. Рассказ на ту же тему у Вас получился бы на «пять», а так — «четверочка». (Моя мама, старая опытнейшая учительница, всегда говорит: «Четверка — хорошая отметка», и я с ней вполне согласен.)

Три сборника, о которых я Вам писал, это: 1. Очередной альманах «Мир приключений»; составитель В. Ревич; уже составлен, и говорить о нем (об альманахе) поздно. 2. Очередной сборник НФ; составитель Ковальчук; об этом Вы уже осведомлены, перестаньте валять ваньку и ОБЯЗАТЕЛЬНО что-нибудь туда дайте. 3. Сборник сочинений участников нашего семинара, членом коего и Вы имеете честь состоять; составитель — Жанна Александровна Браун, детская писательница, член СП, уже год ходит к нам на семинар, прониклась к ребятам любовью и сочувствием, лично пробила этот сборник в Лендетгизе; я предложил уже ей «Чью планету», скорее всего — пойдет.

По поводу «Чьей планеты»: Ж. Браун предложила, чтобы планета была Землей (соответственно майор — житель иной планеты). Я не вижу, чтобы это ухудшало рассказ. А Вы?

Мы пишем сказку. Черновик уже написали. Будем ли писать чистовик, не знаю. Главная работа — кино. Только что уехал от меня режиссер из Таллинфильма. Замучил меня и загонял, но добился, чтобы я перевел действие «Отеля» из зимы в лето. Бр-р-р! Ну и работенка! А Вы еще смеете мне что-то там гундеть насчет «заказной работы», «заданной тематики» и пр.

1.03.78

Присылайте переделанную «Чью планету». Собственно, можно прислать только сами вставки-переделки, а уж мы тут впишем. Спешить с этим особенно не нужно, но и тянуть это дело не след.

Между прочим, Ваша повесть понравилась Ж. Браун. По-моему, она даже подумывает, а не включить ли ее в сборник. Главное ее возражение совпало с моим: концовка не соответствует разгулу фантазии. Я ей

посоветовал придумать другую и предложить Вам. А я, к сожалению, придумать другую концовку не могу.

Еще раз между прочим: если будет возможность засадить «Чью планету» в какой-нибудь журнал — обязательно засаживайте. Сборнику это не помешает.

18.03.78

Дорогой Боря!

Вы молодец. «Чья планета» стала даже лучше. Теперь это рассказ першего классу! А, может быть, даже — люкс!

В ближайшее время я передам его Жанне Браун, и можете быть спокойны: будет сборник — будет в нем ЧП (в смысле — «Чья планета»). Надо сказать, сборник собирается довольно туго. Братья-фантасты много кричат о том, что им негде печататься, а когда дело доходит до дела, выясняется, что в закромах пусто, либо одна прошлогодняя солома. Впрочем, пять хороших рассказов уже есть. Повесть надо! Гвоздевую!

4.04.78

Рассказик очень милый. Серия такого рода может вполне получиться. Но я не совсем понял, что же там происходит со временем, в этом табачном отсеке. Вы там что-то лепечете насчет замедления времени. Это — чушь собачья. При чем тут замедление времени? Скорее уж, в этой камере время передвинуто вперед, так что все предметы, туда попадающие, выглядят так, как выглядели эн часов назад. Причем, только ПРЕДМЕТЫ, людей это не касается, иначе инспектор вместе со своими штанами оказался бы в прошлом и ничего бы не соображал... А робот, кстати, предмет или разумное существо? Гм... Да и это объяснение, пожалуй, не проходит: чтобы камера была пуста, надо передвинуть время (вместе с табаком) так далеко вперед, чтобы в отсеке настал момент, когда табак туда еще не загрузили. А что было в это время со штанами инспектора? Может быть, их еще и не надевали даже? Н-да... Напутали Вы что-то, голубчик. Извольте распутать. В хохмах такого рода главное — безукоризненная точность посылки.

29.09.78

И рад бы удовлетворить Ваше вполне законное любопытство, да сам толком ничего не знаю.

По поводу премии за «Пикник». Да, есть такой слух. Парнов, член нашей делегации на форуме фантастов в Дублине, рассказывал что-то Аркадию по приезде в Москву. Но поскольку оба были под газом, то ничего понять теперь нельзя. Боря Заикин, впрочем, со слов Эрика Симона написал мне, что «Пикник» получил вторую премию за лучший НФ роман года на ежегодном конкурсе памяти Джона Кэмпбелла. Первый приз получил Ф. Пол за роман «Звездные ворота», а третий — Дик. Вот все, что я могу на эту тему сообщить. Поскольку Парнов тоже говорил о какой-то «второй премии», то мы не особенно-то и интересуемся. Мало ли на свете вторых премий. Честь не велика, а денег и вовсе не полагается.

Насчет «Сталкера» опять ничего толком не известно. Как я Вам уже писал, Тарковский в апреле подхватил инфаркт. Теперь он, по слухам, оклемался и — по слухам же — даже снимает фильм. Во всяком случае, в Москве его нет, он в Таллине. Не думаю, чтобы фильм был запрещен. Мы бы, наверное, уже знали об этом. Сам же Тарковский нам об этом, наверное, бы сообщил.

Зато могу сообщить Вам с полной точностью, что фильм по «Отелю» таки снимается на Таллинфильме, и я, возможно, даже туда днями смотаюсь посмотреть как и что.

9.01.79

«Волны» в писательской деятельности — это факт. Нас двое, поэтому мы эти волны дружно гасим: съехались, деньги на билет потрачены, а то и на путевки в Комарово — окупать надо! Какие уж тут волны. Пять страниц первого черновика в день — умри, а дай. Первый наш «тяжелый» роман был «Попытка к бегству», а потом их стало навалом. И «Улитка», и «Малыш», и «Парень», и «Сказка о Тройке»... Всех не перечислишь. Писать, знаете ли, вообще занятие не из приятных. Впрочем, Вы теперь это, слава богу, знаете.

11.04.79

«Подлый треп» ходит, видимо, по всему Союзу. На этот раз удалось даже установить источник — верхи Госкино. Что заставило большого начальника на одном из расширенных заседаний ляпнуть этакое — неизвестно. То ли добросовестное заблуждение, то ли желание подкузьмить таким образом Тарковскому, фильм коего был тогда (декабрь 78)

как раз на подходе. Так или иначе, в январе вспыхнули слухи — сначала в киномире Москвы, потом по всей Москве, а потом поползло и по всей стране. В марте вот докатилось и до Вас. Сейчас в Москве и Ленинграде слухи уже затихли и наступила тишь-гладь, но с периферии нет-нет, да и сообщат, что-де все, уехали голубчики, тю-тю. Плюйте в глаза и не давайте утираться.

В остальном же все ОК. Тарковский закончил фильм, говорят, хороший. В ряде газет появились наши имена в благожелательном духе. Так что — живем.

Сочувствую Вашим бедам. Но все-таки старайтесь не бросать работу. В конце концов — «единое счастье — работа...».

17.07.83

Дорогой Боря!

Ваш рассказ более всего напомнил мне мастерски рассказанный, неприличный, но в общем-то неостроумный анекдот. Слушаешь, заливаясь хохотом (рассказчик — мастер!), с некоторой неловкостью поглядываешь на псюс-десь-дам, а потом спохватываешься: что же тут, собственно, было смешного? Понимаете, Боря, Вы — мастер, Вы — умелец, у Вас — стиль и манера, какой более ни у кого в России нет. Но (такое у меня впечатление) Вы так и не научились пока отличать хороший сюжет от среднего. Это поразительно. Вы второй в моей коллекции ТАЛАНТЛИВЫЙ писатель, постоянно путающий (когда речь заходит о сюжете) божий дар с яичницей. Ну как может человек со вкусом строить повествование на чисто казанцевской идее оплодотворения Земли, да еще припутывать сюда зачем-то хроноклазм? Или это пародия? Для пародии слишком громоздко. Хотите показать читателю гигантский Никс Олимпика? Но зачем? Чем он, бедняга, виноват? И вообще к чему такой эксгибиционизм?

А ведь написано-то мастерски! И смешно, и изящно, и образно, и лаконично, и — ни о чем. Уму непостижимо!

Вы бы хоть обсуждали свои сюжеты с кем-нибудь, что ли. Ведь написали же Вы «Чья планета?», и «Рыбу любви» Вы написали — блестящие, точеные сюжеты... Или, скажем, «Дом»... И вдруг — такая бодяга. Да еще, видите ли, ему этот рассказик особенно важен. Чем? Чем он Вам ОСОБЕННО важен? Извольте написать, а то ведь я ничего не понимаю.

Что касается Тихова, то это была любопытная фигура. К сожалению, в те поры я-то был полный идиот, ничего не понимал и не воспринимал. Остался у меня в памяти этакий кино-ученый — интеллигентнейший старикашка, весь в белом, в белой же академической ермолке, с белой эспаньолкой, все его вокруг боятся, и любят, и смотрят на него как на бога, а он берет нас, первокурсников, с собою на наблюдения Венеры (это была последняя из его идей — снимать спектры мерцания заходящей Венеры, используя земную атмосферу как гигантскую призму)... да, так вот, берет он нас на наблюдения, сидим тихонько в темном уголку башни, он колдует у телескопа, Ваня Бухман (был у него такой на подхвате, мастер спорта по спортивной ходьбе, сын ссыльного профессора Бухмана, который — профессор, а не сын — на территории обсерватории построил гелиожилище, гелиопогреб и гигантский зеркальный параболоид для лечения страждущих концентрированными солнечными лучами... однажды этот параболоид самовозгорелся... впрочем, это длинная история)... так вот, Ваня Бухман ему ассистирует, и что-то там у них не ладится, заедает там у них что-то, и старик вдруг орет на всю Алма-Ату: «Ну что ты, Ваня, вертишься, словно у тебя шило в жопе!»... Академик. С европейским именем. Член Верховного Совета КазССР. Это, помнится, произвело на меня огромное впечатление.

И еще помню, как справлялось там его семидесятилетие. Очень, кстати, скромно. Только свои. Человек пятнадцать: парочка родственников, пяток научных сотрудников обсерватории, несколько практикантов, шофер, садовник и повар, испекший торт с кремовой надписью: «Гавриилу Адриановичу от влюбленных мОрсиан». (Вот вопрос: почему так скромно? И почему вообще академик, один из основателей и столпов Пулковской обсерватории, ученый с европейским, повторяю, именем оказался вдруг в Алма-Ате директором занюханнейшей обсерватории? Правда, в те годы многие там оказывались... Но ведь он был, повторяю, членом Верховного Совета КазССР, он всегда носил красный флажок в петлице... Странно, странно...) Так вот, там я, будучи практикантом, надрался как зюзя, произносил какие-то витиеватые тосты, на каковые Г. А. ответил академически кратко: «За хорошеньких девушек и за пьяных студентов!»

Вот и все мои воспоминания. Наука тогда меня интересовала гораздо больше, чем люди науки, кто бы они ни были.

Надо сказать, работ Тихова я почти не знаю. Классическими признаны полученные им на 26ти-дюймовом телескопе Пулковской обсерватории фотографии Марса в начале века. Именно сезонные измене-

ния Марса на этих фотографиях и толкнули его потом к астроботанике. Он много занимался спектроскопией. Но ничто из сделанного им в учебники не вошло, и имя его встречается только в историческом плане, что-нибудь вроде: «Метод призменного спутника Тихова... состоит в следующем... в настоящее время применяется редко». Однако же в двадцатые и тридцатые годы Тихов был несомненно человек в авторитете, а потом что-то произошло...

Вот и все о Тихове.

Я рад, что Вы не сдаетесь и продолжаете работать. Жду Ваш роман. И будьте, пожалуйста, попридирчивее к своим сюжетам.

24.08.83

Дорогой Боря!

Не морочьте мне (и себе) голову и не втягивайте меня (и себя) в теоретические споры. «Чья планета?» — это рассказ о том, как на одну планетку претендовали разные цивилизации, а пока спорили, планетка сама вышла в космос. «Дом» — это история живого дома, который принимает посильное участие в жизни своих жильцов. А вот о чем Ваша «Никс Олимпика»? О том, что жизнь на Земле произошла вследствие совокупления Марса с Землей в условиях хроноклазма? Оргазм с хроноклазмом — и более ничего! Я ругал Вас не за то, что в рассказе нет ИДЕИ — да гори она огнем. Я ругаю Вас за отсутствие сюжета! И в «Каштанке» есть сюжет, и в «Колобке» есть сюжет, а в Вашем «Оргазме» — нет. Есть довольно произвольный набор событий (в том числе и смешных), нанизанных на казанцевскую бредятину. И никакого противоречия в моих словах нет. Да, я хихикал, пока читал, да, я наслаждался (местами) и образностью, и языком, да, эмоции мои работали, но... Но! Я, как и всякий нормальный читатель, ждал: как автор выберется из созданной ситуации? И — пшик. Чушь. Не смешно. При чем здесь?.. Зачем ему понадобилось?.. Экая ерунда. Вот как развиваются читательские эмоции по мере чтения. Представьте себе, что «Чья планета?» обрывается в том месте, где три (или уже четыре?) экипажа спорят, кому ставить бакен, и дальше идет: «Бел Амор проснулся и уставился в потолок. Ну и чушь же снится после хорошей выпивки, подумал он». А? Что, блевать побежали? То-то же. Заметьте, что стоит у рассказа отбросить пяток последних строк и заменить их какой-то чушью, чтобы рассказ сразу же стал ни о чем! Мгновенно!

Вы хотели написать о писателе-фантасте? Что ж, это мысль. Гор всю жизнь пытался это сделать, но так ни хрена и не сумел. Пишите. Дай бог. Но за основу возьмите «Рыбу любви». Очень интересно может получиться. Используйте такой прием: герой Ваш пишет, и его затягивает в им же написанные обстоятельства. Правда, мы что-то вроде этого использовали в нашей последней повестухе, но там этот прием почти не виден, а Вы сделайте его стержнем. При Вашей фантазии, да при Вашем стиле, да при Вашем желании похулиганить — ах, какую повестушку можно было бы сделать! А в самые критические моменты появляется редактор и сурово говорит: «Нет, это не пойдет... это вы уберите...» — и наш герой остается жив, хотя через задний проход его уже проникли особые разумные существа, цивилизация коих имеет целью превратить все говно на свете в конфетку...

И помните: я жду от Вас великих дел. Вы еще не только не написали Вашего Магнум Опуса, но и не приступили к нему.

11.05.84

Дорогой Боря!

Спасибо за письмо, исполненное оптимизма. Оно живо напомнило мне письма брата моего и соавтора в те благословенные годы, когда мир был молод и фантастика расцветала пышным цветом. Тогда письма его тоже были бодры, энергичны, полны перспектив и боевого задора. А сейчас он вообще норовит больше звонить по телефону, а не письма писать.

Вообще, мне кажется, что пишете Вы все-таки мало. Какого черта? У Вас норма должна быть сейчас — шесть рассказов или одна повесть в год. Где все это?

У нас сборник наконец вышел — семинарский. «Синяя дорога» называется. Тот самый, откуда выкинули повесть Прашкевича, литобзор Вл. Гакова и рассказ «Чья планета?» Штерна. Так-то вот. Сборник от этой ампутации лучше не стал.

Интересно, удастся ли мне когда-нибудь, пусть хоть в глубокой старости, выпустить сборник лучших произведений советской НФ, как я его себе представляю? Вряд ли. А жаль. Штерну там нашлось бы местечко. Но, между прочим, не такое уж и большое. «Произв. рассказ № 1» да «Чья планета?» — пожалуй, пока и все. Или я что-нибудь забыл? «Рыбу любви» помню и люблю, но ведь это не фантастика.

Писать надо больше, вот что!

13.03.85

Дорогой Боря!

Вообще-то я писать Вам не собирался — времени нет совершенно,— но вот приспичило.

ЗАДАНИЕ. Пришлите мне немедленно список всех Ваших произведений, опубликованных в ЦЕНТРАЛЬНОЙ прессе. Главным образом, я имею в виду Ваши рассказы в ХиЖе, но, может быть, и еще где-нибудь что-нибудь было, а я пропустил (или прозевал).

ОБЪЯСНЕНИЕ. Это мне надо для осуществления некоторых моих замыслов.

Теперь о Ваших одесских рассказах. По-моему, это удачно. Все удачно. И мысль хороша: этакая живительная каша фантастики и реализма. И исполнение (пока) вполне на уровне. Я тут сгоряча даже и «Рыбу любви» раскопал в анналах и перечитал — вполне ложится в замысел и даже ОЧ. ХОР. Поздравляю с находкою. Жду «Галатею». Что это еще за «Галатея» такая? Почему не знаю?

Прочитал в ХиЖ про фаллос. Нет, Вы все-таки молодец. Рассказ, как это ни странно, мне понравился (в рукописи — не очень). Еще поразительнее, что он понравился многим моим друзьям, среди коих есть и весьма суровые ценители. Меня спрашивали: «В ХиЖе... твой что ли написал?» И я не без гордости говорил: «Ага». А мне говорили: «Хорошо... Ей-богу, хорошо... Давно такого удовольствия от чтения фантастики не испытывал».

Предисловие я Вам, скорее всего, напишу, хотя и не люблю этого дела. А вот что я Вам напишу с удовольствием, так это рекомендацию в СП. Дожить бы только.

3.09.85

«Галатею» Вашу прочитал немедленно. Оч. хор. Штерн есть Штерн. Но какой дремучий дундук мог вообразить себе, что такую новеллу можно напечатать? Господи! Сколько же надо лупить человека по башке, чтобы он все-таки начал разбираться, что можно, а что нет? Впрочем, иногда лучше не разбираться. Более того, с точки зрения Большого Искусства — вообще лучше не разбираться и быть дремучим, как булгаковские герои-писатели. Тут так: или ты очень хорошо разбираешься, тебя печатают, но получается у тебя дерьмо, либо — ни хрена ты не понимаешь, ничего у тебя не берут, но зато пишешь ты здорово, для потомков. Истина посередине — как всегда неплохо устроилась между двумя крайностями.

Вашу зубастую ярость против сволочей можно только приветствовать.

Однако, бушевать Вы должны исключительно за письменным столом. Валяйте. А мы почитаем. И только так. Все прочие пути ведут в болото дрязг, взаимных доносов, скандалов, псевдополитической возни и т. п.

29.04.86

Пробовали ли Вы такие журналы, как: «Энергия»? «Изобретатель и рационализатор»? «Наука и религия»? Названия жуткие, но во всех этих журналах либо новое начальство, либо мои знакомые, либо и то и другое. Так что следует попробовать. Если решитесь, напишите мне. Я набросаю тогда коротенькую сопроводиловку. Глядишь, и будет толк. На всякий случай прилагаю рекомендательное письмо Станиславу Грачеву — главреду «Изобретателя и рационализатора».

В ХиЖ предлагать нам пока нечего. Будем иметь их в виду. Но вообще-то, следующая наша вещь (судя по всему) будет готова нескоро.

Надо сказать, журналы наши сейчас (в связи с безлимитной подпиской) оживились чрезвычайно. Предложения сыплются со всех сторон. Фантастика снова становится в моде. Не теряйте случая!

22.11.86

Делать прогнозы на год вперед, как известно, гораздо труднее, чем на век вперед. Особенно в переломные моменты истории. А мы, видимо, переживаем именно такой момент. Сейчас неясно даже, сохранится ли существующая тенденция.

Во всяком случае, не обольщайтесь, с одной стороны, и не теряйтесь, с другой. Сейчас время, когда ф-ку будут брать жадно самые разные журналы, причем — самую разную ф-ку!

5.05.87

Дорогой Боря!

Я получил Вашу книжечку. Спасибо!

Вот и еще один птенец оперился. Летите, голуби, летите...

Да книжечка-то какая хорошенькая! Прямо-таки покет-бук.

Поздравляю! Нехай не последняя!

Еще раз спасибо.

Всегда Ваш Б. Стругацкий.

29.07.87

«Обыскав своих подвалов и шкафов перетряся», я обнаружил кучу Ваших рукописей. Практически все они опубликованы. Только две рукописи под сомнением: «Рыба любви» и «Дело — табак». Если они нужны, могу выслать. А больше у меня ничего нет.

В чем дело? Сядьте и напишите. Вы же молодой человек! Сюжеты и идеи должны кипеть в Вас, как газировка!

8.09.89

Я прочитал «Шестую главу». Вы — молодец! Очень хорошо. Пять баллов. На мой взгляд, это даже лучше «Динозавра», а ведь «Динозавр» — это вершина! Замечаний, сколько-нибудь существенных, у меня нет. Кое-где Вы в своих шуточках опускаетесь до уровня КВН, но это, в конце концов, не такой уж и плохой уровень. А в остальном — все ОК.

Разумеется, я отнесу эту вещь в «Звезду». И разумеется, «Звезда» от нее уклонится. Скорее всего. Беда в другом: если она даже и возьмет вещь, то, говоря реально, повесть выйдет не раньше мая-июня, а скорее всего — июля следующего года. (И даже это утопия — год уже разверстан, туда можно втиснуть рассказик или статью, но трехлистовую повестуху — вряд ли.) И тем не менее повесть я им отнесу. Я буду приучать их к мысли, что хорошую фантастику надо брать с колес, если они не хотят остаться с носом.

Однако рассчитывать надо на другое. Я намерен предложить эту повестуху в подборку к «Динозавру» в Ваш сборник, который должен (по плану) выйти в марте—апреле в кооперативе Коли Ютанова. Во-первых, это вполне реально, а во-вторых, это, пожалуй, самый быстрый путь из всех, которые я могу сейчас себе представить. Если Вы не возражаете, скажите «да» Коле Ютанову, когда он будет Вам звонить.

«Рыбу любви», разумеется, я тоже отнесу в «Звезду». Жалко, что подборка «Одесские рассказы Б. Штерна», видимо, так и не осуществилась.

1.03.92

Я полагаю, будет правильно, если вообще все рассказы о Бел Аморе скопятся у меня. Дело в том, что ОТДЕЛЬНО Ваш рассказ про говно печатать, по-моему, невозможно — это будет просто беззастенчивый эпатаж и более ничего. А вот в некоем общем сборнике Штерна, где будет множество разных сочинений да еще плюс к тому — полная подборка

рассказов о Бел Аморе,— в таком вот сборнике «говно» Ваше будет смотреться совсем иначе и почти прилично («Сойдет за мировоззрение»,— как говаривал один мой знакомый режиссер). Так что — организуйте. Повезет — пустим такой сборник в этом году, не повезет — в следующем. (А если бы Вы написали ЕЩЕ парочку одесских фантастических рассказов, так вот это было бы самое ТО.)

ИТАК: организуйте для меня сборник Штерна, куда войдут фантрассказы его по Вашему выбору, но обязательно ВСЕ рассказы про Бел Амора и ВСЕ рассказы про Одессу (хорошо бы добавить туда же и что-нибудь новенькое). Общим объемом этак на 12–15 а. л. (Можно в виде рукописей, можно и в виде выдирок из журналов-антологий.) Договорааванса пока не будет: я должен все-таки понять, на каком я свете, но через 6–9 месяцев все, я полагаю, прояснится окончательно, и уж тогда!..

Автобиография вполне мила. Мы ее сунем либо в ютановский сборник, либо в тот, который Вы сейчас же начнете собирать.

5.07.92

Издательские дела — повсеместно — швах. Планы сворачиваются или как минимум меняются: оказывается, книжно-торговая мафия не желает брать (оптом) советских фантастов — дай им, гадам, иностранщину и вообще лучше не фантастику, а порнографию. Поэтому мое издательство, отложив выпуск намеченных хороших книг, срочно гонит всякие там «Империи пауков», чтобы заработать и запастись деньгами на будущее. Нечто аналогичное происходит и с Ютановым. Видимо, нам уготованы муки и скорпионы и в условиях рынка тоже. Увы.

Держитесь.

Всегда Ваш Б. Стругацкий.

Александр МИРЕР

НЕПРЕРЫВНЫЙ ФОНТАН ИДЕЙ*

Я познакомился с Аркадием Натановичем Стругацким в 1965 году. Это было время бури и натиска в фантастике, это было сразу после того, как вышла повесть «Трудно быть богом». Сейчас уже трудно представить, что мы жили без Лема, Бредбери, Азимова и без Стругацких. Сегодня нам кажется, что Стругацкие были всегда, и вот уже немолодые люди говорят мне: «А я вырос на Стругацких!» И когда я спрашиваю: «Извини пожалуйста, но тебе за пятьдесят, как ты мог на Стругацких вырасти?», он совершенно спокойно отвечает: «Они меня перевернули!»

«Трудно быть богом» было что-то вроде разорвавшейся бомбы. Хотя мы тогда уже читали «Солярис» и «Непобедимый». Тогда два имени тотчас же встали рядом: Станислав Лем и братья Стругацкие. Я очень хорошо помню, как носился тогда по знакомым и всем кричал: «Говорил я вам, что «Страна багровых туч» — это заявка на больших писателей? Нате — читайте!» Под этим впечатлением я, наверное, фантастику писать и начал. В некотором роде я «крестный сын» повести «Трудно быть богом».

Начав писать фантастику, я довольно быстро попал на семинар — как это ни смешно звучит — «Молодой гвардии». Тогда там была прекрасная редакция фантастики под руководством Сергея Жемайтиса, который, кстати, первым стал публиковать Стругацких массовыми тиражами, несмотря на топания ногами, партвзыскания и разгромы. На этом-то семинаре я и познакомился с Аркадием Натановичем. На семинаре в то время была удивительная свобода, причем все выступали в

* **Источник:** Измерение Ф (Л.).— 1990.— № 3.— С. 2–3.

своем роде — несли те глупости, которые они хотели. Аркадий Натанович появлялся там довольно редко, потому что — я уже понял — у них тогда было самое плодотворное время. В те годы они выдавали по две вещи в год, что абсолютно невероятно — как они ухитрялись это делать, я совершенно не понимаю.

Тогда я воспринимал его: «Это же сам Стругацкий!», «Это же братья Стругацкие!» — то есть уже в то время для нас это были классики, для меня-то уж во всяком случае. Спустя годы, когда мы с Аркадием Натановичем подружились, он вспоминал, что меня в те годы он вообще терпеть не мог. Ни я, ни он уже не помним почему, но скорее всего потому, что я позволял себе, будучи неофитом, резко и критически выступать и в том числе поспорить с Иваном Антоновичем Ефремовым, которого, наоборот, Аркадий Натанович уважал как мэтра.

Надо сказать, что, очевидно, главная черта Аркадия Натановича — это рыцарственность. За много лет я как-то не сумел подобрать лучшего слова. Он удивительно мягкий человек, несмотря на внешние всевозможные офицерские штучки и приемчики. Иногда даже его мягкость доходит до анекдотов. Я не буду называть никаких имен, но несколько лет назад произошел такой замечательный случай: в одном городе вышел фантастический роман одной дамы. На каком-то из титулов этого романа было гордо написано: рецензент Аркадий Натанович Стругацкий. Когда я начал этот роман читать, у меня волосы зашевелились на голове — это было, мягко говоря, плохо. Но это еще не все. Спустя некоторое время приехал оттуда наш общий приятель с воплем: «Ну что это такое! Он ее рецензирует, он дает на эту дрянь положительную рецензию, а она, выступая на каком-то собрании клуба любителей фантастики, начинает поливать Стругацких грязью!» Я отвечаю, что да, мол, некрасиво, но всякое, знаешь, бывает... Он говорит: «Нет, этого не может быть! Она схитрила — рецензии не было! Все это совершенно ясно!» Пошли мы к классику и задали лобовой вопрос: «Говори — писал рецензию на это?» Он отвечает совершенно уверенно: «Нет, не писал!» Ну, сидим мы, разговариваем на всякие темы, вдруг Аркадий Натанович встает и удаляется в свой кабинет. Приходит он очень смущенный, с какой-то бумажкой в руке и говорит: «Знаете, я писал рецензию...» — «Что же ты! — завопил наш общий друг.— Почему ты это сделал?!!» — «Ну вы знаете, она очень пожилая женщина, никто ее не хотел публиковать, и мне стало ее жалко...»

Причем этот случай не исключение — это образ жизни. У Аркадия Натановича как-то в сердцах сорвалось: «Меня всегда обкрадывают» —

это истинная правда! Потому что он не дает себе труда защититься, ему это унизительно. Он всегда защитится от хулиганов — то есть при необходимости бандита и убить может. Но от скверного человека у него защиты нет — он открыт.

Есть такая гнусная вещь как литературный табель о рангах. По этому табло идет абсолютно другой счет... скажем так: фантомный счет. По счету миллионов людей, братья Стругацкие — это огромное явление в советской и, частично, в мировой литературе. То есть я лично считаю, что они, как минимум, в числе пяти лучших прозаиков второй половины XX века. Это я осторожно говорю, может быть, не пяти, а трех. Но по фантомному счету табели о рангах братья Стругацкие — ничто, они — нуль. Причем тут же счет идет совершенно дебильный: «А было ли поздравление по поводу столького-летия в «Литературной газете»?», «А какими орденочками их наградили?», «Лауреат каких там литературных, государственных премий?», а уж вторично вытекающий отсюда счет: «А какие тиражи, какой гонорар?»

И всегда, когда братья Стругацкие появляются в литературном кругу, или заходит разговор о них, создается очень странное перекошенное поле напряжения. Допустим, идет какой-то литературный банкет, собрались почтенные люди, все сидят надуваются и отдуваются. Внезапно какой-то человек из другого мира — вроде меня — начинает им объяснять, что Стругацкие — это чрезвычайно значительное явление в нашей литературе, причем он это говорит как что-то само собой разумеющееся. И вот здесь сейчас же все начинает напрягаться, перекручиваться, лица становятся фантомными, какие-то гримасы на них странные выползают, улыбки абсолютно неестественные, как из пластилина налепленные на рожи. Почему? Да потому что, с одной стороны: «Как же так — какая-то гнусная фантастика пользуется популярностью и ее защищает несомненно интеллигентный человек, который сидит за нашим столом и, очевидно, сидит на каком-то основании?» Во-вторых, «А чего о них говорить, когда в «Литературной газете» за последние годы о них ничего не было?!». А с другой стороны «Избранные сочинения» почтенного автора, сидящего напротив меня, почему-то в библиотеках никто не спрашивает, чистые формуляры, а книг Стругацких давно уже нет — растащили...

Все это чудовищно сложно — больная советская жизнь выходит здесь на какую-то экстремальную точку. Потому что не только уродство властных структур и указаний чувствуется, а еще и эти наглядно искалеченные души — вот они, сидят за столом. И для меня всегда было

огорчительно, что Аркадий Натанович любил ходить в ЦДЛ, потому что мне, например, это было ни к чему. А вот ему — «к чему». В конце концов я понял, почему он туда ходил, волоча за собой вот это искаженное поле, как шлейф. Заметьте, как Стругацкие написали в «Хромой судьбе» — ведь эта вещь автобиографичная со стороны Аркадия Натановича. Он ходил общаться с интересными людьми,— и все!

И еще одна замечательная черта есть у Аркадия Натановича. Я упоминал рецензию на роман пожилой дамы — это, казалось бы, из сочувствия, да? А не совсем так: я практически не слышал, чтобы Аркадий Натанович говорил о прочитанных вещах плохо. Для того, чтобы добиться от него какого-то критического мнения, надо его очень сильно раскачивать, надо уходить, возвращаться к разговору опять, снова... наконец он с крайней неохотой скажет: «Да, это в общем-то плохо, это лучше бы и не печатать». Но зато каково его счастье, когда ему в руки попадает нечто хорошее. Он всем начинает об этом рассказывать, и кому нужно, и кому не нужно: «Вот, знаешь, мне принесли такую вещь! Так замечательно, так здорово!» За многие годы нашего знакомства таких вещей попадалось в общем-то мало, но его радость всегда была неудержимой.

Часто спрашивают, как Аркадий Натанович и Борис Натанович работают вместе — они что, съезжаются на станции Бологое?

В литремесле, как и в любом другом, имеются свои трудности. Самая главная трудность — то, что это абсолютно индивидуальное производство, в котором нет ОТК. Одна из наиболее важных составляющих любого творческого человека — это способность к самокритике. Смотрите, что получается: Стругацкие — невероятно плодовитые писатели, в 60-е годы они выдавали книги на-гора одну за другой, одну лучше другой, потому что внутри этого дуэта совершенно замечательное распределение ролей. Одна из черт характера Аркадия Натановича — это непрерывно работающее воображение. Он непрерывно изобретает. У Козьмы Пруткова было: «Если у тебя есть фонтан — заткни его». Аркадий Натанович как раз и есть фонтан, который никто «заткнуть» не мог никогда. И когда они стали работать вместе, то оказалось, очевидно, что Борис Натанович именно та критическая составляющая, которая фонтан затыкает в ту самую минуту, когда это нужно: «Стоп. Это мы записываем».

Эта черта Аркадия Натановича непрерывного генерирования идей доставляет окружающим его массу удовольствий. Он может увлекательнейше сымпровизировать, к примеру, о своем военном прошлом. Я помню эти рассказы — совершенно замечательные — он в них все-

гда выступал в каких-то смешных ролях, отнюдь не героических. Например, имелся цикл устных рассказов, как Стругацкого заставили работать адъютантом и поэтому ему пришлось ездить на лошади. Соответственно, его лошадь скидывала с себя, соответственно, она обдирала его о ветви деревьев. Когда он, несчастный, пересел на одноколку, то жеребец, на котором он ехал, бросился через забор, потому что за забором была кобыла... и одноколка повисла на заборе вместе со Стругацким. Когда он дежурил в военной школе — в то время всем офицерам при дежурстве полагалось носить шашки и салютовать ими — то на утреннем рапорте он едва не зарубил своего начальника школы. А когда Стругацкий удалялся в самоволку, то последствия были совершенно сокрушительные... Какие-то из этих историй, очевидно, были трансформированы из действительных происшествий, а какие-то — блестяще и разветвленно выдумывались на ходу.

Непреоборимое писательское начало Аркадия Натановича как раз и чувствуется в этом фонтане идей, который всегда работает. Может быть, из-за этого Аркадию Натановичу немедленно становилось неинтересным то, что уже написано. Я не знаю, как Борис Натанович, а Аркадий Натанович всегда любит свою последнюю вещь. Какое-то время он ее любит — до тех пор, пока не появляется новая. Но она ему уже не интересна — потому что впереди новое, надо еще что-то выдумывать, и сейчас вот идет эта выдумка. Между прочим, по-моему, эта черта — обычно гибель для творческого человека. Скажем, из-за этого Лем перешел на рецензии на ненаписанное: абсолютно сжато излагаются сюжет и главная мысль, и все: выдумано, и не буду я с этим возиться! А благодаря дуэту Стругацкие смогли все это дело реализовать!

Это и есть наше с вами счастье — читать этих талантливых писателей!

Юрий ЧЕРНЯКОВ*

Первый раз я с ним познакомился, как и все. Первый раз я с ним познакомился в тысяча девятьсот, как это ни странно, только шестьдесят втором году, когда в «Искателе» прочел отрывок «Суета вокруг дивана». Это мое первое знакомство со Стругацкими. Мне безумно понравилось вот это вот ерничество. И когда я сказал своим друзьям,—

* **Источник:** 1995, неопубл.

«Как? Ты не знаешь Стругацких?» — мне дали сборник «Новая сигнальная», где «Далекая Радуга». Я прочел, я восхитился, мне безумно понравилось. Там Леонид Андреевич с его «можно, я лягу?». И — «вино местного разлива — странно, а мне нравится». Потом я прочел... нет, «Страну багровых туч», как ни странно, я читал намного позже. Ее у меня просто не было. Это было мое первое знакомство с братьями Стругацкими.

Второе знакомство состоялось в тысяча девятьсот семьдесят не то седьмом, не то восьмом году, или семьдесят шестом, когда мой коллега в больнице на один из своих дней рождения пригласил Аркадия Натановича Стругацкого с супругой. И вот тогда я впервые увидел Аркадия Натановича. Тогда он рассказывал массу всевозможных историй. После этого я смог говорить, что знаю лично Аркадия Стругацкого. Надо сказать, что если о первом знакомстве он знал так же, как он был знаком и со всеми остальными читателями, то про второе знакомство он совершенно не помнил. Кого он видел на чьем-то дне рождения!

И третий раз мы с ним познакомились тогда, когда он приехал к нам в больницу. И я был его лечащим врачом. И вот за эти самые две недели, которые он пролежал в больнице, у нас возникла, у меня, по крайней мере, совершенно непреодолимая тяга к Аркадию Натановичу. Я приходил к нему в шесть вечера, после обхода, садился на соседнюю кровать, он в боксе был один, и мы беседовали. На самые разные темы. Я ему приносил несколько английских детективов, которые он читал...

После того, когда он выписывался, а выписывался он в середине августа, а двадцать восьмого августа у него день рождения. Когда он выписывался, я ему прямо сказал: «Аркадий Натанович, я с истории болезни списал Ваш телефон, и прошу Вашего разрешения звонить, я Вам честно говорю, что надоедать не буду». Он говорит: «Пожалуйста». Двадцать восьмого числа я ему позвонил, поздравил его с днем рождения. Где-то еще через месяц я ему позвонил и сказал, что я по нему соскучился. Он сказал: «Ну что за проблемы? Ты меня пригласи, и я к тебе приеду». Я тогда жил один. Мы с ним договорились. И в одно из воскресений открылась дверь в коммунальной квартире, вошел Аркадий Натанович, держа под мышкой стопку журналов «Знание — сила» с «За миллиард лет до конца света»: «Это я тебе в подарок принес». Мы с ним просидели тогда часов с трех — «Вообще я пришел к тебе, как врачу» — я его сначала посмотрел... А ушел он — я помню, что мы с ним торопились, чтобы он успел на пересадку. Дальше история, честно говоря, умалчивает — у нас разный совершенно рост — мнение об этом

эпизоде. Я абсолютно был убежден, что я шел, цепляясь за него, он категорически утверждает, что он шел, опираясь на меня. С этого момента у нас началось... Я сначала приходил, смотрел его — где-то у нас было время на медицинский «чек-ап», а потом начинались разговоры. Вот как начинались эти разговоры — увы, я не помню. Я только знаю, что каждый раз, идя, грубо говоря, с визитом к больному, что много времени, в принципе, не занимает, я знал, что уйду я отсюда в одиннадцать, в двенадцать... Тут масса всевозможных нюансов. Плюс к тому, что я оказался, во-первых, хорошим врачом для него, с минимумом ограничений, с минимумом авторитарного давления врача на больного... Наши взаимоотношения врача с больным. Абсолютно по российскому неприличному принципу: ты начальник — я говно, я начальник — ты говно. Когда я осматривал Аркадия Натановича как лечащий врач, я мог делать с ним, все что угодно. Заканчивается «чек-ап», роли мгновенно менялись — он меня мог растирать, как хотел — и, надо сказать, делал это, не стесняя себя ни в чем. От него я научился стараться не говорить банальностей, от него я научился слушать, от него я научился, если возникают какие-то вопросы, не задавать их сразу, а сидеть, обязательно откладывать — половина вопросов потом отпадает. От него я получил столько интересного...

Вы знаете, что Аркадия Натановича уже давно зовут «сэнсей»? Дело в том, что я Аркадия Натановича начал называть «мэтром». Для меня он был мэтром. Я в это вкладывал свое собственное понятие. Ну, и, как правило, ведь откуда возникают клички, прозвища, аббревиатуры всякие?.. С тем, чтобы достаточно часто не повторять обращение к человеку: «Аркадий Натанович, Аркадий Натанович, Аркадий Натанович...» Долго, длинно...— мэтр. Надо сказать, что он довольно быстро воспринял это обращение. За все наше двенадцатилетнее общение я ни одного раза на «ты» не назвал. Всегда — или «Аркадий Натанович», или «мэтр», а потом, когда я прочел «Пионовый фонарь», Кобо Абэ... в какой-то момент я заменил французское «мэтр» на японское «сэнсей» — учитель, наставник. И вот это оказалось самым точным. Это была абсолютно интуитивная догадка, но в последние годы Елена Ильинична говорила: «Алечка» — она называла так своего мужа, или говорила: «Вот, сэнсей...», не мне — вот мы сидим, она Маше что-то говорит: «Ты помнишь, как сэнсей говорил...» Он стал сэнсеем. Несколько раз я слышал, как Володя Михайлов обращался к нему: «Аркашенька, сэнсей...» Вот это то, что я привнес в эту семью...

В свое время как-то у нас с ним был разговор о том, вообще, как относится читатель к фантастике. Мне посчастливилось, совершенно

случайно, набрести на один образ, который Аркадию Натановичу очень понравился. Мы тогда сидели, и я ему рассказал историю, как мы с моей первой женой, были мы тогда студентами четвертого курса,— это шестьдесят четвертый — шестьдесят пятый годы, мы, после того как покатались на речном трамвайчике, пошли, я ее повел шиковать на все свои двадцать пять рублей — в «Гранд Отель», еще существовавший. Так вот, мы пошли в «Гранд Отель», шикарный зал, с женским оркестром, причем она пришла в тапочках, я был в нормальной студенческой грязной... и нас совершенно спокойно пустили. Это было днем, мы пришли туда пообедать, взяли не комплексный обед, причем денег нам хватило, даже с бутылкой сухого вина. Принесли, как обычно, классическую солянку, из которой я мгновенно повыуживал все маслины и тут же отдал своей пассии, чем, с моей точки зрения, заработал еще несколько очков в ее глазах, не признавшись в этот момент, что я их терпеть не могу. Для меня понятие «соленый фрукт» — тогда я еще не знал это слово, потом мне тот же самый Аркадий Натанович объяснил, что такое катахреза, и вот для меня это — катахреза. И я знаю, что людей, равнодушных к маслинам — «есть — есть, нет — нет»,— не существует. Люди делятся по отношению к маслинам на две диаметрально противоположные категории, как в «Приключении Гулливера» те, которые разбивают яйцо с острого конца или с тупого конца, есть люди, которые их обожают, и есть люди, которые их ненавидят. Середины нет. И вот я тогда сказал, что мое впечатление, что по отношению как раз к фантастике, наверно, читающий человек делится приблизительно так же, как по отношению к маслинам.

Ему очень понравилось это. Надо сказать, вообще, что люди, которые знали Аркадия Натановича, знают, кроме того, что это был блестящий мужик, бонвиван, почти энциклопедически эрудированный человек в тех областях, которые его интересовали. В этом отношении он был как Холмс, который, например, ненужными вещами свой «чердак» не загромождал. Были вещи, которые его мало интересовали. В частности, как ни странно, он был в этом плане безумно благодатный, как больной. Психологически это был абсолютно дисциплинированный человек, который от контакта с врачом ждал одно: он не ждал ни медицинского образования, как основная масса — «расскажи мне, что со мной?» — он говорил: «Меня это не интересует, я в этом ничего не понимаю, я себя плохо чувствую, я тебе доверяю, меня интересует мое хорошее самочувствие». Все.

— Как сказал Мольер, больному не становится легче, если он знает, как его болезнь называется по-латыни...

Правильно. В этом отношении он был полный последователь Мольера. Некоторые вещи его не интересовали, их он не знал. Он, конечно, был энциклопедичен, мы знаем его как эрудированного человека, как человека с абсолютным вкусом, как человека с абсолютным литературным... ведь он же обладал врожденной абсолютной грамотностью, почему в этом тандеме — Аркадий Натанович—Борис Натанович — за машинкой во время работы всегда сидел Аркадий Натанович. Не потому что Аркадий Натанович испытывал от этого гораздо большее удовольствие, чем Борис Натанович, и отпихивал его локтями от клавиатуры. Аркадий Натанович обладал абсолютной врожденной грамотностью. Ему в принципе не нужен был ни корректор, ни редактор русского языка.

Писатель, японист, критик... ведь он же был блестящий педагог... Приверженность Стругацкого-старшего к четким, исчерпывающим, до конца понятным формулировкам была одной, по-моему, из его совершенно имманентных черт. Кстати, вот когда он работал, мне два раза посчастливилось сидеть с ним над моими рукописями. В основном он требовал одного: чтобы описываемые сцены, эпизод были предельно ясны, были видны. Вопросов «кто говорит?», «что говорит?» «где стоит?», «почему он вышел из угла?», «а когда он у тебя в этот угол попал?» была масса. Когда пишешь, вообще занят своими идеями, мыслями, которые кажутся тебе уникальными, интересными и так далее, и вроде бы на эти мелочи внимания на обращаешь. И он всегда говорил, что без этого настоящей, хорошей литературы не бывает. Читателя нельзя ставить в положение, когда он о чем-то должен догадываться. И, наверное, поэтому безумно трудно переводить их произведения на визуальный ряд.

— Во всяком случае, должен быть режиссер талантом не ниже... А как только режиссер талантом, так сказать, сравним, то получается...

Получается «Сталкер». О «Сталкере» Аркадий Натанович неоднократно говорил: «Это вещь Тарковского». Лично я сам слышал в «Доме кино», когда на одном из семинарских просмотров присутствовал Аркадий Натанович, был задан вопрос: почему вещь называется «Пикник на обочине», когда она так отличается от повести. На это Аркадий Натанович сказал: «Это произведение не наше. Это произведение Тарковского. Я его принимаю, я не считаю его испорченными Стругацкими, как вы, может быть, думаете, это просто другое произведение». Дело, наверное, даже не в гениальности режиссера, а как раз в этой предельной сценографичности их произведений. Как только вы прочитываете, у вас возникает абсолютно собственное видение всего, вплоть до порт-

ретов. Ричард Нунан у вас один, Арата Горбатый у вас другой, Вечеровский у вас третий...

Однажды он мне рассказывал, как они с Борисом Натановичем писали сцену с доктором Гоаннеком из «Жука в муравейнике», где этот самый, похожий на постаревшего американского школьника доктор в кепке с огромным козырьком... Аркадий Натанович долго копался в бумагах и вытащил маленький тетрадный листок на котором было: река, пристань, курорт «Осинушка», дачи, дача номер три, дача номер шесть, замаскированная под нужник кабина нуль-Т, маршрут Максима, как он переплывал реку и подплывает к доктору Гоаннеку... Как только создана эта вот, скажем, мизансцена, тогда можно начинать писать. Раньше — нельзя.

Может быть, и это тоже, в какой-то степени, льет воду на мельницу моих рассуждений о том, что Аркадий Натанович был, помимо всего прочего, блестящим педагогом.

Он обожал четкие формулировки, он обожал предельно ясные постулаты, определения, выражения своей мысли. Он всегда, кстати, требовал: «Неясно — спроси». Поэтому, в свое время, когда я получил в подарок рукопись «Хромой судьбы», после того, как я прочел, я был горд, что я нашел опечатку, вместо слова «эпитет» было написано «эпиктет», на что Аркадий Натанович мне сказал: «Это не опечатка, это другое слово: эпикте́т. Не знаешь?» — «Нет». И он мне объяснил.

Если ты пытался уйти от той темы, в которой ты плаваешь, он это очень быстро и четко понимал. Он никогда (Аркадий Натанович был очень тактичным человеком) сразу не хватался за это, не вылавливал человека за его неграмотность, он просто пропускал это, как будто мимо ушей, шел на поводу при уводе от темы, но мнение о человеке у него складывалось. По тому: спрашивает человек или не спрашивает, знает, может ли он сознаться в своем незнании, то есть, если он знает — отстаивает свое знание, если он не знает — согласится со своим незнанием, принять другое знание, грубо говоря — обучаемый это человек или необучаемый, самодовольный, спесивый или интеллектуально потентный — тут масса ходов может быть... От этого, в общем, маленького теста, который никогда им преднамеренно не устраивался, человек, как правило, в разговоре с таким интеллектуально богатым собеседником, каким был Стругацкий, сам попадал в эту самую «воронку», яму. И вот как он из нее потом выходит — это становится тестом.

Если вы помните, на заре телемостов в период перестройки, что начал Познер, сначала, с Донахью, потом был период год или полтора,

когда пошли самые всевозможные телемосты: с Сан-Франциско, с Сан-Диего, мостовались швеи, писатели, физики, литераторы, политики, все кому не лень наводили «на халяву», так сказать, эти мосты при помощи журналистов. Так вот, был телемост, посвященный проблеме полета человека на Марс. Это как раз одна из немногих телепередач, в которой принимал участие Аркадий Натанович Стругацкий. И был приглашен туда как раз потому, что ну кто еще лучше будет говорить о проблеме полета человека на Марс, когда мы уже ступили американской ногой на поверхность Луны, мы — я имею в виду человечество, уже запущена была «Вега», уже запущены были автоматы к орбите Юпитера, то есть, было все: тут тебе и «Путь на Амальтею» — второе путешествие Быкова, тут тебе и пиявки марсианские, те же самые «Стажеры»... Если мы говорим, что непонятно, почему в издательстве «Художественная литература» не взяли предисловие япониста Стругацкого к переводу японского романа, то почему создатели телемоста на тему «Полет на Марс» взяли Стругацкого как эксперта, совершенно ясно. Единственный человек (из всех, кто там был — космонавтов, инженеров, представителей НАСА, представителей Чкаловского отряда космонавтов), который говорил о том, что это полный бред, был Аркадий Натанович Стругацкий. Савицкая тогда кричала, что она готова, если она сейчас беременная, она готова выкинуть или лететь в космос и рожать там, на что Аркадий Натанович говорил: на Земле столько дел и так мало денег, что угрохивать ради, в общем, дешевого рекламного трюка... Проблемы: как будут космонавты, через какой перигей или апогей орбиты, оверсаном или в плоскости эклиптики — его просто не интересовали, и совсем не потому, что он в них не разбирался — он разбирался, но там мы видели, что Стругацкий выступал в роли Ивана Жилина из «Стажеров»: «Главное — на Земле». Вот это умение, во-первых, иметь свою точку зрения, во-вторых, отстаивать ее, основанное не на собственном самосознании, не на ощущении самоценности, не на понимании себя, как высшего эксперта или судьи, а основанное только на знаниях, знаниях очень широких, то, что я, как врач, обычно называю: на умении взвешивать клиническую ценность симптома. Стругацкий на этом телемосту выступил как раз как хороший клиницист — он оценил клиническую ценность всех симптомов — и трюкачество, и технические несовершенности современной научной и технической базы, этическую ценность, необходимость — положил все это на одну чашку весов, на вторую чашку весов положил все то, что человечество может решить объединенными усилиями, как оно объединилось, якобы, для полета на Марс, и понял, что чашка с Марсом улетела далеко вверх.

— И за что потом был лаян...

За то был неоднократно лаян. Для меня этот пример представляет очень большую ценность как мера, сущность, эпизод из его жизни, его биографии, тем более, что я сидел вместе с ним на кухне возле телевизора, и мы с ним смотрели этот телемост, эту запись. И он комментировал, что было вырезано, что было недодано. Так что если бы было додано все, что он говорил, я думаю, что критика была бы во много раз сильнее и на несколько порядков несправедливее.

...Научные, технологические разработки в их вещах всегда велись с привлечением специалистов. Еще и поэтому, наверное, был очень широкий круг знакомых. А среди знакомых всегда были только люди порядочные и честные, или, как было принято говорить в этой семье — «лучшие мастера по холодильным установкам». Дело в том, что в молодости другом семьи был самородок, изобретатель, а по образованию, профессии, он был инженер по холодильным установкам. И вот термин «лучший мастер по холодильным установкам» относился ко всем — он относился к Нудельману — как к лучшему специалисту по холодильным установкам в области фантастиковедения, он относился к Гумилеву, он относился к астрономам, писателям, художникам, к космонавтам — Гречко у Аркадия Натановича был лучшим специалистом по холодильным установкам в космонавтике. Вот эта предельная скрупулезная точность в современном научно-техническом обосновании фантастических реалий Стругацких. Вспомните: метеоритная атака в атмосфере. Для любого астронома, для любого планетолога — это уже прокол. Но! В третьей части, когда Максим летит на этом жутком бомбовозе, он опять атакуем автоматическими ракетами и он вспоминает: «Вот она, метеоритная атака!» Здесь точно соблюден еще один литературный закон Стругацких: на каждой конкретной странице читатель знает ровно столько, сколько автор. Ни в коем случае нельзя ставить читателя в положение дурака. Это колоссально трудно, потому что вы разработали уже всю вещь, вы знаете, чем она заканчивается, вы знаете, что за что цепляется... Написать так, чтобы на двадцатой странице у тебя не торчали уши того, что будет на двадцать шестой, не в смысле сигнала, не в смысле «гвоздика», а в смысле того, что ты объясняешь ситуацию на двадцатой странице того, что будет только на двадцать пятой. Читатель ощущает себя дураком. Этого делать нельзя. И это отнюдь не прием детектива, как очень многие пытаются оправдать свою небрежность: мы вот тут покажем, а вот там это объясним. Это — литературная небрежность.

— Стругацкий-японист... Сразу вспоминаются имена: Уэда Акинари, Акутагава Рюноскэ, Кобо Абэ, Ихара Сайкаку, Санъютей Энте и, конечно же, «Сказание о Ёсицунэ»...

Мое лично, например, знакомство с «Ёсицунэ-моногатари» совпало с моей второй женитьбой. Полная, десятилистовая рукопись «Сказки о Тройке» была мне подарена со следующей надписью: «Дорогим имярек. Сейчас я даю главный бой великой рукописи «Ёсицунэ-моногатари», ну и дальше «... мысли о вас...». Все. Вот это было по-настоящему мое первое знакомство с Ёсицунэ. Второе знакомство с Ёсицунэ было как раз в связи с предисловием.

Мало кому известно, что Аркадий Натанович написал большое предисловие к «Ёсицунэ-моногатари», даже не предисловие в обычном, традиционном смысле, а, как он сам назвал его, «Инструкцию к чтению романа «Ёсицунэ-моногатари», или, как он вышел у нас, «Сказание о Ёсицунэ». Дело в том, что представляя Ёсицунэ, Аркадий Натанович всегда говорил: «Ёсицунэ — это японский Суворов». Этим он подчеркивал, в частности, абсолютную хрестоматийную известность человека, которого в Японии знает каждый школьник. И этим как раз и объясняется структура самого японского романа. Ведь там о Ёсицунэ, о всех этих трех походах Ёсицунэ, ничего не говорится. Сам по себе роман «Ёсицунэ-моногатари» — это последние дни Ёсицунэ уже в опале. Поэтому, если нам дадут книжку, в которой описан Александр Васильевич в последние годы его ссылки, нам совершенно непонятно будет, и за что его не любил Аракчеев, и за что его ненавидел Павел, и почему весь мир знает, кто такой Суворов.

Надо сказать, я, может быть, человек предвзятый, но с моей точки зрения, история не очень красивая, обидная, когда издательство отказалось публиковать предисловие, вот эту «инструкцию к чтению».

— Я думаю, что просто издательство давало заработать своим — вот есть у нас специалист, который пишет предисловия к восточной литературе — вот он и напишет...

Нет, давайте говорить так: на момент выхода «Ёсицунэ-моногатари» — на русском языке «Сказания о Ёсицунэ», лучшего автора предисловия к японской литературе, кроме Аркадия Натановича Стругацкого, не существовало.

— А это неважно, он не «свой»...

Ну, японцы так не считают, читатели так не считают... Ведь много того, что нам известно, начиная с Акутагавы — это Стругацкий. Ему же принадлежат лучшие и единственные переводы вещей — я говорю сейчас о вещах давно известных — о произведениях Акутагавы, кото-

рые кроме него никем не переводились, потому что они совершенные — это «Бататовая каша», это «Нос» и это «Страна водяных». Плюс предисловие к «Ёсицунэ».

Вот папка со всеми материалами работы Аркадия Натановича над романом. Посмотрите и вы увидите, какую огромную предварительную работу провел переводчик, прежде чем приступить собственно к переводу текста романа.

Вот первое: это подстрочник, это попытка перевести средневековые японские реалии, привести к нормальному состоянию языка сейчас. Точно так же вот целый, как вы видите, список персоналий, все, кто упомянут... И из этого становится ясно, почему в предисловии, например, дядюшка Юрикава называется старым ослом. Вот комментарий к событиям и персоналиям... Мало того, Аркадием Натановичем была составлена подробнейшая карта — а к картам и планам он относился с величайшим пиететом — средневековой Японии, со всеми соответствующими реалиями того времени и с маршрутами всех трех походов Ёсицунэ. Эту карту предполагалось поместить на форзаце книги, но по каким-то причинам сделано это не было... То есть это то, что называется «нормальная, квалифицированная работа переводчика».

У нас ведь сейчас огромное количество всех изданий, лежащих на книжных лотках, переводы для которых делают мальчики или девочки иняза — они берут книжку, и вот как они ее читают, так они ее и переводят; если они чего не понимают, то либо просто выбрасывают, либо, самое интересное, как он его не понимает, так он его и переводит. Потому надо сказать, что как бы ни хорошо наше время было, я это говорю без иронии, одну, ну, наверное, все-таки не одну, вещь полезную мы тогда утратили — из литературных переводов мы имели все-таки самое лучшее. Самую квинтэссенцию. Мы не имели туфты. Правда, надо сказать, в основном Аркадий Натанович всегда считал, что печатать надо все. Все, что пишется. Потому что как найти жемчужное зерно, если ты не имеешь навозной кучи? А надеяться на то, что тебе попадется сразу груда жемчужин в виде кучи...

— Юрий Иосифович, я несколько моложе вас, и волею судеб сложилось так, что я рос вместе с книгами Стругацких. В силу этого мое мировоззрение, как и у многих людей, сложилось, в основном, под действием этих книг. А ваше отношение к этому?

Ну, во-первых, я совершенно не отделяю себя от того самого поколения людей, мировоззрение которых сложилось на книгах Стругацких. Может быть, даже чуть в большей степени я это понимаю, чем

остальные, потому что массу вещей мне разъяснял сам Аркадий Натанович. Просто по истории фантастики российской... Если Вы помните, одновременно со Стругацкими мы начали все знакомиться с англоязычной фантастикой, американской. До того из англоязычной фантастики нам известен «Ральф 124...», книжоночка, выпущенная в двадцатых годах плюс Чапек, я беру вообще зарубежную фантастику. Советская фантастика — это: Беляев... Сэнсей считал, что начало нормальной современной фантастики — это заслуга Ивана Антоновича Ефремова. Он очень высоко ставил «Туманность Андромеды» — появление такого уникального явления в мировой литературе, как социальная фантастика. Почему именно Стругацкие так выделяются среди всех фантастов? Плеяда фантастов в то время, особенно в редакции Жемайтиса, была совершенно великолепной. Конечно, литературный язык. Прежде всего, это литературный язык. Надо сказать, что они определяли себя, по словам Аркадия Натановича, очень просто — это язык улицы. Мы говорим то, пишем то, что люди думают. Просто сами говорить не могут, а наша речь, наша стилистика, она как раз является самой адекватной для выражения этих мыслей. Это связано, конечно, и с вполне определенной трансформацией языка, литературного языка, обиходного языка. Почему? Потому что большое количество иностранных слов, появившихся после войны в обиходном лексиконе — они присутствуют у Стругацких (если мы в этом плане проанализируем литературу тех времен) гораздо в большей степени, то есть так, как это было в жизни. Значит, это было органично, не несет на себе дополнительной функции, как предположим, у того же Гансовского, или у Днепрова. Дальше. Конечно, авантюрный сюжет. Всегда. Это требование — не фантастическая идея и ей подчинено все остальное, а прежде всего — сюжет. Это главное, основное, что всегда, между прочим, было у них, как Аркадий Натанович говорил: «Основное в литературной деятельности — это сюжет. Что бы там ни говорили, литература первого, второго сорта, третьего — она должна быть интересной». Их трансформация литературного языка — то, кстати, начало чему положил Хемингуэй — лапидарность произведений, отсутствие тяги к созданию широченных панорам, что было характерно для XIX — начала XX века. Надо сказать, что Аркадий Натанович Хемингуэя четко совершенно определяет как предтечу их литературы. Было время, когда они с Борисом Натановичем зачитывались им именно в литературном плане, в плане ремесла.

Ну, и, конечно, адекватность. Адекватность интересов. Я, честно говоря, достаточно много читая, слыша Стругацких, принять гипотезу о примате эзопова языка в произведениях Стругацких (что только по-

тому, что советская действительность не давала возможности говорить то, что, дескать, ты думаешь, что только это вызвало к жизни фантастическую литературу Стругацких), честно говоря, не могу. У меня по-настоящему глубокое убеждение, что эта оценка привнесена западными исследователями. Ведь третья Заповедь — не сотвори себе кумира — нарушается всегда и во всем. И пристальное внимание, так же, как и у нас к жизни другого мира, существовало и в другом мире — пристальное внимание к тому, что у нас творится. Будем говорить о том, что понятие «холодной войны» — пускай это больше политическое понятие,— но противостояние было. Мы искали свои корни, свою пятую колонну — там, в Джеймсе Джойсе — «Отсюда и в вечность», в Андрэ Стиле, в шведских писателях-коммунистах — все то, что, скажем, издавала «Иностранная литература» в эти годы. Они точно так же искали у нас. Если Амальрик — да, это не эзопов язык, это действительно литература критики, если Войнович, если Синявский — это да, действительно, политизированная литература. Это с одной стороны. С другой стороны — Марков и вся остальная плеяда официальных литераторов, стоящих на другом конце шкалы. Вы помните, в свое время была роскошная пародия-статья «Политическая оценка политической позиции мышки в "Курочке Рябе"»? Вот такое совершенно серьезное, политологическое, литературоведческое эссе по «Курочке Рябе». Вот мне кажется, что начало всех этих рассуждений об эзоповом языке Стругацких — это подобного плана критические эссе о творчестве Стругацких на Западе.

Каждый видит то, что может, то, что хочет. А для наших литературоведов вот эта критика, вот эта идея оказалась... Давайте говорить так: когда появилась критическая стругацкология? Ну, как минимум, не раньше одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. И это период четкой совершенно нарастающей политизации населения в Советском Союзе. Никакой политизации ранее не было. Пятое марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, смерть Сталина. Дальше начинается: антипартийная группа и примкнувший к ним Шепилов. Начинается политизация. А что такое литературоведение? А что такое идеологический сектор? Он здесь же, рядом. И вот, параллельно с этим, начинается оттепель — это те же самые годы. А раз те же самые годы, значит, появляется возможность, во-первых, говорить то, чего раньше говорить было нельзя, а самое главное, позволить себе увидеть то, что раньше видеть было нельзя. А тут тебе сразу дают рецепт для идеологической оценки — фантастическая оболочка. Фактически все время ведь говорится: Стругацкие меньше фантасты, больше социологи. Вы посмотри-

те, что пишет Ле Гуин во всех рекламных строчках: «Предтеча Стругацких — это Чехов и Гоголь, как я понимаю». Простите, что Ле Гуин понимает в Чехове и в Гоголе? Да и в Стругацких. И, с моей точки зрения, как раз этот крен в политическую социологию в оценке Стругацких умаляет по-настоящему значение сути фантастики братьев Стругацких. Ведь они же совершенно недаром, дальше и дальше в своих произведениях, уходят от технократии сначала к социологическому моделированию, а потом к биологическому моделированию. Вы посмотрите, уже начиная с «Волны гасят ветер» и даже с «Жука в муравейнике» — все больше и больше идет крен в биологию, последняя вещь Аркадия Натановича «Дьявол между людей» — это биология и социология. Фантастика, модели, предвидения, сюжетика, построение, ведь это же, простите, не критика.

Можно говорить так: «Хищные вещи века» — это критика современного нам тогда общества. А куда мы тогда, простите, денем все эти удивительные социогенетические, социопсихологические предвидения, которые есть в этой вещи? «Хищные вещи века» — уникальная книга. Это вещь, которая дважды рождалась. Изданная в шестьдесят пятом году, она потом была на двадцать с лишним лет забыта.

— Да, до восемьдесят первого года она не издавалась.

И потом вдруг, сначала опять-таки не у нас, а потом во всех сборниках провинциальных и центральных изданий, опять пошла. Всюду стали ставить «Хищные вещи века». Почему? А потому что: дрожка — раз, слег — два, страна дураков — три, меценаты — четыре, что только потом мы узнали в виде цветомузыки, рэпов, галлюциногенов, социального варварства как эстетической категории. А многогодовые телевизионные сериалы — в одна тысяча девятьсот шестьдесят пятом году их не было даже на Западе. Я когда занимался вопросом «мыльных опер», я специально взял «Британнику» девяносто четвертого года, там большая статья о «мыльных операх». В шестьдесят четвертом году, когда писались «ХВВ», этого не было. Это что, это критика? Чего? Будущего? Критика тенденций? Простите, это самое последнее дело, это марксизм — критиковать тенденции. И никогда в жизни Стругацкие этим не занимались. Значит, это нормальное социальное предвидение. Это Жюль Верн, но не в электричестве, не в электротехнике, не в астронавтике, а в социологии, в социогенетике, в социопсихологии. И в индивидуальной психологии. С этой точки зрения мы можем это назвать эзоповым языком? Это то, о чем они думали, то, о чем думали вы... Правильно, мы росли вместе с ними. Надо сказать, что сейчас надо... если серьезно говорить, то надо исследовать поколение, выросшее на

Стругацких не по политологам, не по идеологам, а по тем, кто сейчас работает в социологии, психологии и в социогенетике. Там оно заложено, вот это понятие — «развитие человеческой психологии». И оно заложено именно у Стругацких. Кстати, ни у одного другого современного писателя-фантаста с такой четкой очерченностью и направленностью этого нет. Ни у современного российского, ни у современного западного.

И вот тут мы можем начинать говорить, что если фантастика — это литература, скажем, второго сорта, изучающая будущее технократическое, технологическое — это подход Казанцева, а литература изучает человека, как говорил Горький, «типическое в типических обстоятельствах», то писатель Аркадий и Борис Стругацкие — это нормальный, современный, гениальный писатель, изучающий человека методами, в частности, так, как это делал Булгаков. Лев Николаевич Толстой изучал это путем дачи исторической панорамы, Ги де Мопассан изучал это путем дачи этнографо-социологического среза, так же, как почти все французы XIX–XX веков. Стругацкие дают это путем фантастики. Если мы берем предметом литературы изучение, исследование, понимание человека, высшей нервной деятельности, то есть эго в социуме и эго наедине с эго, это уже будет у нас и Достоевский, это у нас будет Джойс, это уже будет Кафка, то есть это уже весь экзистенционализм, то Стругацкие — это писатели, изучающие людей современной методологией, ученые... Что определило именно фантастический поворот их творчества? Ведь самое первое произведение Аркадия Натановича Стругацкого к фантастике не имеет ни малейшего отношения. «Пепел Бикини» — это практически публицистическая вещь. Сравнить «Пепел Бикини» можно с, ну, пожалуй, «Семь дней в мае» Нибела и Бейли, книгой, которую часть литературоведов относят к так называемой политической фантастике, отделяя от научной фантастики. Создается модель — что было бы, если бы... Так и тут создается эта модель. И все. Я не литературовед и, тем более, не критик, но я вот так это понимаю. И вот, конечно, это мое понимание идет, честно говоря, не от Нудельмана во мне, а от разговоров с Сэнсеем. Он, конечно, никогда вот так не выражался. Так это им не определялось, но, в принципе, вот это мое понимание (таковое, а не иначе) заложено разговорами с ним.

Зачем далеко ходить за примерами. Выходит «Жук в муравейнике». Аркадий Натанович приезжает ко мне в больницу, тогда у нас был еще тот период, когда я редко приезжал к нему, чаще он приезжал ко мне на «чек-ап». Это была суббота или воскресенье, когда я дежурил, когда никого не было. Мы запирались в ординаторской, а дальше все

было так, как у него. Вопрос: о чем эта вещь? О Странниках, о мутациях, о КГБ?.. Тогда кто над КГБ? Простите, фраза, великолепная совершенно фраза, в оценке Бромберга по отношению к Комкону — «Ваша деятельность запретительная, вы, рыцари плаща и кинжала...», но если быть совсем откровенным — думает Максим — то социальная задача, имманентная Брамбергу — это какой-то контроль над контролем. Тут уже, простите, работа Красина, которая критиковала ленинскую «Как нам реорганизовать рабоче-крестьянскую инспекцию», где Красин писал, что, извините, тогда у нас инспекторов не хватит, потому что над каждым инспектором надо ставить еще инспектора, а над этим инспектором — еще инспектора... Знал Стругацкий эту работу? Знал. Я его спрашиваю: о чем,— он говорит: а ты как думаешь? Практически там же никогда ничего не зашифровано. Ни в одном из их произведений. Там все есть. Там только, просто-напросто, нужно иметь глаза. Научиться видеть у Стругацких то, что они хотят этим сказать, нельзя. Ты видишь — и для тебя непонятно, почему этого не видят другие. Ты не видишь — и тебе непонятно, почему это видят другие. А там есть два эпизода: первый — говорит Сикорски Максиму: «Мы все устали, Мак,— проговорил он.— Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов Комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике»... Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это... А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу... А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак,— «Хорек в курятнике»?.. Сорок лет они делают из меня муравья! ...Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас!..» И второй эпизод, до того: «И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него — за то, что он все-таки не удержал... И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни».— Вот на этих двух эпизодах в разговорах двух, простите, как почти все официальное литературоведение расценивает, кагебешников, надзора, старшего — Экселенца и младшего — Максима Каммерера. Я ему ответил, что, с моей точки зрения, это — вещь о мере социальной

ответственности, чувства социальной ответственности в человеке... И вот это был тот, один из очень редких случаев, когда он был просто... тут я увидел Диану счастливую. Он возликовал, он сказал словами Витьки Корнеева: «А я-то думал, что ты у нас дурак!»

Где здесь политика? Политика начинается от момента, когда чувство социальной ответственности начинает толкать к действию. На этом этапе вы можете великолепно совершенно привязать все, что угодно, вы можете даже Германа из «Пиковой дамы» (на этапе его действия — наставления незаряженного пистолета на старуху-графиню) расценить как борца с засильем аристократии, тем более, что он сам — из инженеров, сын обрусевшего немца.

Поэтому согласиться в оценке Стругацких, что это, скажем, Даниэль и Синявский, надевшие фантастическую личину, я не могу ни в коей мере. Это талантливый, большой писатель второй половины XX века, ощущавший своим нервом изменение человека и его психики в социуме XX века, в особенностях этого социума, то есть, социума научно-технической революции, социума глобальной цивилизации. Чем наша цивилизация, чем XX век отличается от всего остального? Безумной акселерацией всех процессов: наша цивилизация начинает носить за счет своей информационной емкости характер глобальной цивилизации. И поэтому никого никогда не волновало, что выжигаются леса, никого, кстати, никогда не волновала экология. Почему экология — наука второй половины XX века? Да только потому, что этот вопрос встал на повестку дня. Человечество осознало граничность своей среды обитания. И в этом плане Стругацкие являются первыми — раз, на сегодняшний день единственными — два, наиболее полно и наиболее талантливо осветившие нам состояние социопсихологии и состояние эго в обществе человека XX века в XX веке.

Беседовал Алексей Керзин.

Рафаил НУДЕЛЬМАН

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЕ*

Как и все в нашей группе, я называл его Аркадием — это соответствовало возрасту и отношениям. То была, действительно, группа — небольшой коллектив единомышленников, сложившийся на базе об-

* **Источник:** 1995, неопубл.

щего понимания фантастики, да и общественной ситуации вообще. Таких неформальных групп в 60-е было много. Просуществовали они недолго — до чешских событий 68-го года. Наша тоже распалась тогда же. А возникла она еще до моего появления в Москве — я застал ее уже сформировавшейся, с неким планом действий. Я приехал в Москву из Ленинграда, где учился в аспирантуре, усердно читал фантастику, особенно Лема и начинающих Стругацких, и пробовал силы в переводе. Один из переводов взяла для публикации редактор тогдашнего отдела научной фантастики в издательстве «Молодая гвардия» Бела Клюева, и по приезде в Москву я отправился первым делом к ней. Выпал именно тот день, когда, как оказалось, в редакции проходил семинар фантастов, и на нем-то я впервые увидел Аркадия. Выступал Полещук, прочно забытый сегодня автор, присутствовали Гансовский, Ариадна Громова, кажется, Емцев с Парновым, кто-то еще; мне, новичку, каждый был по-своему интересен, но Аркадий оказался интересным вдвойне — как живая половинка самого интересного, как мне тогда казалось (и думается сейчас), автора,— и как человек. Он был каким-то большим, по-доброму шумным и по-доброму насмешливым, очень приятельским и очень ярким. В нем чувствовалось что-то крупное и значительное; проще говоря, в нем чувствовался талант. По-моему, Полещука ругали: рассказ, который он читал, был скучный и затянутый,— но ругали как-то по-деловому, без злости, слегка подсмеиваясь. Аркадий же, энергично обхватывая руками воздух и жмурясь улыбкой, рассказчика защищал, упирая, в основном, на его искреннюю преданность жанру. Потом Клюева заговорила о делах, и тут-то я понял, что существует некая группа и даже какие-то планы — создать издание «Библиотеки всемирной фантастики», протолкнуть через злобно-настороженное молодогвардейское начальство «своих», сделать семинары при редакции регулярными и многое другое.

Потом семинар как-то незаметно распался на группки и обнаружилось, что Аркадий и несколько других едут к Громовой; взяли и меня. По дороге «заскочили» в большой магазин на Краснопресненской, взяли коньяк и колбасу, прошли на Большую Грузинскую, и с тех пор так оно и пошло на долгие месяцы — встречи на семинаре или в редакции у Клюевой, возбужденные разговоры о делах и очередных планах, а затем — магазин, Большая Грузинская, допоздна у Громовой, коньяк и колбаса. Водку не пили подчеркнуто — Аркадий убедительно доказывал, что у интеллигентов ныне в моде коньяк. Громова пылко теоретизировала, Аркадий шумно витийствовал, заполняя собою весь четырех-

угольник между стеллажом с книгами и стеной, к которой был приткнут накрытый стол, язвительный худолицый Мирер подавал едкие реплики, улыбаясь тонкогубым, умным ртом, Файнблюм [*видимо, имеется в виду З. Файнбург. — БВИ.*] (часто наезжавший из своей Перми, где он докторствовал — подумать — на кафедре марксистско-ленинской философии) пил и слегка матерился, добрый Миша Емцев просто пил, Рим Парнов (Еремеем его именовать было как-то неприлично) пил, быстро пьянея; я прислушивался, разинув рот на правах новичка. Это и была «группа». Был, правда, еще Борис Стругацкий, вторая половинка автора, он незримо присутствовал на этих коньячных бдениях, хотя и был далеко, в Ленинграде. Аркадий то и дело говорил: «А вот Борька думает... а вот Борька сказал...» — и чувствовалось, что «Борька» для него — интеллектуальный авторитет. Он вообще, слегка наигрывая, всячески подчеркивал свое уважение к «интеллектуалам», начиная со знакомых физиков и кончая теми же Громовой и Мирером. Его талант был куда более художнического, чем интеллектуального свойства, это обнаруживалось, едва он начинал что-нибудь рассказывать. Но он был и очень умный человек, в этом я позже много раз убеждался. По-моему, он здорово забавлялся, когда почтительно именовал нас с Громовой «теоретиками жанра». Впрочем, Громову он, кажется, искренне уважал — за самоотверженную преданность общему делу и пропаганду ее взглядов, не только как хозяйку дома. Мирера он уважал несомненно, это было видно.

Он вообще был актером — в магазине становился расторопным распорядителем, за столом преображался в шумного тамаду, мог угостить мгновенно сочиненной байкой типа «одноногого пришельца», литературная игра и мистификация казались его стихией, и меня он как-то угостил одним таким насмешливым розыгрышем. Мы ехали с ним в Серпухов; пригласили, собственно, его, но кто-то там настоял, чтобы был еще и какой-нибудь критик, так что я выступал в этом качестве при Аркадии; и вот — мы ехали в Серпухов. Дорогу не помню, потому что он угощал меня длинным рассказом о своей случайной встрече с маршалом Тимошенко в поезде «Красная стрела» по пути в Ленинград. Будто бы они пили в купе, и Аркадий все спрашивал маршала: «А правда ли, что Сталин то-то и то-то?» — а маршал будто бы на все его вопросы отвечал: «Так ставишь вопрос? А хрен его знает!» Утром же, выйдя в коридор, Аркадий, якобы, увидел насупленного с похмелья Тимошенко у окна, и тот, подозвав его, хмуро сказал: «Я вчера спьяну чего-то там тебе наболтал, так ты смотри — никому, понял?» Я долго смеялся, Ар-

кадий тоже, а много лет спустя я опознал этот его рассказ в поведанном мне кем-то старом анекдоте.

Он был также предельно серьезным, когда речь заходила о принципах, и в том же Серпухове я увидел другого Аркадия — он говорил о фантастике, потом о жизни, об окружавшей нас мерзости (впрочем, не называя ее прямо), и я впервые понял тогда, как огромна его популярность и как велико уважение к нему его читателя. В зале научного городка собралось несколько сот эмэнэсов, и чувствовалось, что они ждут от этого большого, спокойного, почитаемого ими человека какого-то урока жизни, истолкования ее, писательского откровения. По-моему, я даже отказался выступать после него — это было невозможно, никого не интересовал «пристегнутый» к Стругацкому «критик», у них шел разговор с ним, со «своим» автором. Он действительно был их автором, и я видел, как он внимательно слушал их слова, загорался в ответ на их вопросы и реплики, наклонялся к залу, словно сливаясь с ним, и все впитывал и впитывал в себя энергию этих людей, их юмор и вопросы, их доверие и веру в него, их мысли и профессиональный жаргон их шуток. То была творческая работа прямо на людях: писатель вбирал в себя социальный и профессиональный фольклор своего класса.

То было время напряженных нравственных и социальных поисков, и «наша группа» сложилась именно вокруг убеждения, что фантастика в этих поисках может сыграть едва ли не ведущую литературную роль. Аркадий в эти теоретические рассуждения Громовой и Файнблюма вдаваться не любил, отшучивался, что балдеет от них больше, чем от коньяка, и вообще — его дело писать, «интеллектуал» у него «Борька»; но позже, когда они несколько раз выступили в печати с «теоретическими» статьями, я опознал в некоторых пассажах его собственные размышления. Неутомимая Громова затевала тогда бесконечные прожекты, вроде общего сборника с учеными; имя Стругацкого, да и уважительное тогда отношение научной среды к фантастике, открывало нам двери, в эти двери быстро вошли Емцев с Парновым, потом Мирер, Варшавский, сама Громова сделала две хорошие книги; активно помогала им всем пробиваться в печать Нина Беркова из «Детской литературы» и та же Бела Клюева; нашего полку прибывало, затеялась большая дискуссия в «Литературной газете», в «Иностранной литературе»; но что бы ни делалось — ход времени отмечался, прежде всего, очередными вещами Стругацких, они задавали тон, они тащили за собой весь корабль «новой фантастики», они демонстрировали ее возможности и прокладывали ее пути. Я думал тогда и продолжаю думать сейчас, что именно

они и были единственным полномасштабным воплощением этой новой фантастической волны; остальные — пусть они на меня не обидятся, каждый из них был по-своему одарен и честно делал свое дело — были ее рядовыми. Мне довелось в те годы писать статью о фантастике как методе (кажется, для того же, так и не состоявшегося, совместного сборника с учеными), я всякий раз натыкался на необходимость проиллюстрировать то или иное свое «теоретическое» положение и всякий раз с некоторым унынием убеждался, что опять и опять все сводится к тем же Стругацким. Они и с Лемом переговаривались вот так же — поверх голов, репликами своих книг.

О книгах этих Аркадий не говорил, во всяком случае — со мной. Только один раз он впустил меня, если угодно, в свою «творческую лабораторию», рассказав какой-то сюжет-заготовку, что-то о человечестве, помешавшемся на вошедших в моду «кибершлемах», дающих эффект присутствия в любых заказанных человеком ситуациях — любовных, приключенческих и прочих; кончалось все это вполне понятным образом — люди так и умирали в этих воображаемых путешествиях по несуществующей жизни, и я сказал ему, что эдак он все человечество прикончит; он быстро посмотрел на меня и как-то странно спросил: «А ты думаешь, оно обязательно должно жить вечно?» Какие-то отголоски этого сюжета почудились мне позже в «Хищных вещах века». Нет, оптимистом он не был. Хотя коньяк любил.

Я принес ему бутылку коньяка — в память о далеких временах,— когда пришел к нему перед отъездом в Израиль. То был 75-й год, группу нашу давно разгромили в газетах и журналах (я удостоился быть упомянутым в одной такой разгромной статье некоего Свининникова — кажется, в журнале «Коммунист» [*точнее, «Журналист», но аберрация памяти забавна.— БВИ.*]); никого уже не печатали, кроме ловко пристроившегося Парнова; Аркадия я встречал только в издательстве «Мир», где ему еще давали переводы (переводчиком он был первоклассным), и это были грустные встречи. Потом и они прекратились. Коньяку он обрадовался, мне — точнее, моему предстоящему отъезду — нет. Мы выпили на прощанье, и он сказал мне, как-то сразу опьянев и от того еще более настойчиво: «Нет, я отсюда не уеду! Я не понимаю, как ты можешь...» Выпил еще и повторил: «Нет, мы с Борькой отсюда никогда не уедем!» С тем и расстались. Мне показалось, что он немного уговаривал себя, но я не исключаю, что ошибался. В России были не только его с Борисом слава и читатель — он действительно был русским писателем, и очень большим, только страна эта немного сожрала

и его, как чушка поросенка. Ах, какой это был большой, шумный, добрый, веселый и бесконечно талантливый человек, и каким постаревшим и усталым он выглядел, когда я с ним в тот последний раз расставался!

Всеволод РЕВИЧ

ДОН РУМАТА С ПРОСПЕКТА ВЕРНАДСКОГО*

Впрочем, чудное было время. Хоть и душили нас эти падлы, а время было чудесное.

В. Аксенов

Братьев было двое — Аркадий и Борис. Было двое. Но писатель «братья Стругацкие» был один. И больше его не будет. Дай Бог тебе, Борис, пожить на этом свете столько лет, сколько тебе захочется, дай Бог тебе написать еще не одну прекрасную книгу, но литературоведы уже могут провести окончательную черточку, соединяющую даты выхода первой и последней книги братьев Стругацких. Я знаю много досужих любителей и профессионалов, которые настойчиво пытались поверить гармонию алгеброй и разъять живое тело романов на составные части: вот то — Аркадьево, вот это — Борисово. Наиболее знающие безапелляционно заявляли: им известно точно — Борис был идеологом, а Аркадию отводилась роль вышивальщика по канве, обволакивающего сухое рацио в художественное кружево. Прочитали книгу, написанную Борисом уже после смерти Аркадия, убедились, что он самостоятельный стилист и незаемный мыслитель. И в то же время никто не сомневается в том, что «Поиск предназначения» написан не «братьями Стругацкими». Не та манера, не те интонации... Так, может, и правда, что все это шло от Аркадия? Я так не думаю. Напротив, я уверен, что только в слиянии, только в дуэте рождалось единственное, неповторимое «стругацкое» слово. Отдельно эти слова, эти фразы, эти сюжетные повороты, наконец, эти мысли о судьбах человека и Вселенной родиться не могли, хотя, повторяю, оба они талантливые писатели, умевшие творить и по одиночке. Но два разных писателя. Впрочем, я

---

* **Источник:** 1995, неопубл.

определенно знаю слово, которое принадлежало лично Аркадию. Он безраздельно распоряжался, простите, словом «задница». В тех редких случаях, когда мне выпадало быть их редактором, и я находил означенную лексему, употребленную более трех раз на странице, в двух случаях я ее все же вычеркивал, почему-то уверенный, что уж по крайней мере Борис меня извинит. В конце концов удавалось уговорить и Аркадия в том, что излишняя экспрессивность так же нехороша, как и однообразие. Тогда Аркадий бурчал что-то вроде «Ладно...», брался за голову и, зачеркнув этот научный термин, вписывал новый, после чего за голову хватался уже я...

Я никогда не задавал братьям глупый вопрос: как, мол, они работают вместе, но много раз слышал, что его задавали другие, причем, насколько я мог заметить, народ интересовался главным: почему соавторы живут в разных городах. Не знаю, что отвечал Борис, но Аркадий всегда ссылался на опыт братьев Гонкуров — один бегает по редакциям, второй стережет рукописи. Наиболее настойчивые, осмыслив этот ответ, возвращались к апории о двух городах... Ах, оставьте ненужные споры, неразделимы братья в своих произведениях, и попытка определить, что принадлежит одному, а что другому, не только бесперспективна, но, по-моему, и неэтична.

Но проклятый вопрос вернулся ко мне через окно, как только я взялся за эти воспоминания. Ведь, как бы там ни рассуждать, мне было велено вспоминать только об одном из братьев, второй, слава Богу, жив. Волей-неволей я тоже попытался их разделять. И, по-моему, из этого занятия у меня ничего не вышло...

Замечали ли вы, что биография писателя заканчивается на выходе его первой книги? До этого момента у человека еще существует личная жизнь, индивидуальная судьба... Все знают, где он родился, где учился, кем были его родители, эвакуировался ли во время войны и служил ли в армии... Но вот выпорхнул из типографии первенец, и дальнейшая судьба писателя растворяется в его книгах. Конечно, сочинители продолжают ездить, путешествовать, жениться, разводиться, но все это становится нам интересным только, если каким-то образом преломилось в судьбе их произведений.

Впрочем, о начале писательской карьеры, а заодно и о его тогдашней оценке своих первых книг я могу рассказать словами Аркадия, сохранившимися в моем блокноте. (Я брал у него интервью для немецкого журнала.) Привожу их не потому, что в них таятся неизвестные факты, а потому, что это его собственные слова.

«Фантастику мы с братом любили с раннего детства. Сначала втянулся я, а потом соблазнил и Бориса. Наш отец в юности тоже увлекался Жюлем Верном, Уэллсом, и эта любовь перешла к нам. Жюль Верна я проглатывал уже лет в семь и принялся сам рисовать комиксы на фантастические темы. Но хороших книг в те годы выпускалось мало, дома были подшивки старых журналов, читались они с жадностью, многое нравилось.

Потом началась война. С февраля 1943 до середины 1955 — тринадцать лет я прослужил в армии, большей частью на Дальнем Востоке как переводчик с японского. Обстановка тех мест описана в повести «Извне». Когда я вернулся к родным в Ленинград, я уже был автором, вернее, соавтором с ныне покойным Л. Петровым повести «Пепел Бикини»; это была не фантастика, а о чем книга, понятно из ее названия. Согласно семейному преданию первую фантастическую повесть мы с братом сочиняли на спор, подзадоренные моей женой, которая выразила сомнение, в состоянии ли мы написать интересно про путешествие на Венеру. Как человек военный я поставил жесткие сроки — так родилась «Страна багровых туч». Конечно, нас очень вдохновило, что первая же наша книга получила премию Министерства Просвещения. Вот с той поры процесс и пошел... (Письменно подтверждаю, что приоритет в произнесении этого афоризма принадлежит не Горбачеву.— *В. Р.*)

— А когда вы решили, что можете назвать себя профессионалами?

— Не решение, а ощущение этого пришло года три-четыре назад. (Разговор этот происходил в начале 80-х годов.— *В. Р.*)

— Так поздно?

— Да. Теперь я могу сказать: с вами говорит писатель Стругацкий, а до этого всегда говорил: с вами говорит литератор Стругацкий...

Хотя мы с самого начала ставили перед собой задачу оживить героя в фантастике, сделать его человечным, наделить истинно человеческими качествами, тем не менее очень большое место в «Стране багровых туч» занимает научно-техническая идея, можно даже сказать, что она и была главным героем. Масса мест там отведено бессмысленному, как нам теперь кажется, обоснованию возможности полета на Венеру: фотонная тяга, всевозможные приспособления для передвижения на иных планетах, спектролитовые колпаки и т. д. Мы собрали также все известные нам сведения о Венере, стараясь описать планету такой, какой ее представляла в те времена наука. А если и были фантастические допущения, то они тоже отвечали тогдашней моде — трансурановые элементы, след удара метеорита из антивещества и тому подобная чепуха...»

Известно, что, готовя свое первое собрание сочинений, Стругацкие не хотели вставлять в него «Страну...». Но мы можем расценить авторскую оценку первого романа слишком суровой. «Страна багровых туч» и сейчас читается как добротный приключенческий роман, в котором, конечно, привлекает поведение героев, а не избыток научных сведений.

Но от науки в романе все же никуда не денешься. Я столько раз иронизировал над эпитетом «научная», что может сложиться впечатление, будто я вообще не считаю науку существенным элементом современной фантастики. Вот что говорил по этому поводу старший из соавторов: «Хотя в нашем дальнейшем творчестве наука играет чисто вспомогательную роль, тем не менее она присутствует в каждом произведении. Ее и не может не быть, ведь мы живем в эпоху НТР, мы все-таки люди своего века. Действие наших повестей, как правило, происходит в достаточно отдаленном будущем, а там всевозможные научно-технические чудеса станут совершенно обыденным явлением, наука станет движущей силой экономики и быта будущего. К проблеме, которую мы затрагиваем, все это никакого отношения не имеет, но это не значит, что писатель-фантаст может позволить себе быть невеждой. Наши познания в сегодняшней науке достаточно солидны, особенно у моего брата, астронома по специальности, мы в состоянии легко оперировать научными данными, изобретать фантастическую терминологию и не делать просчетов по безграмотности...»

«Фантастику часто называют жанром, темой, особым видом литературы... Фантастика — это не жанр, не тема, фантастика — это способ думать, она позволяет создавать такие ситуации в литературе, которые я не могу представить себе иначе. Человечество волнует множество глобальных, общечеловеческих, общеморальных забот. Как их перевести на язык литературы? Можно написать трактат, но в трактате не будет людей. Ну, а раз появились люди, то и задачи фантастики приближаются к общелитературным, или — как любили говорить раньше — к человековедению...»

Однако Стругацкие не стали бы большими писателями, если бы вовремя не поняли, что не только допотопная, рассчитанная на питекантропов фантастика беляевского типа (с ней все ясно), но и новая, родившаяся прямо на наших глазах, вдохновленная «Туманностью Андромеды» и оттепелью и призвавшая под свои штандарты много новых молодых сил, все же и она, говоря казенным языком, не отвечает духу времени. Интересно, правда, отметить, что не только эта новая фантастика, но и ефремовская утопия, задуманная как реабилитация коммунистической

доктрины, произвела на многих впечатление террористического акта, настолько дремучи были господствующие представления.

У «новой волны» было много достоинств, она сразу стала всеобщей любимицей, она с маху принялась разрушать догмы, утверждавшиеся десятилетиями и казавшиеся священными и неприкосновенными. Она познакомила нашего читателя с новейшими научными, а тайком даже и с философскими теориями, наконец, она по большей части была просто хорошо написана и не шла ни в какое сравнение с графоманскими упражнениями всяких там «ближних прицелов».

Но и в новой фантастике (включая в нее и первые произведения Стругацких) был существенный недостаток: к тому кардинальному клокотанию, которое подспудно происходило в нашем обществе, она имела в лучшем случае косвенное отношение. Ошиблась она и в самооценке: большинство фантастов было убеждено, что она (или они, если хотите) была детищем пресловутой НТР — научно-технической революции; нашлись и теоретики, которые яростно защищали этот тезис, например, Г. Альтов, А. Днепров... На самом деле научный антураж был всего лишь маской, правда, в некоторых безнадежных случаях приросшей к лицу. Новая фантастика была рождена прежде всего новой политической атмосферой, которая стала складываться в стране после XX съезда КПСС. А раз так, то и ее сверхзадачей было включиться в эту атмосферу, в противном случае ей снова грозила участь прозябать на затянувшихся вторых ролях в списках для внешкольного чтения. Вспомним, какой резонанс вызывали романы Дудинцева, Гранина, Абрамова, «окопная правда» Бакланова и раннего Бондарева, даже нарицательная «Оттепель» изменчивого, как Протей, Эренбурга, первые стихи Евтушенко, первые песни Окуджавы и Галича... Ничего подобного в фантастике еще не было. Стругацкие поняли это первыми. Аркадий както сказал мне в начале 60-х годов, что, хорошенько подумав, они с братом пришли к убеждению, что тот путь, по которому они шли до сих пор — дорога в никуда. (Многие не поняли этой истины до сих пор и, вероятно, не поймут никогда.) Мне бы, конечно, очень бы хотелось заменить точку на запятую и как бы небрежно добавить: «...а может быть, это я сказал ему об этом». Но, как всем известно, бог мемуаристов (языческий, разумеется) — правда и только правда. Сказал это все-таки он, зато я, ни секунды не поколебавшись, сразу же согласился с ним. Не стану утверждать, что фантасты толпой ринулись за Стругацкими. Для того, чтобы так резко поменять курс, как раз и надо быть Стругацкими. Не могу утверждать и то, что даже те, кто понял их правоту, смогли

(как, например, Варшавский или Шефнер) отыскать свой собственный, неповторимый маршрут. Некоторые окончательно прозрели лишь после 1985 года. Но лучше поздно, чем никогда.

Но и Стругацкие не сразу выбрались из Леса так называемой научной фантастики. Сперва они решили перевоспитывать нас на положительных примерах и принялись сочинять умилительные утопии — «Путь на Амальтею», «Далекую Радугу», «Возвращение», над которым, как мне кажется, они немало помучились, превращая его в более монументальный «Полдень. XXII век». Мне кажется, с утопией у них не вышло, и я мог бы предложить объяснение: почему не вышло,— но тогда мои заметки окончательно приобрели бы вид литературоведческой статьи, к чему они и без того стремятся помимо моей воли. Хотя я знаю людей, которым «Полдень» нравится. В энциклопедическом томе «Фантастика» этот роман даже объявлен знаменем-идеалом шестидесятников. Наиболее занятным для меня в этой статье оказалось то, что под ней стоит моя подпись. Клянусь, я этого не писал. По техническим причинам я не сумел снять свою подпись под статьей, с которой во многом не согласен.

Но зато в этом случае я первым успел высказать Аркадию свое мнение. Борису не мог, даже если бы он захотел меня слушать: не так-то часто мне приходилось бывать в Ленинграде, а уж если и приезжал, и мне удавалось встретиться с Борисом, то от радости встречи у меня захватывало дух, и все мои умные критические замечания куда-то испарялись. Но я тешу себя иллюзиями, что на этот раз Аркадий согласился со мной, во всяком случае факт остается фактом: утопический период в творчестве Стругацких закончился в «Полдень». Но еще до того, как вышел в свет переделанный «Полдень», братья выпустили в свет роман, который я и до сих пор считаю их лучшей книгой, а может быть, и одним из лучших произведений всей мировой фантастики. Я имею в виду «Трудно быть богом», помеченный 1964 годом. Вот это было произведение, которое целиком отвечало моим представлениям о фантастике — о чем ее надо писать, зачем ее надо писать и как ее надо писать. Разумеется, Стругацкие обошлись без моих советов, я даже не знал, что они пишут эту повесть; «Трудно быть богом» было одним из немногих их произведений, которые я прочел не в рукописи, как обычно, а уже в книге и даже обиделся на Аркадия.

Тем не менее я пришел от нее в такой восторг, что, обнимая Аркадия, решил приподнять его в воздух, результатом чего у него оказалось сломанным ребро. «Часы у меня что ли треснули?» — задумчиво сказал Аркадий, оказавшись снова на полу. Даю честное слово, что, во-

первых, я и не подозревал, что при его-то могучей фигуре у него окажется такой слабый скелет, а во-вторых, что я обладаю достаточной силой для свершения подобных вредительских актов. Однако с тех пор я остерегаюсь приподнимать мужчин, даже завершивших гениальные произведения, решив ограничиться своими внуками и то до трехлетнего рубежа.

Авторы цековских записок, о которых пойдет речь позднее, не поняли, а может быть, и не были тогда в состоянии понять, что в повести затронут один из кардинальнейших вопросов существования современного человечества — возможно ли, приемлемо ли искусственное, насильственное ускорение исторического процесса? Они деланно возмущаются: да как же это так — высокоразвитые коммунистические земляне, стиснув зубы, лицезрят пытки, казни — и не вмешиваются. В одном доносе прямо так и предложено: «Земное оружие могло бы предотвратить страдания несчастных жителей Арканара». Поверим на секунду в искренность этого возмущения и предложим возмущенным, доведя свою мысль до конца, конкретно представить себе ход и результат вмешательства земных «богов». Высаживаем, значит, ограниченный контингент гуманистов-карателей, «огнем и мечом» проходимся по городам и весям Арканара, палачей, аристократов, солдат, подручных — к стенке, к стенке, к стенке! А впрочем, не слишком ли я простодушен? С кем это я веду полемику, пусть и задним числом? Они же так и поступают в реальности, так что моими провокационными вопросами их с места не собьешь. К стенке, и не только сопротивляющихся, но и всех, кто имел несчастье оказаться поблизости!

Не стану напоминать, что мыслимые варианты вмешательства разобраны в самом романе, и что Стругацкие дали единственно правильный ответ — спасать разум планеты, ученых, книгочеев, рукописи, поддерживать ростки просвещения и образования. Ну, постреляем мы угнетателей. А потом — что? Мы еще недостаточно нагляделись на «кухарок», поставленных управлять государствами? Нам недостаточно опыта экспериментов над собственным народом? Тогда вспомним Камбоджу, Афганистан, Эфиопию, Мозамбик, Кубу, Северную Корею... Правда, эти примеры приобрели убедительность уже после появления романа, что, впрочем, и доказывает прозорливость Стругацких.

Братьев слегка поругивали и раньше, но именно со второй половины 60-х началась целенаправленная кампания их травли. Огонь на поражение велся не только по несчастному Румате Эсторскому. Начиная с «Попытки к бегству», практически любая их книга становилась пред-

метом нападок. Сами по себе эти нападки надежно доказывали, что фантастика наконец-то заняла достойное место в движении шестидесятников, а Стругацкие выдвинулись в группу духовных лидеров нашего поколения. У них обнаружилась удивительная способность касаться (может быть, на первых порах инстинктивно) самых больных мест, которые тщательно обматывались ваткой нашими руководителями, так что вовсе не удивительно, что произведения братьев вызывали ярость у идеологических церберов. Травля Стругацких велась по двум, часто пересекающимся направлениям. Один путь был открытым, официально он назывался критикой.

Правда, газетные обличители часто попадали в смешное положение, но ощутить этого они не могли, хотя бы за отсутствием чувства юмора.

Вот, например, редактору журнала «Вокруг света» Сапарину было дано четкое партийное поручение — раздолбать повесть Стругацких «Хищные вещи века». Он, конечно, был не настолько глуп, чтобы не понимать, что в насквозь, якобы, капиталистическом Городе Дураков просматриваются многие черты и нашей жизни, как и в зрелом феодализме Арканара мы без труда могли разглядеть героев нашего прошлого, настоящего и даже — это мы сейчас хорошо понимаем — нашего будущего. Но открыто заявить об этом обличители еще не решались. И бедный Виктор Степанович лез из кожи, чтобы доказать, что такого плохого капитализма, какой предстает перед нами в «Хищных вещах...», существовать не может. Оклеветали его, бедняжку, братья-писатели. На самом-то деле там должны были кипеть жестокие классовые сражения передовых рабочих с беспощадными эксплуататорами. Академик Францев в «Известиях» пошел дальше. Он обрушился на авторов за то, что они обидели еще и феодализм. Вот как он защищал этот — по канонам диамата — прогрессивный в сравнении с рабовладельчеством строй. Академик вроде бы допускал существование феномена фантастики, но был убежден в том, что никакая выдумка ни на йоту не должна отходить от постулатов «Краткого курса». «Картина самого феодализма очень напоминает взгляды просветителей XVIII века, рисовавших средневековье как царство совершенно беспросветного мрака. Как же тогда обстоит дело с законом прогрессивного развития общества?» Трудно сказать, может, он и лукавил, больно уж нелепой выглядит его позиция, но скорее всего был искренен, в те времена обществовед мог попасть в академики только при наличии или — если угодно — при отсутствии определенных нравственных и умственных критериев.

Но все это были цветочки. Ягодки появились тогда, когда в альманахе «Ангара» за 1968 год появилась повесть «Сказка о Тройке». В отличие от всех остальных «критик», я считаю, что на этот раз партийные органы прореагировали на выход повести, с позволения сказать, адекватно. Они правильно угадали в кривых зеркалах пародии собственные физиономии. Отдел пропаганды Иркутского обкома немедля взялся за перо и сочинил «докладную записку» в ЦК КПСС, которая представляет незаурядный филологический интерес, так как в ней были собраны вместе все лингвистические шедевры, с помощью которых наша родная партийная критика расправлялась с нашей родной советской интеллигенцией. «Авторы придали злу самодовлеющий характер, отделили недостатки от прогрессивных общественных сил, успешно (конечно же! — *В. Р.*) преодолевающих их. В результате частное и преходящее зло приобрело всеобщность, вечность, фатальную неизбежность. Повесть стала пасквилем». А дальше уже без церемоний: «идейно ущербная», «антинародна и аполитична», «глумятся», «охаивание». «Прячась за складки пышной мантии фантастики, авторы представляют советский народ утратившим коммунистические идеалы...»

Сейчас-то мы понимаем, что в «Сказке...» Стругацкие нанесли удар по самой системе. Но в те годы, боюсь, даже авторам представлялось, что они сражаются только с ее извращениями. Они (и мы) еще не знали, что система называется административно-командной, что ее надо разрушить до основания, дабы в нашей стране могло начаться какое-либо «затем», что «мероприятие» это окажется невероятно трудоемким и что при жизни по крайней мере одного из авторов оно не завершится.

Впрочем, может быть, я и недооцениваю проницательности Стругацких, о чем говорит история с эпиграфом к повести, который был в ней с самого начала (я сам его видел), но в печати появился только в 1987 году. Я считаю этот эпиграф одной из самых удачных их находок. Вы помните, конечно, что Тройка у Стругацких — это разновидность ревтрибунала, а эпиграф, естественно, был из Гоголя: «Эх, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал?» Каждый знает продолжение этих слов. Выводы нетрудно сделать самостоятельно. Первые публикаторы «Тройки...» были людьми мужественными, они прекрасно понимали, какие «оргвыводы» последуют за их дерзкой выходкой. И, к сожалению, не ошиблись. Альманах прикрыли, редакторов разогнали с волчьими билетами. А вслед за запиской Иркутского обкома появился еще целый ряд аналогичных документов, исходящих уже из «самого» ЦК. Стиль их мало отличался от стиля иркутян.

Аркадий искренне веселился, зачитывая выбранные места из переписки с друзьями. Конечно, эти документы были секретными, они обнародованы только сейчас. Но тем не менее и тогда в самых компетентных органах находились доброжелатели, благодаря которым мы своевременно знакомились с этими эпистолами... А может быть, только делал вид, что веселится, хотя Аркадий был не из тех людей, которые напяливали на себя маску. Он всегда думал, что говорил, но всегда говорил, что думал. А вот мне почему-то было несмешно. Как не было смешно и несколько лет назад, когда вышеупомянутые докладные решил опубликовать журнал «Знание — сила» и предложил мне прокомментировать их. Я с большим удивлением и с еще большим разочарованием увидел, что многие из этих документов подписаны именем человека, которого я начал уважать задолго до начала перестройки,— А. Н. Яковлевым.

Комментировать их без ведома Яковлева я счел для себя неприемлемым, и журнал устроил мне встречу с Александром Николаевичем. Он прочитал одну или две записки, тяжело вздохнул и сказал: «Боже, сколько же ерунды мы тогда понаписали. Но историю, увы, не исправишь. Печатайте! Только вы не думайте, что каждая из таких записок равнялась постановлению секретариата ЦК. Многие из них, к счастью, писались только для галочки и ложились под сукно, чтобы мы могли со спокойным сердцем сообщить наверх, что меры по сигналам общественности приняты».

В общем-то я знал это и раньше, как знал и то, что не меньше было и «указов прямого действия», за их появлением следовали выговоры, снятия и исключения... Но и те, и другие служили, с позволения сказать, правовой базой для идеологических экзекуций. Иногда — в непосредственной форме, например, путем снятия стружки с главных редакторов — грубой плотницкой операции, регулярно и публично проводившейся в кабинетах на Старой площади. Иногда — втихаря, ведь документы никогда не обнародовались. И часто оставалось только гадать, почему книги вылетали из планов, почему запрещались и даже прерывались публикации в периодике, почему те или иные немилости обрушивались на головы авторов и издателей.

Но как Аркадий ни веселился, читая этот подзаборный лай, я видел, что даром вся эта кампания для него не проходит, и он начинает по-настоящему нервничать и злиться. Ведь если уж говорить серьезно, то даже самые резкие сатирические выпады в той же «Тройке...» рождены, разумеется, не шизофреническим стремлением «охаять» и «очернить», словечками-кастетами, изготовленными в тиши парткабинетов, а самыми положительными намерениями, болью за свою родную страну.

Помню, Аркадий рассказывал, как, устав жить в обстановке открытого и скрытого недоброжелательства, он, может быть, с изрядной долей наивности, напросился на прием к секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву, был вежливо принят и внимательно выслушан. «Аркадий Натанович,— было сказано ему,— ищите врагов пониже, в Центральном Комитете их нет». Теперь, когда документы ЦК опубликованы, можно судить об искренности этих слов воочию. Да и тогда было нетрудно догадаться... Не помню уж точно, в каком году, где-то в 70-х, в Японии состоялся Всемирный конгресс фантастов, куда Стругацкие получили персональное приглашение. Не забудем, что Аркадий в совершенстве знал японский, он был офицером-переводчиком, участником войны на Дальнем Востоке, не говоря уже о том, что он был ведущим советским переводчиком японской классической литературы. Но поехал на конгресс «наш» человек, главный редактор журнала «Техника — молодежи», не написавший в фантастике ни слова.

Да, и писателям, и редакторам, и даже иным работникам идеологических отделов приходилось быть осмотрительными, произносить ритуальные речи на партсобраниях, порою жертвовать второстепенным, чтобы сохранить главное — очаги культуры, очаги разума, чтобы спасти людей от расправ. Если угодно, совсем как посланники Земли на Арканаре. Да и сам Аркадий выглядел в этой среде благородным Руматой Эсторским, который боролся изо всех сил, чтобы вбить в башку своим читателям идеалы справедливости (уж извините за немодные ныне слова), о которых многие (может быть, честнее было бы сказать «мы») имели весьма смутное и искаженное представление. За такие компромиссы расплачивались дорого — инфарктами, жизнью, иногда самоубийствами... Тех же Стругацких очень напористо выставляли из страны, они многим стояли поперек горла.

Одно время слухи о том, что Стругацкие твердо решили махнуть за бугор, распространились весьма широко. Уверен, что это делалось сознательно, чтобы подтолкнуть их к действиям, за которые потом их же стали бы поносить на всех углах. Один раз я даже держал пари с работником Госкино, который с торжественным видом сообщил мне точную дату их выезда. Мне не нужно было звонить Аркадию для перепроверки, ведь я знал братьев лучше, чем работники кинокомитета. Уехать Стругацким из страны было так же невозможно, как Антону-Румате заявить вдруг: заберите меня отсюда, я больше не желаю этого видеть... Вот тогда-то и было заключено пари с месячным испытательным сроком на бутылку коньяка. Бутылку я не без удовлетворения отнес Арка-

дию. Проигравший товарищ, видимо, искренне прочувствовал свою вину — коньяк был очень хорошим.

Я ничего не имею против уехавших, каждый волен жить там, где ему лучше. Пусть живут. Пусть приезжают в гости — милости просим! Но я отрицаю их право учить нас, как надо жить. Напротив, я думаю, что те, кто остался, как Стругацкие, как Юрий Трифонов, как Алесь Адамович, кто сохранил, несмотря на все чинимые препятствия, своих издателей, своих читателей, кто не предал своих единомышленников (а у Стругацких их были миллионы, особенно среди молодежи), принес стране, народу гораздо больше пользы, больше способствовал разрушению той системы, под обломками которой мы задыхаемся и поныне.

Я уже говорил о тех преследованиях, которым Стругацкие подвергались в 60–70-х годах, но вот пришли новые времена, возникла новая генерация критиков, которые сочли своим первейшим долгом поставить на место неразумных шестидесятников, мечтавших, видите ли, о каком-то социализме с человеческим лицом, вместо того чтобы незамедлительно и с гримаской отвращения отряхнуть его прах со своих ног. Ах, как легко так думать и — главное — так писать сегодня. И вот в двух «толстых» и кстати вполне прогрессивных журналах — «Новом мире» и «Знамени», ранее в упор не замечавших никакой фантастики, одновременно появились две большие статьи, в сущности сомкнувшихся с партийными разносами прошлых лет, хотя на первый взгляд они написаны с других позиций. Но крайности сходятся. Если раньше писателей уличали в недостаточной, что ли, коммунистичности, то ныне выясняется, что они были чрезмерно коммунистичны. Автор последнего утверждения исходил из предположения, что все их произведения — часть единообразной утопии, нечто вроде скопления небольших «Туманностей Андромеды», и, понятно, был недоволен тем, что утопия получалась какой-то странной, не отвечающей его представлениям. А как же ей не быть странной, если она вовсе и не была утопией. Синхронность выступлений и сходство в умонастроениях никому неизвестных критиков или критикесс снова заставляет предположить единую режиссуру. Я бы не сомневался, что так оно и задумано, если бы меня не смущало реноме этих журналов. Нет, скорее всего дело объясняется проще: весьма своеобразное поколение молодых критиков отличается талантливым пером и отсутствием царя в голове. Их мало заботит, что и для кого они пишут (а впрочем, ясно — для собственного удовлетворения). Но главные редакторы все же должны были за них подумать. Как бы то ни было, я уверен, что появление этих статей ускорило смерть Аркадия.

Однако времена уже были не те — замолчать Стругацких не удалось, подорвать читательскую любовь к ним тоже. В отличие от Булгакова авторам удалось дожить до того дня, когда та же гонимая некогда «Сказка...» была напечатана — в молодежном журнале с полуторамиллионным тиражом. (Тираж «Ангары», между прочим, был всего 3000 экземпляров.) А вот дожить до выхода хотя бы первого тома собрания сочинений у себя на родине Аркадию Стругацкому не довелось.

К моему сожалению, в 80-х годах, когда с выходом каждой их книги я все больше и больше убеждался, какое это незаурядное явление в русской культуре — братья Стругацкие, мы стали встречаться реже. С легкой руки моей, тоже покойной уже жены, кстати, постоянного и пробивного редактора их сочинений в журнале «Знание — сила», где Стругацких печатали даже в те годы, когда их не печатали больше нигде (я до сих пор не могу понять, как это знаньевцам удалось тогда опубликовать «Миллиард лет до конца света»), мы с ней не только заочно, но и непосредственно стали называть Аркадия классиком. Он охотно откликался. Должно быть, понимал, что мы не шутим.

Но работали братья так же напряженно, а здоровье Аркадия становилось все хуже, хотя он по-прежнему вскидывался, как только до него доходили слухи об очередной пакости, которую затевали против них и фантастики в целом два комитета — Госкино и Госкомиздат. Объяснить их действия — даже по меркам того времени — невозможно. Почему, например, не был разрешен к постановке идеологически безупречный, антимилитаристский «Парень из преисподней»? Почему «Трудно быть богом» было отдано на откуп западногерманскому режиссеру? (Хотя я и не согласен с Борисом, считающим работу П. Флейшмана неудачной.) Только потому, что его авторами были Стругацкие... Точно так же можно спрашивать: почему Евтушенко не позволили сыграть роль Сирано де Бержерака, почему Шукшину запретили поставить «Степана Разина», почему много лет лежал на полке «Андрей Рублев» Тарковского... Ну, не любило Госкино слишком самостоятельных художников...

С Госкомиздатом дела обстояли проще — там прежде всего дело было в конкуренции, а работники комитета сами хотели иметь навар с изданий. Так как бумаги в эпоху всеобщего дефицита постоянно не хватало (а сейчас оказалось, что в стране ее сколько угодно), то главная редакция художественной литературы без всякой колебаний отдавала предпочтение очередному собранию сочинений Казанцева и другим духовным единомышленникам. А Стругацкие так и не дождались своего собрания сочинений, пока не появились частные издательства, хотя даже в Америке вышел их двенадцатитомник.

Мы иногда отводили душу на тусовках в Союзе писателей, где у Аркадия было немало сторонников, а противники, напротив, побаивались приходить, скажем, на заседания Совета по фантастике. Там мы могли отважно принимать грозные реляции, например, о немедленном изменении редколлегии 25-томной «Библиотеки всемирной фантастики». Но это были пирровы победы, потому что в конечном счете решения принимались в том же Госкомиздате и в кабинетах тогдашних секретарей Союза, большинство которых состояло из старых маразматиков-графоманов, с таким блеском — без всякой фантастики — изображенных в «Хромой судьбе». Вот тут пальму первенства, видимо, действительно надо отдать Аркадию: в Ленинграде таких монстров, мне кажется, не было. А может, я и ошибаюсь...

Против них стеной стояла вся государственная и партийная машина. Но все-таки они победили. Несмотря на все препоны. Любой писатель может только мечтать о таком читательском успехе. И даже в кино, хоть один раз, но им все-таки повезло. По их сценарию был поставлен «Сталкер», на мой взгляд, лучший фантастический фильм всех времен и народов. С ним даже нечего сравнить. (И здесь я опять не согласен с оценкой этого фильма ни Станиславом Лемом, ни Борисом Стругацким. Я не вижу в нем ничего мистического, зато там очень много выстраданного и человеческого.) И хотя автором этого гениального фильма (помнится, Аркадий тоже так называл и фильм, и режиссера) справедливо считается Андрей Тарковский, но когда я слышу с экрана отчаянные монологи героев, то отчетливо различаю хорошо мне знакомые интонации Бориса и Аркадия.

Пока мы живем, мы непростительно мало думаем о том, какой в сущности короткий срок отпущен нам на общение с друзьями и как бездарно мы его растрачиваем. Однажды, может быть, не в самую веселую минуту, Аркадий сказал мне: «Севка, ты не приходи на мои похороны. И не обижайся, если я не приду на твои, если ты вдруг рухнешь с дуба раньше меня. Только это маловероятно. Я все-таки постарше тебя, да и сердечко пошаливает. Вот мы сейчас сидим за рюмахой, и нам хорошо. А прочувственные речи, венки, панихиды — это не по мне. Помнить — помни, а остальное мне не нужно...»

Прости меня, Аркадий, эту твою волю я не выполнил. Я был на твоих похоронах, и плакал у твоего гроба, потому что это единственное утешение для оставшихся в живых. Как плачу и сейчас, дописывая эти строки, потому что я уже стал старше тебя, как давно уже стал намного старше моих сверстников, моих добрых знакомых — Тоника Эйдель-

мана, Юры Казакова, Димы Биленкина, Роберта Рождественского, Юры Ханютина... Но я вовсе не собирался доживать свою жизнь без них...

Теоретически я отлично понимаю, что в настоящих мемуарах полагалось бы дать духовный портрет покойного, описать его внутренний мир, его беспокойный и бесконечно добрый характер... В романе «Волны гасят ветер» авторы вспоминают любимого героя своих ранних повестей Леонида Горбовского, который всегда придерживался такой морали: «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффективное — самое доброе! Он никогда не говорил этих слов, и очень ехидно прохаживался насчет тех своих биографов, которые приписывали ему эти слова, и он наверняка не думал этими словами, однако вся суть его жизни — именно в этих словах». Это про тебя, Аркадий...

Но, как мне представляется, с психологией не справляются многие признанные писатели. Какой же спрос с критика...

Мариан ТКАЧЕВ

ОБ АРКАДИИ НАТАНОВИЧЕ СТРУГАЦКОМ*

Я — человек, выросший в Одессе, где встречают, принимают и провожают по одежке, изумился, увидав человека, который, имея на своем теле ковбойку и заурядные отечественные брюки, выглядел по-дворянски. Точно такое же впечатление произвел он и в не бог весть каких джинсах, трикотажной рубашке цвета хаки и куцей непромокаемой куртке, окраской напоминавшей только что вылупившегося цыпленка (тут я, правда, вспомнил, на Дальнем Востоке желтый цвет — императорский).

Да, он изумил меня и в первый, и во второй раз. И не столько своими одеждами, но и личными качествами: высокий рост, мощная стать, крупные правильные черты лица — вылитый бюст римского легата, недавно принявшего легион и ждущего первых триумфов; прическа человека, который никогда не узнает (на собственном опыте), что такое плешь. Итак, он изумил меня вдвойне. Нет, втройне! Мне шепнули на ухо его фамилию: «Стругацкий...» А огромное изумление не может не

* **Источник:** 1995, неопубл.

отшибить память. Интересно: он тоже не запомнил дату нашего знакомства. Не то что день или месяц — год! Возможно, оттого, что я слишком много внимания уделял тогда одежде? И фамилия была не та — «Ткачев...». Даже народник, переписывавшийся с Энгельсом, не был мне родней. Думаю, он просто меня не заметил.

Но как же мы подружились? И почему? На эти вопросы ни я, ни он не могли ответить. Хотя сам факт дружбы был налицо. И многие люди могли это наше взаимное чувство засвидетельствовать. Такая неясность становилась уже подозрительной. Мы выпили, закусили и заключили джентльменское соглашение: считать годом нашего знакомства 1959-й. Скорее всего, так оно и было. Я к этому времени уже второй год работал в Иностранной комиссии Союза писателей, начал печататься. АН становился знаменит, работал в издательстве. Было много общих знакомых и мест, где мы могли «пересечься». Но бог с ней, точной датой. Я сразу ощутил некую тягу к общению с АН. В какой-то мере (наверняка, меньшей) нечто похожее чувствовал и он. Когда АН уже слег, мы общались больше по телефону. Особенно, если выдавался погожий день. Светило солнышко и рождалась надежда: может все еще обойдется, снова будем встречаться...

Когда АН уже не стало, у меня еще долго в «золотые» утра тянулась рука к телефону — набрать его номер. С горечью вспоминаются слова из интервью АН, напечатанного в «Даугаве»: «...Мне не от чего защищаться... От смерти не защитишься все равно...»

Если сделать ненаучное допущение, что Природа (Творец) экспериментирует, пытаясь создать «совершенного человека», моделирует, что ли,— АН представляется мне как некий вариант искомого. Огромный, сильный, красивый, кладезь премудрости, талант, душевное благородство... И все это соединялось в нем естественно, органично. Никакой не чувствовалось нарочитости, позы. Манеры его, казавшиеся иному «старомодными», были, вспомню пушкинские слова, «рыцарской совестливостью». Он был человеком чести, неспособным на отступничество, сделку с совестью. Уважением его я особенно дорожил.

Я был моложе АН, иной раз возникали соблазны: карьера, прельстительные блага... Для обретения их требовалось вступить в партию, чем-то поступиться — существенным. И всякий раз в подобной ситуации я вспоминал эпизод из «Трех мушкетеров» (мы с АН, оба, любили эту книгу и знали чуть ли не наизусть), когда кардинал Ришелье предложил д'Артаньяну чин лейтенанта в своей гвардии и командование ротой после кампании. И гасконец едва не согласился; но, поняв, что Атос

после этого не подал бы ему руки, устоял... Не смею равнять себя с героем Дюма, но раз-другой опасенье утратить дружбу АН удерживало меня от неверного шага. Хотя сам АН говаривал нередко: «Друг не судья, а адвокат». Умел прощать какие-то промахи и слабости. Но я понимал, речь шла не о всепрощении. Он был, если можно так выразиться, талантливым другом. Всегда безошибочно угадывал постигшую близкого человека беду, находил способ помочь, ободрить.

Помню, двадцать лет назад, после развода со всеми «отягчающими обстоятельствами», я, уверенный, что потерял навсегда сына, вот-вот лишусь дома и прочее, впал в мрачную меланхолию. Пытался писать — впустую, сидел почти без гроша, не мог ни с кем общаться. Вдруг позвонил АН и спросил:

— Что поделываете, вашество?

— Ничего, все из рук валится. Хоть в петлю лезь.

— Ну,— сказал он,— с этим можно и подождать. А знаете, какое нынче число?

— Черт его знает...

— Так вот, сегодня двадцать восьмое мая, день вашего тезоименитства. Извольте побриться и быть у меня через два часа.

Отказы, увертки не помогли. Я поехал на проспект Вернадского. Войдя в дверь, обомлел: за накрытым столом сидели друзья. АН, усадив меня рядом, произнес спич (он всегда это делал мастерски) и преподнес отпечатанную на машинке книжицу. На переплете выведено было: «Сказка о Тройке»...

Возглавив дружеский комплот, АН начал кампанию по «выбиванию» для меня жилья. Ходил в Секретариат СП, составлял петиции, подводил мины и контрмины. Для себя самого он ничего подобного не предпринял бы...

Поздней осенью 1975 года, перед долженствовавшим собраться в апреле 1976-го XXVI съездом КПСС, Московской писательской организации был предоставлен купейный вагон, которому предстояло пересечь всю страну от Бреста до Владивостока. Его прицепляли к разным поездам и отцепляли в намеченных заранее городах, где он, подобно известному бронепоезду, стоял на запасном пути, а московские литераторы встречались с читателями, посещали предприятия, вузы и т. п., дабы «собрать материал». Предполагалось после вагона создать коллективный сборник в подарок съезду. Нашлись энтузиасты — преимущественно из «патриархов»,— проехавшие весь маршрут. Но большинство литпассажиров менялось поэтапно. Мы с АН были в группе последнего

этапа (Центральная Сибирь — Тихий океан). Поездка получилась интересная. Я думаю, для АН было очень важным общение с читателями. Вопреки ухищрениям и прямым запретам со стороны союзписательского и издательского начальства, книги братьев Стругацких читали и любили. Люди протягивали АН зачитанные, обтрепанные книжки с просьбой оставить автограф. Расспрашивали о творческих планах, о напечатанном. Вопрошали, сетовали, гневались... Читатели отстаивали свое законное право — самим определять свой круг чтения. Показывали копии писем в издательства, в «инстанции» и невразумительные ответы. И происходило это в самых разных аудиториях: в актовых залах институтов, научных центрах, на погранзаставе... Читатели приглашали АН в гости, приносили подарки. Я тогда увидел впервые перепечатанных на машинке «Стажеров», «Трудно быть богом»... Потом уже довелось подержать в руках подобный «самиздат» и в Москве. Знаю семью, где муж с женой «пополам» отпечатали «Улитку на склоне». АН просил отдать ему этот манускрипт, но тщетно.

Помню негодование моего друга и доброго приятеля АН поэта Луконина, когда он, будучи секретарем СП, обнаружил в рекомендательном списке для издательств вычеркнутые книги Стругацких. Издательскими делами в СП, если не ошибаюсь, вершил Сартаков, сохранивший, разумеется, в планах свои собственные творения. Неудовольствие литературных вождей вызвала в свое время и справка об изданиях наших писателей за рубежом, где чуть ли не первое место занимали книги братьев Стругацких.

Творчество Стругацких, по моему убеждению, в шестидесятые, семидесятые годы, да и восьмидесятые отчасти, было существеннейшим явлением не только литературной, но и всей нашей духовной жизни. Оно оказало немалое влияние на формирование убеждений целого поколения, а может даже и не одного. И не удивительно ли, что книги, написанные братьями Стругацкими, так и не нашли по сей день должного осмысления и оценки. А редкие «выбросы» критической мысли (даже на страницах таких почтенных изданий как «Новый мир» и «Знамя») отличаются предвзятостью, смутным представлением об истинном назначении и свойствах фантастики и тем, что именуется «подменой тезиса» и в старину еще сугубо порицалось философами. Как тут не вспомнить слова АН о том, что отсутствие критики им с братом даже помогало!..

Ну, а в последнее время публикация для самих критиков все чаще просто повод повыпендриваться на заданную тему и блеснуть изыска-

ми стиля. Критики эпатируют других критиков. Рождается некая эзотерическая отрасль словотворчества. Критик может больше не читать книг, не смотреть спектаклей и т. д. Я убедился в этом на «круглом столе», устроенном не так давно «Литературной газетой» после выхода в издательстве «Текст» 12-томного собрания сочинений братьев Стругацких. Там я узнал, например, что произведение, в коем наличествует звездолет, суть «сказка», а фантастика — род сочинительства, утоляющий, в первую очередь, развлекательные и предметно-познавательные потребности «человека читающего»...

Но это еще полбеды! На основании просмотра библиографии изданий книг А. Н. и Б. Н. Стругацких просвещенные молодые люди вынесли приговор: вышеназванные авторы — обычные процветающие (sic!) советские писатели. (Правда, в опубликованном «ЛГ» отчете все выглядит пристойнее. Там также сказано, что во время выступлений В. Бабенко и моего выходил из строя магнитофон.)

Значит, не было ни замалчивания творчества Стругацких, ни исключения их книг из издательской практики, продолжавшегося годами, ни клеветы и шантажа, ни «выдавливания» писателей Стругацких из страны. Поскольку о моей дружбе с АН было, так сказать, широко известно, меня тогда то и дело спрашивали: правда ли, что АН и БН уезжают? Уже уехали? А самые «осведомленные» называли даже адреса в Израиле или США. Не случайно ведь на состоявшемся в ту пору в Политехническом музее литературном вечере, посвященном фантастике и детективу, АН, получивший множество записок из зала (попадались и вопросы «щекотливые»), сказал во всеуслышание: «Я пользуюсь случаем. Ведь здесь собралось столько заинтересованных читателей наших с Борисом книг. И заявляю, что русские писатели Аркадий и Борис Стругацкие никогда никуда из своей страны не уедут!..» Зал разразился аплодисментами.

А попытка опубликовать в «Комсомольской правде» фальшивку, под которой стояли подписи АН и БН, скопированные на ксероксе с издательского договора — это тоже из жизни «процветающих типичных советских писателей»? Или облыжные рецензии на книги Стругацких — симбиозы пасквиля с доносом? Важной составляющей бытия процветающих советских писателей являлись заграничные вояжи: участие в многоразличных форумах, творческие командировки, выезды на отдых и лечение... На имя АН приходили десятки приглашений из разных стран, о каких-то он, возможно, и не знал. Причем приглашения, как правило, деловые: издания переводов, встречи с коллегами, читателя-

ми. Все эти приглашения не были реализованы. (Объективности ради замечу, что АН в составе делегации СП СССР выезжал в Прагу на мероприятия, посвященные памяти К. Чапека (если не ошибаюсь, в 60-е годы). Там он впервые встретился с С. Лемом. Думаю, это было 75-летие со дня рождения Чапека.) Запомнился мне комический вариант: АН был приглашен в Японию, где его знали не только как выдающегося писателя-фантаста (книги Стругацких переводились на японский язык), но и как прекрасного переводчика японской литературы; вместо АН в Японию поехали несколько фантастов во главе, если мне не изменяет память, с В. Д. Захарченко. Говорят, велико было изумление вежливых японцев...

Когда на исходе 80-х годов АН получил очередное приглашение на Международную встречу писателей-фантастов, собиравшуюся на сей раз в английском курортном городе Брайтон, он уже сам не пожелал ехать. Сменившемуся к тому времени руководству Инкомиссии СП пришлось приложить немало усилий, дабы его переубедить. Роль уговорщика досталась и мне. Сам я к тому времени в Инкомиссии давно уже не работал, просто мне очень хотелось, чтобы АН посетил туманный Альбион, куда собирались многие интересные и любезные его сердцу люди. Разумеется, был приглашен и БН. Весьма рад, что эта поездка состоялась. Да и сам АН остался премного доволен. Насколько комфортно он там себя ощущал, свидетельствует рассказанная им история. В ресторане их отеля официантка никак не могла понять, кто они, из каких краев. АН запрещал своим спутникам открыть ей истину. И лишь перед отъездом, откушав последнюю трапезу, сказал ей: «Мадам, теперь я скажу вам правду, мы — китайцы». Потрясенная дама уронила поднос.

Самое забавное, что в те дни, когда АН пребывал в Великобритании, один из вождей нашего Союза писателей, придумавший поднять словесное искусство на небывалый уровень с помощью Советов по литературам (и наших, и зарубежных) и, само собою, курировавший это великое начинание, вычеркнул АН из списка Совета по литературам Индокитая, председателем коего меня избрали. «Вы разве не знаете,— грозно вопросил он,— что Стругацкий невыездной?..»

В Совет же этот АН согласился войти, потому что, с моей легкой руки, подружился с несколькими вьетнамскими писателями. Он писал об их книгах. Встречи с ними были для АН источником информации о войне во Вьетнаме, информации, которую трудно было получить из газет и телерепортажей. Когда в 1979 году Китай вознамерился дать вьетнамцам «урок», после ввода вьетнамских войск в Камбоджу (хотя это

был тогда, наверно, единственный путь избавления многострадального народа от полпотовского людоедского «социализма»; АН был тут со мной согласен), шли бои на северной границе Вьетнама, в Москву приехал друг АН, прекрасный прозаик То Хоай. АН, пригласивший То Хоая к себе, велел мне прихватить большую карту Вьетнама. Оба, хозяин и гость, как штабные стратеги, водя по карте указкой, анализировали ситуацию. АН напечатал рецензии на два переведенных у нас соответственно в 1973 и 1980 годах романа То Хоая («Западный край» и «Затерянный остров»). По второй книге — это была часть исторической трилогии, построенной на древних легендах — мы с АН вознамерились написать телесценарий и, вскоре после выхода ее в свет, подали заявку на имя председателя Гостелерадио С. Г. Лапина. План был грандиозный: совместный с Вьетнамом сериал с тропическими и археологическими куншткюками. Но телевизионный наш вождь «не счел»...

Еще один друг АН Нгуен Динь Тхи, руководивший в те годы Союзом писателей Вьетнама, не раз просил секретарей нашего СП включить АН в делегацию советских писателей, выезжавших в СРВ (по условиям культурных соглашений между соцстранами, персональный состав делегаций определяла направляющая, а не принимающая сторона), конечно, сделано это не было. АН написал предисловие к пьесе Нгуен Динь Тхи «Видения», в свое время запрещенной вьетнамской цензурой, другая его пьеса была снята с репертуара после первых представлений. В предисловии АН обыграл этот парадоксальный факт: официальный руководитель Союза писателей — запрещенный автор. Дружил он и с вьетнамским «живым классиком» Нгуен Туаном, и с прекрасным знатоком и переводчиком русской литературы Фам Винь Кы...

АН всегда, по моем возвращении из поездок во Вьетнам (особенно в годы войны) «интервьюировал» меня. Кое-какие сведения потом использовал в их работе с БН. Так, в «Парне из преисподней», по словам АН, пригодились некоторые «военные» детали. Заинтересовал его и мой рассказ о поездке в район боевых действий на северной границе Вьетнама (1979 год) и привезенные для него фотоматериалы. То же самое можно сказать и о командировках моих в Лаос и Камбоджу...

Вернусь к нашему с АН путешествию во Владивосток. Там были интересные встречи с учеными под дружеским патронажем океанолога и барда А. М. Городницкого, приплывшего во «Владик» на своем «Витязе». Венцом обещало стать посещение этого «корабля науки». Но АН решил закончить «свой поход» в другом пункте Тихого океана. Он надумал посетить Камчатку, где 20 лет назад проходила его военная служ-

ба. И сколько я ни твердил ему, что «Двадцать лет назад» давно написаны Дюма-отцом, он оставался непреклонным. Пассажирская навигация к тому времени закрылась. Но начальство Дальневосточного пароходства, восхищенное явлением АН и умиленное моим очерком о мужестве моряков-дальневосточников, совершавших рейсы в воюющий Вьетнам (его напечатал за несколько лет до этого журнал «Коммунист»),— начальство подыскало для нас «оказию» на уходившем в Петропавловск сухогрузе. До отплытия к нам был прилеплен один из сотрудников пароходства вместе с микроавтобусом японского производства. Мы славно поездили по Владивостоку. Но более всего запомнились мне споры АН с нашим сопровождающим, который был убежден: человечество переживет ядерную войну, главное — нанести врагу первый удар (упреждающий). Боюсь, АН не сумел его переубедить. Переход по довольно-таки бурному Тихому океану весьма впечатлил АН. Но одно, мне кажется, его потрясло. Уже недалеко от входа в Авачинскую губу судно наше застопорило ход, дабы не мешать выходу в океан атомной подводной лодки. Она шла на плаву. Было в этом творении человеческих рук нечто от допотопного хищного ящера. Двигалась субмарина быстро и бесшумно. Рассветные лучи солнца окрасили ее в какой-то, не имеющий определения, цвет. Крепко сжав мою руку, АН провожал ее взглядом, молча...

Много времени провел он в беседах с моряками, запросто наведывавшимися к нам в каюту. До этого он навряд ли представлял себе достаточно ясно трудности в их работе и житейские сложности. Когда мы пришли в Петропавловск, нас встретил секретарь тамошней писательской организации, насчитывавшей, если мне не изменяет память, семь или девять человек. Он помог нам устроиться в гостинице. Потом мы втроем спустились в ресторан, и он искренне удивился, когда мы с АН заплатили за выпивку и обед. Как мы поняли, столичные гости (по традиции) обычно не раскошеливались. Непонятным образом слух о нашем приезде распространился по городу. Журналисты, ученые, почитатели таланта АН взяли над нами опеку. Город выглядел, надо сказать, весьма провинциальным, чуть ли не допотопным. Хотя АН так и не удалось отыскать застройку двадцатилетней давности. Должно быть, расстроенный этим, он возложил на меня ответственность за легкие сейсмические всплески по утрам, требуя, чтобы я перестал трясти отель.

Жилось здесь людям нелегко. Даже рыбаки, возвращавшиеся после лова с большими, вроде, деньгами, отнюдь не благоденствовали. В городе сложилось тяжелейшее положение с жильем. Государство стро-

ило мизер, кооперативных домов практически не было. Индивидуальная застройка за городом была нереальна из-за коммуникаций, климата, сейсмической обстановки. Большинство рыбаков жило в общежитиях, прелести коих описывать нет нужды. Даже отложив деньги, их использовать с пользой было сложно. Не говоря уже о покупке автомашины или ценных товаров, со снабжением города дело обстояло довольно-таки убого. В магазинах толпились очереди. Все названные выше проблемы упирались в «завоз». С «материка» доставлялось все: стройматериалы, техника, оборудование, продовольствие, ширпотреб. Люди постепенно падали духом, теряли надежду, многие мечтали об отъезде на тот же «материк». Кое-кто, не выдержав, спивался. Рассказываю об этом подробно, потому что АН, подавленный увиденным и услышанным, решил написать обо всем. Он, как всегда, хотел помочь. Люди были с ним откровенны, потому что считали: известный писатель сумеет достучаться куда надо, сможет сдвинуть их проблемы с мертвой точки. Насколько я знаю, это было чуть ли не единственное обращение АН к «прямой» или скажу иначе — социальной публицистике. Написанное им, по тем временам, являлось абсолютно непроходимым. Но выхолащивать из него главное АН, естественно, не хотел. Возникали варианты: напечатать не сам очерк, а интервью с АН по поставленным им проблемам и проч. Какие-то контакты по этому поводу возникали, как мне помнится, с «Литгазетой», кто-то пытался пристроить материал в «Новый мир»... Ничего сделать не удалось.

Эту его эскападу я вспомнил много лет спустя. По телевизору показывали международную встречу ученых, космонавтов, людей, пишущих о космосе. Речь шла о предстоящей экспедиции землян на Марс. Все выступавшие были «за». Возражал им один АН. Он сказал, что пока на Земле не хватает жилья, школ, больниц, многого другого, нам на Марсе делать нечего. Знаменитый американский астрофизик Саган посетовал: мол, у АН недостаточный полет фантазии. Но я уверен, многие зрители правильно поняли АН и согласились с ним.

В известном интервью АН «В подвале у Романа» он признал особенно важным, что они с БН пишут о своих современниках. «Совершенно бессмысленно,— говорил он,— изображать что-то иное...» Надо сказать, о жизни своих современников он стремился составить возможно более полное представление. У меня поначалу вызвали некоторое удивление собираемые им досье (газетные вырезки, фото, выписки из зарубежных журналов). На папках значилось: «Экономика», «Коррупция», «Армия»... Недовольный моим легкомыслием, он частенько да-

вал мне для прочтения собранные им материалы. В конце концов я «проникся» и стал добывать для него редкие газеты и журналы, а с возникновением гражданских свобод и борений тешил его всякими листовками, воззваниями. Когда из-за болезни АН не мог уже посещать писательские собрания в ЦДЛ и прочие веча, он вменил мне в обязанность непременное присутствие на них. Я должен был без промедления являться к нему с отчетом. Если же предполагалось принятие важной резолюции, обращения, всегда уполномочивал поставить подпись и за него. Его интересовало все, даже мелочи, и воспринимал он мои донесения весьма эмоционально. Ценил изложение подробное и ироническое и даже иной раз поощрял всяческими наградами.

Среди самых отрадных дней нашего дружества — совместная семейная поездка в литфондовский Дом творчества в Пицунде. На начало ее пришлась знаменательная, как пишут панегиристы, дата — день рождения АН. Не желая омрачать праздничные встречи долгой ездой в раскаленном от зноя железнодорожном вагоне, АН с женою своей Еленой Ильиничной и внуком Ваней вылетел к месту самолетом. А мы с женой, имея при себе соответствующий запас спиртного и всяческие жаростойкие изделия домашней кухни, кондитерские изделия и прочие деликатесы, поехали поездом. Без ложной скромности свидетельствую: количество и качество экзотических напитков и несравненных яств наш АН (АН здесь не просто инициалы Аркадия Натановича, но и принятое между нами обозначение с помощью первой и последней букв имени «Амфитрион». Оно для нас символизировало через Мольера и Пушкина прежде всего радушного, щедрого, изысканного гостеприимца) признал достаточным и восхитительным. Через несколько дней прилетела из Москвы дочь АН, Мария Аркадьевна, и доставила накопившуюся почту. Среди деловых и дружеских писем попадались также поносные цидулки — «доброжелатели» АН не дремали. Но золотое солнце, ласковые воды понта Эвксинского, приятное общество заставили АН забыть враждебные выходки. Он плавал в волнах, потом сидел в тени под навесом, принимая от удрученных соседей заявки на подъем со дна морского оброненных и утерянных предметов: очков, резиновых тапочек, шапочек и проч. Дело в том, что у меня были маска и ласты, и я за это оказался произведен в ЭПРОНы. Однако за наши чрезвычайные услуги никто не наливал нам пенистых кубков, не баловал нас, и мы с АН решили дело прикрыть. Последним заходом я случайно извлек из пучины никем не востребованную вставную челюсть. АН прикрепил ее к гвоздю, торчавшему из столбика от навеса. Она походила на dar ex voto. К утру челюсть исчезла. «Нашла хозяина»,— сказал АН.

Отрадны были наши поездки в автобусе на городской рынок. Правда, АН ревновал: отчего это продавцы вина и чачи первому предлагают свои услуги мне, а не ему. Мы забредали в окрестные харчевни, случалось, достигали и птицефермы, где веселые поварихи, не ведая о генераторах инфракрасных лучей, готовили дивный гриль. Нам оставалось только запить его красным вином. Плоды садов и бахчей украшали стол. И даже гул сверхмощного кондиционера в доме отдыха «Правды» не омрачал нашей неги и редких творческих порывов. Для полноты счастья нежданно-негаданно завернул к нам погостить на своих «Жигулях» мой одесский кузен Олег с семейством. АН очень его жаловал и любил беседовать о дальних морях и промышленном лове рыбы (Олег плавал механиком по судовой автоматике на «Востоке»)...

Потом в атмосфере, напоенной запахом йода, цветов и хвои, появилось нечто тревожное. На пляж приходили стадом коровы. Поползли слухи о торговцах, подмешивающих в аджику толченый кирпич... Приехали польские писатели и настоятельно пожелали обсудить с АН будущее человечества. Беседа как-то не ладилась. И вдруг АН стал предрекать всевозможные катаклизмы. Под конец он возвестил скорое появление ядерного терроризма, что бомбу могут запросто смастерить студенты-физики или инженеры с помощью усовершенствованной бытовой техники... Ну, а перед окончанием срока нашего «заезда» решено было устроить в библиотеке литературный вечер — «традиционный»,— гласила афиша. АН поддержать традицию отказался. Потом мы с ним, заняв выгодную позицию вовне, слышали, как потряс аудиторию великий публицист Мэлор Стуруа, рассказав, как нью-йоркские акулы пера восхищались его очерками, напечатанными в «Известиях»...

Мы с АН пошли к морю. Там какие-то добрые люди сложили из каменных плит стол и сиденья. Откупорили бутылку марочного коньяка «Одесса», подаренного моим кузеном. АН похвалил коньяк: «Не зря,— сказал он,— Бунин где-то хвалил одесский коньяк. Там еще до революции был знаменитый коньячный завод». «И не один,— уточнил я,— «Золотой колокол», Эльман, Рейфман и Компания»... Помолчав, заговорили о том, что надо бы снова учинить столь же прекрасные вакации. Сделать их тоже «традиционными». Только ничего из этого не вышло...

У АН было замечательное свойство — тяга к игре, мистификации, выдумке. Наверное, оно как-то помогало сохранять себя в сложных, порой мрачноватых жизненных обстоятельствах. Мы с ним долгие годы играли в «Звездную Палату». Потом, когда о ней прослышали друзья, мы сами забыли: позаимствовано ли названье ее от высочайшего лондонского судилища столетья назад мятежников и еретиков? Или эпи-

тет «звездная» означал причастность к небесным сферам, сиянью и блеску? (Кстати, потолок вышесказанного судилища был изукрашен звездами.) Палата, учрежденная в 1970 году, состояла из двух особ — я был провозглашен Президентом ее, АН — Канцлером. Никаких противостояний между законодательной властью и исполнительной не возникало. Был разработан Статут, в коем сочетались начала монархические и республиканские. Властные полномочия Палаты были безграничны и, выходя за земные пределы, простирались на весь Универсум. Любые акты, решения Палаты составлялись собственноручно Канцлером. У меня сохранилась часть этих бесценных автографов: кое-какие указы, рескрипты, Положение о наградах с перечнем и описанием орденов. Исчезли, увы, поздравительные декреты по случаю тезоименитств Президента и Канцлера вместе с Пиршественными картами и проч.

После моего бракосочетания в бумагах Палаты появляется титул «Ее Президентское Величество, Королева». С особой радостью Канцлер воспринял весть о предстоящем появлении на свет моего чада. Он начинает череду особых указов. Вот один из них:

8 января 1973 года

Плод г-на Президента возведен в чин лейб-гвардии сержанта независимо от пола.

Президент
Канцлер

Ко дню своего рождения — к великому ликованию Палаты родился все-таки мальчик — он был уже произведен в лейб-гвардии майоры. Причем Канцлер соответственно повышал и «оклад денежного содержания». В связи со столь значительными событиями была упорядочена последовательность тостов на заседаниях Палаты.

28 мая 1973 года, в день моего рождения (сын Александр родился 20-го числа того же месяца), Канцлер составил указ, где младенец именовался Принцем и удостаивался звания лейб-гвардии полковника. Через десять дней Принцу Александру присваивается очередное звание генерал-аншефа, он назначается шефом-командиром личной гвардии Президента-Отца и лейб-гусар Ее Президентского Величества Королевы. Не прошло и двух месяцев, Канцлер новым указом — в знак признания совершенств красноречия Принца, проявленного в беседе с Президентом-Отцом и самим Канцлером,— назначает его шефом Культурной Академии Звездной Палаты...

Один из подобных указов, датированный 27 ноября 1973 года, начинается словами: «По случаю выполнения Канцлером ответственной

задачи к чести Таджикской Республики...» Посвященному смысл их ясен: АН, в качестве литературного «негра», вкалывал на Душанбинской киностудии, доводя до ума сценарий Фатеха Ниязи. Знаю, таким же образом приходилось ему подрабатывать на «Молдова-фильме». Хочу спросить у господ критиков: вот такая литературная поденщина и впрямь была уделом процветающих советских писателей?

Да Бог с ними! Вернусь-ка я лучше к «Звездной Палате». Так вот играли мы с АН, потешая и ублажая друг друга. Друзья, наслышанные о нашей забаве, потихоньку завидовали и старались быть принятыми в члены Палаты — даже с испытательным сроком. Но мы оставались непреклонны. Однажды мы с АН заглянули к жившему неподалеку от меня приятелю. У него была в гостях некая дама. Она, я приметил, сразу положила глаз на АН. Хозяин осведомился, как дела в Звездной Палате? Мы стали наперебой рассказывать о новых указах и готовой вот-вот разразиться войне с Люфтландией за поставки сыра с Млечного пути. Но тут дама, взволнованно одернув заграничный жакет, сказала: «Ни слова больше! Я — жена советского дипломата и дала подписку немедленно информировать органы, если услышу о какой-либо тайной организации. Но мне не хочется навлекать на вас неприятности»... Разговор зашел о чем-то другом. Вскоре мы откланялись. Когда мы с АН оказались у меня дома, я тихонько спросил: «Ну, что, будем жечь архив?..» Канцлер мое предложение отверг. И Палата продолжала свою деятельность, пока он не заболел и не слег...

АН обладал прирожденным талантом рассказчика. «Захватить площадку», как говорят актеры, ему ничего не стоило — в любой компании. Причем, никогда не прибегал к банальностям, не смеялся первый собственным остротам. Я часто вспоминаю его истории. Любимейшие из них те, что связаны с его пребыванием под знаменами Марса. Чего стоит поездка на танке за покупками на базар с мистическими дорожно-транспортными происшествиями, от которых, однако, никто не погиб! Или шествие в разгоряченном виде с петухом на поводке! (Этот сюжет использован во «Втором нашествии марсиан» — празднование половой зрелости петуха в кабачке у Япета.) Правда, петух, привязанный после прогулки к перилам лестницы, вдруг взлетел, веревка затянулась — и он не то погиб от несчастного случая, не то покончил с собой. А морские погони за японскими рыбаками-браконьерами... Романтическая прогулка в Новогоднюю ночь двух юных лейтенантов (один из них был АН), приглашенных неожиданно в дом двумя прекрасными девами; одна из них оказалась дочерью маршала и вышла замуж за спутника АН...

Или случай с сыном другого маршала, которому по приказу маршальши бронетранспортером доставлялась выпивка и закуска прямо на московскую гарнизонную гауптвахту, где с ним делил трапезу находившийся там же АН... Наконец, сватовство самого АН (в чине младшего лейтенанта) к внучке главы мясников столицы; здесь важно, что дед АН тоже являлся старейшиной мясницкого цеха. АН был отвергнут, но на всю оставшуюся жизнь запомнил меню, казавшееся чудом в голодный послевоенный год...

Но венцом его устных рассказов я считаю импровизацию, сочиненную за ужином в хлебосольном доме владивостокского ученого. Это было повествование о якобы предстоящем АН полете в космос. Старт был назначен на завтра. Манера изложения поражала естественностью, хотя и ощущалось понятное накануне такого события некоторое волнение. АН, встав из-за стола, вышел на середину комнаты. Говорил, чуть запрокинув голову, лишь изредка взглядывая на нас, притихших, отодвинувших тарелки и рюмки. Наверно, он видел воочию и огромный фотонный звездолет, мчавшийся к созвездию Льва, и своих спутников (среди них оказались и я, грешный, и Алик Городницкий), планету, на которой им предстояло высадиться... Впрочем, достоверность деталей в его изложении входила в некое противоречие с ироническим тоном, и становилось ясно: перед нами хитроумная пародия на опусы фантастов, даже угадывались ее адреса... Но тут приборы на звездолете АН обнаружили чужой корабль, принадлежавший, судя по всему, какой-то неведомой цивилизации. Маневры его казались угрожающими. На этом интригующем эпизоде АН оборвал повествование, предоставив слушателям теряться в догадках. Долго не умолкали восторги и комплименты. Засим продолжилось пиршество...

Несомненная артистичность АН, я думаю, особенно помогала ему в его переводческих трудах. Ведь переводчику необходимо перевоплощаться (постоянно) не только в различные чужие персонажи, но и в творцов этих персонажей. АН обладал качеством, выгодно отличавшем его от многих амбициозных деятелей «лучшей в мире советской школы художественного перевода» (один из «больших мифов» нашего прошлого). Качество это — выдающийся литературный талант. И еще он великолепно владел русским словом; органически усвоил языковые богатства классики и имел чуткий слух, воспринимавший звучавшую вокруг речь его современников — молодых и старых, людей самых разных профессий и «состояний» (пушкинское словцо, которым сам АН часто пользовался). А может, талант, и сам по себе, является ключом к сокровищ-

нице языка? Не ведаю! Зато убеждался не раз: русские тексты переводов АН рядом с захваленными поделками (дамскими и мужскими) удивляют своей подлинностью.

Переводчик А. Н. Стругацкий существовал в двух ипостасях: под своим собственным именем и как С. Бережков. Последний переводил фантастику: с английского («День триффидов», роман Джона Уиндема; рассказ Кингсли Эмиса «Хемингуэй в космосе»...) и японского (Кобо Абэ — повесть «Четвертый ледниковый период», рассказ «Тоталоскоп»...). Превосходные работы. Знаменательно, что переводчик, будучи сам мастером фантастического жанра, своеобразным и мощным, сохранил художественные особенности, почерк переведенных им авторов. Но мне, человеку с «востоковедным прошлым», милее и ближе переводы АН из японской классики. Я тоже переводил средневековую и современную прозу — вьетнамскую, но в духовной жизни, истории Японии и Вьетнама немало сходных черт. Прекрасно поэтому представляю себе все трудности — загадочные, порой чуть ли не мистические, подстерегавшие АН на этом пути. И могу оценить вдохновенное мастерство и изящество, с которыми он эти трудности преодолел. Украшением тома Библиотеки всемирной литературы — собрания классической прозы Дальнего Востока стали переведенные АН три новеллы из книг знаменитого Ихара Сайкаку, писавшего во второй половине XVII столетия (средь них моя любимейшая — «В женских покоях плотничать женщине»). Помню веселый пир на восточный лад, коим отметили мы с АН выход этого тома БВЛ, где соседствуем под одной обложкой.

Но истинным шедевром почитаю выполненный АН перевод «Сказания о Ёсицунэ», японского романа, написанного в XV или начале XVI века. Прочитав его в рукописи, я испытал нечто вроде легкого шока. Упросил АН выдать мне перевод до завтрашнего утра и перечитал его дома, желая — так бывало в детстве — понять, как это сделано. Нет, АН не злоупотреблял архаизмами, дабы воссоздать дух старины. Они поставлены на странице нечасто с тонким расчетом — так старые мастера клали кистью на холст блики света. В тексте существуют (в русской транскрипции) японские слова — термины, имена собственные. Они не только знаки иной культуры, реальности чужого быта, черты диковинной природы. Это созвучия музыкальной палитры текста, мы слышим его по-особому, как бы чуть-чуть по-японски. Здесь нет перебора: часть специальной лексики переведена, и для нее найдены точные эквиваленты в русской придворной, военной, религиозной терминологии. Но и остальные для русского читателя вовсе не тарабарщина — мно-

гие переведены, объяснены в комментариях. Приемы эти, вообще-то, известны; главное — соотношение их. Система — цельная и гармоничная. Иного читателя удивят иноязычные, заимствованные русским языком слова (паж, проспект, вассал, министр, рескрипт...). Вспомним, со стародавних времен при построении государства Российского в самых различных сферах: придворной ли, державной, военной, да и культурной и прочих приживались пришлые слова — греческие, латинские, немецкие, французские... Точно так же на Дальнем Востоке многие страны и, возможно, более прочих Япония, заимствовали из Поднебесной. Китайские письмо, преображенное позднее, этикет, основания словесности и художеств, технические достижения, само собой, и военные... Так что иноязычные слова — тоже знаки, мета определенного устроения жизни, сложных ее связей.

Думаю все же, той самой «старинности» и изящества русского воплощения АН достиг ритмическим строем своей прозы, ее музыкальным ладом. Если читать ее вслух, особенно заметны точное «попадание» в этот лад ударений и пауз. Открываю книгу и вслушиваюсь в первую фразу: «Когда обращаются за примерами воинской доблести к японской старине, то называют Тамуру, Тосихито, Масакадо...» И грозные громовые аккорды звучат в заключающем сказание периоде: «Помнить надлежит: богиня Кэнро отвергает тех, кто нарушает замыслы и последнюю волю отцов своих, достигших силы и славы праведными путями!» Как изысканно и как просто!..

Сама по себе работа над переводом сказания требовала основательных знаний японской истории и литературы. АН написал к книге предисловие и составил комментарии, все это, вместе взятое, можно считать подвигом. Но едва он сдал рукопись книги в издательство «Художественная литература», начались перипетии прямо-таки по М. А. Булгакову. Предисловие странствовало по Москве от рецензента к рецензенту и возникали противопоказания за противопоказаниями. АН написал яркую, нестандартную статью, действительно обращенную к широкому, как принято выражаться, читателю. Без заплесневелого наукообразия, привычных штампов. И подзаголовок у нее был «возмутительный» — «Инструкция к чтению». Уверен, шокировавшие утонченный вкус издателей и рецензентов особенности статьи суть отражение всегда интересовавшего АН поиска «острой» интриги в литературном произведении и породившей его исторической драме, тяги к игровой стихии. Но своя рука владыка: статью отвергли. Вдруг выяснилось: на предисловие и комментарий был составлен один общий договор. АН, обижен-

ный — нет, оскорбленный,— отказался печатать комментарии. А книга стояла в плане. Заказать комментарии другому автору значило потерять массу времени. Да и АН не отдал бы свою работу в чужие, «холодные» руки. В конце концов издатели уломали АН, комментарии и перевод ушли в набор (вместе с «правильным» предисловием другого автора).

На подаренном мне экземпляре романа АН написал: «...Вот оно, никогда не сбывается, что хочется. Янв. 85». Однако справедливость — с неизбежным опозданием — восторжествовала! В 1993 году фантастический альманах «Завтра» напечатал многострадальное предисловие.

Я люблю и другие переводы АН... Повесть «Пионовый фонарь» Санъютэя Энте. Автор ее — замечательный устный рассказчик и актер, сам читавший со сцены свою прозу с одним лишь веером в руке. В начале 80-х годов прошлого века за пятнадцать вечеров была сделана стенографическая запись «Пионового фонаря», изданного отдельной книгой. Действие ее происходит в XVIII веке. Вспоминаю об этом, чтобы уяснить непростую задачу, поставленную перед собой переводчиком. Она была решена с блеском. АН удалась «полетная» легкость разговорного слога, найдены речевые характеристики персонажей из разных сословий и мрачноватый тон повествования... А его великолепные переводы прозы великого Акутагава Рюноскэ! Я часто перечитываю «Нос» и «В стране водяных». Хотя знатоки-японисты особенно хвалят «Бататовую кашу». Вот, пожалуй, и все переведенные АН вещи классика. Но он написал еще и предисловие к тому новелл Акутагава Рюноскэ, вышедшему в Библиотеке всемирной литературы. И это эссе открыло для меня мир и судьбу японского мастера.

Своим учителем и наставником АН считал Веру Николаевну Маркову, замечательного художника. Ее переводы из японской классики (поэзии, прозы, драматургии) и фольклора — непревзойденная вершина мастерства. Великолепна ее русская интерпретация стихов американки Эмили Дикинсон. Юным читателям Вера Николаевна подарила полные поэзии и светлой романтики переложения преданий и эпоса европейских народов. В последние годы достоянием читателя стала и ее собственная поэзия, ведомая прежде лишь узкому кругу друзей,— поэзия мощная, пронизанная драматическим пафосом, трепетностью сердечной и острым ощущением времени.

Разумеется, формального ученичества не было. Для АН важно было параллельное чтение переводов Веры Николаевны и оригиналов. Делал он это досконально. Иногда советовался с нею, стараясь не быть

докучливым. Она писала предисловия к книгам, переведенным АН с японского («Пионовый фонарь», «Луна в тумане»), перевела украсившие прозу стихи. Общение с нею, думаю, было для него самым ценным. Бывая у В. Н. Марковой,— я вместе с АН тоже,— я замечал ее особую к нему сердечность. Ей нравилось угощать его. Она любила фантастику братьев Стругацких. Когда АН дарил ей книги, она всегда объявляла домашним: «Чур, я читаю первая!» Вера Николаевна вообще по-детски радовалась подаркам. Я всегда привозил ей из Индокитая лубки, традиционные игрушки. Как-то поделился с нею привезенными кем-то из Японии сувенирами АН. Между прочим, В. Н. Маркова, как и АН, ни разу так и не побывала в Японии.

С особым интересом читала она прозу, написанную АН «в одиночестве» под псевдонимом «С. Ярославцев». Не помню, чтобы она обсуждала эти произведения с АН, считая, видимо, тему щекотливой. Но со мной почему-то беседовала не раз о «третьей аватаре Аркадия» — так она нарекла С. Ярославцева. Мы сходились на том, что лучшая его вещь — «Дьявол среди людей». Я и сейчас так думаю. Не знаю, какова достоверность всех выкладок: сколько в С. Ярославцеве процентов от АН и сколько — от БН? И ровно ли по пятьдесят процентов от каждого во всех книгах под двумя именами? Я тоже избегал в разговорах с АН подобных тем. Но у каждого есть свои воспоминания, наблюдения, догадки. И для меня С. Ярославцев — это Аркадий Натанович Стругацкий. Потому и издание его сперва в серии «Альфа фантастика», а теперь и в дополнительном томе собрания сочинений братьев Стругацких для меня великая радость.

АН несомненно испытывал тягу — врожденную или благоприобретенную — к совместным трудам. Она простерлась и до меня, недостойного. Сперва это был замысел телевизионного сценария, лопнувший под начальственным дуновением. Но работать было интересно. Перерыли легенды древних вьетов, историческую литературу. Подискутировав, сочинили либретто. Все всуе. Потом возникла идея снять фильм на одной из среднеазиатских студий. Никто не заинтересовался. Мы на этом не успокоились и решили написать сценарий шпионского фильма. Название «Солнечный удар» и сюжет подарил нам чудесный актер Ю. В. Яковлев. У меня сохранились листочки с написанными рукой АН списком действующих лиц и кратеньким либретто. И эта идея не материализовалась. Примерно тогда же, году в семидесятом мой приятель Михаил Воронцов, тоже игравший в Вахтанговском театре, сочинил комедию по книге Стругацких «Понедельник начинается в суб-

боту». Судя по объему, ее пришлось бы играть несколько вечеров, как в китайском театре. Имелись уже и тексты песен. Причем Миша даже договорился с Максимом Дунаевским насчет музыки. На памятном симпосиуме (в античном смысле этого слова) я познакомил АН с Воронцовым. Они очень понравились друг другу. Постановлено было: пьесе быть! Сочтено необходимым решительно сократить число персонажей и эпизодов. Предполагалось, что это сделаем мы с М. Воронцовым под призором АН. Работали мы недолго, затем все оборвалось. Подозреваю: в двух последних случаях фатальную роль сыграла моя лень.

АН, ужаснувшись ее огромности, начал борьбу с этим пороком. Если прежде он выслушивал мои устные рассказы и только смеялся, то теперь неизменно требовал, чтобы я записал их. А равно усматривал в окружающей действительности для меня массу сюжетов. Публично хулил меня, угрожая всякими карами. И я сдался. Но появлявшиеся на свет рассказы не публиковались по причине их язвительного тона и общественной близорукости автора. Один лишь Андрей Егорович Макаенок, мой добрый приятель, подружившийся с АН, уповая на свою дружбу с П. М. Машеровым, тогдашним руководителем Белоруссии, обещал презреть цензуру и напечатать подборку моих рассказов в «Немане», где был главным редактором. Из Минска пришла верстка, и АН сказал: «Придется допустить, что есть справедливость». Но не успела, наверное, оная верстка вернуться восвояси, прибыла депеша из «Немана»: завотделом прозы писал черным по белому — «цензура сняла»... Остался один беззубый рассказ. Случилось это в шестьдесят седьмом...

А рассказ, вызвавший особый гнев цензуры, «Всеобщий порыв смеха», напечатали лишь в 1991 году в «ЛГ-Досье» с вступлением АН. Редакция попросила его разрешения использовать в этой публикации отрывок из предисловия к маленькой книжечке моих рассказов, вроде бы благосклонно принятых в одном московском издательстве. Само собой, книжка не вышла. И в июле того же года я отвез ксерокопию рукописи в подарок другу детства, ныне жителю Сан-Франциско. Для смеха сообщу: вернулся с семейством в Москву утром 19 августа все того же 1991 года.

Потом, неожиданно для меня самого, книжка — она так и называется: «Всеобщий порыв смеха» — вышла в Америке на русском языке с предисловием АН в девяносто втором. Только АН ее уже не увидел. А ведь он, как никто, умел радоваться успехам друзей. «Марька,— сказал бы он,— видишь, наша взяла!..» И напомнил, как чуть ли не четверть века назад, когда он нелестно отозвался о все том же «Всеобщем

порыве смеха», я тайком выбросил рукопись в мусоропровод. Так уж вышло, но АН почти сразу узнал об этом и заставил меня спуститься в чулан с мусорным контейнером. «Спасти,— как он выразился,— страдальца».

Я, конечно, переделал рассказ, но потом, при каждом возврате его из органов печати, АН объяснял мне: я, мол, нанес своему опусу оскорбление, и он (опус) в отместку не желает воплощаться печатно. К текстам, следуя восточным учениям, АН относился мистически. Следовало бы и мне, поклоннику тех же восточных учений и ритуалов, принести на место последнего успокоения АН свою книжку и сжечь, дабы он вместе с дымом обрел ее в мире ином. Но нет на земле могилы АН. Он завещал сжечь себя и развеять прах. И мы, пятеро друзей АН, получив в крематории скорбную урну, поднялись на одной из машин подмосковной вертолетной станции и исполнили волю покойного... Передо мной справка (их выдали каждому из нас) с указанием бортового номера МИ-2, даты, часа и координат места, где это произошло — градусы, минуты, секунды. Мне запомнился сверху декабрьский сосновый лес, пепельная лента Рязанского шоссе, на невысоком холме с ажурной опоры поблескивает большой шар. Это — антенна, окликающая спутники...

Людмила Абрамова*

— Известно, что в вашем доме бывали писатели-фантасты: Аркадий Натанович Стругацкий, Ариадна Григорьевна Громова. Расскажите, пожалуйста, об этих встречах.

— С Аркадием Стругацким я познакомилась в 1966 году, когда Володя был в Сванетии. Познакомились мы с ним вместе с Жорой Епифанцевым. А когда Володя вернулся, и ему был сделан этот драгоценный подарок.

Взаимное впечатление было, конечно, потрясающим. Особенно потому, что Володя еще в Тбилиси, в гостинице, написал «В далеком созвездии Тау-Кита» и «Марш космических негодяев». И этими песнями он поверг Стругацкого в состояние неимоверного восторга. В особенности песней про «Тау-Кита», потому что они в это время работали

---

* **Источник:** Абрамова Л. Факты его биографии: Л. Абрамова о Владимире Высоцком / Запись В. Перевозчикова.— М.: Россия молодая, 1991.— С. 22–24, 91–93.

над «Улиткой»... И Володя, и Аркадий очень гордились, что у них одновременно сработала мысль на эту тему.

— А Ариадна Громова?

— С Ариадной Громовой мы были знакомы раньше. Это было в один из дней пребывания в Москве Станислава Лема. Ариадна Григорьевна обладала феноменальной памятью, и задолго до этого она перевела Лему несколько Володиных песен, достала записи, рассказала о нем. И перед приездом Лем выразил желание познакомиться с Высоцким. Володя был приглашен на встречу с Лемом у Ариадны Григорьевны,— я думаю, это было в первой половине октября 1965 года. На этой встрече Володя пел для Станислава Лема и для всех, кто был на этом вечере.

— Мне говорили, что на этой встрече был и Александр Галич?

— Галича на этой встрече не было, и встречался ли Володя с Галичем, я не знаю. Мне недавно сказали, что они встречались в Риге в 1960 году. Тогда я об этом не знала. Какие-то песни Галича Володя пел, но на той встрече Галича не было. Хотя квартира была маленькая, в ней вместилось, наверное, человек двадцать... А Галич пел Лему на следующий день, в квартире Шурика Мирера. Я на этой встрече была недолго: я не столько хотела послушать Галича, сколько хотела получить автограф у Станислава Лема.

— Вы вместе с Высоцким увлекались тогда фантастикой, много ее читали. А, вообще, каков был круг чтения и, если можно так сказать, способ чтения Высоцкого?

— Я не очень люблю этот вопрос. Во-первых, Владимир Семенович личной библиотеки тогда практически не имел. Все книги, которые можно было считать его собственными, вполне укладывались в один портфель. Фантастики у него не было, мы начали собирать фантастику вместе в 62-м году, когда родился сын Аркадий. В качестве легкой литературы мне тогда было рекомендовано чтение фантастики, и мой отец принес в больницу сборник, в котором был роман Стругацких. Это были «Стажеры», и вот с того момента мы начали собирать фантастику.

А чтение... У Володи в времени не было просто так читать: взять книжку, сесть дома и читать,— почти никогда такого не было. Или мы куда-то шли, или у нас был какой-то народ... А вот в дороге он читал всегда. Где он брал книги? У кого-то из знакомых, иногда из библиотеки. На гастролях всегда много читал. А когда мы стали собирать фантастику, Володя любил, чтобы я читала вслух. Я даже не знаю, что он сам успел прочитать у Стругацких, практически все я читала вслух, даже самые длинные вещи: «Гадких лебедей», «Обитаемый остров»...— все

подряд. И надо сказать, что потом мне всю жизнь этого не хватало. Раньше я мало читала вслух, не было такой потребности. Ну, разве детям какие-то детские книжки... И уже никогда у меня не было такого слушателя. Володя никогда не засыпал, а я могла по десять-двенадцать часов подряд читать...

...В театр маленькие Никита и Аркадий тоже играли. Например, у них был спектакль из жизни Ломоносова. Никита с его серьезностью и вкусом к трагедии играл роль Рихмана, которого убило молнией. Аркаша, Ломоносов, надевал мои белые чулки и бархатную курточку. Для представления специально были изготовлены астрономические таблицы и куплен глобус. Астрономические таблицы Аркаша делал на картоне, нанося на него тонкие слои цветного пластилина.

Были еще сцены из «Трудно быть богом». Стругацкие — не просто любимые авторы. В честь старшего назван был наш Аркаша. Мы были знакомы. Я читала Володе вслух все романы братьев Стругацких (многие — в рукописях).

Бывало, хоть и редко, что А. Стругацкий заходил к нам на Беговую. Давно это было — осенью 1968-го...

Аркаша Стругацкий приехал «специально посмотреть на своего крестника» — нашего Аркашу, которому только что исполнилось шесть лет. Привез подарок — огромный зеленый пулемет, из блестящего, как зеркало, полимера. Мы с Леной содрогнулись: военных игрушек в доме не было. Мы с Володей были пацифистами. Имели хождение космические луноходы с дистанционным управлением (Семен Владимирович Высоцкий, отец Володи, находил где-то самые потрясающие и дорогие). Плюшевые медведи (один от Нины Максимовны, матери Володи, высотой почти с метр) и кубометры цветных кубиков. И вдруг — пулемет! Но мы содрогнулись молча — А. Стругацкий был кумир семьи, мы на него молились. Я и сын Аркаша и сейчас на него молимся, за него, точнее. Теперь уже давно заочно.

В большом волнении мы с Леной принялись готовить закуску и из кухни слышали громовые раскаты Аркашиного хохота, восторженные вопли детей и совершенно профессиональное исполнение Никитой (четыре года) звуков боя: пулеметные очереди, свист пуль, артиллерийская канонада, стоны поверженных противников и могучее «ура» наших. Некий нервический комок подкатил к горлу, когда Лена увела детей на прогулку, а я уселась со Стругацким за бутылку коньяка. Но я сдержалась.

Другой визит Аркадия Стругацкого я помню особенной памятью: он принес только что оконченную повесть «Отель "У погибшего альпи-

ниста"». Сказал, что это ерунда, и прочел вслух всю подряд. Я сама не дурак в чтении с листа любого незнакомого текста — я это люблю и умею — тому много свидетелей. Но как читал Стругацкий!

Он не раз, не два — часто приходил. Это всегда была нечаянная радость, и мы с сестрой бросались готовить стол. Мы любили всех кормить, а его особенно. Он и ел так же талантливо и красиво, как писал, как все делал. И вот еще помню его приход, еще до нашего с Володей развода, в июле 1967-го. А. Стругацкий жил с семьей на даче, мы его давно не видели. И гостей не ждали: у меня болели зубы, и физиономию слегка перекосило. Я была не дома, а у Лены, они с матерью, моей теткой, жили на улице Вавилова в первом этаже громадного кирпичного дома с лифтерами и пышным садом у окон. Аркадий позвонил именно туда и сообщил, что он в Москве, что скоро будет, потому что надо отметить событие: общий наш друг, математик Юра Манин получил какую-то премию, или орден, или звание, уж я не помню, но что-то очень хорошее и заслуженное. Его самого нет в Москве, но мы должны. Да! Мы должны! Зуб мой прошел, и физиономия распрямилась и просияла. Мы с Леной принялись за работу: застучали ножи, загремели сковородки. Форма одежды — парадная. Позвонили Володе в театр, там «Пугачев», спектакль недлинный, приходи к Лене, будет А. Стругацкий. Играй погениальнее, шибко не задерживайся. Ну подумаешь — фестивальные гости на спектакле! Ну поговоришь, они поахают — и к нам: Стругацкий не слышал еще ни «Жирафа», ни «На стол колоду, господа!»...

Стругацкий пришел с черным портфелем гигантского размера, величественный, сдержанно-возбужденный, поставил портфель в коридоре. Заговорили о математиках, о премиях, о японской фантастике. Я, улучив момент, на цыпочках вышла в коридор: такой портфель! Должно быть, там новый роман, должно быть, большой и прекрасный...

Шесть бутылок коньяка лежали в девственно-новом, пустом портфеле. Портфель по-японски «кабан». Японцы правы.

Аркадий Арканов

Братьев Стругацких в советское время правящая идеология относила к категории писателей-фантастов. С одной стороны, эта «принадлежность» позволяла печатать их книги, с другой стороны, как бы отделяла их от писателей основного и, пожалуй, единственного направления

советской литературы — направления социалистического реализма. И все, что не вписывалось в рамки этого понятия, должно было упаковываться в многослойные обертки. Одной из таких оберток была «научно-фантастическая литература». И талантливые братья использовали эту единственную возможность для реализации нестандартной литературы, хотя продвинутые читатели меньше всего считали их «научными фантастами» и поглощали их произведения как образцы настоящей литературы с большой буквы. При этом я с почтением отношусь и к «истинной», так называемой технической научной фантастике...

С Аркадием Натановичем меня познакомил мой и его друг Мариан Николаевич Ткачев, человек высшей степени образованности и интеллигентности. Я к тому времени относился к братьям Стругацким с величайшим почтением и пиететом. Я испытал чувство гордости от знакомства с одним из братьев, и, как мне показалось, Аркадий Натанович в свою очередь тоже проникся ко мне плохо скрываемой симпатией. Мы виделись с ним на литературных вечерах и за столиками ресторана Центрального Дома Литераторов. Мне льстило наше единовкусие в вопросах «что такое хорошо и что такое плохо». И порой нам хватало одного лишь иронического переглядывания, чтобы высказать свое отношение к некоторым деятелям советской литературы и их творениям. Я необычайно ценил точку зрения Аркадия Натановича и всегда старался показать ему одному из первых еще на стадии рукописи все, что сам считал для себя интересным. Мы умеренно поглощали напитки и еду, беседуя на вечные темы, включая НЛО и возможность существования инопланетных цивилизаций... Постепенно наши отношения пришли к тому, что вполне мы уже могли обращаться друг к другу на «ты», но с маниакальным упорством и даже, я бы сказал, с удовольствием общались на каком-то подчеркнуто графском уровне... «Приветствую вас, несравненный Аркадий Михайлович»,— встречал он меня и получал в ответ: «Несказанно рад встрече, ваше благородие Аркадий Натанович...» — «А как вы, дорогой Аркадий Михайлович, отнесетесь к идее отобедать в нашем с Марианом Николаевичем обществе?» — «Несказанно рад неожиданно открывшейся перспективе, вашество...» И так всякий раз...

Грустно без Аркадия Натановича... А с Борисом Натановичем я до сих пор не знаком. Вот как бывает...

Войцех КАЙТОХ

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ

Очерк творчества

Вступление

Жанр, предмет, основные положения работы —— Биография Аркадия и Бориса Стругацких — Дебют Аркадия — Продолжение биографии —*— Стругацкие как литературно-историческое и социологическое явление современной России — Попытки оценки творчества братьев в литературоведении СССР, опубликованные на русском языке.*

Предлагаемая читателю работа — очерк-монография — является результатом исследования, которое я назвал бы научной «разведкой». Работа содержит описание, классификацию и интерпретацию того, что удалось собрать, до чего удалось добраться. Важную роль здесь играют гипотезы, домыслы, даже интуиция. Это серьезный грех по отношению к «научности». Но если наука должна овладеть новым исследовательским пространством, освоить новый предмет,— кто-то должен начать. Я уверен, что найдутся и другие исследователи, которые займутся этой темой, так как полагаю, что советская (как и любая другая) популяр-

Источник: Kajtoch W. Bracia Strugaccy.— Krakow: Universitas, 1993.— 230 s. Пер. с польск. В. Борисова (БВИ).

ная литература достойна внимания литературоведов, а творчество братьев Стругацких — значительное явление европейской культуры.

Предметом этой «несовершенной монографии» являются 46 литературных произведений и 61 публицистическое и литературно-критическое высказывание разного рода — подписанные фамилиями или псевдонимами одного или обоих братьев (в том числе и те, в которых соавторами выступают другие лица). Все это в дальнейшем я буду называть «творчеством Аркадия и Бориса Стругацких»[1]. Другое определение исследовательского поля было бы неточным. Например, я не могу использовать выражение «произведения, написанные Аркадием и Борисом Стругацкими». Во-первых, мне совершенно неизвестно, каково «разделение труда» внутри авторского союза, во-вторых, в определенной степени можно предполагать, что рассматриваемые тексты свою окончательную форму приобрели при участии и других «соавторов» — цензоров и редакторов.

Кроме того, при написании работы я опирался на определенные предпосылки, своего рода постулаты. То есть в качестве истинной посылки принималось, что:

1. Все рассматриваемые произведения имеют одного автора. Эта категория сконструирована на основании информации о Стругацких, полученной непосредственно из их высказываний о себе или же логически следующей из их текстов.

2. Генезис творческой эволюции братьев связывается с воплощением ими в жизнь писательской программы, которая формировалась в зависимости от:

— текущей общественно-экономической ситуации в стране;

— традиций и соответствующих советских взглядов на литературу вообще, а на литературную фантастику — в особенности;

— откликов на их публикации со стороны критиков и читателей.

3. Конкретная форма и содержание произведений Стругацких являются как бы результатом столкновения вышеупомянутой программы (в соответствующей по времени версии) и объективной стихии, то есть тенденций развития выбранного братьями направления. При этом следует принимать во внимание эти тенденции и в советской, и в мировой литературе.

Таким образом, моя работа опирается на генетическо-прагматические домыслы. Не думаю, что следует этого стыдиться: какой-то принцип описания собранного материала должен существовать, а вышеприведенный — не хуже других.

Работа написана также языком, максимально приближенным к разговорному, чтобы ее мог взять в руки и неспециалист[2].

*

Отец писателей, сын провинциального адвоката, историк-искусствовед по образованию, российский еврей — Натан Стругацкий свою жизнь связал с революцией. В 1916 году он вступил в партию большевиков. Во время гражданской войны воевал в должности комиссара кавалерийской бригады в отряде знаменитого Фрунзе. В начале двадцатых годов, после демобилизации, оказался в качестве партийного работника на Украине и там женился на Александре Литвинчевой, дочери мелкооптового сельского торговца. Аркадий Стругацкий родился 28 августа 1925 года в Батуми. Отца вскоре направили на партийную работу в Ленинград. Там 15 апреля 1933 года появился на свет Борис.

Мальчики росли. Аркадий ходил в школу и — как это неоднократно подчеркивал, отмечая в детских и юношеских увлечениях важный источник своего последующего творчества — очень любил читать, а когда книг не было, слушать пересказываемые отцом произведения Жюля Верна, Артура Конана Дойла, «Приключения Гулливера», «Дон Кихот», «Приключения барона Мюнхгаузена» и другие классические фантастические истории, которые читают дети всего мира. Позже пришла очередь Герберта Уэллса и Карела Чапека. Любимым чтением была и советская фантастика, которая на переломе двадцатых и тридцатых годов достигла определенных высот. Молодой Аркадий, а позднее его брат зачитывались повестями и рассказами Александра Беляева и Алексея Толстого. Нельзя не вспомнить и об интересе к классической русской литературе, особенно к книгам Гоголя.

Война разделила семью. Сначала все оказались в осажденном Ленинграде. Отец ушел в народное ополчение, мать работала в городском исполкоме. В январе 1942 года умирающих с голоду Натана и Аркадия Стругацких эвакуировали из города по знаменитой «дороге жизни» по льду Ладожского озера. Грузовик угодил в пробитую авиабомбой прорубь. Отец погиб, а сын сначала попал в Вологду, а затем в Оренбургскую область, откуда годом позже был призван в армию[3].

Борис с матерью остались в Ленинграде. В середине пятидесятых Борис закончил математико-механический факультет Ленинградского университета по специальности астроном и стал аспирантом, работая в Пулковской обсерватории (а в начале шестидесятых получил еще профессию инженера-программиста).

Аркадий Стругацкий стал специалистом в области японской филологии. Из армии его направили на японское отделение восточного факультета Военного института иностранных языков, после окончания

которого, в 1949–55, он служил на Дальнем Востоке переводчиком и экспертом военной разведки. За год до завершения военной карьеры начал литературную деятельность.

Сейчас мало кто помнит, что дебютом Аркадия в прозе была написанная в соавторстве с другим офицером, Львом Петровым, повесть «Пепел Бикини», опубликованная в журналах «Дальний Восток» и «Юность», а затем вышедшая отдельной книгой. Повесть рассказывает о событиях, связанных с осуществленным в марте 1954 года Соединенными Штатами Америки взрывом водородной бомбы на атолле Бикини. Стругацкий и Петров, в рамках служебных обязанностей ежедневно имевшие дело с американской и японской прессой, были хорошо информированы о скандале, который разгорелся, когда оказалось, что в зону радиоактивного заражения попала японская рыболовная шхуна «Счастливый Дракон № 10», экипаж которой был поражен лучевой болезнью.

Книжечка объемом в 8 печатных листов не отличалась высокими литературными достоинствами, была беллетризованным документом и одновременно типичным для того времени примером «антиимпериалистической прозы». Первая часть повести, «В Тихом океане», информировала читателя о том, как могли выглядеть приготовления к взрыву, и рассказывала, как при капитализме одновременно угнетается и деморализуется подкупом рабочий класс. Вторая часть, «Небо горит», знакомила с повседневной жизнью японских рыбаков, также не оставляя сомнений в том, что в судьбе несчастного экипажа повинен и отечественный предприниматель. В самой интересной части, «Пепел смерти», речь идет о болезни и лечении жертв. Американские власти, представленные в лице полковника-врача Нортона, человека с «черным характером», предлагают врачебную помощь, но на самом деле заинтересованы в проведении медицинских экспериментов и получении от экипажа шхуны признания в том, что «Счастливый Дракон» нарушил границу запретной зоны, а значит, Пентагон не несет ответственности за случившееся. Усилия американцев задевают национальную гордость японцев.

Это сплетение противоречий могло бы стать основой для завязки интересного действия, проведения психологического или социально-политологического анализа, однако авторы не использовали появляющиеся возможности. Факты скорее упоминаются, чем описываются, о психологии и речи нет, так как внутренний мир героев не является самостоятельной ценностью (то есть персонажи мыслят и разговарива-

ют преимущественно о том, что важно для тезисов авторов). Стругацкий и Петров быстро переходят к извлечению окончательных выводов из происходящего: последняя часть «Поющие голоса» показывает рождение усиливающегося японского движения борцов за мир и успокаивает читателей, что милитаристы дорого заплатят за преступление. Действие развивается по хорошо известной, взятой из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского и десятков других произведений социалистического реализма схеме: положительный герой, честный, умный рыбак Кубосава умирает, но идея побеждает. Окончание содержит и мобилизующее предупреждение: «Враги продолжают вредить» — Нортон получает новое назначение.

«Пепел Бикини» в совместном творчестве братьев получил очень слабое непосредственное продолжение: один полуфантастический рассказ. Можно также вспомнить, что через двадцать лет, когда братья испытывали финансовые затруднения, Аркадий использует опыт работы по «ангажементу» и примет предложение написать сценарий[4] на производственную тему о строительстве большой гидроэлектростанции. Однако возникновение «Пепла...» свидетельствует об очень раннем проявлении, по крайней мере у Аркадия, социологической жилки и общественных амбиций, столь характерных для того, что братья писали позже. Имеет значение и факт использования одним из Стругацких в его дебюте соцреалистических штампов и схем.

Но вернемся к биографии.

В 1955 году, уволившись из армии, Аркадий провел несколько месяцев в Ленинграде (может быть, именно тогда закладывались основы будущего писательского сотрудничества братьев), а затем стал работать в Москве. Сначала в Институте научной информации, затем редактором в Гослитиздате (позже — издательство «Художественная литература»).

В 1959 году в Детгизе вышла их первая книга, затем другие. В 1964 году братья были приняты в Союз писателей СССР и стали профессиональными творцами. Жили порознь: Аркадий — в Москве, Борис — в Ленинграде. Но книги писали вдвоем; в одном из интервью, в 1981 году, вспоминали:

> За первые пять или шесть лет мы испробовали, по-видимому, все мыслимые методы работы вдвоем и вот уже пятнадцать лет, как остановились на самом, без сомнения, эффективном для нас.
>
> Мы собираемся вместе — в Ленинграде, или в Москве, или в какомнибудь Доме творчества. Один из нас садится за машинку, другой — ря-

дом. План всегда подготовлен заранее — весьма подробный план с уже продуманными эпизодами, героями и основными сюжетными поворотами. Кто-нибудь из нас предлагает первую фразу. Фраза обдумывается, корректируется, шлифуется, доводится до уровня готовности и, наконец, наносится на бумагу. Кто-нибудь предлагает вторую фразу... И так вот — фраза за фразой, абзац за абзацем, страница за страницей — возникает черновик. Черновик обычно отлеживается два-три месяца, а затем его тем же порядком (фраза за фразой, абзац за абзацем) мы превращаем в чистовик. Как правило, хватает одного черновика, но бывали и исключения.

Работаем мы обычно четыре-пять часов утром и час-два вечером. После окончания рабочего дня — обсуждение плана на завтра или обдумывание, наметка следующей повести.

При таком методе работы неизбежны споры, иногда свирепые. Собственно, вся работа превращается в непрерывный спор или, во всяком случае, в некое соревнование за лучший вариант фразы, эпизода, диалога. Взаимная нелицеприятная критика всячески поощряется, но при одном непременном условии: раскритиковал чужой вариант — предложи свой. В крайних случаях абсолютного отсутствия компромисса приходится прибегать и к жребию [33, 154–155].

Кроме литературного творчества в строгом смысле этого выражения Аркадий работал и в области японистики и время от времени занимался этим интенсивно. В восьмидесятых годах Борис избирался в секретариат ленинградского отделения СП СССР, вел семинар молодых фантастов, был членом приемной комиссии. Аркадий умер 12 октября 1991 года в Москве.

*

Кем были Стругацкие в восьмидесятые годы в литературе и литературной жизни своей страны?

Прежде всего, наиболее выдающимися творцами в избранном ими направлении. Объективность этой оценки подтверждается не только постоянным интересом к их книгам со стороны критиков и журналистов (особенно поражает количество взятых у Стругацких интервью). Это могло быть результатом преходящей моды, политического расклада и т. п. Но как иначе объяснить то, что мотивы, заимствованные из книг братьев, встречаются во многих произведениях молодых фантастов; а в некоторых[5] действие происходит вообще в реалиях «фантастических миров», когда-то выдуманных Стругацкими.

С другой же стороны то, что наши авторы написали, многочисленные пародисты и юмористы посчитали хорошо известным широкой публике, а значит, достойным объектом атаки[6].

Книги Стругацких также постоянно переиздавались. Напр., в 1980–89 годах в центральных и республиканских издательствах вышло (по моим данным) 11 книг общим тиражом более миллиона экземпляров — было переиздано 3/4 от всего написанного. Годы «перестройки» принесли, кроме того, журнальные переиздания или даже первые публикации всех их вещей, ранее бывших «не для печати». Дольше всего медлили с переизданием «Улитки на склоне» — вторая часть этой повести была не слишком оптимистичной и в новых условиях. Если добавить новинки, то можно смело говорить об издательском «буме»[7]. Из выпущенных в свет томов стоит отметить сборник объемом в 30 печатных листов, выпущенный в 1985 году московским издательством «Детская литература» в популярной серии «Библиотека приключений и научной фантастики» тиражом 100 тысяч экземпляров, изданный в связи с 60-летием Аркадия, 50-летием Бориса и 25-летием их совместной творческой деятельности. Издание же сборника «За миллиард лет до конца света» в издательстве СП СССР «Советский писатель» (Москва, 1985) стало официальным признанием значимости творчества братьев и фантастики вообще. До этого НФ там не публиковалась[8].

Стругацкие известны за границей. По данным 1986 года 22 их повести выдержали 150 изданий и переизданий в 22 странах[9]. Сотрудничали с кино. Экранизированный «Пикник на обочине» — снятый в 1979 году Андреем Тарковским «Сталкер»[10] — получил одну из главных наград фестиваля в Каннах и мировое признание. На экран также перенесены: «Отель "У Погибшего Альпиниста"» (1979, реж. Г. Кроманов), «Понедельник начинается в субботу» («Чародеи», 1982, реж. К. Бромберг), «За миллиард лет до конца света» («Дни затмения», 1988, реж. А. Сокуров) и «Трудно быть богом» (1988, реж. П. Фляйшман). Были сообщения о работе над сериалом по «Обитаемому острову»[11].

Популярность братьев среди русских читателей трудно себе даже представить. Прежде всего следует учитывать недавний гигантский дефицит и фантастики, и любой другой развлекательной литературы на тамошнем рынке. Поэтому мерой спроса на книги Стругацких в последний период существования СССР могут быть их рекордные цены на черном рынке: 10, 15, 20 рублей за издания с номинальными ценами, не превышавшими 3 рубля; то, что ходило в самиздате, было еще дороже. О том, до какой степени абсурда дошло неудовлетворение спроса, свидетельствует факт появления самодельных фальсификаций. Как «неизвестное произведение» Стругацких продавали, например, искаженный перевод «Хризалид» Джона Уиндэма («The Chryzalids», 1955); были также дописаны «недостающие главы» «Обитаемого острова».

Зато наверняка не любили Стругацких некоторые чиновники. Доказательством этого могло служить хотя бы традиционное отсутствие авторов на международных конвентах создателей и любителей НФ. Не занимали они также ответственных постов ни в аппарате Союза писателей СССР, ни даже в органах, имеющих непосредственное отношение к советской НФ, а именно: в Совете по приключенческой и фантастической литературе при СП СССР или в аналогичном органе при СП РСФСР.

Популярность и значение творчества братьев в их стране имели, однако, минимальное влияние на количество публиковавшихся общедоступных серьезных научных или литературно-критических работ по исследованию написанного ими.

Три из таких работ, опубликованные в 1970–72 гг., сейчас весьма устарели. Однако они свидетельствуют, что если бы книги Стругацких не издали в конце 1972 года на Западе, монографических очерков, посвященных им, было бы значительно больше. За последующие 15 лет не вышло ни одного. Очередная попытка цельного взгляда на творчество братьев появилось в ленинградской «Неве» лишь в 1988 году — литературно-критическая статья среднего размера.

Наименьшую ценность представляет работа А. Шека «О своеобразии научной фантастики А. и Б. Стругацких», опубликованная в «Трудах Самаркандского Государственного Университета им. Навои» в 1972 г. Это работа чисто нормативного характера. Автор, оперируя узким определением НФ как «литературы, показывающей коммунистическое будущее», явно переиначивая и обедняя, рассматривал лишь те произведения братьев, которые удавалось притянуть под это определение. Располагая материалами до 1968 года, он ограничился лишь частью произведений, изданных до 1964 года. Позднейшие позиции, как идейно ошибочные, он лишь осудил. Развитие творчества Стругацких он видел так: в первых книгах их интересовали героические деяния людей коммунизма, в последующих — философские и общественные проблемы, связанные с построением коммунизма и развитием этой формации, а в «Далекой Радуге» они достигли высоко оцененного синтеза — изобразили наиболее полный образ общества новой эры. Рассуждения А. Шека характеризовались совершеннейшим антиисторизмом, игнорированием формальных проблем, примитивным взглядом на вопросы идеологического содержания литературных произведений. Это содержание рассматривалось им всегда однозначно, в соответствии со смыслом произвольно выбранных, понимаемых дословно и безотносительно к контексту, рассуждений персонажей и рассказчика.

Другая работа, двадцатистраничный обзор творчества Стругацких, вошедший в состав VII главы монографии А. Ф. Бритикова «Русский советский научно-фантастический роман», вышедшей в 1970 году, хотя также была нормативно-ценностной, написана несравнимо более серьезно. В обзоре было рассмотрено то, что издали авторы до 1967 года включительно, а кроме того, Бритиков использовал критерий «создания правдивого образа коммунистического будущего и его людей» лишь для оценки ранних, утопических книг братьев, что и имело под собой основание. Рассматривая же более поздние вещи, которые он классифицировал как: пародийный памфлет, «повести-предупреждения» (то есть дистопии) или вообще — «фантастика как прием» (то есть фантастика, использующая символико-аллегорические образы или же попросту отдельные фантастические мотивы для рассмотрения серьезных современных проблем), критик использовал общий критерий «научности». Под этим критерием понималось соответствие идейных установок произведения принципам научного коммунизма. Обращаю внимание на слова «идейные установки произведения»: Бритиков — консервативный соцреалист, но уже шестидесятых годов — допускал мысль, что представленный мир литературного произведения можно понимать не только дословно, и считал (по тем временам в Советском Союзе это было не столь очевидно), что миры НФ не обязаны конструироваться с учебником марксизма на коленях.

Бритиков должным образом оценивал значение Стругацких. Был приверженцем не только их ранних повестей и рассказов (которые, впрочем, упрекал во многих несоответствиях доктрине), но также, например, «Попытки к бегству» и «Трудно быть богом» — которые рассматривал как рассуждения о возможности вмешательства человека в историческое развитие, равно как и «Второго нашествия марсиан» и даже «Хищных вещей века» — по его мнению, памфлетов о мещанах и мещанстве. Но в то же время он остро критиковал первую часть (Кандид) «Улитки на склоне» (вторая часть лишь упомянута) за то, что содержащиеся в ней тезисы о моральных сложностях понимаемого тоталитарно, направленного против человека прогресса показались ему слишком «абстрактными» и пропагандирующими «индивидуализм», а что хуже всего — метафорический мир «Улитки...» по Бритикову открывал «простор самым субъективным гаданиям» [112, 358] на тему того, что под ним понимать.

К сожалению, заинтересованный главным образом доктринальными вопросами Бритиков, так же как автор рассмотренного выше обзора, не обращал внимания ни на связи писателей со своим временем, ни

на художественные проблемы. Этого последнего недостатка лишено обширное эссе «От техники к человеку», вошедшее в книгу Адольфа Урбана «Фантастика и наш мир» — сборник довольно больших, снабженных научным аппаратом очерков о некоторых важнейших творцах и проблемах советской фантастики.

Урбан лично знал братьев, был горячим сторонником их книг. И, быть может, в результате склонности к теоретизированию, был лучше ориентирован в эволюции соцреалистической доктрины, нежели эрудит Бритиков. Он воспользовался в своих рассуждениях входящим в шестидесятых годах в употребление понятием «романтического метода». И считал, что Стругацкие используют этот метод.

В период дебюта братьев советская интеллигенция была охвачена волной «научно-технического романтизма». Это выражалось в очаровании достижениями науки и цивилизации. Интеллигенция черпала в них веру в близкое построение коммунизма, была готова к жертвам. Это и привело к мысли о «романтизме» Стругацких, который прежде всего должен был проявляться, с одной стороны, в стремлении к использованию произведений как средства пропаганды определенных идей, а с другой — в попытках эффективно воздействовать на эмоции читателей. Отсюда в книгах этих авторов должно появляться внутреннее противоречие между обязанностями пропагандировать и исследовать духовный мир. Ибо выполнение первых требует каким-то образом помещать в произведение общую проблематику, а выполнение вторых — создавать убедительные, психологически правдивые характеры. Создавать реалистических героев, а не резонеров и не символы.

Это противоречие по-разному проявлялось на очередных этапах творчества авторов. В ранних, технологических или социальных утопиях — в «расчленении» повествования на статичные главы-трактаты и главы, описывающие приключения, «толкающие действие вперед». Позднее, когда Стругацкие уже овладели искусством опосредованной характеризации: персонажей — поступками, а миров, в которых живут эти персонажи,— фактами и событиями, все-таки оставалась еще некоторая напряженность. Герои или фантастические миры не до конца создавали впечатление реалистичных (то есть вызывающих у читателя чувство своей правдивости), постоянно обнаруживались следы априорной «укладки их» в соответствии с принятым «заранее» планом. Извержение разнообразных форм, которое наступило в творчестве Стругацких во второй половине шестидесятых годов, Урбан связывал именно с попытками «уйти» от вышеописанного противоречия и заканчивал анализ вопросительным знаком...

То, что окончательные выводы Урбана носили эстетический характер, конечно, не означало, что он не уделил достаточно много внимания пересказу и рассмотрению идеологического содержания произведений. Анализ шел по двум направлениям и чаще всего, к сожалению, без обозначения связей между одной и другой сферами. По мнению критика, братья начинали с заинтересованности технологической утопией и с размышлений над достоинствами и недостатками «романтических» и «позитивистских» жизненных позиций, оставаясь к тому же под обаянием морального прагматизма. Затем создали образ коммунистического общества, а после этого у них начался зрелый период «социально-философской фантастики», когда они занялись моральными аспектами «вмешательства» людей в естественное развитие общества, стали обличать потребительское отношение к жизни, бюрократию и т. д., пропагандировать идеи самостоятельного анализа действительности и т. п.

Работа Урбана до сих пор остается наиболее серьезной. Автор учитывал публицистику и литературно-критические работы Стругацких. Он проявил гражданскую смелость, положительно упоминая о столь «скандальных» произведениях как «Сказка о Тройке» и «Обитаемый остров». Его работа была актуальна, он рассматривал в ней и «Малыша». К сожалению, критик не избежал неточностей в деталях, особенно при рассмотрении ранних произведений братьев. Не удалось ему также — как и его предшественникам — увязать их творчество со временем. Он лишь мимоходом намекал: «Все мы помним те годы...», и таким образом отмечал отсутствующие в анализе звенья.

В этом нет ничего удивительного. Трудно говорить об исторической обусловленности явления, если из-за цензурных рогаток нельзя ничего говорить об истории. Возможность исторического анализа современной литературы появилась в России лишь в последнее время. Наверняка еще появятся статьи о творчестве Стругацких и будут они совсем не такими, как написанные много лет тому назад. Первой такой ласточкой является очерк М. Амусина «Далеко ли до будущего?».

У этого автора вообще нет сомнения в том, что на Стругацких следует смотреть прежде всего как на представителей своего поколения, творчество которых — восторженное в годы XXI съезда КПСС, борющееся в шестидесятые годы, пессимистичное и переходящее в размышления о нравственности в семидесятые годы — нужно рассматривать как отзыв на общественную ситуацию времен правления Хрущева и Брежнева или (косвенно) более ранних времен. Даже художественные особенности этой прозы: создание весьма убедительного фантастического хронотопа, наличие сенсационного мотива «тайны», многочислен-

ные элементы «литературной игры» с читателем,— в толковании Амусина вытекают из гражданских амбиций авторов, из их настроенности на то, чтобы притянуть, заинтересовать читателя, а затем развить в нем навыки самостоятельного критического анализа действительности.

Я не буду здесь детально разбирать эту статью, а сущность представленного в нем подхода хочу показать на примере анализа «Второго нашествия марсиан». А. Шек, соцреалистический традиционалист, осуждал это произведение, так как для него оно было извращенным образом светлого грядущего. Бритиков и Урбан, соцреалисты более или менее прогрессивные, хвалят повесть, рассматривают ее как памфлет, направленный против мещанства, считают добротной реализацией одной из фантастических разновидностей. Амусин же подчеркивает, что главной мишенью в этой книге является «архаичный, дорого обходящийся обществу стиль управления, некомпетентный и недемократичный по своей сути» [149, 155], а конкретно Стругацкие «обращаются к исследованию типа сознания, во многом порождаемого подобными деформациями общественных структур и механизмов», и высмеивают его с помощью героя, который попросту «убежден: в его судьбе все определяется не зависящими от него причинами, игрой внешних сил, которым приходится безропотно подчиняться» [там же].

Глава I

ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ КНИГА

О том, как им пришла в голову мысль написать книгу —— Контексты дебюта (а): соцреализм — Контексты дебюта (б): научная фантастика в дореволюционной России; научная фантастика в СССР двадцатых годов и мировая фантастика; последующие тридцать лет и господство «теории ближнего прицела» —*— Контексты дебюта (в): литературно-критическая полемика с «теорией ближнего прицела» в середине пятидесятых — «Страна багровых туч» как соцреалистическая повесть и реализация постулатов полемики — «Страна...»: поверхностная социальная критика и глубокий сталинизм мира, представленного в повести.*

О том, как возникла первая повесть Стругацких «Страна багровых туч», советский критик, специализирующийся в области научной фантастики, Вл. Гаков писал:

> Когда в середине пятидесятых годов два молодых человека, братья — лингвист и математик, запоем читавшие научную фантастику, в споре с такими же энтузиастами пожаловались как-то на отсутствие хороших книг, они в ответ услышали «провокационное»: «Критиковать-то легко, а попробуйте, напишите сами!» Братья приняли вызов... [35]

Принимая во внимание тот факт, что повесть была написана в 1956 году, а ее подробный план был разработан годом раньше,— датой принятия вызова (конечно, если эта история подлинна) [12] можно считать именно 1955 год. Но даже если это легенда, многочисленные позднейшие выступления Стругацких не оставляют сомнения в том, что «Страна багровых туч» имела программный характер. Это была повесть, написанная «против...», выражение недовольства состоянием этого вида литературы.

А впрочем... каким было это состояние? Что Стругацким могло не нравиться в советской фантастике сороковых и первой половины пятидесятых годов (а именно она могла быть предметом критики братьев)?

*

Какое место занимала фантастика вообще, а научная в особенности, в советской литературе соцреалистической системы?

Виды фантастики, не опирающиеся на рациональную концепцию действительности, не признавались. Современная сказка (фэнтези) и фантастика ужасов не развивались в СССР, последняя даже была, наравне с порнографией, ходульным доводом упадка литературы Запада. Развлекательная НФ (напр., «space-opera») стала жертвой общей неприязни к развлекательной литературе. В то же время о фантастике, могущей иметь познавательную ценность, было два мнения.

Умерший в 1933 году Анатолий Луначарский, сторонник утопической литературы, считал, что развитие писательской деятельности такого рода «открывает доступ элементам, строго говоря, выходящим за формальные рамки реализма, но нисколько не противоречащим реализму по существу, потому что это не уход в мир иллюзии, а одна из возможностей отражения действительности,— реальной действительности в ее развитии, в ее будущем» [82, 498]. Соответствие должным образом насыщенной идеологически социологической фантастики, представляющей будущее, теории и практике ортодоксального социалистического реализма [13] не подлежит сомнению. «Действительность не дается глазу. А ведь нам необходимо знать не только две действительности — прошлую и настоящую, ту, в творчестве которой мы принимаем известное участие. Нам нужно знать еще третью действительность — дейст-

вительность будущего» [58, 419],— заявлял в 1935 году Максим Горький.

Партийное руководство признало эту истину, однако, лишь после XX съезда КПСС в 1956 году, а точнее, после выхода первой большой коммунистической утопии, «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова (1957). До этого о «научной фантастике» как правило думали иначе: вменяли ей в вину «первородный грех» — то, что она не была реалистичной, то есть не показывала того, что действительно существует. Воинственное мышление 1934–57 годов не видело в литературе третьей возможности, кроме реализма и антиреализма. Результатом было торможение развития вида.

Эволюция научной фантастики в России — как и во всем мире — проходила под знаком Жюля Верна и Герберта Уэллса и двух распропагандированных ими литературных течений: технологической утопии, основанной чаще всего на описании необычного изобретения, зачарованной возможностями науки и техники, и социологической утопии, обеспокоенной обычно будущим общества. Оба эти направления — особенно второе — прошли долгую эволюцию, но лишь во второй половине девятнадцатого и в начале двадцатого века в творчестве вышеназванных писателей приобрели художественную форму приключенческого (или иного) рассказа или повести. Среди русских писателей XIX века, интересовавшихся этой областью, обычно называют имена князя Владимира Одоевского, литературного критика и философа, автора повести «4338-й год. Петербургские письма» (1840), и Николая Чернышевского, который в свой программный роман «Что делать?» (1863) ввел утопическую главу. На переломе веков научно-фантастической литературой увлекались российские символисты, прежде всего Валерий Брюсов, который в довольно мрачных видениях «Республики Южного Креста» и «Земли» (1907) выражал свойственное интеллектуальной атмосфере тех лет беспокойство о судьбе европейской культуры, которой, с одной стороны, угрожал расцвет тоталитарных идеологий, а с другой — дегенерация. Но у истоков советской НФ стоит не он, а Константин Циолковский, который имел обыкновение излагать свои научные идеи о полетах в космос в форме слегка беллетризованных рассказов, в которых основные научные и технологические факты могли быть удобоваримее (устами героев, а не в виде математических формул) описаны, а прежде всего, показаны, и деятель революционного движения, сначала соратник, а позднее — идейный противник Ленина, критикующий марксизм с позиции философии Маха и Авенариуса, один из руководителей художественной группировки Пролеткульт, Александр Богданов. В 1908 го-

ду он издал выдержавшую несколько переизданий после 1917 года социальную утопию «Красная звезда», в которой создал образ социалистического общества на Марсе.

В двадцатые и тридцатые годы на карте фантастических видов в мировой литературе, прежде всего в США, произошли изменения, приведшие к возникновению научной фантастики в ее сегодняшней форме — science fiction. Течения психологической и социологической утопий окончательно «перемешались» и деградировали: разработанные в них мотивы стали попросту фоном для переживаний или только приключений героев; НФ — это уже совершенно развлекательный вид, «для чтения», без особых популяризаторско-научных амбиций [14]. Этот процесс нашел отражение и в советской литературе.

Соответственно, после окончания гражданской войны, в русской научной фантастике в период ее первого «бума», в самых дерзновенных произведениях, а были это не только книги Толстого и Беляева, пересекались (хотя и редко в таком равновесии, которое свидетельствовало бы о действительно высокой ценности произведения) три течения. Рассмотрим «Гиперболоид инженера Гарина» (1925): используемый авантюристом «гиперболоид», то есть что-то вроде лазера, и реализованный им план добычи золота из земной коры более-менее соответствовали тогдашнему уровню знаний (и одновременно были достаточно фантастическими, чтобы заинтересовать читателя; погони, войны и убийства обеспечивали читателю развлечения); окончательный захват Гариным власти над миром и ее утрата в результате пролетарского бунта составляли утопический компонент.

Впрочем, изображения будущего мира всеобщей справедливости (то есть утопическое направление) в советской литературе описываемого и последующего периода были немногочисленны [15]. Элемент утопии сводился чаще всего к образам близкой мировой революции или даже только революционных битв. Даже Александр Беляев, первый в русской и советской литературе писатель, занимавшийся исключительно фантастикой, был представителем направления Ж. Верна. В центре большинства из написанных им примерно 40 произведений был либо фантастический аппарат, либо необычное индустриальное предприятие, медицинский эксперимент и т. д., трактуемые автором очень серьезно, как популяризация возможных достижений науки. Изобретение было средоточием фабулы, вокруг него обычно разворачивалось занимательное, сенсационное действие. Утопическим фоном служил опять же образ революции. Или же социально-утопический компонент мог

проявляться в «социологическом освещении» происходящих событий. В конце жизни Беляев пробовал также показать мир коммунизма.

Наконец, третье направление, развлекательное, исключительно низко оцениваемое советскими знатоками предмета, представляли, напр., «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» (1924) и «Лори Лэн, металлист» (1925) Мариэтты Шагинян, «Трест Д. Е. История гибели Европы» (1923) Ильи Эренбурга, «Остров Эрендорф» (1924) и «Повелитель железа» (1925) Валентина Катаева (я перечисляю наиболее известных авторов), которые тогда называли повестями «красного Пинкертона» или «красного детектива», поскольку они были сознательной попыткой создания революционной, сенсационной советской повести, способной конкурировать с аналогичными произведениями на Западе и пародирующей их штампы. Эти повести изобиловали авантюрным действием, направленным против классового врага, в них было множество сатирических и гротескных эпизодов, они часто имели автотематический характер — пародировали и образцы, и самих себя, оперировали научно-фантастическими элементами, сознательно не претендующими на «научность» в такой же степени, в какой не претендуют на нее космические корабли в произведениях типа «space-opera». (Я обращаю внимание на сознательную ненаучность фантастических мотивов при их внутреннем научно-фантастическом характере, так как это позволяет отличить западную НФ и «красного Пинкертона» от неуклюжих реализаций технологических утопий, которые вызывают смех вопреки воле авторов.) «Красный Пинкертон» обладал еще одним интересным свойством: пародийные ситуации и насмешки над штампами должны были по замыслу авторов обучать широкого читателя марксизму. Вот пример из «Месс-Менда»: согласно марксизму труд играл решающую роль в очеловечивании наших животных предков. Перелицованная и преувеличенная мысль дала у Шагинян мотив превращающихся в обезьяноподобных бестий миллионеров — ведь они ничего не производят! Ничего удивительного, что это направление не вышло за пределы двадцатых годов, и лишь в некоторой степени его продолжением (но уже без автопародии) стали антибуржуазные сатиры Лазаря Лагина.

Следующие 30 лет прошли под знаком господства технологического направления. Развлекательное направление угасло: для соцреалиста литература — дело весьма серьезное. Трудность с конструированием занимательного действия фантасты преодолевали, «импортируя» из производственных повестей погони за шпионами. Лишь изредка представляемые ими производственные, технические или научные пробле-

мы были настолько интересными, что открывалась возможность замены обычных приключений «приключениями мысли» героев. (Как, напр., в «Генераторе чудес» Юрия Долгушина, 1939 г.) Попыток представить коммунистическое будущее было очень мало, правда, стоит упомянуть о появившихся в тридцатых годах военных утопиях, воспевающих победу СССР в ожидающей его войне. Как правило, социальный мир в издаваемых тогда книгах был показан более убого, чем даже в производственных романах. Почему? Может быть, потому, что писатели обязаны были тогда писать о современности? Может быть, потому, что создание утопии требовало представить иные, нежели существующие в те времена, социальные решения, что могло бы закончиться смертельно опасными подозрениями? А может быть, в конце концов, потому, что будущее общественной действительности предвидеть труднее, чем технику, а уровень реалистичности (или ценность произведения) определяли по точности предсказаний.

Автор первого из известных мне синтетического обзора советской научной фантастики, О. Хузе, в 1951 году серьезно упрекал ее в том, что «ни в одном из романов не предугадано всемирное движение народов за мир, являющееся существенной силой, сдерживающей развязывание новой мировой войны» [56, 354], из чего делал вывод, что «элементы социальной утопии в советской научной фантастике могут лишь проиллюстрировать недопустимую недооценку со стороны писателей научного предвидения на основе марксистско-ленинской науки о законах развития капиталистического и социалистического обществ» [56, 354–355], снабдив все это воинственным комментарием:

> На примере несостоятельности фантастических прогнозов в области социальных коллизий отчетливо выступает граница правомочий научной фантастики. /.../ Советская художественная литература может изображать тенденции развития жизни общества только на прочной марксистско-ленинской, научной основе. Забвение действия объективных законов развития приводит к утопии, произвольному фантазированию, лишает советскую литературу ее силы как могучего источника образного познания действительности, выхолащивает правду жизни, которая является непременным условием литературы социалистического реализма [56, 355].

Так что нет ничего удивительного в том, что издательства старались не вступать в опасную зону.

> Невероятно, но факт,— вспоминал А. Беляев,— в моем романе «Прыжок в ничто», в первоначальной редакции, характеристике героев и реалистическому элементу в фантастике было отведено довольно много места.

> Но как только в романе появлялась живая сцена, выходящая как будто за пределы «служебной» роли героев — объяснять науку и технику, на полях рукописи уже красовалась надпись редактора: «К чему это? Лучше бы описать атомный двигатель» [54].

(Говоря о реалистическом элементе и характеристике героев, Беляев имел в виду лишь «типичных личностей на фоне типичных конфликтов».)

Эти принципы были обязательными и для произведений строго технической тематики. Если уж фантастика описывает несуществующие вещи, то они должны соответствовать текущему состоянию науки и наверняка осуществляться, если — как и все виды советской литературы — фантастика должна служить обществу, то пусть служит как можно проще, пропагандируя развитие производства и прикладных наук. О рассказах Вадима Охотникова из сборника «На грани возможного» (1947), название которого вошло в критическую обойму как одно из определений главного направления в фантастике тех лет, писали, что

> в его рассказах особенно привлекает конкретность и реальность фантазии. Те «фантастические» приборы и механизмы, о которых пишет автор, в большинстве своем либо находятся уже на грани осуществления, либо представляются вполне осуществимыми с точки зрения ближайших перспектив развития нашей техники. Это и увлекает мысль читателя, толкает его на самостоятельные размышления, возбуждает желание самому работать над осуществлением таких же или подобных им замыслов [55, 5—6].

Издатели запрашивали консультации о произведениях у специалистов, снабжали их научными послесловиями, словариками фантастической и научной терминологии и т. д., критики с цифрами в руках проверяли возможность ввода в действие такого, а не другого проекта. В сороковых годах появилась увенчивающая этот способ мышления о задачах научной фантастики так называемая «теория предела». Она гласила, что темой книг должны быть изобретения и проекты, которые войдут в жизнь в течение ближайших 15 лет, никак не больше. В ином случае автор «отрывается от действительности» и не служит развитию отечественной экономики, а значит, является космополитом. Теорию признавали как критики, так и писатели, трактуя ее очень серьезно. Лидер фантастики пятидесятых годов, издаваемый гигантскими тиражами, Владимир Немцов предпослал своей повести «Осколок Солнца» (1955), действие которой основано на перипетиях, связанных с эксплуатацией экспериментальной солнечной электростанции, следующее лирическое вступление:

В это лето ни один межпланетный корабль не покидал Землю. По железным дорогам страны ходили обыкновенные поезда без атомных котлов. Арктика оставалась холодной. Человек еще не научился управлять погодой, добывать хлеб из воздуха и жить до трехсот лет. Марсиане не прилетали. Запись экскурсантов на Луну еще не объявлялась.

Ничего этого не было просто потому, что наш рассказ относится к событиям сегодняшнего дня, который нам дорог не меньше завтрашнего. И пусть читатели простят автору, что он не захотел оторваться от нашего времени и от нашей планеты. Правда, он рассказывает о технике пока еще не созданной, но разве дело в технике? [60, 3]

Кроме тематических ограничений на облик фантастики влияли: мнение о ней как о литературе, предназначенной исключительно для молодежи, и — как следствие равнодушия соцреалистической литературной критики тех лет к вопросу формы литературного произведения — полное отсутствие интереса к художественным достоинствам (О. Хузе даже не отличал научно-фантастический рассказ от научно-популярного, футурологического очерка). Влияла также советская экономическая мысль и практика эпохи, нацеленная в те времена среди прочего на решение энергетических проблем.

Заурядное научно-фантастическое произведение сороковых и пятидесятых годов, как правило, камерно описывало историю работы над каким-нибудь изобретением вроде лучевого «бура» для горных работ из «Шорохов под землей» Охотникова (1947); могло увеличивать масштабы изобретений, делая их революционными для определенной отрасли промышленности, как в случае подводного танка для бурения на морском дне («Золотое дно» Немцова, 1949), описывать историю исследований определенной научной проблемы, напр., получения продуктов из химического сырья («Судьба открытия» Н. Лукина, 1951). Или же представляло гигантские, могущие изменить облик всей планеты начинания, создавая их по образцу так называемых великих строек коммунизма. Излюбленным мотивом, напр., было отепление Арктики, о котором повествовали «Изгнание владыки» (1946) Г. Адамова и «Новый Гольфстрим» (1948) А. Подсосова. Этот последний выдвинул также проект орошения среднеазиатских пустынь с помощью поворота на юг сибирских рек, проект, который обсуждался еще на XXVII съезде КПСС. Как я уже вспоминал, авторы остерегались показывать социальные последствия внедрения в жизнь изобретений, ограничиваясь возможным использованием в наиболее удовлетворяющих требованиям критиков книгах мотивов, типичных для производственных романов (то есть борьба с врагами, которые пытаются помешать промышленным успехам

советского государства, конфликт новаторских и консервативных взглядов в управлении строительством, героизм в преодолении трудностей и последствий катастроф, личные осложнения у героев, напр., когда у влюбленных различные взгляды на труд и др.). Поэтому и рассказы о больших фантастических стройках получили название производственно-фантастических. Здесь стоит еще обратить внимание на боевой дух, свойственный участникам событий, как в зеркале отражающий отношение советских марксистов тех времен к природе. Исповедовали тогда тезис, что человек с природой *сражается,* и не волновались по поводу — как сказали бы мы сейчас — охраны окружающей среды.

*

В 1955 году фантастика, с которой братья могли бы брать пример, делая вывод из кратко рассмотренного состояния этого вида литературы, не могла вызывать восторга... даже у консервативных сторонников социалистического реализма. Производственно-фантастические романы были больны «схематизмом», произведения же, остающиеся «на грани возможного»,— скучные, и таким было мнение Стругацких. Их ужасала незначительность тем: «Мне запомнился рассказ, в котором речь идет о... сапогах с нестирающейся подошвой» [41],— вспоминал Борис через двадцать лет [16]. Тем не менее в мышлении критики о научной фантастике и в отношении к ней тех, кто управлял искусством, уже начали — как я полагаю — медленно происходить изменения, явно связанные (хотя это и трудно доказуемо) с «оттепелью», с критикой «культа личности», которая вскоре прозвучит, с изменением экономической стратегии и с подготовкой руководством КПСС объявленной в 1961 г. с трибуны XXII съезда III Программы КПСС, так называемого «Плана строительства коммунизма».

Тогда появились еще редкие голоса, призывавшие сделать научную фантастику литературой «великой мечты», которая должна заниматься не пропагандой новейших изобретений, а описанием будущего. Родился проект поручить этому второстепенному и «подозрительному» виду литературы чуть ли не ключевые задания.

Но было ясно, что с литературной точки зрения фантастика до этого не доросла. Предлагалось ослабить ограничения в футурологическом направлении. Фантаст уже не был бы обязан давать безошибочные подробности, достаточно было точно определять тенденции развития. Не обязательно руководствоваться исключительно признанными, внедренными в практику знаниями о технике, наоборот! Он по возможнос-

ти должен использовать самые современные научные достижения и гипотезы. (Принцип «научности» еще надолго останется в силе, для некоторых остается в силе и сегодня.) Высказываются пожелания распространить на НФ все права и обязанности «большой литературы», то есть социалистического реализма, одновременно напоминается о его «будущностной» направленности.

Начинают писать, что научно-фантастическая литература должна наконец создать достойную этого имени коммунистическую утопию, а в книгах технологического направления надлежащее место должен получить показ социальных последствий данного достижения. Предложено как бы проведение повторного синтеза технологического, утопического и приключенческого элемента. Так могли бы возникнуть книги и интересные для читателя, и пропагандирующие науку, и высокохудожественные. Художественная ценность произведений в соцреализме должна достигаться правильным сочетанием времени действия и характеров, а полнокровных (то есть типичных) описаний людей нельзя добиться, если не создать соответствующий образ жизни вместе с его конфликтами, ибо это две стороны одной медали. Убедительная фигура героя была условием распространения на фантастику категории пафоса, тем самым этот вид литературы становился достойным той высокой миссии, которая ему предназначалась. Вызвать энтузиазм в строительстве коммунизма у читателя может героический и романтический образ персонажей, героев, которых хотелось бы представлять себе как далеких потомков.

В 1955 году пожелания, представленные мной здесь в несколько развернутом виде, высказывались еще очень тихо. Наверняка многие творцы и деятели думали по-старому, если НФ определяли как «литературу, которую интересуют пути технических решений любых проблем, научные гипотезы, открытия, изобретения сами по себе» [104, 272], еще в 1968 году[17]. И даже автор большой статьи «Пути и проблемы советской научной фантастики» (в сб. «Вопросы детской литературы».— М.–Л.: Детгиз, 1955.— С. 106–162) — моего основного источника изучения корней перелома, который произойдет несколькими годами позже,— С. Полтавский, не был в состоянии вообразить несхематичное исполнение собственных пожеланий: напр., образцом героев для него были персонажи романа «Далеко от Москвы» Василия Ажаева.

Таким образом, ищущие — как любой, кто начинает — какой-нибудь поддержки, Стругацкие располагали не бог весть каким конгломератом новых проектов в зачаточном состоянии и устаревших образцов. Посмотрим, что у них получилось.

Тема «Страны багровых туч» однозначно выходила за границы фантастики «на грани возможного» или «близкого прицела» экспедиция на Венеру... девяностые годы... Отсутствие героя юношеского возраста и сердечных осложнений персонажей позволяло классифицировать ее — по крайней мере в те времена — как книгу для «старшей молодежи». В частности, неясное упоминание о каком-то скандале на далекой космической станции, закончившемся смертью жены будущего руководителя экспедиции, Анатолия Ермакова, и запретом на участие женщин в далеких путешествиях, не вмещается в поэтику прозы для молодого читателя. Кроме того, ясно видно, что Стругацкие следовали новым предложениям. Повесть должна была быть и высокохудожественной (то есть иметь «несхематичных» героев), и «научной», то есть популяризирующей наисовременнейшие знания, и развлекательной, держащей читателей в напряжении. Она должна была также исполнить социалистическую мечту о наиболее полном видении будущего общества, полемизировать со схемами, характерными как для прозы недавнего прошлого вообще, так и фантастики в особенности. Впутались авторы также и в несмелую критику современности, чем дали только свидетельство полного ее непонимания, но об этом позже.

Довольно большая для дебюта, шестнадцатилистовая повесть разделена на три части. В первой молодой русский инженер, Алексей Быков, прибывает по вызову в Москву, где с удивлением узнает, что ему предлагают принять участие в космической экспедиции в качестве водителя танка-транспортера, на котором — уже на Венере — планируется путешествие к окраине необычайно богатого рудного месторождения, к Урановой Голконде. Мы знакомимся с фотонным космическим кораблем «Хиус», который из-за большей, чем у «старых атомно-импульсных ракет», мощности должен совершить переворот в межпланетных путешествиях. Вторая часть посвящена перелету и космическим приключениям шестерых смельчаков. Третья — описание исследования планеты. После необычайно трудной посадки экспедиция разделилась. Быков с коллегами отправляется на транспортере к Голконде, по дороге один из них таинственно погибает. Оставшиеся добираются до места, строят временный космодром для последующих экспедиций, проводят первичную геологическую разведку территории. На обратной дороге подземный ядерный взрыв уничтожает транспортер, гибнет руководитель Ермаков. В последней главе изнуренная болезнями, отсутствием кислорода и голодом тройка доплетается до корабля, хотя пилот «Хиуса» Крутиков был вынужден изменить место стоянки. Произведение

заканчивается эпилогом, описывающим настоящую победу над Венерой,— письмом геолога Юрковского, написанным четыре года спустя после основных событий учащемуся в Высшей Школе Космогации Быкову.

Стругацкие решили прежде всего воспользоваться старой, беляевской, и даже более ранней традицией — вышепересказанная фабулярная схема типична для приключенческой повести о путешествии. Дополнительно, чтобы еще сильнее «приковать» читателя к тексту, авторы ввели связывающий действие мотив сенсационной тайны — так называемое «красное кольцо». Оказывается, такие кольца создают на грунте небелковые бактерии, «питающиеся» радиоактивностью и — когда приближается подземный атомный взрыв — ожидающие вокруг. Именно в такое кольцо попал транспортер. Сенсационный элемент уже не был — заметим — традиционной погоней за шпионами и был призван исполнить роль ключевого камня, естественного для НФ (в отличие от используемых до этого, чуждых данному виду литературы), включенного в фантастическое действие и несущего научные знания.

Однако писатели не могли отказаться и от попытки выполнить в фантастике требования социалистического реализма, а потому решили утяжелить эту схему еще и общественной проблематикой. Для этого использовали производственно-фантастический образец. Фабула приключенческого произведения о путешествии, как правило, односюжетна (иногда она делится на два параллельных сюжета) и заключается в смене приключений — от эпизода к эпизоду. У Стругацких она должна была исполнить роль скелета содержания, характерного для соцреалистической производственной повести, где действие опирается на интриги, происходят конфликты и столкновения двух сил, что требует вообще-то многосюжетной фабулы, так как читатель должен побывать с рассказчиком во всех сражающихся лагерях. Задача была трудной. Стругацкие справились с ней, как бы перенеся второй, связанный с деятельностью «врага», сюжет в мысли героев, маскируя его.

Итак, если посмотреть на «Страну багровых туч» как на производственное произведение, то главному классовому конфликту здесь соответствует конфликт людей с дикой природой, обуздать которую — и есть главное задание человека. Решив справиться с обязательным показом этого конфликта, Стругацкие, с одной стороны, придумали много действительно грозных опасностей космоса и планеты, что улучшило повесть, но, с другой стороны, им пришлось использовать такое необычное средство, как непосредственное одушевление Венеры; герои без

перерыва подчеркивают, что ведут с ней войну, что это битва, а жертвы сравниваются с фронтовыми потерями. Они даже угрожают: «Мы еще вернемся... Придем сюда! За смерть нашу, за муки... отплатишь! /.../ Закуем в сталь, в бетон! Будешь работать!» [1, 307] Здесь результат был отрицательным, так как никоим образом нельзя превратить планету в такого противника, как империалистические агенты, и вышеуказанные декламации звучат искусственно. Решение конфликта опять было реализовано в соответствии с традицией «оптимистической трагедии», в эпилоге и в заканчивающей собственно повествование, полной пафоса сцене: уцелевшие космонавты слушают сигналы установленных ими радиомаяков и знают, что товарищи не напрасно погибли, что за ними придут другие.

Конфликт «Люди — природа», задуманный как главный в коммунистическом обществе, лишь частично мог защитить повесть от обвинений в «бесконфликтности» и, поскольку к тому же не был исчерпывающе убедительным в своей реализации, требовал дополнения. Поэтому братья ввели и другое: сторонники прогресса и консерваторы, а также индивидуализм — коллективизм.

Полет «Хиуса» был постулирован в соцреалистической поэтике как «переломный момент в жизни общества». Ракета огромной мощности должна позволить людям стать хозяевами в Солнечной системе (человечество к моменту начала действия летает в космос уже тридцать лет — это подчеркивание было полемическим по отношению к традициям советской фантастики, так как описываемые до тех пор экспедиции были, как правило, первыми) и добыть гигантские богатства, что изменит жизнь на их планете. Вокруг идеи нового двигателя была и продолжается борьба мнений. Теперь должно наступить окончательное решение: если «Хиус» не вернется, консерваторы возьмут верх и исследования Космоса затормозятся. Это косвенно вызывает конфликт и в экипаже. Косвенно — так как его цементирование как коллектива (опять типичный соцреалистический мотив) представлено схемой конфликта индивидуализма с коллективизмом. Эквивалент негативного героя (космонавт и коммунист совершенно отрицательным быть не может), отличающийся наиболее слабой среди персонажей психофизической выдержкой, Юрковский, считает, что «всегда и везде впереди шли энтузиасты-мечтатели, романтики-одиночки, они прокладывали дорогу администраторам и инженерам...» [1, 120]. Такое мнение неприемлемо для советского марксиста тех лет и встречает бурные возражения других героев, считающих себя «обычными работниками». Если бы мнение Юрковского по-

бедило, то экипаж не сумел бы, возможно, выбраться, погиб бы сам, погубил сделанное и — здесь гипотетические сюжеты соединяются — похоронил бы идею фотонной ракеты. Самым серьезным, хотя и только «в мыслях» (о настоящем конфликте в экипаже космического корабля все же и речи быть не может), противником Юрковского является главный герой и наиболее симпатичный персонаж — Быков. Они не любят друг друга, но Юрковский признает авторитет человека, которого до этого тихо презирал, что свидетельствует о положительном внутреннем переломе (еще один типовой мотив).

Введение в приключенческое произведение проблематики родом из производственной повести создало реальную угрозу для «индивидуального формата» героев, психологического правдоподобия их поступков и мыслей. Поскольку действие касалось чего-то другого, экспедиции,— всю проблематику, связанную с вышеописанными конфликтами, пришлось представлять и разрешать исключительно с помощью внутренних монологов и диалогов, иногда целых тирад. К этому же приводила и необходимость передачи научно-популярной информации теми же средствами. Несмотря на то, что россияне в гораздо большей степени, чем поляки, привыкли к ежедневным разговорам о «великих делах» и использованию «высоких слов», героям «Страны багровых туч» грозила бы безнадежная схематизация, искусственность, если бы не усилия писателей придать положительным персонажам немножко спорных черт (напр., этот почти идеальный Быков иногда испытывает сильный страх) — и наоборот. А кроме того, спасал Стругацких юмор, настоящая индивидуализация языка, стремление к представлению обычных, человеческих жизненных ситуаций. Герои шутят, у них есть личные заботы (от одного из них ушла жена), а иногда они реагируют совершенно нетипично: первый раз увидев человека в скафандре, растерявшийся Быков попросту его отколотил. В результате персонажи, «люди коммунистического будущего», несмотря на то, что в их описаниях проявились недостатки, следы их априорного конструирования по «производственным» образцам и теории марксизма (то есть в соответствии с марксистским идеалом всесторонне развитой личности), были настолько реалистичными, что критика вынуждена была признать: Стругацкие показывают «людей будущего, максимально напоминающих современников», и увидеть в этом отличительное свойство их писательства, что окончательно свидетельствовало об убедительности образов. К сожалению, касалось это лишь персонажей безусловно первого плана. Другие, особенно «стальной» Ермаков, продолжали недавние, теперь признаваемые уже бесславными, традиции.

Впрочем, я думаю, что Стругацкие тогда, сохраняя верность основным принципам поэтики соцреалистического реализма в ее тогдашней реализации, попросту не считали художественной ошибкой возможность оставить некоторым героям функции лишь носителей пафоса.

Писатели не выступили и против штампов, связанных с введением в НФ-произведение научно-популярной проблематики. Лекции из разных областей читали Быкову товарищи, он сам напоминал себе основные факты из энциклопедии и справочников с неоправданной психологически подробностью, что фатально отражалось на его индивидуальном образе, вторично его схематизировало. Иногда в роли лектора приходилось выступать и авторам.

Научно-популяризаторские задачи трактовались в «Стране...» серьезно, авторы старались показать читателю возможности развития наук, находящихся в зачаточном состоянии (химия полимеров) или чуть более развитых (ядерная физика и энергетика), вспоминали о недавно еще запрещенных в СССР: теории относительности, кибернетике, генетике и т. д. Мир будущего они насытили также новыми изобретениями, не «чудесными», но вполне предсказуемыми в пятидесятые годы (видеофон, хлорвиниловый плащ), чем повесть несколько соотносилась с «ближним прицелом». К слову, Стругацкие старались, насколько могли стараться ученый-теоретик и гуманитарий: кроме действительно точных сведений из астрономии и убедительного описания космических феноменов, которое несравнимо с тем, что было в фантастике до них, и даже сегодня не производит впечатления анахронизма,— «перспективы развития науки и техники» подавались читателю словотворчеством, разными «атомокарами» и необычными идеями вроде ткани, у которой «ориентация молекул одного слоя перпендикулярна по отношению к ориентации молекул другого», что было, видимо, довольно простодушной аналогией фанеры. Замечательными были и биологические описания.

Ну и наконец, Стругацкие старались выполнить задание, предначертанное писателям теорией и практикой социалистического реализма, то есть задание участвовать в общественной жизни, причем делали это не только косвенно, показывая «материализованный» идеал (именно эту роль предстояло играть НФ-литературе), но и непосредственно: пробуя оценивать недавние времена. И проявили здесь весьма слабую наблюдательность. Их перспектива ограничилась регистрацией самых внешних проявлений общественного зла: «Думаю, что повелось так еще с давних времен, когда нужно было «накачивать» людей, воодушевлять их для выполнения обычной, элементарной работы» [1, 125],— так, на-

пример, протестовали герои, узнав о запланированном перед отлетом торжественном обеде. И в то же время в повести бескритично перенесены в относительно близкое, но все-таки уже коммунистическое будущее наиболее «глубинные» черты общества сталинских лет.

Вот каков этот будущий мир. Быков читает газету, которая так его трогает, что он хочет взять ее на корабль как напоминание и символ родной планеты:

> «Смелее внедрять высокочастотную вспашку» — передовая. «Исландские школьники на каникулах в Крыму», «Дальневосточные подводные совхозы дадут государству сверх плана 30 миллионов тонн планктона», «Запуск новой ТЯЭС мощностью в полтора миллиона киловатт в Верхоянске», «Гонки микровертолетов. Победитель — 15-летний школьник Вася Птицын», «На беговой дорожке 100-летние конькобежцы».
>
> Быков листал газету, шелестя бумагой.
>
> «Фестиваль стереофильмов стран Латинской Америки», «Строительство Англо-Китайско-Советской астрофизической обсерватории на Луне», «С Марса сообщают...» [1, 128].

Если не считать увеличения масштабов экономических предприятий и не принимать во внимание конкретные исторические мелочи, эти названия отличаются от заголовков газет пятидесятых годов только одной существенной деталью: мир будущего живет в мире. Это впечатление Стругацкие успешно усиливали, хотя и простейшим из возможных способов, старательно называя самые разные национальности космических героев. Кого только здесь не встречаем, о ком не слышим! Не считая народов СССР, в повести упоминаются англичане, чехи, китайцы (только в изданиях до 1968 года), индийцы, бразильцы. Особенно богато представлен третий мир, что для читателя должно быть признаком преодоления диспропорций в мировой экономике. Все сотрудничают, космическими полетами управляет всемирный совет, то есть Международный конгресс космогаторов. Скорее всего, или уже свершилась мировая революция, или, по крайней мере, две политические системы не противостоят друг другу, поскольку произошло разоружение. Быков учился в *бывшей* школе автобронетанковых войск. Внимательному читателю еще сильнее бросится в глаза милитаристская муштра и резкая информационная регламентация в окружении Быкова, атмосфера военного лагеря во всей космонавтской организации.

Не удивляет драконовская дисциплина приготовления к полету, которая может быть обоснована требованиями, предъявляемыми к человеку межпланетным пространством. Военный шик и команды могли быть

остатками традиций. Но руководитель подготовки к полету Краюхин является абсолютным владыкой во всей организации. Ежеминутно он кого-то распекает за задержки выполнения работ, сам следит за каждой мелочью. Вместе с Ермаковым он устраивает страшный скандал из-за сбоев в снабжении... Писатели не подумали, что показывая балаган и дисциплинарные методы его преодоления, перенося в будущее централизованную экономику военного типа сталинских лет, они вообще ставят под сомнение возможность достижения успехов при такой системе управления в деле развития эксплуатации космоса в широких масштабах. И соответствует ли такая картина хотя бы теории коммунизма?

Безусловная централизация накладывает свой отпечаток и на личности. Сомнениям Быкова, который не знал, соглашаться или нет на предложение участвовать в экспедиции, положило конец заверение Краюхина в том, что он давно уже «держит его на примете», и убежден, что он справится. По мнению Алексея, вышестоящий начальник и государственный деятель «знает лучше» его возможности, чем он сам!

Может быть, самым нелогичным и при этом имеющим наибольшее значение для развития действия явлением оказывается царящий в краюхинской организации принцип сохранения тайны и регламентации информации, свойственный для иерархических общественных групп военного типа. Зачем нужны секреты, сеть охранников, проверки пропусков, если уже решены проблемы всеобщего разоружения? Герои не могут искренне поговорить даже друг с другом. Я уже упоминал о последствиях, которые имел бы для дальнейшего покорения космоса несчастливый финал экспедиции. Во время радиосеанса с кораблем Краюхин хотел бы как-то предостеречь Ермакова, напомнить ему, как много будет зависеть от того, будет ли он предельно осторожен, но не решается, так как при этом пришлось бы раскрыть подчиненному (приемному сыну!) факт существования различных мнений в руководстве Комитета.

Да... Из-за приключенческой начинки «Страна багровых туч» до сих пор читается в России и в Польше. Теоретические, программные стремления авторов сегодня уже незаметны, их можно определить, лишь «препарируя» тексты в процессе историко-литературного анализа. Технологическая, космографическая и иная информация устарела или широко известна. Но повесть осталась интересным документом ограниченности человеческой фантазии, особенно в том, что касается общества. Станислав Лем упрекал когда-то [18] американскую НФ в некотором социальном консерватизме. Это касается также и советской фантастики до определенного момента ее истории.

Глава II

НА СЛУЖБЕ ПРОПАГАНДЫ

Изменение условий развития жанра; в милости у партийного руководства; новое поколение фантастов — Роль «Туманности Андромеды» Ефремова — «Война молодых и старых» в дискуссиях о фантастике на переломе десятилетий; литературно-критическое контрнаступление неосталинистов — О сущности соцреалистической футурологии —— Новые идеи в рассказах Стругацких конца пятидесятых годов: попытки преодоления производственного типажа, очарование модными отраслями науки и техники, уроки психологизации — Первая атака догматичной критики на писателей — Еще о контрнаступлении неосталинистов —*— Коммунистическая утопия братьев «Возвращение»: обзор технологических и футурологических идей, иллюстрация тезисов марксизма, подобие и отличия видений Стругацких и Ефремова — Первое предзнаменование отрезвления.*

На дворе, скорее всего, 1957 год. Молодые писатели несут свою первую книгу в издательство Детгиз, которое издаст ее после сравнительно небольших пертурбаций, уже награжденную на конкурсе министерства просвещения РСФСР. Может быть, обсуждают свои творческие замыслы? Они не могут предвидеть, что в течение пяти ближайших лет опубликуют одиннадцать рассказов и четыре крупных повести. Сомневаюсь, что они ясно предугадывали, чем станет их любимый вид литературы в конце текущего и в начале будущего десятилетия, но я уверен, что, как и тысячи молодых людей в СССР, они смотрят в будущее с оптимизмом.

Годы 1953–1964, период правления Никиты Хрущева, были в советской истории важным временем. Именно тогда СССР стал мировой державой и обрел промышленную мощь. Но это был и момент еще больших обещаний, оглашения грандиозных планов, пробуждения надежд.

Именно тогда же, на переломе шестидесятых, после долгих лет прозябания на обочинах литературной жизни, научная фантастика стала объектом непосредственного интереса гигантской махины Союза писателей СССР, прессы и партийных издательств, то есть «идеологического фронта». Результатов не нужно было долго ждать. За десять лет с 1957 по 1967 текущая издательская «продукция» русской советской НФ

возросла по сравнению с предыдущими 15 годами в три раза[19]. Она пользовалась несравнимо большей заинтересованностью критики, которая в советской литературной действительности чаще всего исполняла функции непосредственного представления взглядов партийного руководства, хотя бывали и исключительные случаи различия во мнениях.

Главной издающей НФ силой стала «Молодая гвардия», небольшая «фантастическая» редакция которой под руководством также пишущего Сергея Жемайтиса и Белы Клюевой дала свет практически всем вновь появляющимся в СССР подвидам НФ, предприняла издание многотомной серии новинок «Библиотека советской фантастики» и 15-томной «Библиотеки современной фантастики», знакомящей с мировыми достижениями. Издательство «Мир» занялось переводами (серия «Зарубежная фантастика»), «Детская литература» традиционно пропагандировала НФ для молодежи (серии «Библиотека приключений», «Библиотека приключений и научной фантастики» и др.), издательство «Знание» — НФ, популяризирующую науку (с 1963 г. «Знание» издает собственный альманах). Что касается периодики, то фантастику наиболее охотно помещали «Техника — молодежи» и «Знание — сила». Серьезные литературные или научно-литературные издания типа «Литературной газеты», «Вопросов литературы» и т. д., а также центральная пресса и литературные ежемесячники (так называемые «толстые журналы») публиковали, скорее, рецензии. Чтобы не слишком приукрасить картину, добавлю, однако, что наиболее серьезные высокохудожественные государственные издательства фантастику в шестидесятых годах не печатали, что свидетельствовало о наличии в писательской среде известных сомнений относительно эстетических возможностей этого вида литературы. Не удались и попытки создать специальный журнал фантастики.

Кроме активно работающих представителей двух направлений фантастики «ближнего прицела», то есть Александра Казанцева, Георгия Гуревича, Александра Шалимова, которые сумели приспособиться к новым требованиям, и издавна специализирующегося в фантастическом политическом памфлете Лазаря Лагина, а также «отца» новой НФ — Ивана Ефремова, на переломе пятидесятых и шестидесятых годов дебютировала многочисленная плеяда литературной молодежи: Георгий Мартынов (ровесник Ефремова, но дебютировал в 1955), Генрих Альтов (1961), Илья Варшавский (1964), Евгений Войскунский и Исай Лукодьянов (1961), Север Гансовский (1963), Геннадий Гор (деб. в фантастике в 1961), Ариадна Громова (1962), Анатолий Днепров (1962),

Михаил Емцев и Еремей Парнов (1964), Валентина Журавлева (1960), Ольга Ларионова (1965), Владимир Михайлов (1962), Игорь Росоховатский (1962), Владимир Савченко (1959). Дебютировавшие формально в 1958 году повестью «Извне» Стругацкие выросли в лидеров этого поколения. В эти же годы впервые в советской истории НФ появились профессиональные литературоведы и критики, для которых она стала объектом постоянного или довольно длительного интереса: Кирилл Андреев, Евгений Брандис, Владимир Дмитревский, Анатолий Бритиков, Юлий Кагарлицкий, Борис Ляпунов, Всеволод Ревич, Юрий Рюриков.

Новое поколение, будучи под впечатлением фактов, революционизирующих науку и технику, оставалось под обаянием проблем космонавтики, физики, электроники и кибернетики, генетики и биологии. Оно проявляло реформаторские стремления в литературе — его интересовала не только технологическая фантастика, но и социальный памфлет, юмореска, попытки использовать опыт великой русской классики в анализе психологии персонажей. Некоторые из этих писателей даже начали разрабатывать конкурентный по отношению к ортодоксальным подходам специалистов взгляд на суть литературной фантастики,— но лозунг «фантастика — это литературный прием» не сразу обрел звучание. Поначалу была охотно принята «рука помощи» старших братьев — старые литературные образцы и предложения государственных покровителей. Для тех же, кто не хотел больше оставаться в кругу популяризации политехнических знаний и поэтики «малой мечты», примером и образцом была «Туманность Андромеды».

Ефремов, ученый-палеонтолог, автор фантастических рассказов и исторических повестей, написал роман с серьезными философскими претензиями, новаторской по тем временам формы и чрезвычайно «современной» тематики: о жизни коммунистической Земли, объединенной и являющейся членом галактического союза цивилизаций — «Великого Кольца». Во время работы писатель сначала разместил действие в районе 5000 года, затем приблизил время коммунизма на тысячелетие, а после запуска первого искусственного спутника Земли вообще заменил точные определения дат «на такие, в которые сам читатель вложит свое понимание и предчувствие времени» [125, 7]. К этой книге я еще вернусь, но уже теперь замечу, что она была написана буквально «с учебником марксизма» в руках — в ней представлены не только будущая техника и будущие «социальные конфликты», что уже входило в традиции НФ, но и быт, и психология людей такие, какие, по мнению создателя романа, могли бы возникнуть в условиях, более способствующих раз-

витию человеческой личности, существенно отличающихся от сегодняшних. Пример.

Один из героев, Мвен Мас, самовольно проведший эксперимент, закончившийся смертью товарищей, решает удалиться на Остров Забвения, где живут люди, которые психологически не способны выдержать высокие требования, предъявляемые в те времена. Уже на острове он встречает девушку, которую преследует агрессивный мужчина, «пережиток прошлого». Мвен Мас защищает девушку. Начинается стычка: «Мвен Мас пошатнулся. Ни разу в жизни он не встречался с рассчитанно безжалостными ударами, наносимыми с целью причинить жестокую боль, оглушить, оскорбить человека. /.../ Но Мвен Мас уже овладел собой. /.../ Он припомнил все, чему его учили для битвы врукопашную с опасными животными»,— и через минуту: «— Прочь с дороги! — Мвен Мас не шелохнулся. Наклонив голову, он уверенно и грозно стоял перед Бетом Лоном, чувствуя прикосновение вздрагивающего плеча девушки. И эта дрожь наполняла его ожесточением гораздо сильнее, чем полученные удары»[20] (разрядка моя — *В. К.*) [125, 233–235].

Эпизод иллюстрирует тезис о возможных последствиях коллективного воспитания, дает меру эмпатии и общественного инстинкта коммунистического гражданина.

Чтобы выполнить свою задачу, Ефремов должен был или хотя бы частично отказаться от авторских разъяснений, или постоянными комментариями превратить роман в эрудированный трактат. Он выбрал первое решение, доверился аналитическим способностям читателей: большинство узловых проблем писатель старался или (как выше) показать «на примере», или объяснить устами людей будущего, не имеющими потребности (кроме конкретных случаев) давать самим себе исчерпывающие разъяснения. Таким образом, он создал подробный и пластичный образ фантастического мира, говорящий «сам за себя», лишь на фоне которого может протекать действие, решающее глубокие проблемы или служащее развлечением. Этот образ является признаком современной НФ, отличающим ее от уэллсовско-верновской утопии, где фантастический элемент является не второстепенным фоном, а первостепенным объектом повествовательного описания, недвузначно исполненного в познавательно-педагогических целях. Образ фантастического мира до сих пор не мог сформироваться в советской НФ. Подобная революция в истории вида, как «переход количества в качество», может произойти лишь при массовом распространении книг НФ — иначе

писатели, заимствующие друг у друга идеи, не отважатся на столь серьезный труд, и не возникнет соответственно широкая литературная публика, которой «можно доверять», которая поймет без комментариев суть фантастических образов.

Ефремов мог себе это позволить еще и потому, что в содержании написанного им отталкивался от всем известной в СССР идеологии, но все равно это удалось ему лишь частично, так как совсем отказаться от описаний он не смог, а «точки зрения» персонажей вопреки психологическому правдоподобию часто были подобны современным (иногда для упрощения лекций, там, где их не удалось избежать, а иногда потому, что поэтика романа подчинялась общим принципам соцреализма, и поведение героев — напр., склонность к ораторствованию — должно было соответствовать поведению в других современных романах). Несмотря на то что «Туманность Андромеды» была решающим шагом в сторону новых перспектив научной фантастики в СССР, она осталась еще утопией старого типа, по крайней мере, социальной утопией, так как технологические проблемы Ефремова не интересовали, и сфера техники «Туманности...» последовательно представлена как часть «фона» действия. Утопиями еще оставались произведения, непосредственно продолжающие мысль Ефремова (напр., «Каллисто», 1957, и «Каллистяне», 1960,— Мартынова, «Мы — из Солнечной системы», 1965, и «На прозрачной планете», 1963,— Гуревича, «Возвращение» Стругацких), но к концу шестидесятых годов работа была выполнена.

> Советские фантасты 60-х годов,— пишет А. Бритиков,— пришли к определенному согласию относительно главных черт будущего. Они единодушны в том, что человечество в силах избежать ядерной катастрофы; что в разных странах социальная революция осуществится разными путями; что не может быть и речи о тотальной урбанизации, о всепланетном городе под стеклянным колпаком, наоборот: при коммунизме человек вернет утраченное единство с природой; что цветущая Земля откроет космическую, самую важную главу в истории человечества [112, 307].

(Отметим отчетливую связь с решениями XX съезда и противостоящий сталинистскому взгляд на окружающую среду.)

Но этот фантастический «мир» никогда бы не сформировался в советской НФ, никогда бы она не стала не то что популярной, но попросту читаемой в Польше и западных странах, если бы не ясно выраженное голосами критиков и совпадающее с кампаниями XXI (январь 1959) и XXII (октябрь 1961) съездов желание партийного руководства: пи-

шите о Коммунизме, представляйте Коммунистическое Будущее! Как это ни парадоксально, но никто — ни в правительственных кругах, ни среди читателей, ни даже среди писателей, по крайней мере, поначалу, не считал эту тему в точном значении этого слова фантастической. Наоборот: это должно было быть в полном соответствии с принципами соцреализма «отражение действительности в ее развитии». Объективное, сбывающееся в общем и буквально.

По мнению большой группы критиков-консерваторов «научность» фантастики, толкуемая как исполнение простодушно понимаемых познавательных заданий и непосредственная доступность вытекающих из этих заданий результатов, по-прежнему является обязательной на любом смысловом уровне произведения — от мельчайшей научно-фантастической идеи до последнего идеологического нюанса — и этим принципиально отличает советскую НФ от западной. «Смотрите, какая получается стройная концепция. Англо-американская фантастика становится все менее научной (менее научной — ненаучной — антинаучной, все та же логическая цепочка). /.../ В то же время советская делается все более научной. В такой концепции на первый взгляд есть даже определенный идеологический смысл» [104, 276],— иронизировал имеющий другое мнение и хорошо знакомый со словом «антиреализм» Всеволод Ревич. Писать о Коммунизме для консерваторов значило лишь сменить тему — художественная футурология вместо инженерии. И смириться с отказом от явно бессмысленных ограничений, касающихся времени и места действия. После старта спутника (1957) и полета Гагарина (1961) абсурдом было бы выступление против «космических фантазий», о которых цитированный выше О. Хузе с удовлетворением писал, что они, «к счастью», уже почти исчезли из издательств СССР. Хотя и здесь не обошлось без сопротивления. В 1958 г. на Всероссийском совещании по научно-фантастической и приключенческой литературе писатели старшего поколения запротестовали против того, чтобы «фантастику гнали кнутом за границы Солнечной системы» [65, 264]. С. Сартаков грубо напал на «Туманность Андромеды»:

> Когда человеку приписываются способности, которых у него никогда не будет, или когда ему устанавливается продолжительность жизни, которой в свое время не достиг и сам Мафусаил и которой человек никогда не достигнет,— тогда исчезает доверие к книге и интерес к ней [67, 253].

В. Немцов, выражая беспокойство о педагогической, прагматической ценности литературы, был все же более осмотрителен:

Почему я совершенно сознательно делаю героями моих книг самых обыкновенных людей? Я хочу показать романтику героизма и работы на реальной «земной» почве: смотри, молодой друг, ты не хуже какого-нибудь двадцатилетнего техника Багрецова. И ты можешь сделать это /.../.

Я думаю, что /.../ только вредят молодому читателю те, кто доказывает, что советская фантастика должна находиться в совершенно неизвестных пространствах космоса, что наши фантасты отстают от жизни, потому что лишь теперь «осмелились» полететь на Марс. /.../ Что происходит с молодым читателем? Он перестает видеть в книге своего современника. Ему становятся скучны ежедневные, земные ситуации. Он весь в космосе, забыв о том, что дорога к звездам начинается на земле и проходит через целину, фабричные станки и школьные скамьи. А «Пионерская правда» печатает письмо ученика, который решил провести ближайшие каникулы на Марсе и сообщает, что мама согласна... [65, 264]

Однако сохранить столь отчетливо консервативные позиции было трудно, поскольку все чаще приходили сообщения о необычных достижениях науки и все сильнее возбуждался общественный энтузиазм от прекраснейших образов будущего. Емко — если речь идет о «космической теме» — выразил это Евгений Брандис:

В сочинениях об исследовании космоса иногда трудно увидеть, где кончается научная фантастика и начинается сказка, поскольку то, что еще вчера казалось странным вымыслом, сегодня воплощается в математических формулах и инженерных схемах. /.../ Жизнь вынуждает писателя-фантаста смело всматриваться в будущее, далеко опережающее возможности данного времени. Даже самая буйная фантазия имеет право на существование, если только не расходится с общим направлением научного и общественного прогресса [61, 32].

Также и речи не могло быть о каких-нибудь пятнадцатилетних (или несколько больших) «границах», об описании лишь технических изобретений, о суживании круга читателей до молодежи и требованиях абсолютной точности предсказаний в социальной сфере. Хотя и тут бывало по-разному. Например, сам Ефремов утверждал, что хотя точность предвидения ближайшего будущего и мизерна, однако, если иметь дело с тысячами лет и руководствоваться методологией марксизма, она существенно возрастает. Следует заметить также, что по мере усвоения консерватистами пожеланий партийного руководства, они создают все более подробные нормы толкования темы «Коммунизм», нарушить которые прогрессивный писатель не имеет права. И по мере того, как очередные выступления объясняли, какой будет грядущая эпоха, литературные критики начинают все лучше видеть, чего в ней не может быть.

Говоря коротко: реакция традиционно мыслящих литераторов на лозунг «писать о Коммунизме» имеет свою историю. На совещании 1958 года — как это видно из приведенных мнений Сартакова и Немцова (когда существовала только одна достойная внимания реализация — «Туманность Андромеды» — космической и коммунистической тем, связанных воедино) — была сдержанной. Годом позже для умеренного консерватора Брандиса сочинительство о грядущей эпохе имеет привкус освобождения от нормативных ограничений:

> Ефремову удалось самое важное, он приоткрыл завесу будущего и показал нам совершенно новый мир. Мир привлекательный и прекрасный. Появление «Туманности Андромеды» /.../ позволяет сделать вывод, что новое слово в научной фантастике скажут те писатели, которые смогут связать воедино наиболее прогрессивные научные и философские идеи нашего времени, иначе говоря, создать полноценное «комплексное» произведение о коммунистическом обществе, которое мы строим [61, 61].

Но уже в 1960 году на совещании по научной фантастике, организованном Союзом писателей СССР, о том, что «для воспитания народа в коммунистическом духе /.../ для нас было бы очень важно получить сегодня множество произведений, в которых было бы показано, как будет достигнут коммунизм в ближайшие годы, как возникнет само коммунистическое общество и как потечет его дальнейшее развитие» [68],— говорил В. Сытин, не самый консервативный литератор, для которого «социальная фантастика» была столь же «научной», как и «технологическая» или «биологическая», и в этом он видел ее право на существование.

После XXII съезда КПСС в 1961 г. снова появилось и совершенно вульгарное понимание роли НФ. Проявилось оно, например, в редакционном вступлении, которое «Техника — молодежи» предпослало своей анкете «Говорят фантасты — разведчики будущего», где среди прочего утверждалось, что

> Научная фантастика впервые получила, если можно так выразиться, точную программу своего движения вперед. Ею стала программа нашей Коммунистической Партии — реальная, жизненная перспектива нашего советского общества, стремящегося к коммунизму [73].

А сейчас я должен вернуться к цитате В. Ревича о «научности» фантастики. В связи с атакой на «теорию предела» возникла необходимость по-новому обозначить границу между буржуазной и социалистической фантастикой. Раньше все было просто: если произведение не толкует о

вещах, реально претворяемых в жизнь, значит — «витает в облаках», не имеет познавательной ценности, является антиреалистическим. «Реально» означало «идут исследования в лабораториях». И только вторым критерием была верность принципам марксизма-ленинизма. Третьим — соответствие наукам, признанным правоверными. Теперь же начал действовать «полет мечты», слишком много дисциплин вернулось в науку (физика, признающая теорию относительности, кибернетика, генетика), чтобы можно было рисковать, чтобы делать оценки, исходя из научных симпатий писателей. Актуальным критерием идеологической чистоты произведения должна была остаться лишь верность диалектическому материализму.

Марксистская философия понимает историю человечества как неустанное развитие производительных сил, соответственно воздействующее на изменение форм собственности и далее на все сферы права, быта, искусства, религии и в конечном счете — на личности отдельных людей, учитывая, однако, тот факт, что некоторые элементы изменяются настолько медленно, что могут показаться вечными. С этим считались далеко не все, но тем не менее было замечено, что западная фантастика, даже если серьезно занимается будущим, мало что может сказать об изменении форм собственности и других основных общественных институтов.

Таким образом, во взглядах на фантастику произошел поворот на 180 градусов. Несколько лет назад вредное подчинение капиталистическим идеологиям заключалось в том, что фантастические элементы мира в некоторых произведениях были мало похожи на элементы реальной действительности,— теперь же беда тому, у кого будущее слишком приближено к настоящему (конечно, следует учитывать и частичное изменение предмета фантазирования: от изобретений и технических приборов к общественным мотивам). Хорошо, если критик действительно более-менее придерживался принципов марксизма в оценке, как например Владимир Дмитревский, который так писал в 1959 году о детской повести В. Мелентьева «33 марта», описывающей приключения пионера, случайно перенесенного в будущее:

> Регистраторша, вызванная международной комиссией ученых, исследующих «размороженного» Голубева, представляет собой идеальный тип маленького канцелярского бюрократа, для которого важна не сущность дела, а форма его записи /.../. Зачем внушать своим маленьким читателям, что через много, много лет, когда они, эти читатели, уже станут взрослыми, закончат построение коммунистического общества, будут управлять

климатом, разрабатывать лунные шахты и т. д., бюрократизм — сильный и агрессивный, как размножившийся на обочине дороги лопух, останется как пятно на теле человечества [63, 119].

Неизмеримо хуже было, когда за дело брались горячие головы, распространяя новые принципы оценки на проблематику личности героя, забывая о том, что диалектика говорит об изменяемости всего в философском смысле, а не для практических нужд общественной инженерии. Вот мнение одного из участников дискуссии в «Неве», В. Е. Львова:

Есть тут еще одно недоразумение. Стремясь отойти от слащавой сусальности, изображают людей будущего обремененными «пережитками в сознании», оставшимися от прежних формаций. Я понимаю так, что через двадцать лет, когда будут созданы основы коммунизма в нашей стране, какая-то доля «пережитков капитализма», может быть, и останется. Возникнут тогда, может быть, и новые пережитки. Но меня интересует сейчас та зрелая фаза коммунистического общества, когда со всеми и всякими пережитками будет навсегда покончено. Ведь не могут же пережитки оставаться вечно! И, больше того, я глубоко убежден, что еще до конца этого столетия на планете нашей общественный воздух очистится настолько, что любые дисгармонии — будь то в политике, экономике, идеологии или в частной жизни людей — будут выметены железной метлой истории [14, 168].

Львов считал «пережитком», к примеру, чувство ревности.

*

Мышление подобного типа распространилось настолько, что любое дерзкое и более совершенное в художественном отношении произведение НФ могло быть принято в штыки прессой, критикой. Человек — существо сложное, добро и зло перемешаны в нем пропорционально, литературный герой без изъянов и пороков, совершенно непохожий на нас, отодвигает книгу за границу добротной литературы. В случае с советской НФ перелома десятилетий оказалось, что все действия, который могут поднять ее литературный уровень, на основании обязательного в то время психологического реализма могут подлежать обжалованию. То же касалось и языка. Аргумент «так не будут себя вести, думать, говорить... люди при Коммунизме» мог пасть всегда, если герои «вели себя, думали, говорили», как мы.

Стругацких это задело; хотя поначалу и в ограниченной степени, так как в годах 1957–60 их творчеству сопутствовали стремления двух видов: психологические или социально-психологические (и это принесло некоторые трудности, как только стремления проявились отчетли-

вее) и популяризаторские, реализация которых была неблагоприятной с той точки зрения, что толкала писателей в сторону менее модной технологической фантастики,— разумеется, это не должно оцениваться с доктринальной точки зрения, хотя и так случалось.

Рукопись «Страны багровых туч» лежит в издательстве, когда в январе 1958 авторы публикуют в журнале рассказ «Извне», а позже — рассказы «Шесть спичек» и «Спонтанный рефлекс». Следующий год приносит «Испытание СКР», «Забытый эксперимент», «Частные предположения» и «Поражение». Все это, кроме «Спонтанного рефлекса», дополненное рассказом «Глубокий поиск», составило сборник «Шесть спичек» (М.: Детгиз, 1960) и является свидетельством научных и политехнических интересов. Предметом популяризации братья избрали прежде всего кибернетику. Как будет вести себя, «думать» робот, запрограммированный столь универсально, что способен к самостоятельным поступкам («Спонтанный рефлекс»)? Как мог бы выглядеть полностью автоматизированный космический корабль, предназначенный для исследования и сбора биологических образцов на многих планетах, высланный более развитой, чем наша, цивилизацией, и как могло бы проходить его посещение Земли («Извне»)? Какие устройства будут использоваться для первых разведок на планетах, о которых заранее нельзя сказать ничего определенного («Испытание СКР»)? Отвечая на такие вопросы, Стругацкие присоединились к международной плеяде знатоков роботехники, став одними из немногих предтеч темы в СССР[21].

«Забытый эксперимент» и «Частные предположения» строили умозаключения о теории относительности. Первый рассказ выдвигал идею взгляда на время как на материальный процесс, который сопровождается накоплением и высвобождением энергии. Второй иллюстрировал перевертыш «парадокса близнецов». Этот парадокс гласит, что при скорости, близкой к скорости света, на борту космического корабля проходят годы, в то время как на Земле — десятилетия. Стругацкие предположили, что при полете с субсветовой скоростью и постоянным ускорением ситуация бы зеркально изменилась, и предложили соответствующую историю о космонавте и его возлюбленной.

«Поражение» рассказывало о фантастической «эмбриомеханике», испытании так называемого «Яйца», которое в зависимости от программы может развернуться в какое-то устройство или, например, здание. В «Эдеме» (1959) Лем назвал что-то подобное «механическим зародышем». «Глубокий поиск» описывал подводную охоту на большого кальмара, который нападал на китовое стадо. Возможно, эту идею авторы позаимствовали у Артура Кларка[22]— «Большая глубина» (The Deep

Range, 1957) могла попасть в руки Аркадия. «Шесть спичек» затрагивали проблемы парапсихологии. К этой группе следует прибавить и рассказ «Чрезвычайное происшествие» (в котором речь шла о небелковой жизни) из сборника «Путь на Амальтею». Изданный также в 1960 г., он содержал, кроме заглавной повести, продолжающей приключения героев «Страны багровых туч», и «Чрезвычайного происшествия», еще два «космических» рассказа («Ночь в пустыне», «Почти такие же») менее политехнического характера, написанные,— как и все остальное в сборнике — скорее всего, позже, чем рассказы из сборника «Шесть спичек».

Содержимое «Шести спичек» имеет типичные для технологической фантастики недостатки, связанные с трудностями ввода популяризируемого материала, хотя следует признать, что Стругацкие старались вносить разнообразие языковыми средствами и обосновывать ходом действия каждый случай использования объяснений, как можно реже пользуясь услугами рассказчика, но несмотря на все уловки, моменты разъяснения встречающихся участникам событий загадок так или иначе представляют собой разнообразные реализации одной схемы: разбирающийся в научной или инженерной проблематике специалист доступно растолковывает проблему заинтересованному профану, так как эта схема отражает единственно возможное в научно-популярной беллетристике отношение между читателем и автором.

Сюжеты чаще всего использовали обычно употребляемые образцы популярной литературы: ученые пробираются к двигателю времени в эпицентр зоны давнего ядерного взрыва, в которой встречают мутантов и необычные физические явления; инспектор (но не полиции, а Управления охраны труда) проводит следствие по делу таинственного случая в Центральном институте мозга; космический корабль становится объектом «вторжения» небелковых существ, питающихся воздухом «мух», и космонавты уничтожают их... Но одновременно за рассказами тянулся шлейф структур производственной литературы; проводимый эксперимент или сделанное открытие таит в себе необычайные возможности, является переломом в истории науки или промышленной отрасли, что обозначалось картинами, подобными этой:

> Представьте себе завод без машин и котлов. Гигантские инсектарии, в которых с неимоверной быстротой плодятся и развиваются миллиарды наших мух. Сырье — воздух. Сотни тонн первоклассной неорганической клетчатки в день. Бумага, ткани, покрытия... [1, 545—546]

В этих рассказах еще можно найти остатки милитаристской атмосферы «Страны...», но лишь изредка они играют в них важную роль. Чаще муштра, воинственное настроение проявлялись в мелких подробностях: командах, ответах «Так точно!» и т. п.

Популяризация или показ спекулятивного мышления не исчерпывали, однако, притязаний авторов. Каждое из произведений сборника «Шесть спичек» кроме технологической представляло проблему психологического или морального свойства, причем теперь трудно сказать, на какую из них читатель должен был обратить более пристальное внимание. Характерно, что при переиздании в 1986 г. некоторых из этих рассказов [41] писатели удалили большинство описаний техники, оставляя без изменений или расширяя фрагменты, касающиеся другой сферы интересов. Так как трудно подозревать имеющих мировую славу и дефицит времени творцов в переработке ранних текстов, появляется предположение: не отдали ли они в печать первоначальные версии, «исправленные» некогда редакторами.

Рассказы «Шесть спичек» и «Забытый эксперимент» продолжают представлять «конфликты при Коммунизме», обращаясь к «Стране багровых туч» и — более отчетливо — к «Туманности Андромеды». Мвен Мас, как я уже упоминал, проводил трагически закончившийся эксперимент без разрешения. Без дурных намерений... он не уведомил Совет, так как знал, что ему предложат, чтобы избежать риска, отложить опыт до тех пор, когда построят более мощную установку, а он не хотел ждать. Его поведение не объяснялось личными амбициями или попыткой кого-то опередить, он действовал для общего блага, и никто не стоял за Мвеном Масом. Подобный «конфликт хорошего с лучшим» [23], то есть столкновение оправданного энтузиазма и столь же оправданной осторожности людей, стремящихся к одной и той же цели и не представляющих (как это было в «Стране...», а также во всем жанре производственного романа) противоположные общественные силы, иллюстрировало следствие по делу в Институте Мозга. Проводящий исследования ученый, обнаруживший, что облучение мозга новым видом излучения вызывает у подопытных животных удивительные способности, поскольку не мог узнать от них, что они чувствуют,— сам подвергся облучению и в конце, экспериментируя дальше, «надорвался», пытаясь усилием воли поднять шесть спичек. Директор и сотрудники института считают его героем, у инспектора — другое мнение:

> Славное время, хорошее время. Четвертое поколение коммунистов. Смелые, самоотверженные люди. Они по-прежнему не способны беречь

себя, напротив — они с каждым годом все смелее идут в огонь, и требуются огромные усилия, чтобы сдержать этот океан энтузиазма в рамках мудрой экономии. Не по трупам своих лучших представителей, а по следам могучих машин и точнейших приборов должно идти человечество к господству над природой. И не только потому, что живые могут сделать много больше, чем сделали мертвые, но и потому, что самое драгоценное в мире — это Человек [1, 457].

Вопреки обычаю соцреалистической литературы конфликт, несмотря на словесную победу инспектора, на самом деле остается неразрешенным. В конце рассказа авторы «подмигивают» читателю, вспоминая, что и инспектор в молодости дал увлечь себя нетерпеливости. Таким образом, столкновение взглядов подытоживает извиняющий знак вопроса, подчеркивающий неантагонизм конфликта.

А вот в рассказе «Испытание "СКИБР"» Стругацкие приблизились к очень существенной моральной проблеме.

На испытания роботов неожиданно прибывает сам Антон Быков (внук Алексея), капитан готовящегося к межзвездному путешествию корабля, и предлагает одному из программистов, Акимову, принять участие в экспедиции. Неписаный кодекс людей коммунистического общества не предполагает возможность отказа, и Акимов соглашается, хотя даже и не задумывался о таком повороте дела, тем более что надеялся после испытаний начать спокойную семейную жизнь с любимой женой, которую теперь он должен навсегда покинуть. Драма Быкова — это драма ответственности и власти. Он знает, что Акимов — единственный возможный кандидат, и что предложение ломает ему жизнь, но у него также нет другого выхода.

В последней опубликованной редакции рассказ заканчивается на этой трагической развязке. К сожалению, в версии 1960 года, где Быков легко соглашается зачислить в состав экипажа и жену, поставленной de facto проблемы не осталось, а тема тяжести и ответственности власти исчезла, так что «Испытание...» не вышло за рамки технологического рассказа. И если Стругацкие тогда вообще думали о каком-то бунте против правил жанра, об отказе от принципов хеппи-энда, то им этого не позволили. А может быть, не думали? [24] Впрочем, теперь уже не так важно, исходило ли давление, которому они подверглись, от редакторов или таилось внутри них самих.

Тем, что составляло в произведениях из «Шести спичек», а особенно из «Пути на Амальтею», доказательство развития писательского мастерства братьев, была их сосредоточенность на вопросах душевно-

го состояния: реакции на опасность и психологии героического действия.

Уже журнальный дебют начинающих фантастов создавал впечатление, что больше всего интересовало их — если изъять описания техники,— то же, что и любого писателя-реалиста, в наиболее часто понимаемом у нас значении этого термина, писателя-психолога. «Извне», «повесть в трех рассказах», показывала историю «посещения», изложенную с трех точек зрения:

— группы офицеров, нашедших во время туристической вылазки лежащего на пустынном плато мужчину — космического «зайца», как это выяснится позже (рассказ, взятый отдельно, является при этом простым, без претензий, эпизодом из жизни провинциального гарнизона на Дальнем Востоке);

— археолога, который сильно испугался, увидев исследовательские автоматы пришельцев;

— другого археолога — того, который, оказавшись на месте посадки инопланетян, отважился на беспрецедентный поступок: проник в автоматический посадочный модуль, чтобы установить контакт с теми, кто его выслал.

Другое большое произведение — заглавная повесть сборника «Путь на Амальтею», героями которой стали повзрослевшие на десять лет Быков, Крутиков, Юрковский, Дауге и два молодых космонавта, представляло следующую ситуацию. Корабль, спешащий с продовольствием для станции на спутнике Юпитера, которой угрожает голод (очередной реликт производственной повести — действие завязано на мотиве промышленной аварии), уже находясь на орбите Юпитера, попадает в метеоритный рой и с поврежденным двигателем начинает тонуть в атмосфере гиганта. Всем грозит смерть, только ценой наивысших усилий экипаж и пассажиры избегают приговора судьбы. И опять Стругацких интересует реакция героев и их психологическое состояние. Чтобы отразить это наилучшим образом, писатели в обеих повестях используют различные способы:

— внутренний монолог:

> Тогда Юрковский закрыл глаза. «Жить,— подумал он.— Жить долго. Жить вечно». Он вцепился обеими руками в волосы. Оглохнуть, ослепнуть, онеметь, только жить. Только чувствовать на коже солнце и ветер, а рядом — друга. Боль, бессилие, жалость. Как сейчас. Он с силой рванул себя за волосы. Пусть как сейчас, но всегда [1, 603];

— или метафорическое описание:

Я стал соображать, сопоставлять факты — если всю эту несуразицу называть фактами — и в конце концов пришел к заключению, что нахожусь, скорее всего, в гигантском ангаре для межзвездных кораблей. /.../ Я словно забыл обо всех испытаниях, о своем фантастическом положении и вел себя совершенно так же, как запоздавший гость, который запутался среди чужих пальто в неосвещенной прихожей. Помнится, я даже брюзжал вполголоса, называя негостеприимных хозяев звездолета невежами [1, 376–377];

— по возможности, психологическое состояние при переживаниях столь драматичных, усложненных, что их нельзя назвать напрямую или даже охарактеризовать их переносным образом, писатели пытались выразить описанием внешности субъекта, коротким диалогом, вставками замечаний рассказчика, что приводило к некоторой похожести на развлекательную прозу воспитанных на бихевиористической психологии американцев:

В медицинском отсеке Моллар, дыша носом от боли, мазался жирной таниновой мазью. У него было красное лоснящееся лицо и красные лоснящиеся руки. Увидев Быкова, он приветливо улыбнулся и громко запел про ласточек: он почти успокоился. Если бы он не запел про ласточек, Быков мог бы считать, что он успокоился по-настоящему. Но Моллар пел громко и старательно, время от времени шипя от боли [1, 590 — реакция на сообщение о неизбежной гибели корабля].

Эти приемы имели свои последствия для философского звучания концепции личностей персонажей. Они указывали на ее неоднозначные, иррациональные элементы, существование которых не признавали теории социалистического реализма — в соответствии с ними человек гораздо проще. И если, в конце концов, не удивительно, что никто не имел претензий к «Извне» (во-первых, «Шесть спичек», опубликованные в издательстве для детей, критика обошла молчанием, а во-вторых, героический «заяц», современный человек, еще далекий от идеала, возможно, и мог быть немного странным), то трудно понять, почему не было попыток атаковать «Путь на Амальтею» с этой стороны. Тем более что не прошло безнаказанно для Стругацких «преступление» гораздо меньшего калибра.

Я не раз пытался представить себе Человека Будущего,— писал в газете «Литература и жизнь» представитель «голоса народа», читатель-рецензент,— в воображении возникали образы высококультурных людей — влюбленных в науку и одновременно любящих и знающих искусство. /.../ Я прочитал /.../ «Путь на Амальтею» и теперь доподлинно знаю, какой

> он — герой грядущих веков. В кармане у человека XXI века технический справочник и словарь питекантропа. Вот как, например, разговаривает с персоналом звездолета его капитан Алексей Петрович Быков: «Знаете что, планетологи... Подите вы к черту!» /.../ И вообще слово «черт» — самое распространенное в будущем. Им пользуются почти все грамотные люди,

— продолжал недовольный читатель, таким образом указывая на несомненную идеологическую ошибку Стругацких, допускающих — по его мнению — мысль о сохранении в XXI веке «религиозных пережитков». Окончание заметки также было любопытным:

> Хочется искренне поблагодарить редактора издательства «Молодая гвардия» Б. Клюеву, которая не коснулась своим требовательным пером этих и других самородных слов, позволив авторам донести до нас живое дыхание будущего... [72]

Другой защитник идеала, автор письма в другую редакцию, написал яснее:

> Познакомясь с научно-фантастическими рассказами и повестью А. и Б. Стругацких «Путь на Амальтею» (изд-во «Молодая гвардия», 1960), приходишь к печальному выводу, что люди будущего — это далеко не передовые люди, недостатки которых ни время, ни образование не исправили. Послушайте, как говорят герои повести: «Не ори на нее, козел! — гаркнул атмосферный физик Потапов». «Лопать захочет — придет». /.../ «У него такая особая морда». Герои называют друг друга «извергами», «бездельниками»... [69]

Сразу же замечу, что все «крепкие» словечки автор вырвал из контекста, чаще всего шутливого.

Видимо, даже столь незначительное «отклонение» (обращение к обычной лексике) от быстро формирующейся нормы в столь деликатной теме «человека коммунизма» встретилось с острым осуждением не только полуанонимных «читателей», но и публикующих вышеупомянутые заметки редакций, а значит, и организаций, стоящих за ними. Можно вообразить себе раздражение братьев. Ведь их работе сопутствовала та же, что и у их коллег, главная цель. Как убеждают позднейшие высказывания Стругацких[25], сомневаться в искренности которых у меня нет ни малейших оснований, самым важным для них в то время было сконструировать правдивый образ коммунистического будущего и живущих в нем людей. Стремление к психологическому анализу своего настоящего не должно было противоречить хотя бы художественной футурологии, как это явствует из следующего рассуждения:

Существует превосходная книга «Туманность Андромеды». Там есть люди. Люди эти многим не нравятся, и не только потому, что они не похожи на тех, что мы видим вокруг нас, но и потому, что они не похожи на тех, кого мы хотели бы увидеть. Мы окружены реальными людьми. Есть плохие, есть хорошие. Есть люди, которых мы называем особенно хорошими, особенно милыми. Мы говорим о них, что они — талантливые и на редкость душевные люди. А в будущем такие люди будут считаться самыми обыкновенными людьми. Полюс талантливости, полюс гениальности переместится гораздо выше. И если взять отрезок порядка двухсот-трехсот лет, то масса людей будет состоять из тех, которые сегодня рисуются как исключение из правила.

Вот исходная мысль, которой мы руководствуемся в нашей работе. /.../ Мы стараемся изображать людей, которых мы видим. С некоторыми из них мне приходилось бывать в экспедициях и работать с ними, служить в армии. Наша мечта — перенести образы лучших людей из современности в будущее [14, 171—172].

Эти неслыханно оптимистичные заявления, выходящие из возможности внутреннего совершенствования человеческой единицы и общественного прогресса, прозвучали в уже цитированной здесь дискуссии, материалы которой публиковались в «Неве» в 1962 году, то есть тогда, когда Стругацкие уже закончили писать «Стажеров», повесть, которая начинает новый, особенный этап их творчества. Но если принять во внимание тот факт, что наши писатели — как и все остальные послевоенные и более ранние литераторы Советского Союза — были воспитаны на диалектике и прекрасно знали стирающую понятия настоящего и будущего теорию социалистического реализма, то вышеприведенные слова можно считать отчетливым высказыванием мысли, прозвучавшей годом раньше в ответе на анкету «Советской культуры». Вопрос анкеты звучал так: «После полета Гагарина что вы считаете фантастическим?»:

Фантаст сейчас, как и раньше, может писать о чем угодно, он даже обязан это делать. Идей всегда будет бесконечно много. Но все эти идеи неизбежно покажутся когда-нибудь привычными и обыденными. Потому что человеку свойственно стремление знать, потому что всегда были, есть и будут люди, превращающие фантастику в реальность. И если фантаст хочет создать что-нибудь действительно полезное, он должен в меру своих сил и способностей писать прежде всего об этих людях. О таких, как Юрий Гагарин и те, кто силой знания и упорным трудом дали человечеству возможность совершить прыжок в космос [13].

*

Так писали Стругацкие или сразу после начала работы над «Стажерами», или до этого. Потеряв интерес — видимо — к пропаганде науч-

но-технических идей. В этом нет ничего удивительного, так как они только что закончили книгу «Возвращение» (работа над ней заняла весь 1960 год), в которой поместили огромное количество таких идей, и у них мог возникнуть вопрос: «Что еще можно выдумывать, как долго и зачем?» Впрочем, главная цель этих писательских усилий была серьезной. Авторы дали увлечь себя всеобщему энтузиазму и решили выполнить заказ партии, поспорить с «Туманностью Андромеды», представить собственное видение коммунизма.

«Возвращение (Полдень, XXII век)», жанр которого авторами был определен как «повесть», формально представляло собой цикл из 19 рассказов, сгруппированных в три части. Связующим звеном были прежде всего персонажи; в повести излагались отдельные эпизоды из жизни Сергея Кондратьева и Евгения Славина, космонавтов 2017 года, известных нам по двум рассказам, вошедшим в сборник «Путь на Амальтею», которые — перескочив с большой скоростью какой-то пространственно-временной барьер — возвращаются на Землю в 2119 году, почти через век после расчетного срока. Они акклиматизируются в новой действительности и знакомятся с новым миром, а вместе с ними и читатель. Их судьбам посвящена большая часть новелл первой части — «Возвращения». Героями остальных являются, главным образом, люди, современные XXII веку. Четверо мальчишек из одной комнаты школы-интерната: Геннадий Комов — Капитан, Поль Гнедых, Александр Костылин и Михаил Сидоров по прозвищу Атос; эпизоды из их жизни позволяют хорошо познакомиться с обществом будущего, его моральными и другими проблемами — с «Благоустроенной планетой» (название второй части) Землей и познанным Космосом, на протяжении полувека, потому что мальчики взрослеют. Можно бы сказать, что стареют, если бы не 120-летняя, нормальная для того времени продолжительность жизни человека. В нескольких рассказах представлен также космонавт-десантник необычайной отваги и осторожности, благородный, честный, добродушный и смешной, обладающий необыкновенными интуицией, авторитетом и личными странностями Леонид Горбовский.

Новую повесть связывают с «Шестью спичками» отсылки к представленным там героям и фактам. Два рассказа, «Глубокий поиск» и «Поражение», вошли в «Возвращение» после незначительной косметики. Более того, в подавляющем большинстве эпизодов повести применен тот же, что и в рассказах из сборника, художественный прием: действие вращается вокруг технического устройства, изобретения или

научного открытия, в то время как вводимый при случае «человеческий» мотив вносит проблематику, добавляющую новую грань темы: человек будущего, его моральность и склад ума, и общество, в котором он живет. Трудно установить причины этого. Или Стругацкие еще не представляли себе с точки зрения правил композиции и писательской техники иное произведение, нежели производственно-фантастическое, то есть описание техники или производственные перипетии постоянно казались им единственно возможным материалом для фабулы и действия НФ-произведения безотносительно к тому, какие проблемы они хотели над ними надстроить? А может быть, их умение проводить психологический анализ не развилось еще настолько, чтобы мысли и существенные поступки героев занимали все «информационное пространство» произведения? Может быть, они думали, что элементы фантастического мира «Полдня» все еще требуют разъяснений, толкований, описаний? Во всяком случае, страницы заполнили — кроме событий — устройства, аппараты, открываемые явления и научно-фантастические факты, в нагромождении которых терялась важнейшая мысль.

Чего там только не было! Путешествуя самодвижущимися дорогами, без спешки и неудобств можно было посетить любое место планеты (нонсенс с экономической точки зрения, но хорошо иллюстрирует лозунг «Все для блага человека»); на огромных фермах разводили созданных генетическим искусством чудовищ — «мясных коров»; разводили также китов. И дальше: гигантский компьютер «Коллектор Рассеянной Информации», способный по стершимся «информационным следам» реконструировать образы прошлых событий, типа сражений динозавров; первая попытка «обессмертить» человека с помощью записи информационного содержимого его мозга; проводимые с использованием парапсихологических способностей «ридеров» поиски параллельных миров; биологическая цивилизация на далекой Леониде; штурм планеты Владиславы в поисках руин «чужих» городов; первые, необычайно удачные контакты с жителями других миров; будущая школа; уже знакомая эмбриомеханика. Я назвал только те технические, социологические, космологические и иные идеи, вокруг которых — если не по существу, то хотя бы в формальном, композиционном отношении — «вращается» действие эпизодов. А что говорить о десятках технических и общественных изобретений, входящих в состав фантастического фона, описываемых мимоходом? Вместо того чтобы подсчитывать все это, попробую сосредоточиться на главных контурах будущего мира и чертах живущего в нем человека, ведь в конечном счете братья стреми-

лись создать целостное видение этого мира, скорее всего. И здесь не обойтись без обращений к книге Ефремова и пропагандируемой тогда теории коммунизма, составлявших существенный контекст выступления Стругацких.

Приведенные в определении коммунизма, провозглашенном на XXII съезде [26], условия и черты коммунизма можно поделить на следующие группы:

— экономические условия, которые могут обеспечить столь мощное развитие производительных сил (в частности, кибернетики и автоматики), чтобы залить человечество доступными для всех благами;

— общественные изменения (ликвидация классов и прослоек, замена государства самоуправлением, основанном на самодисциплине);

— последствия экономических и социальных перемен для жизни отдельных личностей (всестороннее развитие каждого, воспитание в людях естественной, крепкой потребности в труде).

Последнюю группу вопросов и определение коммунизма и, наверняка, другие официальные документы освещали довольно скупо, а создать на их основе конкретный образ будущей жизни мог далеко не каждый. Отсюда и внезапный интерес ответственных органов к НФ, на который с готовностью ответили Стругацкие и другие фантасты, поскольку исполнение иллюстрационных заданий нельзя назвать особенно трудными. Вот, например, как была решена задача изображения жизни при изобилии благ, описания поведения человека, лишенного чувства собственности (нет смысла собирать вещи, которые общедоступны).

Ефремов в «Туманности...» проиллюстрировал психологически-бытовые последствия высокого благосостояния эпизодом переезда Дара Ветра. Он, зная, что где бы он ни оказался, получит в распоряжение все, что ему нужно, меняя место жительства, брал с собой лишь личные фотографии, реликвии. Стругацкие попросту позаимствовали этот мотив, дополнив его более оригинальной идей, так называемой «Линией Доставки», поставляющей в квартиры продукты по тому же принципу, по какому действует бесплатный водопровод.

Весьма многочисленные детали в обоих произведениях напоминают о том, что изобилие позволит освободить людей от забот о хлебе насущном, добавит свободного времени, а технический и научный прогресс улучшит их здоровье и продлит жизнь (Ефремов возлагал надежды на развитие медицины, Стругацкие придумали «биоблокаду» — универсальную вакцину, безгранично усиливающую защитные силы организма),

всех освободит от неприятной, нудной, физической работы, оставляя лишь умственную и творческую (Стругацкие наполнили свой мир роботами, в более ранней «Туманности...» их меньше, зато больше автоматизированных фабрик). Однако коммунизм не ограничивался только богатством и развитием науки.

При коммунизме также не просто будут уничтожены общественные классы, так называемое разделение на собственников средств производства и эксплуатируемых. В соответствии с законами диалектики он должен быть «отрицанием отрицания», следующим за антитезисом и тезисом синтезом, то есть происходящим на бесконечно высоком цивилизационном и техническом уровне возвращением к первобытному существованию, когда люди — несмотря на то что вымирали от голода — были равны между собой, универсальны (каждый мог делать все то, на что было способно целое человечество) и — хотя и почти полностью зависели от природы — свободны от навязанных позднее самим себе ограничений. Отрекшись от древнего равенства и свободы, человек стал вести организованную войну с естественной средой, и война эта, как казалось советским идеологам перелома пятидесятых и шестидесятых годов, уже, уже приближается к окончательной победе. Еще только одно поколение!.. В основном она уже выиграна...

Целью, стало быть, является изжитие того, что уже сыграло свою роль, из необходимого инструмента превратилось в оковы: социальных неравенств, делений, производственных специализаций, общественных и экономических ролей, всей социальной, политической, бытовой и культурной надстройки, чтобы с бесконечно возросшей мощью вернуться в доисторический «золотой век», создать как бы общеземную племенную деревню или растянутые на весь мир, с автоматами вместо рабов, Афины времен Перикла. А значит, полное изменение условий жизни, структуры общества, обычаев и личностей людей. Что за поле для выступления фантаста! Например, система органов и способы осуществления «власти».

Ефремов, которому весьма важно было ясно представить эти вопросы, решился, усиливая этим утопический компонент романа, на непосредственное описание в лекции одной из героинь:

> Веда попросила дать ей палку и нарисовала на песке круги основных управляющих учреждений.
>
> — Вот в центре Совет Экономики. От него проведем прямые связи к его консультативным органам: АГР — Академии Горя и Радости, АПС — Академии Производительных Сил, АСПБ — Академии Стохастики и

Предсказания Будущего, АПТ — Академии Психофизиологии Труда. Боковая связь — с самостоятельно действующим органом — Советом Звездоплавания. /.../ Разве это не напоминает вам человеческий мозг? Исследовательские и учетные центры — это центры чувств. Советы — ассоциативные центры. Вы знаете, что вся жизнь состоит из притяжения и отталкивания, ритма взрывов и накоплений, возбуждения и торможения. Главный центр торможения — Совет Экономики, переводящий все на почву реальных возможностей общественного организма и его объективных законов. Это взаимодействие противоположных сил, сведенное в гармоническую работу, и есть наш мозг и наше общество [125, 201].

Стругацкие же, «Возвращение» которых в большей степени, нежели «Туманность...», является технологической, а не социологической утопией, и которые, как правило, попросту описывали технику, размещая общественные изобретения в виде фантастического фона, избегая авторских разъяснений, разбросали информацию об устройстве мира будущего, синтез которой складывается в следующую картину. Во главе стоит Мировой Совет, которому подчиняются или с которым сотрудничают Советы меньшего уровня: Экономические Советы континентов и Совет Космогации, а также другие, не упоминаемые в тексте. В их состав входят различные Комитеты (напр., Комитет по охране животного мира иных планет, Комитет по внеземным ресурсам) и Комиссии (напр., Комиссия по контактам с иными цивилизациями, Комиссия по изучению следов деятельности иного разума в Космосе); их окружают консультативные, типа Академии Здравоохранения, или чисто научные органы (Академия Космозоологии, Институт Физики Пространства).

В обоих произведениях бросается в глаза отсутствие каких-либо исполнительных органов, особенно связанных с использованием силы. Здесь вообще не присутствует понятие «Власти» (то есть основанного на правовом авторитете отдания приказов и исполнения их под угрозой использования принуждения). Есть лишь управление определенными производственными или научно-исследовательскими процессами, где право на отдачу распоряжений кем-либо дает только его личный авторитет исследователя и организатора, а необходимость выполнения приказов и соблюдение запретов — внутренняя солидарность, повиновение добрым традициям и чувство ответственности. Обе книги дают многочисленные примеры напряженной и дисциплинированной деятельности рабочих групп и отдельных личностей в соответствии с принципами, о которых говорил Ленин: с переходом от социализма к коммунизму

будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части,

ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения [59, 25, 428].

Остается еще проблема ошибок и наказаний за них. Люди будущего, совершившие предосудительный поступок, наказывают себя сами. Мвен Мас после неудачного эксперимента вынес себе такой строгий приговор, что пришлось защищать его от самого себя. А вот как выглядит в «Возвращении» реакция жутко измученного (9 дней без сна) мужчины, ошибка которого нарушила важный эксперимент:

...у одного из операторских кресел стоял высокий человек и кричал, схватившись за голову:

— Назад! Назад! А-а-а!

Откуда-то, стремительно шагая, возник Каспаро [академик, руководитель эксперимента — *В. К.*], кинулся к пульту. В зале стало тихо /.../.

— Простите! — сказал высокий человек.— Простите... Простите...— повторял он.

Каспаро выпрямился и крикнул:

— Слушать меня! Секторы восемнадцать тысяч семьсот девяносто шесть, семьсот девяносто семь, семьсот девяносто восемь, семьсот девяносто девять, восемьсот — переписать! Заново! [2, 217]

В случае серьезной провинности и упрямом непризнании в ошибке наказывает — вплоть до исключения из своих рядов — коллектив. Так поступили с Сидоровым, который воспользовался тем, что командир корабля потерял сознание, самовольно высадился на планете и этим чуть не погубил корабль и его экипаж.

Общество полной свободы и благосостояния может поддерживаться в порядке и целостности лишь при высокой сознательности его граждан. Единственной побудительной причиной к труду становится потребность в нем, поскольку каждый получает все, что пожелает, безотносительно к его производственным заслугам. Совесть — единственная гарантия порядочности. Самозабвение в работе и высокий моральный уровень — таким главными чертами наделили Стругацкие человека будущего. Впрочем, свои взгляды они выразили и непосредственно:

Человечество идет к коммунизму. Коммунизм — это могучее объединение человечества, человечества богатого и свободного. Богатого знанием и свободного от забот о хлебе насущном, не зависящего от природы и диктующего природе свои законы.

Есть люди, которые представляют себе этот коммунизм как-то странно. Человечество перестает трудиться. Изобилие создают машины. В баках для питьевой воды — лимонад. Или даже пиво. Есть всё и в любых количествах. Нет только невыполнимых желаний. Человечество только

нежится на полном иждивении машин. Нечего хотеть, не о чем мечтать, не к чему стремиться.

Это не коммунизм. Это мертвящая скука. Коммунизм — это братство закаленных бойцов, знающих, жизнерадостных, честных. Да, будет изобилие. Да, будут машины — множество хитроумных машин, выполняющих всю неприятную и однообразную работу. Но не для того, чтобы человек заплыл салом от лени. Изобилие и машины нужны для того, чтобы освободить человека для выполнения высшего его назначения — для творчества [12].

Уже сейчас можно достаточно точно определить характерные черты будущего человека. Первая характерная черта — это огромная любовь к труду. Я знаю таких людей. У меня есть друзья, которые готовы работать днем и ночью. Они получают в труде наслаждение. /.../ Вторая черта — это жизненная активность и огромный интерес ко всему, что происходит вокруг. Я уверен, что человек будущего не будет лгать. Ложь будет ему органически неприятна [14, 172].

Ясно, что существование таких людей может быть гарантировано лишь при совершенной системе воспитания и образования. Нельзя поручать это делать непрофессионалам, а потому и в «Туманности Андромеды», и в «Возвращении» детей воспитывает государство, хотя родители и могут в любой момент встречаться с детьми. Ефремов видел будущую школу подобной обычному сегодняшнему техникуму-интернату. До 17 лет молодежь должна получить в ней жизненный и практический опыт, а также теоретические знания. Этап обучения заканчивается сдачей в течение трех лет своеобразного экзамена, совершением 12 «подвигов Геракла». Например, сын председателя Совета Звездоплавателя за полтора года должен был поочередно выполнить следующее: расчистить и сделать удобным для посещения нижний ярус пещеры Кон-и-Гут в Средней Азии, провести дорогу к озеру Ментал сквозь острый гребень хребта, возобновить рощу старых хлебных деревьев в Аргентине, выяснить причины появления больших осьминогов в области недавнего поднятия у Тринидада, собрать материалы по древним танцам острова Бали, подобрать исполнительниц и создать ансамбль. После этого ему назначат следующие шесть заданий. На основании результатов этих работ будут определены его способности, и он будет направлен на двухлетние высшие курсы по избранной специальности, по окончании которых 22-летний юноша станет полноправным членом общества. Далее он будет уже сам решать, где работать и какие дополнительные дисциплины изучать, чтобы стать универсальным специалистом. Универсализации будет также способствовать периодическая смена рода деятельности.

Стругацкие были более утонченными: их «школа» — это большой, окруженный парком «малый мир», где в отдельных помещениях проживают по четверо молодых людей, а их познанием мира управляет, используя самые современные технические методы и огромный, как правило, жизненный опыт, один (на четверых) учитель, который надолго, даже когда они станут взрослыми, останется их консультантом. Процесс обучения заключается в формировании в равной степени ума, тела и характера, при этом он должен учитывать юношеские интересы, игры, и ни в коем случае не ломать личности ученика. Постоянная смена занятий и управление ими педагогом, всегда имеющим для этого много времени, позволяет ученикам впитывать огромное количество знаний без вреда для других сторон развития и без ограничения молодой личности, без комплексов и стрессов. Ничего удивительного, что они вырастают искренними, отважными, свободными, у них прекрасное настроение, держат себя с достоинством.

Затем человек становится хозяином своей судьбы. Ищет, иногда неоднократно меняет занятия, но не как у Ефремова — в полуобязательном порядке, а до тех пор, пока не найдет дела, которое будет ему по душе. А пока не найдет, чувствует себя несчастным, чуть ли не больным, как Поль Гнедых, который очень долго искал свою профессию — охотника на животных далеких планет. Впитанная потребность в работе и любовь к ней так сильны, что в определенных, предельных ситуациях ее выполнение является лекарством от сильнейших треволнений — примером этого служило еще поведение героев «Пути на Амальтею».

Что же в таком случае будет с семьей? Детей она не воспитывает, а ее хозяйственные функции исчезли с окончательной победой общественного разделения труда... Классики марксизма не оставляли сомнения в том, что «индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда» (Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» [57, 21, 78]), а Ленин в «Великом почине» подчеркивал: «Настоящее освобождение женщины, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба /.../ против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство» [59, 29, 396]. Должен заметить, что вышеизложенные мнения вовсе не были направлены против моногамии. Наоборот: именно любовь должна была стать исключительной основой супружеских связей.

Ефремов с разгону ликвидировал понятие брака и даже передачу фамилии по наследству — его герои носят «имена» и «фамилии», выбранные произвольно (Дар Ветер, Низа Крит, Веда Конг и т. д.). Стругацкие, верные мысли Энгельса, брак и традиционные фамилии оставили, а что касается ликвидации «домашнего хозяйства», то иллюстрированию этого явления даже посвятили отдельный рассказ, о том, как Славин, женившись, хотел приготавливать пищу дома, хотя все другие столовались в ресторанах. Проблема заключалась в том, что он жил «в деревне», куда еще не подключили «Линию Доставки», поставляющую готовые кушанья. Несмотря на протесты жены, Славин заказывает домой кибернетическую кухню, предназначенную для автоматического приготовления пищи в походах, в малых столовых и т. д., а так как в доме нет кухонного помещения, тащит ее в ванную, при этом не только не может ее запустить, но даже не понимает, что по ошибке получил стиральную машину.

В своем коммунистическом мире братья повествуют также еще и об остаточном различии между городом и деревней, ибо сказано: «Правда, в лице крупных городов цивилизация оставила нам такое наследие, избавиться от которого будет стоить много времени и усилий. Но они должны быть устранены — и будут устранены...» (Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг» [57, 20, 308]) Герои «Возвращения» не испытывают неудобств от «проживания в деревне» при почти уже всеобщей автоматизации, легкости коммуникации и перемещения, города же напоминают парки, что тем более заслуживает внимания, если учесть, что Ефремов, чей роман в гораздо большей степени несет отпечаток сталинской эпохи, явно недооценивал эту проблему, поскольку у него «строители /.../ поднимали свои творения на высоту более километра» [125, 157].

Вершиной пирамиды, фокусом, в котором собирались наиболее существенные линии образа идеального мира «Туманности Андромеды», был выдвигаемый в ней «тип» героя, идеал коммунистического человека. Даю слово Ю. Рюрикову:

> Концепция будущего человека у Ефремова богата и интересна. Этот человек слил в себе лучшие свойства всех предшествовавших ему человеческих типов, освободился от их односторонности, их «частичности». Человек Ефремова универсален и гармоничен, он развивает все свои задатки и способности, все стороны своего интеллекта и своих эмоций. Вся жизнь его отдана творчеству, и он везде действует как творец: в тру-

де, отдыхе, любви, дружбе. Его мораль гуманна, чувства глубоки, отношения к другим людям человечны [71, 79].

Слово в кавычках напоминает рассуждения Маркса о «частичном рабочем», какой возникает при чрезмерном разделении труда, когда односторонняя специализация приводит к утрате наиболее ценных человеческих черт. Универсализм и гармония ефремовского человека — это результат уничтожения при коммунизме разделения труда. В то же время «человеческое отношение к другим людям», которое заключается в отношении к другим, как к самому себе, в уважении чужих чувств, развитой эмпатии и полном отсутствии эгоизма, возведенное в ранг общественного обычая, является ключевым понятием коммунистического общества.

Воспитанный в таких условиях человек не является с нашей точки зрения нормальным, обычным человеком:

> Изменившиеся условия его жизни подняли его на высочайшие ступени духовного развития. Его логическое мышление развито, как у лучших теперешних ученых, образное восприятие — как у лучших писателей, его глаз натренирован, как глаз художника, ухо — как ухо музыканта. Его мимика и жесты выразительны, как у лучших актеров, его тело развито, как у лучших спортсменов [71, 80].

Принимая во внимание различия в научных интересах, отличия в изображении философских положений, имеющих одинаковый источник, наконец, разницу в писательских темпераментах — мы утверждаем, что Стругацкие (не в деталях, но в основном) довольно верно шли по следам Ефремова. Похожие цели и исходные тезисы предопределяли эту верность. То же самое было и с идеалом человека, по крайней мере, до определенного момента. Герои «Возвращения» так же гармоничны (мотив совершенного физического развития станет у Стругацких одним из любимых [27]) и универсальны, хотя — как я уже уточнял — не меняют занятия слишком часто. Универсальны по-ефремовски они лишь после окончания школы.

Тем не менее полное несогласие с «Туманностью Андромеды» выразилось у Стругацких в том, что определяло эстетические ценности романа, то есть в области психологического и характерологического анализа героев. Ефремов с типично соцреалистическим безразличием к эстетике экспериментировал «до конца», действительно пытаясь представить отличающуюся от сегодняшней психику, не обращая внимания на то, что неправдоподобие мышления в восприятии читателя сдела-

ет персонажей плоскими, бумажными. Вот как, например, он пытался «образно» показать мышление будущих людей исключительно в категориях диалектики:

> Эрг Ноор шел без обычной стремительности, переступая босыми ногами по мягкой траве. Впереди, на опушке, зеленая стена кедров переплеталась с облетевшими кленами, похожими на столбы редкого серого дыма. Здесь, в заповеднике, человек не вмешивался в природу. Своя прелесть была в беспорядочных зарослях высоких трав, в их смешанном и противоречивом, приятном и резком запахе [125, 271].

Характерно, что в польском переводе этот перл диалектического восприятия мира опущен.

Похожие фрагменты можно подобрать для иллюстрации всех отмеченных Рюриковым особенных свойств психики и чувств.

Стругацкие в вопросах психологии и писательского душеведческого ремесла хотели остаться «консерваторами» и даже вымыслили соответствующую футурологическую теорию не качественных, а количественных изменений, ведущих к будущему идеальному обществу (то есть не возникновение совершенно «нового» человека, а распространение «хороших» людей в соответствии с нашими сегодняшними нормами), которая могла защитить их от упреков в отходе от идеологии. Выигрывала от этого и читательская привлекательность их текстов. Они могли сделать часть персонажей носителями комизма, давать им различные характеры (оригинал, зануда, глупец), касалось это прежде всего эпизодических персонажей. Однако излишняя привязанность к вопросам психики была и опасной. Она поставила на их творческом пути ловушку, которую не смогли обойти многие социалистические писатели. Ведь если существенной гарантией создания коммунистического общества является воспитание людей настолько добрых, мудрых, сознательных, чтобы они захотели соблюдать его законы (а именно так часто считали советские марксисты), то трудно ответить на вопрос: «А что будет, если человек по своей натуре не является добрым, или добро и зло представлены в нем в равной мере?»[28]

Окончание «Возвращения» было еще, в соответствии с правилами, оптимистичным, но уже содержало и сомнения[29].

После первой части, в которой изображена «завязка действия», второй — описывающей подробности мира развитого коммунизма, шла третья и последняя, подводящая итоги, под названием «Какими вы будете». Она состояла из трех эпизодов: «Свидание», «Поражение» и собственно «Какими вы будете»[30].

«Свидание» рассказывало о трагическом, случайном контакте с космонавтом другой цивилизации, которого застрелил охотник Поль, думая, что перед ним зверь; тем не менее это событие в любом случае открывает новую главу в истории человечества.

«Какими вы будете» завершало повесть. Трое приятелей: Кондратьев, Горбовский и Славин, беседуют о дальнейшей судьбе человечества, в результате чего на последней странице книги появились слова:

> **Мое воображение всегда поражала ленинская идея о развитии человечества по спирали. От первобытного коммунизма нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости — к коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств. /.../ ...с коммунизма человек начал и к коммунизму он вернулся, и этим возвращением начинается новая ветвь спирали, ветвь совершенно уже фантастическая... [2, 308]**

В скором времени писатели захотят заглянуть в это посткоммунистическое будущее, вот только этот образ идеального общества и всемогущего (но очень, очень беспомощного) человека будет исполнять в их произведениях и качественно, и идеологически другие функции. А пока их целью станет выяснение некоторых неясностей, о которых в последней части также упоминается, но уже не в тираде персонажа, а в двух очень метафористических историях.

Первую из них рассказывает Горбовский. Это байка о том, как он встретил путешествующего во времени потомка, для которого ничто уже не составляло трудностей, и задал ему вопрос:

> **«Постойте, один вопрос! Значит, вы теперь уже все можете?» Он с этакой снисходительной ласкою поглядел на меня и говорит: «Что вы, говорит, Леонид Андреевич. Кое-что мы, конечно, можем, но вообще-то работы еще на миллионы веков хватит. Вот, говорит, давеча испортился у нас случайно один ребенок. Воспитывали мы его, воспитывали, да так и отступились. Развели руками и отправили его тушить галактики» [2, 307].**

Другая история — в рассказе «Поражение».

Речь в нем идет о том, как исследовательская группа на одном из Курильских островов испытывала «механозародыш», из которого должен был «развиться» жилой купол. Механизм действия был следующим: соответствующее устройство перерабатывало естественный материал, на котором располагался «механозародыш», в пластмассу, из которой строился купол. Ученые разместили «Яйцо» — как выяснилось позднее — над японским подземным складом времен II мировой вой-

ны. Машина, не зная, с чем имеет дело, стала заливать артиллерийские снаряды горячим пластиком, и произошел мощный взрыв. Значит, «мертвые тоже могут бороться и даже наносить поражение»? [2, 288] Так звучал вопрос, заданный главным героем «Поражения».

Если перевести эти притчи на неметафорический язык, можно сказать, что Стругацкие наметили для себя цель поразмышлять о существовании ограничений человеческой натуры и о силе современного общественного и политического зла.

Глава III
ПЕРЕЛОМ

Не беллетризованная футурология, а условность — Стругацкие формулируют собственную теорию научной фантастики —— Доклад братьев на семинаре в Доме детской книги, изложение теории — Контекст (а): реформа теории соцреализма после XX съезда КПСС (типы, методы, стили) — Контекст (б): литературно-критические дискуссии 1957–1964 годов о фантастике — продолжение. Еще о семинаре в Доме детской книги —*— Между соцреалистической утопией и современной аллюзией, или «Стажеры» — «Попытка к бегству» как первая демонстрация историософического пессимизма и аллегория современности — «Попытка к бегству»: трудности с мотивацией — Борьба условности НФ и утопии, аллюзии с футурологией в «Далекой Радуге» —*— «Трудно быть богом» как жанровый перелом в советской фантастике — «Трудно быть богом»: размышление об обоснованности исторического детерминизма — «Трудно быть богом»: предупреждение рецидива сталинизма — Неудавшаяся антиутопия «Хищные вещи века» — Выводы на будущее.*

В конце ноября 1964 года в газете «Известия» под рубрикой «О чем думаем, о чем спорим» была опубликована весьма некомпетентная статья [80], подписанная «Л. Коган, доктор философских наук», в которой весьма типичным для перелома пятидесятых-шестидесятых годов способом критиковались последние достижения советской научной фантастики. Коган обвинял: техницизм, отсутствие убедительных людских характеров, вызванное тем, что нет широкой панорамы общества буду-

щего (исключение: «Туманность Андромеды»), а следовательно: сходство с социологически консервативной западной НФ, а также недостаточное использование материалов XXII съезда КПСС и неисполнение своего основного задания — показа молодежи коммунистического будущего.

На страницах «Литературной газеты», в первую очередь защищая «Молодую гвардию» — издательство, с которым все теснее сотрудничали братья,— напечатали свою реплику Стругацкие: утверждая, что книги о коммунизме есть, высказывая претензии по поводу фальсификации цитаты из Горького и еще несколько мелочей, они выдвинули весьма любопытный упрек:

> Как можно /.../ пытаться затиснуть все тематическое многообразие фантастики в рамки однотемного определения, как бы пышно оно ни звучало. «Литература мечты», «литература о завтрашнем дне», «литература научного предвидения»,— честное слово, нам казалось, что даже школьнику нашего времени должно быть ясно: подобные определения способны лишь ограничить и обеднить жанр [15].

Внимание здесь привлекает, во-первых, существенная терминологическая непоследовательность. Ибо определение фантастики как жанра связано здесь с протестом против установления ее тематической сферы влияния. А ведь советское литературоведческое сознание тех лет при разделе видов литературы на жанры обычно использовало тематические ключи. Считалось, что социалистический реализм является художественным исследованием действительности и жанры занимаются анализом ее отдельных областей. Научная фантастика — как считалось до сих пор — сначала должна была заниматься областью, которая называлась «научно-технический прогресс», а потом «будущим коммунистическим обществом», и тем отличалась от производственной, колхозной, военной, антикапиталистической и т. п. прозы[31].

Во-вторых, если исключить какие-то неизвестные мне издательские или социологические причины, интригует сам факт полемики. Ведь Коган выдвигал постулат, требованиям которого Стругацкие еще недавно старались соответствовать, когда писали «Возвращение», а перед этим — некоторые рассказы. Понимание научной фантастики как литературы о коммунизме не было чуждо нашим авторам.

Вывод можно сделать один — что-то изменилось за это короткое время. А это был период очень интенсивной писательской деятельности. Стругацкие не имели привычки ставить под текстами дат их написания, поэтому я лишь гипотетически установил такую последователь-

ность: после окончания «Возвращения», в 1961 и начале следующего года была написана большая повесть «Стажеры». 1962–1963 годы принесли: «Попытку к бегству», «Далекую Радугу», «Трудно быть богом», 1964 год — «Понедельник начинается в субботу». «Хищные вещи века» наверняка возникли на переломе этих лет. «Понедельник...», как я считаю, знаменует следующий период развития творчества Стругацких, а потому это «что-то» поищем, анализируя оставшиеся позиции[32].

А пока вернемся к взглядам братьев на сущность и цели фантастической литературы. Свидетельствующая о невозможности согласия новых постулатов писателей с ортодоксальной структурой соцреализма терминологическая непоследовательность, отмеченная выше, как бы приглашает повнимательнее присмотреться к программно-творческой активности наших авторов. Так уж получилось, что в конце 1964 года им наконец предоставилась возможность исчерпывающе изложить свои теоретические убеждения. Один из важнейших советских литературоведческо-критических ежемесячников, «Вопросы литературы», опубликовал в это время анкету «Литература и наука», а немного позже, в январе 1965 года, Дом детской книги в Ленинграде вместе с издательством «Детская литература» организовал критическую дискуссию, посвященную научной фантастике, материалы которой были напечатаны в очередном томе сборника «О литературе для детей». Стругацких пригласили участвовать в обоих мероприятиях.

*

Представленный в дискуссии реферат начинался с перечисления популярных в СССР, нормативных (братья употребили слово «жестких») определений фантастики:

> 1. ФАНТАСТИКА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА НАУЧНОЙ МЕЧТЫ. Главная ее задача — популяризировать достижения науки, приобщать широкие массы читателей к научно-техническому прогрессу, экстраполировать этот процесс в увлекательной и общедоступной форме. /.../
>
> 2. ФАНТАСТИКА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА О СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ. Главная ее задача — создать зримые картины коммунистического мира, яркие образы людей будущего. /.../
>
> 3. ФАНТАСТИКА ЕСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Главная ее задача — снабжать духовной пищей многомиллионную армию советских школьников, формировать коммунистическое сознание детей, готовить их к вступлению в большой мир науки [11, 276].

Против были выдвинуты различные аргументы. Прежде всего, ни одно из этих определений не охватывает даже признанные произведения советской фантастики (не вспоминая уж о мировой). Далее, они искусственно «ограничивают сферу действия фантастики, возможности изучения и отражения ею мира событий и идей» [11, 277]. Понимание задач жанра как популяризации приводит к тому, что «в тени остаются важнейшие проблемы общефилософского характера, социологические аспекты технического прогресса, чисто человеческие его аспекты, наконец» [11, 277]; утверждение, будто фантастику читают лишь дети, явно не соответствует действительности, а что касается понимания НФ как футурологии, то и с этим Стругацкие не могли согласиться:

> Мы не можем считать достаточно исчерпанной проблематику СОВРЕМЕННОСТИ, чтобы полностью отдаваться изображению картин грядущего коммунистического мира. Слишком много вопросов ставит еще перед литературой современность, слишком пристально наше внимание к человеку сегодняшнего дня [11, 278].

Во-вторых, авторы указывали, что сам принцип постановки перед фантастикой целей, ограниченных рамками какой-то конкретной области, в силу обстоятельств порождает «однообразие сюжетов и приемов, узость мысли и скудость проблематики» [11, 279], как это было с книжками «на грани возможного». Нормативность мышления о фантастике особенно фатально отражается на художественной ценности произведений, так как авторы, сознательно занимаясь лишь «главными задачами», перестают заботиться о ремесле.

> Именно так появляются зачастую произведения безукоризненно идейные, блистательно популярные и широко доступные и вместе с тем — бледные, пресные, водянистые, начисто лишенные чисто литературных достоинств, а потому не способные по-настоящему увлечь, заинтересовать, взволновать читателя; произведения, общественная ценность которых, несмотря на всю их доступность и идейную выдержанность (и вопреки им), равна нулю... [11, 279]

— страстно писали братья, не замечая, что противоречат основам соцреалистической эстетики, согласно которой не форма, но содержание создает прекрасное.

В-третьих, они констатировали — мы приближаемся к уже упоминавшейся непоследовательности — мизерную теоретико-литературную ценность двух первых определений, которые оперируют тематическим критерием, а «фантастика никогда не сужалась до одной темы или даже до ограниченной совокупности тем или задач» [11, 280].

Стругацкие решились вывести совершенно другую дефиницию, основанную на понятиях «литературного метода», «литературного течения» и т. д.:

> Фантастика, как и вся литература, объективно полагала своей целью отражение действительности в художественных образах, причем под действительностью следует понимать не только мир вещей и событий, но и мир общественного сознания, мир прошлого и будущего человечества в преломлении творческого восприятия писателя. /.../ ФАНТАСТИКА ЕСТЬ ОТРАСЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОДЧИНЯЮЩАЯСЯ ВСЕМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЗАКОНАМ И ТРЕБОВАНИЯМ, РАССМАТРИВАЮЩАЯ ОБЩИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (типа: человек и мир, человек и общество и т. д.), НО ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРИЕМОМ — ВВЕДЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТА НЕОБЫЧАЙНОГО [11, 280–281].

Этот элемент может иметь в произведениях различные формы и функции. Это может быть «перенесение действия в небывалую обстановку», или «чисто сказочное допущение», «чистейший прием, применяемый для решения задач, не связанных прямо с сущностью необычайного» [11, 281]. Ну и наконец, авторы называли фантастический элемент важным сам по себе, являющимся собственно темой и предметом описания, например, в технологической и общественной утопии.

Такой взгляд на фантастику, пользующуюся другой стратегией, но имеющую наиболее реалистичную обусловленность и цели литературы, имел и недостатки. Общий характер дефиниции требовал введения категорий, которые могли бы классифицировать богатство фантастических произведений в синхронии и во времени. Стругацкие — здесь мы переходим к анкете «Вопросов литературы» — особенно были нерешительны в вопросе целесообразности выделения «научной» разновидности фантастики, не используя, однако, этого термина, отягощенного нормативной традицией. (Советские критики особенно охотно говорили о «научности» не только как об условном определении жанра, но дословно; они использовали термин «научная фантастика», чтобы «свою» фантастику отличить от западной, «антинаучной» — а также подчеркивали «научность» как черту современной фантастики, выделяя ее среди разновидностей литературной фантастики девятнадцатого века и более ранней. «Научность» и «антинаучность» также на практике часто были понятиями, заменяющими «реализм» и «антиреализм», тем более что о последнем говорили совсем уж неохотно.)

Для Стругацких «научность» ассоциировалась также с соответствием справочным данным, требование которого допекло всех в годы гос-

подства «теории предела», поэтому они демонстративно ее отбросили:

> Почему нас называют научными фантастами? Мы ответим: не знаем. Не знаем, почему до сих пор держится устаревший термин «научная фантастика». В лучшем случае он пригоден для определения одного из направлений фантастики. И мы понятия не имеем, почему у писателя-фантаста должны быть какие-то особые взаимоотношения с наукой, отличные от отношений с наукой любого другого писателя [11, 273],

— спрашивали они, добавляя, что, конечно, каждый писатель в наше время должен быть глубоко образованным и способным к философскому творчеству интеллигентом (против чего[33] в свою очередь запротестовала редакция).

Однако, лишаясь тем самым возможности классифицирования бурного потока, авторы испытывали беспокойство, отчетливо наблюдаемое в ответе на анкету:

> Отличие писателя-фантаста от «обычного» писателя состоит в том, что он пользуется методами, которые не применяли ни писатели-реалисты, ни Рабле, ни Гофман, ни Сент-Экзюпери в «Маленьком принце» [11, 272–273].

Эту непоследовательность сразу же подметил Е. Брандис в полемической части своего выступления в дискуссии. Однако его атака попала в пустоту, потому что Стругацкие уже окончательно примирились (ответ на анкету был написан раньше, чем реферат) с невозможностью выделения с помощью предложенного ими аппарата понятий жанра, который они развивали, среди других творческих течений литературной фантастики в истории. Смирились тем легче, что произведения, написанные ими во второй половине шестидесятых лет, были сатирическими, «современными сказками», или совсем обходящимися без стаффажа НФ, или использующими его явно необязательным образом, насмешливо («Понедельник начинается в субботу» был уже позицией такого рода).

Определенные следы колебаний можно наблюдать еще и в том, что писатели, громко протестуя против тематических критериев, тем не менее соглашались с существованием конкретного круга современных задач, которыми должна заниматься современная фантастика. Среди названных ими задач были трудности в достижении коммунизма, связанные с существованием мещанства, проблемы развития науки, общественные сложности технического прогресса, возможности контакта с инопланетными цивилизациями и т. д. [16]

Предложенное братьями новое понимание литературы указывает на глубокие перемены взглядов, начало нового этапа в творчестве былых приверженцев технологической и футуролого-утопической фантастики. Теперь Стругацкие даже утверждали, что этот этап начался значительно раньше:

> **Считается, что мы пишем о будущем, строим модели грядущих существований. Это, однако, не совсем так. Во всяком случае, для наших последних произведений: «Стажеры», «Попытка к бегству», «Далекая Радуга» и «Трудно быть богом». Акинари Уэда сказал как-то: «Настоящее можно узреть в глубокой древности». /.../ А мы поступаем немного по-другому — протягиваем элементы настоящего в более или менее отдаленное будущее [11, 274].**

Напомню: два года назад авторы уже признавались в том, что поместили в будущий мир отдельные «элементы современности» (то есть некоторые типы людей, встречающиеся в наше время), добавляя, однако, что они действительно будут иметь место в будущем. То есть объясняли это заботой о правдоподобности предсказаний, а не поиском возможностей сказать об этих «элементах» что-то больше, чем это можно сделать в современном произведении, не экспериментированием... В то же время «элементы современности» — это более емкое определение, нежели «исключительно милые, исключительно добрые, исключительно одухотворенные люди», о которых именно и вели писатели тогда речь. Если под «элементами» подразумевать, например, «негативные общественные явления, мешающие двигаться вперед», то в таком случае манифест Стругацких подталкивает искать в их произведениях «эзопов язык».

Однако еще рано проверять это предположение. Перед тем как перейти к анализу перечисленных в цитате книг, я хотел бы отметить, сколь отважными и исключительными были провозглашенные нашими писателями теоретические взгляды.

Теория социалистического реализма, развития литературы при социализме, в начале шестидесятых годов получила ряд новых понятий. Всестороннее закрепление их сферы продолжалось последующие пятнадцать лет (по крайней мере, до того момента, когда выраженное в резолюции ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» в 1974 году недовольство властей подтолкнуло теоретиков литературы к новым поискам).

Споры прежде всего касались сущности «метода» и «стиля» и возможной взаимосвязи меж ними, и были отнюдь не академическими, потому что напрямую касались пределов допустимой творческой свободы. Если, например, Игорь Лисаковский утверждал:

> Творческий метод — это совокупность идейно-художественных принципов, опирающихся на познавательно-ценные позиции искусства; соответственно, стиль следует понимать как конкретный художественный способ выражения определенных идейно-эстетических принципов, в основе которого лежит конструкционно-знаковая сторона художественного творчества [129],

— то связь между стилем и методом для него была довольно эластичной. Можно представить ситуацию, в которой творец, применяющий «реалистический метод» (или настройку творческого субъекта произведения на показ правдивых и существенных отношений между человеком и обществом) или даже более конкретно — «метод социалистического реализма» (выявление и показ отношений человека и общества, существенных с точки зрения марксизма-ленинизма), использует различные стили, даже такие, которые генетически не связаны с «реалистическим типом творчества». Допустим: могут существовать произведения, написанные в соответствии с методом социалистического реализма, но в «романтическом» (Константин Паустовский) или «экспрессионистском» («Мистерия-буфф» Владимира Маяковского) стиле, и трактовать их следует как равноценные и написанные в «реалистическом» стиле sensu stricto. Лишь в крайних случаях форма произведения может отрицательно влиять на его идейное содержание.

Однако если принять точку зрения более консервативного Сергея Петрова, для которого реалистический метод означал «отражение сущности жизни в формах самой жизни» (соответственно: метод социалистического реализма видит эти «сущности» по-марксистски),— реалистическая форма, то есть «реалистический стиль» окажется наиболее подходящим для творца социалистического реализма, и все произведения гротескные, фантастические, романтические (например, выдвигающие на первый план экспрессию субъекта) и т. д. будут чем-то похуже, излишними (ведь то же самое о «сущности жизни», и даже яснее, можно сказать «реалистично»), хотя и не классово враждебными, а значит, могущими принадлежать советской литературе, на правах «младшего брата». Чаще всего, в случае принятия подобных установок, историю советской литературы делили на два этапа: «романтический» (до 1935 г.), когда пользовались романтическими методами и стилями (воз-

можно также, методом уже реалистическим, но стилем еще романтическим), и современный (после 1935 г.), когда метод и стиль социалистического реализма «победили», а использование других стилей (а тем более, романтического метода) стало эпигонством.

Возвращаясь к манифесту Стругацких и пробуя перевести его в систему понятий, описанных выше, получаем следующее. По Стругацким, фантастическая литература — это не что иное, как особое «стилистическое течение» в рамках «реалистического метода», или даже «метода социалистического реализма»,— если, конечно, они намеревались изучать «отношения человек—мир, человек—общество» по-марксистски. Также их позицию в вопросе «научности» фантастики можно определить как всестороннее использование мысли об эластичности связей меж методом и стилем, или о полной формальной свободе в рамках данной идейной цели. И все же «научность», соответствие научных мотивов произведения чувству реалистичности и научным гипотезам — это не что иное, как размещение в этом произведении «форм самой жизни», а затем использование реалистического стиля, без которого (согласно взглядам прогрессивного крыла соцреалистов) вполне можно обойтись при реалистическом отражении сущности той же жизни. Таким образом, несмотря на использование Стругацкими особой терминологии, их рассуждения по-прежнему остаются в рамках соцреалистического мышления о литературе.

Беда заключалась лишь в том, что в 1965 году консервативное крыло соцреалистов имело существенное количественное преимущество. Что удивительно, в кругу сторонников НФ тоже. Такое же, как у Стругацких, не только тематическое, но и формальное понимание сущности жанра, признание научно-фантастической литературы в качестве особого инструмента художественного исследования действительности «в целом», а не ее довольно периферийной «части», обещало уравнение в правах, высвобождение из технологически-утопического гетто, возможность заниматься жгучими, серьезными проблемами. Это могло окончательно развеять «запашок» идейной чуждости, который на переломе 6 и 7 десятилетий существовал и мог повредить — интерес властей все же мог иметь характер случайной акции и не заменял собой благоприятных перемен в теории доктрины. Напоминание о том, что научная фантастика — не только «научная», но прежде всего «фантастическая», взгляд на нее на фоне всей литературной фантастики облагораживал жанр, роднил его с великими традициями. Как и с теми ее частями, ко-

торые соцреалисты уважали: с народными сказками, с прозой эпох Просвещения и Возрождения.

Все это, однако, не предопределило более раннее, нежели в восьмидесятых годах, распространение литературной теории НФ, как не вдохновило серьезную группу теоретиков на действие до выступления Стругацких. Голоса, подготавливающие их взгляды, были чрезвычайно несмелыми. Когда-то фантастику (а значит, и научную фантастику) называл «представлением несуществующего как существующего» [66, 102] сам Александр Беляев. И сам кроме книг в духе Верна написал шутливые повести о необыкновенных изобретениях профессора Вагнера, который, например, пересадил мозг ассистента в тело слона («Хойти-Тойти» — 1930), и явно ненаучный, аллегорический роман о летающем юноше («Ариэль» — 1941).

На совещании 1958 года мысль, что фантастика должна быть своего рода «инструментом», служащим для решения различных задач, и соответствие с научными установками в этом случае не всегда обязательно, выдвинул Георгий Гуревич [62]. Он ссылался на традиции книг известного геолога и географа Владимира Обручева: «Плутония. Необычайное путешествие в недра Земли» (1924), в которой, отталкиваясь от известной книги Верна, с помощью неправдоподобной гипотезы о подземной пустоте популяризировались геологические и палеонтологические сведения, и «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926), в которой шла речь об экспедиции, нашедшей среди льдов оазис жизни первобытных людей. Примером служения с помощью явно «ненаучной» фантазии так же, как и популяризации науки, требуемым целям были для Гуревича и сатирические романы Лазаря Лагина («Остров Разочарования» — 1951, «Атавия Проксима» — 1956, и т. д.), компрометирующие логику капитализма.

Наконец, стоит вспомнить, что в 1960 году скандально прозвучал неслыханный тогда тезис Валентины Журавлевой о том, что «задача фантастики — показывать человека в необычных условиях, а как эти условия возникают, не столь важно» [68].

На совещании в Доме детской книги в 1965 году Стругацкие оказались практически в одиночестве. Прозвучало еще девять рефератов, но только Геннадий Гор и Журавлева предложили программы, допускающие использование фантастики как литературного инструмента, способного решать общие проблемы, инструмента необязательно четко регламентированной формы. Первый говорил о психологических проблемах, связанных с восприятием времени, вторая о новых научных идеях — а

значит, они были далеки от трактовки фантастики в качестве универсального инструмента, способного поднять любую проблему. Семь оставшихся считали «научность» незыблемой аксиомой, из них Генрих Альтов по-прежнему призывал к популяризации науки и техники, Александр Шалимов считал жанр чисто молодежным; остальные принимали задачей НФ искусство описания будущего, хотя определение «литература крылатой мечты» некоторых не устраивало, так как не включало антиутопию (в ее дозволенной в СССР разновидности). Несколько докладчиков даже полемизировали с взглядами Стругацких (известными по анкете в «Вопросах литературы» и спору с Коганом). Общим для докладчиков было убеждение, аналогичное взглядам консервативного крыла соцреалистов: они считали допустимым для современной советской фантастики изложение своих истин с помощью фантастических образов, соответствующих если не научно очерченному правдоподобию, то хотя бы чувству рационализма. Разумеется, говорили они, когда-то научной фантастики не было (так же, как зачатки советской литературы были не реалистичными, а романтическими), но теперь научность, понимаемая как соответствие установкам естественных и технических наук, а также марксистской социологии, является необходимой. Правда, уровень литературной культуры у полемистов был различным.

Например, простодушный М. Лазарев в очерке с значительным названием «Ответственность фантаста» воинственно утверждал:

> Поэтому не мешало бы начать отдавать отчет в том, что в нынешние времена в мировоззрении нет третьей грани и что фантастика ненаучная рискует очень скоро обернуться фантастикой антинаучной. /.../
>
> И потому хотелось бы услышать ясный ответ: на какой основе возможна нынче фантастика, кроме научной? Какие воззрения читателя, кроме научных, позволят ему поверить в достоверность вымышленных событий? Возможно ли художественное воздействие современного произведения на современного читателя, заведомо уверенного, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при какой мере условности описанных событий быть не может? [90, 202—203]

Примерно то же прозвучало и в речи несравнимо более деликатного Евгения Брандиса. До половины реферата он соглашался со Стругацкими, утверждая, что

> на современном этапе писатели-фантасты, как правило, не ставят перед собой популяризаторских задач. На первый план выдвигаются социально-психологические, этические или философские проблемы. Фантастические положения позволяют создавать необычные коллизии и дово-

дить конфликты до самого высокого накала. Фантастика становится своего рода лупой времени, фокусирующей в преувеличенном виде и в особых ракурсах сложные комплексы представлений об окружающем мире [85, 114];

или же:

В лучших своих проявлениях научная фантастика всегда злободневна, связана с волнующими проблемами и гипотезами. Она наталкивает на раздумья, будит живую мысль, тренирует воображение, развивает ум. И, может быть, в этом ее главная ценность, а не в тех реальных познавательных сведениях, которые содержатся в тех или иных произведениях [85, 118];

но одновременно твердо резервировал термин «фантастика» для старинных произведений, а также для идейно чуждых или «эпигонских» проявлений западной SF (или «фэнтези»), доказывая, что современная советская фантастическая литература должна быть «научной» и тогда, когда фантастическое видение является в ней целью само по себе:

Наука в фантастическом произведении может быть предметом изображения или, как в этих случаях, служить обоснованием действия, превращаясь в своего рода «deus ex machina». Но так или иначе, без науки современному фантасту не обойтись![34] [85, 119]

Следует отметить, что критик предъявлял к фантастическим произведениям требование сохранения однородной и рациональной мотивировки действия, что придавало вопросу «научности» композиционный, структуральный аспект (здесь Брандис приближался к общепринятым ныне взглядам Роже Келлуа и Лема[35]):

Убедительное обоснование действия даже в тех случаях, когда фантастика используется в качестве художественного приема,— вещь обязательная. Пусть это будет только логическая мотивировка, лишенная научной достоверности. Там, где она отсутствует, читатель теряет доверие к автору [85, 126],

но этот аспект был для Брандиса не так важен, как верность правилам нелитературного мира.

Короче говоря, семинар 1965 года показал, что критика не намерена позволить Стругацким писать «чистую фантастику», считая, что фантастический мотив, независимо от того, чему он служит, должен быть сам по себе способным реализоваться, быть правдоподобным, соответствовать научному и марксистскому мировоззрению.

«Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне», «Второе нашествие марсиан», «Сказка о Тройке», «Гадкие лебеди» вскоре показали, что Стругацкие не прониклись отсутствием такого позволения. Однако то, что они писали в 1960 – 65 годах, вопреки содержанию процитированных манифестов пока еще соответствовало традициям научной фантастики (в принятом в Польше и в мире значении этого термина) или слегка выходило за их границы. Все это является, говоря точнее, раскрытием этих традиций.

*

Представленный в «Возвращении» образ рая, который должен был быть теоретически обоснованной и правдоподобной моделью осуществленного и осуществляемого на практике будущего, требовал защиты. Нужно было убедить — может быть, читателя, может быть, самих себя,— что история покатится именно так, что сегодняшние преграды удастся преодолеть. То, что Стругацкие после написания утопического произведения обратились к рассмотрению проблем текущей реальности, было и вопросом порядочности, и вытекало из соцреалистической нравственности писателя-гражданина. А следующие обстоятельства: 1) писатели разделяли распространенное тогда представление, что коммунизм возможен лишь при условиях высокой этики, культуры и умственного уровня участников; 2) политическая атмосфера 1961 года, в конце которого XXII съезд КПСС поставил задачу воспитания следующего поколения в коммунистическом духе; 3) интерес братьев к психологии — эти обстоятельства, вместе взятые, предопределили, что эти проблемы будут касаться общественной нравственности и вообще сознания.

Новое направление творческих интересов было провозглашено всем и каждому в финале «Стажеров» — истории дальнейших приключений Быкова со товарищи. Жилин решает покинуть космонавтику, так как «главное всегда остается на Земле» [2, 538], и посвятить себя воспитанию молодежи.

Вот фабула двенадцатилистовой повести. Друзья, постаревшие и без Дауге, которому врачи запретили летать, отправляются в последний рейс. Это инспекционная поездка по научным станциям и другим учреждениям, разбросанным по Солнечной системе. Юрковский, известный и авторитетный планетолог, стал Генеральным Инспектором Международного управления космических сообщений и последовательно

посещает научную колонию на Марсе, станцию исследующих гравитацию «смерть-планетчиков», одно из последних капиталистических предприятий — копи на астероиде, где добывают драгоценные камни, небольшую астрономическую станцию около Сатурна и большой космический центр на орбите этой планеты. Конец повести трагичен — Юрковский и Крутиков гибнут во время попытки «захвата» в кольце Сатурна скального обломка со следами деятельности пришельцев.

На борту «Тахмасиба» находится также Юрий Бородин, восемнадцатилетний «вакуум-сварщик». Для него это путешествие станет шагом к взрослению, отучит от бескритичного любования героическими поступками любой ценой; он будет первым объектом педагогических забот Жилина.

События, связанные с пребыванием персонажей в каждом из инспектируемых мест, приобретают образ новеллы, дважды (Марс и копи Бамберги) прерываемой пространными, разрастающимися до границ длинного рассказа эпизодами из жизни обитателей мест, куда должен прибыть «Тахмасиб». «Стажеры» напоминают по строению (как и «Возвращение») цикл новелл, связанных фигурами персонажей и мотивом (здесь: «путешествием»). Хотя «Стажеры» на условной шкале композиционной связности располагаются ближе к повести, чем к циклу. Кроме того, в «Стажерах» последовательностью глав-рассказов управляет иной, нежели в «Возвращении», принцип. Здесь уже не идет речь о наиболее полном и точном представлении будущей действительности. Целью отдельных рассказов не является добавление к коллекции одного за другим описаний удивительного технического или общественного изобретений. Здесь вытекающие из новелл «нравоучения» должны сложиться в экспозицию и решение определенной проблемы.

Впервые фантастический мир произведения стал для Стругацких лишь инструментом, фоном для несущих собственное содержание событий, местом пребывания героев, переживания которых являются носителем смысла повести.

Таким образом творчество Стругацких перешло границу[36] между утопией и научной фантастикой, как я ее понимаю. Другое дело, что оно еще «стояло над ней, расставив ноги». Ибо то, что с помощью мира утопии авторы хотели решать интересующие их вопросы, что этот мир ушел с первого плана, еще не означало, что он перестал быть именно миром утопии, которому автор не отказывает в доверии, миром вполне правдоподобным и возможным для осуществления — мы помним, что в цитированных в предыдущей главе интервью 1961/1962 годов Стру-

гацкие серьезно относятся к своим футурологическим идеям. Следовательно, «Стажеры» — это такое научно-фантастическое произведение, в котором фантастическим фоном еще является утопия, а не ее понимаемые в соответствии с общепринятыми правилами элементы, или элементы, противоречащие обычному чувству правдоподобия. И значит, эта повесть соответствует постулированному советской критикой критерию «научности» в значении верификации фантастических идей и литературно-теоретическому критерию «научности», то есть жанровое требование соответствует здравому рассудку внутритекстовой мотивации фантастического.

Мир «Стажеров», не описываемый, а «проявляющийся постепенно» [143, 320], на десять лет старше мира «Пути на Амальтею» (таким выбором «фона» авторы избавили себя от описания будущей техники, так как читатель уже с ней знаком). Коммунизм построен и победил в большей части мира. Капиталистические Америки, проиграв военное и экономическое соревнование, в соответствии с видением еще XX съезда КПСС мирно сосуществуют с коммунистическим миром (имеются международные города, космодромы, совместно исследуется космос). Взгляд на условия достижения коммунизма «с точки зрения» будущей победы позволил братьям выдвинуть на первый план проблему, реально существующую в XX веке, второстепенную по сравнению с иными экономическими и политическими преградами на пути прогресса, но существенную для Стругацких: «сохранение мещанского мировоззрения» в обществе.

Кем для Стругацких является «мещанин», если не учитывать чисто внешние признаки «западного загнивания», показанные, например, в эпизоде с копями, типа пьянства, алчности и преступности (русские не пьют, их служащие вежливы, «русский мальчик» Бородин всю жизнь мог обходиться без документов — эти детали можно рассматривать и как легкую иронию по поводу современных порядков). Прежде всего он не ценит труд — ленив интеллектуально и уверен, что смысл жизни в удовольствиях и развлечениях, а работа является лишь средством к добыванию денег и славы. Мещанин — индивидуалист, эгоист, довольный собой и всегда уверенный в себе, недоступный для идей глупец. Воспитывать его трудно, но необходимо, потому что:

> Мещанин — это все-таки тоже человек, и ему всегда хочется большего. Но поскольку он в то же время и скотина, это стремление к большему по необходимости принимает самые чудовищные формы. Например, жажда власти. Жажда поклонения. Жажда популярности. Когда

двое таких вот сталкиваются, они рвут друг друга, как собаки. А когда двое таких сговариваются, они рвут в клочья окружающих. И начинаются веселенькие штучки вроде фашизма, сегрегации, геноцида [2, 445].

Удивительно, что при такой концепции Стругацким казалось, что воспитания будет достаточно:

А человек ведь не скотина /.../. Внушите ему с пеленок, что самое важное в жизни — это дружба и знание, что, кроме его колыбельки, есть огромный мир, который ему и его друзьям предстоит освоить,— вот тогда вы получите настоящего человека [2, 444].

Таким образом авторы невольно снижали уровень поднятой ими проблемы. К такому же результату приводило и связывание понимаемого так (все-таки довольно универсально!) мещанства с капиталистическим миром. Правда, мещане встречаются на правах «исторических пережитков» и в коммунистическом мире, но это или несчастливцы, не понимающие мира вокруг (жена Дауге), или единичные вредители, как тот директор астрономической обсерватории, который сеял рознь среди подчиненной ему молодежи, чтобы пользоваться результатами их исследований. Но это ничто в сравнении с капиталистическими мещанами! На что они способны, показывал слабый в художественном отношении, заполненный «гангстерами с маленькими усиками» эпизод с копями «Space Pearl Ltd.», где погнавшиеся за большим заработком и возможностью завести «свое дело» на Земле работники не обращали внимания на то, что, находясь в шахтах сверх нормы, обрекают себя на заболевания и смерть.

Однако обратим внимание на более существенную вещь: на то, что Стругацкие в принципе пытались предостеречь своего читателя — писали о том, что преграды на пути к светлому будущему есть и на его дворе.

Другой, показывающий позитивный полюс человечества, идейный мотив «Стажеров» рассматривал на разных примерах антиномию героических поступков и здравого рассудка, известную нам уже из предыдущих, спекулирующих на тему «конфликтов при коммунизме», произведений. Аспекты этой проблемы обогатились вопросами правдоподобия достижения успехов в разного типа ситуациях и вопросом рутины.

Читатель, следящий за новинками научной фантастики, мог на переломе 1962/63 гг. наблюдать удивительное явление: почти одновременно с оптимистичными, не видящими серьезных трудностей в дости-

жении общественной инженерией заявленных целей (или по крайней мере не выставляющими эти трудности напоказ[37]), послушно придерживающимися духа партийных документов и жизненного правдоподобия, а значит, «научными» «Стажерами», появилась небольшая повесть, которая создавала перед общественной инженерией непреодолимые преграды, выходила за пределы только что присвоенной Стругацкими жанровой нормы и являла собой явный диссонанс пропагандистскому наступлению, сопутствующему внушительным планам правящей партии. Ибо как читатель «Попытки к бегству», только что познакомившийся с Программой КПСС, планировавшей построение коммунизма практически за период жизни одного поколения, мог понимать следующую гневную тираду:

> Вы понимаете, что вы хотите сделать? Вы хотите нарушить законы общественного развития! Хотите изменить естественный ход истории! А знаете вы, что такое история? Это само человечество! И нельзя переломить хребет истории и не переломить хребет человечеству.
>
> — Никто не собирается ломать хребты,— возразил Вадим.— Были времена, когда целые племена и государства по ходу истории перескакивали прямо из феодализма в социализм. И никакие хребты не ломались. /.../ Конечно, это случится не сразу. Придется поработать, лет пять потребуется...
>
> — Пять! — сказал Саул, поднимая руки к потолку.— А пятьсот пятьдесят пять не хотите? Тоже мне просветители! Народники-передвижники! Это же планета, понимаете? Не племя, не народ, даже не страна — планета! Целая планета невежества, трясина! /.../ Это не шутки. Коммунизм — это прежде всего идея! И идея не простая. Ее выстрадали кровью! Ее не преподашь за пять лет на наглядных примерах. Вы обрушите изобилие на потомственного раба, на природного эгоиста. И знаете, что у вас получится? Либо ваша колония превратится в няньку при разжиревших бездельниках, у которых не будет ни малейшего стимула к деятельности, либо здесь найдется энергичный мерзавец, который с помощью ваших же глайдеров, скорчеров и всяких других средств вышибет вас вон с этой планеты, а все изобилие подгребет себе под седалище, и история все-таки двинется своим естественным путем. /.../ Нет, голубчики. Коммунизм надо выстрадать. За коммунизм надо драться вот с ним,— он ткнул трубкой в сторону Хайры,— с обыкновенным простаком-парнем. Драться, когда он с копьем, драться, когда он с мушкетом, драться, когда он со «шмайссером» и в каске с рожками. И это еще не все. Вот когда он бросит «шмайссер», упадет брюхом в грязь и будет ползать перед вами — вот когда начнется настоящая борьба! Не за кусок хлеба, а за коммунизм! Вы его из этой грязи поднимете, отмоете его... [3, 96–97]

— а он (закончим ход мыслей резонера) вам соответственно отплатит.

Спор происходит в далеком будущем. Говорят о других терминах, о другой планете, о другой общественно-экономической формации, но любой мало-мальски образованный философски читатель должен был понять, что здесь с позиции здравого рассудка критикуется концепция «ускоренного развития» и «исторических скачков» вроде таких, о которых трубят газеты. Наступила чреватая последствиями радикализация позиции писателей. Если «Стажеры» убеждали, что в деле сознательного творения истории можно рассчитывать на успехи, и лишь мягко напоминали, что для достижения коммунизма необходимо до того воспитать человечество (с чем, впрочем, соглашались все), то теперь выходило, что легких успехов наверняка не будет, так как быстро никого не воспитаешь (если вообще возможно всех воспитать).

Эта радикализация направила писателей на путь анализа общественного зла и являлась первым шагом к фаталистичному взгляду на историю. Это обозначило им другую общественную функцию — не того, кто одобряет, а того — кто предостерегает; и исполнение этой функции окажется занятием неблагодарным.

Действие «Попытки к бегству» происходит в далеком будущем, образ которого возвещало окончание «Возвращения», в будущем квазиживых машин, всецело — благодаря подпространственным перелетам — освоенного космоса, лишенного ежедневных хлопот бытия, где работа заключается прежде всего в мышлении, где существует возможность непосредственного, только мыслью, управления машинами. Смертельно опасная для человека Пандора из «Возвращения» стала теперь модной планетой-курортом, а в туристические космолеты, движимые тепловой энергией, накопленной из окружающей среды во время стоянок, входят так же беззаботно, как сейчас в трамваи.

Два друга, космонавт Антон и структуральный лингвист (Стругацкие опять блеснули научной новинкой) Вадим, собирались отправиться в отпуск, когда незадолго до старта неизвестный им, ведущий себя немного странно человек по имени Саул, представившийся историком, попросил их «подбросить» его на какую-нибудь неисследованную доселе планету. Просьбу выполняют, и вот два представителя всемогущего и беззаботного человечества встречаются лицом к лицу с миром «офантастиченного» средневековья. Они попадают в лагерь, полный средневеково-фантастических реалий. Под присмотром вооруженных пиками и мечами стражников изнуренные узники вынуждены «экспериментировать» там с автоматическими машинами какой-то высокоразвитой цивилизации, которые неустанно идут по шоссе «из одной дыры в дру-

гую». Для Антона с Вадимом это «обычный нуль-пространственный транспорт», а для аборигенов — вечно продолжающееся чудо.

Ситуация, если бы не существо дела, была бы комичной. Друзья пытаются объяснить встреченное в рамках привычных им категорий мышления. А ведь о насилии человека над человеком они читали лишь в книжках! Стражников они принимают за группу охранников, которая защищает безоружных от хищников, пытаются раздавать лекарства и продукты, с ужасом осматривают бараки, полные трупов, и вспыльчиво полемизируют с историком, разъясняющим им то, что для читателя давно уже ясно.

Поняв в конце концов, что имеют дело «с некоторым установленным порядком», они решают «делать добро активно» [3, 76] и, чтобы получить информацию, похищают конвоирующего группу узников молодого стражника, Хайру. Оказалось однако, что даже это робкое вмешательство вызвало несчастье — в лагерь опять заключили бывших узников, которых Хайра конвоировал по пути к свободе. Пораженные космонавты едут к коменданту, требуя освобождения группы, которая пострадала из-за них. Реакция на это следующая: «Начальник с удивлением посмотрел на него.— Ты не можешь говорить так,— сказал он.— Я прощаю тебя потому, что ты низкий и не знаешь слов» [3, 104]. Появление пришельцев вместе со стражником воспринято как добровольная сдача на милость властелина и готовность принять заслуженную кару.

Так же, как пришельцы не могли сначала понять, что происходит, так и местные жители смотрят на них через призму своих стереотипов. Однако земляне учатся, а систему понятий аборигенов, хотя она и бесконечно неадекватна ситуации, никоим образом модифицировать нельзя, так как они не принимают ничего, что выходит за границы нормы. (Кстати, «желающие странного» [3, 91] или интеллигенты — это наиболее презираемая категория узников.) Таким образом, «Попытка...» оказывается кошмарной притчей о могуществе самодовольной глупости и беззащитности мудрости и добра. Ведь в ситуации, когда тупой и уверенный в себе противник не может оценить положение даже настолько, чтобы испугаться, а вторая сторона скована моральными принципами, без нарушения которых (убийства) невозможно продемонстрировать глупцу свое преимущество,— благороднейшему не остается ничего другого, как уйти. Вот только... останется ли он благородным, если уйдет?

Указание, как действовать в такой безвыходной ситуации, дает поступок историка, который реагирует на первый взгляд истерично, с яростью расстреливая из дезинтегратора шеренгу идущих по шоссе машин,

которые являются для аборигенов синонимом вечности. И хотя непоколебимо идущую колонну, метафору течения истории, не удается остановить, Саул отмечает: «...начинать здесь нужно с чего-нибудь подобного. Вы сюда вернетесь, я знаю. Так помните, что начинать нужно всегда с того, что сеет сомнение» [3, 110]. Действительно: в борьбе с тупым самодовольством, фанатизмом, глупостью, примитивными стереотипами результат может дать лишь пробуждение критицизма и распространение неуверенности постановкой вопросов, на которые нелегко найти ответ.

Окончание произведения несколько напоминало «мораль», содержащуюся в финале «Стажеров». Историк неожиданно исчезает, оставив записку, из которой становится ясно, что он является советским офицером, узником концентрационного лагеря. Оказавшись после бегства из лагеря на краю смерти, он «дезертировал в коммунизм», а теперь возвращается, так как у него осталась еще полная обойма. Такой — вопреки законам жанра — ничем не подготовленный и ничем рациональным не объяснимый поворот действия требовал символического прочтения, становился универсальным моральным посланием. Означало бы оно (если, к примеру, использовать его для определения обязанностей писателя-фантаста), что вместо построения отвлеченных умозаключений на тему будущего великолепия следует воевать с сегодняшним злом, так как «каждый должен дострелять свою обойму» [112, 345].

Трудно ответить на напрашивающийся вопрос о причине ощутимой в содержании «Попытки к бегству» радикализации взглядов писателей. Может быть, повлиял личный опыт? Может быть, произошло что-то такое, благодаря чему они увидели некие, закрытые для них до той поры, аспекты действительности, которые исключали ее автоматическую и бесконфликтную эволюцию в сторону всеобщего счастья? Не знаю, что это было[38], но могу предположить, что воздействие было мучительным и внезапным[39] — окончание «Попытки...» свидетельствует о поспешности, стремлении выкрикнуть о новом понимании своих обязанностей. К тому же это окончание было очевидной художественной ошибкой.

Мало того, что столкновение в фабуле произведения аж четырех цивилизаций (современной нам, будущей коммунистической, космической средневековой и космической высокоразвитой) противоречило принятому в жанровой традиции НФ жизненному правдоподобию фантастического элемента, так еще окончание действия вносило в нее неожиданно чудесную, сказочную мотивацию, а как говаривал Лем:

Над миром литературы, словно небо над землей, витает закон, которого никто из творцов не смеет нарушить: в соответствии с ним до конца произведения обязательно должна быть та же условность, которая его открыла. /.../ Как не существует партия таких шахмат, которые во время игры превращаются в шашки, а потом — в «игру в Чапаева», так не существует и текстов, которые начинались бы как сказка, а заканчивались как реалистичная новелла. Произведение, имеющее такие градиенты переменчивости, может появиться лишь как пародия с генологическим адресом /.../. Однако невозможно реализовать такое творчество всерьез [120, t. 1, 117].

Введение сказочного элемента в окончании «Попытки к бегству» можно интерпретировать также и как эксперимент, первую, неудачную попытку освобождения от требуемой «научности»[40]. Неудачную, потому что авторы выступили против чисто художественных, жанровых преград, оставляя в покое идеологические ограничения. С точки зрения теории коммунизма (или «соответствия с научными положениями социологии») «Попытка к бегству» безупречна. Антон и Вадим могли бы разрешить все вопросы несколькими выстрелами (хотя бы в воздух, но эффективно); с «нормальной», «человеческой» точки зрения удивительно, что они даже не пытаются это делать. Но в соответствии с обязательными взглядами на будущую коммунистическую мораль, по которой убийство людей абсолютно неприемлемо (это «научная аксиома»), Антон и Вадим поступают и мыслят так, как должны поступать и мыслить образцовые граждане утопии. Стругацкие здесь так же «научны», как признанный в качестве неоспоримого авторитета в делах «коммунистического будущего» Ефремов. В его «Часе Быка» (1969) люди коммунизма не способны применить силу даже для необходимой самообороны.

Следующим после проблемы вмешательства в историческое развитие вопросом, которым, используя свою видоизмененную программу, занялись Стругацкие, была особенная задача: «Старое и банальное противоречие — между машинной логикой и системой морали и воспитания» [3, 173]. Вопрос заключался в том, должен ли человек поступать в соответствии с логикой ситуации или же придерживаться принципов этики; проблема — одним словом — «цели, оправдывающей средства».

Эта проблема уже встречалась в их творчестве, при этом, как помним, например, из анализа рассказа «Шесть спичек», принимала образ придуманного, будущего «конфликта при коммунизме». Эта пробле-

ма была жгучей и в советской действительности, причем неоднократно во время революции и во времена правления Сталина разрешалась с ущербом для принципов. Теперь этот вопрос проявился в качестве философско-этической и социальной проблемы, универсальной для всех эпох и самодостаточной для того, чтобы к ней присмотреться повнимательнее.

«Далекая Радуга» опять имела характер притчи. Но «представленный фантастический мир» произведения носил на этот раз цельный жанровый характер (фантастическая действительность, то есть «фон», и несколько персонажей перешли сюда из «Возвращения»), жестко выдерживались цельность мотивации и соответствие событий и мышления героев обычному чувству правдоподобия, то есть характер притчи не выставлялся напоказ. Однако посылку Стругацких можно было правильно прочесть лишь при тщательном анализе: вопреки обыкновению, они не стали решать в энный раз старинную этическую проблему, а показали, кто как склонен ее разрешать, то есть это была иллюстрация тезиса, а не постановка проблемы.

Радуга — это степная планета с благоприятными природными условиями, которая была отдана физикам, чтобы они спокойно занимались проблемой «нуль-пространственного транспорта». Нахождение решения равносильно победе человечества над пространством, открытию возможности молниеносной пересылки материи на любое расстояние. Это известный мотив западной НФ. Эксперименты небезопасны. Мало того что они требуют колоссального количества снаряжения и энергии, что вынуждает людей коммунизма торчать в очередях за неопределенными «ульмотронами», воровать друг у друга энергию и т. д. (это создает массу забавных ситуаций, которые не дают читателю соскучиться и резко контрастируют с позднейшей трагедией). Вдобавок к этому каждая отправка «нуль-пространственным транспортом» даже небольшой массы вызывает «Волну», чудовищное извержение таинственной энергии, которое расходится как круги по воде по всей планете от полюсов к экватору. Нельзя их ни обойти, ни «перепрыгнуть», они сметают все живое на своем пути. Однако обычно они сами останавливаются и рассеиваются.

«Волна» поссорила ученых. Планетой правит (конечно, в пределах разумного) раскол на «волновиков» и «нулевиков». Первые слабее в материальном плане и на неизведанном пути «занимаются Волной дилетантски» [3, 177]. Вторые же в стремлении к решению своей пробле-

мы «Волну» игнорируют. Это первый из примеров «поражения логики ситуации». «Ситуацией» в данном случае является основной принцип распределения необходимых для научной деятельности материальных благ, согласно которому лучше других снабжаются исследовательские коллективы, получающие конкретные результаты. Поэтому «нулевики» идут к цели, не оглядываясь по сторонам, хотя это и не славит их, как ученых.

Это была преамбула. Собственно действие начинается в тот момент, когда слишком бескомпромиссные стремления приводят к предсказуемым результатам: посылка рекордной массы вызывает «Волну», которую остановить невозможно, и население планеты оказывается вдруг между лезвиями быстро смыкающихся ножниц. А в распоряжении людей имеется лишь небольшой космолет, на котором прибыл на Радугу уже известный нам Горбовский с двумя коллегами. Обреченные на смерть ученые ведут себя, как подобает. Они пытаются предотвратить надвигающуюся гибель, а когда ситуация становится ясной, эвакуируют в космолете Горбовского всех детей и достойно ожидают смерти. На корабле было так мало места, что его не хватило даже для экипажа. Горбовский, не желая покидать товарищей и быть «избранным» среди других, передает управление руководителю детской колонии.

С очевидным с точки зрения этики решением, что необходимо спасать детей и только детей, не желает соглашаться страдающая гипертрофией материнского инстинкта женщина и до конца подчиняющийся «логике ситуации» руководитель «нулевиков» с «черными и спокойными глазами человека, знающего, что он всегда прав» [3, 189], который хотел бы спасти ученых и результаты их исследований. Он обосновывает свою правоту с логикой, которую невозможно опровергнуть:

> То, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем двадцати миллиардам землян, разбросанным по вселенной. /.../ существует объективный закон, движущий человеческое общество. /.../ И он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас — борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему, даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врожденных или заданных нам воспитанием идей [3, 219].

Таким образом, во имя «великой идеи», «исторической цели» он готов совершить величайшую подлость. Авторы противопоставляют его мышление — мышлению положительного героя, Горбовского. Он руко-

водствуется не априорными идеями, а простым моральным «инстинктом», во имя которого самостоятельно принимает решение об эвакуации детей, не дожидаясь результатов собрания.

Моральная наука Стругацких о превосходстве чувств над разумом (то есть традиционной, простой этики десяти заповедей над придуманной и прагматичной), однако, оказалась дополнена значительным предостережением, что до такого поведения необходимо еще дорасти в социальном смысле. Третьим исключением, не только готовым отказаться от моральности, но практически ее отринувшим именно во имя «голоса сердца», является второй кроме Горбовского герой повести, Роберт Скляров — типичный симпатичный «маленький человек».

Его несчастье заключается в том, что он попросту глуповат и знает об этом. Скляров — необычайно сильный, красивый, «умеет и любит работать руками» [3, 127], способен на героические поступки, когда нужно реабилитироваться в глазах окружения, несправедливо обвинившего его в трусости. И в то же время самолюбивый, эгоистичный, слишком склонный думать о себе,— Стругацкие позаботились, чтобы из поведения Склярова в серьезных и мелких ситуациях можно было сделать эти выводы.

Скляров «мудростью мещанина» пытается осудить мир ученых, в котором живет, «весь их мир /.../ постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувствительный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины» [3, 121]. Он склонен обвинять их в аморальном равнодушии. Доказывает это (по мнению Склярова), например, то, что исследователи, занятые эвакуированием своего центра от приближающейся «Волны», оставили без должного внимания смерть товарища, уделив этому лишь краткую минуту тягостного раздумья. Они ценят свои исследования выше, чем человеческую жизнь и другие ценности.

Развитие ситуации опровергает эти утверждения. И именно Скляров, когда окажется перед аналогичным для всей планеты выбором — спасать детей или то, что он любит,— выберет неправильно. Во время бегства, располагая лишь двухместным «флаером», он наткнется на неисправный автобус с группой детей и воспитательницей — его любимой. Похитит — против ее воли — свою любимую, обосновывая свое поведение столь же логично, как сторонник эвакуации результатов исследований.

Придерживаться основных, простейших моральных принципов инстинктивным образом невозможно в случае личностей, подобных Склярову; эти принципы не имеют ничего общего ни с отсутствием разума, ни с мещанской сентиментальностью. Моральное послание Стругацких имеет определенный сократовский оттенок — Скляров со своей туповатостью несколько напоминает неоднократно прославленного в русской культуре и противопоставляемого интеллигентскому брюзжанию простачка, который (если его измерять сократовской этической мерой) не способен делать добро, поскольку по этой мере добро равняется любви и мудрости. Главное, однако, то, что это послание еще и марксистское, так как Скляров прежде всего остается классовым, мещанским пережитком в коммунизме — в этом убеждает подобие его рассуждений рассуждениям мещанских мыслителей в «Стажерах».

Постановка на одну плоскость мещанства и фанатизма (то есть доказательство того, что чувствительный мещанин, когда его припечет, верен «логике ситуации» как фанатик, а фанатик, веря, что цель оправдывает средства, скатывается до мещанина) в принципе исчерпывала проблематику повести; Стругацкие сказали, для кого они не видят места в будущем королевстве свободы.

«Далекая Радуга» была очень хорошо написана, в ней прекрасно нагнеталось напряжение, а в конце Стругацким удалось создать глубоко проникающий в сознание читателя образ надвигающейся неизбежной гибели. Однако как только читатель встряхивался, у него могли появляться сомнения, ведь «Радугу...» можно прочесть по-разному.

Можно в ней видеть пользующуюся фантастическими реалиями психологическую повесть о моральном убожестве, к которому может скатиться маленький человек. И такое прочтение, в свете знания о формировании творческой программы писателей, которые заинтересуются еще и вопросом подлости, я считаю адекватным. Тем более что ими использованы типичные для психологической повести, но совершенно несовместимые с соцреалистическими традициями, повествовательные приемы. Рассказчик в рамках мотивов Склярова и Горбовского сохраняет личную позицию и ничем не обособляется от воззрений, проводимых героями. Не будем говорить о положительном Горбовском, но Скляров — это «отрицательный тип», его взгляды глубоко чужды Стругацким (то есть «высшему сознанию произведения»[41]). Формально объективное повествование (от третьего лица), но с существенной «точкой зре-

ния» персонажа в случае этого сюжета является неправдоподобным, несущим взгляды, противоречащие всему смыслу произведения, такое повествование [42] более подобало бы французской антиповести, нежели советской утопии начала шестидесятых годов.

Советские же критики прочитывали «Далекую Радугу» вообще как самую обычную утопию. Такова была жанровая норма, но и сама повесть способствовала этому. Проблема «цели и средств», скрытая под решением, принимаемым на собрании (и в истории Склярова), не могла представиться читателю горячей, аутентичной проблемой современной нам действительности, так как предлог «кого эвакуировать» был ошибочно выбран для необходимости представления этой проблемы. Ведь с нашей точки зрения никакое «отбрасывание науки на 200, 300 лет» [3, 220] не стоит смерти даже одного ребенка. Поэтому читатель, встретив различные мнения, в нашем мире довольно неправдоподобные, мог подозревать, что это не досконально известный ему из жизненной практики вопрос, а какое-то чужое для нас, но могущее возникнуть когда-нибудь «противоречие при коммунизме» скрывается под дилеммой, которая появилась перед обществом Радуги. Ведь неизвестно, какие у них тогда будут проблемы (а кроме того, решили они ее правильно). Затем — решение вопроса именно на собрании, которое в соответствии с хорошо обоснованными у советской читательской общественности нормами было основным, поворотным и особо значащим моментом в развитии действия соцреалистической повести, способствовало поиску основного смысла «Далекой Радуги» там и только там, в районе именно этого собрания, и это заставляло читателя не видеть сути, укрытой в других эпизодах.

Прочитанная таким образом «Далекая Радуга» не столько осуждала мещанское, сегодняшнее зло (на примере его «лебединой песни» в будущем), сколько славила правильный этический выбор оказавшихся в трудной ситуации людей коммунизма, вкладывала еще один кирпичик в портрет Утопии и ее обитателей.

В случае такого прочтения сложный комплекс проблем, который несла линия Склярова, не замечали, на самого этого персонажа внимания не обращали, или же, бесцеремонно фальшивя, «подгоняли» его до общей нормы. Например, Дмитревский и Брандис в своем анализе повести представили бедолагу, маленького человечка Склярова как героического богатыря коммунизма [86, 35].

Обобщаю. То, что мир, в котором разыгрывалась драма Склярова, был миром Утопии, мешало читателям прочесть авторское этическое

послание во всей его усложненной, актуализированной версии, передаваемой этой драмой. Была она (эта версия) заслонена этим миром, словно закрашенная масляной краской фреска. Утопия не терпит зла, и даже если его в нее ввести, никто его там искать не будет.

*

Образ коммунистической утопии, выступающий в качестве фантастического «фона» для действия, несущего главное содержание произведения, этот образ способствовал тому, что данное произведение удовлетворяло критерию «научности» в главном из тогдашних советских толкований этого термина. После экспериментов «Далекой Радуги» эта «научность», однако, начала мешать Стругацким. Утопия (если ее трактовать серьезно) имеет свои этические и социальные проблемы, свои методы их представления и свои способы их решения. Это не мешало использовать ее как инструмент для показа и другой, маргинальной для утопии, но актуальной для эпохи морально-общественной проблематики, внесением которой братья хотели отяготить научную фантастику. Полбеды, если бы решения жителей утопии и наши — как это было в «Далекой Радуге» — были бы аналогичными (точнее: история Склярова и история решения об эвакуации похоже решали одну и ту же проблему). Тогда этическая задача, стоящая в центре произведения, имеет шанс быть идентично решена на уровне и основного носителя смысла (приключения и переживания героев, драма личности и т. д.), и фантастической формы (мир утопии, герой произведения как часть этого мира). Поэтому читатель, как тот, который понял произведение правильно, так и тот, который прочел его в соответствии с установленным жанровым штампом, в который эта книга уже не помещается, может в грубом приближении примерно одинаково понять посылку автора. Но могло быть иначе. Роспись маслом и укрытая под ней фреска могли призывать к противоположным решениям этического или иного вопроса, входящего в состав проблематики произведения. Классическим примером этого оказалась одна из самых известных повестей Стругацких, «Трудно быть богом».

Вышеупомянутое «противоречие между содержанием и формой» является ключевым вопросом для понимания смысла произведения в целом, и здесь проявилось в том, что писатели решали не ту проблему, которая требуется утопии.

Утопия — это образ, возникающий вследствие проецирования в будущее сегодняшнего состояния дел так, как это видится (независи-

мо от того, отдают себе в этом отчет авторы или нет) в свете рекомендаций существующей философии истории. Если руководствоваться взглядом, согласно которым в мир обязательно должен прийти коммунизм, понимаемый как освобождение от общественного зла, то будет сконструирована такая утопия, в которой подобные негативные явления могут быть в крайнем случае пережитками. Но показывать даже самое жгучее современное зло как пережиток в будущем, означает не столько предупреждать об этом зле, сколько уменьшать в глазах читателя его значение. Кроме того, не любую современную неполадку в исторической машине можно показать как будущий «пережиток», поскольку есть явления столь грозные, что если они даже в ослабленном состоянии смогли продержаться до времен счастливого будущего, то счастливым оно уже быть не может.

Как избежать преград в деле выдачи предостережений, подсказывала «Попытка к бегству». «Трудно быть богом» оперирует приемом «прошлого в будущем». Глубоко продуманным фоном событий здесь является удаленный от Земли «на тысячи лет и на тысячи парсеков» мир инопланетного средневековья, окруженный менее видимым (но отнюдь не теряющим первостепенного значения) контуром коммунистической утопии.

В этом мире работают 250 земных исследователей из Института экспериментальной истории, за более чем 20 лет экспериментов у них выработался принцип действий, называемый «Теорией Бескровного Воздействия». Опирается она на следующие положения: развитие каждого из обществ в конце концов приводит к коммунизму (детерминизм), до создания коммунизма в материальной сфере обязательно должен быть достигнут высокий уровень сознания, путем к этому является воспитание, воспитание состоит в том, чтобы сеять сомнения и разбивать стереотипы. Можно сказать, что Стругацкие решили, по выражению Золя, «экспериментально» проверить эти положения в новой повести.

Земляне не могут оказать планете так называемую гуманитарную помощь (продукты, лекарства и т. д.), не изменив ее общественную структуру, структуру же не могут порушить, поскольку в результате грозит наступить хаос. Если стремительно поднять уровень потребления, не изменив предварительно мировоззрение жителей, то это уничтожит общество, задержит его медленное, но неустанное развитие. «Воспитав всех сразу», можно было бы на самом деле осуществить «прыжок планеты в коммунизм», только зачем это делать, если это общество достигнет этого и собственными силами.

Размышляя так, исследователи стараются, чтобы эти силы развивались. Они опекают культуру, охраняют ее представителей, «воспитывая их», пробуждая в их душах критицизм, но прежде всего наблюдают, наблюдают... и отчаянно пытаются сохранить свои моральные принципы. Они считают, что поскольку интервенцией могут лишь навредить, а история непоколебимо движется в правильном направлении и ничто не сможет ее слишком ускорить или изменить, то им остается вообще роль «замаскированных богов», помнящих, что люди вокруг «не ведают, что творят», что «почти никто из них не виноват», «богов терпеливых и терпимых» [3, 281]. Но в роли оставаться трудно, потому что жестокость вокруг вызывает гнев. Некоторые сходят с ума, другие — «спринтеры с коротким дыханием» [3, 277] — поднимают крестьянские восстания, пытаются вмешиваться в движение беспощадной машины, что также кончается трагически.

Такова судьба и главного героя «Трудно быть богом», дона Руматы Эсторского (то есть землянина Антона), который — по словам Аркадия Стругацкого — бьется над вопросом: «Быть ли богом с ежечасной пыткой свидетельства или оставить в себе человеческое, погубив эксперимент?» [32], и в конце концов «пересиливает человек — Румата начинает отчаянно рубить [в] капусту» [32]. Действие повести заканчивается в тот момент, когда Антон вынимает мечи, чтобы отомстить за смерть убитой возлюбленной. Из эпилога мы узнаем, что он проложил дорогу из трупов к дворцу того, кто отдал приказ.

Может ли этот поступок — если рассматривать его не как акт отчаяния, каким он, несомненно, является, но как попытку выбора иной, нежели предлагает Теория Бескровного Воздействия, модели поведения — быть оправдан? На сегодня существуют два анализа произведения на научном уровне — их авторы имеют по этому вопросу прямо противоположные мнения. Исследующий советскую фантастику под углом ее реалистичности, консервативный А. Ф. Бритиков считает, что Румата совершил этот поступок, «не справившись с личной ненавистью к дону Рэбе» [112, 354], и осуждает его. Автор интересной теоретико-литературной работы о связях научной фантастики со сказкой (а значит, рассматривающий НФ на литературном фоне) Е. М. Неёлов интерпретирует это иначе:

> После смерти Киры Антон-Румата берет меч и идет сражаться со *своими* врагами /.../. Враги Арканара стали его врагами, судьба Арканара — его судьбой /.../. Это четкий ответ на вопросы, поставленные в

романе: если хочешь помочь людям, не смотри на них, как на чужих, сделай их беды и горести своими и тогда ясно будет, что делать. Чтобы иметь право помогать Арканару, перестраивать его историю, надо не просто «изучать» его, а жить в нем, разделить его судьбу, и тогда его история станет «своей». /.../ Антон, в сущности, нашел правильный путь не теоретической, а реальной помощи планете [145, 191–192].

Кто прав? Авторы (если абстрагироваться от процитированных слов Аркадия, доказывающих, что Неёлов[43]) разбросали по тексту многозначные указания. Важнейшим из них является символический комментарий к истории Антона, содержащийся в двух земных эпизодах, скрепляющих его арканарские приключения. Произведение начинается прогулкой подростков: Антона, Павла и Анки, которые, играя «в Арканар», наткнулись на старое шоссе с односторонним движением. Антон, поссорившись с друзьями, один пошел «против течения». Заканчивается книга другой встречей в той же местности — теперь Антон под опекой Павла лечится там после психического срыва. В отсутствие бродящего по лесу Антона Пашка рассказывает Анке всю эту историю. Выслушав ее, Анка отпрянула от Антона, приняв за кровь сок земляники на его руках. Павел оценивает случившееся следующим образом:

Помнишь анизотропное шоссе? /.../ Антон тогда пошел под «кирпич», а когда вернулся, то сказал, будто нашел там взорванный мост и скелет фашиста, прикованный к пулемету. /.../ Шоссе было анизотропное, как история. Назад идти нельзя. А он пошел. И наткнулся на прикованный скелет [3, 423].

Как интерпретировать этот комментарий? Является ли этот скелет символом темных инстинктов души, с которыми не смог справиться Антон и потому изменил как обязанностям исследователя, так и этике коммунистического человека, или это символ чего-то объективно существующего в Арканаре-прошлом, встреча с чем оправдывала действия Антона, его спуск с божественных и неправильных высот, откуда до того он «незваным пришел на эту планету и, полный бессильной жалости, наблюдал страшное кипение ее жизни» [3, 412]?

Я подчеркиваю, что речь идет не о психологическом оправдании последнего поступка Антона, так как с этой точки зрения у него было предостаточно причин для срыва. Стругацкие мастерски показывают моменты, в которых Антон-Румата становится только Руматой, слишком «серьезно» входит в роль благородного хама и забияки, которому все сходит с рук; также возникают ситуации, в целях исполнения экс-

перимента требующие от него выполнения неприятных, противных ему дел. Стресс углубляет ощущение бессмысленности происходящего (Антон сомневается в том, что Теория Бескровного Воздействия верна) и невозможность найти общий язык с коллегами-исследователями. О горах трупов, наблюдаемой им резне и смерти девушки не стоит и вспоминать — все это оправдывает его в глазах читателя.

Речь о другом. О том, имело ли безумие Руматы рациональное ядро,— а это возможно лишь в том случае, если принятая землянами стратегия Бескровного Воздействия не является верной. Потому что если она верна, то это означало бы, что образ медленной, детерминированной истории также верен, а жители Арканара являются младшими, несовершеннолетними братьями землян; не противниками, а детьми, и тогда применение оружия против любого из них является преступлением. Тогда правда на стороне Бритикова. Чтобы проверить правильность выводов Неёлова, необходимо внимательно присмотреться к арканарским событиям. Румата считает, что они выходят за пределы «базисной теории феодализма».

Уже несколько лет настоящим властелином номинально управляемой королем монархии является дон Рэба. Некогда мелкий чиновник с помощью доносов быстро стал главой правительства и проводит странные реформы: создал министерство охраны короны, то есть службу безопасности современного типа, отличающуюся от известной нам в двадцатом веке лишь использованием средневекового ассортимента пыток. Созданная им администрация имеет форму современной бюрократии — использует услуги наемных и специально обученных кадров независимо от происхождения. Он создал охранную гвардию «Серые роты», прямо ассоциирующуюся с штурмовиками СА. С их помощью он реализует ошибочную политику уничтожения культуры. Издано даже аналогичное нюрнбергским законам распоряжение, лишающее прав образованных людей (теоретически — только неблагонадежных, но на практике — всех) и их потомство до 12-го поколения.

Ничего удивительного, что Антон называет деятельность дона Рэбы фашистской, во что его начальники и товарищи не хотят верить, потому что теория исторических последовательностей не предполагает появления фашизма на феодальном уровне развития производительных сил.

Действие повести охватывает всего лишь несколько дней, во время которых Румата занят поисками похищенного доном Рэбой доктора Будаха — очередного в шеренге спасенных Антоном гуманистов. Это дни переворота: оказывается, что за доном Рэбой стоял Святой Орден —

религиозная, военно-бюрократическая организация, не терпящая на своей территории ни одного (кроме своих кадров) грамотного.

Хотя одетые в черное монахи, взяв власть, устроили резню «серых», смысл общественной деятельности обеих групп остается единым и заключается в борьбе с тем, что, по мнению Руматы, является условием sine qua non выполнения исторического прогресса: развитием общественного познания и реализаторами этого — интеллигенцией. Тоталитарная диктатура Святого Ордена сознательно и планомерно истребляет носителей культуры и мудрости.

Обратим внимание на историческую роль интеллигентов, как ее представляет себе Антон-Румата:

> В этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего, они — фермент, витамин в организме общества. /.../ Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только притормозить, но не остановить. Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. /.../ серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне — от естественнонаучных исследований до способности восхищаться большой музыкой... А затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации общества, эпоха, когда серость дает пос-

ледние бои, по жестокости возвращающие человечество к средневековью, в этих боях терпит поражение и уже в обществе, свободном от классового угнетения, исчезает как реальная сила навсегда [3, 359–360].

«Серость», арканарским воплощением которой является Святой Орден и дон Рэба, в вышеуказанном понимании Руматы оказывается силой, способной приостановить — по крайней мере, в определенном месте и времени — движение исторической машины, силой, в минимальной степени подлежащей эволюции и в истории едва ли не вечной. А значит, она ни в коей мере не заслуживает снисходительности, ее не стоит считать «исторически низшей» и автоматически исчезающей. Исходя из положений Принципа Бескровного Воздействия, ее не преодолеть. Убедительно указывают на это последние эпизоды повести, в которых оказывается, что дон Рэба, по крайней мере, не является низшим по сравнению с Руматой созданием в умственном отношении. Наоборот, он превосходит представителя «старшей на тысячелетия» Земли в способности политиканствовать, манипулирует им, а в конце внушает Антону, что боится его. Введенный в заблуждение Антон, вместо того чтобы немедленно эвакуировать Киру, тратит время на совещание, что также становится причиной несчастья. И еще одно. В поражении Принципа... признается и начальник Антона.

Похоже, Неёлов имел право интерпретировать поведение Руматы так, как он его интерпретировал. Повесть являет собой разыгрывающуюся на фантастическом, даже условном (то есть представляющим интерес не сам по себе, а как прозрачная аллюзия на недавнее сталинское настоящее) фоне трагедию подобной нам личности и рассказывает, как человек, поставленный между глубоко сидящими в нем нормами морали, голосом сердца и ошибочной директивой поведения или фактами, убеждающими в этой ошибочности, долго не может выбрать, пока в конце концов не «выбрала за него» ситуация. Он подчинился ей и, отбросив рассудочные принципы, пришел к открытой, единственно правильной в таком случае, борьбе.

Но правота была и на стороне Бритикова. Достаточно лишь серьезно отнестись к утопическим рамкам, увидеть в Румате прежде всего утопянина, и «Трудно быть богом» прочтем совершенно иначе. Прежде всего Утопия своим существованием в произведении расставит все по своим местам: поскольку существует она, существуют и ее предыдущие формы. Историческая машина катится в принципе, значит, катится, как положено, и в Арканаре, арканарцы являются «историческими

детьми», а размышления Руматы об отдающей антиисторическим подходом «диалектике борьбы интеллигенции и власти» являются его субъективной, самооправдывающей интерпретационной ошибкой. Совершив ее, он стал восприимчив к животной, «невоспитанной» части своей души. Серьезно трактуя моральный закон Утопии: «Ты являешься богом, а они — детьми, поэтому: не убий!», в оценке поведения Руматы мы будем использовать его как непреложную истину.

Наконец, при подобном прочтении повести исчезают все исторические аллюзии. Если то, что является элементами видения Утопии (в частности, Теорию Бескровного Воздействия, первоначальные взгляды начальника Руматы), будем трактовать серьезно, как наделенные логическими суждениями и футурологическими притязаниями мысли и факты, то не останется нам ничего другого, как аналогичная трактовка «фантастического средневековья». Стругацкие сконструировали его образ из трех групп элементов: а) почерпнутых из наших знаний о действительном средневековье (бытовые подробности, рыцарские законы, стилизация речи под архаику, некоторые черты склада ума персонажей, политическое устройство арканарского королевства); б) явных анахронизмов, почерпнутых из истории гитлеровской Германии (напр., «серые штурмовики»), которые затрудняли бы легкое понимание анахронизмов следующей группы,— по вполне понятным причинам; в) явных анахронизмов, отражающих современность. Бритиков, разумеется, заметил в своем анализе «Трудно быть богом» две первые группы, при этом весьма много места уделил доказательству того, что аллюзии на фашизм не разбивают исторической адекватности видения арканарского средневековья [112, 351–352].

Я думаю, братья Стругацкие были весьма заинтересованы в том, чтобы современные аллюзии были прочтены правильно. Появление в их творчестве фантастических масок, направленных на критику общественных явлений, представляющих смертельную опасность для будущего королевства свободы, явлений, ширящихся не где-то далеко в капиталистических странах, а на собственном дворе,— было логическим продолжением принятия позиции «общественной службы предостережения». Я думаю также, что культурный советский читатель не имел ни малейших трудностей с обнаружением в арканарских событиях аллегорий судьбы российской и советской интеллигенции, массово уничтожаемой во времена правления Сталина или же подвергающейся различным преследованиям. Читатель именно культурный, ибо иной мог и не знать ничего об этих делах. Если же знал и аллюзии прочел — в

процитированном монологе Руматы имел возможность обнаружить попытку анализа исторической роли сталинизма в его отношении к интеллигенции и прямое предостережение о том, чем мог бы кончиться для СССР рецидив, что конечно же имело значение в то время, если учесть личные недоразумения Хрущева с интеллигенцией[44]. Такой читатель получал также духовное наслаждение при прочтении многочисленных колкостей. Приведу пример из теории литературы — с собственного двора.

Среди жертв репрессий оказался Гур Сочинитель, создатель первого в арканарской литературе светского романа о любви принца и прекрасной варварки. Этот Гур «после беседы в кабинете дона Рэбы понял, что арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье, сам бросал на королевской площади свои книги в огонь...» [3, 337]. Аллюзия скрыта в упоминании о «вражеском отродье», которое могло читателю напомнить об «охоте на космополитов» 1948–1953 годов, и в дальнейших рассуждениях Гура о литературной правде: «Что такое правда?.. Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яиневнивору... /.../ Ее действительно отравили... Но мне объяснили, что это ложь... Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю... Все остальное ложь и преступление» [3, 350–351]. Как видим, по мнению дона Рэбы «правдивое» в литературе не означает «в соответствии с опытом субъекта», а «правдивое с исторической точки зрения», «типичное» (я использую, в отличие от Гура, современный язык). Совершенно так же, как в вульгарном варианте теории социалистического реализма и недавней как советской, так и польской издательской практике, обрекающей на несуществование факты несомненные, но невыгодные.

А менее информированный читатель? Он также имел свою минуту тихого счастья, читая о всемогущих в Арканаре доносительстве и страхе, знакомясь с механизмами исполнения власти, провокациями и т. п.— все это напоминало ему недавний опыт. Но при одном условии! — если он не трактовал действительность Арканара «серьезно», как «научный» анализ настоящего средневековья.

Как видим, трактовка фантастического мира произведения как «научного» стала приобретать фатальные последствия для понимания содержания, вкладываемого Стругацкими в книги. В случае «Далекой Радуги» — обеднение, в случае «Трудно быть богом» — прочтение этого славящего бунт человеческого духа произведения совершенно наоборот (мораль истории Антона) или абсурдно (непонимание «средневе-

ковых» аллюзий). Логическим решением, заканчивающим флирт с «научностью», понимаемой как создание по-марксистски правдоподобного будущего, было творение мира, неправдоподобного с точки зрения официальной философии властей. Мира, тем самым не обещающего серьезной трактовки. Как «фон» он не помешал бы понимать смысл разыгрывающейся в его рамках человеческой драмы (впрочем, этой возможностью Стругацкие не воспользовались), как носитель актуальной аллюзии он убедительно показывал бы свою природу.

В основе фантастической модели будущего, созданного в «Хищных вещах века», лежало следующее рассуждение:

> Мир «Туманности Андромеды» прекрасен, но дороги к нему преграждены многими рогатками, и, наверное, самой опасной из таких рогаток является влияние буржуазной идеологии. Совершенно ясно, что одним повышением уровня материального благосостояния невозможно достигнуть истинно светлого будущего. Мы знаем, что в целом ряде капиталистических стран достигнут более высокий, нежели у нас, уровень благосостояния. Но стали ли эти страны ближе к коммунизму, чем мы? Нет, ибо там свирепствует никем не пресекаемое и даже поощряемое мещанство [11, 284].

Мир Страны Дураков, сконструированный в «Хищных вещах...», был моделью «интеллектуального капитализма с социалистической экономической структурой» или «экономического социализма, сохраняющего капиталистическое невежество», моделью, заведомо невозможной, противоречащей марксистскому закону «обязательного соответствия базиса и надстройки». Но он был сконструирован с помощью экстраполяции реальных тенденций развития современного мира, экстраполяции, основанной на доведении их до абсурда, а значит, модель служила для их компрометирования.

Похоже, авторы одновременно стремились как показать социальное зло, рождающееся в западных зажиточных государствах (массовая культура, потребительское общество), так и продолжить предостережение о пренебрежительном отношении к интеллигенции, которое могли наблюдать «у себя». Текст был обоюдоострым. Свидетельствует об этом как содержание произведения, так и предисловие, которое нельзя понимать иначе, как в категориях попытки защититься от гнева оскорбленных властей. Страна Дураков — реальность, бывшая фоном действия,— хотя и называлась в тексте несколько раз капиталистической, не имела отличительных экономических черт капитализма, потому что и не могла их иметь. Во вступлении Стругацкие признались в «ошибке»,

заключающейся в том, что они не изобразили капиталистическую эксплуатацию, а занялись исключительно культурной стороной строя, уверяя, что именно капитализм и только капитализм они имели в виду. Это заверение весьма усложнило позицию читателя. Ибо подталкивало его к прочтению гротесковой и аллюзионной действительности повести как серьезного, отрицательного видения будущего — антиутопии.

Читатель находил питательную среду для такого прочтения также и в структуре повести, которая — композиционно — была антиутопией (использовала мотив путешествия или же приключений героя в определенном мире), а вдобавок, антиутопией специфически советской[45]. Ибо в советском литературоведении негативные видения будущего подразделялись на «повесть-предостережение» («повесть-предупреждение») и антиутопии sensu stricto («повесть-отрицание»). Эти последние — как несогласующиеся с оптимистической поэтикой соцреализма, а также с оптимистической, утверждающей победу позитивных тенденций общественного развития, марксистской философией — были признаны неуместными. Допустимой версией была лишь «антиутопия в утопии», то есть описание какого-то избранного, выродившегося участка будущей действительности, существующего на правах исключения. «Хищные вещи века» стоят у истоков этого вида — Страна Дураков, которая здесь описана, формально является последним анклавом капитализма в коммунистическом мире середины XXI века, и нужно признать, что до времени «Часа Быка» (где — по крайней мере, буквально — в свою очередь идет речь о капиталистически-маоистской планете Торманс, которая осталась в мире «Великого Кольца») это произведение оставалось единственным. Зато свободно причислялись к жанру «повестей-предупреждений» книги иностранных писателей, которые отрицательно говорили о будущем капитализма и — если только в них ничего не говорилось о коммунизме — позволяли подтянуть себя под жанровую норму[46].

Хотя... даже пальма первенства в пересадке на советскую почву заслуженного в XX веке жанра все же не отменила того факта, что использованное в «Хищных вещах века» переодевание гротеска в футурологические одежды, представление абсурда как видения «всерьез» не было счастливым решением, потому что аллюзионный слой повести стал совершенно нечитаемым и свелся в принципе к разбросанным политическим колкостям, не складывающимся в глазах читателя в цельный образ, и вдобавок братьям пришлось в предисловии строить из себя дураков...

Страна, в которой оказался пятидесятилетний Жилин — главный герой — является довольно необычным государством в мире «Стажеров», постаревшем на четверть века, который — стоит отметить — довольно существенно изменил свой облик. Это уже не первый этап победоносного коммунизма, без проблем подавляющего остатки мещанских вражеских сил, а неустойчивое равновесие, в котором реакционные силы раз за разом пытаются повернуть вспять скрежещущую машину истории. Жилин, вернувшись «на Землю», был вынужден сражаться с десятками выступлений против объединения государств и разоружения, затем истреблял расплодившиеся преступные банды. Теперь в качестве тайного агента Совета Безопасности ООН ловит торговцев наркотиками, борется с хулиганством и другими явлениями, характерными для того момента, когда люди освободились от добывания хлеба насущного и не знают, что им теперь делать.

Совет Безопасности получил донесения о новом одурманивающем средстве. Жилина посылают с заданием найти виновников и изучить дело. Он посещает злачные места в поисках таинственного «слега» (по-английски «шлак»), контактирует с резидентом разведки Совета, ведущим себя довольно странно (что создает подобие криминального мотива), переживает различные приключения. Поняв, в чем дело, он еще должен убедить неверящее ему начальство, становясь тенью Антона-Руматы. Все вышеизложенное складывается в результате в отдельную акцию, которая является предлогом, позволяющим описать ситуацию в Стране Дураков.

Итак, типичный туристический город. Восемьдесят процентов населения работает в сфере услуг. Благодаря промышленному синтезу продовольствия все «купаются в благосостоянии». Месячная стоимость проживания составляет около 90 долларов на человека. Работают по четыре часа в день, существуют все возможные демократические и профсоюзные свободы (хотя нет никаких причин их использовать). Климат благоприятный. И кроме времени работы (очень дисциплинированной), людям, защищенным от всех невзгод богатством и опекой государства, совершенно нечем себя занять. Продолжается постоянный праздник. Все стараются, «чтобы было весело и ни о чем не надо было думать» [4, 13]: бесятся, танцуют, пьют, пируют и т. д.— это общество, где «первобытная, инстинктивная деятельность человека не искажена и не подавлена системой педагогики» [4, 126]. Для неудовлетворенных существуют дополнительные официальные развлечения типа Салонов Хорошего Настроения или массового гипноза с помощью «грезогенераторов» и

неофициальные (например, занимающееся уничтожением произведений искусства общество «меценатов»).

Царит глубочайшее пренебрежение к интеллектуальной деятельности — науке, литературе и т. д. Уважением пользуются лишь способности, непосредственно служащие отправлению чувственных удовольствий — искусство кулинарии или парикмахерское дело... Слова «интеллигент» («интель») и «образованный» являются бранными, а интеллигенция подвергается стихийным преследованиям масс.

Такое положение вещей поддерживается аппаратом власти и служащими ему полуинтеллигентами, «абсолютно довольными своим положением в обществе и потому абсолютно довольными положением общества» [4, 61]. Они пропагандируют философию «неооптимизма», идеалом которой является «человек беззаботный», которому не угрожает голод, у которого успокоен сексуальный инстинкт, спокойное завтра, подобный ребенку. Популяризует эти идеи аппарат пропаганды, ТВ и пресса.

Третьим (после предисловия и композиции) элементом, не позволяющим абсурдное видение социальной утопии воспринимать именно как абсурдное, то есть «несерьезное» и служащее исключительно критике современности, было наличие в «Хищных вещах века» вполне серьезной футурологии, включение в повесть предостережений по поводу некоторых перспектив развития науки и техники.

Речь идет о «слеге» — в этом мотиве Стругацкие собрали воедино две идеи, проходящие красной нитью в современной футурологии и известные нам из творчества Лема.

Во-первых, «слег» является случайно обнаруженным соединением стандартных продуктов, следовательно, здесь использована идея о случайном возникновении новых опасностей цивилизации (изложена у Лема в «Насморке», 1976).

Во-вторых, «слег» воздействует на человеческий мозг таким образом, что создает иллюзорное видение мира, который невозможно отличить от мира реального, имеющее однако перед реальностью то преимущество, что в нем исполняются наиболее скрытые, животные, подсознательные желания. Эта идея была позаимствована из цитируемой Стругацкими книги Кингсли Эмиса «Новые карты ада» (New Maps of Hell: A Survey of Science Fiction, London, 1961), не переведенной на русский или польский языки, тем не менее, как оказывается, имеющей воздействие и на польскую, и на советскую НФ. Проблемой иллюзорности

реальности занимался в Польше Лем («Бессонница. Из воспоминаний Ийона Тихого», 1971; а также целая глава «Фантастики и футурологии» [120, t. 1, 162–174]), а в США, например, известный у нас Филип К. Дик («Убик», 1970 и др.).

«Хищные вещи века» не были выдающейся книгой. Упрощенное повествование, вновь появившаяся склонность к описательству, отсутствие психологических амбиций и ура-оптимистическое окончание напоминали «Стажеров», «Возвращение» и даже более раннюю технологическую фантастику. Конечно, авторов оправдывает то, что композиция утопии (и антиутопии) имеет свои требования, принуждает давать широкие квазинаучные описания и порождает нежизненность героев, но факта это не меняет. И повесть не заслуживала бы особого разговора, если бы не ее значение для дальнейшего писательского пути наших авторов.

Прежде всего, повесть свидетельствовала об укреплении историософического пессимизма Стругацких. Ибо в ней подвергается сомнению громко выраженное еще в «Стажерах» убеждение в том, что человек по натуре добр, тянется к знанию и добру. История Страны Дураков и «слега» внушает нечто противоположное — человек сам по себе не стремится к интеллигентности и самостоятельности мышления, а цивилизованная часть его натуры — всего лишь тонкая скорлупка, созданная силами педагогов или давлением требований борьбы за быт, которая исчезает вместе с ними.

Кроме того, не слишком удачная литературная сторона, так же, как и — об этом мы еще будем говорить — опыт, связанный с восприятием «Хищных вещей века», дали Стругацким понять, что после отказа от «научности» в значении соответствия фантастической идеи марксистской философии будет наиболее безопасно и наиболее успешно для достижения поставленных перед собой целей убеждения отказаться также и от «научности» в значении соответствия фантазии обыденному чувству правдоподобия, то есть заниматься «чистой» литературной фантастикой. Ибо критикам и в голову не могло прийти, что можно похожие на серьезные футурологические размышления основывать на несерьезной, порожденной в духе гротеска концепции. Думаю также, что сатирические аллюзии — вообще говоря — полезнее скрывать под чисто условной действительностью. Она менее стесняет писателя, а читателя подталкивает к тому, чтобы трактовать ее именно как аллегорию или параболу, а не «серьезно».

Глава IV

ОТКРЫТАЯ БОРЬБА 1965–1968 гг.

Почему Стругацкие взбунтовались? — Ответ (а): восторженный прием «Трудно быть богом», рост авторитета писателей — Ответ (б): спор о новых произведениях писателей; атака неосталинистов, защита Ефремова — Что такое «роман-предупреждение»? — Общественно-политический и личный генезис «Улитки на склоне» и «Времени дождя» («Гадких лебедей») — Ответ (в): экспериментальный «Понедельник начинается в субботу» и выбор формы — «Понедельник...»: гротескная пародия на фантастику «ближнего прицела» — «Понедельник...»: сатира на сталинскую науку и критика потребительского общества —— «Улитка на склоне» как гротескная сатира на систему — Опять о детерминизме. Два героя «Улитки...» — воплощение двух отношений интеллигента к тоталитаризму — постулат моральной непримиримости — Тоталитаризм, интеллигенция, «простой человек» — исследование взаимозависимости во «Втором нашествии марсиан» — Между философским пессимизмом и политическим оптимизмом, «Время дождя» — «Время дождя»: мотив «сверхлюдей»; неудачный голос о диссидентском движении — «Обитаемый остров» как полное развитие условности НФ и как подведение итогов в размышлениях об общественной роли интеллигента, его обязанностях и шансах на успех в борьбе с тоталитарной властью — Изменения в тексте второго издания «Обитаемого острова» —*— Несколько слов о цензуре — Трудная история обсуждаемых книг — Скандал со «Сказкой о Тройке» — «Валяние дурака», или попытки защиты «Сказки» — Дискуссия о научной фантастике в «Литературной газете» 1969 и 1970 гг. Новый «спор о Стругацких», нападки и защита.*

В конце 1965 года Стругацкие решились начать продолжавшийся до последних месяцев 1968, более трех лет, писательский крестовый поход, результатом которого был ряд малоизвестных до недавних пор, почти открыто обвинительных произведений.

В октябре 1964 Никита Хрущев был отстранен от правления. Власть взяла неосталинская команда Леонида Брежнева. В это время произошел своеобразный (будем помнить об объективной шкале — речь идет

о небольшой группе интеллигентов Москвы и Ленинграда) взрыв диссидентского движения[47], который, наверное, удивил (а может быть, совсем не удивил?) новую команду. Можно смело выдвинуть гипотезу, что в первый период после смены власти, в 1965–1968 гг. наступили вынужденные для правящих кругов какие-то три года меньшей, чем при Хрущеве, неуверенной и относительной, но свободы, когда можно было и протестовать, и... быть членом официального истеблишмента. Но это продолжалось недолго. 1968 годом датируется начало новых «острых заморозков» в советской культурной политике.

У меня нет доказательств возможных связей Стругацких с диссидентским движением. Можно лишь предполагать, что свежеиспеченные члены Союза писателей, проживающие в Ленинграде и Москве, творчество которых после 1962 г. было далеко от ортодоксии и явно указывало на то, что авторы в шумных спорах Хрущева и интеллигенции принимают сторону «среды»; что они, во-первых, были хорошо информированы, а во-вторых, наверняка не симпатизировали тем, кто выдвигал обвинения в политических процессах. Можно также полагать, что, осудив (в завуалированной, фантастической форме) сталинскую этику, они должны были почувствовать угрозу надвигающегося рецидива сталинизма и решили противостоять этому, считая (в большинстве случаев — ошибочно), что у них есть шанс опубликовать книги, как это бывало при Хрущеве. Но это все гипотезы. Зато с полной уверенностью можно утверждать, что одним из факторов, обуславливающих «поднятие забрала», была недавно завоеванная высокая позиция братьев в литературных кругах, что способствовало росту уверенности в себе.

Если не считать благожелательного приема «Страны багровых туч», первые шесть лет работы критика Стругацких не баловала. Правда, в среде любителей фантастики с интересом встретили «Возвращение» (во вступительной статье к «Фантастике, 1963» Кирилл Андреев назвал его «одной из интересных книг года» [78, 16], а ленинградская «Нева» позитивно, хотя и непрофессионально, отрецензировала [77]), но большинство голосов составляли злобные нотки, подобные процитированным «письмам» о «Пути на Амальтею». Высмеян рассказ о Великом КРИ, так как по мнению некоего Д. Рачкова он слишком непристоен для детей [76], идея биологической цивилизации («Благоустроенная планета») названа немарксистской и антинаучной [70], «Стажеров» — еще после публикации фрагментов в журналах — разнесли за несоответствие повзрослевших Быкова с друзьями нормам «героев коммунизма». Рецензент все, что можно, сводил к неприличностям[48] [75].

В том же тоне начинала критика поначалу и о произведениях Стругацких нового типа. Ю. Котляр, например, о «Далекой Радуге» сообщал, что в ней фальсифицируется светлое будущее: ученые ссорятся там из-за энергии и приборов, а ведь при коммунизме все будут дисциплинированные и вежливые [81].

Ситуация диаметрально изменилась в середине 1964 года, когда «Молодая гвардия» издала «Трудно быть богом» и «Далекую Радугу» в солидном томе, насчитывающем 336 страниц. С сентября до октября следующего года серьезные, положительные рецензии печатают семь московских и центральных журналов — редкий случай для тогдашнего восприятия научной фантастики в СССР, особенно когда речь идет о молодых авторах и произведениях, не подходящих для пропагандистского использования. Это был настоящий успех. В январе 1965 года, на уже упоминавшемся семинаре — где, кстати, не было ни одного доклада, в котором не упоминалось бы творчество братьев,— Валентина Журавлева сожалела: «Грустно, когда, например, в «поджанре», называемом «фантастика как метод», идет стрижка «под братьев Стругацких». Далее она утверждала, что как недавно «была канонизирована «Туманность Андромеды», так теперь «всеобщим эталоном стали произведения братьев Стругацких» [89, 205, 207]. Такие слова жаловали дворянство.

Как правило, рецензенты подчеркивали быстрое развитие писателей, большую популярность, многочисленные заграничные переводы (в то время это было необычным) и возмутительное отсутствие интереса критики к этому творчеству, после чего переходили к другим комплиментам. Для Громовой «в последних произведениях Стругацких многие характернейшие свойства современной фантастики воплощены наиболее отчетливо и полно» [79], Андреев утверждал: «...когда раскрываешь очередную книгу братьев /.../, словно распахиваешь дверь в чудесный, веселый и радостный мир, полный света и движения...» [84], а Ревич хвалил: «...произведения /.../ отличает любовь к деталям, к точно обрисованным подробностям. Большинство сцен изображено столь пластично, что хочешь не хочешь, а начинаешь верить, что все это произошло на самом деле» [83], Брандис определил «Далекую Радугу» как «одну из самых серьезных и глубоких фантастических повестей, появившихся за последние годы» [85, 126].

Когда же дело дошло до конкретного прочтения, мнения разделились. Произведения из тома «Молодой гвардии» (и, возможно, «Попытку к бегству») Е. Брандис, М. Лазарев и другие, даже позднейший последовательный противник оценки НФ под углом «научности» В. Ревич,

понимали как утопии, в частности, направленные на описание психики людей коммунизма — ссылаясь на неактуальный уже манифест Стругацких 1962 года: дискуссию в «Неве». «Далекая Радуга» также представлялась одним из возможных будущих «конфликтов». Ревич видел также возможность прочтения произведений как психологических исследований героического подвига. Подвига sensu stricto — в «Далекой Радуге» и «ежедневного» героизма в «Трудно быть богом».

Более адекватно считала Ариадна Громова, горячая сторонница «фантастики как приема». По ее мнению, у Стругацких «сквозь яркие картины фантастической действительности проступают очертания того мира, в котором мы живем, и мы с удивлением убеждаемся, что, увидев эти знакомые очертания в новом, необычном освещении, мы кое-что поняли иначе, вернее, глубже, чем понимали прежде» [79]. Но, точно прочитывая метафоричность и боевой характер нового творчества Стругацких, а также — в отличие от вышеупомянутых исследователей — замечая появившийся в работе братьев перелом (до «Возвращения» — создание утопии; после «Возвращения» — критика преград на пути к ее осуществлению), Громова однако довольно примитивно искала аллюзионные источники произведений. Вот, например, анализ «Трудно быть богом»:

> Очевидно, правильней будет рассматривать события, происходящие в Арканаре, как обобщенную модель такого рода (то есть типа фашизма, варварства, темноты — В. К.) событий в истории человечества. И модель поведения тех, кто знает, что будет дальше, перед лицом событий сложных, грозных, опасных. На твоих глазах гибнут замечательные люди /.../. А ты, зная все, видя все, обречен на бездействие. В романе — потому, что ты сотрудник Института экспериментальной истории /.../. В жизни... что ж, и в жизни бывают случаи, когда нельзя вмешаться, хоть сердце у тебя пополам рвется. Нельзя потому, что твое вмешательство приведет к катастрофе [87].

Принятие Принципа Бескровного Воздействия за посылку авторов не позволило Громовой понять, что — несмотря на отсутствие авторской оценки, непосредственного указания — принцип этот следует считать неверным, а его защиту и толкование — ошибочными. А не поняв этого, нельзя обнаружить «второе дно» произведения, содержащийся там анализ исторического процесса и моральную директиву обязательности бунта против зла, даже если этот бунт кажется нелогичным[49].

Ближе всех к правильному пониманию был Кирилл Андреев. Он конкретно указал цель атаки Стругацких, написав, что в «Трудно быть богом» они создали

свое собственное средневековье, сотканное из всего жестокого и отвратительного, что породило прошлое. Ведь это /.../ яростный памфлет. И авторы в нем пристрастны, как должен быть пристрастен суд, который судит отвратительное родимое пятно, оставшееся нам в наследство от капитализма,— живучее мещанство [84].

Не следует забывать, что термин «мещанство» имел для писателей и не только для них очень широкий диапазон. Он означал как определенную социологически общественную группу и свойственный ей способ мышления, так и мировоззрение, которое — хотя и связано генетически с мещанами — может быть свойственно современным людям, независимо от места их рождения и проживания и места в общественной структуре; мировоззрение, характеризующееся необязательно и не только конформизмом и тупостью, но также и жестокостью, фанатизмом, склонностью к деспотизму, отсутствием уважения к знанию и его носителям и т. д. Андреев был также единственным, кто не дал ввести себя в заблуждение повествованию «Далекой Радуги» и правильно оценил Склярова.

Адекватно или ошибочно были прочитаны произведения Стругацких — не это было самым важным, в конце концов. В расчет следует принимать то, что прекратились мелкие придирки, и в течение года рецензенты непрерывно ставили наших авторов на пьедестал (что увенчалось позднее изданием «Трудно быть богом» и «Понедельник начинается в субботу» в престижной «Библиотеке современной фантастики» в 1967 г.). Не удивительно и то, что на переломе 1964 и 1965 годов столь отважно звучали нетипичные теоретические мнения. Как не удивительно также и молчание противников, которые — как оказалось — и не думали оставлять писателей в покое.

Но чтобы сталинисты, консервативные писатели и критики, которые не могли не заметить имеющиеся в «Трудно быть богом» язвительные, антитоталитарные аллюзии и оставить безнаказанными такие обидные мотивы, как Гур Сочинитель — «интеллигент со сломанным позвоночником», или профессор Выбегалло из «Понедельника...», чтобы они получили голос, должны были произойти перемены в общественно-политической атмосфере в стране и должен был найтись предлог. Им стало опубликование написанных в этот безоблачный период «Хищных вещей века». К этой книге наконец можно было «прицепиться», и в начале 1966 г. было уже достаточно «холодно».

Против Стругацких выступили: В. Немцов и (немного позднее) В. Сапарин, известные до 1956 года писатели, а также специалисты-полито-

логи: член Академии наук СССР и профессор ВУЗа, в то время наверняка уже делавший карьеру. Их следует трактовать как представителей широких масс. Конечно, спор, который завязался, был типичной склокой, «направляющей молнии известно куда». Ибо температура еще не упала настолько, чтобы напрямую выдвинуть пахнущее процессом обвинение (как правило, без доказательств) в «оскорблении СССР», после которого защитники не могут отбивать удары, не направленные открыто. Поэтому речь шла о высоких материях «сущности жанра», «научности», «идейной правильности», а творчество Стругацких затрагивалось якобы только в качестве примера.

29 января 1966 года Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров СССР провел совещание, посвященное научной фантастике. Предварительно в прессе прошла дискуссия. Начать ее было поручено Немцову. Статья в «Известиях» «Для кого пишут фантасты?» возмутила Ефремова, которого — уже на совещании — поддержали Брандис и Дмитревский.

Если оставить на некоторое время наших героев, то этот спор свидетельствует о том, что в истории советского мышления о НФ середина шестидесятых годов ознаменовалась не только первым серьезным выступлением в пользу признания за жанром права метафорически говорить о реальной действительности, но также эволюцией в лагере «реалистов». Предложенное традиционно мыслящими (но не желающими быть Немцовыми) теоретиками ослабление корсета шло в двух направлениях: как допущения большей свободы видения коммунизма, большей разнородности, вариантности его элементов, так и узаконивания рассмотрения в НФ мотивов общественного зла — в «романах-предупреждениях», представляющих будущее не напрямую, а с помощью показа «негатива».

Поэтому когда Немцов, как бы «беря назад» слова 1959 г., когда он атаковал Ефремова за «удаление прицела», заявил: «Можно примириться с тем, что авторы рассказывают о событиях, отодвинутых на сотни и даже тысячи лет вперед. И пусть происходят они не на грешной нашей планете, а в другой Галактике», так как «своим воображением читатель может перенести полюбившихся ему героев в более близкое, а потому и особенно дорогое для него время и даже на свою Родину» [94], лишь бы эти герои участвовали только в таких конфликтах, которые действительно произойдут при коммунизме, говорили таким языком, которым действительно будут тогда говорить и т. д., то есть, по сути,

повторил типичные суждения очень консервативных соцреалистов,— Ефремов (а его также беспокоило «новое старое», и в «Часе Быка» он скажет горькую правду о диктаторских правлениях) руку, протянутую для согласия, отклонил и, не запутывая сущности ненужными подробностями, подчеркивая сам принцип рассуждений, ответил:

> Мы, люди социалистической страны, так привыкли заглядывать вперед, планировать, ссылаться на будущее и заботиться о нем, что подчас забываем, что будущего еще не существует. Оно будет построено из настоящего, но настоящего не механически, а диалектически продолженного в будущее. Поэтому представления о какой-то строго определенной структуре будущего, которую обязательно должны видеть фантасты, являются чистейшей метафизикой... /.../ Писатель-фантаст, подбирая из настоящего, из реальной окружающей его жизни явления, кажущиеся ему провозвестниками грядущего, протягивает их в придуманный мир, развивая их по научным законам. Если произведение построено так, то фантастика научна[50] [93].

Другим принципиальным различием между Ефремовым и Немцовым, то есть между прогрессивным и консервативным соцреалистами, было выдвижение различных критериев благонамеренности произведения. Немцов по-старому усматривал ее в «массовости», то есть в философской и формальной доступности. Ефремов — по-новому. Вопросы формы к делу не примешивал, критерии искал в идеологическом (в нашем понимании этого термина) содержании, в сфере смысла.

> Каков тот компас, которым руководствуется писатель в своем видении грядущего мира? Ведет ли он к новому миру коммунизма — миру высшего общественного сознания, морали, человеческих отношений или же к перестановке старых декораций, придающих фальшивый «облик грядущего» все тем же древним ужасам человечества — угнетению, эксплуатации, войне и злобной жадности [93].

Общий смысл произведения является качеством, частично независимым от использованного набора мотивов, поэтому Ефремов хоть и считал утопию «главной линией» развития жанра, также допускал показ возможного «столкновения коммунистического мира, его общественного сознания с отживающими, но злобными и вредоносными идеологиями индивидуализма, империализма, мещанским соперничеством в богатстве и обладании вещами» [93]. Для ортодоксов же показывающий в гипотетическом будущем негативные проявления жизни жанр «повести-предупреждения» был неприемлем. Они по-прежнему считали, что неснабженное однозначной пометой «минус» напоминание о

чем-то в искусстве (а в некоторых случаях вообще напоминание, даже с правильной пометой), а тем более создание художественного образа чего-то такого равняется рекламированию и поддержке — как же иначе, ведь искусство должно быть отражением типичного, то есть правдивого, желаемого и единственно существующего. Возможность иронии, показа явления в кривом зеркале не помещалась в их головах. По Немцову Стругацкие в «Хищных вещах века» поддерживали капитализм, пропагандировали его будущую роскошь, «вещи оказываются не столько хищными, сколько притягательными» [94]; сцена из «Трудно быть богом», в которой Румата безуспешно пытался преодолеть отвращение к неопрятной красавице, должна была быть рекламой секса.

Главными защитниками «романа-предупреждения» были Брандис и Дмитревский. В докладе на совещании [91] и в уже упомянутых работах они развивали следующий взгляд: «Повесть-предупреждение» — это видение, делающее акцент на возможных негативных элементах будущего, но видение оптимистическое, марксистское. Контрастный по отношению к указанному злу мир коммунизма в принципе должен быть в данном произведении, он должен быть описан рядом с этим злом, одновременно с ним. Допустимы, однако, произведения, где коммунизм не показан непосредственно, отсутствует в повествовательной реальности и лишь формирует видимую в книге авторскую, идеологическую оценку рассказанного. Другими словами, темой повести может быть что угодно, если наличествует правильное идеологическое звучание. Если же оно неправильное, то произведение причисляется к другому жанру, к «антиутопии». (Термины «антиутопия» и «повесть-предупреждение» тогда использовали в СССР обычно как синонимы.) Это название должно определять такие произведения, как «Новый прекрасный мир» Хаксли, «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла, по мнению критиков, антимарксистские и антисоветские, которые, будучи пасквилями на предугаданное коммунистами будущее (а возможно только такое), в принципе отказывают людям в будущем, прославляя капиталистическое status quo.

Вернемся к Стругацким. Во время первого этапа атаки, то есть в «немцовско-ефремовской» дискуссии, им выпала роль «главного примера». Немцов посвятил их идеологическим ошибкам 3/4 текста. Он считал, что «Далекая Радуга» принижает образ людей коммунизма, что у них нечеловеческая, хуже сегодняшней, и даже сегодняшней капиталистической, нравственность, поскольку «только после горячей дискуссии места в звездолете занимают дети и женщины с грудными детьми»

[94]. Непонятно, почему Румата не хочет помочь арканарцам, не принимает мер к изменению тамошних отношений, имея для этого средства. «Насколько же мы, граждане сегодняшнего социалистического общества, человечнее, гуманнее героев, созданных Стругацкими? Мы вмешиваемся в ход истории, мы помогаем народам, которые борются за свою свободу и национальную независимость. И будем помогать, пока живет в нас революционный дух» [94],— возмущался автор историй о Бабкине и Багрецове. «Хищные вещи века», вопреки обещавшему обличающую сатиру на капитализм предисловию, воспевали прекрасные материальные условия жизни, которые тот создаст в будущем столетии. Стругацкие деморализовали детей порнографией и использовали ужасный, глумящийся над принципами вразумительности язык (тут Немцов безо всяких пояснений цитировал отрывок ведущегося на воровском жаргоне диалога дона Рэбы с Вагой Колесом). После этих, как он их определил, «дружеских предупреждений» Немцов еще «разоблачил» Стругацких и как редакторов, указав, что повесть Ариадны Громовой, вошедшая в составленный Аркадием том «Фантастика, 1964 год», пропагандирует «телепатическую мистику» и написана в «стилистической манере с явным влиянием Кафки»[51] [94].

Ефремову и ленинградским критикам легко было отбивать обвинения Немцова, не только атакуя способ мышления, который приводил к их формулировке, но и обвиняя в субъективном подходе и идеологических ошибках. Они доказывали, например, что концепция помощи малоразвитым цивилизациям в «Трудно быть богом», основанная на осторожной заботе о развитии арканарского самосознания, на самом деле по-настоящему ленинская, а Немцов требовал троцкистского «экспорта революции».

На втором этапе атаки поддержать Немцова поспешили идеологи sensu stricto, специалисты, солидно документированным претензиям которых немногое удалось противопоставить.

Анализируя общественное положение Арканара, Ю. Францев показал, что такое смешение фашистских и феодальных явлений имеет столько же общего с социологической научностью, сколько живая вода с принципами природоведения (что было обвинением лишь для сторонников научности НФ), и доказал, что идейный смысл такого видения приводит к историческому фатализму и идеализации реальных общественных явлений. Фатализму — так как показ капиталистических (а значит, прогрессивных для того времени) элементов феодализма как уже зараженных империалистическим, фашистским раком отрицает

«закон прогрессивного развития общества». Идеализму — так как перемещение фашизма в феодальное прошлое отрывает его от его экономического фундамента. Таким образом, «от фашизма остаются штурмовики, но исчезают породившие фашизм капиталистические монополии. Фашизм становится какой-то извечной, «космической» категорией. К чему это?» [96] — лукаво спрашивал ученый, зная, что более ориентированный читатель дорисует себе, что таким «оторванным» понятием фашизма как прежде всего диктатуры пользуются западные политологи, связывающие фашизм и советский строй в одну категорию тоталитаризма. Францев поддержал Немцова и в вопросе немарксистского подхода Руматы к проблемам «ускорения» прогресса в Арканаре:

> Научная социология утверждает возможность человека, вернее, социальных классов, влиять на ход истории, если они действуют в том направлении, в каком объективно развивается данное общество [96].

С упреками, касающимися «Трудно быть богом», на худой конец еще можно было полемизировать, отмечать возможность неправильной интерпретации идейного смысла данного мотива, ошибки прочтения авторских оценок представленного и т. д. Повесть носила черты психологической прозы, анализировать которую непросто. К сожалению, свойственная «Хищным вещам века» структура утопии делала невозможными ссылки на законы licentia poetica и обвинения интерпретаторов в ошибках. Стереотип восприятия утопии предопределяет поиск смысла произведения, принадлежащего к этому жанру, в представленном там образе общества.

Общество Страны Дураков, поскольку в его презентации была упущена общественно-экономическая структура, приобрело, по мнению «заслуженного деятеля науки, доктора экономических наук, профессора» М. Федоровича черты бесклассовости (снова можно было себе добавлять, что бесклассовым является коммунизм, а капитализм таким быть не может), а подтачивающий это общество рак умов стал претендовать на роль внеисторической силы. Вдобавок к этому повествовательная концепция удовлетворяющего материальные потребности людей «неокапитализма» была подобна западной концепции «народного капитализма», поэтому Федорович утверждал: «Выходит, что Стругацкие невольно поверили в возможность создания "народного капитализма"» [95]. Рецензент, правда, предостерегал, что не обвиняет авторов в умышленной пропаганде вражеской идеологии, наоборот — «вероятно, они хотели сказать, что даже такой капитализм остается капитализ-

мом и приводит к моральной деградации», но «Хищные вещи века» остались для него нелояльной книгой о б ъ е к т и в н о.

На такое dictum осмысленно ответить было невозможно. С упреками окончательно согласились и защитники писателей [52], издатели же — насколько мне ведомо — не переиздавали повесть 20 лет [53].

Таким образом, мы видим два фактора, обуславливающих совершенный на переломе 1965/1966 выбор писательских целей, писательской стратегии Стругацких. Атака Немцова и политологов, совершенная с интеллектуальных позиций сталинской ортодоксии в мышлении о литературе, и даже — в случае Немцова — произведенная с использованием полемических приемов, свойственных бесславным временам, наверняка подействовала на братьев как пресловутая «красная тряпка на быка». Одновременно с этим память о недавнем триумфе и тот факт, что общество пыталось их защитить от этого нападения, подсказывали Стругацким, что нужно дать достойный ответ, что у них есть такая возможность. В то время они работали над «Улиткой на склоне», задуманной изначально как ни к чему не обязывающий рассказ о приключениях Горбовского на планете Пандора, то есть продолжение «Возвращения». Можно выдвинуть гипотезу, что именно новая, созданная атакой ситуация склонила их сделать из повести оружие борьбы со всем тем, что олицетворял Немцов (не говоря уж о том, что Немцов в «Улитке...» был высмеян [54] лично). В пользу этой гипотезы говорят и те выступления писателей [21], в которых они отмечают, что как «Попытка к бегству», так и «Улитка на склоне» (и другие бунтарские произведения) в отличие от их старой фантастики возникали не по установленному плану, но часто вопреки нему, спонтанно, а значит — как можно домыслить — «под давлением» текущих событий. Я считаю эту гипотезу психологически правдоподобной, хотя, приняв ее, мы должны согласиться с тем, что Стругацкие плохо оценили в то время свои шансы и политические перспективы. Чувство, что «общество их защитит», оказалось ошибочным: в ближайшие пару лет «Хищные вещи века» были последней нормально отрецензированной (по крайней мере, поначалу) книгой [92]. Немцову и его союзникам удалось окончательно прилепить к Стругацким «политический ярлык». О властях же было уже известно, что они не желают допускать критику сталинских традиций, но еще было неясно, остановятся они на этом или пойдут дальше. Они пошли.

Но Стругацкие в 1965 году (когда писали «Улитку на склоне») и в 1966 году (когда создавали «Гадких лебедей») еще не знали всего это-

го; более того, им казалось, что они владеют литературным оружием, способным смять ряды цензуры и спутать карты вражеских критиков. Речь шла о гротесково-сатирической фантастике, в которой фантастический мотив, явно несерьезный и лишенный авторской аргументации, не должен был быть трактуем как иллюстрация серьезных футурологических или политологических теорий, образ желаемого будущего и т. п. Братья решили, что «сказке для младших научных сотрудников» («Понедельник начинается в субботу»), изданной в начале 1965 г., не хватило аргументов в последней атаке, хотя и там они позволили себе антисталинские рассуждения и коснулись, хотя и другими средствами, той же, что и в «Хищных вещах века», проблемы потребительского отношения к жизни. К тому же одна-единственная нападка на книгу, совершенная с ортодоксальных позиций, показала полную дезориентацию обвинителя [90].

Правдоподобнее всего, именно «Понедельник...» стал третьим, на этот раз влияющим не на писательскую стратегию, а на тактику, фактором, имеющим влияние на выбор Стругацкими пути сопротивления. И потому рассмотрим его сейчас, однако заметив предварительно, что обращение к юмористической форме не было у Стругацких чем-то неожиданным и вызванным лишь жизненной потребностью. Юмористические таланты были видны в их книгах все время. Весьма характерным был комический образ добродушного толстяка, штурмана Крутикова — «антигероя», если мерить его мерой фантастико-производственной литературы. Позднее они оживляли юмором строгий мир утопии[55]. И в более зрелых произведениях, зачастую несущих в себе мощный эмоциональный заряд, Стругацкие привыкли смешивать исключительно трогательные или волнующие моменты с комическими, следуя старинной традиции пьес, заботящихся о том, чтобы снискать доверие зрителя.

«Понедельник...» был прежде всего насмешкой над «реалистичным» пониманием фантастики и пародией на произведения «ближнего прицела» («на грани возможного») в их разновидности, посвященной науке. Формально это набор трех рассказов, «историй», повествование ведется от имени молодого ученого Саши Привалова, автора и послесловия тоже. В нем он исправляет «научные неточности» якобы описывающих его воспоминания Стругацких, вменяет им в вину частые в критике пятидесятых годов упреки или столь же стереотипно их хвалит. Заканчивает произведение почти обязательный в давних изданиях НФ «словарик сложных терминов».

«Истории» повествуют о том, как Привалов начинал работу в Институте, как в новогоднее дежурство был свидетелем важного эксперимента, как вместе с коллегами совершил открытие. «Понедельник...» напоминал бы, например, рассказы Немцова из сборника «Тень под землей» (1954), основанные на точно таком же приеме рассказа ученого о приключениях, связанных с работой, и другую заурядную научно-фантастическую продукцию пятого и шестого десятилетия, если бы не то, что все происходит в Академии наук СССР, в Научно-исследовательском институте... Чародейства и Волшебства, где предметами анализа являются свойства живой воды, Змей Горыныч, джинны, Кощей Бессмертный, роль вспомогательного персонала исполняют домовые, гномы, вампиры, Баба Яга и т. п., а светилом науки может быть «простой бывший Великий Инквизитор» Кристобаль Хозевич Хунта. Исследования проводятся серьезно. Привалов возглавляет вычислительный центр.

Столкновение этой «научности» и фабулярной схемы литературы «на грани возможного» со сказочной действительностью является основным источником комизма произведения. Кроме того, Стругацкие не пренебрегали ситуационным комизмом фарсового характера и легкой юмористикой. Благодатным предметом осмеяния была бюрократия,— у Института был административный директор, тупица, формалист и деспот Модест Матвеевич Камноедов,— и вдобавок Институт был расположен в захолустном районном городке, а потому милиция спокойно проводила следствие по делу использования неразменного пятака, а гоголевского Вия за пьянство сажали в каталажку.

Рыхлая конструкция и свобода в мотивации событий (в НИИЧАВО все может произойти) позволяли Стругацким рассказывать о многих интересующих их вопросах. Они спокойно решали головоломку на тему: «Объясняет ли тайну тунгусского метеорита гипотеза о том, что это был космический корабль инопланетян, живущих во времени, противоположном нашему?», хотя минутой до этого усаживали Привалова на машину времени, путешествующую по «мирам описываемого будущего», чтобы высмеять утопии и антиутопии фантастики.

Но среди затрагиваемых проблем были и важнейшие. И тогда юмор вытеснялся язвительной сатирической деформацией. Примером может служить история с экспериментами профессора Выбегаллы — карикатуры на сталинского ученого-аферист а.

Амвросий Амбруазович свою карьеру сделал на труде «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», хотя позднее оказалось, «что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и бо-

ятся пыли и сырости» [3, 552] — это явная отсылка к научным и хозяйственным аферам типа лысенковского «превращения озимой пшеницы в яровую». Выбегалло — дурак и невежда, но процветает благодаря неустанному напоминанию о своем правильном классовом происхождении (между прочим, он ходит «в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе» [3, 499], ковыряет в зубах и т. д.), он безупречен бюрократически, формально и доктринально, искусно подчеркивает свое образование, постоянно вкрапляя в свою речь фразы (зачастую совершенно не по теме) на французском языке[56], который, словно сторонник пресловутого марризма, называет диалектом [3, 501]. Он регулярно пользуется идеологическим шантажом: свои идеи «он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило» [3, 500], а на критику отвечает обвинениями в «нездоровом скептицизьме», в «недоверии к силам природы, к человеческим возможностям», в провокации, «от которой за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизьмом, экзистенцио... оа... нализьмом» [3, 545].

Концепция Выбегаллы основана на прямо пропорциональной зависимости между удовлетворением материальных и появлением духовных потребностей человека — достаточно удовлетворить первые, чтобы люди сами по себе или после легкого «окультуривания» средствами пропаганды доросли до идеала. В «Хищных вещах века» показано общество, которое спроектировал бы Выбегалло. В «Понедельнике...» поэтика гротеска позволяет полемизировать с такой концепцией общества с помощью всего двух ярких образов, а именно: созданного Выбегаллой искусственного человека, «неудовлетворенного желудочно», который после обжорства, достойного Гаргантюа,— пожирания двух тонн селедочных голов, вместо того, чтобы стать «исполином духа» и бесконечно счастливым сверхчеловеком, попросту лопается, и экспериментом с «универсальным потребителем», то есть с «громадной отверстой пастью, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца» [3, 546–547].

Положительные герои повести, наоборот, придерживаются мнения, что счастье зависит не от уровня потребления, а от способности мыслить и чувствовать. Они уверены, что «счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же» [3, 533], что лишь тогда человек становится настоящим, когда основной целью жизни его становится работа и когда он «начинает меньше думать о себе и больше о

других» [3, 533]. В «Понедельнике...» Стругацкие лаконичнее всего выразили этическую концепцию, ранее изложенную в «Пути на Амальтею», «Стажерах» и «Возвращении».

*

Работу над «Понедельником...» от работ над «Улиткой на склоне» и последующими произведениями такого рода отделяют, однако, несколько очень важных лет. Изменилась ситуация, подверглось изменениям и этическое послание авторов, в котором со времен «Трудно быть богом» речь стала идти не о бескорыстной работе, а о бескомпромиссной борьбе, в которую бросаются, не задумываясь о подсчете шансов на победу. Поэтому, когда они снова вернутся к поэтике гротеска, гиперболизации, абсурда, в соответствии с изменениями целей изменится и настроение прозы,— теперь сражающиеся произведения будут едкой сатирой с лишь кое-где проблескивающими моментами юмора[57]. Полностью исчезнет также формальный контакт фантастического сказочно-гротескового мира с реальной действительностью. «НИИЧАВО» находился в Соловце. Это название взято из фольклора, но в повести это был русский городок 1960 года от Рождества Христова. Действие «Улитки...», «Второго нашествия марсиан», «Гадких лебедей» будет происходить в действительности, которую невозможно обозначить конкретно, в странах, лежащих «нигде и всюду». Теперь станет весьма трудно доказать аллюзии на советскую действительность — книги никогда не будут прямо указывать на нее.

Итак, примем во внимание элементы двух действительностей «Улитки на склоне», с которой начнем не только потому, что она появилась первой из вышеназванной тройки. Мне кажется, что судьбы ее героев иллюстрируют моральную дилемму согласия или несогласия с действительностью, которая не нравится, а шансы ее изменения лежат совершенно за пределами возможностей субъекта, выбирающего линию поведения. Дилемму, которую ныне придется разрешать Стругацким во время написания очередных книг.

> Действие происходит на окраине и в дебрях некоего полусказочного леса, вместилища неприятных тайн и грозных загадок. Изучением и освоением леса занимается специальное Управление... /.../ Читателю не следует ломать голову над вопросом, где же именно происходит действие: в глухом неисследованном уголке Земли или на отдаленной фантастической планете. Для понимания повести это не играет роли, потому

что лес — это скорее символ непознанного и чуждого, чем само непознанное и чуждое... [17, 385]

— писали они в авторском вступлении к первым опубликованным фрагментам. Как и что символизирует лес?

Фабула повести включает два сюжета: переживания блуждающего по Лесу Кандида и приключения Переца, блуждающего по Управлению. Уже имена героев вызывают однозначные ассоциации[58], намекают на притчевость и аллегорийность. Действие продолжается неделю. Сюжеты параллельны, события излагаются попеременно то в лесной части, то в Управлении. Кроме того, что действие происходит в одно время, и тем фактом, что Кандид, также как и Перец, является сотрудником Управления (после аварии вертолета он живет среди лесных аборигенов), внешне сюжеты ничем не связаны.

Лес — это гигантское пространство буйной, управляющейся своими законами жизни, являющееся как бы единым организмом джунглей со смешанными границами растительного и животного, и даже человеческого и звериного мира. Существующая здесь цивилизация имеет биологический характер. Люди управляют вирусами, насекомыми, растениями, а лес поставляет блага — особенно примитивной деревне. Но в то же время ее жители, слегка отравленные испарениями болот, живут в сомнамбулическом полусне. Более развитая культура «городов» умеет также создавать, например, «биологических роботов».

Но в неземном Лесу, вероятно, по-земному творится история. Вероятно — так как все события мы видим глазами Кандида, лишь наряжающего неизвестные процессы в наши понятия. В Лесу происходят «Одержания», «Заболачивания», «Великие Разрыхления» [4, 448], о чем сообщают люди-приемники, слухачи. Делают это хозяева Леса, «городская» цивилизация женщин. При «Одержании» примитивные деревни подлежат уничтожению. Из отловленных роботами женщин формируются очередные «отряды подруг». Мужчин они не считают за людей. Именно в этом заключается местный «исторический прогресс»? Кандид не может окончательно ответить на этот вопрос:

Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое»... /.../ Не извращение, а революция. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными гла-

зами чужака, не понимающего ничего и потому — именно потому — воображающего, что он понимает все и имеет право судить [4, 488].

Пропорции «неземного» и «земного» в действительности Управления обратны. Это городок ученых и администрации. Но одновременно в нем есть заключенные и стреляющие без предупреждения охранники рабочего лагеря. Это также крайне отчужденная бюрократическая организация. Формализованная настолько, что с самой случайностью борется, издавая приказы. А принцип служебных секретов приводит, например, к тому, что сбежавшего робота ищет толпа людей с завязанными глазами. Есть приказ искать, но тем, кто увидит «строго секретную» машину, грозит ссылка. Одновременно энергию бегающих используют для организации спортивных занятий (выполняется культурно-просветительный план).

Любая попытка разместить эту действительность, явно изображающую в карикатурном виде наш мир, в конкретном историческом времени и месте кончается ничем. С этой точки зрения картина полна противоречий. Например, используются мыслящие машины и бронеавтомобили времен Вердена, распространяемые дирекцией перспективы развития Управления похожи на пропагандистские образы коммунизма, широко использовавшиеся при Хрущеве, а жестокая рабочая дисциплина, выдача мифическим Директором только телефонных указаний и владычество страха и доносительства должны были напоминать советским читателям времена Иосифа Виссарионовича.

Впечатление нереальности и кошмара укрепляет в читателе и использование в описании приключений Переца надреалистичной, наследующей поэтику сновидений, техники повествования. Например, «кадрирование»: эпизоды неожиданно переходят из одного в другой, как во сне, без подготовки и обоснования логикой действия. Появляются также свойственные сну мотивы: блуждание по зданию, заполненному ведущими в никуда коридорами и дверями, бегство, которое не может удастся и т. д. Стругацкие продолжали традиции Михаила Салтыкова-Щедрина и Кафки[59].

Главный смысл произведения следует искать в аналогиях, связывающих параллельные сюжеты (поскольку формально связывает их немногое, то открываемые по ходу чтения похожие элементы сюжетов были введены для того, чтобы привлечь к себе внимание). Первая аналогия заключается в том, что и в Лесу, и в Управлении скрыты выродившиеся общественные структуры. Вторая — в подобии и различии судеб героев.

Перец и Кандид — интеллигенты, пытающиеся познавать и понимать мир. Они не удовлетворяются, как другие, бездумным принятием действительного за очевидное. Оба, познавая, не уверены в результатах. Существование — в силу использования определенного языка, исповедования определенной идеологии и занятия определенной общественной позиции — перцепционных искривлений и ограничений является лейтмотивом повести. Они одиноки. Кандид напрасно уговаривает жителей деревни пойти в Город — Перец окажется жертвой сил, которым пытался оказывать сопротивление без союзников. И для обоих настанет момент выбора.

Кандид встретит «подруг», которые решат использовать его в деле уничтожения деревень. Тогда он скажет «нет», освободится и примет решение действовать на стороне деревенских жителей, хотя и понимает, что

> историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса... /.../ Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! /.../ ...я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники... Идеалы... Великие цели... Естественные законы природы... И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня [4, 493–494].

Кандид отбрасывает искушение морального релятивизма, отыскивания себе высоких философских оправданий трусости. Наоборот, он считает, что человек, оказавшийся перед лицом чего-то могущественного и жестокого (даже если бы это был исторический прогресс — любимец революционеров), должен опираться на собственные этические инстинкты. Ему незачем ссылаться на вопросы тактики и рассудка — этот тезис Кандид реализует на практике, практически бессмысленно уничтожая орудия истребления — биороботов — случайно найденным скальпелем. Но он делает то, что может делать.

Перец же позволяет увлечь себя в ловушку, расставленную бюрократическими силами. Несмотря на то, что в отличие от отравленного испарениями, полусонного Кандида, у него ничем не замутнен разум и несмотря на весь свой идеализм. После очередной попытки уехать из Управления (в наших глазах все преграды этому являются результатом заговора) наступает минута, когда неожиданно он оказывается Ди-

ректором. Пораженный, буквально загнанный плачущим чиновником («серым кардиналом») в кабинет, он принимает условия игры. Он подчиняется искушению «использования плохих средств в добрых целях», притягательной силе морального релятивизма,— принимает должность, обманывая себя надеждой, что абсурдное и прогнившее учреждение удастся использовать на пользу Лесу. Но в действие вступает «административный вектор», согласно которому каждая директива должна вытекать из предыдущих; оказывается, что в бюрократическом аппарате нет ни свободы решений, ни возможности маневрировать. Попытка шутить с системой кончается трагически — Перец становится ее узником, и средством убежать для него остается лишь спрятанный в сейфе парабеллум с единственным патроном в стволе.

Мораль обоих сюжетов ясна — нельзя вступать в переговоры со злом.

Несмотря на различный выбор, Кандид и Перец принадлежали к одной группе — людей мыслящих. Чтобы укомплектовать полный каталог противостояния силе, следовало обратиться и к другой стороне баррикад: к мышлению человека, довольствующегося малым. Примирившегося со злом, даже и не помышляющего защищать ценности (а что это такое?) конформиста. Прежде (если не считать Склярова) Стругацкие не столько показывали, как он мыслит, сколько рисовали образ такого общества, которое бы он создал («Хищные вещи...»), провозглашали против него тирады (напр., «Стажеры») и т. д. Не затронули тему глубоко. Поэтому, закончив работу над «Улиткой...» (или одновременно с ней), они пишут самый ожесточенный из всех известных мне памфлетов об общественной пассивности: «Второе нашествие марсиан».

Короткая повесть обращалась не столько к повести Уэллса, сколько к ее «продолжению», рассказу «Майор Велл Эндъю»[60] Лазаря Лагина. Лагин подумал: а что бы произошло, если бы один из стрелявших в марсианские «треножники» артиллеристов, схваченный марсианами, «перешел на их сторону»? И представил его «наблюдения, переживания, мысли, надежды и далеко идущие планы, записанные им в течение последних пятнадцати дней его жизни». Отставной офицер, оказавшись в одном из контейнеров, в которых марсиане хранили людей в качестве пищи, чтобы избежать обстрела собственными батареями, выдает их позиции марсианам. Он оказывает им и другие услуги: предостерегает от необычных способов сопротивления, пытает и «пасет» пленников, в конце погибает вместе с марсианами.

Произведение Лагина было типичной «антиимпериалистической прозой» в ее сатирической разновидности. «Well and you» переводится как «Ну а ты?». Майор строил надежды вхождения Великобритании в союз с Марсом. Вместе они наверняка победили бы «социалистических подстрекателей». Лагин весьма сгущал краски, даже для привычного к полемике с Западом советского читателя. Например, майор по образу новых приятелей пил человеческую кровь.

Этот фон подчеркивает универсальный характер варианта Стругацких, которые действие своего нашествия разместили «за семью горами...» в особой Аркадии с реалиями небольшого, имеющего в прошлом войну и фашизм, а теперь демократического, зажиточного государства, где граждане носят позаимствованные из греческой мифологии имена. И пришельцы другие, и идея: «Что бы произошло, если бы марсиане жаждали не крови, а... скажем, желудочного сока?» Если бы не воевали и никого не убивали, а сохраняли в делах, интересующих «маленького человека», status quo и ограничились в принципе лишь захватом высшей власти, используя жесткие меры — и то руками людей — исключительно в случаях, мешающих нормальному производству этого сока (ликвидация торговли наркотиками)? Вполне возможно, что ничего бы не произошло. «Маленький человек» согласился бы на роль скотины. Интеллигентов, желающих сражаться во имя столь неясных целей, как «честь человечества», «сохранение культуры», простой народ сам бы выдал марсианам. Те же, чтобы не растрачивать ценных «сокопроизводителей», отпустили бы их, для лучшего пищеварения предлагая создать легальную оппозицию. «Мысли и чаяния простого народа» [4, 572] не знают высших стремлений. Марсиане, если бы они обеспечили спокойствие, достаток и оставили телесные оболочки людей в покое, могли быть уверены в их лояльности.

Историю, содержащую столь горький и чуждый общественной российской мысли, всегда идеализирующей «народ», вывод, излагает в своих записках провинциальный учитель астрономии, бывший фронтовик. Этот антигерой беспокоится исключительно о том, выплатят ли ему пенсию, и о коллекции почтовых марок, а огорчает его лишь непутевое поведение дочери. К запискам не приложены никакие комментарии. Рассказчик компрометирует себя сам. В отличие от лагинской сатира Стругацких, еще более язвительная, демаскирует явления, не ограниченные ни государственными, ни конституционными границами.

Проанализированные произведения, особенно «Улитка на склоне», оказались на этом этапе творческого пути братьев пиком интеллекту-

альной и художественной отваги. Бескомпромиссный пессимизм, открытое признание слабости своей прослойки не повторятся. Стругацкие наконец дадут своим интеллигентным героям шанс на победу. Преодоление зла будет происходить при одновременном введении в повествовательную действительность сказочного элемента. Силой, нарушающей равновесие диктатуры, будет сверхчеловек, представленный скорее в условности сказки, нежели в условности НФ, но всегда ярко не соответствующий нашему жизненному опыту. Герой произведения может быть свидетелем его появления, может быть им самим.

Для этого Стругацким потребуется еще больше гражданской отваги. Они частично откажутся от художественных экспериментов, не будет элементов надреализма или поэтики абсурда (если не считать дописанного продолжения «Понедельника...»). Быть может, опасаясь утраты массового читателя и настроенного на удовлетворение массовых потребностей издателя, они прибегнут к сенсационной, приключенческой, молодежной традиции. В результате станут более прозрачными политические аллюзии и легко локализуемый сатирический адрес.

Действительность «Гадких лебедей» («Времени дождя») складывается из элементов, позволяющих разместить ее во времени и пространстве современного мира в соответствии с чувством здравого рассудка и ежедневности. Вот только конкретное название государства, во главе которого стоит «Господин Президент», является загадкой, которую можно попытаться разрешить, но найти конкретные доказательства правильности своих домыслов не удастся. Подобный эффект встречается в НФ, посвященной «параллельной истории». Элементы, явно намекающие на советскую современность, перемешаны с другими, указывающими другие адреса. С одной стороны, диктатура Президента имеет форму «культа личности» сталинского типа, но, с другой, опирается на «Легион Свободы», фашистских боевиков типа СА или «чернорубашечников» (но снова обмундирование в медные шлемы и золотые рубашки исключает тождественность с организацией, существующей исторически). Страна воевала (с гитлеровскими фашистами!), ход войны был следующий: катастрофическое поражение устаревшей, зато насыщенной политической жандармерией армии, частичная оккупация, освобождение и победа. Это история будто бы СССР — но затем эта война превратилась в гражданскую. Доказать, что это аналог советской действительности, не удастся. Но столь же трудно найти иной. Это могло бы быть южноамериканское государство, поскольку коммунистическая партия действует там нелегально, форма правления — президентская, поли-

цейские используют «харлеи», но как тогда объяснить тот факт, что власти здесь хотят непосредственно управлять литературой и искусством, литературная критика имеет соцреалистическую методологию, портреты рисуют с орденами (как в живописи пятидесятых годов) и запрещены труды Шпенглера. Перечисление только этих противоречий доказывает, что Стругацкие в описываемом мире так перемешали элементы реальной истории, чтобы на обвинение в антисоветских аллюзиях всегда нашелся контраргумент, но одновременно были видны и знакомые факты.

Действие происходит в небольшом городке, где случатся необычные события. Основной персонаж — вольнодумец и оппозиционер Виктор Банев. В молодости приверженец Легиона, отмеченный наградами фронтовик. После войны, отказавшись сотрудничать с политической полицией, вместо того чтобы занять ответственный пост, вынужден бороться за то, чтобы удержаться на плаву. В конце концов становится писателем. Модным, вызывающим, не в ладах с официальной критикой и поддерживаемой правительством поэтикой. Он «пережидает» в провинции, так как не поладил с самим Президентом, который взялся поучать его, как надо писать. В политическом отношении Банев является вольнодумным представителем элиты (явление, с конца пятидесятых годов известное в реальной истории СССР), в частном порядке — скандалистом и бабником, эстетически —личностью типичной.

В городке происходит что-то странное. Вокруг пригородного лепрозория для «генетических больных» ведут свои игры служба безопасности, Легион и армия, и в эти игры Банев, естественно, вмешивается. «Больные» вроде бы управляют погодой (несколько лет в городе идет непрерывный дождь), имеют парапсихологические способности, под их влиянием местные дети становятся гениями. В конце концов оказывается, что это новый могущественный вид человека с гигантским интеллектом и невообразимыми возможностями. Это сверхлюди, которые до такой степени освободились от животной части своей натуры, что даже питаются чтением книг (здесь в научную фантастику вторгается сказка)... В финале, скомпонованном в полном соответствии с правилами сказки, поочередно происходит следующее: как в истории о Крысолове из города уходят дети (в лепрозорий), из города в панике уезжают взрослые, исчезают «больные». Город «тает», а на его месте возникает Новый Мир, населенный детьми, чудесным образом повзрослевшими за одну ночь. Этот Мир не показан, так как является всего лишь символическим противопоставлением старому и убогому миру, стране Господина Президента — метафоре правительственной сферы темноты, глупости и зла, страны морального разложения.

Если не считать заряда аллюзий и большой дозы сенсационности (даже излишней — наблюдается перегруженность «мужскими» сценами драк и пьяных оргий, агентами контрразведки, характерными для американских детективов остроумными и полными намеков диалогами, все это слишком явно придавало повествованию пародийный характер) повесть содержала двойное интеллектуальное острие. Давние размышления эволюционировали у Стругацких в реальную, публицистическую концепцию особой роли выдающейся личности в современном обществе и гиперболическую, сказочную историософическую теорию «нелинейного прогресса», трактующую роль сверхчеловека в истории.

Сверхчеловека Стругацких не следует здесь понимать как существо, обладающее преувеличенными, интенсифицированными известными уже биологическими и общественными свойствами. Вряд ли можно его назвать также новым биологическим видом, ибо он является не продуктом эволюции, а результатом «перехода количества в качество», возникновения качественно новых умственных и биологических явлений. Именно поэтому он практически не описан в повести. Стругацкие нигде его не характеризуют, разве что показывая с помощью такого приема: «Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение» [8, 453]. В принципе он является некой логической фигурой. Можно сказать, чем он не является. Например, это не сверхчеловек, «находящийся за пределами добра и зла», который мог бы быть уполномочен на введение новой диктатуры — специально, чтобы исключить родство своей концепции с фашизмом, Стругацкие ввели фигуру Павора Суммана, маленького, этически гадкого человечка, питающего такие надежды и подозревающего «больных» в аналогичных планах.

С помощью качественного скачка должен свершиться также и общественный прогресс, так как новый человек создал бы общество по своим идеальным меркам, как мы создаем по своим, ущербным. В одной из многих дискуссий в повести говорится о фатальной судьбе общественных революций, которые в окончательном счете от предыдущих общественных структур наследуют зло, с которым боролись. Ибо, преодолевая преграды на своем пути, они вынуждены пользоваться силой, давлением, безнравственными методами и средствами. Революция в виде «качественного скачка» могла бы избежать этой необходимости, «так как построила бы новый мир без разрушения старого».

Предложенную в «Гадких лебедях» концепцию впервые не следует — по моему мнению — считать серьезно пропагандируемой мыслью, футурологией, философией истории. Это скорее компенсация, фантастическая победа исторического пессимизма, которая из-за своей сказочности, фантастичности в принципе является углублением такого пессимизма; это демонстрируется указанием на явную фальшь опровержения. Как принцип, с помощью которого в произведении использован мотив «сверхчеловека» [61], прежде всего наглядно показывает, иллюстрирует несовершенство человеческой натуры и возможностей — так и теория «нелинейного прогресса» служит главным образом обвинением в том, что известный нам исторический прогресс не является аутентичным.

Будучи скептиками в философии, Стругацкие не смогли, однако, сделать столь же последовательные выводы в политике. История сверхлюдей доказывает, что прогресс невозможен, а история Банева, что напротив — возможен. Ведь из принципа: «Общество является таким, каково духовное состояние его членов», можно вывести не только историософическое: «а значит, по-настоящему хорошо устроенное общество появится в тот момент, когда человек станет по-настоящему мыслить», но и более жизненно важное: «а потому каждая выдающаяся личность своим существованием выполняет позитивную общественную роль».

Баневу авторы позволяют многое, включая даже использование доноса. Все это не имеет значения по сравнению с тем фактом, что он является носителем уникальной, умноженной силой его таланта ценности: он умеет самостоятельно, без предвзятости воспринимать мир. Он нужен всем. Правительство хотело бы его «купить», фашисты — использовать для организации в прессе атаки на лепрозорий (шантажом его пытаются заставить опубликовать тенденциозную статью). Сверхлюди хотят его поддержать. Один из них, некогда известный социолог-оппозиционер, считает, что статья должна быть написана:

— Видите ли,— сказал Зурзмансор,— статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается [8, 451].

Банев возражает:

— Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами /.../ «вур-

далаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется,— возразил Зурзмансор.— Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду [8, 452].

Более того, бесконечно умный, абсолютный мудрец, сверхчеловек объясняет Баневу, что настоящее искусство — а он создает именно такое — в принципе никогда не может служить диктатуре:

— Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. /.../ Господин президент воображает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер [8, 454].

Избежать искушения «коллаборационизма» нелегко, часто даже небезопасно, но уже воздержание от этого, умение «остаться самим собой», является важным деянием, полезным для позитивного общественного изменения (как мы уже разобрались, философски невозможного?).

Трудно без доказательств признать этот умственный виток «Гадких лебедей» за голос в делах диссидентского движения — тем не менее такая концепция общественной роли интеллигента с точки зрения психологических потребностей участника этого движения была бы весьма отрадной. И объясняет такую концепцию разве что лишь желание увериться в том, что заранее обреченное на поражение действие, в принципе даже не действие, а отстаивание позиции, может иметь смысл. С прагматической точки зрения концепция является абсурдом. С этической — то же самое, странно, что моралисты-Стругацкие не сориентировались, что эта концепция окончательно приводит к оправданию осуждаемого ими этического релятивизма, валленродизма. В конце концов, является она чем-то неслыханно архаичным. А потому, кажется, ее источник следует искать в романтической идее творца, «через которого течет поток красоты, который не является красотой», если припомнить слова Зыгмунта Красиньского. При этом впечатление архаизма вовсе необязательно должен был почувствовать советский читатель, для которого романтический культ великих поэтов-пророков и убеждение в исключительной общественной позиции писателя по-прежнему было актуальным способом мышления.

Произведением, которое подводило итоги размышлений об общественной роли и моральных обязательствах мыслящей личности, стал «Обитаемый остров», одна из любимых моих книг в молодости. Когда-то я понимал его как замечательный рассказ о приключениях межзвездного Робинзона в удивительном и грозном инопланетном мире, в государстве, находящемся примерно на нашем уровне цивилизации, разоренном атомной войной.

Приключения Максима Ростиславского были увлекательными. Максим утратил свой корабль и оборудование, попал в своеобразный психиатрический центр, потом, познакомившись с капралом Легиона (войск для выполнения специальных заданий, опоры местной диктатуры Неизвестных Отцов), вступает в его ряды и принимает участие в акциях против оппозиции «выродков». «Не до конца» расстрелянный за отказ исполнять экзекуцию, попадает в террористическое подполье и взрывает так называемую «башню ПБЗ». Арестован и приговорен к каторжным работам. Бежит из лагеря, путешествует по джунглям и пустыням, населенным мутантами, снова подвергается аресту, во время атомной войны сражается в штрафном батальоне. Наконец возвращается в столицу, начинает работу в правительственном институте, одновременно ведет полулегальную оппозиционную деятельность. В финале повести взрывает Центр — передающую станцию излучения, которое, действуя на человеческий мозг, позволяет Неизвестным Отцам быть абсолютными властелинами (о чем он с удивлением узнает на каторге). При этом «путает карты» Павла Григорьевича, работника земной Галактической безопасности, законспирированного на планете в качестве Странника, шефа контрразведки Отцов, который несколько лет работал по спасению планеты.

Теперь я склонен обращать внимание на другие вопросы.

Тема «Обитаемого острова» в принципе является версией темы «Трудно быть богом» — упрощенной, трактуемой чисто формально. Земля, с которой стартовал Ростиславский, является той же коммунистической Землей, а Максим — таким же жителем утопии, как и Румата. Но Максима и Странника не связывают никакие «моральные принципы коммунистического человека», они не занимают по отношению к аборигенам «божественной» позиции. Стругацкие уже не считали себя обязанными закладывать в психику героев каких-то a priori выведенных из теории научного коммунизма свойств — мир и человек утопии в «Обитаемом острове» являются традиционными и только традиционными, то есть транспортом, способным к переносу любой проблематики; или даже

фоном действия. Видимо, двух лет писания фантастики, удаленной от НФ, и экспериментов хватило Стругацким для того, чтобы уже последовательно принять жанровую условность, к которой писатели обратились, еще когда писали «Стажеров».

Затем: парализующее излучение, оставаясь типичной идеей НФ, является также «сгустком» реальных опасностей.

> **Суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее. А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. /.../ Неизвестные Отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится [5, 508].**

Небольшая группа людей, на которых излучение не действовало, единственно самостоятельно мыслящие, составляли элиту: или правящую группу, или оппозиционное подполье. Беспощадно уничтожаемое, но одновременно связанное с Отцами многими нитями, и самое важное, намеревающееся не уничтожить, а позаимствовать передающую станцию излучения, «для воспитания масс в духе добра и взаимной любви» [52, 187]. А потому в повести складывается классическая, «земная» система политических сил: знающая правду правительственная команда, домысливающая правду, но беспомощная или деморализованная интеллигенция, равнодушные, оболваненные и управляемые массы. Появляется также любимая Стругацкими этическая дилемма: «Можно ли использовать в добрых целях аморальные средства?» Максим делает правильный выбор, несмотря ни на какие «но», совершая внешне бессмысленный, но единственно верный в моральном плане поступок. Один против всех, потому что даже землянин и коммунист Странник ликвидировать излучение, во всяком случае, пока, намерения не имел.

Максим, как и Кандид, решился на бой в безнадежной ситуации. И выиграл. Но благодаря тому, что по меркам планеты Саракш (и Земли двадцатого века) был сверхчеловеком, на которого, например, не действовало излучение. Заканчивается «Обитаемый остров» точно таким же, как и в «Гадких лебедях», мнимым и удручающим «хеппи-эндом».

И третье замечание. Старательное сравнение текстов двух вариантов повести свидетельствует в наших глазах о произошедшей на пере-

ломе десятилетий капитуляции писателей, того, что они были вынуждены покориться[62]. Между вариантом, напечатанным во втором квартале 1969 года в ленинградской «Неве» и книжным изданием существуют значительные различия. Меня не интересуют в этом смысле те, которые возникли из-за очевидного сокращения текста повести в журнале, куда не вошли 15–17 главы книжного издания, описывающие приключения среди мутантов, контакт с белой субмариной и войну (не вошли и некоторые другие фрагменты, например, связанные с важным для последующих повестей авторов сюжетом о голованах). Зато первоочередное в этом контексте значение имеют те места, которые в журнальном издании были, а в книжном их нет, и то, что в нем изменено по сравнению с первой версией.

Прежде всего, русские Ростиславский и Павел Григорьевич (Странник) стали Каммерером и Рудольфом — немцами, которым можно «простить» больше. Таким образом были предупреждены предсказуемые упреки в несоответствии этих персонажей коммунистическому видению героев будущего. В варианте I Ростиславский прямо называл себя коммунистом — в варианте II этот фрагмент исчез. Во-вторых, и это уже серьезно обеднило смысл произведения — в варианте II исчезли все слишком ясные упоминания (вроде процитированных выше) о возможности использования излучения иными, нежели фашистские, силами. Критицизм повести потерял универсальность, упрощению подверглась и моральная проблематика, так как в ситуации, когда никто не имел намерения использовать в добрых целях подлые средства, последний поступок Максима действительно стал всего лишь мальчишеской партизанщиной, как его оценивал Странник[63].

*

Логическим дополнением к рассказу о «крестовом походе» Стругацких будет пара слов о том, как их книги попадали к читателям и как ими принимались. Но вначале следует вспомнить о некоторых особенностях издания и восприятия художественной литературы в СССР.

Первой, признаваемой полноправной, публикацией часто бывало издание всего произведения в так называемом «толстом журнале» (вроде «Современника», «Октября», «Невы»), органе Союза Писателей или издательства. Это ничем не мешало книжной публикации.

Также существенно отличалось, если сравнить с нашей издательской действительностью, разграничение пределов ответственности редактора и цензора. Советские издатели имели большую, чем наши, сво-

боду решения и больше могли потерять — а потому обычно сами исполняли цензорские функции. Но могли и рискнуть. Окруженный мелочной опекой цензора польский редактор такой возможности не имел. Следует также помнить, что окончательное решение об изданиях и у нас, и в СССР принимали органы партийной и государственной администрации. Однако их вмешательство наступало обычно уже после печати и даже после распространения произведения.

И может быть, самым удивительным для поляков отличием было существование в СССР не двух, а трех «круговоротов» литературы. Помимо официальных и запрещенных изданий (эмигрантские издательства, «самиздат» политического характера, ксерографические копии и подделки государственных изданий художественной литературы) в условиях огромного и неудовлетворенного рынка изданий существовало почти легальное или полулегальное обращение машинописных копий. Таким способом не только выписывали себе понравившиеся фрагменты прозы или стихи, но переписывали и переплетали целые книжки, обладание которыми не запрещалось, если только они не были объектом торговли (что нарушало финансовые и налоговые законы). Любительские издания такого типа были весьма популярны среди любителей НФ. Так расходились не только неизданные или редкие произведения, но и любительские переводы иностранной литературы.

Наиболее удачно сложилась судьба «Второго нашествия марсиан». В январе 1967, вскоре после окончания работы над ним, произведение вышло в двухмесячнике Союза Писателей Бурятии, в выходящем в Улан-Удэ «Байкале». Правда, сам факт того, что для известных уже авторов не нашлось места на страницах менее провинциальных изданий, говорит кое о чем, но причиной этого было не содержание самого произведения, а неприязненная по отношению к писателям атмосфера в Москве. После прекращения полемики, вызванной атакой Немцова, весь 1966 год редакции не удостаивали их вниманием. Следующий же год, может быть, благодаря переизданию «Возвращения», оказался более счастливым.

«Нашествие...» было снабжено предисловием, в котором редакция, объяснив и обосновав странную художественную форму использованием «традиционных элементов социально-фантастического жанра /.../ гротеска, гиперболы, сатиры», пыталась дополнить произведение содержанием, которое в нем, по сравнению с «Майором Веллом Эндъю», отсутствовало:

Повесть Стругацких имеет жесткую ориентированность — ее острие направлено против буржуазных обывателей, готовых принять и приветствовать любую диктатуру, любую самую противоестественную государственность при условии сохранения внешней благопристойности и уважения к жирной ряске их добропорядочности. Сегодня они принимают напалм, ведь это где-то там, далеко, и эмалевая полировка их холодильников, слава богу, от этого не страдает, а завтра обыватели примут концлагери... /.../ Их [то есть Стругацких] марсиане — это вчерашние фашисты, сегодняшние берчисты и куклускласновцы, это — голдуотеры, и им подобные [97].

Книжное издание вышло через полгода. «Молодая гвардия» выпустила тиражом 100 000 экз. великолепную, оригинальную книжечку, содержащую «Нашествие...» и «Стажеров». Во вступлении говорилось об идейном сходстве произведений, и его можно считать попыткой доказать благонадежность Стругацких. Непосредственной реакции рецензентов — если не считать полемических выпадов в «Огоньке» и «Журналисте» — не было.

Так же, без больших перипетий — если не считать изменений в тексте — получил читатель повесть о Каммерере-Ростиславском. Хотя к ней, подтверждая непроходящее свидетельство пословицы «Ударь в стол, ножницы отзовутся», некоторые критики имели претензии: «То вдруг пускаются в чрезвычайно путаные, странные рассуждения о крайней вредности для народа единого политического центра» [107].

Два других произведения будут иметь иную судьбу. Написанные с мыслью о нормальной публикации, в 1967 г. анонсированные авторами в прессе [18], «Гадкие лебеди» за четыре года так и не найдут своего издателя. После того же, как в начале 70-х разошедшаяся по стране машинописная копия повести будет вывезена (видимо, без ведома и согласия авторов) на Запад и опубликована в эмигрантском издательстве «Посев» во Франкфурте-на-Майне, об официальной публикации в СССР нечего было и мечтать. Лишь в 1987 году, под названием «Время дождя» рискнет напечатать эту повесть с продолжением в журнале «Даугава» тогдашний редактор этого журнала, известный писатель-фантаст Владимир Михайлов. До тех пор она будет обречена на самиздат и чаще всего будет трактоваться как политический памфлет с подтекстом. Рассуждали, что господин Президент — это карикатура на Хрущева, а прототипом Банева является Владимир Высоцкий. Для этого последнего допущения авторы дали непосредственный повод, вложив в уста Банева песню этого актера и барда. Естественно, в критике ничего этого

прочесть было невозможно, поскольку по поводу «Лебедей» она хранила глухое молчание.

Оригинально сложилась судьба «Улитки...». Эпизоды с Кандидом, как отдельная часть, были включены в сборник «Эллинский секрет», которым в 1966 году ленинградское издательство «Лениздат» открыло новую серию (просуществовавшую недолго) ежегодно (как «Фантастика») издаваемых антологий. Издатель эпизодов с Перецом нашелся лишь спустя два года. Публикация в 1 и 2 номерах «Байкала» за 1968 год закончилась скандалом. Произведение, правда, не было включено в список запрещенных, и его можно было найти в больших библиотеках, но переиздали «Улитку» впервые и в объединенном виде лишь в сборнике «Волны гасят ветер» в 1989 году.

«Улитка на склоне» была единственным из этих четырех произведений, широко обсуждаемым в критике. Но здесь есть одна тонкость. После публикации первой части рецензенты смущенно молчали о ней и наверняка молчали бы и дальше, если бы одновременно с окончанием публикации в «Байкале» Стругацкие не «подкинули» напечатанную в журнале «Ангара» «Сказку о Тройке». Эта сатирическая повесть как бы стала сигналом для атаки на «Улитку...» по тому же самому принципу, по какому только «Хищные вещи века» сделали возможной попытку дезавуировать «Далекую Радугу», «Попытку к бегству» и «Трудно быть богом».

Первая версия четвертой «истории» приключений Привалова была написана или в перерыве работы над «Гадкими лебедями» или же незадолго до ее окончания в период с марта по май 1967 года. И сразу же начала ходить по стране в рукописи. Лишь в конце этого или начале следующего года второй вариант повести был принят в печать. Это был немалый риск! Стругацкие осмелились высмеять профессиональных, номенклатурных политиков — неважно, что речь шла о скомпрометированных сталинских деятелях. К тому же «Сказка о Тройке» вместо того, чтобы использовать «серьезную» сатиру, сохраняющую уважение, и «обоснованную» критику, была полна чистого, фарсового комизма, карикатур и ехидства, что атакуемый переносит хуже всего и что имеет плачевные результаты, если атаке подвергается власть.

В «Сказке...» предложена несложная фабула: в здании НИИЧАВО исправили лифт. И теперь можно подняться на 76-й этаж, где находится древний сказочный город Тьмускорпионь, а в нем — Колония Необъясненных Явлений (напр., снежный человек, пришелец, пытающийся

отремонтировать свою «летающую тарелку», говорящий клоп и т. д.). К сожалению, власть там захватила некогда похищенная лифтом комиссия, которая должна была обследовать канализацию в институте. В качестве Тройки по Рационализации и Утилизации Необъясненных Явлений она занимается вытекающей из названия деятельностью, рассматривая в административном порядке отдельные «дела». В состав Тройки входят:

— Рудольф Архипович Хлебовводов. «По образованию — школьник седьмого класса. /.../ Профессии как таковой не имеет. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее... Всего в сорока двух странах. Везде хвастался и прикупал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанная на принципиальной глупости, а также на неутолимом стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов» [5, 301]. Тип бюрократа — «номенклатурного человека». «Лично — никогда» [5, 302] не крал и не убивал.

— Фарфуркис. «Образование высшее. /.../ Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии» [5, 302]. Аморальный прихлебатель и лгун. Тип продажного интеллигента-эксперта.

— Лавр Федотович Вунюков. Председатель. Авторы не дают его непосредственной характеристики. Используя в описании его внешности такие эпитеты, как «каменное лицо», «деревянный голос», «тяжелые веки», авторы делают его как бы обобщением пропагандистских образцов партийных руководителей. А тем, что Лавр Федотович курит любимый табак Сталина — «Герцеговину Флор», Стругацкие подсказывают читателю особенно иконоборческое сравнение.

Состав уважаемого «органа» дополняют комендант Колонии Зубо и научный консультант, известный нам Выбегалло. Власть Тройки обеспечивает Большая Круглая Печать, магической силой немедленно воплощающая в жизнь принятые решения. Вот пример ее действия:

Искусанная комарами Тройка вершит месть над очередным «необъясненным явлением» —

> обширным болотом, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки. /.../ Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой дела номер тридцать восемь под названием «Коровье Вязло» исключительной опасности для народа, под-

вергнуть данное дело высшей мере рационализации, а именно: признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно, реально не существующим и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт [5, 295].

Через некоторое время исполняющий обязанности водителя Тройки Привалов пытается проверить дорогу на карте окрестностей и видит, что

болота «Коровье Вязло», которое распространялось ранее между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики [5, 296–297].

Неправда ли, очень напоминает бессмысленность знакомой нам информационно-пропагандистской политики? В «Сказке...» довольно много подобных аллюзий, насмешек над сопровождавшим нас много лет абсурдом. Только следует помнить, что написано и напечатано это было за много лет до того, как абсурд был признан абсурдом.

Привалова с товарищем отправляют в Тьмускорпионь в качестве разведчиков. Они посещают заседания Тройки, пытаются применить реморализатор, то есть устройство, которое должно разбудить в чинушах хотя бы искру этики и разума. Успех этого предприятия половинчатый, поскольку усыпленный интеллект хотя и удается иногда «включить», но с нравственностью дела обстоят неважно, потому что у пациентов ее заменяют «бюрократические инстинкты». Наши герои, отравляемые испарениями тупости, уже близки к тому, чтобы сломаться и всерьез включиться в работу Тройки, когда их спасают прибывающие вдруг из Института начальники, которые и прогоняют «канализаторов».

В этом произведении не так важно было действие и даже ход рассмотрения отдельных «дел». На самом деле роль играло лишь то, кто как себя вел и каким языком разговаривал. Информацию о том, на что следует обратить внимание, читатель получал уже при первой встрече героев с ожидающим остальных членов Тройки в зале заседаний Зубо:

Комендант, не спуская с нас напряженного взора, вылез из-за своего столика, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Вежливый Эдик, слабо улыбнувшись, пожал эту руку и представился, после чего отступил на шаг и поклонился снова. Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с

огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло.

— Документы! — прошипел я.— Документы ему дай!

Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил. Действия его вновь стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала заявку, потом фотографию на документе, а на закуску — самого Эдика. Сходство фотографии с оригиналом привело его в очевидный восторг [5, 212].

Мы видим, как с помощью явного гротеска в короткой сценке скомпрометирован и высмеян повсеместный обычай и одновременно наиболее глубинные черты общества, в котором о человеке прежде всего свидетельствует удостоверение личности.

Излюбленным и самым мощным, как я полагаю, сатирическим эффектом обозначены места, в которых персонажам позволялось высказывать и использовать в совершенно неподходящем контексте излюбленные пропагандистские выражения и обороты. Представьте, как обижены были те, кто термины «благо народа», «буржуазный либерализм», «абстрактный гуманизм», «научно-административные методы», «волюнтаризм», «субъективизм», «борющаяся молодежь», «политическое преступление» использовал в семидесятых годах и ранее — ежедневно и серьезно (или же чтил традиции так же именуемых «тройками» революционных трибуналов). Номера «Ангары» с «Тройкой...» не были официально доступны. Название произведения не упоминалось в библиографиях и каталогах, и вспоминали о нем до последнего времени разве что полушепотом. «Сказка о Тройке» в 1972 году также была опубликована на Западе и, несмотря на существование официальной журнальной публикации, долго оставалась в самиздате. Лишь в 1987 г. ее перепечатала «Смена».

Авторы хватили через край. Власти Бурятской АССР решили изгнать непрошеных гостей. Важнейшая там партийная «Правда Бурятии» опубликовала статью, квалифицирующую последнюю работу Стругацких как антисоветскую, а редакции «Байкала» и «Ангары» были наказаны. Цель была достигнута, братья уже никогда ничего на этой территории не опубликовали (в семидесятых годах в качестве аварийного места печати им служил таджикский «Памир»). Но и «Правда Бурятии» стала посмешищем. Через несколько месяцев в Москве, в журнале Союза Писателей «Новый мир» была организована сокрушительная защита «Улит-

ки на склоне» («Сказке...» уже наверняка ничто не могло помочь). Большая рецензия А. Лебедева стоит того, чтобы ее здесь обильно процитировать и показать, сколь жестким был способ ведения полемики, а также представить особенности логической гимнастики, которую пришлось тогда использовать:

Два главных героя повести, они недоумевают, и ужасаются, и стараются как-то разобраться в закономерностях этого незакономерного мира, в котором все перепутано: то, что бывает, с тем, что не должно быть, а то, чего не может быть, с тем, что, того и гляди, будет. Этот мир соткан из самых разноречивых тенденций общественного бытия. Это невероятный мир. Это мир разного рода общественных потенций, порой весьма мрачных. Перед нами как бы эмбрионы тех или иных вероятностных феноменов будущего — того будущего, которое возможно, если дать этим эмбрионам развиться. /.../ ...небезынтересно будет, наверное, вспомнить, что еще Чернышевский настаивал на важности разделения всех стремлений на стремления и потребности «действительные, серьезные, истинные» и стремления «мнимые и фантастические», которые не имеют оснований в «естественных потребностях» человеческой натуры. /.../ Конечно, с устранением «фальшивой обстановки» подрывается база и у «фальшивых желаний», но сами собой они при этом не исчезают. С ними надо бороться, ибо и сами они борются за свое осуществление. И вот в этом-то случае художественная фантастика подчас может оказаться тем более реалистичной, чем «фантастичнее», как говорил Чернышевский, те элементы реально существующей фальши, о которых она рассказывает и вероятностную проекцию в будущее которых она нам представляет. Вот зачем этого рода литературе нужны ее «фантастические» одежды — форма соответствует содержанию, этих «одежд»... /.../

Кто со спокойной совестью ныне захочет отрицать, что нет на нашей планете «такого мнения», как пишут Стругацкие, согласно которому, «чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности... /.../ Все зависит от того, как понимать прогресс» [Цитата из «Улитки...» — 4, 334–335]. /.../

Да, «закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали», история сама по себе не имеет цели. Но вот люди, которые «делают историю»,— не вне морали, и они имеют цель. Важно, чтобы цель была правильная. Но ведь даже и в том случае, когда цель избрана правильно, бывает, случаются и разного рода уклонения от пути к этой правде, бывают искажения на этом пути. Бывают? Бывают. И тогда важно, чтобы эти уклонения и искажения не заслоняли бы собой и путь к

цели, и самую цель. Новая повесть Стругацких вызвана к жизни этой заботой. Не праздной. Ибо существуют, как видно, различные, порой противоположные, представления о том, что же следует считать нормой, нормальным ходом жизни, а что — отклонением от нормы. Для героев новой повести Стругацких, скажем, действительность, окружающая их,— фактически ненормальна. Но встречаются, оказывается, и такие еще представления о жизни, согласно которым ненормально как раз именно подобное [как у героев Стругацких — *В. К.*] отношение к изображаемой в повести фантастической действительности! Фантастика провозглашается реальностью, нормальная жизнь подменяется нормальной фантастикой. Обстоятельства, которые, согласно Стругацким, не имеют право на развитие, противоестественны,— эти самые обстоятельства вдруг ни с того ни с сего прочно прописываются не где-нибудь, а в нашем социалистическом обществе, объявляются чуть ли не характеристическими для него!

«Это произведение, названное фантастической повестью, является не чем иным, как пасквилем на нашу действительность. Авторы не говорят, в какой стране происходит действие, не говорят, какую формацию имеет описываемое ими общество. Но по всему строю повествования, по тем событиям и рассуждениям, которые имеются в повести, отчетливо видно, кого они подразумевают»,— пишет в газете «Правда Бурятии» (19 мая 1968) В. Александров.

На каком же основании делается это допущение, по каким характерным чертам совмещает В. Александров фантастическую реальность Стругацких с реальностью, им обозначенной? А вот по каким: «Фантастическое общество, показанное А. и Б. Стругацкими в повести «Улитка на склоне»,— пишет В. Александров,— это конгломерат людей, живущих в хаосе, беспорядке, занятых бесцельным, никому не нужным трудом, исполняющих глупые законы и директивы. Здесь господствует страх, подозрительность, подхалимство, бюрократизм».

Вот те на! Поистине фантастическая аберрация! Что же, выходит, все эти явления и признаки и есть то «типическое», что сразу же дает право рассматривать любую фантастику, если она включает в себя подобные элементы, как некий «слепок» с нашей действительности? Хороши же у товарища В. Александрова представления об обществе, его окружающем, ничего не скажешь... /.../

У нас по справедливости много пишут — особенно в последнее время — о необходимости всемерного развития искусства, романтически окрыленного, проникнутого пафосом романтической мечты, романтической устремленностью в будущее. Эти энергичные призывы к всемерному развитию такого рода искусства совершенно закономерны сейчас у нас. И утверждение мечты о прекрасном будущем, романтического порыва вперед и вверх находит себе необходимое дополнение в развенчании тенденций, претендующих на историческую правомерность и

романтический ореол, но несовместимых с идеалом научного коммунизма [103].

Оставим в стороне отчетливо видимый в процитированном тексте прекрасный пример полемического приема, который можно назвать «валянием дурака», с помощью которого проигрывается львиная часть процессов о диффамации. Лебедев не написал ничего кроме того, что «Улитка на склоне» (а значит, и другие подобные произведения) является атакой не на социализм, а на его искаженную, догматичную, тоталитарную, сталинскую форму, и что книга важна в политическом смысле, поскольку направлена против современных, сегодняшних сталинистов, которые, в свою очередь, атаками на нее проявляют свое существование и доказывают собственную живучесть. Только писал он это так, чтобы непопулярный уже термин «сталинизм» не высвечивался явно. Заметим также: упоминаемые в последнем абзаце два типа фантастики вновь придают политическую окраску специализированному, литературно-теоретическому спору о назначении и сущности научно-фантастической литературы.

Это было сделано не случайно. В общественно-политической атмосфере, возникшей в СССР в 1968 году, провозглашение тезиса о том, что НФ должна создавать образ светлого коммунистического будущего, было в некотором роде манифестацией лояльности и полного удовлетворения современными порядками. Противоположный же тезис, о том, что НФ может создавать полезные для анализа действительности «модели», строить «увеличительные стекла», позволяющие рассматривать разнообразные явления, не мог не вызывать подозрений, что он является попыткой теоретического обоснования права писателей на использование «эзопова языка», а значит, права на критику status quo, которая вряд ли проскользнула бы через цензорское сито в чистом виде.

Кто в те времена мог быть недовольным? Уж наверняка не неосталинистские ортодоксы...

Книгам Стругацких вновь было суждено оказаться в центре многоуровневого и полного подтекстов литературно-критического спора. В полную силу он разгорелся годом позже, когда «Литературная газета» начала на своих страницах дискуссию о фантастике, которая продолжалась несколько месяцев. Если не считать единичных неспециалистов с устаревшими взглядами, по-прежнему видевших в фантастике лишь беллетризованную популяризацию науки и техники, а также оди-

ноких предшественников современных теорий, рассматривающих НФ как массовое развлекательное искусство (обращала на себя внимание статья критика из Перми [114]), столкнулись два направления: признанный и еще совсем недавно революционный взгляд, видящий в фантастике жанр, истребованный для презентации правдоподобных образов коммунизма, или же предостерегающую антиутопию, с одной стороны, и концепция фантастики как литературного приема безо всякой мимикрии, метода, который может служить различным целям. Эта теория с тех пор, когда ее пропагандировали почти исключительно Стругацкие, а особенно с 1967-го года, когда вышла очень хорошо написанная критическая книга Г. Гуревича «Карта страны фантазий», окрепла и обросла подробностями.

Первой значимой закономерностью дискуссии было то, что сторонники утопии неизменно демонстрировали свои политические взгляды и использовали их в качестве аргументов. Например, В. Свининников, автор статьи «Блеск и нищета философской фантастики», осуждающей целиком и полностью все книги наших героев, начиная с «Далекой Радуги», уже заглавием и во вступлении напоминал все основные принципы соцреализма в их части, касающейся служения писателей общественным классам. А другой тезис: о том, что косвенное или непосредственное указывание советским писателем на образ светлого будущего является патриотической обязанностью, так как в период всеобъемлющей идеологической войны двух систем враг использует любой пример отсутствия веры,— явно или менее явно обозначенный, можно было обнаружить в большинстве статей этой ориентации. Как доказательство сомнения рассматривался каждый присутствовавший в конкретном произведении мотив зла, если только рядом не было сказано, что это зло свойственно анклаву буржуазного будущего. (У консервативных критиков не укладывалось в голове, что фантастический мир произведения может быть чем-то иным, нежели утвердительным футурологическим видением, если только действительность представленного мира нельзя было явно разместить в настоящем или прошлом.) Такого мнения были: социолог И. Бестужев-Лада, А. Белоусов, А. Казанцев, Н. Высоков, К. Замошкин, не считая нескольких читательских писем и небольших статей.

Приглашенные к дискуссии Стругацкие от своих давних взглядов, естественно, не отказывались, но большее внимание уделили объяснению своего творчества, нежели постулатов. Поднимали флаг «философ-

ской», «социально-философской», «интеллектуальной» фантастики на этот раз писатели: Г. Гор, В. Шефнер, А. Громова, экономист З. Файнбург и критик Рафаил Нудельман.

Красной нитью их выступлений была мысль о принципиально ином, нежели в искусстве, «отражающем жизнь в формах самой жизни», отношении фантастической действительности произведения к реальному миру. То, что фантастический мотив не наследует действительность, не отражает ее, а лишь обозначает или даже дополняет, в те времена было новой мыслью для советского литературоведения. Фантастический мир, по мнению этих участников дискуссии, является миром овеществленных идей, символов, понятий, логических фигур, с помощью которых писатель участвует в решении важных вопросов современного мира, получая возможность таким способом сказать о них что-то иное или больше, чем писатель-реалист. Например, по мнению Г. Гора, он может сказать что-то новое о человеке:

> Если оставить в стороне философскую прозу, бытовая и психологическая проза не ставит перед собой целью изображение универсума и универсального. Наоборот, она чуждается универсального, а изображает не космос, а квартиру, бытового и обыденного человека, а не человека-мыслителя, человека-философа, человека-творца, человека универсальных знаний и стремлений [108].

По мнению Гора и Шефнера, фантастика трактует реальную действительность подобно поэзии, и фантастический образ обозначает конкретные явления только так, как «обозначает» их символ: «...если величие пресловутого айсберга в том, что наблюдателю видна только восьмая его часть, то величие фантастики в том, что ей виден весь айсберг» [111]. В то же время Громова и Нудельман воспользовались понятиями нового советского литературоведения, определяя научную фантастику как литературу, пользующуюся «научно-романтическим» творческим методом. Первая часть сложного слова указывала на подобие способов подхода к жизненной эмпирии писателя НФ и ученого, вторая — на полный или частичный отказ от использования отражения «форм самой жизни». Научно-фантастическое творчество заключается в «мысленном эксперименте и моделировании явлений» [113], с помощью этих логических инструментов конструируются данные «возможные миры». Ни одна из реально существующих действительностей этим мирам не соответствует, но с их помощью можно осуществлять жизненно важный анализ. Например, таких политических течений, как фашизм (как та-

ковой, а не немецкий, итальянский и т. п.), который лишь в таком фантастическом мире может существовать в «чистом состоянии». Или же проблем современного мира, таких как перенаселение, кибернетика, последствия промышленной революции...

Конечно, вышеупомянутым способом можно также популяризовать технические и общественные изобретения, но Громова и Нудельман решительно ратовали за то, что следует решать наболевшие вопросы, обвиняя сторонников утопии (возможно, не без основания) в том, что они отвлекают внимание читателей от мира вокруг.

С таких позиций предпринимались попытки защитить Стругацких, доказывая, что, поскольку в фантастических образах, как в математических моделях и в научных идеализациях, принципиально не следует искать непосредственного отражения реальности, а братья занимаются некоторыми общими проблемами (фашизм, буржуазное сознание и т. д.), то ни в коем случае «произведения не касаются и не могут касаться какой-либо реально существующей страны» [113]. Однако эта защита могла увенчаться успехом лишь в том случае, если бы наши герои воздерживались от упоминания советских реалий. Когда «Ангара» рядом со «Сказкой...» поместила статью того же Нудельмана с подобными тезисами, Свининникову было достаточно процитировать два коротких фрагмента, чтобы доказать, что язвительность Стругацких имеет конкретный адрес. Более того, как я уже упоминал, ортодоксы считали, что даже если текст оперирует реалиями, которые нельзя определенно оценить как искривление советских отношений, то в случае отсутствия ясно определенного адреса: «империализм», произведение является «подозрительным» — ведь читатель может попытаться «привязать» героев повести к той или иной «социальной географии» [107].

«Теоретико-литературная защита» в случае Стругацких не имела никаких шансов на успех и, как это обычно бывает с выводами, имеющими «защитный», «эзоповский» характер, страдала логическими ошибками. Но «поднять забрало» отважился только З. Файнбург. Он прямо признал, что братья атакуют реальные явления, существующие и в Советском Союзе, и что к их творчеству следует относиться благожелательно, поскольку эти явления объективно заслуживают критики. Он усматривал в творчестве авторов «Трудно быть богом» борьбу с «буржуазными пережитками сознания» (опять необычайно емкий термин), естественно, встречающимися в СССР, ссылался на известную статью Ленина «Детская болезнь "левизны"...».

Глава V

ПЕРЕГРУППИРОВКА

Капитуляция Стругацких в конце десятилетия — Серьезные трудности у братьев в первой половине семидесятых годов — Еще о капитуляции перелома 1968/1969: отказ от гротеска, возврат к научной фантастике и другие подробности новой, «заменяющей» писательской программы — Можно ли научиться критическому мышлению, если писать о пришельцах? Некоторые особенности популяризации достижений науки в СССР семидесятых годов — Советские критики о фантастике в восьмом десятилетии; так называемый «кризис фантастики», окончательное поражение утопии и распространение в России условности НФ —— «Человек и пришелец», или «человек перед Чудом» — все о новой, педагогической программе Стругацких — Попытки реализации: «Отель "У Погибшего Альпиниста"», «Парень из преисподней» — Следующая попытка: «Малыш» — Чтобы достичь успеха, «чудо» должно убеждать — эксперименты Станислава Лема и «Пикник на обочине» — Анализ «Пикника...», победа братьев —*— Как Стругацкие писали «в стол», или «Град обреченный».*

Нападки в прессе 1969 года были уже «пинанием лежачего». Сделанные писателями, скорее всего, в это время изменения в тексте «Обитаемого острова» и нежелание дальше скандалить, проявленное в написанной в начале этого года повести «Отель "У Погибшего Альпиниста"», показывают, что Стругацкие уловили изменение политической ситуации, сориентировались в том, что открытое (в советских условиях) следование реформаторским, оппозиционным и воспитательным стремлениям несовместимо в дальнейшем со статусом легальности. А терять этот статус они не хотели...

Поэтому им пришлось отказаться от занятий политикой, отречься от демонстративного вольнодумства, что — как обычно бывает — на художественный уровень их продукции с начала семидесятых годов повлияло как в худшую («Отель "У Погибшего Альпиниста"», «Малыш», «Парень из преисподней»), так и в лучшую сторону («Пикник на обочине», «Град обреченный»). Следует предположить также, что при этом они понесли существенные личные издержки. Но ставкой было спасение собственного творчества для читателя страны — вообще возмож-

ность остаться в стране! При этом эмиграция на Запад для людей, столь глубоко насыщенных российской культурой, скорее всего, не была привлекательной; поражение же в правах — возможность оказаться в психиатрической лечебнице, в тюрьме, в ссылке — не привлекает никого. А перед слишком упрямыми открывались именно вышеперечисленные и очень реальные перспективы.

Но и в этом случае, несмотря на смягчение позиций писателей, чуть не дошло до катастрофы. В номере 50/1972 «Литературной газеты», на девятой странице появилась напечатанная курсивом заметка в двадцать четыре строчки:

В редакцию «Литературной газеты»

Как нам стало известно, антисоветское издательство «Посев» опубликовало недавно нашу фантастическую повесть «Гадкие лебеди». Эта акция, проведенная без ведома и согласия авторов, явно преследует провокационные политические цели и являет собой образец самого откровенного литературного гангстеризма. Мы категорически протестуем против использования нашего творчества упомянутым издательством. Мы с полной определенностью заявляем, что не желаем иметь с названным издательством ничего общего. Мы самым решительным образом требуем, чтобы подобные акции политического шантажа, мешающие нашей нормальной работе, не повторялись впредь.

А. Стругацкий
Б. Стругацкий
члены СП СССР
8 декабря 1972 г. [22]

Подоплека этого издания довольно таинственна. Авторы настойчиво утверждали позже, что рукопись переслал за границу «какой-то мерзавец» [47]. Но это не исчерпывает сущности дела. Поскольку, если отречение от участия во франкфуртской публикации не удивляет, то как вручение рукописи «мерзавцу», так и совершеннейшая беспечность эмигрантского издательства (а наличие обоих этих фактов логически вытекает из версии Стругацких) уже гораздо менее правдоподобны. Оказание писателям такой «медвежьей» услуги было бы со стороны курьера действительно проявлением необычайной подлости, а кроме того, это был бы огромный риск для издательства, которое такими поступками могло бы утратить доброе имя и получить дурную славу опасного в отношении... советских диссидентов. Может быть, ближе к истине возможное параллельное и безусловно согласованное со Стругацкими приготовление эмиграционного издания вместе с публикацией в СССР. Если бы

эмиграционное издание вышло вскоре после публикации в Союзе (как это было в случае со «Сказкой о Тройке»), то переправка книги на запад была бы осуществлена без риска для ее авторов. К несчастью, публикация в советском издательстве затянулась настолько, что западное издание вышло не после, а перед (в результате так и не состоявшимся) советским. Конечно, возможны и другие сценарии этого события[64].

Однако, как бы это ни случилось, Стругацкие оказались в затруднительном положении. Публикация в эмигрантском издательстве обычно была решающим шагом на пути к выезду, исключению из Союза Писателей и даже к судебному процессу. Благодаря вышеприведенному письму дело ограничилось запретом (возможно, неофициальным) на печать книг в течение двух лет, когда Аркадию удалось опубликовать под псевдонимом космическую сказку «Экспедиция в преисподнюю», статью об Акутагаве Рюноскэ и — видимо, лишь с целью заработка — на страницах прессы целых два текста, пышущие ортодоксальным соцреализмом [24 – 27].

Лишь в ноябре 1974 года атмосфера вокруг писателей потеплела настолько, что доброжелательный по отношению к ним (в нем были опубликованы две повести еще до скандала) ленинградский ежемесячник «Аврора» начал публикацию «Парня из преисподней», а о настоящем переломе в напряженных отношениях с журналами можно говорить лишь с момента возобновления Стругацкими в 1976 году сотрудничества с ежемесячником «Знание — сила», который когда-то печатал их первые произведения.

А вот с издательствами братьям не везло до самого конца семидесятых. В этом десятилетии, если не считать счастливых изданий «Обитаемого острова» (1971) и «Малыша» (1975) в московском и ленинградском отделениях «Детской литературы», не вышла в СССР ни одна их новая книга, плохо было и с переизданиями. «Вина» интенсивно работавших писателей была тут минимальной. Характерной представляется судьба сборника «Неназначенные встречи» в «Молодой гвардии», который вышел в 1980 году, спустя восемь лет после того, как авторы сдали рукопись в издательство [48, 60].

Это издательское невезение Стругацких частично было результатом иных, нежели гнев оскорбленных властей предержащих, причин. Попросту после 1968 года наступил момент, когда столь ценимый ранее вид литературы был предоставлен самому себе. Партия Брежнева хоть и не отказалась в полный голос от обещаний достичь в восьмидесятых годах коммунизма, тем не менее не была заинтересована в продол-

жении хрущевских пропагандистских предприятий, особенно на таком маргинальном участке. Генеральный результат отсутствия централизованной поддержки выразился в двукратном по сравнению с шестидесятыми годами уменьшении количества издаваемых книг НФ в интересующем нас периоде[65]. Стругацкие оказались в более тяжелой ситуации потому, что хотя по-прежнему относительно легко можно было издать фантастику для детей (в издательстве «Детская литература») и технологическую (издательство «Знание»), а в освоении переводных произведений даже был достигнут прогресс, в 1969 году после ликвидации тогдашней редакции научной фантастики в «Молодой гвардии» оказалось, что смелую НФ, в которой специализировались братья, печатать некому.

Не лишенный политической окраски уход Жемайтиса и Клюевой, замена их сначала Юрием Медведевым, а позднее Владимиром Щербаковым имела такие последствия: сначала количество издаваемых фантастических книг катастрофически упало — за всю вторую половину семидесятых издательство опубликовало немногим больше десятка позиций[66]. Даже альманах «Фантастика» перестал выходить регулярно. В начале же девятого десятилетия, когда продукция редакции достигла количественного уровня лучших времен, оказалось, что прежний состав авторов заменен новым. Добавлю, что в то же время в кругу любителей фантастики распространилось мнение о шовинистическом, великорусском и антисемитском облике «Молодой гвардии». Если это правда — а из других источников известно, что антисемитизм, традиционно сильный на Украине и в России, после 1967 г. (разрыв дипломатических отношений с Израилем) еще больше вырос,— то на издательские несчастья Аркадия и Бориса Натановичей можно посмотреть еще с одной точки зрения.

Наконец, нужно вспомнить о факторе, который в интересующий нас период также оказывал влияние (хотя, может быть, не самое большое) на профессиональную ситуацию Стругацких: на столь резко уменьшенном и запруженном издательском рынке появилась конкуренция — писатели, которые дебютировали одновременно (или немного позднее) с братьями, однако только в семидесятые годы приобрели более сильные позиции. Я имею в виду Дмитрия Биленкина, Кира Булычева, Сергея Снегова, Владимира Михайлова и других.

Как уже говорилось, где-то на переломе 1968 и 1969 годов Стругацкие решили «притаиться» и на примере классической для научной фан-

тастики темы «контакта» заняться чем-то, менее раздражающим власть. Соответственно, и в их теоретических высказываниях термин «научная фантастика» (столь горячо отрицаемый в момент вхождения в период «бури и натиска») становится опять употребляемым — таким образом кристаллизуются литературоведческие взгляды братьев, актуальные в главном срезе по крайней мере до 1980 года. Тем более стоит их реконструировать, что связь программотворчества с писательством у Стругацких довольно сильна. Например, еще в самый разгар борьбы, в начале 1967 г., они утверждали:

> В наше время задача литературы, как нам кажется, состоит не только в исследовании типичного человека в типичной обстановке. Литература должна пытаться исследовать типичные общества, то есть практически — рассматривать все многообразие связей между людьми, коллективами и созданной ими второй природой. Современный мир настолько сложен, /.../ что эту свою задачу литература может решать только путем неких социологических обобщений, построением социологических моделей [11, 296].

А разве картины в «Сказке о Тройке» или «Гадких лебедях» нельзя рассматривать как гротескные модели выродившейся бюрократии или напряжения между интеллигенцией и диктатурой?

Так что, в общем, теперь писатели — как и в манифестах 1964 и 1965 годов — заявляли, что основным критерием фантастичности произведения является введение в представляемый им мир элемента «необычного, небывалого, невозможного» и что основным заданием фантастики является — как и для любой другой литературы — отражение человека и мира. Новостью было лишь дальнейшее деление фантастической литературы — на рассматривающую связи человека и социума «реалистическую фантастику» и исследующую отношения человека и природы «научную фантастику». «Реалистическая фантастика» по мнению писателей сопровождает «нормальную» литературу с самого ее начала. Обе линии выходят из мифа, то есть прадавнего способа мышления, объединяющего в себе совокупность знаний древнего человека о мире, и до момента выкристаллизования реалистических эстетик эти линии остаются нераздельными. После этого и до наших дней к «реалистической фантастике» обращаются в двух случаях: если произведение рассматривает классические «вечные» темы литературы, обычно решаемые средствами реализма, то его автор вводит фантастический элемент для достижения особой эмоциональности, лапидарности, воздействия на читателя — то есть фантастика здесь является sensu stricto

художественным средством; если же заданием произведения должен быть взгляд на стоящие перед обществом сегодняшние новейшие проблемы, которые «литература главного потока», «мейнстрима», еще не успела распознать, оказывается, что лишь фантастика является писательским орудием, позволяющим исследовать эти вопросы.

> С помощью приема фантастики,— писали Стругацкие,— реалистическая литература в наше время взялась за проблемы, которые ранее никогда перед нею не стояли: за проблемы, связанные с философией природы, за проблемы познания, за рассмотрение тенденций развития Ее Величества Науки. Контакты человечества с иными цивилизациями, кибернетизацию общества, моральные аспекты вмешательства в святая святых человеческого организма и множество иных аспектов взаимоотношения человеческой личности с обществом и природой, ставших ныне актуальными, насущными, животрепещущими, литература, видимо, вообще не может пока рассматривать без применения приема фантастики [20, 4].

В этом втором случае «реалистическая фантастика» становится литературой огромного значения, учащей критицизму и ответственности, вырабатывающей иммунитет у общества против «шока будущего».

«Научная фантастика», наоборот, по сравнению с «реалистической» была лишь коротким эпизодом в истории литературы, одним из точно определенных состояний литературной фантастики. Генетически этот эпизод связывается с писательской деятельностью Жюля Верна и его последователей, а с точки зрения развития общества — с неслыханным прогрессом естественно-технических наук, начавшимся в середине XIX столетия и продолжающимся до сих пор. По мере пригасания темпа «научно-технической революции» нашего века подвид «научной фантастики» будет исчезать. Его задача заключается в популяризации открытий и достижений, он предназначен для молодежи. Однако со времен Верна смогли эволюционировать иные, используемые сегодня в произведениях этого подвида, методы популяризации. Вместо непосредственных описаний Артур Кларк или Хол Клемент предпочитают строить картины миров, контур которых в каждой детали соответствует начально принятым, например, астрономическим или иным предпосылкам, соответствующим принципам научного мышления и современному состоянию знаний [23].

С литературно-теоретической точки зрения представленный выше взгляд был огромным прогрессом по сравнению с нередким тогда еще в советской критике бесплодным перечислением черт «хорошей» и «плохой» фантастики. Этот взгляд выделял разнородность фантастики, ее

общемировой контекст, а прежде всего историческую переменчивость ее форм, которую соцреалисты при всем своем «марксизме» заметить были не способны. А с другой стороны, деление на «реалистическую» и «научную» фантастику сохраняло нормативный характер, и, кроме того, писатели пытались традиционно перенести его не только на историко-литературные и общественно-функциональные, но и на тематические отличительные признаки (при полном игнорировании формальных отличий конструкций литературных произведений, принадлежащих тому или иному виду). А ведь на самом деле тематическое деление «человек — общество» или «человек — природа» не играло никакой роли. Все зависело от способа использования темы. Если книга рассказывала, например, о «чужих», то ее следовало считать «научной», если речь в ней шла в основном об описании этого феномена, и «реалистической» второго типа, если она описывала преимущественно реакцию людей на это явление, если же «чужие» использовались как чистое обобщение или метафора человеческих отношений, то это была бы «реалистическая» фантастика первого типа: максимально приближенная к классике.

Кроме того, осталась недооцененной разница между этими двумя типами «реалистической фантастики». Также следует помнить, что теория носила предварительный характер, и на протяжении довольно длительного времени в ней менялись детали. Например, в конце 1967 г. писатели склонны были выводить из мифа — как первичной философии, прежде всего, природы — не «реалистическую», а «научную фантастику» (такая «реалистическая» была бы возможна лишь после ренессансных утопий). Изменялся также и представляемый в различных перечнях[67] каталог тем, которыми могли бы заниматься оба подвида. Например, в семидесятых годах братья отказываются от упоминания «трудностей в переходе от социализма к коммунизму», вызванных «капиталистическими пережитками в сознании», «мещанством», и начинают упоминать об экологии. Также некоторые темы были перенесены из одной категории в другую.

Именно так было с инопланетянами, о которых в зрелой (с 1980 г.) версии [33] программы говорится уже только в контексте «научной» фантастики. А ведь на переломе шестидесятых и семидесятых лет было совершенно иначе! Вообще очень поразительной чертой мышления писателей для того времени был тот факт, что не слишком серьезный, классически упоминаемый среди излюбленных в научной фантастике тем контакт с «чужими» оказался в классификации Стругацких там, где оказался, в качестве полноценного, достойного «серьезной» литерату-

ры общечеловеческого вопроса. Возникает подозрение, что, повышая таким образом ценность своих ближайших планов, Стругацкие публично спасали свою писательскую и гражданскую честь, сластили горечь поражения[68].

Постулированный способ подхода к вопросу представлен в своего рода манифесте новых интересов — вступлении к опубликованной в 1968 г. в серии «Зарубежная фантастика» (с издательством «Мир» братья постоянно сотрудничали в качестве критиков и переводчиков) повести «Всё живое...» Клиффорда Д. Саймака. В частности, там высказано следующее рассуждение: уже сейчас мы могли бы выслать в космос известие о своем существовании, но стоит ли это делать?

> С одной стороны, общение с чужой высокоразвитой цивилизацией в случае установления регулярных контактов означает, казалось бы, новый взлет земной научно-технической мысли. Этому должен способствовать обмен самой широкой информацией в различных областях науки и техники. Может быть, наши партнеры научат нас межзвездным перелетам, и земная цивилизация, перешагнув через целую эпоху, скачком превратится в цивилизацию космическую? /.../
>
> Однако, с другой стороны, задача оказывается не столь уж простой. Вероятность встречи с цивилизацией именно земного типа, да еще находящейся на уровне развития, не слишком отличающемся от нашего, пренебрежимо мала. /.../ Так что если кто-нибудь действительно откликнется на наши сигналы, то это почти наверное будет либо невероятно далеко ушедшая от нас цивилизация земного типа, либо цивилизация негуманоидная, обладающая сходной с нами технологией, однако безмерно отличающаяся от нас психологически. В первом случае мы просто окажемся неспособны на обмен информацией. Мы не сможем даже получить ее, как не смог бы троглодит получить от нас принципы устройства атомного котла. Во втором случае положение еще безнадежнее, а может быть, и опаснее. В лучшем случае мы могли бы представлять друг для друга интерес в плоскости сравнительной зоологии [11, 302–303].

Далее Стругацкие писали еще о политических и психологических трудностях, заканчивая излюбленным сомнением в смысле получения готовых знаний в качестве подарка, а также готовности человечества к использованию этого дара. Затем они отмечали, что последовательное и с учетом всех сложностей представление столь далекой пока от жизни темы имеет большую педагогическую ценность, поскольку учит сегодняшнего читателя нестереотипному, более соответствующему современности способу мышления, противостоит резко проявляющемуся

в наши времена запаздыванию общественного сознания, все менее приспособленного к взрывообразно развивающейся технологии.

То есть отважным, мысленным, нестереотипным рассмотрением оторванных от жизни далеких проблем Стругацкие хотели будить умы. Новая программа должна была быть другой реализацией тех же стремлений выполнять функции учителей критического мышления, которые они питали, когда писали открыто обвинительные произведения. Меняется лишь инструмент.

Было ли это лишь иллюзорной поправкой самочувствия? Прежде, чем ответить на этот вопрос, замечу, что даже если так, существовали явления, способствующие таким иллюзиям. Прежде всего, о чудо! — даже вопросам «межпланетных отношений» в СССР приписывали политический смысл, как об этом свидетельствует полемика [109], которую с вышецитированным текстом предпринял уже известный нам Юрий Котляр. Осенью 1969, во время острой травли братьев, он не замедлил отласить свои претензии на то, что рассуждения о трудностях в понимании между гуманоидными цивилизациями, стоящими на разных уровнях развития, являются завуалированной атакой на советскую дипломатию — ведь СССР успешно помогает, например, Монголии, а она и может принять эту помощь, и ничем ей это не вредит. В советской идеологии еще была жива традиция взгляда на естественные науки с точки зрения их соответствия системе псевдомарксистских догматов (казус: генетика), используемых в текущей политической борьбе партийного руководства. Тот же Котляр атаковал само понятие «негуманоидный разум», доказывая, что оно противоречит диалектическому материализму, поскольку установленные этой философией законы являются общими для всей Вселенной, а если жизнь на Земле в соответствии с этими законами возникла и эволюционировала с определенным результатом, то почему бы могло категорически, качественно иначе происходить это на других планетах.

Такая аргументация была обычным явлением в дискуссиях, которые велись в советской публицистике еще в начале шестидесятых годов (вдобавок к этому сторонником человекообразной формы космического разума был Ефремов, в определенный момент признанный образцовым и единственно марксистским фантастом). Перелом во взгляде на естественные науки произошел позже. Вот как вспоминал об уже известных нам дискуссиях о научной фантастике Гуревич:

> До той поры литературный спор шел в плоскости «выйдет или не выйдет?». Сторонники дальнего прицела называли мечты, сторонники

ближнего уверяли, что эти мечты неосновательны. Сначала спор шел между литераторами, а потом с осторожными специалистами, уверявшими, что ничего-ничегошеньки из мечтаний не выйдет: жизнь дольше 150 лет не продлишь, и за пределы Солнечной системы летать ненаучно, и человек — вершина творения, разумных машин быть не может и т. д.

Но вот в конце 1962 года выступает академик Колмогоров, пишет, что разумное существо может быть каким угодно, даже похожим на плесень, даже машина способна стать умнее человека. /.../ О возможности практически неограниченного бессмертия пишут академики Купревич и Кнунянц, доктор наук Шкловский рассуждает о пределах космических странствий и цивилизаций, о том, что спутники Марса искусственные [100, 170].

За неполный год после «футурологического», XXII съезда КПСС на советского интеллигента свалилась почти лавина статей и книг[69], во главе с работой И. С. Шкловского «Космос, жизнь, разум» (Москва, 1962), долженствующая осветить текущие достижения науки и техники,— но на переломе десятилетий кое-что из старой, сталинской, догматической трактовки науки осталось, о чем лучше всего свидетельствует полемика Котляра. На этого консервативного публициста вся эта лавина вообще не произвела впечатления.

Исполнились ли связанные с новой тематикой надежды Стругацких, мы узнаем во время анализа произведений. Но прежде, чем приступить к нему, я хотел бы сообщить о характерных для семидесятых годов изменениях в мышлении о научной фантастике. Правда, лишь коротко, так как они не имели большого значения для формирования взглядов уже сложившихся писателей, а составление подробной карты взглядов фантастоведов, публиковавшихся тогда, взглядов, менее подверженных давлению пропагандистских действий, а потому более разнородных и самостоятельных, нежели это было ранее, требовало бы отдельного исследования.

Замечу лишь, что это десятилетие и начало следующего отмечено, главным образом, утратой столь живого интереса к подгонке научной фантастики к рамкам норм социалистического реализма. Критика, как правило, констатирует отход писателей от утопических тем и неисполнение недавних надежд на продолжение видений Ефремова. Вместо этого наступает триумф так называемой «повести-предупреждения». Вот только уже известный ранее термин утрачивает свое литературоведческое определение, становится «мешком», в который вкладывают всё. Например, А. Урбан считал, что «в отличие от антиутопии, берущей преимущественно социальные аспекты, роман-предупреждение

ставит задачи куда более разнообразные, строя новые биологические и социальные модели, анализируя неожиданные технологические отклонения, с которыми могут столкнуться люди, и их возможное влияние на общество», обобщал тему жанра в формуле «встреча с неведомым, неожиданным, странным» [116, 98–99], включая в нее, например, «Солярис» Лема. Т. Чернышева определяет «повесть-предупреждение» как «экспериментальное условное построение, возникающее на основе уже сложившейся системы фантастической образности и воспринимаемое на ее фоне» [143, 301] (то есть дает определение, близкое по смыслу к принятому мной определению НФ).

Это проникновение еще весьма нового и неточного понятия, равно как и повсеместно повторяющиеся примерно с 1975 г. сетования по поводу «кризиса фантастики», который якобы заключался в «исчерпании» резервуара научных тем и начале всеобщего копирования научно-фантастических идей, является одним из выразительных признаков окончания в русской и советской литературе процесса формирования традиции НФ, подобно тому, как тридцать-сорок лет ранее это происходило в англо-американской литературе. Как заметила Чернышева — серьезный исследователь, на европейском, мировом уровне —

> создана новая мифологическая картина мира, а вместе с тем и новая система фантастических образов, их новый «арсенал», новая база для художественной условности. В этой трудной работе прошли мифотворческие «детство» и «юность» научной фантастики, завершился первый круг ее развития[70] [143, 298].

В нашей терминологии это выглядит так: произошло изменение жанровой структуры фантастической литературы, на место социологической и технологической утопии приходит НФ.

Этот момент создал для советских литературоведов и критиков еще одну, весьма серьезную заботу. Литература НФ, в силу существа жанра, пользующегося ограниченным набором мотивов и схем (некогда дерзновенно разработанных), является популярной, развлекательной литературой. А к явлениям такого рода в семидесятых годах в СССР вообще не умели подходить. Заметим, что все прежние теории фантастики принципиально расходились лишь в том, должна ли она выполнять свои познавательные функции непосредственно (соцреалистические ортодоксы) или опосредованно (среди других и Стругацкие) — выходя при этом на пространства других жанров. Но сам принцип привнесения жанром определенного кванта нового, оригинального знания оставался нерушимым. Более того, понятие популярной литературы, несравнимой с высо-

кохудожественным и психологическим творчеством, находящейся в ином социологическом обороте, литературы, которая не является «худшей» разновидностью, а чем-то иным, это понятие глубоко чуждо тэновско-марксистской[71] традиции советского и российского мышления о литературе. Однако, когда поток произведений или чисто развлекательных, или имеющих незначительные познавательные ценности, стал шире[72], критики круга НФ должны были как-то справиться с этой проблемой.

О том, что они пробовали это сделать, свидетельствует другой мотив тогдашних размышлений: в некоторой степени продолжающие давнюю традицию «борьбы со схематизмом» рассуждения о необходимости и условиях обретения персонажами фантастики полноценной личности, что должно было поднять жанр на высшую ступень художественности. Например, Ю. Смелков — выдавая, кстати, как единственный положительный пример в советской фантастике «Пикник на обочине» — считал, что условием эмансипации научной фантастики является не только подача героев произведений в совокупности их связей с обществом, но также и наличие в произведениях нравственной проблематики: «Герой-личность появляется в фантастике тогда, когда социальные проблемы, встающие перед ним, приобретают отчетливо выраженный этический характер» [122, 36]. Другой распространенной попыткой убеждения других и себя самих в том, что бедность «человеческим содержанием демонстрирует не особый ее принцип, а несчастье тех произведений, к которым это относится» [116, 158], было (как это сделали и Стругацкие) выделение двух фантастик[73]: технологической, облегченной — и той, которая была бы «нормальной» психологической и социальной литературой, высокохудожественной фантастикой, в русле которой, как высказывались надежды, и удержится советская НФ.

Лишь в середине восьмидесятых годов, с выходом работы «Волшебно-сказочные корни научной фантастики» Е. М. Неёлова, который — развивая литературоведческую мысль Владимира Проппа — вышел на исследование четких формальных связей НФ со сказкой[74] и принципиальных отличий между этими двумя жанрами и психологической прозой, перед советской теорией литературы открылась возможность создания цельной теории популярной прозы, которая доказала бы тщету (и бессмысленность) мечтаний о психологизации НФ, детективов и т. д. и их приобщения к кругам высокой литературы.

Упомянутые и цитируемые в моей книге монографии Чернышевой и Неёлова, благодаря работам которых уровень знаний о литературной

фантастике и ее жанрах не отличается теперь в России от мирового, вышли недавно. Но семидесятые годы были необходимым приготовлением к ним. Благоприятствовало позднейшим серьезным размышлениям и снижению температуры споров и то, что после идеологов и литературных критиков к работе наконец приступили профессиональные филологи. В 1970 г. вышла монография А. Ф. Бритикова «Русский советский научно-фантастический роман», изданная под покровительством Академии Наук СССР. Я часто пользовался и ею также, хотя она имеет принципиальный недостаток, заключающийся в том, что соцреалист Бритиков обычно, даже с полемическими целями, не излагал взгляды, противоречащие его собственным (чтобы их не пропагандировать) и воздерживался от анализа «неясных» позиций. Однако эта монография включала огромную библиографию и наглядно показывала достижения жанра в русской литературе за несколько десятков лет. В свою очередь традиции мировой фантастической литературы показала книга Ю. Кагарлицкого «Что такое фантастика?» [121]. Продолжался также процесс знакомства советской общественности с современной и классической западной фантастикой (даже — эпизодически — с произведениями «fantasy» и «weird fiction»). Возможно, именно это оказало решающее влияние на позднейший отход мышления о фантастической литературе от соцреалистических догматов. Трудно было бы ученым и критикам смотреть исключительно через соцреалистические очки на свободно доступные в книжных магазинах произведения, написанные в соответствии с совершенно другими рецептами.

*

Вернемся к предисловию к книге Клиффорда Саймака. После представления вышепроцитированных сомнений, касающихся природы возможных пришельцев и смысла попыток установления контактов с ними, наступает довольно неожиданный поворот:

> Так посылать все-таки или не посылать? Нет, мы не намеревались ответить на этот вопрос. /.../ Мы хотели только проиллюстрировать сложность космической проблемы, и для полноты иллюстрации зададим себе несколько дополнительных вопросов. Если бы пришельцы научили человечество космическим перелетам, что понесли бы на Сириус и на Альдебаран неонацисты и хунвэйбины? Если бы человечеству был подарен секрет практического бессмертия, в чьих бы руках он оказался? Если бы военные лаборатории агрессивных государств овладели принципами произвольной перестройки человеческого организма, как бы они эти принципы применяли?

Возможно, прочтя эти строки, неубежденный читатель усмехнется. Проблема Контакта покажется ему смехотворно несоизмеримой с проблемой, скажем, разоружения или детской преступности. И если темой романа «Все живое...» действительно является Контакт, то роман этот просто развлекательный... /.../

Нам кажется, что проблема Контакта является одной из граней, частным случаем, иллюстрацией более общей, по-настоящему кардинальной проблемы: глубокого разрыва, существующего в настоящее время в мире между стремительным прогрессом технологии и отсталым буржуазным мировоззрением. Вот почему, на наш взгляд, трудности в вопросе о Контакте, вызванные распространенностью социально-атавистических представлений, следует в определенном и немаловажном отношении рассматривать в одном ряду с трудностями в вопросе о разоружении (следствие вековых социально-атавистических страхов и вожделений определенных классов) и с трудностями, связанными с детской преступностью (следствие векового социально-атавистического пренебрежения духовным миром подростка). Проблемы эти, как и многие другие, старые и новые, легче всего было бы решить в результате утверждения и полной победы во всей массе человечества новых, коммунистических представлений.

Мы совершенно убеждены в том, что пересмотр философских, социальных и моральных представлений надо готовить исподволь, с нарастающей активностью. Не позволять массовой психологии так далеко отставать от гигантских изменений, происходящих в мире. Сосредоточить все усилия общества на воспитании Завтрашнего Человека, Космического Человека, Человека Коммунистического. В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне XIX столетия. Эта давняя система воспитания ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготавливать для общества квалифицированного участника производственного процесса. Все остальные потенции человеческого мозга эту систему практически не интересуют. Неиспользование этих потенций имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию гигантски усложнившегося мира, неспособность связывать примитивно-психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных и архаичных социальных инстинктов. Однако неиспользованные потенции остаются скрытой реальностью человеческого мозга, и в них залог грядущего прогресса человечества. Привести эти потенции в движение /.../ — вот цель и содержание гигантской революции духа, которая следует за социальными революциями, приводящими способ производства в соответствие со способом распределения.

Эта революция, на наш взгляд, наряду с коренными социальными преобразованиями должна стать основной задачей человечества на ближай-

шую эпоху. Она огромна. /.../ Она является объектом деятельности целых правительств, крупнейших психологов, педагогов, самых талантливых администраторов. Однако уже сейчас ясно, что важная роль воспитания Человека в человеке принадлежит литературе. Конечно, глупо понимать этот тезис упрощенно, будто, прочитав хорошую книгу, злобный невежественный бёрчист, хунвэйбин или неонацист способен тут же превратиться в благородного борца-интеллектуала. Нет, речь идет о долговременном массированном воздействии хорошей литературы на общественную психологию, /.../ о способности литературы подтягивать устаревшее массовое мировоззрение до уровня новейшего, космического, коммунистического мировоззрения, соответствующего уровню технологического и социального прогресса [19, 9—11].

По мнению Стругацких, Саймак — рассказывая о неожиданной встрече американского городка с Чудом (существами из «иного пространства») и демонстрируя результаты полной неподготовленности как провинциалов, так и высших военных и административных кругов США к такому Чуду и полнейший анахронизм тамошнего мышления — невольно становится поборником постулируемой ими (то есть Стругацкими) революции.

Да... Стругацкие выдвинули весьма смелую программу и надеялись, что, несмотря на все это, немногое изменится, что — как и раньше — они будут потрясать умы читателей. Может быть, лишь более опосредованным способом. Ба! Будущее творчество тем более могло казаться им простым продолжением предыдущего, что если посмотреть на все сделанное сквозь призму вышеупомянутых тезисов, можно без труда заметить, что тема выявляющей анахронизм мышления, парадоксальной встречи с Чудом издавна обжилась в их книгах: с Чудом в виде безмерного удешевления материальных благ не справились жители Страны Дураков (кстати: о неэффективности воспитательной системы девятнадцатого века задумывался еще Жилин), со злым Чудом встретились Кандид и Перец, на Чудо «Контакта» отреагировал так, как он отреагировал, учитель из «Второго нашествия марсиан». Заметим также, что явления, атакуемые до сих пор нашими авторами, а именно: пренебрежение к знаниям и их носителям, диктатура бюрократической тупости, выражающееся в отсутствии уважения к основным моральным ценностям практикование лозунга «Цель оправдывает средства», фанатизм — все их можно интерпретировать как примеры «запаздывания сознания», как архаическое, инстинктивное поведение, свойственное атавизму «человека невоспитанного». То есть это были — по крайней мере, с теоретико-социологической точки зрения — явления того же класса, что и не-

желание разоружаться, детская преступность и (если не учитывать того, что он еще не произошел) неудавшийся по причине незрелости человечества контакт с пришельцами из космоса.

Я думаю, однако, что в вопросах эффективности воздействия литературы на читателя, ее эстетической и общественной ценности решает не теоретико-социологическая, а жизненная точка зрения. Напечатанный в 1970 году в «Юности» «Отель "У Погибшего Альпиниста"» (история о том, как прибывшие к нам инопланетяне вместо того, чтобы установить отношения с учеными и правительствами, попали в лапы гангстеров и в конце погибли, потому что упрямый инспектор полиции не представлял себе иного к ним подхода, нежели как к обычным преступникам) и последующие произведения тех лет, посвященные встречам «малых мира сего» с чем-то, их превосходящим, не могли быть произведениями столь же важными, что и предыдущие. Потому что в отличие от них были рассказами *лишь* о неготовности к Контакту, то есть о проблеме — конечно же — важной, но нисколько нас не касающейся. О проблеме, с помощью которой можно отыскать в современном мире чрезвычайно важные и чувствительно задевающие нас параллели,— но не об этих параллелях.

Встреча с Чудом в «Хищных вещах века» одновременно была предостережением против антиинтеллигентской политики властей. Встреча Кандида с «лесными чародейками» наводила читателя на размышления о чрезвычайно важной для советской истории и современности этической проблеме. Приключение Переца и записки Аполлона предостерегали, чем кончаются компромиссы со злом такого рода, которое читатель «Улитки на склоне» и «Второго нашествия...» наблюдал вокруг себя, и оружием сатиры высмеивали тех, кто уже пошел на компромисс. Отпускная встреча инспектора Глебски с пришельцами была тем, чем была, и ничем более, не имела «двойного дна». Можно, конечно, прочесть ее как притчу, иллюстрирующую общий этический тезис: «Нужно мыслить критически, если хочешь иметь спокойную совесть»,— но изложения, пусть даже полезных тезисов, также не являются в литературе ничем захватывающим и глубоко интересным. Надежды Стругацких были принципиально иллюзорными.

Все интересующие нас теперь произведения: «Отель "У Погибшего Альпиниста"» (написан около 1969), «Малыш» (написан около 1970?), «Парень из преисподней» (напечатан в 1974), «Пикник на обочине» (написан около 1971?)[75], представляли различные варианты встречи ана-

хроничного человека с чем-то, не умещающимся в его голове, все опирались на научно-фантастический мотив Контакта и каждое должно было решить идентичные проблемы: как заинтересовать читателя, как потрясти его интеллектуально и этим заставить мыслить в направлении, совпадающем с надеждами авторов. Ведь они не могли предложить ему ничего, что было бы существенным с точки зрения жизненной практики — непосредственных, всегда наиболее интересных аллюзий к современности в них или не было, или они были незаметны для непрофессионалов. А с интеллектуальными потрясениями в литературе вообще бывает нелегко[76].

Что касается усиления развлекательности, произведения существенно разнились между собой. «Отель "У Погибшего Альпиниста"» был попросту хорошо написанным детективом. Разве что действительность, в которой происходило действие, имела обобщенные черты правдоподобного ближайшего будущего капиталистических стран, а в конце вторгался (правда, небанально решенный) научно-фантастический элемент. И в этом было главное — особенно в связи с очевидным недоразвитием сенсационной литературы в СССР — читательское достоинство повести, равно как и причина, по которой мы не будем на ней останавливаться, так как закономерности структуры детектива универсальны для любого представителя жанра, несмотря на «подкрашивание его» фантастикой. Это не законы НФ, и я оставлю без внимания это не слишком выдающееся и нетипичное для Стругацких произведение. «Парень из преисподней» предлагал своеобразие психологического анализа, «Малыш» же и «Пикник на обочине» — необычность фантазии. Теоретически рассуждая, эти два обращения к универсальной проблематике способны вызвать притяжение читателя той же силы, что и рассмотрение актуальной политической, общественной, этической проблемы. Более того, они действительно могли бы склонить читателей к серьезным размышлениям, выбить способ мышления из привычной колеи и выполнить миссию, о которой думали Стругацкие. Удалось ли это?

«Парень из преисподней» был небольшой (5,5 печатных листов) притчей, основанной на идее, парадоксально переворачивающей ситуацию из «Обитаемого острова». Там в наиболее «психологизирующих» частях текста показано что-то вроде психологического шока, который мог бы испытать землянин, коммунист середины XXII века, столкнувшись с жестокостью современного нам мира. «Парень...» показывает обратные чувства и реакцию.

На планете Гиганда, находящейся на технологическом уровне прогресса, сравнимым с тридцатыми годами нашего столетия, идет война.

Аллюзии к рабству и расовой дискриминации, свирепости капиталистической эксплуатации, фанатической преданности единиц и ненависти масс по отношению к правящей элите делают это фантастическое общество обобщением общественного зла с чертами, взятого как есть из «антиимпериалистического памфлета». Война вот-вот должна закончиться, классически превращаясь в революцию, к чему — как читатель еще узнает — решающим образом привела земная агентура. Смертельно раненый двадцатилетний фанатик, капрал Гаг «похищен», вылечен и доставлен на Землю, где его опекает сотрудник высокого ранга Галактической Безопасности — Корней.

Повесть представляет собой рассказ о приключениях и размышлениях юноши во время насчитывающего несколько недель пребывания на территории центра, занимающегося делами Гиганды и других планет. Технически повествование представлено попеременно то в форме монолога Гага, ex post рассказывающего о своих приключениях подобным себе «ребятам» (усилено впечатление реальности самого акта рассказа, местами повествование приближается к «исповедальному монологу»), то с использованием нейтрального рассказчика в третьем лице, в редких случаях, однако, комментирующего рассказываемое. Следует признать, что Стругацкие нашли здесь несколько счастливых формальных решений; комментарии принципиально ограничились определенным суммированием знаний о чувствах парня — авторы избегали непосредственной подачи конкретной информации о мирах, в которых происходило действие, а также моральной оценки поведения героя; все, что мы узнаем, мы видим его глазами или с его точки зрения (иногда с нейтральной или окрашенной легкой иронией точки зрения), хотя и при посредстве рассказчика; напрямую не предлагаются никакие выводы, читатель должен их сформулировать самостоятельно. Также убеждает поведение и способ мышления капрала. Ситуацию, в которой он оказался, он интерпретирует в соответствии со своими знанием и опытом; мир, наполненный необычными устройствами и людьми, является для него сначала центром собственной разведки, позднее местом козней против его отечества, с целью будущего импорта невольников с Гиганды. Гаг организует противодействие, побеждает и требует немедленной отправки «домой».

Поучительны происходящие в нем духовные перемены. Имеющий полную свободу действий Гаг внимательно наблюдает и, несмотря на предубеждение, не может противиться чувству благодарности и симпатии к Корнею. Представленные ему факты смогли потрясти его пре-

данность руководству. Последние сцены показывают, как в душе Гага — профессионального убийцы — пробуждаются до тех пор совершенно чуждые ему элементы гуманизма.

Наконец, следует упомянуть весьма интересные и оригинальные методы опосредованной характеристики Гага, который даже развлекаться не мог иначе, как муштруя робота и сооружая с ним различные типы укреплений и окопов.

Итак, книга была, без сомнения, увлекательной, особенно для опытного читателя. Но ей было далеко до потрясения схем. Вся психомахия Гага с Корнеем, все изменения в душе алайского капрала имели заранее предопределенный итог. Попробовал бы он не измениться в коммунистическом обществе! Стругацкие сразу же вошли бы в принципиальный конфликт с требованиями издателей. Правда, они попробовали показать, что Гаг и в качестве убийцы был не из худших (ценил определенные достоинства — например, боевую отвагу), и как бы не очень сильно изменился (рассказ свой ведет как бы в обществе подобных «ребят», то есть наверняка солдат каких-нибудь «контрреволюционных банд», о которых не без умысла упоминается в других местах). Но сомнения безусловно уничтожаются символикой заключительной сцены, в которой Гаг плечом к плечу с другими выталкивает застрявший в грязи грузовик, на котором везут сыворотку в охваченную чумой столицу Алайского герцогства.

Сцену эту, словно живьем взятую из пропагандистской литературы, убогая количественно критика «Парня...» выдвигала на передний план, одновременно утверждая, что эта повесть вместе с «Малышом» представляет самые бледные из миров Стругацких, что «сложенные из материала, оставшегося от других космических построений авторов, они не старались сказать о чем-то больше того, чем они были» [147], что является низкой, но меткой оценкой. Лично я, хоть и наблюдаю в «Парне...» некоторые позитивы, убежден, что стереотипность перемены капрала предрешает результат[77].

Не вызывала сомнений у меня повесть «Малыш», которую я считаю совершенно неудачной. В ее проблематике встречаются многочисленные повторения ранних решений и даже симптомы регресса — возвращения к начальному, популяризирующему достижения науки творчеству. Хоть и неудачная, повесть однако имела определенное значение для дальнейшего писательского пути Стругацких, поскольку связана с природой их фантастического мира.

Время действия «Малыша» можно определить точно: 2245 год. Мир этой повести на 120 лет старше действительности, которую застали на Земле Кондратьев и Славин в «Возвращении...». Среди прочих персонажей здесь мы найдем уже весьма зрелых и известных Комова, Сидорова, Горбовского. Но одновременно мимоходом упоминается и Максим Каммерер (Ростиславский). То есть наступило объединение «мира будущего коммунизма» из утопического «Возвращения...» (а также «Попытки к бегству», «Далекой Радуги» и — опосредованно — «Трудно быть богом») и действительности «Обитаемого острова». Стругацкие решили «обосноваться» надолго в одной из вымышленных фантастических стран, почетче очертить ее контуры и использовать в качестве постоянного фона для действия очередных книг («Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер»). При оказии были исполнены некоторые модификации. Например, смерть Горбовского, которая — как помним — в «Далекой Радуге» не столько показана, сколько внушена опусканием занавеса перед надвигающимся апогеем катастрофы, признана ненаступившей, хотя нуль-пространственный транспорт изменил жизнь людей. Подобных примеров «упорядочивающих действий» можно насчитать больше. В «Парне из преисподней» и «Малыше» Стругацкие стараются сыграться и укомплектовать подробностями до того довольно размытый образ. Ба! Они даже ввели в него своеобразные «детерминанты историчности», чтобы читатель мог реконструировать себе историю этой фантастической страны «будущего коммунизма» — примерно определить, что изменилось в этой стране с тех пор, как по ней путешествовали Кондратьев и Славин, до периода пребывания на Земле капрала Гага.

Фабула «Малыша» такова: в своих космических странствованиях люди набрели на человекоподобную, находящуюся на племенном уровне развития расу, планета которой в результате ожидаемого космического взрыва подвергнется уничтожению. Было решено найти для нее другую планету. Поиски увенчались (ошибочным — как потом окажется) успехом, и теперь несколько групп готовят на этой, специально отысканной, новой планете жилища для спасаемых.

События, о которых повествует повесть, излагаются «маленьким человеком» — радистом Поповым, который вместе с Геннадием Комовым, капитаном Вандерхузе и своей ровесницей Майкой Глумовой составляет одну из этих групп. Сначала Попову кажется, что у него галлюцинации, но его таинственные приключения с роботами, призраками и эхом разъясняются после встречи со странным местным человеком,

далее именуемым «Малышом». Мальчик оказывается жертвой крушения с уничтоженного земного корабля, которого в годовалом возрасте спасли глубоко укрытые, неизвестные до того хозяева исследуемой планеты — какая-то негуманоидная цивилизация, и воспитали по местным обычаям. С этого момента основу повествования представляет история контакта с этим созданием и борьба взглядов и интересов, которая завязывается вокруг «находки».

Прежде всего, обнаружение наличия цивилизации предопределяет фиаско всей операции (отсюда польское название повести — «Конец проекта «Ковчег») и является обидной неожиданностью для руководителя работ Сидорова-Атоса. Ведь поскольку найденная для спасаемых «переселенцев» планета оказалась «занятой», нужно искать новую. В то же время, для Комова контакт с мальчиком, который может оказаться «посредником» между гуманоидами и негуманоидами, является вообще неповторимым случаем налаживания связей с негуманоидами, а также — экспериментальной проверки идеи «вертикального прогресса», которую Комов проповедует. Идея предполагает, что в ходе дальнейшего развития человечество как вид ожидает качественный скачок, после которого оно станет чем-то диаметрально, биологически отличным. Однако Комов вынужден отказаться от своих планов, и не только потому, что хозяева являются замкнутой цивилизацией, не заинтересованной в контактах с пришельцами. Окончательным аргументом против его действий будет лишь забота о благе мальчика, которого дальнейшее форсирование Контакта могло бы довести до невообразимо опасного стресса.

Контактам с Малышом также пытается противостоять Глумова. Для нее это маленький мальчик, которого хочет обидеть бездушный Космос. Но девушка воспользуется для достижения «блага мальчика» обманным приемом.

Несомая повестью проблематика является точным повторением моралистики «Далекой Радуги». Если какая-то даже большая и правильная идея вступает в противоречие с принципами этики и благом хотя бы одного человека, с виду черствые коммунисты (если действительно являются коммунистами) не принесут в жертву эту одну-единственную личность. А вот сентиментальный мещанин (Глумова — аналог Склярова), для которого цель оправдывает средства, не колеблясь, совершит «во имя чьего-то блага» свинство. Ба! Совершит, даже подвергая этого «охраняемого» серьезной, смертельной опасности, как это сделала Глумова с Малышом, потому что «чье-то благо» для мещанина является в принципе абстрактным понятием.

Я не думаю, что Стругацкие планировали неновую морализаторскую проблематику сделать главным читательским достоинством «Малыша». Произведение, скорее, должно было противоречить схемам и стать оригинальным благодаря тому, что братья испробовали в нем впервые, то есть благодаря попытке описания нечеловеческого, сверхчеловеческого существа, благодаря попытке детального представления читателям космического Чуда, из которой НФ редко выходит с победой. К сожалению, не удалась эта штука и Стругацким; они не вышли за пределы нетипичного соединения известных элементов, количественного изменения черт и иллюстрации научной концепции, которая — стоит лишь ее распознать как иллюстрацию — немедленно разрушает все ощущение фантастичности. Попытка не могла удастся в силу железного, логичного и — что удивительно! — до того времени весьма уловимого Стругацкими в их зрелом творчестве принципа: невозможно *описать* что-либо недоступное нашему воображению, что-либо нас действительно потрясающее, так как уже в момент окончания описания это «что-либо» становится обычным и простым. Его существование можно лишь *внушить*.

После долгих размышлений и споров[78] братья снабдили свое диво необычным внешним видом (черная блестящая кожа, нечеловечески неподвижное лицо, возможность непринужденного принятия нечеловеческих поз) и необычными способностями (идеальная слуховая память, способность создавать фантомы, необыкновенное физическое развитие), привязали его к одному месту на всей планете, которое якобы было энергетически зависимым от чего-то и т. д. Весьма оригинальным был особенный способ мышления. Малышу для размышлений требовался намного больший, нежели нам, двигательный эквивалент мыслительной деятельности (например, ему нужно было складывать сложные узоры из камней, листьев, веток). Движение и мысль были у него неразделимы, как у животных, не пользующихся языковой системой понятий. Это давало такие результаты:

> Лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение /.../. Сквозь фейерверк движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем [6, 271].

К сожалению, это описание могло интриговать лишь до того момента, пока его нельзя было ассоциировать со сведениями, которые можно вычитать в справочниках по психологии.

Ключом к достижению эффекта полной фантастичности образа может быть исключительно счастливый парадокс, идея настолько необычная, чтобы созданная согласно с ней картина не поддавалась логическому анализу, позволяющему извлечь из нее однозначные выводы. Классическим примером такой картины в научно-фантастической литературе является Океан Солярис Станислава Лема. Этот писатель считает, что при создании «чужих» следует придерживаться принципа «некогеренции черт», согласно которому

> распознаваемые черты «Чужих» по сути должны представлять такой набор элементов, что можно лишь часть его вместить в рамки акта классификации, а при попытке разместить в них все, рамки не могут этого выдержать и лопаются; черты распадаются на изоляты и попытку понимания следует начинать заново [120, t. 2, 345].

В случае «Соляриса» Лема придерживание «принципа некогеренции черт» заключалось, вообще говоря, в соединении противоречий. Описывая «космического Маугли», Стругацкие этого принципа не соблюдали, поэтому «Малыш» оказался по-настоящему необычным лишь для молодых, малограмотных читателей. А вот фантастический элемент «Пикника на обочине» соответствует вышеприведенному принципу, хотя и совсем другим образом, нежели Океан Солярис.

Феномены, складывающиеся из «вида» и образа действия Океана, поодиночке, «отдельно» были объяснимы. Симметриады и асимметриады — это как бы реальные, материально формирующиеся конусы Лобачевского, то же самое — с зондированием подсознания Кельвина и других, а также синтез людей-фантомов. Точнее говоря, явления эти объяснимы были настолько, насколько активизировали наше чувство правдоподобия их существования, их природа позволяла в попытках их понимания прибегать к гипотезам, не противоречащим известным нам законам Вселенной, или призывать известные литературные соглашения. Лишь когда мы сложим все необычности Океана вместе, то получим непонятное, алогичное противоречие.

У Стругацких наоборот. Алогичными являются «кирпичики», на которые раскладывается феномен, а в целом он не столько внутренне противоречив, сколько не определен. Ну что мы знаем о пришельцах, посетивших Землю в «Пикнике на обочине»? Лишь то, что оставили после

этого шесть «Зон» (действие книги касается одной из них), мест, в которых встречаются удивительные, опасные предметы, мест, в которых происходят явления, претящие нашим знаниям и чувству здравого рассудка. Например, восстание из гробов «реконструированных по скелету» покойников. О необычности других «кирпичиков» — предметов, находимых в Зонах, вроде «черных брызг» (миниатюрные «черные дыры»), «комариной плеши» (места повышенной гравитации), «пустышек», «этаков», «веселых призраков», «жгучего пуха» вспоминать и не буду. О самих пришельцах мы можем сказать лишь, что они не похожи на нас и более могущественны, а этого для возникновения когеренции образа мало.

Очень ценная в эстетическом плане возможность создания по-настоящему фантастического, не приводимого к известным явлениям конструкта, то есть уникального инструмента, способного выбить читателя из привычной схемы мышления и вызвать у него столь желаемый интеллектуальный и эмоциональный шок, была только одной из многих возможностей, которые дал писателям в руки счастливый случай — то, что они набрели на очень хорошую идею.

> Я помню, как мы придумали ситуацию нашей повести «Пикник на обочине», — вспоминал Борис Стругацкий. — Это было в Комарове под Ленинградом. Мы прогуливались по лесу и наткнулись на остатки автомобильного пикника: консервные банки, кострище, какие-то тряпки, использованный масляный фильтр, бутылки, батарейки от фонарика, сломанная вилка... И мы попытались представить себе, как все это должна воспринимать лесная живность? Что они думают об этом, если, конечно, способны думать? Так возникла ситуация «Пикника...» — человечество, пытающееся разобраться в том, что оставила после своей кратковременной стоянки на Земле могучая сверхцивилизация... Ситуация оказалась емкой, с многими возможностями, она позволила придумать мир, с которым было интересно работать [11, 381].

Образ копающегося в космическом мусоре человечества, весьма оригинальный (несмотря на обильное чтение фантастики, не припомню какого-либо литературного прототипа), кроме того послужил Стругацким для рассмотрения комплекса явлений, связанных с темой цивилизационной незрелости человека. То есть они осуществили в «Пикнике...» ряд психологических и этических экспериментов и весьма ярко нарисовали картину некоторых социологических законов, действующих в рамках капиталистического, потребительского общества — как они его себе представляли. Образ свалки оказался также выгодным фоном и предлогом для передачи читателям определенных пессимистических, акту-

альных и важных историософических выводов. Это сообщение, конечно, было старательно зашифровано; среди нарочито подбрасываемых (основанных на схемах, известных советскому читателю из пропагандистских изданий) мыслей на тему капиталистического общества и члена этого общества — архаичного социологического троглодита, проскальзывают печальные истины о человеческой сущности. Истины, наверняка не чуждые Стругацким и живо ощущаемые ими в районе 1970 года. Находящаяся у истока «Пикника на обочине» фантастическая идея могла быть также с успехом использована в других произведениях, о чем свидетельствует «Машина желаний» — опубликованный много лет позже книги один из вариантов сценария фильма Андрея Тарковского «Сталкер».

Тезис о многочисленных выгодах требует доказательств. Но сначала я, в соответствии с принятым в этой работе порядком анализа, кратко напомню форму и фабулу повести.

«Пикник...» задуман как своего рода панорама восьми лет из истории городка Хармонт и столько же из жизни Рэда Шухарта, преступника новой специальности: «сталкер» (англ. «следопыт»), одного из тех, кто тайком проникает на охраняемую войсками ООН территорию Зоны, чтобы с риском для жизни найти, вынести оттуда и тихонько продать всякую всячину. Для конструирования этой панорамы писатели воспользовались испробованным приемом последовательных «приближений», рассказами о состоянии интересующих нас дел в данном «здесь и сейчас», которые в сумме дают понятие об эволюции этих дел. Поочередно нам представлены:

— «Фрагменты интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19.. год» [6, 345], имеющие характер информационного введения в эту историю;

— монолог двадцатитрехлетнего Шухарта, который теперь, через шесть лет после Вторжения, уже является опытным сталкером, но еще легально работает в Институте внеземных культур в качестве лаборанта в лаборатории советского физика, Кирилла Панова;

— эпизод из жизни Шухарта пятью годами позже;

— рассказ о нескольких часах работы Ричарда Г. Нунана, друга Рэда, работника Института, сотрудника тайной полиции, скупщика краденого у сталкеров и шефа публичного дома, которые имели место года через три после вышеуказанного эпизода;

— еще одно событие из жизни Шухарта, которому теперь 31 год.

Впечатление течения времени усиливают: педантично регистрирующие возраст персонажей названия глав, напоминающие фрагменты личных анкет и других документов (из-за чего повесть становится как бы беллетризованным «досье» на Рэда и Зону), и специально введенные в ткань повествования мотивы-указатели течения времени в повести. Например, если во второй главе упоминается о планируемой постройке вокруг Зоны стены, то в третьей главе именно в тени этой стены Рэд будет укрываться от патруля. Не буду говорить здесь об изменениях в жизни главного героя и не буду рассматривать в соотношении с историей Зоны основное содержание воспоминаний его и Нунана (у которого более высокий, чем у Рэда, общественный статус и более широкий кругозор, и который попросту вспоминает историю Зоны), так как это второстепенные детали. Важно, что этими способами (я воспользуюсь фрагментом эссе Станислава Лема, который глубоко прокомментировал «Пикник на обочине» в послесловии к польскому переводу) Стругацкие достигли эффекта показа в повести

> с помощью моментальных схватываний процесса обрастания Зоны, как чуждого тела, вбитого в живой человеческий организм, тканью противоречивых интересов /.../. Это обрастание Зоны кольцом лихорадочной деятельности показано с большой социологической меткостью [30, 273].

Лем высоко оценил повесть. Особым ее успехом он считал меткую догадку на тему сущности «обрастания» Зоны деятельностью, характерной для потребительского общества, а также замысел показа Посещения (весьма значительного в истории человечества события) с точки зрения Шухарта, «человеческого муравья», так как показ великих исторических переломов с перспективы «обратной стороны медали», окружающего ее человеческого убожества, встречается нечасто. «Посещение в «Пикнике...» — это не удивительное ради удивительного, а установление исходных условий для мысленного эксперимента в области «экспериментальной историософии», и в этом заключается ценность этой книги» [30, 276],— делал вывод Лем.

Советские же критики ([118], частично также [126], [132]; кроме того, Ю. Смелков анализировал повесть на с. 25–30 работы «Фантастика — о чем она?» [122]) не обратили внимания на историю ассимиляции Зоны человечеством, которое сначала отреагировало истерически, затем попыталось подвергнуть ее изоляции, чтобы наконец осмыслить ситуацию и попытаться извлечь из нее материальную пользу. Нарисованная Стругацкими картина в ее социологическом содержании была для них статичной, и уж никакой большой метафоры человеческой судь-

бы они не заметили даже мимоходом. Ситуация были для них столь распространенной, что даже не стоило на ней долго задерживаться — мол, типичный пример антиимпериалистического гротеска, типизирующий в язвительном сокращении логику капитализма. «Если, например, «Патент АВ» Лагина показал, что капитализм способен использовать чудесный «эликсир роста» для такой подлой цели, как выращивание по-детски глупых солдат, то «Пикник на обочине» доказывает, что чудесный магазин космических знаний капиталисты использовали бы как место, вокруг которого есть смысл строить бордели»,— конечно, никто из них ничего подобного не написал, но именно так вкратце выглядело бы прочтение повести Стругацких в соответствии с моделью восприятия «антиимпериалистических памфлетов», каковую модель критики скорее всего и использовали, поскольку молчали о темах, поднятых Лемом. Зато их привела в восторг (в свою очередь, Лемом обойденная молчанием) эволюция Шухарта, которая должна была быть доказательством настоящего аванса для всего научно-фантастического жанра. Наконец-то появился «социально ориентированный» и эволюционирующий персонаж, то есть по правилам социалистического реализма — полноправная литературная личность. Более того, его образ был построен в соответствии с приемом: «показ противоречий между благородным характером героя и его полным социальным невежеством», характерным только для серьезной литературы.

Рэд Шухарт действительно удовлетворял всем требованиям. Он происходил из бедной, изнуренной эксплуатацией рабочей семьи; очень четко подчеркнуто, что это типичный продукт капитализма — «индивидуалист». Ведь единственный человек, который пользовался уважением Рэда, то есть коммунист Панов, погиб потому, что Рэд «привык работать один». Почему Шухарт выбрал преступную долю — да потому, что не хочет «служить им», «быть рабом» — воистину, Стругацкие в демонстрации верности социалистическому реализму превзошли самих себя, и критикам было что отмечать (оказывая писателям в ситуации 1973/1974 годов — тогда уже можно было их рецензировать — жизненную услугу). Особые восторги вызывало моральное «скатывание» жертвы капиталистической системы; сначала Рэд выступает не только в качестве отважного авантюриста, но является добрым, задумывающимся над своими поступками человеком. Однако со временем он начинает совершать настоящие преступления. Границу между добром и злом он переступит, отдавая в руки клиентов «ведьмин студень» — субстанцию, которая может быть использована для военных целей.

Несколько лет спустя он оплатит чужой молодой жизнью возможность прохода к «золотому шару», якобы исполняющему желания, так как это будет последний шанс вернуть здоровье дочери.

В этом последнем эпизоде повести Стругацкие подняли Рэда до ранга символа «неподготовленности к чудесам будущего». Шухарт, стоящий на коленях перед Шаром и пытающийся сформулировать какое-нибудь благотворное желание для человечества, жалующийся, что «они» украли у него даже язык,— становится метафорой каждого, кто не дорастает до предоставленного ему шанса. Сказочность мотива «шара, исполняющего желания» подчеркивает символизм сцены, возможность ее широкой интерпретации,— таким образом, фигура Шухарта, будучи подачкой для властей, одновременно помогла Стругацким выполнить и свои программные устремления.

Кто прав? Я считаю прочтение Лема более правомочным. Правда, русские критики также не ошибались, отмечая, что «Пикник...», в сущности, использовал фабулярные структуры «антикапиталистического памфлета», проводя эксперимент на потребительском (а значит, капиталистическом) обществе. Однако — для склонного к размышлениям и недоверчивого по отношению к демонстративно предлагаемому ему содержанию читателя — была создана еще одна возможность прочтения текста: как (независимо от эксперимента над потребительским обществом) мысленного эксперимента над «человечеством в целом», из которого оно не вышло победителем. Стругацкие не только «создали исходные условия для эксперимента». Они провели его и ясно обозначили результаты. Содержит их оценка нобелевского лауреата Пильмана. Ревич и Смелков не остановились на ней, упоминая об этом персонаже мельком: как капиталистический ученый он не заслуживает доверия, так как в отношении общественного сознания он столь же отсталый, как и Рэд-преступник. Конечно, они заметили эти выводы, но не посчитали их важными для понимания смысла повести — мысли Пильмана были для них частью фона, «историческим колоритом» капитализма, на примере своей «условной и упрощенной модели» [118] скомпрометированного в «Пикнике...» вместе со взглядами своих мудрецов. Лем же, хоть и комментировал повесть лишь под углом содержащихся в ней размышлений о нашей цивилизацией как таковой (она была для него идентична с потребительским обществом) и подчеркивал сам факт экспериментирования, о его результатах говорил немного. Они не соответствовали его тезису о том, что из двух — «большой» и «малой», «могущественной» и «отсталой» — сторон исторического перелома [30, 274],

Стругацкие — что нетипично — эту малую выбрали как место размещения объектива, через который повествовательная действительность представлена нашим очам; что таким способом они добились особенно необычного эффекта.

Так вот, если признать Пильмана за porte-parole писателей, то придется прийти к мнению, что Стругацкие не столько проигнорировали в своем подходе большую сторону, сколько посчитали перспективной иную возможность, так как результаты эксперимента звучат так: показанные факты для другой, не малой и не темной стороны, объективно не существуют, так называемым «переломным событием в истории человечества» не являются, а потому (ведь это столь желанный Контакт!) возникает обоснованное подозрение, имеют ли вообще смысл понятия «переломное историческое событие» и являющееся цепочкой таких событий — «исторический прогресс человечества». Подозрение как раз такого рода, какие во времена Брежнева могли возникать у всех, кто потерял надежду на ожидание реформ...

Вот в разговоре Нунана с Пильманом (а мы помним, что по крайней мере со времен «Попытки к бегству» Стругацкие в диалоги персонажей стали вкладывать свои самые существенные придумки) последний выдвигает следующие тезисы:

— /.../ Мы теперь знаем, что для человечества в целом Посещение прошло, в общем, бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет невезенье. Однако согласитесь, что такое всегда грозило человечеству.— Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся: — Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом — слишком стационарная система, ее ничем не проймешь [6, 451–452].

— Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? /.../

— Но вся беда в том, что человек, во всяком случае, массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. /.../ Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний [6, 454].

Вы спросите меня: чем велик человек? Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее [6, 455–456].

Видимо, следует пояснить, насколько правомочно приписывать вышеприведенным мнениям существенную важность для проблематики повести. Особенно в связи с тем, что существуют и важные причины, по которым советский читатель мог бы считать утверждения Пильмана неправдоподобными. Ведь это капиталистический ученый, нобелевский лауреат — а в 1972 г. это была еще довольно «подозрительная» премия. Его тезисы также контрастируют с утверждениями физика Панова, для которого Зона является «окном в будущее», а люди «созданы для того, чтобы думать». Однако меня не покидает ощущение, что доверие к мыслям Пильмана Стругацкие стараются подорвать с помощью столь затертых мотивов, что их может не заметить читатель, для которого и написана повесть (что однако не помешало бы сослаться на эти мотивы, если бы были высказаны обвинения в распространении пессимизма и вражеской идеологии), а повышает доверие к этим мыслям все то, что в «Пикнике на обочине» свежо и оригинально. Прежде всего, сама суть фантастического замысла, снижающего человечество до роли муравьев, вся «мусорная» метафорика произведения. Ведь если понимать «историософический эксперимент» Стругацких как сюжетное тестирование с помощью щепотки фантастики всего человечества (а не только капиталистического общества) на способность к обучению, критическому мышлению и анализу действительно новых явлений, то нужно честно признать, что этот экзамен человечество постыдно завалило.

*

«Пикник на обочине» был победой писателей, достигнутой в уже неблагоприятных (хотя еще и не катастрофических — скандал с «Гадкими лебедями» был еще впереди) условиях. Они доказали, что фантастика может поднять значительную философскую проблематику и высказать даже в условиях «приглядывания за ней» плохо видимые истины.

Однако это не меняло существенно отрицательного факта: эта повесть смогла более-менее выполнить свое назначение как одна из четырех, написанных согласно разобранной выше, «заменяющей» программе. И то, скорее всего, благодаря тому, что им удалось напасть на чрезвычайно счастливый помысел... «Пикник на обочине» следовало бы считать скорее случайным достижением, нежели результатом действия правила.

А потому, даже если у авторов действительно были иллюзии, когда они выдвигали и представляли взгляд об общественной ценности озна-

комления читателя с парадоксами Контакта,— они должны были быстро от них избавиться. Доказательством этого является обстоятельный «фантастический роман» — «Град обреченный», написанный в годах 1970–1972 и 1975, без расчета на быструю публикацию, если учесть общественно-политическую ситуацию того периода и неприемлемое до недавних пор для цензуры содержание произведения, фактически скрываемого Стругацкими.

Братья, пишущие «Град...» «в стол», а скорее, с надеждой на публикацию через годы (неспроста работа прерывалась в момент наитягчайших испытаний и была возобновлена, когда горизонт слегка прояснился), не задумываясь о возможном издателе и не описывая всего открыто лишь в той мере, в какой требовали этого от них нормы фантастического жанра, спокойнейшим образом вернулись к литературному построению «упрощенных социологических моделей».

Идея, на которой построена фабула, была следующей. Таинственные Наставники предлагают людям XX века — как некогда их предкам — участие в некотором Эксперименте. Добровольцев самых разных наций и происхождений селят в Городе, расположенном в пределах неопределенной «параллельной реальности» или искусственной среды странной геометрии, если он вообще не является частью загробного мира — такое допущение также вполне правдоподобно. Общество этого «обреченного города» живет по навязанным экспериментаторами правилам, таким, например, как обязательность ежегодного, случайного изменения профессии, и подвергается воздействию различных раздражителей.

Таким образом Стругацкие построили в своем романе модель общества и демонстрировали на нем результаты действия универсальных социологических законов. Произведение состоит из двух «книг». Первая из них содержит три части: «Мусорщик», «Следователь», «Редактор» (названные в соответствии с должностями, которые исполняет во время действия данного эпизода главный герой романа — Андрей Воронин). Части: четвертая — «Господин советник», пятая — «Разрыв непрерывности» и заключительная — «Исход» составляют вторую книгу. Большинство этих «частей» посвящено рассмотрению поведения общественных групп.

Первая, например, содержит исследование реакции демократического и самоуправляющегося (хотя уже и болеющего бюрократизацией) общества на опасность. На Город наступают огромные стада павиа-

нов. Сначала возникает паника, затем люди организуют самооборону. Но эта опасность особенная: скорее смешная, чем грозная — военизированные отряды сражаются с пустотой (дословно), потому что обезьяны забираются на крыши, а достать их там невозможно, потому что Наставники предусмотрительно отобрали у всех огнестрельное оружие. И тогда начинается самое интересное: в силу инерции, так как «армия должна иметь врагов», отряды начинают обращать внимание на кого угодно, лишь бы был предлог. Своеобразно реагирует и администрация. Сначала она склонна не замечать беспорядки, а с момента, когда она уже вынуждена их замечать, пытается распоряжениями включить затруднительное явление в ряд хорошо известных. Павианов не удается выгнать — кому-то приходит в голову снабдить их ошейниками и «приписать» жителям в качестве домашних животных.

В третьей части мы видим механику государственного переворота, показанную с особым учетом роли, каковую играет в нем либеральная интеллигенция. Над Городом «выключено» солнце. Скоррумпированное, недееспособное правительство не в состоянии организовать людей во время бедствия и предупредить беспорядки. Этим пользуется так называемая партия Радикального возрождения: провозглашая лозунги народовластия, солидарности, морального обновления, организует волнения, свергает легальную власть и приступает к наведению «порядка», используя для этой цели виселицы и огнеметы. Либералы же, когда-то в соответствии с законом атаковавшие старые порядки и помогавшие «обновителям» (без ясного понимания, кем они являются на самом деле), после переворота оказываются окружены такой безусловной опекой бывших союзников, что по сравнению с нею предыдущее давление кажется приютом свободы.

Четвертая — это в свою очередь картина «общества достатка». Фашисты решили экономические проблемы, выдвинули якобы объединяющие население программы. Новый Президент Фриц Гейгер (когда-то унтер-офицер вермахта) организует «великую стройку», демагогически объявляет, что Эксперимент закончился и теперь народ должен свершить «эксперимент над экспериментаторами». Но в эти неправдивые и пустые (зато весьма напоминающие нам некоторые реальные лозунги и мероприятия) слоганы никто не верит. Общественные потребности обеспечены, но при этом у людей отобран смысл жизни: в любой момент могут начаться «сытые бунты», самоубийства, безумства смертельно тоскующего люда, и в Городе неминуемо формируется status quo, уже известное читателям Стругацких из «Хищных вещей века».

В предпоследней части братья анализируют поведение маленькой, подчиняющейся жесткой дисциплине и давлению тяжелых условий группе, то есть экспедиции, которую проводит советник Воронин, по распоряжению Президента отправившийся в неисследованные территории условного «севера».

К сожалению, социологические «эксперименты» Стругацких, по крайней мере, по моему мнению, сейчас уже не слишком актуальны и интересны. Ба! Их результаты представляются нам банальными. Тем не менее, в те годы, когда была написана книга, и для тех, для кого она была написана, она могла быть откровением. Вдобавок, констатация знаний о человеке писателями не только продумана, но прямо провозглашена, устами Иосифа Кацмана, интеллигента, а может быть, и диссидента, еврея, который покинул СССР в 1968 году, подружился с Ворониным и выполняет «обязанности» резонера. Я уж не вспоминаю о том, что «модель», в сущности, была весьма упрощенной — достаточно сказать, что Город проходит все эти перемены в течение неполных 6 лет.

По счастью, идейное содержание «Града обреченного» не ограничивается научной популяризацией. Я имею в виду не только то, что необычные, неопределенные контуры представленного мира, особенно в последних частях текста, вполне достойны пера авторов «Улитки на склоне». Прежде всего Стругацкие, воспользовавшись полученной дорогой ценой (и, может быть, не таким способом, которым бы хотели ее получить) творческой свободой, написали книгу также и об опыте своего поколения, а также о вытекающих из этого опыта экзистенциальных результатах.

Андрей, ленинградец 1928 года рождения, звездный астроном по образованию, покинул свою реальность в 1951 году и в первый период своего пребывания в Городе был типичным молодым сталинистом. Он мыслит в категориях борьбы, «пребывания на своем посту», послушания власти, полной отдачи Эксперименту, отождествляемому с «построением коммунизма», дисциплины, беспощадности к врагу и — несмотря на то, что сам является интеллигентом — презрения к этой прослойке. Он смешон, когда грустно констатирует отсутствие в своем товарищеском кругу (а там есть и Кацман, и Гейгер, и японский литератор, и русский крестьянин, и американский профессор, китаец и проститутка) милого сердцу «единства». Он страшен, когда выдает друга палачам во имя профессиональной обязанности полицейского, а также следующего суждения:

> Что такое личность? Общественная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные законы[79] [7, 292].

По ходу действия наш комсомолец переживает два мировоззренческих кризиса.

Прежде всего побеждает в себе тоталитарные устремления. Процесс пробуждения в нем сомнений в правильности юношеской веры показан очень пластично и метафорично в эпизоде его полицейской карьеры. Воронин внутри таинственного Красного Здания наяву переживает «бред взбудораженной совести» [7, 281], видение игры в шахматы с укрытым под определением Великого Стратега Сталиным, во время которой думает, например, что

> Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника [7, 248].

Фигурами Стратега являются люди, которые во время игры «стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток» [7, 249] (Стругацкие в этом эпизоде делают прозрачные аллюзии на судьбы среди прочих Буденного, Троцкого, Тухачевского). Андрей защищается призраками своих родных, близких и друзей, пока не чувствует, что «он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог» [7, 250], тем самым делая выбор, подобный тому, который делали другие положительные герои авторов (например, Кандид).

Идейные перемены изображены при помощи традиционного психологического анализа, весьма убедительного: особенно удачны душевные метания Воронина, который — поставленный между верностью другу и собственными привычками фанатика и требованиями полицейской службы — напыщенными фразами победил и здравый рассудок, и только что разбуженный моральный гуманистический инстинкт, поступил так, как поступил... чтобы только «по факту» почувствовать столь чудовищный стыд, способный перевесить чашу весов.

Таким образом, первой точкой мировоззренческой эволюции Воронина окончательно становится демократизм, сторонником которого он

будет, став главным редактором — после смены профессии — одной из газет Города. К сожалению, скоро окажется, что новые идеалы будут совершенно беззащитны против насилия — второй точкой постижения станет утрата всех иллюзий.

И такой разочарованный, служащий новому режиму в качестве высшего чиновника, делающий карьеру Воронин, единственной страстью которого является коллекционирование старого оружия (чем он напоминает Аполлона — филателиста), будет героем «второй книги». Но теперь его портрет более схематичен. И ничего удивительного, ведь конструируя новое воплощение героя, Стругацкие уже не могли прибегнуть к личному опыту. Этот Воронин не был, как в «первой книге», обобщенным символом их поколения, которое в своем развитии прошло путь от сталинизма к демократическим стремлениям. Он стал пессимистом и вряд ли способен к дальнейшей эволюции.

Но вместе с Кацманом он представлял необходимый фундамент для извлечения окончательных выводов в конце романа.

Итак, экспедиция из пятой части потерпела фиаско: бунт, стрельба, бегство уцелевших. Отсутствовавшие в это время в лагере Андрей и Кацман (он тоже выбился в люди — стал экспертом, которого Гейгер держит при себе, чтобы он говорил ему правду) остаются на бездорожье без шансов на возвращение. И решаются на нетривиальный поступок: дойти до «конца света» (и что-то такое существует в подчиненном странной физике мире Наставников). На последних страницах возвышенные до ранга символа друзья бредут по каменистой пустыне, время от времени оставляя под насыпанными из камней пирамидками описание сделанных открытий. А в момент перед смертью Андрей вспоминает «рецепт жизни», который предложил ему друг: если невозможно верить ни в тоталитарные идеалы, ни в идею, которая проиграла конфронтацию с ними, а жизнь без какой-либо веры пуста и невыносима, следует посвятить себя участию в подъеме и использовании вечных ценностей культуры, служить науке и искусству, совершенствоваться внутренне... стать элитой, которая никого и ничто не хочет притеснять — аристократией духа.

Андрей гибнет, и кажется, что эта мысль будет последней открывшейся ему жизненной истиной. Кажется, так как в последнем абзаце оказывается, что смерть была для Воронина лишь окончанием первого круга бытия. Он снова стал двадцатилетним юношей в Ленинграде, и ему еще придется пережить немало [80].

Мораль «Града обреченного», по крайней мере для памятной разгромом диссидентов первой половины семидесятых годов, была необычайно выразительной. Возникающие же при чтении практические и общие жизненные выводы адресованы так точно, как никогда не случалось в книгах, написанных Стругацкими с надеждой на нормальную публикацию. Поэтому не удивительно, что роман увидел свет лишь на переломе 1988 и 1989 годов.

«Град обреченный», произведение эстетически неровное, думаю, перерабатываемое и «дописываемое», представляет в творческих экспериментах Стругацких если не переломный, то переходный момент. На его страницах столкнулись все, кроме характерных для типичной НФ, до тех пор используемые писателями литературные техники и видовые схемы. Почти все: начиная от связанных с популяризацией науки, через свойственные утопиям описания общественных структур, до создания видений, управляемых законами галлюцинации и сна; также и сам фантастический замысел обладал достоинством большой метафоры. Может быть, не такой большой, чтобы охватывала своим радиусом действия — как в «Пикнике...» — все человечество, но наверняка касающейся всех тех, на ком реально проводятся «исторические эксперименты». Вернулись также Стругацкие к концепции введения в фантастическую действительность (или такую, где кроме фантастических существуют и элементы жизненной эмпирики) реалистично взятых, не скрывающихся за масками жителей фантастических стран, представителей своего поколения. Прием этот, до того спорадически встречающийся у братьев, в этом произведении получил новый оттенок. Андрея подвергают фантастическим тестам не приключенческого (как в «Извне») и не пародийного (как в «Понедельнике...») характера, но испытаниям, которые могут служить прозрачной аллюзией на события советской истории и переживания, которые стали уделом поколения Аркадия и Бориса. На подобных идеях будут основаны последующие произведения. Одно из них — «За миллиард лет до конца света» даже как бы составит с первой книгой «Града...» дилогию.

К «Граду обреченному» восходит также особая игра Стругацких с читателями: авторы будут далее снабжать некоторых героев элементами собственной биографии. Работа над романом оказала также существенное влияние на «сформулированную поэтику», содержащуюся в программных декларациях Стругацких семидесятых и восьмидесятых годов.

Глава VI

СОВРЕМЕННЫЕ СТРУГАЦКИЕ

В качестве вступления —— Общие черты произведений 1975 – 1985 годов — Анализ программных выступлений этого и позднейших периодов —*— Два направления в творчестве братьев в последние пятнадцать лет — Повести развитой условности НФ: «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» — Успех «Жука...» у критиков и читателей — Направление «фантастического эксперимента» над современным человеком. «За миллиард лет до конца света» — Правила игры с цензурой — «За миллиард лет...»: эпитафия диссидентскому движению и реабилитация — «Хромая судьба» как оптимистическая метафора судьбы писателя —*— Подведение итогов: обзор условности литературной фантастики в творчестве Стругацких; новый перелом?*

От «Пикника на обочине» и «Града обреченного» в принципе наступил период «современных» Стругацких, которые, как только утих гнев властей предержащих, без большого перерыва (если, конечно, не считать тринадцатилетнего запоздания публикации второго из названных произведений), в меру гладко и из года в год все в больших «порциях» стали доходить до весьма благосклонного читателя.

В сентябре 1976 года «Знание — сила» начинает публикацию повести «За миллиард лет до конца света», и последующее десятилетие выглядит так: в 1976–1978 гг. возникает «Машина желаний» и детская «Повесть о дружбе и недружбе»; даты «октябрь 1978 — апрель 1979 года» венчают текст «Жука в муравейнике»; в 1982 году будет закончена «Хромая судьба», а двумя годами позже — «Волны гасят ветер» (между тем будет написан рассказ «Подробности жизни Никиты Воронцова»); наконец, один из мотивов «Хромой судьбы» разрастется до размеров сценария: «Пять ложек эликсира».

*

Все вышеперечисленные позиции имеют следующую общую черту: действительность, представленная в них, тестируется неожиданно введенной в нее каплей необычности символического или условного характера и неопределенной формы. Существует несколько воз-

можностей конкретного применения этого принципа. Необычный элемент может быть построен в соответствии с рациональными предпосылками или же без таковых; другими словами, своим существованием он нарушает или нет законы тестируемого мира. Он может обладать собственным содержанием, а может быть, в большей или меньшей степени, также условной фигурой. Он может быть более или менее «обширен» (формально может даже быть «фантастической реальностью», в которую вводится подвергаемый эксперименту «предмет», как это частично реализовано в повести «Град обреченный»). Но он всегда будет скрывать в себе необъяснимую тайну и разнообразные перспективы для поисков свойственных ему и обозначаемых им смыслов.

В свою очередь, тестируемая действительность также может быть различного рода. Это может быть реалистично «отраженный» в произведении мир современности (в качестве определенного элемента этого мира может быть, например, типичный герой). Тестируемая действительность может также складываться из более или менее условных мотивов. Чем больше условность, тем в большей степени представленный мир произведения будет схематическим, обобщенным символом «человечества вообще», «человека вообще». Наконец, можно тестировать типичную действительность НФ: или же используя аллюзии по отношению к реальному миру, или же реализуя футурологические амбиции; или же и то, и другое вместе.

Рассматриваемый с точки зрения этих различий «Пикник на обочине», например, был повестью, где «тестирующий элемент» имел полностью рациональный характер (пришельцы), одновременно, в связи со своей неопределенностью, становился символом, создавал «мусорную», унижающую человечество метафору, а на высшем уровне обобщения был знаком переломного исторического события «вообще», а точнее, события, предназначенного таким стать. В то же время «тестируемая действительность» этой книги имела высоко смоделированный и схематичный характер. Изначально будучи научно-фантастическим видением ближайшего будущего капиталистического Запада, в результате того, что фабула «Пикника...» опиралась на схемы «антиимпериалистических памфлетов» и содержала типичные для этого жанра мотивы, эта действительность утратила футурологические качества, чтобы стать условной, литературной, и наконец подняться на уровень символа недостойной истории вечно неуклюжего человечества.

Следующие позиции самыми различными способами соединяли и комбинировали вышеперечисленные варианты. Например, «Машина

желаний» использовала выходящий из «Пикника...», только теперь уже полностью условно трактуемый мотив исполняющего желания «Золотого Шара», чтобы спровоцировать между не имеющими имен и фамилий Писателем, Профессором и Проводником-бандитом споры, представляющие различные моральные трудности принятия (или не-) тезиса о невозможности переламывания человеком фатального, выходящего из его «натуры», определения. А «Пять ложек эликсира» с помощью столь же условного «мафусаллина» и пьющих его бессмертных вносят смятение в жизнь и мысли «сфотографированного с натуры», заурядного советского работника пера. Цитирую автоинтерпретацию Аркадия:

> Что мы хотели сказать в «Пяти ложках эликсира»? Вы помните рассказ Герберта Уэллса «Чудотворец»? /.../ Это коротенький рассказик, но как прекрасно реализовал в нем Уэллс свое главное намерение — показал всю духовную убогость английского обывателя, получившего чрезвычайный дар и перепуганного этим даром. Вот и мы, в «Пяти ложках...», берем самого обычного современного советского человека и смотрим, как он ведет себя в фантастической ситуации. Этот простой советский человек имеет возможность получить бессмертие. Наш герой, который вовсе не герой в буквальном значении этого слова, а, наоборот, абсолютно обычный, простой человек: и слабого характера, и не очень ему везет в личной жизни, и писатель из него довольно скверный,— поступает так, как следует. Прежде всего он понимает, каким страшным может быть дар, который он может получить. Благодарение богу, что эти бессмертные — «динозавры». А если дар попадет в руки тому, кто мог бы навлечь на людей страшные несчастья? Нет, теперь наш герой, зная это, будет их оберегать, будет заботиться о том, чтобы этим даром не воспользовался какой-нибудь новый Гитлер или другое чудовище...
>
> Наш обычный современный человек в фантастической ситуации — это замысел. А нашей целью было найти и показать слабую точку сегодняшнего времени [46, 39—40].

Трудно определить, какую из «слабых точек» старший из Стругацких имел здесь в виду, я бы предпочел трактовать «Пять ложек...» как возникшую на полях более важной работы литературную забаву. Может быть, за этим неясным символом, которым была бы история, если принять ее за символ, скрыто очередное брошенное братьями осуждение этического прагматизма? Во всяком случае, те из перечисленных произведений, о которых через минуту пойдет более серьезный разговор, несомненно содержат в себе глубокое значение.

Тут следует сделать предупреждение: ситуации «фантастического эксперимента» можно было обнаружить и в предыдущих работах на-

ших авторов. Практически во всех — а впервые кристально ясно такая ситуация проявилась в опубликованном еще в 1962 году рассказе «Человек из Пасифиды», повествующем о том, как в оккупированной Японии два мошенника выдавали себя за жаждущего торговать алмазами жителя глубин и его переводчика, и как на эту «удочку» попались американские военные и японские бизнесмены. Кроме того, «эксперимент» является одним из основных приемов памфлета и принадлежит к элементарному репертуару литературных инструментов, используемому и в других жанрах. Но далеко не одинаковы сознательное... и бессознательное его использование. До этого писатели прибегали к нему как бы автоматически и наравне с другими приемами. Теперь же он стал главным моментом в провозглашенной творческой программе, «сформулированной поэтике», вырос до роли главного приема, от которого зависят остальные элементы содержания и формы произведения. И с его помощью Стругацкие достигли в своих книгах эффектов, ранее менее заметных.

И второе предупреждение: слово «теперь» следует понимать почти дословно, ибо братья решились раскрыть скрывающий их мастерскую заслон примерно в 1983 году. До этого они вообще мало печатались в журналах и не имели возможности выступить с оглашением своего «кредо». Чтобы такая возможность появилась, поток публикаций и интервью должен был стать более широким, ибо развитая авторефлексия возможна лишь в том случае, когда автор может выступать в качестве мастера и учителя, когда может диктовать условия редакциям, когда не должен поспешно выкрикивать только самое наболевшее (чтобы защитить последнее изданное произведение, чтобы обратить внимание на сущность жанра, чтобы высказать свое мнение о текущем моменте...). И еще: должна была измениться политическая ситуация, так как до смерти Брежнева писатели, хотя и как бы вернувшиеся в конце предыдущего десятилетия на равных правах в «истеблишмент» (сигналом «получения прощения» была положительная рецензия в «Правде» от 8 мая 1976 г.), все-таки не слишком-то могли себе позволить говорить открыто.

Результатом вышесказанного стало то, что хотя проза Стругацких до и после этой цезуры отличается несущественно, взгляды писателей, комментирующих свои книги в журналах, разнятся. Исходя из этих предпосылок, я все же не принимаю близко к сердцу эти различия и не считаю ошибкой возможность иллюстрировать гипотетические посылки, сопутствующие братьям при написании книг в семидесятые годы, даже их выступлениями десятилетней давности.

Некоторые из этих посылок остались вообще неизменными. Особенно те, которые относятся к генезису литературной фантастики, ее равноправия с «большой литературой», делению на «научную» и «реалистичную». По-прежнему братья считают, что фантастика должна выполнять важные познавательные («уловить, как будущее вторгается в настоящее» [47]), общественные функции[81]; вращаться в определенном круге проблем[82]; наконец, быть сражающимся искусством — «полем столкновения коммунистического воспитания с пережитками палеолита в сознании людей» [28, 101]. Новым, характерным особенно до 1983 г. акцентом, была попытка определения «собственными словами» различий, существующих между западной и советской фантастикой, о чем до того Стругацкие практически не говорили. Отличие — указывали они теперь [28; 36; 37] — заключается в индивидуализме буржуазных героев и коллективизме отечественных, а также в пессимизме или оптимизме взгляда на человеческую натуру, а значит, и на возможности человечества в будущем. Позднее, насколько я знаю, такое демонстрирование «идеологической бдительности» исчезает.

Наконец, и новой, и более развитой является та часть «сформулированной поэтики» писателей, в которой речь идет не о жанре как таковом, но о способе, которым с а м и Стругацкие используют фантастику, как именно они пытаются соответствовать выдвинутым (не важно, что перед собой) общим постулатам.

Благоприятным для рассмотрения исходной точки является определение:

> Фантастика /.../ есть такой метод отражения действительности в художественных образах, когда необходимым элементом является введение чего-то необычного, не совместимого с современными понятиями [29].

Попробуем спросить писателей: какую «часть» действительности они хотят «отражать», что означает «что-то необычное», какую функцию оно имеет в произведении и почему его введение является необходимым? Поинтересуемся также, кто является потребителем таких текстов по мнению авторов.

На первый из вопросов творцы отвечали, что прежде всего они интересуются миром проблем и идей, а значит, их литературная деятельность имеет чисто спекулятивный характер, «ставит мысленный эксперимент» [32]. Косвенным образом, но сильно свидетельствуют о том, что они осознавали этот факт, признания, касающиеся специфики творческого процесса, например:

Идей и замыслов у нас всегда было сколько угодно. /.../ Но вот, зачастую почти незаметно для нас самих, что-то одно начинает вытеснять все остальное, заслоняет весь видимый мир, все ярче высвечивая в нем некий участок. И наступает момент, когда мы, набрав в легкие побольше воздуха, ныряем в недра этого участка. Дальше со скрипом, с треском, с разрывами, с рывками и отступлениями идет самая сложная работа. Более или менее четкое формулирование проблемы. Выработка фабулы, оптимальной для постановки этой проблемы. Отбор действующих лиц, наиболее подходящих для этой фабулы. Создание сюжета, дающего максимальные возможности для действующих лиц [11, 389].

Когда-то, как мы помним, Стругацкие также признавались в одновременной приверженности к психологическому реализму, в том, что «делают портреты с натуры» известных им людей, подчеркивали, что стараются заботиться о сохранении правдоподобия переживаний и характеров. Однако герой и его переживания имеют для них второстепенное значение, как и вообще притязания на психологизм. В конечном счете, похоже, что в соответствии с соцреалистической традицией интересует Стругацких лишь одна часть всего космоса объективных проблем: некоторые современные общественные проблемы. Свидетельствуют о том многочисленные подтверждения. Например:

С течением лет /.../ мы чувствовали все большую потребность в обдумывании своих переживаний, в показе того, как мы представляем себе окружающий нас мир [46, 39].

Мы всегда старались и стараемся писать о человеке и обществе, о влиянии общества на человека, об изменении общества под влиянием человека [41].

О том, какие проблемы конкретно их занимают, Стругацкие говорили вполголоса. Как много раз и до того, отмечали: анахронизм общественного поведения, мещанство, потребительское отношение к жизни, опасность бесконтрольного развития науки и цивилизации. На то, что в их интересах, однако, произошло какое-то изменение, указывало, например, следующее: «Главный вопрос, который мы поднимаем в своих книгах,— это ответственность каждого человека перед историей, перед семьей, перед человечеством в целом» [34].

Чтобы выполнить стратегические писательские намерения, необходимы инструменты. Один из них также имел онтологический статус «частицы действительности» и — для более важных надобностей, нежели получение литературного «портрета» — должен был стать «отраженным». Этим инструментом была фигура обычного современного

человека. О роли этого мотива писатели вспоминали, протестуя против повышения футурологической ценности их прозы, против комплиментов, которыми их награждали, называя самыми способными обозначить тему «человек коммунизма»:

> Мы не пророки. Мы — рупор идей. Мы описываем вчерашнего человека, который сегодня создает завтрашний день, готовый на него обрушиться. Это серьезная проблема: человек с устаревшей моралью, устаревшими привычками и взглядами на жизнь, стоящий перед будущим [39].

Было желательно, чтобы в ходе действия этот герой был подвергнут пробе морального выбора.

Другим необходимым в произведении мотивом для Стругацких был — ясное дело — фантастический элемент. Он имел решающее значение для жанровой принадлежности сочинения, которое относится к фантастике тогда, когда в нем «существенную роль играет элемент необычайного (пока еще невозможного или невозможного вообще)» [33, 152]. Полагаю, что уточнения в скобках следует понимать как деление на мотивы, типичные для НФ (то есть противоречащие нашему опыту, но не чувству рационализма), или на мотивы чисто условные (возможно, такие, которые — даже если и не имели поддержки в литературной и культурной традиции — противоречат нашему знанию о законах мира так же, как условные аллегории, если эти аллегории понимать буквально). Эту другую разновидность Стругацкие, видимо, ценили больше, поскольку Аркадий, когда спросили его мнение о научно-фантастической живописи, ответил:

> Фантастика не в том, чтобы изображать небо с тремя солнцами. Меня это не поразит. А поразит другое: если, скажем, наше солнце в течение дня три раза взойдет на небосводе [39].

О первых мотивах братья говорили очень мало, как о чем-то маловажном, специально подчеркивая свою бесцеремонность по отношению к научно-фантастическим идеям — чужим и своим. Характерным является, например, следующий фрагмент ответа на письма читателей, которые были присланы (в количестве 95 штук) в редакцию журнала «Уральский следопыт»:

> Мы принадлежим к тем фантастам, для которых фантастика давно уже не является темой. То есть мы с интересом и удовольствием читаем талантливых авторов, у которых фантастический элемент сам по себе есть точка приложения творческих усилий, так, например, обстоит дело

с утопическими и антиутопическими произведениями, но для нас-то это не так. Странники и все прочее для нас — не более чем антураж, не имеющий никакого самодовлеющего значения, этакие вешалки, на которых мы вывешиваем на всеобщее обозрение беспокоящие нас проблемы [11, 390].

Выражение «самодовлеющее значение» следует понимать скорее как «наиважнейшее значение для общего смысла произведения». Используя знание о книгах, рассказ о которых еще впереди, уточним, что речь здесь идет о том, чтобы не сводить главный смысл произведения к футурологическим, «научным», и даже аллегорическим значениям фантастического вымысла. Этот вымысел, конечно, должен иметь какое-то имманентное значение (коль скоро фантастическое, чем больше оно определено, тем более является лишь комбинацией реальных явлений), но следует признать, что Стругацкие далеко продвинулись в придании фантастическим элементам неопределенных, призрачных, символических образов, и временами действительно трудно отыскать содержание, свойственное вымышленному «чему-либо» в соответствии с его объективной формой и природой, а не значения этого «чего-то» для героев (эти старания отличают новое творчество братьев от старого, когда они не уклонялись от ясно адресованных аллегорий, как в «Улитке на склоне», «Сказке о Тройке», «Обитаемом острове», уж не говоря о более ранних позициях, до «Возвращения», когда речь шла о футурологическом правдоподобии вымысла). Но все-таки нельзя «не определять» идеально.

Определяя значение фантастического элемента в рамках смысловой структуры произведения, наши авторы назвали его «катализатором сюжетных и тематических ситуаций» [42]. Кроме того, фантастический элемент (элементы) в смеси с взятыми из реальной действительности участвовал в создании видения «фантастического мира» сочинения.

Точка соприкосновения фантастического с реальным, место одновременного использования двух основных инструментов имеет первостепенное значение для образа всего произведения и его эстетической ценности:

Но чаще все-таки мы идем от ситуации, от способа проникновения фантастического в реальность, от некоей модели мира. Удачно придуманная ситуация — это зачастую половина дела: сцена готова, декорации расставлены, пусть теперь герои входят и начинают здесь жить... [11, 381].

Фантастическая ситуация, встреча героя с чем-то необычным была для ссылающихся на Уэллса («Человек, который творил чудеса»), Го-

голя («Нос»), Пушкина («Пиковая дама»), Булгакова («Мастер и Маргарита») Стругацких главным движителем проблем, которые они хотели привести в движение. Предположим, что герой, трактуемый как реалистическая фигура, возможно, но не обязательно могущая также быть воплощением идеи или представителем человечества как такового (или — что реже — трактуемый исключительно как это воплощение, лишенный выразительной индивидуальности), встречает пришельца. Тогда главный смысл произведения не следует искать в особенностях характера героя или в особенностях пришельца, а в том, что из этой встречи вытекает:

> Ситуация контакта — это только пробный камень, который литература использует для испытания человека и человечества. Фантастика знает несколько таких пробных камней. Гибель цивилизации. Изобретение, преображающее мир. Путешествие в прошлое или в будущее. Но не может быть целью произведения, например, описание столкновения Земли с гигантским астероидом. Это не более чем средство, один из художественных приемов, способ рассказать о человеческих судьбах и судьбах нашего мира [11, 382].

Фантастическая ситуация является не только носителем проблемы произведения и не только это ее обуславливает. Будучи ее составной частью, фантастический элемент сам или вместе с другими участвует в создании образа фантастического мира произведения, о котором так говорил Борис Стругацкий:

> Terra incognita, мир, который никто никогда не видел, мир, лежащий за пределами человеческого опыта. /.../ Никто не знает, что это такое: мир, в который вторгся человек-невидимка; или мир далекого будущего; или мир, в котором приняли и расшифровали послание сверхцивилизации [11, 381].

Из уэллсовского примера видно, что понятие «фантастический мир» братья прежде всего понимали как картину, отражающую современный авторам мир, лишь «офантастиченный» необычным явлением (как это было, например, в старых утопиях). Из остальных — что подобную же функцию выполняла типичная обстановка НФ, и не исключено, что и сказки.

Исходя из соображений здравого рассудка, что поверить и проникнуться можно лишь драмой, разыгрываемой в достоверных декорациях (тем более если это необычная драма), к «фантастическому миру» своих книг писатели предъявляли серьезное требование: чтобы знакомя-

щийся с ним читатель все время имел ощущение правдоподобия. Эту цель они надеялись достичь следующими методами:

— старательным подбором деталей — писатель должен постоянно властвовать над ними, не позволять себе ни малейшей непоследовательности, придерживаться раз установленных реалий времени, пространства, культуры, характера и т. д.;

— трактовкой на равных правах реалистических и фантастических деталей, заботой о том, чтобы фантастическое никоим образом — как выражался Казимеж Выка — «не высовывалось» [123] из реального и наоборот[83];

— использованием для представления фантастического элемента и мира натуралистичной техники описания, которая используется обычно в случае введения реалий, «взятых из жизни» (что — добавлю — является единственной возможностью достижения эффекта правдоподобия при введении в произведение иррационального или чисто условного мотива)[84].

Достоверность и правдоподобие изображаемого мира, по мнению Стругацких, предопределяет наличие соответствующих условий для правильного восприятия произведения, потому что лишь тогда, когда «фантастическое делается узнаваемым, удобопонятным, становится элементом реального, хорошо знакомого мира, /.../ оно может вызвать сопереживания, теперь его можно любить, ненавидеть, бояться, презирать, восхищаться им или осуждать его» [11, 382–383],— говоря о «сопереживании», Борис имел в виду, как я полагаю, ожидаемое отождествление читателя с персонажем. Чтобы достичь этого «сопереживания», братья сознательно использовали персональную повествовательную перспективу:

> Обычно у нас читатель знает то же и только то, что знает главный герой. И ищет выхода из разнообразных тупиков и ловушек вместе с главным героем. И должен сделать свой выбор вместе с ним... [11, 381–382]

Если принять во внимание, что создание убедительного, правдоподобного и затрагивающего читательские эмоции характера является вторым после «правдоподобия декораций» условием sine qua non успеха вышеуказанной стратегии, то выбор этой, существенно увеличивающей личностный формат героя, информационной политики по отношению к читателю был весьма удачным.

В обильной программно-творческой деятельности восьмидесятых годов Стругацкие касались и других вопросов.

Прежде всего, несмотря на то что проблемы, интересующие наших авторов, можно было бы принципиально решать и инструментами «обычной», реалистичной литературы, они должны были доказать превосходство фантастики, разумность выступления именно в этом жанре. Писатели указывали на тематические выгоды (т. е. на то, что далеко не всего можно достичь, используя реализм):

> Фантастика вводит в повествование элемент необычного, даже невозможного, которое помогает полнее очерчивать качественно новые социальные (а не технические!) проблемы, возникающие в нашей жизни,— причем иногда проблемы не очевидные, а те, что еще скрыты, неразличимы [47].

Аргумент не был убедительным, так как тезис «нельзя "отразить" то, что не видно» правдив лишь при довольно примитивном понимании реализма.

Я полагаю, что более действенными были напоминания об эстетических выгодах, о получении писателем-фантастом в свои руки «особых в сравнении с нефантастической литературой средств», которые не только «позволяют исследовать человека сегодняшнего дня в тенденциях его развития» [41], но также дают «возможность моделировать ситуации, в которых можно освободиться от случайного и несущественного, создавать идеальную обстановку, позволяющую выявлять «зерно» опыта текущей жизни» [34]. Кроме того — повторимся — введение в повествование фантастического элемента приводит к заострению каждой созданной писателем ситуации, служит своего рода «преломляющей призмой, дающей возможность по-новому увидеть привычные картины» [33, 153] — отсюда особая эмоциональность жанра, решающим образом помогающая в контакте с читателем.

А в сумме — как мы уже цитировали — по Стругацким:

> Резкость и новизна постановки самых важных и злободневных проблем современности и способность до любых необходимых пределов катализировать таинственный процесс воздействия книги на читательское восприятие — вот два важнейших качества фантастики, делающие ее столь привлекательной и с писательской, и с читательской точек зрения [33, 153].

Далее братья время от времени высказывались на тему общеэстетических требований, которым должно удовлетворять научно-фантастическое произведение. Прежде всего, они идентичны тем, которые предъявляются к произведениям, признаваемым высокохудожественными:

Всё, что хорошо для реалистической литературы (полнокровие и достоверность образов, искренность, глубина мысли, эмоциональность, ясность и яркость языка), хорошо и для фантастики. Всё, что противопоказано реалистической литературе (штампы, скудомыслие, пошлость, искажение правды человеческих отношений), противопоказано и фантастике. И даже основной принцип писателя-реалиста: «Пиши только о том, что знаешь хорошо», формулируется для писателя-фантаста в точности так же, но с маленьким добавлением: «...либо о том, чего никто не знает» [11, 341].

Мы помним, что дело эстетического равноправия фантастики имело — из-за своеобразного, советского взгляда на литературу — долгую историю. Стругацкие выражали здесь постулат своего поколения, отмеченного желанием к освобождению, взамен за него готового отречься от предложенного им еще в шестидесятых годах «льготного тарифа» — права на духовно-познавательный и иной примитивизм, который якобы полагался фантастам в связи с особенной тематикой их книг.

Намного реже встречалась, даже в описываемом десятилетии, такая вот открытая поддержка (принципиально отброшенных соцреализмом) сенсационности и развлекательности в литературе:

Мне претит пуританство некоторых наших критиков: развлекательность — смертный грех. Я считаю, что читателю должно быть интересно читать,— и это может вовсе не противоречить идейному содержанию произведения. Более того, острый сюжет способствует лучшему усвоению идеи — ведь психология, мышление многих, особенно молодых людей, таковы, что даже самые глубокие мысли они воспринимают через сюжетную динамику [47][85].

Наконец, о желаемом для них читателе. Читатель книг Стругацких должен быть, по их словам, «человеком, которому нравится думать, для которого существует нечто большее, чем жажда накопления и потребления» [34]. Когда они пишут, то представляют его не «объектом втолковывания», а «равным писателю собеседником» [38, 104]. Хотят, чтобы он искал в их книгах интеллектуального удовлетворения, возможности для сознательного участия в литературной игре, для проявления умственной самостоятельности:

Свою задачу мы видим в том, чтобы поставить определенную проблему и передать читателю свои мысли и чувства по поводу нее. А дальше надеемся на восприятие читателя. Конечно же, мы хотим вызвать у него сопереживание, а оно невозможно без работы воображения. И чем активнее работает воображение читателя, тем, я считаю, мы успешнее выполняем свою задачу [47].

*

Приведенные выше взгляды, взятые из выступлений авторского союза в периодике и сложенные мной в форме программного манифеста, как реальный, в каком-то едином тексте сформулированный писательский план,— не существовали. Это лишь моя реконструкция, использующая доступные в печати высказывания: как те, которые братья действительно высказывали во время работы над интересующими меня здесь позициями, так и те, которые были сформулированы на основании опыта, полученного при написании этих книг, и высказаны ex post. Если же фиктивно предположить, что этот план существовал, что «Град обреченный» — это первая, вступительная реализация этого плана, а все, созданное Стругацкими примерно с середины семидесятых годов,— это продолжение реализации, то следует согласиться с тем, что более всего соответствовала бы этому плану фантастическая проза с современной фабулой, переходящей в реалистичную, известную авторам и читателям по личному опыту из советской действительности.

Действительно: самое раннее из всех опубликованное произведение: «За миллиард лет до конца света», а затем и некоторые далее (сам «Град...», «Хромая судьба», «Подробности жизни Никиты Воронцова», «Повесть о дружбе и недружбе», «Пять ложек эликсира», современный мотив «Отягощенных злом...», «Жиды города Питера...»), основанные на приеме столкновения фантастичности с почти реальным миром или почти реального героя с фантастическим миром, слагаются в особенно богатое направление последнего двадцатилетия творчества авторов «Трудно быть богом». Но Стругацкие прежде, чем осесть здесь по-настоящему, прежде окончательно упорядочат и до конца разработают созданный ранее фантастический мир XXIII века, таким образом рассчитываясь со старыми мечтами и прощаясь с жанром НФ, к которому не только объективно, но частично и по мнению их создателей, принадлежали более ранние повести, использующие утопический, футурологический колорит.

Так возникают «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер», повествующие о новых приключениях героя «Обитаемого острова», Максима Каммерера.

«Жук в муравейнике» соединяет две истории: о встрече представителей земной цивилизации XXIII века с людьми находящейся примерно на нашем цивилизационном уровне планеты с печальным названием Надежда, где одновременно проводят операцию таинственные Стран-

ники, а также о реакции землян на непосредственно касающиеся их действия суперцивилизации Странников.

Истории отличаются размерами. Первая — это всего лишь две главы — фрагменты отчета ксенопсихолога Льва Абалкина. Вместе с разумным киноидом Щекном[86] он проводил разведку на вышеупомянутой планете. Цивилизация Надежды вымирает. Ее жители вызвали экологическую катастрофу. Прибывшие затем на планету Странники через «межпространственные тоннели» увели куда-то почти все население. На планете остались лишь одичавшие группки. С их властями вступают в контакт Абалкин и Щекн. Аборигены объясняют прошлые и настоящие действия сверхцивилизации как умышленное их (аборигенов) истребление. Земные разведчики были приняты за Странников, что привело к перестрелке (с благополучным исходом для Абалкина и Щекна).

Другая, трагическая стрельба произошла и на Земле. О том, что к этому привело, и рассказывает вторая история — фрагмент подробных мемуаров или дневника известного уже нам Каммерера. За сорок лет до описываемых в воспоминаниях событий космическая экспедиция нашла созданный Странниками «саркофаг» с тринадцатью оплодотворенными яйцеклетками кроманьонского человека. Они начали развиваться. После некоторых колебаний было решено детей воспитать, но историю их происхождения держать в тайне даже от них самих, и так устроить их жизнь, чтобы эти «космические подкидыши» жили скорее в космосе, нежели на Земле. И ни в коем случае не следует допускать, чтобы кто-нибудь из них добрался до своего «детонатора» — одного из таинственных предметов, рисунком соответствующих форме родимых пятен, обнаруженных на руках «тринадцати». Между «подкидышами» и «детонаторами» существует несомненная, но непонятная связь. Что будет, когда они встретятся? Нельзя исключать, что эти люди-нелюди, ничего об этом не зная, являются автоматами Странников, «бомбами с замедленным запалом», в которых тогда может сработать скрытая и губительная для землян программа, или же программа, наоборот — тайная, но благоприятная для человечества. Обе возможности равно правдоподобны. Поэтому когда один из «подкидышей», а именно Лев Абалкин (уже старше — отчет о событиях на Надежде он писал несколько лет назад), вдруг начал вести себя странно и в результате оказался в шаге от «детонаторов», его застрелил Рудольф Сикорски, известный нам по «Обитаемому острову», только теперь это называемый Экселенцем, более чем столетний президент созданной для обеспечения безопасности Земли Комиссии по Контролю (КОМКОН-2), непосредственный начальник инспектора Максима Каммерера.

То есть цивилизационно продвинутые земляне, когда дело дошло до того, что они сами встретились с чем-то бесконечно высшим, повели себя точно так же, как жалкие остатки безрассудной цивилизации Надежды. Там стреляли в землян, подозревая их в наихудших намерениях — в аналогичной ситуации и земляне не поднялись над инстинктивной реакцией — освобожденный от повествовательных одежд фабульный скелет «Жука...» основан на нелестном для нас, любимом парадоксе Стругацких: археолог Лозовский, словно подопытный зверек, метался на борту автоматического зонда пришельцев; Горбовскому в одном из эпизодов «Возвращения» приключилось стать «окольцованным» какой-то сверхцивилизацией, как мы окольцовываем птиц; фашист Павор Сумман подозревал «сверхлюдей» из лепрозория в фашистских происках; жители Города находились в ситуации рыбок, разводимых в аквариуме, а Рэд Шухарт копался в космическом ведре с мусором, как крыса.

Но этот парадокс не исчерпывает главного содержания произведения. Основным носителем его является содержащаяся во второй истории, несравнимо более широко развернутая в повествовании, фантастическая ситуация: столкновение с чем-то необычайным представителей будущей земной цивилизации. (Или же совершенно современных нам с точки зрения психологии и выполняемой общественной роли сотрудников — неважно, что коммунистической и галактической — контрразведки.) Наиважнейшими для общего смысла произведения являются те из сосредоточенных Стругацкими вокруг фантастической ситуации значений, в генезисе которых лежат определенные читательские ассоциации. Ведь читатель, следя за поступками Каммерера, Абалкина, Сикорски, должен помнить предыдущие повести братьев о временах XXII, XXIII века и понимать, что описываемые события происходят якобы в коммунистической эпохе человеческой истории.

Воспоминания Каммерера, которому поручено разыскать Абалкина, складываются из приключений самого рассказчика и описания событий, свидетелем которых он был в течение трех дней: с момента получения приказа до последнего выстрела. Абалкин, прогрессор, резидент на Саракше, является на тамошнюю базу землян и сообщает, что врача, который периодически должен его обследовать, убили контрразведчики, а он сам разоблачен. Он в шоке, срочно улетает на Землю... и исчезает. Каммерер выполняет приказ, не зная о тайне происхождения разыскиваемого, так как Экселенц скрыл от него некоторые данные. Загадка, проявляющаяся перед заинтригованным читателям в ходе чтения, раскроется лишь в конце произведения, когда Максим узнает о

деле «тринадцати». Но в тексте так и не появится объяснение того, почему Абалкин вел себя так, как вел, и чем или кем он в принципе был,— то есть основная моральная дилемма, представленная в повести, так и не будет разрешена. «В «Жуке...» мы говорим об ответственности перед обществом (бремя ответственности ложится на Сикорски)» [47],— комментировал Аркадий Стругацкий.

На вопрос, было ли убийство Абалкина предотвращением грозящей человечеству опасности, не могло быть ответа по принципиальным соображениям: тогда моральной проблемы такого или иного поведения, по крайней мере для нас, не существовало бы, а Стругацкие не хотели в очередной раз конструировать искусственную «дилемму коммунистической морали», которая в нашей жизненной практике разрешалась бы однозначно, а вдобавок вызвала бы восприятие книги как «серьезной» утопии. Поэтому они старательно избегали любых, даже опосредованных указаний читателю для возможности выдвижения им каких-либо гипотез о сущности Абалкина, которые могли бы быть чем-либо обоснованы. Обратимся к эпиграфу, предваряющему журнальную публикацию и первое книжное издание «Жука...»:

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали... [8, 6]

Если считать его комментарием к произведению и связать с необычными зоопсихологическими способностями Абалкина, то можно прийти к выводу: предположение о том, что «подкидыш» — это способный к непосредственному объяснению с миром природы сверхчеловек, более правомерно, нежели боязнь его как «автомата Странников», а значит, выстрел Сикорски был напрасной осторожностью и потерей дарованной человечеству возможности. В другом книжном издании эпиграф был опущен. Не только он — например, информация о том, что «сверхпес» Щекн «обладает способностью покорять и убивать силой своего духа» [87] [8, 44], ибо она также вызывала бы нежелаемые ассоциации, касающиеся натуры Абалкина [88].

Точно так же до конца неизвестно, оказался ли Абалкин поблизости от детонаторов, ведомый таинственной, заложенной в него программой, или же он появляется там в результате совершенно обычных, человеческих причин: ведомый обычным гневом по отношению к Сикорски, любопытством или вообще случайно (ответ «да» или «нет» однозначно

подтверждал бы или противоречил теории, что Абалкин является «бомбой»). Поэтому оба предположения остаются равно вероятными.

Первое опирается на факты, известные Сикорски, и вытекающие из них вполне логичные выводы. Его версия событий такова: на Саракше Абалкин убил товарища, перед этим пытками заставив его выдать тайную информацию (и доводы в пользу такого предположения имеются!), затем же, управляемый «программой», стремится к детонаторам, а его лихорадочные разговоры с давними знакомыми, яростные нападки на тех, кто «испортил ему жизнь», сделав его прогрессором, вместо того чтобы дать заниматься любимой ксено- и зоопсихологией, и другие с точки зрения логики «программы» излишние поступки объясняются тем, что человеческое сознание Абалкина, не имеющее понятия о фатальном детерминировании своего носителя, старается оправдать его действия, «пристроить к ним идеологию». Некоторые факты в повести «объективно» подтверждают правоту Сикорски.

В то же время Каммерер склонен интерпретировать поведение Абалкина как результат справедливого гнева человека, который обнаружил, что кто-то тайно распорядился его жизнью. А в то, что Абалкин совершил убийство, Каммерер не верит: ведь он следовал по горячим следам бывшего коллеги, наблюдал, как отчаянно тот пытался выяснить, кем он является и почему ему не дали работать там, где он хотел. И это мнение инспектора также подтверждается фактами.

Что произошло на самом деле, мы никогда не узнаем, так как две гипотезы о причинах поведения Льва Абалкина попросту являются примерами объективного и субъективного отношения к человеческой личности.

Стругацкие не хотели возвысить один подход и проигнорировать другой (хотя и следует предположить, что им лично более близок субъективный подход). Если бы они это сделали, повесть осталась бы лишь спекулятивной иллюстрацией истинности одного из подходов и неправильности другого, тем самым исчерпав свое проблемное содержание... и в любом случае никто уже не искал бы в ней другие смыслы... Однако Стругацкие в соответствии со своей программой предоставили читателю возможность самому решать проблему, идеально уравновесив все «за» и «против», активизируя таким способом читательскую самостоятельность, заставляя его попробовать самому найти смысл «Жука...», превращая его из внимательного слушателя в аналитика[89]. Зачем? Затем, что лишь таким способом он мог добраться до иных смысловых слоев произведения.

Смотрящий по воле авторов таким «детективным» оком на «Жука в муравейнике» филолог-любитель мог заметить, например, следующее совпадение: каждый из разделов, которые составляют мемуары или дневник Каммерера, снабжен заголовком с точной, хотя и поданной в сокращении, датой события. Примеры: «3 июня 78 года. Майя Глумова», «4 июля 78 года. Музей Внеземных Культур. Ночь», и т. д. Речь идет, конечно, о 2278 годе,— но читатель одновременно мог заметить, что Стругацкие поместили (а делали это не всегда) под текстом дату написания произведения — это был 1978 год. Не было ли это попыткой обратить внимание на совпадения между описанным миром произведения и современностью?

А есть и более важное — когда Абалкин появляется у «крупнейшего в мире знатока запрещенной науки» [8, 156–157], доктора Айзека Бромберга, и спрашивает, не слышал ли он что-нибудь о судьбе его (Абалкина) родителей, которые таинственно исчезли в «37 или 38 году», то, хоть память о сталинских преступлениях в то время в СССР не слишком популяризировали, лишь дурак не увидел бы аллюзии[90].

Соответствия подробностей провоцируют на поиски аналогий в более значительных вопросах. А потому вполне возможно, что наш филолог-любитель захочет более внимательно посмотреть на характерные черты общества, членами которого являются главные герои истории Абалкина. Тогда он обнаружит кое-что поразительное.

Оказывается, мир «будущего коммунизма» в «Жуке...» отчетливо распадается на два: явный и тайный, в которых рассматриваемая моральная дилемма разрешается по-разному.

Конечно, в повседневной жизни лозунг «важнейшим является человек» всеми соблюдается и все его уважают. Но объективное отношение к личности, когда при обращении с ней учитывается не то, кто она есть, а то, чем она является «объективно» (то есть «для нас» и «для наших»), обычно для двух мощнейших, исполняющих в этом обществе существенные функции и формирующих это общество, организаций,— то есть не только Сикорски привык смотреть на личность таким образом.

Одна из них — Комиссия по Контактам, большой КОМКОН, заботящаяся об интересах человечества на других планетах. Конечно, с благими намерениями «ускорения прогресса» (поэтому «фронтовые» работники называются прогрессорами), но уже не так, как в «Трудно быть богом», уже отвергнутыми там способами. Поэтому прекрасно подготовленный кадр КОМКОНа не пользуется симпатиями:

Это неудивительно,— размышляет на эту тему Каммерер,— подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться, кто в своем праве. /.../ По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих. Именно за это умение дома к ним относятся с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом — с несколько брезгливой настороженностью. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть — и нам, и им. Потому что либо Прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела... [8, 11—12]

«Умение разделить на своих и чужих» — это не что иное, как искусство объективного и инструментального подхода к ближним.

Другая организация — это КОМКОН-2, Комиссия по Контролю.

Бывший прогрессор-любитель из «Обитаемого острова» (позднее — профессионал) Каммерер тоже не любит Комиссию по Контактам и ее работников. Но разве инспектор КОМКОНа-2 Каммерер при выполнении нового задания не поступает на Земле так же, как разведчик Мак Сим (так на Саракше звали Каммерера) в стране Неизвестных Отцов или в Островной Империи? Во время поисков Абалкина (когда им самим манипулирует Сикорски), как любой тайный агент при исполнении обязанностей, он вынужден использовать других людей в качестве своих орудий, обманывать их и т. д. При этом он хорошо понимает, что это ненормально,— Стругацкие очень хорошо передают его угрызения совести, вводя в его отчеты акценты самоиронии, насмешки над самим собой.

Задумаемся об общественных функциях Комиссии по Контролю, вытекающих из общей задачи по обеспечению безопасности. Авторы, искушенные в построении образов обществ, «ведомых» конфликтами, много, много лет, с тех пор, когда конструирование вероятной картины «коммунизма будущего» было одним из их намерений,— и здесь придумали нетривиальный ход: поскольку в мире XXIII века, где решены экономические проблемы, главной областью человеческой активности будет научная деятельность, постольку будущий аналог милиции, сейчас выслеживающей аферистов и воров, будет контролировать (отсюда и название) ученых, заботиться о том, чтобы соблюдались распоряжения Мирового Совета, в заботе о благополучии всех периодически запрещающего отдельные направления исследований (напр., эксперименты с андроидами, искусственным разумом и т. д.). Проблема свободы науки является самой главной политической проблемой Земли, существуют и «преступники», и диссиденты — оппозиция по отношению к распоряжениям Совета.

Выполняя задания, весьма часто заключающиеся в том, чтобы обеспечить тайну отдельных достижений, КОМКОН-2 вынужден действовать неявно. И имеет практическую возможность распоряжаться человеческими судьбами. Разумеется, и речи быть не может о насилии... все делается гуманно, разумно, морально... Но читатель знакомится как раз с исключением из этого правила (а может быть, бывали и другие?)... И мало кто знает обо всем этом: пытаясь пополнить свои знания об Абалкине, Максим на каждом шагу натыкается на информационные барьеры, о существовании которых он, может быть, никогда бы и не узнал, если бы работал где-нибудь в другом месте.

Похоже на то, что счастливые и с энтузиазмом работающие обитатели земной галактической империи знают о секретах КОМКОНов немного, что «светлый» мир «Возвращения» распался на два: явный — и тайный, свободный — и с наличием марионеток, безусловно моральный — и моральный «в принципе», мир, который только думает, что он является субъектом,— и такой, который на самом деле является субъектом...

Я думаю, что summa summarum картину именно такого разрыва хотели Стругацкие представить на суд читателей, втянуть их в конфронтацию с повседневностью.

Инспектор Каммерер, конечно, не мог предвидеть[91], что через четверть века он станет шефом одного из отделов Комиссии. В повести «Волны гасят ветер» Каммерер будет уже не предметом, а субъектом манипуляции. Теперь на нем лежит главная ответственность, теперь он сам будет использовать талант и страстное увлечение подчиненного — Тойво Глумова (сына Майи Глумовой — когда-то участницы операции «Ковчег», подруги детства Льва Абалкина).

И вот Тойво, еще недавно бывший прогрессором в Арканаре, приходит к выводу, что прогрессорство — тайное творение добра так, как его видит творящий — в корне является аморальным. Одержимый мыслью о раскрытии возможных, тайно действующих на Земле прогрессоров чужих цивилизаций, он превращается из разведчика в контрразведчика. Утверждает, что кто-то проводит тесты, с помощью которых ищутся и выделяются группы лиц, отличающихся необычными свойствами организма. Быть может, для того, чтобы превратить их в сверхчеловеческие существа. Подозрения оправдываются, вот только действуют (о чем еще раньше догадывается Каммерер) не пришельцы, а сверхлюди, которые возникли в результате активизации в человеческом организме скрытых механизмов. «Людены» стремятся к созданию

собственного общества и ищут очередных кандидатов. Вероятно, огромная сила их интеллекта, приводящая их к тому, что ближние становятся для них несносными и нудными детьми, обрекает их в мире человека на мучительное одиночество. Я пишу «вероятно», так как раскрытые людены скрывают свои настоящие цели.

Тойво также окажется возможным объектом преобразования. В конце повести Каммерер будет уговаривать отказывающегося от предложений люденов подчиненного, чтобы он согласился, а затем стал информатором КОМКОНа. Глумов решается, но преобразование совершенно отдаляет его от дел Земли и людских забот.

Это сенсационное действие представлено Стругацкими в совершенно нетипичной для их стилистических навыков, последовательно апокрифической форме: через двадцать лет после событий Каммерер пишет, протестуя против необоснованных, по его мнению, теорий историков, дневник-мемуар, состоящий преимущественно из приложенных in extenso документов (рапорты Тойво и других инспекторов, фонограммы, официальная переписка и т. д.), отобранных им самим из материалов дела. Эту снабженную комментариями Максима сводку перемежают немногочисленные фрагменты открыто прозаического вида: или реконструкции событий, свидетелем которых Каммерер не был, или сцены, которые должны прояснить владеющие в те дни душами Тойво и других подчиненных Максима настроения.

Эта повествовательная форма была сознательным экспериментом братьев, пробой новой техники и стиля [47]. Хотя они и промолчали о целях этого эксперимента, я думаю, что, прибегнув к древнему приему повышения достоверности содержания произведения его формой, они хотели усилить ощущение правдоподобия того, что представили. Заметим, что «складывание» книг из «чужого», апокрифического слова не раз происходило и до этого, однако раньше «цитируемые» в их прозе монологи, дневники и другие отчеты преимущественно были такими лишь формально и условно, так как или они были написаны в третьем лице, или же их авторы, чьи имена и фамилии были известны, вели себя как обычные персонажи. Последовательное приложение «документов» было редкостью[92]. На этот раз они составляют замечательную часть повествовательной материи «Волн...».

Другим проявлением общей заботы братьев о правдоподобии представленных событий было видимое и в «Жуке...», и в «Волнах...» стремление к окончательному упорядочиванию фантастического хронотопа, придание большей связности образам коммунистической и посткомму-

нистической (ибо именно такая представлена в «Волнах...») эпох, в фиктивную историю которых стало складываться то, что содержится уже в девяти повестях. Как мы помним, поначалу Стругацкие не заботились ни о точном обозначении времени фабульных событий каждого из этих произведений, ни о последовательности судеб героев, переходящих из повести в повесть. Теперь же авторы используют точные даты и даже увязывают события со старыми произведениями, чтобы окончательно включить в историческую панораму события старых повествований (в «Волнах...» есть упоминания персонажей «Далекой Радуги» и проблемы «смерти» Горбовского, упоминается даже планета Саула из полусказочной «Попытки к бегству»).

Резюмирующий характер «Волн...» виден не только в вышеуказанных приемах. Об этом свидетельствует прежде всего философский оттенок произведения.

Хотя третья часть трилогии о Каммерере в принципе повторяет реалии второй, аналогично конструируется фантастическая ситуация и парадокс, лежащий в основе фабулы, все-таки эти книги «разные по тематике. «Волны...» написаны о другом. Содержание повести выражено в заглавии повести: какие бы волны ни колебали человечество, эти же волны все равно погасят ветер, который их вызывает. Человечество уничтожить невозможно» [47]. Другими словами — повесть повторяет (только с обратным эмоциональным квантификатором) мораль «Пикника на обочине». Тот убеждал, что человечество не имеет истории, а прогресса нет, и в этом — наша трагедия, здесь же доказывается, что недолговечность вызванных прогрессом возмущений жизни является для человечества счастьем и силой.

Оценивая этот поворот во взглядах на 180 градусов, хотелось бы привлечь внимание читателя к политической ситуации, в которой создавались эти две повести: «Пикник...» был написан во время триумфа неосталинистских консерваторов и как бы объяснял: «Плохо, что ничто не меняется и измениться не может». «Волны...» независимо от того, что заканчивают определенную проблематику, заодно выражают и оптимистическую убежденность: «Хорошо, что ничто в целом не меняется, и после безумия наступает пора образумиться». Не потому ли, что к этому времени уже были провозглашены новой правящей элитой обещания здравых реформ? Прошу прощения у авторов, если упрощаю, но выглядит это так[93].

Вернемся, однако, к вопросу подведения итогов. Ясно, мы не можем их искать в вышеупомянутом, актуальном оттенке. Лучше посмотрим на другие, столь же общие и символические смысловые слои, выстроенные Стругацкими в истории появления и исчезновения (ибо они окончательно покидают Землю) людены.

Рецензент «Волн...» верно заметил, что в этой повести:

> Задачи и цели, вынесенные землянами в космос, отразившись, возвратились обратно, поменяв свои знаки на противоположные. Все, что раньше мыслилось аксиомой, приобретает вид тревожного вопроса. Герои, провожаемые «приветственным гимном», встречаются настороженным молчанием. Уже не прогрессор Антон надевает маску Руматы Эсторского на чужой планете, теперь эти маски с мрачной решимостью пытаются отыскать в собственном доме. Идея «прогрессорства», как мания, как больной упрек, бередит душу бывших сотрудников КОМКО-На-1, заставляя в каждом встречном подозревать посланцев сверхцивилизации.
>
> Благородные задачи Антона-Руматы, спасавшего из-под меча лучших людей герцогства, по грустной иронии истории чуть ли не пародируются новыми Прогрессорами, чьи таинственные эксперименты призваны разделить человечество на «званых и избранных» [147].

Хотелось бы развить эту мысль: бывший прогрессор Тойво Глумов, когда «на собственной шкуре» ощущает «чужое» прогрессорство, реагирует фантастической ненавистью. Однако людены — это не только своего рода «акушеры будущего»...

Хотя о них, в соответствии с принципами поэтики, использованной писателями, почти ничего определенного сказать нельзя, они несомненно являются сверхлюдьми. А как реагирует, столкнувшись с ними «лицом к лицу», Геннадий Комов, поборник «вертикального прогресса», долженствующего привести к революционному, качественному, скачкообразному изменению вида Homo sapiens? Пугается и требует репрессий.

> Я не понимаю вас, Геннадий,— отвечает Горбовский на его сетования.— Вы так страстно ратовали за вертикальный прогресс! Так вот он вам — вертикальный прогресс! В чистейшем виде! /.../ Интересно, где это вы видели прогресс без раскола? Где это вы видели прогресс без шока, без горечи, без унижения? Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади?.. [8, 672—673]

«Волны гасят ветер» я понимаю как притчу о том, как ужаснулись сеятели прогресса в тот момент, когда он постучал в их двери. Разве не дискредитирует это идею?

Лишь Горбовский сохраняет спокойствие духа. Ба! Известие о людены так поправляет его самочувствие, что к нему возвращаются силы и желание жить, утраченное в этом слишком спокойном и нудном мире XXIV века[94]. Он нисколько не пугается. Ибо он всю жизнь верил и претворял на практике правило: следует поступать в соответствии с наипростейшими моральными принципами, не оглядываясь на практическую пользу и соблазны, обещаемые историческими закономерностями,— и теперь он верит, что людены уйдут, не выдержав тяжести предательства, которое допустили по отношению к своим близким и остальной части человечества.

Его предположение сбывается. Таким образом «Волны гасят ветер» становятся также притчей о триумфе общих моральных понятий над принципами, которыми мы руководствуемся, когда творим историю, или же когда стараемся ее сознательно творить.

Следует ли поступать так, как диктует нам «сердце», моральный инстинкт, или же так, чтобы это было эффективно, или так, как говорит нам какая-либо априорная идея? В принципе, герои всех произведений Стругацких мучаются над этой проблемой. Герои повестей «прогрессорского цикла» («Попытка к бегству», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Малыш», «Парень из преисподней», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер») ощущали эти терзания совести в контексте служения историческому прогрессу. Стругацкие в последнее время категорически заявили [47], что к эпопее Максима Каммерера возвращаться не намерены. Быть может, касается это и других «Каммереров», то есть вообще прогрессоров. Если так, то следует считать, что Стругацкие решили для себя: они представили все возможные варианты ситуаций, в которых решается вышеуказанная проблема.

О том, что «Волны...» были почти не замечены, мы уже писали. Но «Жук в муравейнике» имел большой успех: прежде всего, он получил (вместе с повестью Александра Казанцева) в 1980 году премию «Аэлита» — первую в СССР награду в области научно-фантастической литературы, учрежденную Союзом писателей РСФСР и журналом «Уральский следопыт», присужденную в тот раз впервые. «Жук...» заинтересовал и критику — было опубликовано несколько разборов.

Мнения высказывались противоположные. Ортодоксальный соцреалист А. Шабанов считал «Жука...» издательским безобразием. Он выдвигал коронный для соцреалистов пригвождающий упрек в непонятности, а также в том, что в повести отсутствуют познавательные цен-

ности, зато присутствуют тривиальная развлекательность и суперреакционный смысл. «Повесть кончается криком отчаяния и ужаса, повергнув читателя в пессимизм по отношению возможных контактов с внеземными цивилизациями», «Общество, описанное в повести «Жук в муравейнике» — явно не наше будущее общество, оно развивается с отклонениями от принципов коммунистической морали и этики» [133],— громил он книгу в чудовищном стиле, демонстрируя живучесть доктринерства.

Сенсационность действия и оставленные неразрешенными проблемы сущности Абалкина и его значения для Земли оттолкнули также критика, гораздо более культурного и склонного к метафорическому прочтению книги, но не сумевшего отучиться от поисков смысла научно-фантастического произведения в научно-технических гипотезах. В «Литературной газете» А. Шалганов, хотя и анализировал повесть на фоне прежнего творческого пути Стругацких, тем не менее выдвинул упрек:

> Человечеству свойственно разгадывать тайны. Но до каких пределов? Где та граница, у которой надо остановиться? И надо ли? Герои эпохи «Возвращения» над такими вопросами просто не задумывались. Героям эпохи «Жука в муравейнике» они оказались не по силам. За шаг до разгадки Абалкин гибнет, сраженный выстрелом.
>
> И тут-то обнаруживается, что незаметно для читателя произошла в повести довольно-таки лукавая подмена: обещанное интеллектуальное расследование оказалось на деле размашистым детективом, приправленным космической атрибутикой. Сцепленные друг с другом эпизоды, в которых, казалось, мерцал некий философский смысл, так и остались дублями нерешенного сюжета. Его оттеснил тот, где Максим, пропадая в кабинах нуль-передачи, ищет по всей Земле вечно ускользающего Абалкина и лихо выспрашивает странноватых свидетелей. А глобальная идея моста между чуждыми цивилизациями, на редкость изобретательно реализованная в образах «найденышей», обилие вопросительных знаков, расставленных в произведении, свелись к до обидного унылому выводу и торопливой концовке, как будто авторы, не зная, как завершить партию, просто смахнули с шахматной доски короля: /.../ Действие «Жука в муравейнике» /.../ все время разбрасывает намеки на некий иной уровень, вторую, и третью, и десятую реальность: так вместо тайны возникает таинственность, вместо загадки — загадочность, а вместо глубины — ее видимость. Заявленные философские проблемы становятся лишь острой приправой, пронесенной мимо стола [147].

Из этого эффектного вывода можно уяснить, что критик — конечно же, сориентировавшись в метафорическом, символическом харак-

тере рассказанной в произведении истории — вместо того, чтобы пойти по следу «маячащих» значений, словно бы обиделся на «Жука...» за то, что он исчерпывающе не иллюстрирует какую-то научно-фантастическую теорию. Видимо, он не представлял себе иных задач НФ, нежели представление таких гипотез. Вдобавок, будучи воспитанным в соцреалистическом презрении к сенсации, главной причиной столь неудовлетворительного положения вещей он считал (несомненное, впрочем) обращение к детективным мотивам.

Равно как и известные мне защитники повести: Вл. Гаков, А. Зеркалов (в предисловии к большому, сорокалистовому сборнику Стругацких в популярной серии «Мир приключений» кишиневского издательства «Лумина» — 100 000 экземпляров) и автор одного из трех на сегодня очерков, в которых предпринята попытка объять совокупность написанного братьями, М. Амусин, должны были — в соответствии с господствующим все годы в СССР мнением — вообще, a priori считать, что принадлежность литературного произведения к популярно-развлекательным жанрам (а значит, и к детективам) перечеркивает возможность обладания таким произведением большей ценности. Только этим можно объяснить тот факт, что Гаков и Зеркалов — последовательные апологеты повести, ожесточенно доказывали, что «Жук...» не имеет ничего общего с сенсационной литературой, а Амусин, в общем высоко оценивавший повесть, но и замечавший небольшие недостатки, причину их видел именно в «криминальности».

Амусин, Гаков, Зеркалов, хорошо ориентированные в концепции «фантастики как приема» и в программных декларациях авторского союза, суть проблематики видели в универсальной моральной проблеме: проблеме выбора.

> [Стругацких] в первую очередь волнует не событийный план, а этический. Они по духу своего творчества — моралисты, ищущие новые пути проверки нравственных «теорем», и потому в который раз в их повести звучит лейтмотив: «Трудно быть богом, и во сто крат труднее — остаться человеком»... Легко сказать, огромная, тяжелейшая ответственность лежит на плечах Сикорски, Максима, всего человечества. Проще всего декларировать принципы нравственного совершенства на бумаге, тем же, кто должен практически действовать, на чьих плечах реальная ответственность, не до теоретико-этических упражнений. Но какую отыскать лазейку, чтобы не висело над душой страшное в своей соблазнительной простоте: «Цель оправдывает средства»?» (Вл. Гаков — [131].)

Кроме того, защищая Стругацких от упреков в историческом пессимизме и нигилизме, вся тройка считала представленную в «Жуке...»

этическую проблему прекрасной иллюстрацией морального превосходства коммунистического общества. Ба!.. Поздравляли братьев за представление примера поведения в будущем!

> Но в «Жуке» горечи нет. Коллизия «один человек или весь мир» — так, как она развернута Стругацкими — выдвигает на передний план две непреходящие ценности: человеческую жизнь и цивилизацию. Не «или», а «и»! Если Экселенц совершил страшную ошибку, убив Абалкина, то лишь под влиянием огромного чувства ответственности за всю Землю. Но главное, что его оправдывает,— безрезультатные муки выбора, которые он испытывал на протяжении сорока лет, ужасающие муки страха за человечество, борьба разума и совести. И если он все-таки ждал буквально до последней секунды, то лишь потому, что единичная человеческая жизнь была для него ценностью, соизмеримой с ценностью всего человечества.
>
> Мир повести «Жук в муравейнике» прекрасен. Не только картинами благоустроенной, щедрой и доброй Земли, возникающими то и дело между кадрами детективного действия, но еще и людьми — их доброжелательностью, совестливостью и чувством ответственности (А. Зеркалов — [136, 8—9]).

М. Амусин, внимательнее присмотревшись к показанной в произведении картине общества (и что важно: публикуя свой очерк [149] в 1988 году), отметил в ней некоторые штрихи, являющиеся аллюзией к современности, но эти наблюдения не развил, оставаясь — как и другие «защитники» — при мнении, что истинный смысл «Жука...» имеет этический, а не общественный, социологический или политический характер.

Отсутствие разгадки тайны Абалкина и другие «поблескивания» смыслов произведения оправдывались или определенной стратегией Стругацких по отношению к читателю (активизация его, развитие аналитических способностей), или стремлением к максимальной реалистичности повествования, по принципу: пусть события являются героям так, как это бывает в жизни: невозможными для окончательного прояснения.

*

«Современное» направление в творчестве братьев Стругацких восьмидесятых годов начала и сразу же наиболее полно выразила повесть «За миллиард лет до конца света», произведение, наиболее любимое своими авторами наравне с «Улиткой на склоне» и «Вторым нашествием марсиан» [33] и — по моему мнению — имеющее наибольший жанровый вес в написанном ими.

По сравнению с остальными (если не учитывать некоторые смыслы «Града обреченного») произведениями, которые наглядно показывали, конечно, существенные, но довольно общие проблемы (и даже напоминали несколько с точки зрения познавательных ценностей учебники социологии), эта повесть отличается особенным тоном, стремлением к выражению пронзительной правды одного из поколений советской интеллигенции, к которому, несмотря на разницу в возрасте, принадлежали братья: Аркадий входил в гражданскую жизнь, а Борис — во взрослую в важный период хрущевской «оттепели». Трактуемая с познавательной точки зрения реалистическая литература — как общепринято считать — должна регистрировать проблемы «малой» истории, то, что касается отдельных личностей, поколений, небольших и средних общественных групп, принимая во внимание «гуманистический коэффициент» [95], то есть оперируя субъективной, человеческой точкой зрения; и, наконец, в историях своих героев наблюдать отблеск универсальных истин человеческой судьбы. «За миллиард лет до конца света» вполне соответствует так понимаемым критериям реализма, и если Стругацкие действительно не ошибаются, утверждая, что фантастика способна своими средствами столь же четко отражать правду времени, как и реалистическая литература, то доказательством может служить именно эта повесть.

Во-вторых, повесть отличается точностью анализа человеческих духовных устремлений и в ней нет ничего от памфлетного тона. Братья отказались здесь от излюбленного способа выражения гражданской обеспокоенности, как бы подчеркивая, что дела, о которых идет речь, слишком трагичны, чтобы их можно было легко оценивать.

В-третьих, это были вопросы деликатного, неподцензурного характера. Привести их в движение можно было лишь при условии втягивания читателя в специфическую игру, принуждения его к тому, чтобы в интерпретации произведения он был до предела самостоятельным — до такой степени, чтобы не верить его авторам и подставлять под факты и события представленного мира свои собственные, с виду совершенно произвольно устанавливаемые значения, независимо от указаний, которые обычно используются с целью придания значений (толкования рассказчика и героев, смыслы, связанные с жанровой принадлежностью произведения и т. д.).

Вот фабула «За миллиард лет...». Ленинград, лето 1973 года [128], ужасная жара. Астроном Дмитрий Малянов, отправив жену с сыном к теще, сидит дома и спокойно решает проблему, связанную с поведени-

ем космической пыли в окрестностях звезд. Он заканчивает расчеты, уже, уже стоит на пороге важного открытия... когда вдруг начинает названивать телефон: ошибки соединения. Потом ему приносят из магазина оплаченный заказ алкоголя и деликатесов, а довершает этот набор появление красивой подруги жены. Словно все сговорились, чтобы помешать, не позволить ему дальше работать. Однако астроном по-прежнему находит время для работы — и ситуация сгущается. Утром сосед, полковник-«ракетчик» оказывается убитым (или совершает самоубийство), и какие-то странные милиционеры обвиняют Малянова в убийстве... Затем уже недвузначно проявляющиеся таинственные силы будут пытаться поссорить его с женой и угрожать жизни сына. Или он бросит исследования, или...

Вскоре оказывается, что нечто подобное происходит с друзьями и знакомыми астронома: с биологом Валентином Вайнгартеном, с инженером Захаром Губарем, с социологом Владленом Глуховым, с математиком Филиппом Вечеровским, при этом формы «препятствования» и последующих предложений или ультиматумов у всех разные: от попытки подкупить новой должностью небезразличного к карьере биолога, нашествия бывших любовниц на квартиру бабника инженера, постоянной мигрени у слабого духом и телом социолога, вплоть до совершенно иррационального буйства действительности вокруг сильного характером и неподдающегося искушениям, ничем не скомпрометированного и одинокого математика.

Сила «давления», которому оказываются подвержены ученые, непреодолима, попытки сопротивления обречены на неудачу — в конце каждый может получить окончательный удар, помощи ждать неоткуда, капитуляция неизбежна. Сущность атакующей силы остается жертвам неизвестной. Каждому эта сила представляется по-иному. Вайнгартену руководство институтом взамен на прекращение исследований предлагают пришельцы. Губарю отказаться от изобретения приказывает Союз Девяти. Наиболее убедительную и жестокую гипотезу конструирует Вечеровский: попросту сам Космос взбунтовался против того, чтобы его познавали; все натолкнулись в своей работе на противодействие Вселенной, которая стремится сохранить свою структуру; на закон природы — его действие не позволяет превращения данной цивилизации в сверхцивилизацию, которая могла в ходе своего развития разрушить эту структуру.

Это наихудший противник. Невозможно с ним договориться, пойти на компромисс, поддаваясь ему — что-то получить. «Воевать против

законов природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно» [7, 130],— поэтому Вечеровский решает забрать на хранение работы коллег, осесть где-нибудь на Памире и там, провоцируя этот закон на противодействие, изучать его в надежде, что когда-нибудь люди научатся его обходить. А с очень долго сопротивлявшимся, но в конце концов прижатым к стенке Маляновым мы расстаемся в тот момент, когда он сидит у Вечеровского с папкой в руках и беспомощно повторяет про себя: «...с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы...» [7, 132]

Если бы информационный заряд произведения сводился к изложенной здесь фабуле, мы имели бы дело с кристально чистой аллегорией, например, экологической угрозы. Более того, если прочитать «За миллиард лет до конца света» так, как обычно и читалась научно-фантастическая литература в Советском Союзе, то есть в поисках какой-нибудь необычной научной идеи,— мы также пришли бы к экологической метафоре. Очень многое этому способствует. Гипотеза Вечеровского о «гомеостазе космоса», подробно, авторитетно изложенная в конце книги, коли на то пошло, могла бы даже претендовать на роль положительного, серьезно трактуемого фантастического изобретения родом из старых технологических утопий, если бы не была лишь одной из нескольких, не намного более убедительной, нежели иные (как, например, гипотеза о вторжении пришельцев). Однако, поскольку она именно такая, какая есть, она наверняка могла быть понята именно в качестве собственно идеи, собственно «фантастического изобретения» или научной теории, скорее всего, связанной именно с экологией. Мне, правда, не пришло бы в голову понимать ее именно так, но я знаю более поздние заявления писателей о том, что они не ставили перед собой цель популяризировать ни научно-фантастические («гомеостаз...»), ни научные (экология) теории, и что смысл их книг не следует искать ни в чем-либо «фантастическом», ни в «фантастической ситуации», то есть в реакции персонажей на Неизвестное. Но почему не знающий этих заявлений (в середине семидесятых годов они еще не были опубликованы) читатель должен был читать повесть не в соответствии с жанровыми принципами восприятия фантастики?

Прежде, чем расшифруем имеющееся в произведении послание писателей, посмотрим, как именно Стругацкие старались заставить своего читателя принять при чтении «За миллиард...» нетипичное и самостоятельное решение.

Я думаю, что они использовали три способа: давая общее предостережение не трактовать произведение только в соответствии с научно-фантастической условностью; создавая формальное поощрение для максимально активного чтения, поиска смысла «между строк»; вводя резкую с точки зрения здравого рассудка диспропорцию между сутью угрозы и реакцией героев на эту угрозу.

Прежде всего, вопреки принятым традициям и практике самих Стругацких, берущий книгу в руки не находит в подзаголовке жанрового определения вроде «научно-фантастическая повесть», «фантастическая повесть», «повесть-сказка», «современная сказка», даже просто «повесть», но видит таинственное: «Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах». Отнести произведение к НФ (в моем понимании) читателю мешает уже само размещение действия в современном времени и пространстве, соединенное с демонстративным описанием мельчайших реалистических деталей быта, а считать «За миллиард лет...» технологической утопией в старом стиле, как я уже упоминал, тоже трудно. Я думаю, что в конечном счете любой читатель ощущает, что читает нечто (по крайней мере, «до определенного места») современное, вероятное, реалистичное.

Во-вторых, к игре в поиск укрытых смыслов подталкивает читателя непоследовательное ведение повествования (то рассказ ведет от первого лица сам Малянов, то он переходит на третье лицо, будто о событиях говорит их очевидец — свидетель), к этому же провоцирует графическая форма: текст повести, как удачно определяет его советский исследователь А. Ф. Фролов, «напоминает страницы обожженной рукописи, по отношению к которой читатель должен исполнить роль реставратора»[96] [137, 69]. Произведение хоть и составлено стандартно из глав, но каждая из них состоит из отдельных, часто без начала и конца (начинающихся и оборванных буквально на середине предложения) обрывков гипотетической рукописи. Впечатление, что нам рассказано не все, что происходило, усиливается, если внимательно отслеживать время действия, а также в результате введенных в рассказ упоминаний о фактах, которые ранее не описывались,— причем эти упоминания сформулированы так, как если бы читатель уже знал об этих фактах.

Все это, однако, приемы формальные и предварительные. Разбуженные ими читательские инициатива, энергия и любопытство будут востребованы, когда читатель вникнет в несоразмерность психологических реакций героев, принужденных к капитуляции.

Они испытывают такой стыд, столь отчаянно пытаются оправдаться, что если речь Вечеровского на тему сил, вынуждающих им усту-

пать, принимать серьезно, мы должны были бы констатировать психологическую искусственность ситуации. Ведь в соответствии с нормами нашей культуры, как Богу, так и «закону природы» покориться не стыдно... ба! бунт против объективной необходимости, по крайней мере, не приносит славы...

И наверняка читатель ограничился бы этой констатацией, если бы персонажи повести хоть чуточку шокировали его искусственностью мыслей и поведения, и если бы в повествовании не присутствовали некоторые менее значительные стилистические несоответствия и кажущаяся логическая непоследовательность, подталкивающая к решению загадки: как только мы предположим, что «гомеостаз космоса» несет знак реальной политической силы, а капитуляция ученых — знак реальной капитуляции начала семидесятых годов, несоответствие поведения героев и ощущение искусственности их реакции исчезнет. Читатель принимает эту точку зрения — если кто-то вздумает упрекнуть в этом авторов — с виду самостоятельно и a priori.

Вот пригоршня примеров этих «менее значительных стилистических несоответствий и кажущейся логической непоследовательности».

Приняв «гомеостаз» и астрономическую проблему Малянова всерьез — трудно было бы понять, откуда у него взялись следующие мысли:

> До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума, у меня были свои заботы и свои неприятности, но пока я соблюдал законы, установленные социумом,— а это вовсе не так уж трудно, это уже успело войти в привычку,— пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец, и вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели, а вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо — достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто... /.../ Меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше... [7, 87]

Трудно было бы объяснить такими аргументами, которые звучат в повести (в частности, о том, что во всю эту историю не поверит руководство Академии Наук), почему Малянов ощущает себя столь чудовищно беззащитным и отчужденным. Однако с большой вероятностью процитированные слова могут передать состояние духа затравленной жертвы репрессий и политической охоты на ведьм.

Сомнительно также, чтобы капитуляция перед необходимостью, сравнимой с Божеской, вызвала бы такое презрение окружения, которого опасается астроном:

> А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь... /.../ И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало... [7, 104]

Сомнительно, что на самом деле капитуляция была бы выбором иного жизненного пути, по крайней мере, иной жизненной философии.

> Вечеровский пошел дальше, и теперь он пойдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице... А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попивать чаек, или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на «Запорожец» и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым... Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило... Конечно, останется у меня Ирка, и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться [7, 128].

Подобное отчаяние может охватить лишь дезертира, бросающего товарищей, с которыми боролся за идеалы. И опять же Малянов из повести в принципе не имеет повода для такого отчаяния. Однако в истории советского государства без труда можно найти обстоятельство подобного рода, когда втянутые в них люди имели право размышлять таким образом и наверняка размышляли.

Заканчивая, я вспомню еще об одной «ошибке» авторов. В ситуации капитуляции перед объективной необходимостью, чтобы ее оправдать, достаточно привести один аргумент: «Это объективная необходимость». В то же время Вайнгартен и Глухов конструируют в поддержку своего решения целую идеологию (попутно признаваясь, впрочем, в том, что они сознают, насколько она ничего не стоит). Глухов рад бы убедить остальных героев в пользе «ограничения малым», в достоинствах радования природой и мелкими приятностями жизни, что в русской культуре является давно уже исчерпанным взглядом. Вайнгартен же утверждает, что его отступление происходит в направлении «заранее

подготовленных позиций», что он соглашается поступать так, как поступает, аморально, так как надеется на торги, на использование вражеских сил с пользой для себя. Одним словом, он впадает в иллюзии Переца.

Что ж... завершая свое «арбитральное читательское решение», мы склонны считать «За миллиард лет до конца света» печальной эпитафией над бесповоротно (так должно было казаться в середине семидесятых лет) закопанным и утрамбованным гробом диссидентского движения. Прежде всего, потому, что замечательная часть задействованных в нем интеллигентов была вынуждена оказаться перед таким, какой показан в повести, непристойным выбором: эмиграция или отречение, с такими же, как воображаемые Маляновым, психологическими, товарищескими и вообще жизненными последствиями в случае капитуляции. Хотя это была капитуляция перед неодолимой и представляющейся объективной силой. Более того: сами Стругацкие после отречения от заграничного издания «Гадких лебедей», едва ли, как я полагаю, не оказались по ту «сторону линии», что и Глухов с Вайнгартеном. Спас их талант, благодаря которому уже вскоре после «Письма в «Литературную газету» они смогли объявить всем и каждому, что не считают себя побежденными — именно в «За миллиард лет до конца света».

Хотя это и мое арбитральное решение, тем не менее его подтверждает статья М. Амусина. Критик совершает, между прочим, и полную политическую реабилитацию Стругацких, одним из первых[97] публично напоминая о том, что братья выступали против искривлений и абсурда советской действительности намного раньше того времени, когда это официально было признано. Он связывает также их творчество — что в истории восприятия работ наших авторов случалось весьма редко — с течением новейшей истории, отмечая свойственные поколению аспекты.

Ведь драма советских диссидентов была драмой целого поколения русской интеллигенции, нынешних пятидесяти-, шестидесятилетних людей, поколения, которому открыли глаза на бесчеловечность сталинизма лишь затем, чтобы оно могло наблюдать его ненарушимое возрождение и упрочивание, которое было ослеплено ошеломительными перспективами развития своей активности лишь затем, чтобы оно знало, что утрачивает.

Амусин считает, что герои повести «Понедельник начинается в субботу», молодые сотрудники НИИЧАВО:

явно представительствуют от лица молодой интеллигенции, столь активно и победительно входившей в жизнь на рубеже 60-х годов. Интеллигенция эта несла с собой дух абсолютной преданности делу, непочтительности к любым авторитетам, кроме авторитета точной научной истины, дух бескорыстия, независимости, оптимизма [149, 154].

В то же время, по мнению критика, в книгах, которые братья написали в семидесятые годы («За миллиард лет...» — наиболее представительная из них).

заметно поубавилось мажорных нот, взгляд на мир стал трезвее и жестче. Действительность оказалась не слишком восприимчивой к императивам разума и нравственности, обнаружила свою «непрозрачность», инерционность. Социальное зло демонстрировало поразительную живучесть и способность к мимикрии. К тому же именно в это время стала наглядно выявляться недостаточность духовного багажа, с которым отправилось в жизнь поколение «младших научных сотрудников», поколение «бури и натиска». Слишком легко его нравственные устои размывались волнами моря житейского, слишком восприимчивыми оказались многие его представители к энтропийным тенденциям: примирению с обстоятельствами, уходу в частную жизнь, подчинению рутинным схемам поведения. И творчество Стругацких по-своему откликается на это изменение общественно-психологической атмосферы. Оно все больше сосредотачивается на поиске надежных этических ориентиров в противоречивом мире, где действуют законы релятивистской механики [149, 159].

И на этом месте я должен прервать обсуждение «современного» течения в творчестве братьев. Я не буду подробно анализировать «Повесть о дружбе и недружбе» и «Подробности жизни Никиты Воронцова»[98]. А вот два последних, изданных при жизни Аркадия больших произведения братьев, отметим особо, с учетом их явной связи с эпохой конца советской империи.

Здесь нужно более подробно сказать еще о напечатанной в сокращении в «Неве» «Хромой судьбе», поскольку, хотя Стругацкие и утверждают, что эта публикация содержит около 50% повести[99], все-таки этот вариант, раз уж он удостоился быть напечатанным, наверняка дает понятие о целом. Кроме того, «Хромая судьба» является оптимистическим по отношению к «За миллиард лет до конца света» идейным контрапунктом. Отношения между двумя этими произведениями аналогичны связям между повестями «Волны гасят ветер» и «Пикник на обочине». И эту параллель следует подчеркнуть, она не может быть случайной.

Раньше была речь об астрономе, ученых и Ленинграде — теперь же в Москве живет-поживает писатель: прозаик и сценарист примерно

шестидесяти лет. Вырос в Ленинграде, во время войны служил на границе с Манчжурией, затем несколько лет был штабным переводчиком с японского. После армии занялся литературой...

Тут читатель, конечно, начнет задумываться о том, насколько биография Феликса Сорокина является биографией Аркадия Стругацкого, однако его следует предостеречь о том, что другие подробности не позволяют отождествить эти две фигуры, подобно тому, как и Малянова с Андреем — с Борисом Стругацким.

Феликс Александрович является известным баталистом, автором повести «Товарищи офицеры», а на жизнь подрабатывает, производя военные сценарии. Все это не дает ему удовлетворения. Лишь раз он почувствовал себя настоящим творцом: работая над циклом утонченных, пропитанных размышлениями о человеческой натуре, фантастических «Современных сказок», благодаря которым он стал известен в мире, а в стране заработал множество личных хлопот и инфаркт миокарда после исключительно злобных атак критики. Счастливым он бывает и теперь, когда втайне от всех достает из шкафа повесть о странном Месте (в качестве иллюстрации выступает отрывок из «Града обреченного» [100]), которая — как он думает — скорее всего не будет издана при его жизни, хотя является чем-то лучшим, на что он способен.

И вот во время какой-то из январских недель 197.. или 198.. года с ним начинают происходить странные приключения. То отравленный консервами сосед-поэт просит помочь раздобыть какой-то «мафусаллин»... об этом лекарстве ничего не знает врач «скорой помощи». А когда Сорокин его нашел, за ним начинают следить [101]. В другой раз он получает письмо с обещанием оказать ему — как потерянному «своими» пришельцу из космоса — всяческую помощь. Далее... в баре подходит к нему высокий горбатый субъект с длинными светлыми волосами, представляется как изгнанный с небес ангел и предлагает ему купить партитуру Труб Страшного Суда. Каждое из событий могло бы начинать действие какой-нибудь фантастической повести, и создается впечатление, что Стругацкие и аллюзиями на биографию Аркадия, и этими разнородными возможностями попросту развлекаются, попутно активизируя читательскую самостоятельность, как в «За миллиард лет...» практиковали это с помощью «пробелов» в повествовании и т. д. Странности эти — как это было с приключениями Малянова — не аккумулируются, не становятся элементами одной фантастической ситуации. Попросту очередная из них осуществляется: проводящий какие-то лингвистические исследования Институт Академии Наук, куда руководство Московского

отделения Союза писателей направляет с рукописями своих членов, оказывается местом, в котором с машиной, рассчитывающей наиболее вероятное количество читателей данной рукописи (то есть ее будущую судьбу), работает — он? не он? — сам Булгаков, покровитель гениев, которых хотели бы забыть. Он в конце повести наглядно покажет Сорокину, что его опасения о возможности издания машинописи из «Голубой папки» не имеют смысла, поскольку дело писателя — творить так сильно, как сможет, не обращая внимания на конъюнктуру, и не распыляться на пустые, хотя и несомненно являющиеся источником самоутешения, спекулятивные умозаключения.

В связи со столь открытой традиционностью фабулы центр тяжести «Хромой судьбы» передвинулся в сторону того, что находится за границами действия: к размышлениям о ситуации советского писателя, в которой по своей воле оказались авторы, поставившие перед собой цель выкрикнуть наконец известные (хотя и до сих пор объятые зоной молчания) истины, а также к образу писательской среды, ее обычаев, ее представителей, рождающемуся из непринужденного повествования Сорокина-рассказчика,— все это в СССР вряд ли можно было считать высосанным из пальца, коль скоро Стругацкие снабдили повесть предупреждением: «Любое сходство...», во всем мире охраняющим авторов произведений «с шифром» от процессов по делу о диффамации.

А чем другим могло бы закончиться узнавание себя кем-либо в следующем анекдоте (цитирую большой фрагмент, который может помочь ознакомлению с духом этой прозы, по крайней мере до тех пор, пока не появится польский перевод)[102]:

> Однажды в Мурашах, в доме творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло [то есть Петеньку, или Петра Скоробогатова] за появление в столовой в нетрезвом виде, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: «Рогожин, я Вас люблю!» Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.
>
> Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с каменным лицом расхаживает среди них и приговаривает: «Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...» Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегает взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожи-

на (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело о диффамации. В фотолаборатории Клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Полина Златопольских (мечтательно заведя глаза): «Однако же, какая у него струя!»

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность ни писала. Он пытается демонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает дойти до ЦК и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. «Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?» Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: «Рогожин, я к Вам равнодушен!» Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается [8, 344—346].

В «Хромой судьбе», конечно, имеется и мораль: это мощный акцент оптимизма, писательской надежды на будущее. Такой же, как в «За миллиард лет до конца света» формальный прием: столкновение советского интеллигента с чем-то фантастическим (в случае «Хромой судьбы» это электронная «мензура Зоили» с одной стороны, и новое воплощение автора «Мастера и Маргариты» — с другой), в изменившейся политической ситуации послужил основой для диаметрально противоположных эмоций.

«Хромая судьба», хоть и не открывает новый виток творчества братьев, а лишь продолжает его, все-таки сильно отличается от предыдущих произведений. Не только внутренним смыслом. Стругацкие возвестили этой книгой что-то нетипичное для себя: «повесть не фантастическая в обычном понимании, хотя в ней присутствуют элементы фантастики» [39], эффект «пробования новой стилистики» [47], наравне с книгой «Волны гасят ветер».

По существу на первый взгляд можно заметить:

— иную, чем обычно, концепцию повествования (последовательно от первого лица, конкретный рассказчик; с отступлениями и непринужденным стилем);

— более глубокое, чем в «За миллиард лет...», участие в игре с читателем, однако на это раз игра носит не «эзоповский», а развлекательный характер;

— то, что действие разыгрывается в реальной, современной и реалистично изображенной действительности, как и в «За миллиард...»;

— но и то, что иначе, нежели в этой повести, вторгающийся в этот мир элемент фантастики является не только явным предлогом, но также он в большей степени не определен и не имеет мотивации, типичной для НФ или родственных жанров.

В принципе, вообще нет никакой мотивации. Заключительная мораль высказана в разговоре, который мог бы происходить и без участия предполагаемой тени Булгакова с его удивительной машиной. В этой повести о писательских хлопотах и мифах вполне можно было обойтись вообще без фантастики (может быть, она лишь немного обостряет проблему и сокращает ее представление — достаточно сказать «Булгаков», и все понимают, о чем идет речь). Фантастика здесь — практически только украшение, литературная безделушка.

Если принять во внимание также, что проблематика повести типична для реалистического и публицистического произведения, пытающегося с определенных позиций описать и оценить актуальнейшие общественные явления (освобождение писателей от страха, обретение независимости от сверхопеки государства), то следует признать правоту Аркадия Стругацкого, утверждающего, что «Хромая судьба» не является не чем иным, как содержащей фантастический элемент современной повестью. И к слову, великолепно вписывающейся в нарастающий тогда в СССР новый поток повестей, подводящих итоги, среди которых мы найдем такие известные позиции, как «Пожар» Валентина Распутина, «Печальный детектив» Виктора Астафьева, «Эшафот» Чингиза Айт-

матова, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Белые одежды» Владимира Дудинцева и т. д. Но это уже совсем другая история.

*

В связи с рассмотренными последними произведениями стоит еще раз кратко рассмотреть, с какими видовыми условностями фантастики мы встречались у Стругацких:

А. Технологическая утопия классической жюль-верновской разновидности. В реалистично взятый мир современности вторгается фантастический элемент, который является основной целью описания — рассматриваемый серьезно, полностью рациональный и правдоподобный. Писатели четко обозначают истинность его описания («Извне»).

Б. Пародия на этот тип утопии. В современную действительность вторгается фантастический элемент, с виду и формально он является основной целью описания. Мнимо описываемый как истина, как бы рационально и правдоподобно, на самом деле он очевидным образом иррациональный и сказочный. Противоречие между сутью фантастических мотивов и их формальной функцией в произведении и их трактовкой является источником комизма («Понедельник начинается в субботу», частично «Сказка о Тройке»).

В. Социально-технологическая утопия нового типа. Фантастические элементы разрастаются до размеров целого фантастического мира, соединяются в него. Как целое он является рациональным, правдоподобным, является основным субъектом авторского описания, выполненного как истинное. Стругацкие создали утопию начала коммунизма («Страна багровых туч» и т. д.) и развитого коммунизма («Возвращение»). Непоследовательной, неудавшейся пародией этой условности являются «Хищные вещи века».

Г. Современная НФ. Предварительно разработанный или же ad hoc спроектированный мир утопии уже является не главным субъектом описания, а фоном соответствующего действия — переживаний героев. Именно они являются главным носителем смыслов произведения. Фантастический элемент, из которого «складывается» фон действия,— правдоподобный, рациональный и реалистично описан (то есть так же, как фон действия в реалистических, исторических и современных повестях). Иногда он еще сохраняет истинность или описан так, как будто сохраняет ее. Произведения НФ наших авторов эксплуатируют или их коммунистическую утопию («Обитаемый остров» и т. д.) или неопределенный мир близкого будущего («Пикник на обочине»), а иног-

да находятся как бы «на полпути» между Утопией и НФ: «Трудно быть богом», «Далекая Радуга» и др.

Д. Различные условности, нарушающие НФ, а именно:

1) формально прикидывающаяся НФ — мнимо выполняет ее условности, но фантастические элементы, как используемые в качестве фона, так и составляющие центр действия, являются прежде всего аллегориями действительных, реальных жизненных явлений. Их аллегоричность может быть формально совершенно не подчеркнута («Гадкие лебеди») или явно выражена («Второе нашествие марсиан»);

2) кроме аллегоризации наступает определенное нарушение правдоподобности фантастичности. Например, посредством введения нарушений физики представленного мира, использования поэтики сна («Улитка на склоне», ч. II) или другим способом, как в «Попытке к бегству»;

3) перестает преобладать принцип и физической, и моральной правдоподобности, а фантастический элемент (исходно взятый из утопии) лишен и истинности, и самостоятельного, и даже аллегорического смысла. Действительность произведения носит тогда полностью условный характер, а его проблематика — чисто развлекательная. Я имею в виду случай «современной сказки» — «Экспедицию в преисподнюю», в которой Стругацкие почерпнули одновременно как из сокровищницы типичных мотивов коммунистической утопии, так и из американской классической «space-opera».

Рассмотренными в последней главе произведениями «современного течения» (так же, как частично и повестью «Град обреченный», находящейся словно «на полпути» между этими произведениями и типами Д/1 и Д/2) Стругацкие совершили как бы диалектический поворот к началам своего творчества и одновременно — к утопической традиции научной фантастики. Снова фантастический элемент вторгается в реалистично представленный современный мир. Только теперь этот элемент не является субъектом описания, он не правдоподобный (самое большее, он сообразен общепринятым типичным мотивам научной фантастики) и даже не аллегорический. Его можно трактовать лишь как предлог, поскольку в этих произведениях, также, как и в условности НФ, главным носителем смысла произведения являются переживания героев, а не фантастический мотив. Такие повороты чаще всего означают создание чего-то нового. Можно интуитивно утверждать, что возникает явление, аналогичное магическому реализму, или поэтике абсурда, или же, например, условности «Мастера и Маргариты».

Этот вывод пока интуитивен, и неизвестно, чем все это закончится. Идею должны бы подхватить другие творцы. Стругацкие, правда, уже

один раз, на пороге своей писательской зрелости, «на свой страх и риск» совершили жанровый переворот, становясь — скажем открыто — настоящими архитекторами жанра НФ в советской литературе, до тех пор практиковавшей утопию. Такие творческие приключения являются уделом лишь самых выдающихся писателей... Было бы тем более примечательно, если бы что-то подобное удалось им во второй раз.

Заключение

Условия развития русской научной фантастики в СССР 1970 – 1985 годов, появление младшего поколения фантастов, споры восьмидесятых годов — Проблемы со свободой, неожиданный консерватизм или новейшая повесть Стругацких: «Отягощенные злом» — Последнее произведение: «Жиды города Питера...»

Мы добрались до края рассуждений. О развитии творчества Аркадия и Бориса Стругацких сегодня ничего более сказать нельзя. Конечно, в любую минуту может быть напечатана какая-то неопубликованная доселе рукопись, а также существует возможность, что не все публикации и малые произведения последних лет добрались до меня, наконец, Борис может дальше писать книги один. То есть мои выводы могут потерять актуальность. Однако избежать такого риска невозможно, когда пытаешься рассмотреть творчество современных авторов. Все-таки в конце нужно поставить точку.

Я хотел бы еще, заканчивая наше рассмотрение, кратко проинформировать о ситуации в советской НФ восьмидесятых годов, а также рассказать о последних произведениях наших героев — спорных попытках угнаться за недавними переменами.

*

Итак, Стругацкие по-прежнему не поддавались... Они активно участвовали в противостоянии начинающих адептов НФ с официальными органами и старшими фантастами, поддерживаемыми этими органами. Спор был связан как с общей политической ситуацией, так и с отдельными отношениями в сфере издания science fiction, которые являлись отголосками событий семидесятых годов.

Как я уже упоминал, возможности публикации фантастики в то время были существенно ограничены, поскольку оставались в восьмидесятые годы на уровне периода 1960–1968, хотя количество пишущих

НФ значительно выросло. Вдобавок к этому, в единственном последовательно сохраняющем верность этому жанру издательстве — в «Молодой гвардии», а именно в его «фантастической» редакции, в 1970–1980 и последующих годах практическое руководство захватили две неофициальные писательские «группы», так называемые «московская школа» и «сибирская школа». Первая — непосредственно управляющая — специализировалась в НФ на «исторической» тематике, а ее спекуляции на тему «что было бы, если...» имели однозначный идеологический оттенок, как, например, приобретшая дурную славу книжечка Юрия Никитина «Далекий светлый терем» (Москва, 1985), «где мы видим» — я цитирую одного из ядовитых рецензентов — «под стенами Трои Ахиллеса, названного «старославянским героем, который позже оказался в древнегреческом пантеоне», который размышляет о проблемах этногенеза арийских племен и превосходстве монотеистической религии» [146]. А имеющие поддержку в своих провинциальных издательствах, но охотно публикуемые в «Молодой гвардии» и принимаемые там с распростертыми объятиями «сибиряки», пером главного критика группы Александра Осипова привыкли искать корни своего творчества в особенном «духе» сибирской земли — одновременно исконно русской и преуспевающей в «претворении в жизнь коммунизма» [140].

В семидесятых годах можно обнаружить также и зачатки позитивных явлений. Прежде всего, свердловский журнал «Уральский следопыт» вырос тогда до ранга серьезного популяризатора и мецената НФ, которым оставался и далее, впрочем, и форма публикуемой в восьмидесятых годах фантастики уже не была столь фатальной. Кроме Стругацких, публиковали других неплохих писателей среднего поколения, вышла «Лунная Радуга» Сергея Павлова, книги Владислава Крапивина и молодого Олега Корабельникова — называю лишь авторов, не упоминавшихся ранее. Однако summa summarum дошло до того, что в восьмидесятых годах десятки уже постаревших «молодых», целое новое поколение [103] фантастов СССР безуспешно добивалось возможности опубликоваться. «Молодая гвардия» популяризировать их не хотела, да и не могла, потому что ее возможностей хватало на десяток книг отечественной фантастики в год (что, впрочем, составляло аж ⅔ «ежегодной продукции» НФ на русском языке в СССР — не включая переводов и переизданий). Большинство остальных издательств или традиционно избегало фантастики (по крайней мере, той, которая «для взрослых»), или была ограничена в своих желаниях Госкомитетом по делам издательств, полиграфии и книжной торговли РСФСР. Этот орган, консервативный и

программно неприязненный к фантастике как таковой, во-первых, не допускал увеличения количества издаваемых книг научной фантастики, а во-вторых, если уж давал разрешение, то поддерживая вышеупомянутые «школы». Так складывалось потому, что он пользовался услугами узкого, монополизировавшего в масштабах республики оценку присылаемых для публикации рукописей, коллектива внутренних рецензентов — а они были связаны именно с этими группами.

По крайней мере, такой образ окостенения, застоя и «руководства» одной группировки нарисовали братья сначала в распространенном среди московских любителей НФ «открытом письме», а затем в опубликованной на страницах журнала «Уральский следопыт» необычайно острой, прямо называющей фамилии виновных, статье [48]. Добавим, что ответ «Молодой гвардии» был столь же бесцеремонным...

Стругацкие, а также иные авторитеты: Кир Булычев, недавно умерший Дмитрий Биленкин, Еремей Парнов, вместе с «молодыми», сгруппированными вокруг ежегодного семинара фантастики (названного «малеевским» по месту, в котором он впервые собрался в 1982 г.), которых возглавлял автор повести «Игоряша Золотая Рыбка» (1985) Виталий Бабенко,— составляли одну из воюющих сторон. «Фантастическая» редакция «Молодой гвардии» вместе со своим Советом фантастов, Комитет, «московская» и «сибирская» школы, несколько ветеранов пятидесятых годов, таких, как Александр Казанцев,— другую. «Молодых» поддерживало также большинство клубов любителей фантастики, которые, начиная с 1981 г., лавинообразно возникали при домах культуры, комитетах комсомола, заводских многотиражках — кому где удастся. В 1982 году их было около 40, а шестью годами позднее — уже 180 [104]. О температуре спора можно лишь догадываться, ибо велся он больше в учреждениях и на совещаниях, лишь в исключительных случаях — как в статье Стругацких — проникая в прессу (см., напр. [138, 139, 141, 144, 150, 151]). Но наверняка температура была высокой — косвенным доказательством этого является исчезновение дискуссии на тему сущности НФ и другой литературной фантастики. «Молодые», как правило, отстаивали ничем не стесненное право писателей science fiction касаться любой проблематики, а «старые» в сущности были соцреалистическими консерваторами. Но уже никто не пытался переубедить своих противников — когда в 1986 году «Литературная газета» организовала новую критическую дискуссию о фантастике, большинство текстов являло собой не теоретические рефлексии, как бывало когда-то, а один громкий вопль о невозможности публиковаться, о позиции издателей,

о престиже жанра, который сопровождался солидной порцией сетований. (Nota bene: принявший в этом участие Борис не позволил себе поддаться общему настроению и свое выступление посвятил вопросам писательского ремесла.)

Возможно, вышеописанные притязания писательской «молодежи» будут успокоены в результате политических и экономических перемен; окрепнут новые кооперативные издательства, государственные — вынужденные финансовой необходимостью — уже отбросили (или отбросят раньше или позже) доктринальные возражения против популярной литературы... В самом деле: то, что споры «старшего» и «младшего» поколений могут в перспективе оказаться предзнаменованием перемен, формирующих завтрашний облик российской НФ, не отменит того факта, что — если посмотреть с другой стороны — этот спор был наинормальнейшей «борьбой за стулья». Весь скандал — это, возможно, лишь отдельная деталь более серьезных политических разногласий, в которых Аркадий и Борис Стругацкие, «писатели-граждане», не могли не принять участия непосредственно.

Доказательством этого является их повесть «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», которую можно рассматривать как реакцию на изменяющуюся общественно-политическую ситуацию или как свидетельство творческих поисков.

Во время ее написания произошла неслыханная вещь: о постыдных делах советского настоящего и прошлого начинали говорить открыто! Польза, возникающая для литературы от расширения сферы ее свободы,— очевидна, но упразднение некоторых цензурных запретов вызывало и некоторые трудности: особенно для писателей, которые научились писать «не впрямую». Не могли не оказаться в затруднительном положении и Стругацкие, для которых умение обходить ограничения стало de facto одним из фундаментов их стиля.

Чем заменить столь милые читателю «эзоповские» аллюзии? Как не «захлебнуться» свободой, не начать торопливо, беспорядочно заполнять страницы наблюдениями обо всем том, о чем писать доселе было нельзя? Кроме того, из возможности открыто давать общественные советы вытекает тот фатальный факт, что их ценность становится легко проверяемой. Проверки «говорить напрямую» можно попросту не выдержать — может оказаться, что, по сути, говорящему и нечего сказать. А даже если и есть — велик риск натолкнуться на протест. Скрытые указания читатель воспринимал на основе авторского внушения,

имея значительную свободу при анализе и интерпретации текста, в силу обстоятельств он начинал видеть в нем то, что хотел видеть. Теперь же он видит однозначные истины, конкретные рецепты, и ему легче их отбросить.

Всё это — опасности разного ранга. Например, не справиться с последней — это вовсе не позор, но может оказаться и поводом для хвалы. «Захлебнуться» — это не слишком большая неосторожность, обычно такая проза быстро устаревает. Поэтому я без тени смущения свидетельствую, что Стругацкие не устояли против соблазна и по-детски развлекались упоминаниями о наркотиках и об Афганистане, пародированием политической риторики, высмеиванием прессы, комсомола и бог знает чего еще. Не удержались они и от того, чтобы «похулиганить», вволю используя жаргонные выражения. Однако, если бы братья написали скучную повесть, а тем более такую, которая пытается поучать общество, но не сообщает ничего интересного, то это свидетельствовало бы, по крайней мере, о том, что при изменившихся условиях печати нашим авторам грозит тяжелый творческий кризис. В действительности «Отягощенных злом...», в отличие от многих других произведений Стругацких, нельзя прочесть «на одном дыхании».

Повесть, как и «Волны гасят ветер», формально была апокрифом из будущего,— на этот раз изданной в середине XXI века книгой Игоря К. Мытарина, в которой собраны два документа, снабженные авторским предисловием. Первый — это дневник Мытарина школьных лет, излагающий драматические события, произошедшие с 10 по 21 июля 2033 года. Молодой лицеист ассистировал в то время своему учителю — незаурядному педагогу, Георгию Анатольевичу Носову, принимавшему активное участие в этих событиях. Второй — это таинственная рукопись «ОЗ» восьмидесятых или девяностых годов двадцатого столетия, содержащая воспоминания Сергея Корнеевича Манохина. В начале июля 2033 Носов вручил ее Мытарину. В повести тексты документов чередуются. Мытарин «разделил» рукопись «ОЗ» на фрагменты в соответствии с тем, как он читал ее по несколько страниц тогда, в июле, и поместил эти фрагменты между записей дневника. Такая компоновка, как и личные качества Мытарина, должны провоцировать читателей XXI века (это значит: провоцируют нас) на поиск общего смысла в цепочках событий, изложенных в обоих документах. Иными словами: вымышленный Мытарин составил свою книгу так, как это некогда любили делать Стругацкие.

Оба документа — хотя и с диаметрально разных позиций — могли застать врасплох любителей Стругацких.

Рукопись Манохина продолжает традиции «Мастера и Маргариты», что, впрочем, уже было в советской фантастике восьмидесятых годов [105]. Работая над ней, братья обратились к религиозным и библейским мотивам, которых раньше не использовали. Жаждущий научного успеха астроном Манохин согласился служить сатане [106], который в поисках людей, знающих, «для чего они существуют на свете» [9, 18], «Человека с большой буквы» [9, 91] посетил Советский Союз и в таинственном здании принимает чудовищные экземпляры фанатиков. Спутником Демиурга является таинственный Агасфер Лукич — апостол Иоанн и Вечный Жид одновременно (выступающий при этом в комедийном амплуа нэповского афериста), который под прикрытием должности страхового агента скупает «особые нематериальные субстанции, независимые от тела» [9, 38], называемые также «религиозно-мифологическими представлениями, возникающими на основе олицетворения жизненных процессов организма» [9, 39], то есть человеческие души в обмен на исполнение глубочайших желаний носителей этих субстанций.

Эта чисто условная, полная литературных аллюзий (Булгаков, Ильф и Петров, Гоголь и т. д.) фабула попросту дает Стругацким возможность создания сатирической галереи портретов убогих личностей, исповедующих априорные идеи,— портретов человеческих типов, распространенных в сегодняшней России. Например, внимания заслуживает пансионер Демиурга Марк Парасюхин — великоросс-антисемит в черном костюме, с портретом «святого Адольфа» в комнате [9, 148]. Его Стругацкие заставляют испытывать особенно компрометирующие приключения.

В рукописи «ОЗ» Стругацкие отважились также на новую версию евангельских событий. Но представленный здесь, несколько шокирующий образ Христа, провоцирующего собственную поимку в надежде, что он сделает крест действенной трибуной для провозглашения своих истин, на мой взгляд, решительно уступает концепции Булгакова. Рассказ этой истории в книге попросту не представляется до конца оправданным, поскольку ее мораль формирует смысл целого произведения не в большей степени, чем это делало бы любое другое обращение к Евангелию.

Если рукопись Манохина является неожиданностью, так как содержит новые (но только в творчестве Стругацких) мотивы, то дневник Мытарина в свою очередь удивляет возвращением братьев к провозглашаемым четверть века ранее футурологическим идеям и к уже ар-

хаичному теперь жанровому образцу. При этом идея, на которой строится конструкция реалий, на фоне которых протекает действие, блистательна.

Действительность дневника отвечает на вопрос: каким был бы СССР, жители которого получили бы некоторые демократические свободы?

Вообразим себе социалистическую страну, то есть такую, где, конечно же, поддерживается господство коммунистической партии — но исключительно в силу гигантского морального авторитета этой организации. Государство разбито на несколько локальных территорий, с полным самоуправлением, управляемых властями, избранными на демократических выборах. Вообразим себе социалистическую страну, граждане которой без преград и в зависимости от своих взглядов объединяются в формальные и неформальные организации со свободным доступом к прессе и телевидению, а также имеют право на нестесненную, активную демонстрацию своего мнения общественности другими средствами. Государство, где происшедшие на данной территории события поразному комментирует несколько местных газет различной ориентации, где могут проходить манифестации и пикеты — а милиция попросту следит за порядком, где идет свободная игра политических сил, основанная на таких принципах, что, например, ортодоксальные коммунисты способны сосуществовать с людьми, предпочитающими спокойную личную жизнь.

Не преувеличивая, можно сказать, что Стругацкие сконструировали образ общества, используя множество конституциональных постулатов, провозглашаемых перед окончательным распадом во всей Восточной Европе. (Здесь я вынужден добавить, что авторы, вводя реалии меньшего веса, несколько промахнулись «во времени» — СССР Anno Domini 2033 слишком напоминают США шестидесятых и семидесятых годов с характерными «войнами» хиппи и мотоциклистов, наркотиками и сексуальной революцией.)

Но этого идеала для Стругацких уже было мало, они готовы были дискутировать на эту тему. Именно из событий, описанных в дневнике, вытекает, что демократия — это недостаточная форма общественной организации: власть «большинства» может легко переродиться в диктатуру посредственности, тупости и примитива.

Дело в том, что общество 2033 года — это переходная форма. Появляются в ней зародыши чего-то качественно нового (попросту — коммунизма). С одной стороны, в форме расширения элитарной системы обучения педагогических кадров, в соответствии с рецептами «Воз-

вращения» всесторонне образованных, которые были бы способны позже таким же образом воспитывать общество. А с другой — в форме так называемой «флоры», или групп молодежи, практикующих полную терпимость в повседневной жизни.

Дневник — это имеющий отчетливый евангельский привкус [107] рассказ ученика «педагогического лицея» (это именно один из будущих воспитателей человечества — у него уже даже появляются способности «коммунистических сверхлюдей»), который, ассистируя обожаемому учителю, наблюдает и не всегда компетентно описывает его борьбу против политических интриг, направленных против лицеев, а также акцию (ей Носов также противостоит) общественного примитива, направленную против «флоры».

Усилия Носова заканчиваются поражением — словно Христос из рукописи «ОЗ», не сумев никого переубедить в своей правоте, как и его великий предшественник, он сознательно решается на отчаянный поступок. В последней сцене он сидит вместе с учениками у костра этих новых «хиппи» и ждет прибытия милиции и добровольцев, которые намерены «удалить заразу» из округи. Мы узнаем также, что лицеи будут закрыты — таким образом происходит, по крайней мере временное, уничтожение «зародышей будущего».

В своей повести Стругацкие не только рассчитывались с современниками и критиковали определенный «образ жизни». Они также представили историю, мораль которой в очередной раз в их прозе доказывала превосходство социотехники над стихийным развитием, убеждала, что «сознание определяет бытие» (а не наоборот), что людей — прежде, чем их освобождать — нужно воспитывать.

Конечно, Стругацкие знали, как много зла было сделано при реализации подобных рецептов. Поэтому они снабжают мораль предостережением: в деле общественной перестройки следует соблюдать принципы уважения человеческого достоинства, свободы и жизни; тень этического прагматизма, отступление от морали милосердия, оправдывание великими целями используемых средств заканчивается на практике отрицанием того, чего хотелось достичь.

Это предупреждение братья провозгласили уже в рассказе «Шесть спичек», оно прошло красной нитью почти во всем их творчестве. В рассматриваемой повести оно выражено с помощью параллелизмов в обоих мотивах. Аналогии заключены не только в новозаветных аллюзиях. В рукописи «ОЗ» эпизодически появляется Носов, а в дневнике

ловец душ, Агасфер Лукич. Нет смысла излагать здесь подробности, но эти факты должны, видимо, подтолкнуть читателя к тому, чтобы он посмотрел на Носова по-другому — как на кого-то, столь же охваченного великой идеей, но не впадающего в грех фанатизма. Георгий Анатольевич даже во имя своего дела не соглашается на моральные компромиссы. Течение событий показывает, хоть это и сказано ясно, что сделка о его душе не была заключена...

Я думаю, мы можем вернуться к поставленным в начале рассмотрения вопросам. Сравнительно просто выяснилось, почему «Отягощенные злом...» (правда, теперь это название стало двузначным?) были тяжеловаты в чтении. Будучи наполовину утопией, повесть не могла иметь четкого действия — ведь описание стараний Носова не направлено на развлечение читающего или характеризацию Носова в качестве литературного героя, а служит для презентации данной модели общества и анализа поставленной социологической и моральной проблемы.

Остается еще вопрос важности самого посыла произведения (если я правильно его прочитал).

Я лично сомневаюсь, что можно совместить подчинение людей воспитательным действиям в общественном масштабе и моральную чистоту. Ведь это первое всегда будет связано и с социотехническими манипуляциями, и с самоуверенностью манипулирующего. Что это именно он обладает истиной, что имеет право воспитывать. Не будучи политологом и историком, я не могу, конечно, должным образом раскрыть эту первоочередную проблему, но, кажется, можно согласиться, что именно демократия, об опасностях которой предостерегают Стругацкие в новейшей повести, не вызывает сомнений такого рода: она попросту позволяет людям править, как они хотят, не забивая себе голову тем, правильно ли они идут к идеалу.

С другой стороны, убеждение в пользе воспитания общества, в том, что «сознание определяет бытие...», всегда было первостепенным элементом русского и советского мышления о социализме со всеми историческими приключениями этого мышления...

Что ж... трудно удивляться тому, что Стругацкие сохранили веру в идеал, на котором они были воспитаны,— хотя в принципе всю свою жизнь посвятили борьбе с противоречиями этого идеала. Однако это не отменяет того факта, что в тот момент, когда уже многое указыва-

ло — разумно довериться стихийности развития человеческих обществ, и когда даже правящая элита советского государства уже попыталась привить в своей стране элементы этой стихийности,— Стругацкие неожиданно заняли позицию умеренного консерватизма, что, впрочем, им быстро поставили на вид; о реакции же обиженных националистических кругов легко было догадаться [108].

Наиболее ощутимый удар, однако, нанесла этой повести история. Через два года после публикации СССР перестал существовать, и сомнительно, что читатели «Отягощенных злом...» вообще еще интересовались проблемами будущего социализма, с таким вниманием рассмотренными в утопической части произведения.

События лета 1991 года лишили актуальности также и публицистическое содержание последней, законченной в апреле 1990 г. позиции братьев — их сценического (sic!) дебюта, комедии «Жиды города Питера...». В ней Стругацкие выставили суровый счет подавляющему большинству своего поколения, «назвали рабов рабами» [109]. Замысел, на котором основана фабула, немного напоминает «За миллиард лет до конца света»: группа пятидесятилетних интеллигентов получает повестки, предписывающие им прибыть «с документами и сменой белья» в определенные места города, что является очевидным преддверием ссылок или иных массовых репрессий. Повестки высылает таинственная «Социальная Ассенизация», их содержание указывает на различные «провинности» адресатов («Богачи города Питера...», «Жиды...», «Политиканы...»), отсюда легкий «фантастический налет» этого в принципе уже совершенно реалистического произведения. Все взрываются возмущением — и покорно упаковываются, обосновывая это «волей народа», невозможностью бегства и т. д. Спасения ищут в милиции, у «высокопоставленных» знакомых, даже в КГБ. Но никому и в голову не приходит проигнорировать повестку или вступить в противоборство. Подчинение любому распоряжению является для них чем-то обязательным, не подлежащим сомнению. Ничего не меняет осознание того, что это — конец перестройки, гласности, реформ,— ведь этого ожидали... Однако распоряжения будут отменены, а одновременно поколение двадцатилетних покажет, что оно не заражено рабством. Его представители побьют человека, который разносит повестки,— покажут властям, что они не останутся безнаказанными [110].

апрель 1987 — июнь 1989, июль 1992

Приложение

ЕЩЕ О «ХРОМОЙ СУДЬБЕ»

(Примечания на полях монографии) [111]

Написание книги о современных писателях иногда бывает рискованным делом. Потому что появляются неизвестные до того факты, писатели комментируют свои давние произведения, переиздают их в измененных версиях и т. д. Книгу «Братья Стругацкие (очерк творчества)» я окончательно закончил в июле 1992 года, и с того времени «стругацкология» несколько продвинулась вперед. Я решил по мере возможности отслеживать появление новой информации, характеризующей и по-новому интерпретирующей творчество Стругацких, и время от времени сообщать о новостях любителям книг Стругацких.

В этом тексте я вернусь к известной польскому читателю пока только из 3 номера «Литературы в мире» за 1988 год повести «Хромая судьба», опубликованной в журнале «Нева» в 1986 году, а затем с 1989 издаваемой вместе с введенной в текст повестью «Гадкие лебеди» (постоянно под тем же названием, теперь уже общим: «Хромая судьба»).

Необходимость дополнения прежних рассуждений об этой повести стала жгучей с того момента, как Борис Стругацкий определил [112] время ее написания: с ноября 1980 по ноябрь 1982. Этой информации не было в первом издании, которым я пользовался (результат требования тогдашней, еще советской цензуры).

Стоит также остановиться на художественных и содержательных последствиях решения включить в текст «Хромой судьбы» — в качестве написанной «в стол» главным героем, Феликсом Сорокиным, рукописи из «Синей Папки» — изданного еще в 1972 году на Западе «Времени дождя» (другое название — «Гадкие лебеди»). Это решение было принято относительно недавно. Скорее всего, только в 1987 году [113]. Ведь еще годом раньше, когда — как я уже вспоминал — первая версия «Хромой судьбы» печаталась в ленинградской «Неве», в качестве фрагментов «Синей Папки» появились фрагменты первой части неопубликованной еще тогда другой повести — «Град обреченный». И, пожалуй, она была там более к месту с точки зрения свойственного этому произведению духа абсурда. Косвенная автохарактеристика своего «тайного» произведения, которую приводит Сорокин, и то, что о художественных амбициях этого писателя (между прочим, и по писаниям его ранних «современных сказок») мы можем сказать, указывает именно на гротеск и абсурд.

*

Те, кто читал «Хромую судьбу», наверняка помнят, что авторы предприняли там игру с читателем, наделив главного героя, Феликса Александровича Сорокина, некоторыми элементами биографии Аркадия Стругацкого. Много фактов совпадает — военная служба, японистика, редактирование — кроме одного, принципиального: Аркадий не стал посредственным писателем-баталистом. А информированный об этой «специальности» Сорокина советский читатель начала восьмидесятых годов автоматически должен был подозревать его в конформизме, в том, что он полностью смирился с судьбой. Обычная, посредственная баталистика (вроде сценариев Сорокина) в 1982 году ассоциировалась прежде всего с повестями Юлиана Семенова или Александра Чаковского — воспевающими преимущество советского оружия или даже заслуги Иосифа Виссарионовича.

Таким образом, Сорокин является как бы иным, более худшим, но все-таки правдоподобным вариантом развития писательского таланта Аркадия. Как бы — так как опять же не до конца... Еретический интерес к фантастике, скрытые амбиции писать «не так, как требуется» позволяют увидеть в Феликсе Александровиче что-то вроде «зеркального отражения» братьев. То, что для них было литературной ежедневностью, для Сорокина является изредка реализуемой мечтой. С другой стороны, Аркадий тоже пробовал писать соцреализм.

Игра с биографией является лишь одним из мысленных слоев произведения. Кроме того, «Хромая судьба» — это реалистическая картина жизни советских писателей восьмидесятых годов и — как и «Гадкие лебеди» — социологическое исследование судьбы писателя в условиях диктатуры. Но она говорит о другом времени, представляет не мечты и постулаты, а жизненную прозу и пользуется иным творческим методом — по-другому использует возможности литературной фантастики.

Содержащийся в «Хромой судьбе» образ жизни советских писателей комментария не требует. Обращаю лишь внимание на мощь всех институтов надзора (редакции издательств и журналов, цензура, литературная критика), неустанно заботящихся об идеологической чистоте произведений, связанную с довольно комфортабельными условиями жизни каждого из творцов. Вот метод «кнута и пряника» в чистом виде!

Стругацким удалось ввернуть и пару истин о жизни советского общества конца эпохи Брежнева, неслучайно названной позднее «эпохой застоя». Тотальный балаган в экономике, коррупция, «засекречивание» почти всего (в те годы секретной была даже московская телефонная

книга). Намеки на эти явления читатель мог заметить (правда, повесть дождалась публикации все-таки лишь в годы «перестройки») во внешне невинных упоминаниях: о том, что когда-то умели очищать улицы от снега, а теперь — несмотря на специальные снегоуборочные машины — всё тонет в снегу, о выездах целых университетов в деревню, на уборку овощей, об исключении профсоюзного работника за взяточничество, о беспокойстве одного из героев — Кудинова, что он разгласил существование «секретного» института [114]. Характерно также, что вся компания пьет до потери сознания [115].

Таким образом, Стругацкие, несмотря на то, что условия того времени крайне этому не благоприятствовали, старались сказать правду времени методом малых фактов и узкого объектива. Сорокин говорит об анекдотах, мелочах, ежедневных делах — хотелось бы сказать — с некоторой нарочитостью: «Я говорю о глупостях, потому что не могу говорить о большем». Таким способом они провоцировали читателя домысливать это «большее».

Но одна проблема рассмотрена здесь глубже. Та самая, что и в написанных двадцатью годами раньше (с октября 1966 по сентябрь 1967) «Гадких лебедях» — истории оппозиционного писателя в фантастической тоталитарной стране, то есть истории Виктора Банева. Как может работать писатель в условиях диктатуры.

В момент написания повести о Сорокине эта проблема оставалась жизненной, но ее уже нельзя было решать так, как предлагали Стругацкие когда-то, в «Лебедях». Опыт второй половины семидесятых годов, когда было разбито диссидентское движение (подвергая непокорных интеллигентов различным репрессиям, а позднее вынуждая их покидать страну), доказал, что — вопреки выраженным в повести о Баневе надеждам шестидесятых годов — диктатура, располагая грубой силой, прекрасно может обойтись без знаний, которые несет интеллигенция.

Ноябрь 1982 — это месяц окончания работы над книгой и одновременно смерти Брежнева. Но ситуация сменилась не сразу. Юрий Андропов и Константин Черненко — преемники — несмотря на попытки упорядочить экономику, не подвергли ревизии брежневские методы проведения культурной политики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в истории Сорокина господствующим настроением является — по крайней мере, до определенного момента — стабилизировавшаяся, тихая безнадега.

Переламывает ее лишь окончание, когда «вполне реальный мир» произведения оказывается «деформированным присутствием чуда» [53]

(в соответствии с новой литературной программой братьев), а из этого чуда возникает совершенно практическое послание.

Вот — я напомню изложенное в моей монографии содержание произведения — Институт лингвистических исследований Академии наук СССР, куда правление Московского отделения Союза писателей направляет с рукописями своих членов, оказывается местом, где при машине, которая может предвидеть судьбу произведения, работает — он? не он? — сам Булгаков, покровитель гениев, о которых хотели бы забыть. Это он наконец наглядно убедит Сорокина, что его опасения об издании машинописи не имеют смысла, так как дело писателя — творить так хорошо, как он сможет, без оглядки на конъюнктуру, не распыляясь на пустые, пусть даже и тешащие самолюбие умозаключения. Убедит его также, что произведение будет закончено — и только в этом заключается настоящая радость.

Таким образом, в начале восьмидесятых годов Стругацкие давали в «Хромой судьбе» своим собратьям-писателям (а одновременно и всей российской интеллигенции) печальный, но мужественный совет: выполняйте свое призвание, творите и не заботьтесь о практической, издательской пользе, о славе... В творчестве вы всегда найдете утешение, а произведение само как-нибудь прорвется к читателю... Судьба «Мастера и Маргариты», изданного спустя четверть века после смерти автора, убедительно это доказывает.

Неотлучно сопутствующая братьям Стругацким на их писательском пути ирония судьбы распорядилась так, что печальный рассказ о неделе жизни Сорокина в момент издания (когда не была известна точная дата окончания этого текста) можно было прочесть как характерный для начала перестройки сильный акцент оптимизма.

*

Наконец, рассмотрим еще один вопрос: почему именно «Гадкие лебеди» окончательно стали содержанием «Синей Папки»? Напрашивается ответ, что, может быть, авторы хотели таким образом специально оказать почет своему «проклятому» произведению. Но это только психологическая гипотеза. Я лично думаю, что выбор именно этой повести имеет объективное, художественное объяснение. Таким образом углубляется характерологический портрет Сорокина.

Почему он так беспокоится о судьбе своего «тайного» дитяти? Не только потому, что это гениальное произведение, но и потому, что оно является воплощением его грез о себе, как писателе и человеке.

Обратим внимание на аналогии, подобия и противоречия между героями «Хромой судьбы» и «Времени дождя». Например, у Сорокина есть тридцатилетняя дочь, а у Банева — десятилетняя, и сам он лет на двадцать моложе Сорокина. Далее: он практически несокрушим физически, ведет бурный роман, работает совершенно спонтанно и «до последнего вздоха», в то время, как Сорокин уже серьезно болен, работает по 2–3 часа, а его роман, скорее всего, является последней любовью пожилого мужчины. Банева все знают, а его «переход к активности» означает вмешательство в борьбу спецслужб, в дела первостепенной важности для страны,— о Сорокине мало кто знает, а участвовать он может, самое большее, в идиотских спорах о плагиате. Расположение глав подчеркивает правильность такого рассмотрения.

Таким образом, создавая гибрид двух повестей (о Баневе и о Сорокине), который с 1989 года доступен на литературном рынке под названием «Хромая судьба», Стругацкие не совершили художественной ошибки: ее действительно можно читать не как механическое сложение, но как единое целое.

ПРИМЕЧАНИЯ

Вступление

[1] Я не рассматриваю здесь научные работы Бориса и статьи по японистике и ориенталистике Аркадия, а также переводческую деятельность обоих. Пользуясь случаем, должен заметить, что в произведениях братьев можно обнаружить большое количество мотивов, связанных с культурой Японии, однако я недостаточно компетентен, чтобы в полной мере исследовать эти мотивы.— *Прим. авт.*

[2] По этой же причине я уменьшил и количество примечаний.— *Прим. авт.*

Библиография в русском издании несколько изменена. Оставлены лишь те позиции, цитаты из которых приведены в тексте. Первая цифра в квадратных скобках указывает номер источника, вторая — страницу.— *Прим. перев.*

[3] Борис Натанович вспоминал о тех трагических событиях:

> Я должен был умереть в блокаду — это было ежу ясно, я умирал, мама мне об этом рассказывала... меня спасла соседка, у которой каким-то чудом оказался бактериофаг... Мне дали ложку этого лекарства, и я выжил, как видите. ...Аркадий тоже должен был погибнуть, конечно,— весь выпуск его минометной школы был отправлен на Курскую дугу и никого не осталось в живых. Его буквально за две недели до этих

событий откомандировали в Куйбышев на курсы военных переводчиков. В той теплушке, в которой ехали отец и Аркадий,— умерли все, кроме брата. Потому что это были эвакуированные из Ленинграда, которых сначала переправили по Дороге жизни, потом от пуза накормили... Начался кровавый понос... что-то жуткое... многие сразу умирали. Потом живых посадили в ледяной вагон и — до Вологды без остановки, без врачебного внимания... Вот так. Аркадий был, конечно, чрезвычайно крепким молодым парнем — он выжил тогда один среди всех [11, 408].

— *Прим. перев.*

[4] «Семейные дела Гаюровых» лишены следа стиля братьев. По свидетельству А. Стругацкого, он помогал соавтору, таджикскому литератору Фатеху Ниязи «уложить» готовый материал в образы и сцены.— *Прим. авт.*

[5] Напр., «Мечта Пандоры» А. Столярова, действие которой происходит в реальности повести «Хищные вещи века», лишь несколько позднее.— *Прим. авт.*

[6] Московский любитель фантастики Владимир Орлов передал мне библиографию пародий на произведения Стругацких — всего 14 позиций, вышедших в 1963–84 годах.— *Прим. авт.*

В рамках проекта «АБСолют» Антон Лапудев нашел и библиографировал гораздо большее количество пародий.— *Прим. перев.*

[7] Должен заметить, что настоящий «бум» как раз и начался в 1989 году, когда ежегодно стало выходить более десятка книг Стругацких, а в 1991 году издательство «Текст» предприняло выпуск первого собрания сочинений братьев в 12 томах.— *Прим. перев.*

[8] В конце шестидесятых годов в этом издательстве Стругацким было заявлено: «Фантастики у нас не было, нет и не будет» [28, 106],— тем большим должно было быть их удовлетворение.— *Прим. авт.*

[9] На 1 января 2001 года — 30 произведений, 441 издание в 33 странах.— *Прим. перев.*

[10] О работе над сценарием этого фильма Стругацкие всегда охотно вспоминали, делясь подробностями о том, как были вынуждены написать целых 9 вариантов, как почти готовый фильм был загублен при проявке пленки и всю работу пришлось начинать сначала...— *Прим. авт.*

[11] Сериал по «Обитаемому острову» снят не был. В 1990 году по сценарию «Пять ложек эликсира» был снят фильм «Искушение Б.» (реж. А. Сиренко). В Чехословакии был снят фильм по «Малышу». В настоящее время в Голливуде идет подготовка к съемкам фильма по «Пикнику на обочине», а в России Алексей Герман снимает новый вариант «Трудно быть богом».— *Прим. перев.*

[12] 1956 год как год написания повести называет Аркадий в интервью «Фантастика всегда актуальна» [34], а в беседе братьев на страницах ленинградского журнала «Аврора» [33] говорится о начале работы над повестью в 1955 году. Однако в другом интервью Аркадий о происхождении «Страны...» вспоминает следующее:

> Честно говоря, я сам уже не могу отличить в этой истории правды от вымысла. И вот, если верить нашей семейной легенде, дело было так. Тогда, лет двадцать назад, я был профессиональным переводчиком с японского, брат — астрофизик. Однажды мы с ним и с моей женой гуляли по Невскому проспекту. Как раз в это время вышла книжка одного украинского фантаста, на редкость слабая. Мы с братом разругивали ее, как могли. Жена шла в середине, слушая, как мы изощрялись. Наконец терпение ее лопнуло. Критиковать все могут, сказала она, а сами, поди, и такого не напишете. Нас, разумеется, взорвало: да не вставая из-за стола... Кажется, заключили пари. Сколько времени писали — не помню. Полкнижки — я, полкнижки — Борис, потом состыковали эпизоды, убрали накладки и понесли рукопись в издательство. К нашему удивлению, через год роман напечатали [32].

Книга, о которой вспоминает А. Стругацкий, скорее всего «Аргонавты Вселенной» Владимира Владко (Ростов-на-Дону, 1939), которая в переработанном виде вышла в Москве в 1958 году. Действительно, местами она чрезвычайно наивна. Доказательством того, что речь шла об этом романе, является то, что некоторые эпизоды «Страны багровых туч» (атака космического излучения, события сразу же после посадки) несомненно являются полемической аллюзией на аналогичные сцены из книги Владко. О меньших аллюзиях я и не упоминаю...

Но если речь действительно шла об «Аргонавтах...», то «Страна багровых туч» могла быть написана лишь в 1958 году*.— *Прим. авт.*

[13] Напр., стандартная повесть тридцатых годов Федора Панферова «Бруски» местами живо напоминает утопию.— *Прим. авт.*

---

* В беседе с переводчиком этой книги Борис Натанович приводил следующие даты: повесть задумана в 1955 году, а написана в апреле 1957 года. Противоречие с датой выхода книги В. Владко можно объяснить следующим образом. Выходные данные «Аргонавтов Вселенной» гласят: «Сдано в набор: 2.8.1956. Подписано к печати: 22.3.1957». Аркадий Натанович в это время уже работал редактором, правда, в другом издательстве, но был знаком, например, с К. Андреевым, редактировавшим фантастику в Трудрезервиздате, где и вышла книга Владко. Братья могли познакомиться с текстом «Аргонавтов...» еще в рукописи.— *Прим. перев.*

[14] Процесс деградации начался в творчестве Уэллса, когда в некоторых повестях одновременно присутствовали и видения хорошо или плохо (антиутопия) устроенного будущего мира, и «чудесные», используемые в этом мире и в современной автору действительности технические изобретения. Стоит обратить внимание, что ранее Верн описывал технику как бы бескорыстно, вообще не пытаясь взглянуть на развитие общества. В формировании окончательного вида НФ в Англии и США, которое по мнению польского литературоведа А. Згожельского завершилось в конце тридцатых годов (исследователи чаще датируют возникновение НФ условно 1926 годом, когда начал выходить журнал «Astounding» Хьюго Гернсбека), участвовали такие виды фантастики, как: повесть ужасов — «weird fiction», повесть о чудесном изобретении — «gadget story», так называемое «фантастическое путешествие» (последние два и частично «weird fiction» я объединяю общим названием «технологической утопии», отдавая себе отчет в том, что термин этот скорее из области идеологии, чем генологии), и конечно же утопия в собственном смысле этого слова, то есть социологическая, которая представлена, напр., романами «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли и «Когда Спящий проснется» Герберта Уэллса. Существенным фактором, который способствовал выделению НФ среди родственных видов, я считаю утрату огромной группы произведений со свойственной утопиям склонностью к дидактичному, авторскому, имеющему самостоятельную, научно-популярную или идейную ценность, описыванию фантастического феномена. Видовым отличием НФ является использование этого феномена (феноменов) в качестве фона для собственно фабулы, то есть событий, составляющих драму, переживания или только приключения героя. Иными словами, НФ использует технику реалистичной прозы — чаще всего приключенческой или сенсационной, но также бытовой или психологической — и с ее помощью достигает своих развлекательных, идейных, познавательных или иных целей. В наиболее зрелых своих произведениях НФ прибегает даже к такой — казалось бы — присущей лишь «высокой» литературе сложной технике, как условие «совместного знания» читателя и автора о месте, времени и реалиях, в которых происходит действие, несмотря на то, что фантастический мир по своей природе является конструкцией, неизвестной даже по документам. Однако это возможно благодаря прочному закреплению в сознании читателей НФ памяти о реалиях — «фантастичностях», созданных в старых утопиях, опыт которых в этой области НФ приняла, расширила и употребила в виде «совместного имущества».— *Прим. авт.*

[15] Можно назвать: В. Итин, «Страна Гонгури» (1922); Я. Окунев, «Грядущий мир» (1923) и «Завтрашний день» (1924); А. Беляев, «Город победителя» и «Зеленая симфония» (1930); Э. Зеликович, «Следующий мир» (1930); Я. Ларри, «Страна счастливых» (1931). Больше не было, если верить А. Бритикову [112, 96–101 и 135–145].— *Прим. авт.*

[16] Скорее всего он имел в виду «Волшебные ботинки» В. Сапарина (1958).— *Прим. авт.*

[17] Автор этого определения, А. Казанцев, процитированный в статье В. Ревича, с тех давних пор существенно изменил свои взгляды. «Мечта — душа научной фантастики» [130, 24],— проникновенно писал он десятью годами спустя, когда ежу было ясно, что и определение фантастики как «литературы великой мечты» страдает все той же ходульной узкой ограниченностью. Примечательно, что цитата о «мечте» взята из статьи, посвященной 70-летию другого динозавра советской НФ, В. Немцова. Здесь стоит заметить, что суть романов А. Казанцева, регулярно выпекаемых в любые времена, не менялась...— *Прим. перев.*

[18] Чтобы по крайней мере один из всех авторов Science Fiction хоть раз заикнулся о социализации, хотя бы главных отраслей промышленности /.../ — чего нет, того нет. Речь вовсе не идет о том, чтобы американцы пропагандировали коммунизм в качестве идеала утопии; в конце концов, существуют различные концепции социализма и путей, ведущих к нему,— но это понятие было вычеркнуто из словаря НФ, если только оно не являлось фундаментом дистопии посторуэлловского типа.

Поэтому стоит мимоходом заметить, что в спектре политических убеждений, исповедуемых большинством авторов, Science Fiction размещается бесспорно справа /.../ [120, t. 2, 435].

Разве не так же и Стругацким, несмотря на всю их писательскую «революционность», даже в голову не пришло «заикнуться» о более демократическом хозяйствовании и отношении к отдельной личности? — *Прим. авт.*

Глава II

[19] У меня нет, к сожалению, данных, позволяющих сравнить точное количество изданий НФ «брутто», с переизданиями и переводами. Бритиков вспоминает о 1266 книгах, выпущенных с 1959 по 1965 г. тиражом 140 млн. экземпляров [112, 268].— *Прим. авт.*

[20] Советский историк философии так комментирует этот эпизод:

Значит, изменились законы его [Мвена Маса] психики, сместились пружины чувств, двигатели эмоций, фундаменты морали. Нравственное оскорбление, нанесенное другому, возмущает его больше, чем физическое оскорбление, нанесенное ему самому. И это не потому, что он привык к ударам. Нет, он еще ни разу не встречался с такой рассчитанной безжалостностью, ни разу не терпел побоев, наносимых, чтобы причинить боль, унизить человека.

Казалось бы, что такое неслыханное оскорбление и должно было прежде всего возмутить его. Но — «чувства общественного человека суть иные чувства, чем чувства необщественного человека». Из них исчезла

эгоистичность, исчез эгоцентризм, зато «чувства других людей» стали «его собственным достоянием».

Поэтому куда больше возмущает Мвена Маса насилие над другим человеком, попытка навязать ему свою волю, подвергнуть моральному угнетению.

Эта сценка дает еще один ключ к ефремовской концепции нового человека. Мы видим, как коммунистический гуманизм врос в его душу, стал его внутренним свойством, насквозь просвечивает его чувства. Мы видим, что он определяет все его действия, все мысли, все эмоции [71, 78].

Рюриков цитирует «Экономическо-философские рукописи» Карла Маркса [57, 42, 122].— *Прим. авт.*

[21] Б. Ляпунов в статье «Новые достижения техники и советская научно-фантастическая литература» [64] насчитал всего лишь четыре кибернетических рассказа и повести, кроме вышеперечисленных.— *Прим. авт.*

[22] В «Большой глубине» также есть эпизод охоты на огромного головоногого. Однако здесь охота бескровная, животное усыпляют и поднимают на поверхность. Любопытно, что и героям Стругацких приходит в голову нечто подобное, но их субмарина не справится с такой задачей.— *Прим. авт.*

[23] Я не случайно использую термин, примыкающий к «теории бесконфликтности», то есть к весьма ортодоксальному соцреализму. О том, что такой способ мышления не был тогда братьям чужд, свидетельствует следующее выступление Аркадия:

В советской, да и в зарубежной фантастике о человеке будущего пишется еще очень мало. Каков будет он, этот человек? Очевидно, он будет лишен таких пережитков прошлого, как приобретательство, эгоизм, зависть. Зато в полной мере откроются его духовные возможности. И в этой связи задачи писателей-фантастов, как ни странно, усложняются. Как, например, показать конфликты между людьми будущего? В какой форме эти конфликты будут проявляться? Видимо, основой их будет та же борьба, но борьба не добра со злом, а... добра против добра. /.../ На чьей же стороне будут в таком случае симпатии автора? [11, 271].

— *Прим. авт.*

[24] В беседе с «люденами» Борис Стругацкий так ответил на этот вопрос: «Конечно, не думали. Насколько я помню, рассказ представлял для нас интерес только из-за научно-фантастической идеи о том, как киберы будут осваивать пространство. Всё остальное — типичные архитектурные излишества».— *Прим. перев.*

[25] Например, приведенная выше цитата.— *Прим. авт.*

[26] Бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вы-

растут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям». Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа [115, 62].

— Прим. авт.

[27] Максим Ростиславский (позднее: Каммерер), герой «Обитаемого острова», например, необычайно сильный, видит в темноте, не подвержен болезням, ему не страшна радиоактивность, выздоравливает после ранения в сердце, позвоночник, печень и т. д. и т. п.— *Прим. авт.*

[28] В беседе с «люденами» Борис Стругацкий отмечал: «Такой вопрос у нас возникал каждый день, но мы не знали на него ответа. Поскольку основная наша цель была — показать мир, в котором нам хочется жить, мы эту проблему как бы отодвигали. А потом она появилась, она все равно пролезла, в том же самом «Жуке в муравейнике» она практически пролезла...» — *Прим. перев.*

[29] Тем не менее сомнения носили победный характер. Возобновляя в 1967 г. «Полдень, XXII век», Стругацкие снабдили текст вступлением, в котором столь старательно сконструированный в соответствии с указаниями классиков образ коммунизма представили как субъективное, не имеющее футурологических амбиций, видение.

Здесь я хотел бы процитировать также большое высказывание Стругацких на тему их раннего — когда они писали и «Полдень» — творчества, а также идейного перелома, который в значительной степени лишил актуальности их произведения — по крайней мере, в глазах самих братьев:

Корр[еспондент]. Стругацкие ранних книг и книг последних лет, мне кажется, верят в разные вещи. Во многом они просто антиподы друг другу. Герой их ранних книг — коллективист, герой книг последних лет — индивидуалист, одиночка. Стилистика их ранних книг, способ изложения материала — крайне эмоциональны, а в книгах последних лет они подчеркнуто суховаты, последовательны, логичны. Не случайно, скажем, в последнее время появился и был воплощен ими замысел романа, состоящего из одних документов.

Б[орис] С[тругацкий]. Я понял, что вы хотите сказать и почему этому вопросу предшествовал вопрос о вере Стругацких... О Стругацких ранних произведений можно было сказать, что это люди, которые свято и безусловно верят в близкое коммунистическое будущее...

Корр. Настолько, что как бы даже живут уже в нем...

Б. С. Стругацкие более поздние, получается, как бы отступились от этой веры и так же, как их герой, уже больше думают о себе... Это ведь и так и не так. Мы всегда исходили из того, что человек — это животное, но разумное. Если оно разумное, значит, оно должно разбираться в том, что хорошо, а что плохо. И именно в связи с разумностью такого рода в мире появляется все больше доброго и хорошего...

Корр. Простите, но «разумный» в нашем разговоре — это человек гармонии эмоционального и рационального, или просто тот, у кого хорошо устроены мозги?

Б. С. Я вкладываю в этот термин самый простой, примитивный смысл: разумный — значит способный разобраться в мире, который его окружает. Короче говоря, разумный — это значит ученый.

Корр. А чисто человеческие качества (сердце, душа) куда подевались на этом фоне?

Б. С. Сердце, душа были для нас функциями разума. Подразумевалось, что если человек разумен, значит, у него и с остальным все в порядке. Потому что если человек разумен, то ему ясно, что хорошо себя вести — правильно, а плохо себя вести — неправильно. Причинять вред людям — плохо, нести добро людям — хорошо. Это *разумно*, понимаете? Именно такова была наша начальная установка. И далее. Человек с течением времени принципиально не меняется. Пифагор и Ньютон, разделенные тысячелетиями, одинаково разумны. И человек, который появится еще через тысячу лет, в этом смысле будет, видимо, на том же уровне. Происходит ли тогда вообще что-нибудь с людьми? Мы выдвигаем гипотезу, что все человеческие качества (доброта, чувствительность и т. д.) распределяются по гауссиане — это такая колоколообразная кривая. То есть в каждый отдельный момент времени злобных людей мало. И очень добрых людей — мало. Основная масса держится где-то в середине. Предположим, что все качества людей со временем — в силу общего улучшения условий существования — становятся все лучше. Наука развивается все сильнее, материальный уровень растет, люди становятся добрее, образованнее, умнее и т. д. Гауссиана сдвигается по горизонтали, и человек, который вчера по доброте своей был чем-то совершенно исключительным, через сто лет уже будет рядовым явлением. А исключительная доброта, соответственно, будет чем-то таким, чего мы себе сегодня и представить не можем. Отсюда получается, что через сто, двести лет действительно наступит время, когда — от каждого по способностям, каждому по потребностям, когда — изобилие материальных благ, нет необходимости вцепляться друг другу в глотки, когда — разработана теория воспитания, и с детства человека выращивают добрым и хорошим, а значит, мир постепенно населяют только добрые и хорошие люди, когда, наконец, будут реализованы вещи, казавшиеся разумными еще тысячелетия назад. Приблизительно так, на уровне схемы, мы представляли себе движение человечества в будущее.

И именно эти представления отразились в наших ранних вещах. Все зло, вся мерзость, все негодяи, подлецы, трусы — считали мы — со вре-

менем отомрут за ненадобностью. Не надо будет делить кусок хлеба, не надо будет делить посты, жилплощадь с окнами на юг... И чем дальше, тем больше добрых и хороших людей будет в мире, а потом добрых и хороших людей станет подавляющее большинство, и наступит коммунизм — светлое будущее всего человечества...

Корр. Но он все не наступал и не наступал...

Б. С. Да... Очень скоро мы поняли, что вся эта картина не так проста, как нам кажется. Ниоткуда, скажем, не следует, что гауссианы сдвигаются, ниоткуда не следует, что с течением времени человек обязательно будет становиться добрее, ниоткуда не следует, наконец, главное — что увеличение количества материальных благ на душу населения приводит к улучшению человека. Мы сплошь и рядом наблюдали картину обратную. И в нашей стране, и в других странах. Количество материальных благ на душу населения растет, а души лучше не становятся. И чем дальше, тем больше нам приходилось задумываться о том, что, если даже всего будет навалом, найдутся люди, которым вечно будет чего-то не хватать. Поэтому, в частности, выпуская второе издание «Полдня» (1967 г.), мы сделали к нему специальное предисловие, в котором оговаривали, что общество, изображенное нами в этой повести, совсем не обязательно будет именно таким для всего человечества. Это просто общество, в котором нам хотелось бы жить.

Все оказалось сложнее и страшнее. Человек оказался гораздо более сложным устройством, чем «животное разумное». /.../ Оказывалось совсем непонятно, как из окружающего мира вырастет мир Полудня. Куда денутся миллионы и миллионы окружающих нас людей, совершенно негодных для жизни в мире Полудня? А потом мы спросили себя: господи, куда же девать тогда тех людей, которые в общем-то хорошие, но не без червоточинки? И не смогли себе ответить. Так что, действительно, в этом смысле сегодняшние Стругацкие, наверное, гораздо большие скептики, чем Стругацкие пятидесятых [11, 431—434].

— *Прим. авт.*

[30] На самом деле повесть «Возвращение (Полдень, 22-й век)» 1962 и 1963 гг. имела другой состав (новелла «Поражение» вообще не входила в нее) и другой порядок новелл (новелла «Свидание» под названием «Люди, люди...» располагалась в середине повести). Более четкий контур, соответствующий данному описанию, повесть приобрела лишь в 1967 году, когда была опубликована под названием «Полдень, XXII век (Возвращение)».— *Прим. перев.*

Глава III

[31] К чести фантастов, только в их среде нашлись люди, которые воспротивились бессмысленному употреблению понятия «жанр» по отношению к фантастике, справедливо указывая, что жанром можно считать «роман»,

«повесть», «поэму», «пьесу» и т. п., а фантастику скорее следует считать именно видом литературы, таким же, как реализм, романтизм и т. п. Но поскольку в СССР иные виды литературы, кроме «социалистического реализма», не имели права на существование, литературоведы старательно замазывали различие между всеми этими терминами, и до сих пор я не встречал ни в одном словаре четкого определения понятий «вид», «род», «жанр» по отношению к литературе вообще и к фантастике в частности...— *Прим. перев.*

[32] Борис Натанович, отвечая на вопросы группы «Людены», предоставил следующие даты написания перечисленных произведений (первая дата — начало обсуждения замысла, вторая — окончание работы): «Возвращение» (март 1959 — октябрь 1960), «Стажеры» (ноябрь 1959 — июнь 1960), «Попытка к бегству» (январь 1962 — февраль 1962), «Далекая Радуга» (сентябрь 1962 — декабрь 1962), «Трудно быть богом» (февраль 1963 — сентябрь 1963), «Понедельник начинается в субботу» (август 1961 — май 1964), «Хищные вещи века» (октябрь 1963 — ноябрь 1964). Как видим, автору монографии удалось довольно точно определить эти даты, работая «на касаниях»...— *Прим. перев.*

[33] Утверждение, что писатель должен быть образованным интеллигентом, звучало неслыханно на фоне тогдашней русской и советской традиции мышления об общественной роли литературы и ее творцов. Для этой традиции характерен был скорее культ крестьянства, отечественности, народности (как в соцреалистическом, так и в обиходном значении этих слов). Однако редакция использовала, довольно коварно, формальный аргумент: Стругацкие, по ее мнению, требовали от коллег подчинения лишь одному творческому методу — а это недопустимо, так как противоречит нынешнему отношению партии к литературе, является консерватизмом.— *Прим. авт.*

[34] С этих же позиций он полемизировал с братьями далее:

> Стругацкие могут называть свои книги просто фантастическими, и все равно от науки им не уйти! /.../ Если художественный метод современной фантастики считать независимым от науки, то тем самым и Рабле, и Гофман, и Сент-Экзюпери в «Маленьком принце» станут в одну шеренгу с братьями Стругацкими. Компания, конечно, неплохая, но ведь речь идет об особенностях *современной* фантастической литературы.
>
> Если мы оставим слово «фантастика» и отбросим «научная», то смешаем в кучу фантастов всех времен, всю мировую фантастическую литературу и потеряем возможность дифференцировать разные виды и разные типы фантастики. /.../
>
> Но и фантастика, превращенная в прием, остается в наше время научной фантастикой. Критерий у нас один, и Стругацкие от него не отступают: научно-философское, диалектико-материалистическое видение мира, иными словами, современный научный уровень мышления, при котором исторический критерий, социологические воззрения играют не

меньшую роль в фантастической литературе, чем научно-технические идеи и гипотезы.

При всех фантастических допусках, как бы далеко они ни выходили за пределы возможного, при всей невероятности принятых причин и следствий они подсказаны, так или иначе, современной научной мыслью, мыслью второй половины XX века, сделавшего науку демиургом.

И потому, как мне кажется, термин «научная фантастика» не нуждается в замене. Правда, он не совсем точен, но имеет несомненные преимущества перед всеядным и расплывчатым термином «фантастика» [85, 121–122].

— *Прим. авт.*

[35] Размышляя в середине шестидесятых лет над различием между сказкой и фантастикой-хоррор, Роже Келлуа писал:

> Сказочность — это мир чудесного, который входит в действительный мир, ничем не нарушая его внутреннего строя и не уничтожая его связности; фантастика же — это манифестация скандала, разрыва, это несносное вторжение в тот же мир действительности [101, 32].

Эту мысль углубил Станислав Лем:

> /.../ Появление призрака из-за гроба означает разбиение существующего порядка — в нем словно возникает ужасная дыра, из которой выныривает это привидение. А чтобы эффект такого вторжения создался, до этого должно распространиться собственно убеждение в том, что является естественным и возможным, в противовес тому, что не может случиться, потому что сверхъестественно. Поэтому рождение несказочной фантастики предусматривает ранее установление порядка в мире как единой естественной гармонии [120, t. 1, 87],

а расширил, обобщил и связал с современной генологической теорией «эволюции жанров как рединамизации жанровых структур» Анджей Згожельский.

Таким образом в польском литературоведении возникла школа, для которой: «Появление фантастики в произведении — это нарушение установленных ранее в тексте законов представленного мира» [134, 21]. Другими словами, для литературоведов с подобными взглядами (за границей, напр., Цветан Тодоров) к фантастической литературе относятся тексты, которые вызывают у нас чувство фантастичности в результате имманентных им свойств, свойств их структуры, а противостоят этой школе группы исследователей (напр., Рышард Ханке, Ян Тжнадлёвский и десятки других в Польше, почти все советское литературоведение без Татьяны Чернышевой и Евгения Неёлова), привыкших отличие фантастической литературы видеть в ее тематике, в различии между ее миром и действительным.

«Структуралисты» приняли некоторые установки, касающиеся того, что следует считать фантастикой. Например, к ней уверенно относят хор-

рор, так как в нем происходит нарушение законов сказки в пользу реалистической действительности и наоборот: нарушение законов реалистического мира чем-то иррациональным. Или фэнтези — там мир сказки нарушается взятыми из реалистической литературы моральными принципами, или утопия — там в реальный мир вторгается мир, совершенный в социологическом и техническом отношении. В то же время НФ, как заматеревшая, гомогенизированная, обладающая цельной системой правил своей действительности и не вызывающая чувства фантастичности у читателя литература, фантастикой sensu stricto не является.

С другой стороны, известно, что мотивация, подготовка к действию имеет ключевое значение для цельности законов, управляющих литературной действительностью. В случае мотивационной непоследовательности у читателя научной фантастики может исчезнуть столь характерное чувство представляемой «нормальности», «реалистичности», и вместо него может появиться (как бы вторично) чувство или фантастичности, или — если нарушения слишком велики — попросту ощущение ошибок в писательском искусстве.

Похоже на то, что Брандис, скорее всего, не сознавая того, защищал жанровую чистоту НФ, как она выглядит с точки зрения структуралистов.— *Прим. авт.*

[36] Или перешло — или нет (взгляды на эту тему могут быть разными), но жанровый перелом в творчестве Стругацких произошел наверняка. Вот как его видит, например, Татьяна Чернышева:

> Эволюция творчества А. и Б. Стругацких как бы в миниатюре повторяет общую тенденцию развития утопической литературы. Была у них повесть «Возвращение (Полдень, XXII век)», где сюжет по сути дела безразличен, да там и нет единого сюжета. Цель авторов — как можно шире показать будущее. Одним словом, это была традиционная описательная и всеохватная утопия. /.../ В повести «Стажеры» сюжет явно приспособлен для широкого показа грядущего. И только в зрелых повестях А. и Б. Стругацких будущее не описывается, а словно «проявляется» постепенно, как «проявляются» в обычных романах знакомые читателю формы жизни, быта, нравов, когда недостающие части картины как бы «дописываются» читательским опытом и воображением [143, 320].

Конечно, у нас с Чернышевой различная терминология. Я лично предпочитаю говорить о «превращении утопии в НФ» и о традиции «общих знаний», но мы наверняка думаем об одних явлениях.— *Прим. авт.*

[37] Видны, например, трудности с решением вопроса о том, является ли работа и связь с коллективом достаточно сильным лекарством для экзистенциальных болезней отдельных людей. Сравните разговор Дауге с женой-мещанкой [2, 318–320] и комментарий Бритикова к нему [112, 338–339].— *Прим. авт.*

[38] Я не предполагаю гипотетического «влияния», но обращаю внимание читателей, что в 1962 году был опубликован «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. А XXII съезд КПСС несколько раньше вскрыл факты, связанные с существованием лагерей, и постановил вынести мумию Сталина из Мавзолея.— *Прим. авт.*

[39] В беседе с «люденами» Борис Стругацкий отмечал, что наиболее сильная ломка впечатлений у них произошла еще в 1956-м году, после XX съезда КПСС. На радикализацию взглядов Стругацких повлияли и события в Венгрии, и публикации начала «оттепели». До такой степени, что в первом варианте «Попытки к бегству» Саул бежит из советского лагеря, а не из немецкого. Что же касается «Одного дня Ивана Денисовича» и XXII съезда КПСС, то «Попытка...» была написана все-таки раньше.— *Прим. перев.*

[40] И таким образом авторы смотрели на произведение как на демонстрацию творческой свободы, умышленное пренебрежение нормативными правилами:

> Б. С. /.../ «Попытка к бегству». Мы писали ее, уже будучи серьезными, во всяком случае, профессиональными авторами. За спиной уже было несколько больших повестей. /.../ И вот тут мы впервые испытали муки творческого кризиса. Мы вдруг поняли, что задуманное писать нам неинтересно. Это был очень тяжелый момент. Мы тогда помучились, однако в результате родилось произведение, в известном смысле новое не только для нас лично. В нем мы впервые почувствовали творческую свободу, впервые поняли, что, как мы считаем нужным, так и надо писать. Нет и не должно быть никаких авторитетов, никаких стандартов, в которые нужно вписаться, нет никаких ссылок и отсылок — *мы* хозяева в рукописи. Кроме того, как вы помните, в «Попытке к бегству» мы применили прием, который до тех пор, по крайней мере в советской фантастике, не применялся. Мы безо всяких объяснений взяли и перебросили человека из прошлого в будущее. Без всяких объяснений! Человек нового времени, наверное, не поймет, какой это был революционный шаг. Сейчас кажется нормальным, дескать, понадобилось авторам, они и перебросили, а тогда такая постановка вопроса выглядела дикой — что значит понадобилось авторам?! А что все-таки произошло?! Как оказался этот человек в будущем? Мы, конечно, понимаем, что это фантастика, но хоть какое-то объяснение должно же быть... Хоть какой-нибудь тоннельный переход или еще что-нибудь. Ну, придумайте что-нибудь!.. [11, 427–328].

— *Прим. авт.*

[41] Это термин Станислава Эйли, но есть и другие. Михал Гловиньский говорил о «внутреннем авторе» [106], Александра Окопень-Славиньска — о «субъекте произведения» или «отправителе произведения» [127], и все предостерегали от отождествления этих внутренне- и внешнетекстовых категорий структуры произведения с реальными авторами, а скорее, с той

частицей их личности и мысли, которые они вкладывают в свое произведение. Однако я считаю, что в довольно прямолинейной, в принципе не знающей мистификационных игр с читателем советской литературе эта осторожность ни к чему, если мы имеем дело с хорошими авторами, знающими, что они пишут, и пишущими то, что они хотели написать. По отношению к большому количеству советских повестей нет смысла даже использовать различие между «объективным» повествованием в третьем лице и суждениями реального автора, но уж столь простодушными Стругацкие не являются.— *Прим. авт.*

[42] По классификации Станислава Эйли [119, 243–246] это повествование, суждения которого относятся к общественно-характерологическим чертам говорящих.— *Прим. авт.*

[43] Борис Стругацкий в беседе с переводчиком на тему: какой путь общения с иными цивилизациями «более правильный» — Прогрессорство или невмешательство — высказал еще и такую мысль: «Дело даже не в том, как правильнее поступить. Мы [авторы] уверены: и в далеком будущем найдутся люди, которые не смогут беспристрастно взирать на беды и несчастья других, и неизбежно вмешаются и попытаются помочь».— *Прим. перев.*

[44] В беседе с «люденами» Борис Стругацкий рассказывал, что «недоразумения» Хрущева с интеллигенцией в 1962 – 63 годах действительно резко повлияли на мировоззрение авторов «Трудно быть богом». И роман, первоначально задумывавшийся как развлекательно-мушкетерский, в процессе написания приобрел явственную гражданскую позицию.— *Прим. перев.*

[45] «Хищные вещи века» были, видимо, первым серьезным опытом советской литературы в этом направлении. (Русская литература такой опыт уже имела: в 1907 году вышла, например, «Республика Южного Креста» Валерия Брюсова, в 1924 — в эмиграции — «Мы» Евгения Замятина.) Не исключено, что осмелиться на этот эксперимент Стругацким помог успех в СССР повести Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» (Fahrenheit 451, 1953). Эта книга уже была переведена на русский, и литературная критика Советского Союза на переломе лет 1964/1965 интенсивно занималась ею. В «Хищных вещах...» имеется полемическая аллюзия к этой книге: Страна Дураков отмечена тем, что книги там не уничтожают, а раздают бесплатно. Только их никто не хочет брать. Любопытно, что Станислав Лем также (только уже непосредственно) критиковал «451 градус...» в том же духе:

> **Брэдбери не понимает /.../ того, что гораздо хуже, чем правительство злых людей, такая власть, которая не приказывает сжигать книги, потому что эти книги утратили всяческую ценность в общественном сознании [120, t. 2, 433].**

— *Прим. авт.*

[46] Для более детального знакомства с этой проблематикой предлагаю познакомиться с работами Евгения Брандиса и Владимира Дмитревского [86; 98; 99].— *Прим. авт.*

[47] К собственно диссидентскому движению Стругацкие никогда не имели сколь-нибудь прямого отношения. По замыслу авторов и Банев — не диссидент, а «интеллигент, который пытается жить своим умом и по своим законам», как отмечал Борис Стругацкий в беседе с «люденами».— *Прим. перев.*

[48] Это обвинение вскоре стало «дежурным аргументом» ортодоксальных соцреалистов, атакующих братьев. См. напр. [94; 110].— *Прим. авт.*

[49] Однако то, что Громова не поняла, она почувствовала. Доказательство правильного воздействия книги в эмоциональной сфере (то есть того, что читатель свои симпатии и антипатии распределяет в соответствии с волей авторов) звучит в ее статье так:

> Трудно, невозможно человеку быть «богом», безучастным наблюдателем, даже если он понимает, что это необходимо. Антон-Румата не удерживается до конца на этой позиции, и мы понимаем, что так должно быть, что это неизбежно, потому что он — человек. /.../ Это не выход, не сознательное решение; это лишь бурный, стихийный взрыв, калечащий душу /.../. Но такой — израненный, искалеченный — Румата понятен и близок нам. Неизмеримо более понятен и близок, чем был бы, если б до конца остался на позициях «бога» [87].

— Прим. авт.

[50] Представляется, однако, что принцип «черпания и перемещения» Ефремов не переносил (или же переносил не полностью) на личность героя произведения, поскольку далее писал:

> /.../ Действие должно развиваться в ином плане, не свойственном настоящему времени. Только так возникают и достоверность, и перспективная глубина образов людей и облика грядущего мира.

Обдумав этот довольно метафорический вопрос, можно обнаружить в нем одобрение создания персонажа, сконструированного как правдоподобного для будущего (такого создания, которое мы знаем из творчества Ефремова), и, позднее, последовательного соблюдения раз установленной логики мышления и поведения такого персонажа.— *Прим. авт.*

[51] Обвинение в «похожести на Кафку» (этот писатель вырос чуть ли не в символ дегенерации литературы при капитализме) — это следующий «дежурный аргумент» ортодоксов. Что интересно, в первой половине шестидесятых годов, «при Хрущеве», был издан первый и надолго единственный сборник произведений Кафки. Он был настоящей «белой вороной» — мне довелось видеть сделанные для продажи, нелегальные копии этого сборника.— *Прим. авт.*

[52] Ефремов (кстати, предпославший «Попытке к бегству» и «Хищным вещам...» похвальное вступление [88]) хотя и настойчиво доказывал, что

повесть борется с капитализмом и капиталистическими привычками в сознании, тем не менее признал, что это произведение «недоработано в художественном отношении» [93]. Брандис и Дмитревский же писали, что в «Хищных вещах...» можно наблюдать

> известные нарушения внутренней логики, недостатки языка, стилевые шероховатости. И самое главное, что вызывает чувство неудовлетворенности,— мало показан мир, противостоящий паразитическому, прогнившему обществу, изображенному в этой повести. Поэтому «Хищные вещи века» представляются нам не самым удачным произведением Стругацких, требующим доработки [91].

Справедливости ради следует вспомнить, что ленинградские критики пробовали и дальше полемизировать с М. Федоровичем, к сожалению, в уже менее массовой публикации, доказывая, что несчастная повесть «интересна именно тем, что доводит до сатирического гротеска несостоятельные идеи теоретиков «неокапитализма» [98, 466]. Однако это была (что и понятно — работа была опубликована в 1967 году, когда борьба с оппозицией начиналась уже вовсю) чрезвычайно осторожная полемика, поскольку одновременно Брандис и Дмитревский обвинили произведение в «недостаточно четких социальных акцентах». Таким образом они обеспечили себе пути к отступлению. Соответственная интерпретация абзаца, защищающего Стругацких, могла превратить его в сокрушительную критику тех же Стругацких. От «социальных акцентов» недалеко было и до «классовых» — то есть до обвинения братьев в том, что они заняли неправильную «классовую позицию», а следовательно, до признания книги идейно чуждой и вредной.— *Прим. авт.*

[53] На самом деле — 15 лет, если учитывать бакинское издание 1980 года.— *Прим. перев.*

[54] Предлагаю для сравнения два текста. Вот фрагмент выступления Немцова в редакционной дискуссии «Невы» 1962 г. «Человек нашей мечты», в которой принимал участие и Борис:

> Относительно кибернетики был интересный диспут на московском заводе «Динамо». Выступал один молодой парень, очень талантливый инженер-конструктор, ратовал за всяческое превосходство роботов над людьми.
>
> Я разъяснил этому молодому товарищу, что робот всем будет хорош, но лишен небольшого пустяка — нравственных принципов, благородных чувств. Как плохо, что мы так мало прививаем нашей молодежи эти чувства! Во время войны мы воспитывали в людях мужество, смелость. А вот сейчас не научили девушек плакать над стихами — я бы хотел, чтобы они плакали. Девушки учат алгебру, географию, «проходят» (как принято говорить) Пушкина и Лермонтова. А вот мне бы хотелось, чтобы после экзаменов они взяли томик стихов и вдруг у них появились на глазах слезы [14, 171].

А вот отрывок из «Улитки на склоне»:

Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушечкой... плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. Над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!!! Никогда!!!» [4, 456] — *Прим. авт.*

[55] На тему «избыточности» комизма с точки зрения экономии описания в утопии и роли комизма в раннем, утопическом творчестве Стругацких — см. работу Т. Чернышевой [143, 322].— *Прим. авт.*

[56] Пристальное рассмотрение французских фраз Выбегаллы показывает, что они позаимствованы из «Войны и мира» Л. Н. Толстого, на что одним из первых обратил внимание Роман Арбитман.— *Прим. перев.*

[57] Различие между юмористическим и сатирическим комизмом — по классификации Богдана Дземидока [102, 92].— *Прим. авт.*

[58] Кандид (*франц.* candide — наивный, простодушный) — это прежде всего имя героя «Кандида» — философской повести Вольтера. «Перец» — по-русски это не только «перец», но и «остроумная, язвительная шутка, насмешка, издевка».— *Прим. авт.*

[59] Сами Стругацкие родословную кошмарно-гротесковых картин «Улитки...» выводили из сатирических произведений Салтыкова-Щедрина, и здесь они совершенно правы [11, 428]. В том, что они связаны также с творчеством Кафки, убеждает наличие в «Улитке...» элементов поэтики сна и господствовавшая тогда своеобразная мода на этого писателя.— *Прим. авт.*

[60] См. [74]. Стругацкие (кстати, их «Попытка к бегству» была напечатана в том же томе «Фантастика, 1962 год») весьма ценили Лагина — см. [31].— *Прим. авт.*

[61] «Сверхчеловек», «супермен» — то есть человеческое существо с необычными свойствами организма, мутант или попросту новый человеческий вид,— этот мотив часто используется в западной НФ. Об этом пишут, например, Станислав Лем [120, t. 2, 257–280] или Вера Грааф [124, 127–143]. Однако в советской фантастике он встречается редко — его функции исполняет (как мы уже знаем) либо марксистская «гармонично развитая личность», либо различного рода киборги в произведениях, более нацеленных на популяризацию технических и естественных наук.

В творчестве Стругацких выступают сверхлюди всех типов: типично «западный» появляется в «Гадких лебедях» и в поздней повести «Волны

гасят ветер»; «марксистско-западным» суперменом, объединяющим избранные черты обоих типов, будет Максим Ростиславский (в измененном издании — Каммерер) из «Обитаемого острова», необычайные способности которого объясняются и эффектом коммунистического воспитания, и биологической эволюцией; киборгом был и один из персонажей «Далекой Радуги» — могущественный в физическом и умственном отношении, но совершенно лишенный воли к жизни получеловек-полумашина Камилл. Этот киборг, конечно, лишь по происхождению был из популяризаторской фантастики, но в данном произведении был всего лишь аллегорией одной из дискутировавшихся тогда в СССР антропологических проблем. Правда, в другой повести, в «Малыше», появится более «научный» киборг.— *Прим. авт.*

[62] Очень коротко авторы вспоминали много лет спустя — «Обитаемый остров» «когда-то навлек на нас много бед...» [11, 427].— *Прим. авт.*

[63] При подготовке «Обитаемого острова» к публикации в собрании сочинений в издательстве «Текст» Юрий Флейшман из группы «Людены» обнаружил около 900 (!) исправлений, сделанных в первом книжном издании по сравнению с представленной авторами в издательство рукописи. Лишь в 1993 году текст «Обитаемого острова» вышел в таком виде, в котором он был задуман. Правда, к тому времени отказаться от Каммерера и Рудольфа, действующих также в произведениях «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер», было уже невозможно...

Тем не менее следует заметить, что цитата о «воспитании масс в духе добра и взаимной любви» все-таки не вошла в окончательный, так называемый «канонический» текст «Обитаемого острова». Остался лишь намек на возможность «иного» использования излучающих башен. Что, на мой взгляд, говорит не об упрощении моральной проблематики, а о том, быть может, что авторы хотели оставить читателю возможность самому продумать и оценить все возможные последствия наличия центра излучения. Такая «недоговоренность» характерна для многих произведений Стругацких.— *Прим. перев.*

Глава V

[64] В беседе с «люденами» Борис Стругацкий категорически отверг такой «сценарий» этого события: «»Гадкие лебеди» ушли за рубеж абсолютно без нашего ведома и против нашей воли. Если б нам кто-нибудь предложил это сделать, то мы бы сказали: «Ни в коем случае»».— *Прим. перев.*

[65] Количество выходящих ежегодно книг снизилось с 60 до 30 названий [135, 219].— *Прим. авт.*

[66] Историю «фантастической» редакции «Молодой гвардии» я рассказываю так, как ее видят Стругацкие, прекрасно понимая, что авторы были не в ладах с издательством [48, 60]. Однако их точка зрения была подтверж-

дена другими свидетельствами, когда я уточнял ситуацию в СССР, а также некоторыми фактами (о части из них речь будет впереди), такими, например, как опубликованная 12 июля 1988 в газете «Книжное обозрение» библиография серии «Библиотека советской фантастики», в которой издательство публиковало современную фантастику. В списке авторов книг за 70–80-е годы очень много малоизвестных фамилий, а количественные данные также подтверждают тезис об уменьшении публикаций.— *Прим. авт.*

[67] См. [16] и [21] (эта статья является главным источником сведений об описываемой литературной программе Стругацких).— *Прим. авт.*

[68] В беседе с «люденами» Борис Стругацкий отмечал, что тема контакта как столкновения обыкновенного человека с необыкновенными происшествиями, по его мнению, является вполне литературной темой, продолжением уэллсовских традиций.— *Прим. перев.*

[69] Множество позиций приводит Адольф Урбан в примечаниях к эссе о советских фантастах, которые составили книгу «Фантастика и наш мир» [116, 247–253].— *Прим. авт.*

[70] Внимание: конечно же, «миф» является для Чернышевой познавательным понятием, равно как и для Стругацких. Оно означает «донаучные знания», если речь идет о древности, или же кружащиеся в широких кругах общества стереотипы, популярные отражения и упрощения научных достижений — в недавние и современные времена. Я обращаю на всё это внимание, во-первых, потому, что существует и другое — не познавательное — понимание мифа, а во-вторых, потому, что с «мифологической» концепцией Чернышевой Стругацкие имели возможность ознакомиться еще в 1971 году (см. [117]).— *Прим. авт.*

[71] Ипполит Тэн (1828—1893) — французский философ и писатель, родоначальник эстетической теории натурализма, основатель культурно-исторической школы.— *Прим. перев.*

[72] В 1983 году одна любительница фантастики, деятель КЛФ [А. Якубовская], сетовала:

> Последнее время почему-то все больше попадается повестей, рассказов, про которые можно сказать: ни уму, ни сердцу. Судите сами.
>
> ...Четверка наших современников идет по тайге. Встречает след инопланетной цивилизации. Перевоплощается то в пращуров, то в инопланетян. Мораль: жизнь есть жизнь, человек всегда человек. /.../
>
> ...Люди отдали своих детей на воспитание инопланетянам. Когда дети вернулись, прозревшее человечество убедилось, что детей Земли воспитывать должно оно само.
>
> ...Космический ас мчится на неведомую планету за сбежавшим туда сорванцом-сыном. Там среди опасностей понимает наконец, как важно быть терпимым, добрым, как нужно детям внимание отцов [38].

Любительница — насколько я знаю — была права. Большинство произведений советской НФ семидесятых и восьмидесятых годов попросту невозможно читать — столь о скучных банальностях в них говорится (разве что в некоторых авторы действительно старались вместе с тем обеспечить сенсационное, развлекательное действие — с чем, однако, никогда не было легко в литературе СССР). Звучит это парадоксально, но я думаю, что именно дуновение скуки является доказательством того, что эта фантастика полностью превратилась в популярную литературу. И вот почему.

Вера Грааф в книге «Homo futurus» метко определила популярную литературу как — среди прочего — написанную для читателя, «жаждущего лишь развлечения и утверждения при этом в своих мыслительных привычках» [124, 46]. Оставим в стороне развлечения... и выйдет, что для популярной литературы — по отношению к познавательным ценностям — характерно то, что она не приносит новые знания, а лишь истины, уже известные широкому читателю. Истины эти могут быть из разных областей. Если из области нравственности — то будут именно такими банальностями, как вышеупомянутые.

Почему советская популярная НФ своей областью выбрала именно нравственность? Видимо, взяла пример с «художественной» литературы, в которой в семидесятых и восьмидесятых годах большую роль играло течение так называемого «морального беспокойства», произведения которого говорят о некоторых общечеловеческих истинах. Вспоминается даже современный русский сентиментализм (например, Василий Белов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин), пропагандирующий особенную моральную простоту. Популярная литература пыталась сделать то же самое — но на своем интеллектуальном уровне и вопреки своему жанровому предназначению. Она не годится для проповедей.— *Прим. авт.*

[73] Концепцию такого типа выдвигала когда-то и Т. Чернышева [105].— *Прим. авт.*

[74] В родстве народной сказки и научной фантастики, ясное дело, в СССР давно отдавали себе отчет,— однако пренебрегающие исследованиями формы соцреалисты суть подобия этих жанров усматривали в «мечте о социальной справедливости» в сказке и «мечте о коммунистическом будущем» в НФ. Сказка была для них первой формой социальной утопии.— *Прим. авт.*

[75] Еще один случай точного определения Кайтохом времени написания конкретных произведений. Вот точные даты: (первая дата — начало обсуждения замысла, вторая — окончание работы): «Отель "У Погибшего Альпиниста"» (январь 1969 — апрель 1969), «Малыш» (февраль 1970 — ноябрь 1970), «Парень из преисподней» (март 1973 — март 1974), «Пикник на обочине» (февраль 1970 — ноябрь 1971).— *Прим. перев.*

[76] В беседах с «люденами» о произведениях того времени Борис Стругацкий рассказывал, что «Малыш» и «Парень из преисподней» — это как

бы «необязательные» произведения Стругацких, которые были написаны прежде всего потому, что другие, более проблемные вещи тогда совершенно невозможно было опубликовать. Что же касается «Отеля "У Погибшего Альпиниста"», то эта повесть решала для братьев Стругацких чисто литературно-техническую задачу: как мог бы выглядеть настоящий детектив нового типа? Борис Стругацкий: «Есть произведения, которые можно было бы не писать, и есть произведения, которые нельзя было не написать. «Отель...» мы *должны* были написать».— *Прим. перев.*

[77] Представляется, что автор монографии здесь слишком категоричен. Собственно, ничто в тексте повести не указывает на то, что капрал Гаг *действительно* существенно переменился.— *Прим. перев.*

[78] У Бориса было свое представление об этом звереныше. У меня — свое. Постепенно в ходе работы возник иной герой — не мой и не его, а наш, не имеющий никакого отношения к первоначально задуманному. Предполагалось попасть в общество гигантских пауков на планету с тройным, по сравнению с земным, притяжением. Значит, и живущий там человек должен был обладать тройной мускулатурой, иметь костяк, выносящий тройную нагрузку. Он ткал бы паутину и спал на потолке...

Потом все эти глупости отпали сами по себе. Мы пришли к выводу, что цивилизация, которая спасла Малыша, вообще недоступна нашему представлению. Это — особое общество, которое далеко ушло от нас вперед. Оно слилось в единое существо, в некий сверхорганизм со сверхвозможностями. Как только мы это поняли — Малыш ожил, слился в единый для нас образ космического Маугли [50],

— вспоминал Аркадий.— *Прим. авт.*

[79] Заметим, что этот взгляд является яркой манифестацией этического прагматизма, столь часто осуждаемого Стругацкими в предыдущих произведениях. Создается впечатление, что в «Граде обреченном» наконец открывается настоящий адрес этих многочисленных осуждений.— *Прим. авт.*

[80] Идея человека, который многократно проживает свою жизнь, каждый раз возвращаясь в одно и то же время (сохраняя, однако, память предыдущих «воплощений») была использована позже в рассказе «Подробности жизни Никиты Воронцова».— *Прим. авт.*

Глава VI

[81] Ее общественными функциями должно быть

воспитание человека, нетерпимого к мещанству, человека коммунистически мыслящего и действующего, /.../ воспитание человека, готового к бы-

стрым переменам жизни, не робеющего перед этими переменами, такого человека, у которого стереотип не прибит гвоздями к черепу [28, 106]. — *Прим. авт.*

[82] Фантастика — литература не только необыкновенных образов и положений, но и литература крупномасштабных обобщений, глобальных тем: человек и космос, человек и природа, человек и будущее [47]. — *Прим. авт.*

[83] Фантастический элемент должен прорастать в реалистическую ткань повествования и образовывать с нею некий единый сплав с совершенно новыми (как и полагается сплаву) свойствами.

Воланд (у себя дома) одет в ночную сорочку, грязную и заплатанную на плече. /.../ Уэллсовские марсиане — задыхающиеся под собственной тяжестью, лоснящиеся спрутообразные мешки с мрачными глазами — настолько реальны, что умирают от инфекции, зараженные земными микроорганизмами.

Фантастическое облекается в земные одежды — в обычном и в переносном смысле [11, 382]. — *Прим. авт.*

[84] Свифт в «Путешествии Гулливера» предельно скрупулезен, когда описывает множество и множество сугубо реалистических деталей, и так же скрупулезен Лем, который многие страницы текста отдает подробнейшему рассказу о формах мимоидов — все это необходимо только для того, чтобы читатель мог войти в фантастический мир романа так же естественно, как он входит в мир романа реалистического [11, 383]. — *Прим. авт.*

[85] См. также [32]. — *Прим. авт.*

[86] Щекн является голованом, одним из загадочных больших собак, которые мутировали в радиоактивных джунглях Саракша в вид с развитыми парапсихологическими способностями, сумевший создать цивилизацию. Таким образом, голованы возникли способом, который в англо-американской фантастике сороковых и пятидесятых лет был забронирован для появления «сверхлюдей» (см., например, «Хризалиды» Джона Уиндэма, 1953; или рассказы о Хогбенах Генри Каттнера), то есть Стругацкие как бы слегка посмеялись над той фантастикой. С другой стороны, однако, чудесных псов в фантастике Запада тоже много. Например, Сириус Олафа Степлдона («Сириус», 1944) или жители «Города» Клиффорда Саймака (1953). — *Прим. авт.*

[87] Ср. [40, 273–276] и [44, 210]. — *Прим. авт.*

[88] Боюсь, на этот раз дотошность сыграла с автором монографии злую шутку. Исчезновение эпиграфа имеет совсем другую причину: «Если Вы имеете в виду издание ЖвМ в сборнике «Белый камень Эрдени» (1982, Лениздат), то там эпиграфа нет вовсе: его мы были вынуждены выбросить

под давлением идиота-редактора, которому кто-то по секрету сообщил, что «Стояли звери... и т. д.» — это слегка переделанная маршевая песня гитлерюгенда (!). Единственно же правильным эпиграфом является стишок, который придумал мой шестилетний сын: Стояли звери / Около двери, / В них стреляли, / Они умирали» (Off-line интервью Бориса Стругацкого на сайте «Русская фантастика», 02/16/00). Причина же исчезновения информации о сверхъестественных возможностях Щекна еще более прозаична — «Жук в муравейнике» не вмещался в отмеренный для него издательством объем, и его безбожно сократили. Во всех более поздних изданиях «Жука...» и эпиграф, и текст о Щекне присутствуют.— *Прим. перев.*

[89] И такое превращение произошло на самом деле. См. фрагмент интервью с братьями:

> Б. С. /.../ Третьим переломным моментом в нашей биографии была повесть «Жук в муравейнике». Она произвела даже своеобразный бум среди любителей фантастики. Проходили целые конференции, посвященные разбору того, что произошло, что описано в этой повести, кто прав, кто виноват там... Правильно ли поступил Сикорски, застрелив Льва Абалкина? Был ли, в свою очередь, Лев Абалкин роботом Странников? Кто они такие — Странники? Наконец, выступают ли в данном случае Стругацкие как глухие реакционеры, призывающие стрелять во все неожиданное, непривычное, или же, наоборот, занимают высокогуманистическую позицию? Мы были просто потрясены, получив несколько отчетов, протоколов подобных конференций. Причем вот что любопытно: очень большой процент читателей воспринимает эту повесть как детектив. И совершенно законно говорят, что это плохой детектив. Там ничего не объяснено. Кто убийца? Где труп? Как это так можно такие детективы писать?!
>
> Но дело в том, что «Жук» не детектив. Это повесть о выборе. И выбор этот читатель должен делать вполне серьезно и вместе с героем. Мы построили повесть таким образом, чтобы в каждый момент времени читатель знал ровно столько же, сколько знает герой. И вот на таком основании изволь делать выбор. Поэтому многое в повести так и осталось нераскрытым,— Максим, герой ее, просто не узнал этого по ходу дела [11, 429].

— *Прим. авт.*

[90] Тем не менее в беседе с «люденами» Борис Стругацкий отмечал, что все даты в романе определялись более ранними произведениями, связанными с «Жуком...» общими героями: «Мы просто прикинули, когда действие должно происходить, как мы всегда это делали, чтобы не впадать в большие хронологические промахи (сколько лет должно быть Горбовскому, к примеру). И получили примерно конец семидесятых. А уж исчезнувшие в 37-м году родители — это чистая случайность».— *Прим. перев.*

[91] См. также мой анализ повести [148].— *Прим. авт.*

[92] Напр., «Интервью доктора Валентина Пильмана» в «Пикнике на обочине», «Дневник Лозовского» в «Извне» и еще несколько мелочей.— *Прим. авт.*

[93] Кажется, автор монографии действительно упрощает. В 1983 году, когда были написаны «Волны...», в Советском Союзе ни о каких реформах и речи не было.— *Прим. перев.*

[94] Большинство исследователей творчества братьев Стругацких сходится в том, что мемуар Каммерера написан в начале XXIII века.— *Прим. перев.*

[95] Термин Флориана Знанецкого.— *Прим. авт.*

[96] Здесь я частично использую определения этого исследователя.— *Прим. авт.*

[97] Незадолго до статьи М. Амусина также и «Уральский следопыт» среди писем, предваряющих ответы братьев, поместил такие, которые напоминали об антисталинских заслугах Стругацких (см., напр., письмо В. Колпакова [48]).— *Прим. авт.*

[98] «Повесть о дружбе и недружбе» написана для детей — с отчетливым морализаторским пылом повествует о мальчике, который меж кухонных шкафов нашел вход в мир фантазии и, отвергая в пути искушения, поспешил на помощь другу. «Подробности жизни Никиты Воронцова» — это рассказ, наверняка возникший на полях «Хромой судьбы»,— история о странным бессмертном, который снова и снова, не в силах что-либо изменить, проживает одну и ту же жизнь. Он продолжал один из сюжетов «Понедельника...» и был полигоном для проверки использованной затем в «Хромой судьбе» и «Волнах...» стилистики. Авторы подписали его псевдонимом «С. Ярославцев», тем самым, которым воспользовались еще в период «забот» в 1974 г., подписав им «современную сказку» — «Экспедицию в преисподнюю».— *Прим. авт.*

[99] Вот только непонятно, считают ли эти 50% Стругацкие по отношению к объему самиздатовской версии (которая включает обширные фрагменты первой части «Града обреченного») или же по отношению к объему какой-то «полной версии», неизвестной мне. Наконец, возможно, что речь идет о версии, которая издана в 1989 г. в Ленинграде [51], в которой главы «Хромой судьбы» переплетаются с главами «Гадких лебедей» так, чтобы из обоих произведений возникла повесть, как бы сравнивающая судьбы и фигуры двух писателей. Повесть о Викторе Баневе формально является там произведением, написанным Сорокиным,— так же, как в предыдущих версиях «Хромой судьбы» этим произведением был «Град обреченный».— *Прим. авт.*

[100] В тексте, опубликованном в «Неве», таких отрывков осталось очень мало, но все-таки осталось [45, 9, 104]. А вот в вышеупомянутой ленин-

градской версии эти фрагменты были заменены на отрывки из текста «Гадких лебедей», что соответственно привело и к изменению концепции всего произведения.— *Прим. авт.*

[101] До этого момента действия «Хромой судьбы» и «Пяти ложек эликсира» в принципе совпадали. Далее они пойдут своим путем. Приключения героя сценария, которого посещают бессмертные с предложением «участия» в пользовании эликсиром, если только он убьет кого-нибудь из них,— попросту развитие проекта рассказа, который — наравне с другими проектами — обдумывает Сорокин.— *Прим. авт.*

[102] А я и в русском переводе решил оставить этот забавный фрагмент повести.— *Прим. перев.*

Заключение

[103] В выступлении на страницах журнала «Уральский следопыт» Стругацкие — наверняка после консультации с окружением, если вообще не по просьбе этого окружения — поместили список около 40 молодых обещающих писателей [48, 60].— *Прим. авт.*

[104] Материалы, связанные с деятельностью клубов, публиковались чаще всего в труднодоступных провинциальных газетах и заводских многотиражках (именно в таких публикациях я нашел первую цифру). См. также «Примерное положение о клубах любителей фантастики» (Книжное обозрение.— 1988.— 12 февр.— С. 14), а также другие материалы из этого номера.— *Прим. авт.*

[105] Например, популярна была повесть Владимира Орлова «Альтист Данилов» (1981). Ее высоко ценил Борис Стругацкий [43].— *Прим. авт.*

[106] Это утверждение автора монографии прямо противоречит тексту повести, из которого следует, что Демиург — не сатана, а Иисус спустя 2000 лет после первого пришествия.— *Прим. перев.*

[107] Фамилия «Мытарин» ассоциируется с двумя русскими архаизмами: «мытарство» — терпение, мучение, и «мытарь» — библейский «сборщик податей» (один из них стал апостолом). Впрочем, аллюзия кроется еще глубже — хотя бы в самой группе: учитель и сопровождающие его ученики.— *Прим. авт.*

[108] См. [142], а также «Почту совета фантастики» в книге «В мире фантастики» (М.: Мол. гвардия, 1989), особенно на с. 234.— *Прим. авт.*

[109] Я цитирую здесь эпиграф пьесы [9, 196].— *Прим. авт.*

[110] Представители молодежи ведут себя так, как этого хотел бы Александр Солженицын, который феномену отсутствия сопротивления советского общества репрессиям посвятил обширные фрагменты «Архипелага ГУЛАГ» — напр., в главе 1 — «Арест». На связь «Жидов...» с размышле-

ниями Солженицына обратил внимание Анджей Дравич [152].— *Прим. авт.*

Приложение

[111] Опубликовано в польском журнале «SFinks».— 1997.— № 1.— S. 53–55.— *Прим. перев.*

[112] Даты написания повести сообщены мне Владимиром Борисовым («Понедельник» (Абакан).— 1992.— № 15).— *Прим. авт.*

[113] О намерении включить в текст «Хромой судьбы» именно «Гадких лебедей» братья говорили в интервью, которое брала у них Елена Михайлова [49], переиздано также в [11].— *Прим. авт.*

[114] История поэта Кости Кудинова, мафусаллина, «клетчатого пальто» получила развитие в сценарии «Пять ложек эликсира».— *Прим. авт.*

[115] С этими мотивами связан следующий анекдот: во время публикации истории Сорокина в «Неве» советская цензура периода «перестройки» могла снести критику «времен застоя», но зато — в связи с введением в СССР Михаилом Горбачевым частичного запрещения производства спиртных напитков и торговли ими — редакция журнала потребовала от Стругацких изъятия мотивов, связанных с алкоголем. Была произведена замена «водки» на «пиво», «пива» на «пепси», «вина» на «минеральную воду». (Я цитирую статью «Цензура» в «АНС-энциклопедии» // Понедельник.— 1993.— № 11.) — *Прим. авт.*

БИБЛИОГРАФИЯ

1–11. Собрание сочинений. Т. 1–11.— Донецк: Сталкер; СПб.: Terra Fantastica, 2000–2001.

12. Стругацкий А., Стругацкий Б. От бесконечности тайн к бесконечности знаний: Ответ на анкету «Говорят фантасты — разведчики будущего» // Техника — молодежи.— 1961.— № 10.— С. 6.

13. Стругацкий А., Стругацкий Б. После полета Гагарина что вы считаете фантастическим? // Советская культура.— 1961.— 15 апреля.

14. Человек нашей мечты: Встреча писателей-фантастов // Нева.— 1962.— № 4.— С. 166–173.— [Выступления писателей А. Н. Казанцева, В. И. Немцова, Г. С. Гора, В. Е. Львова, Г. С. Мартынова, Е. П. Брандиса, Б. Н. Стругацкого, В. И. Дмитревского и журналистов В. М. Травинского и Л. В. Ларионова. Кроме того, в беседе приняли участие доцент Ленинградского университета В. К. Зайцев, инженер Д. М. Брускин, слесарь Ю. А. Ткачев и другие].

15. Стругацкий А., Стругацкий Б. Нет, фантастика богаче!: [Полемика со статьей Л. Когана «Обедненный жанр»] // Лит. газета.— 1964.— 3 декабря.— С. 2.

16. Стругацкий А., Стругацкий Б. О чем не пишут фантасты? // Знание — сила.— 1965.— № 6.— С. 40—41.

17. Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне: Главы из фантастической повести // Эллинский секрет.— Л.: Лениздат, 1966.— С. 384—462.

18. Стругацкий А., Стругацкий Б. Дороги научного прорицания: Размышления с диалогами, с роботами, с ацтеками, с машиной времени, с путешествием в ту и другую сторону от настоящего / [Беседу записал] Ю. Медведев // Техника — молодёжи.— 1967.— № 7.— С. 30—31.

19. Стругацкий А., Стругацкий Б. Контакт и пересмотр представлений // Саймак К. Всё живое... — М.: Мир, 1968.— С. 5—12.

20. Стругацкий А., Стругацкий Б. Вместо предисловия // Львов А. Две смерти Чезаре Россолимо.— Одесса: Маяк, 1969.— С. 3—5.

21. Стругацкий А., Стругацкий Б. Давайте думать о будущем // Лит. газета.— 1970.— 4 февр.— С. 4.

22. Стругацкий А., Стругацкий Б. В редакцию «Литературной газеты» // Лит. газета.— 1972.— 13 дек.— С. 9.

23. Стругацкий А., Стругацкий Б. Предисловие // Клемент Х. Экспедиция «Тяготение».— М.: Мир, 1972.— С. 6—14.

24. Стругацкий А. Перемены в стране Тэй-бак // Лит. обозрение.— 1973.— № 11.— С. 89—90.— [Рец. на книгу То Хоая «Западный край»].

25. Стругацкий А. Три открытия Акутагава Рюноскэ // Акутагава Рюноскэ. Новеллы.— М.: Худож. лит., 1974.— С. 5—26.

26. Ниязи Ф., Стругацкий А. Семейные дела Гаюровых: Киноповесть // Памир.— 1974.— № 5.— С. 8—34; № 6.— С. 7—29.

27. Ярославцев С. Экспедиция в преисподнюю: Современная сказка // Памир.— 1974.— № 7—12 (Части 1 и 2).

28. Бестужев-Лада И., Биленкин Д., Стругацкий А. Какие звезды светят фантастике? // Лит. обозрение.— 1977.— № 8.— С. 100—106.

29. Стругацкий А., Феоктистов К. Реальность чуда и чудо реальности: Диалог о фантастике. Писатель Аркадий Стругацкий — летчик-космонавт СССР, доктор технических наук Константин Феоктистов / Запись диалога Г. Цитриняка // Лит. газ.— 1977.— 24 авг.— С. 6.

30. Strugacki A., Strugacki B. Piknik na skraju drogi; Las / Przelozyla Irena Piotrowska; Poslowie Stanislawa Lema.— Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1977.— 291 s.— (Stanislaw Lem poleca).

31. Стругацкий А. Л. И. Лагину — 75 лет // Лит. газета.— 1979.— 1 янв.— С. 5.

32. Стругацкий А. Трудно быть фантастом / Беседу записал С. Кашницкий // Московский комсомолец.— 1980.— 17 сент.— С. 2.

33. Стругацкий А., Стругацкий Б. «Фантастику любим с детства»: Беседа с писателями // Аврора.— 1981.— № 2.— С. 150—155.

34. Стругацкий А. Фантастика всегда актуальна / Интервью брали О. Блохин, С. Замогильный // Коммунист (Саратов).— 1982.— 27 авг.— С. 4.

35. Стругацкий А., Стругацкий Б. Братья Стругацкие: «Давайте думать о будущем!» / [Подготовил] В. Гаков // Сов. панорама: Вестник АПН.— 1982.— 28 дек.— С. 1—4.

36. Стругацкий А., Стругацкий Б. Этот увлекательный мир фантастики // Правда.— 1982.— 8 янв.— С. 3.

37. Strugacki A. [Odpowiedz na Ankiete «Literatury Radzieckiej» // Literatura Radziecka.— 1982.— № 1.— S. 172.

38. Какие звезды светят фантастике?: Обретения, потери, тенденции // Лит. газета.— 1983.— 13 апр.— С. 3.— (Дискуссия, в которой приняли участие: А. Стругацкий, Д. Биленкин, В. Вельчинский, М. Вунштейн, М. Дагаев, В. Орлов, Е. Парнов, Э. Степанов, Ю. Сумачев, В. Тернов, А. Якубовская — писатели и члены Московского клуба любителей фантастики, материал подготовила В. Помазнёва).

39. Стругацкий А. Главное — на Земле... / Беседу вёл Р. Сагабалян // Комсомолец (Ереван).— 1983.— 1 сент.— С. 4.

40. Стругацкий А., Стругацкий Б. Жук в муравейнике: Повести.— Кишинёв: Лумина, 1983.— 588 с., ил.— (Мир приключений).

41. Стругацкий Б. «...Мы пишем о земном человеке» / Интервью записал П. Огус // Иртыш (Семипалатинск).— 1983.— 16 апр.— С. 4.

42. Стругацкий А. Волшебный мир фантастики // Лит. газ.— 1984.— 4 июля.— С. 4.

43. Стругацкий Б. Больше невероятного в единицу времени / Беседу вела Г. Силина // Лит. газета.— 1985.— 7 авг.— С. 3.

44. Стругацкий А., Стругацкий Б. Жук в муравейнике: Рассказы и повести.— Рига: Лиесма, 1986.— Содерж.: Испытание «СКР»; Частные предположения; Ночь в пустыне; Чрезвычайное происшествие; Попытка к бегству; Жук в муравейнике.

45. Стругацкий А., Стругацкий Б. Хромая судьба // Нева.— 1986.— № 8.— С. 72—103; № 9.— С. 77—105.

46. Strugacki A. Rozmowa z Arkadym Strugackim / Wywiad Anatola Browczenkowa // Literatura Radziecka.— 1986.— № 12.— S. 39—43.

47. Стругацкий А. Аркадий Стругацкий: «Думать не развлечение, а обязанность...» / Беседу вели Н. Скаредова, В. Гопман // Кн. обозрение.— 1987.— 27 февр.— С. 3.

48. Стругацкий А., Стругацкий Б. Многие из вас спрашивают... // Уральский следопыт.— 1987.— № 4.— С. 58—64.— Ответы на письма читателей, некоторые из которых также приведены в публикации.

49. Стругацкий А., Стругацкий Б. Братья Стругацкие: «Жизнь не уважать нельзя» / Беседовала Е. Михайлова // Даугава.— 1987.— № 8.— С. 98—109.

50. Стругацкий А., Стругацкий Б. Осторожно войти... / [Записал] Геннадий Жаворонков // Московские новости.— 1987.— 24 мая.— С. 11.

51. Стругацкий А., Стругацкий Б. Волны гасят ветер.— Л.: Сов. писатель, 1989.

52. Стругацкий А., Стругацкий Б. Собрание сочинений. Т. 6. Обитаемый остров; Малыш.— М.: Текст, 1993.

53. Стругацкий Б. Свобода на руинах // Лит. газета.— 1994.— 26 янв.— С. 3.

54. Беляев А. «Аргонавты Вселенной»: [Рец. на роман В. Владко] // Детская литература.— 1939.— № 5.— С. 55.

55. Лавренев Б. Реалистическая фантастика // Охотников В. На грани возможного.— М.: Молодая гвардия, 1947.— С. 5—6.

56. Хузе О. Советские научно-фантастические книги о будущем // Вопросы детской литературы.— М.-Л.: Детгиз, 1953.— С. 349—373.

57. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.— 2-е изд.— Т. 1—50.— М., 1955—81.

58. Горький М. Наша литература — влиятельнейшая литература в мире: Речь на втором пленуме Правления Союза советских писателей 7 марта 1935 года // Горький М. Собрание сочинений в 30 т.— Т. 27.— М.: Гос. изд-во худож. лит, 1957.— С. 412—421.

59. Ленин В. Полное собрание сочинений.— 5-е изд.— Т. 1—55.— М., 1958—65.

60. Немцов В. Осколок Солнца.— М.: Молодая гвардия, 1958.— 256 с.

61. Брандис Е. Пути развития и проблемы советской научно-фантастической литературы // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 5—71.

62. Гуревич Г. Многогранная фантастика // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 241—251.

63. Дмитревский В. Переступая порог грядущего // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 104—138.

64. Ляпунов Б. Новые достижения техники и советская научно-фантастическая литература // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 183—220.

65. Немцов В. Героем может быть любой // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 262—267.

66. Полтавский С. О нерешенных вопросах научной фантастики // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 72—103.

67. Сартаков С. Литература должна вести на подвиг // О фантастике и приключениях.— Вып. 5.— Л.: Детгиз, 1960.— С. 252—254.

68. Советская научная фантастика в 1958—1959 гг.: По материалам дискуссии 14 марта 1960 г. в моск. Доме литераторов (Г. Тушкан, К. Андреев, Е. Брандис, Н. Томан, Л. Лагин, И. Кассель, В. Сытин, Б. Ляпунов, А. Полещук) // Московский литератор.— 1960.— 7 апр.

69. Горбунов Ю. Неужели так будут говорить люди будущего? // Звезда.— 1961.— № 8.— С. 221.

70. Леплинский Ю. Против антинаучной фантастики // Природа.— 1961.— № 8.— С. 118—119.

71. Рюриков Ю. Через 100 и 1000 лет: Человек будущего и советская художественная фантастика.— М.: Искусство, 1961.— 112 с.

72. Щелоков А. Со смаком! // Литература и жизнь.— 1961.— 14 мая.

73. Б. а. [От редакции] // Техника — молодежи.— 1962.— № 11.— С. 6.

74. Лагин Л. Майор Велл Эндъю, его наблюдения, переживания, мысли, надежды и далеко идущие планы, записанные им в течение последних пятнадцати дней его жизни // Фантастика, 1962 год.— М.: Мол. гвардия, 1962.— С. 405—466.

75. Мелеус А. Запорожцы в космосе // Молодой коммунист.— 1962.— № 8.— С. 124—127.

76. Рачков Д. Диплодок без головы // Лит. газета.— 1962.— 20 марта.— С. 3.

77. Акимова А. Будущее человечно // Нева.— 1963.— № 9.— С. 189.

78. Андреев К. Бег времени // Фантастика, 1963 год.— М.: Молодая гвардия, 1963.— С. 3—20.

79. Громова А. Герои Далеких Радуг: Заметки о творчестве Стругацких // Комсомольская правда.— 1964.— 26 дек.— С. 3.

80. Коган Л. Обедненный жанр // Известия.— 1964.— 23 ноября.— С. 4.

81. Котляр Ю. Фантастика и подросток // Молодой коммунист.— 1964.— № 6.— С. 114—120.

82. Луначарский А. Социалистический реализм // Луначарский А. В. Полное собрание сочинений в 8 т.— Т. 8.— М.: Худож. лит., 1964.— С. 491—523.

83. Ревич В. Прекрасно быть человеком // Вечерняя Москва.— 1964.— 16 сент.

84. Андреев К. Почти такие же... // Лит. газета.— 1965.— 27 мая.— С. 3.

85. Брандис Е. О научной фантастике наших дней // О литературе для детей: Вып. 10.— Л.: Дет. лит., 1965.— С. 112—129.

86. Брандис Е., Дмитревский В. Мир будущего в научной фантастике.— М.: Знание, 1965.— 48 с.

87. Громова А. Молнии будут служить добру // Лит. Россия.— 1965.— 26 марта.— С. 11.

88. Ефремов И. Предисловие // Стругацкий А., Стругацкий Б. Хищные вещи века.— М.: Молодая гвардия, 1965.— С. 3—7.

89. Журавлева В. Трудности роста // О литературе для детей: Вып. 10.— Л.: Дет. лит., 1965.— С. 204—214.

90. Лазарев М. Ответственность фантаста // О литературе для детей: Вып. 10.— Л.: Дет. лит., 1965.— С. 193—203.

91. Брандис Е., Дмитревский В. Фантасты пишут для всех! // Лит. газета.— 1966.— 1 февр.— С. 3.

92. Ган В. Верните душу людям! // Знание — сила.— 1966.— № 2.— С. 48.

93. Ефремов И. Миллиарды граней будущего // Комсомольская правда.— 1966.— 28 янв.— С. 3.

94. Немцов В. Для кого пишут фантасты? // Известия.— 1966.— 18 янв.— С. 6.

95. Федорович М. Не только занимательное чтение // Лит. газета.— 1966.— 10 фев.— С. 3.

96. Францев Ю. Компас фантастики // Известия.— 1966.— 25 мая.— С. 4.

97. Б. а. [Редакционное предисловие к «Второму нашествию марсиан»] // Байкал.— 1967.— № 1.— С. 54—55.

98. Брандис Е., Дмитревский В. Тема предупреждения в научной фантастике // Вахта «Арамиса».— Л.: Лениздат, 1967.— С. 440—471.

99. Брандис Е., Дмитревский В. Фантастика в движущемся мире // Иностранная литература.— 1967.— № 1.— С. 212—218.

100. Гуревич Г. Карта страны фантазий.— М.: Искусство, 1967.— 182 с.

101. Callois R. Od basni do science fiction // Callois R. Odpowiedzialnosc i styl: Eseje.— Warszawa: PIW, 1967.— S. 29—65.

102. Dziemidok B. O komizmie.— Warszawa, 1967.— 208 ss.

103. Лебедев А. Реалистическая фантастика и фантастическая реальность // Новый мир.— 1968.— № 11.— С. 261—266.

104. Ревич В. Реализм фантастики // Фантастика 1968.— М.: Молодая гвардия, 1968.— С. 270—298.

105. Чернышева Т. Человек и среда в современной научно-фантастической литературе // Фантастика-68.— М.: Мол. гвардия, 1968.— С. 299—319.

106. Glowinski M. Powiesc i autorytety // Glowinski M. Porzadek, chaos, znaczenie. Szkice o powiesci wspolczesnej.— Warszawa, 1968.— S. 9—34.

107. Белоусов А. Забывая о социальной обусловленности // Лит. газета.— 1969.— 22 окт.— С. 6.

108. Гор Г. Жизнь далекая, жизнь близкая // Лит. газета.— 1969.— 22 окт.— С. 6.

109. Котляр Ю. Послесловие к предисловию // Октябрь.— 1969.— № 9.— С. 216—219.

110. Свининников В. Блеск и нищета «философской» фантастики // Журналист.— 1969.— № 9.— С. 46—48.

111. Шефнер В. Обыденное в сказочном и необычайное в будничном // Лит. газета.— 1969.— 29 окт.— С. 5.

112. Бритиков А. Русский советский научно-фантастический роман.— Л.: Наука, 1970.— 448 с.— (Обзор творчества Стругацких до 1967 г.— С. 335—358).

113. Громова А. Не созерцание, а исследование // Лит. газета.— 1970.— 7 янв.— С. 6.

114. Тамарченко Е. Реализм неожиданного // Лит. газета.— 1970.— 4 февр.— С. 5.

115. Программа КПСС.— М.: Политиздат, 1972.

116. Урбан А. Фантастика и наш мир.— Л.: Сов. писатель, 1972.— 254 с.

117. Чернышева Т. Научная фантастика и современное мифотворчество // Фантастика-72.— М.: Мол. гвардия, 1972.— С. 288—301.

118. Ревич В. Позднее прозрение Рыжего Шухарта // Лит. обозрение.— 1973.— № 2.— С. 21—22.

119. Eily S. Swiatopoglad powiesci.— Wroclaw: Ossolineum, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, 1973.

120. Lem S. Fantastyka i futurologia.— Krakow: Wyd. Lit., 1973.— T. 1.— 452 s.; T. 2.— 579 s.

121. Кагарлицкий Ю. Что такое фантастика? — М.: Худож. лит., 1974.— 352 с.

122. Смелков Ю. Фантастика — о чем она? — М.: Знание, 1974.— 64 с.

123. Wyka K. Pogranicze powiesci.— Warszawa: Czytelnik, 1974.— S. 35 (szkic «Tragicznosc, drwina, realizm»).

124. Graaf V. Homo futuris. Analiza wspolczesnej science fiction / Przel. Zbigniew Faferka.— Warszawa: PIW, 1975.— 234 ss.

125. Ефремов И. Туманность Андромеды // Ефремов И. Сочинения в трех т.— Т. 3.— Кн. 2.— М.: Молодая гвардия, 1976.— С. 5—320.— (С. 7: От автора).

126. Смелков Ю. Мир фантастики: Лит. заметки // Правда.— 1976.— 8 мая.— С. 3.

127. Okopien-Slawinska A. Relacje osobowe w literackiej komunikacji // Problemy teorii literatury, seria 2.— Wroclaw: Ossolineum, 1976.— S. 29—43.

128. Смелков Ю. Мужество выбора // Дружба народов.— 1977.— № 6.— С. 265—269.

129. Лисаковский И. Творческий метод: свойства и отношения.— Киев, 1978.— С. 199.

130. Казанцев А. Впередсмотрящий // Детская литература.— 1979.— № 7.— С. 24—25.

131. Гаков Вл. Тест на человечность // Литературная газета.— 1980.— 29 окт.— С. 5.

132. Смелков Ю. Человек настоящего — человек будущего // Стругацкий А., Стругацкий Б. Неназначенные встречи.— М.: Мол. гвардия, 1980.— С. 348—351.

133. Шабанов А. Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина, героя повести А. и Б. Стругацких «Жук в муравейнике» // Заря молодежи (Саратов).— 1980.— 25 сент.— С. 3.

134. Zgorzelski A. Fantastyka. Utopia. Science fiction. Ze studiow nad rozwojem gatunkow.— Warszawa: PWN, 1980.— 205 ss.

135. Бугров В. В поисках завтрашнего дня: О фантастике всерьез и с улыбкой.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981.— 214 с.

136. Зеркалов А. Долг мысли // Стругацкий А., Стругацкий Б. Жук в муравейнике.— Кишинев: Лумина, 1983.— С. 3—12.

137. Фролов А. Научно-фантастическое произведение и его читатель: (Повесть А. и Б. Стругацких «За миллиард лет до конца света») // Проблема жанра.— Душанбе: Гос. педагогич. ин-т им. Т. П. Шевченко, 1984.— С. 65—75.

138. Бабенко В. Когда принцесса подросла // Лит. газета.— 1985.— 16 окт.

139. Булычев К. К вопросу о суматранском носороге // Лит. газета.— 1985.— 11 сент.

140. Осипов А. Дороги земные и звездные // Страна Гонгури: Науч.-фантаст. повести и рассказы писателей Сибири.— Красноярск: Кн. изд-во, 1985.— С. 5—12.

141. Плеханов С. В пучине оптимизма // Лит. газета.— 1985.— 14 авг.

142. Сербиненко В. Три века скитаний в мире утопии // Новый мир.— 1985.— № 5.— С. 242—255.

143. Чернышева Т. Природа фантастики.— Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985.— 336 с.

144. Ягупова С. Такой странный жанр // Лит. газета.— 1985.— 14 авг.

145. Неелов Е. Волшебно-сказочные корни научной фантастики.— Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1986.— 200 с.

146. Перфильев В. Игра в поддавки // Лит. газета.— 1986.— 2 апр.— С. 14.

147. Шалганов А. Вполне земные заботы // Лит. газета.— 1986.— 20 авг.— С. 4.

148. Kajtoch W. Co slychac u Strugackich // Zycie Literackie.— 1987.— № 36.

149. Амусин М. Далеко ли до будущего? // Нева.— 1988.— № 2.— С. 153—160.

150. Биленкин Д. На пороге XXI века // Книжное обозрение.— 1988.— 12 февр.— С. 15.

151. Парнов Е. Сломать барьеры стереотипов // Книжное обозрение.— 1988.— 12 февр.— С. 2.

152. Drawicz A. Pelznij, slimaku, pelznij...: O pisarstwie braci Strugackich // Dialog.— 1992.— № 4.— S. 54—65.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Витицкий. БЕССИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО 5
А. Стругацкий. «СКАЗАНИЕ О ЁСИЦУНЭ» 275
ПРИЛОЖЕНИЯ 307
Б. Стругацкий. Из писем к Б. Штерну 309
Об Аркадии Стругацком
А. Мирер 347
Ю. Черняков 351
Р. Нудельман 366
В. Ревич 371
М. Ткачев 385
Л. Абрамова 404
А. Арканов 407
В. Кайтох. БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ 409
Примечания 638
Библиография 663

ISBN 966-696-215-2



Литературно-художественное издание

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в одиннадцати томах

Том 12
Дополнительный

В данном томе использованы фотографии Н. Кочнева; фотографии из архивов Э. Геворкяна, В. Борисова, М. Ткачева, Ю. Зубакина

Перевод с польского книги Войцеха Кайтоха — В. И. Борисов (БВИ)

Ответственный редактор *С. П. Бондаренко*
Редакторы *С. П. Бондаренко, В. Ю. Дьяконов*
Технический редактор *А. В. Полтьев*
Корректоры *С. П. Бондаренко, В. Ю. Дьяконов*

Издание осуществлено при техническом участии ООО «Издательство АСТ»

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ». 368560, Республика Дагестан,
Каякентский район, с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU, E-mail: astpub@aha.ru

Издательство «Сталкер». 83114, Украина, г. Донецк, ул. Щорса, 108
E-mail: info@stalker.donetsk.ua

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

